

УИЛЪЯМ СОМЕРСЕТ

5

МОЭМ

УИЛЪЯМ
СОМЕРСЕТ

МОЭМ

5.

УИЛЪЯМ
СОМЕРСЕТ
МОЭМ



УИЛЬЯМ
СОМЕРСЕТ
МОЭМ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ

Редколлегия:

Н. ДЕМУРОВА,

М. КЛИМОВА,

Н. МИХАЛЬСКАЯ,

В. СКОРОДЕНКО



Москва

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1994

УИЛЬЯМ
СОМЕРСЕТ
МОЭМ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ПЯТЫЙ

ПЬЕСЫ

НА КИТАЙСКОЙ ШИРМЕ

ПОДВОДЯ ИТОГИ

ЭССЕ

Перевод с английского



Москва

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1994

ББК 84.4Вл
М 87

W Somerset Maugham

1874—1965

Составление и библиографическая справка
В СКОРОДЕНКО

Художественное оформление
С. КУЗЯКОВА

Издание выпущено по Федеральной целевой программе
книгоиздания России

М $\frac{4703010600-28}{028(01)-94}$ Подписное

ISBN 5-280-03054-6 Т 51
ISBN 5-280-01705-1

© Составление и библиографическая
справка. Скороденко В. А., 1994 г
© Оформление Кузяков С., 1994 г

ПЬЕСЫ

КРУГ ¹
Комедия в трех действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Клайв Чампьюн-Чини.
Арнолд Чампьюн-Чини, член парламента.
Лорд Портьюс.
Эдвард Лутон.
Леди Кэтрин Чампьюн-Чини.
Элизабет.
Миссис Шенстон.
Лакей и дворецкий.

Действие происходит в Астон-Эйди, в дорсетширском доме
Арнолда Чампьюн-Чини.

¹ The Circle.

© Перевод. Харитонов В. А., 1994 ¹

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Сцена представляет собой величественную гостиную в Астон-Эйди, обставленную георгианской мебелью, на стенах прекрасные картины. Об Астон-Эйди, щедро иллюстрируя, писала «Сельская жизнь». Это не дом — это достопримечательность. Владелец чрезвычайно гордится им, комната до последней мелочи выдержана в едином стиле. Сквозь высокие стеклянные двери в глубине сцены виден красивый парк — еще одна достопримечательность.

Прекрасное летнее утро.

Входит Арнолд. Ему лет тридцать пять, это высокий интересный блондин с резко очерченным, выразительным лицом. Он очень хорошо одет.

Арнолд (зовет). Элизабет! (Подходит к балконной двери, снова зовет.) Элизабет! (Звонит. Ожидая, обводит комнату взглядом. Чуть переставляет один стул. Берет с каминной доски безделушку, сдувает с нее пыль.)

Входит лакей.

А-а, Джордж. Вас не затруднит отыскать миссис Чини и спросить, не будет ли она любезна прийти сюда?

Лакей. Слушаюсь, сэр. (Поворачивается уйти.)

Арнолд. Кому полагается следить за этой комнатой?

Лакей. Я не знаю, сэр.

Арнолд. Я хочу, чтобы после уборки вещи аккуратнейше ставили на место.

Лакей. Слушаюсь, сэр.

Арнолд (отпуская его). Ступайте.

Лакей уходит. Арнолд снова подходит к балконной двери и зовет.

Элизабет! (Видит миссис Шенстон.) Анна, вы не знаете, где Элизабет?

Из парка входит миссис Шенстон. Это приятная, следящая за собой сорокалетняя женщина.

Анна. Разве она не играет в теннис?

Арнолд. Нет, я заходил на корт. Случилась весьма досадная вещь.

Анна. Что такое?

Арнолд. Где ее черти носят?

Анна. Когда вы ждете лорда Портыуса и леди Китти?

Арнолд. Они приедут на авто к ленчу.

Анна. Вы уверены, что я нужна вам здесь? Еще не поздно переиграть. Я соберусь и поспею на какой-нибудь поезд.

Арнолд. Нет-нет, конечно, вы здесь нужны. Все обойдется гораздо легче, если здесь будут люди. Чрезвычайно любезно с вашей стороны, что вы приехали.

Анна. Да полно!

Арнолд. И еще хорошо, что здесь Тедди Лутон.

Анна. Он такой живчик, правда?

Арнолд. Да, этим он и замечателен. Не скажу, что он очень умен, но бывают, знаете, обстоятельства, когда требуется слон в посудной лавке. Я послал лакея найти Элизабет.

Анна. Мне кажется, она переобувается. Они с Тедди собирались сыграть одиночку.

Арнолд. Немыслимо столько времени обуваться.

Анна (*улыбаясь*). Обуваясь, женщина не преминет по-пудриться.

Входит Элизабет Прелестному созданию чуть за двадцать. На ней светлое летнее платье.

Арнолд. Дорогая, я тебя обыскался. Чем ты была занята?

Элизабет. Ничем. Стояла на голове.

Арнолд. Здесь отец.

Элизабет (*испуганно*). Где?

Арнолд. В коттедже. Приехал вчера вечером.

Элизабет. Ах, черт!

Арнолд (*добродушно*). Не надо его поминать, Элизабет.

Элизабет. Если не чертыхаться, когда происходит черт знает что, то когда еще чертыхаться?

Арнолд. Ты могла сказать «Ах, досада!» или что-нибудь еще.

Элизабет. Но это совсем не выражает моих чувств. И потом, в тот актдовый день, когда ты вручал награды, ты сам сказал, что в английском языке *нет* синонимов.

Анна (*улыбаясь*). Ах, Элизабет, в частной жизни политика не следует ловить на слове, которое он высказал публично.

Арнолд. Я никогда не откажусь от своих слов. В английском языке *нет* синонимов.

Элизабет. В таком случае мне, увы, придется поминать черта, когда это потребуется.

У балконной двери возникает Эдвард Лутон. Привлекательный молодой человек в фланелевом костюме.

Тедди. Слушайте, как насчет тенниса?

Элизабет. Заходите. У нас тут скандал.

Тедди (*входя*). Какая прелесть. На какой почве?

Элизабет. На почве английского языка.

Тедди. Неужели раздраете инфинитив на части?

Арнолд (*хмурясь*). Я хочу, чтобы ты была посерьезнее,

Элизабет. Ситуация отнюдь не из приятных.

Анна. Я считаю, нам с Тедди лучше потихоньку улизнуть.

Элизабет. Чепуха. Вы с нами заодно. Если начнутся неприятности, нам понадобится ваша моральная поддержка. Вас за этим и позвали.

Тедди. А я-то думал, что меня позвали за голубые глаза.

Элизабет. Много чести! Тем более что они карие.

Тедди. А что происходит?

Элизабет. Отец Арнолда приехал вчера вечером.

Тедди. Вот те на! Я думал, он в Париже.

Арнолд. Мы тоже думали. Он говорил, что пробудет там весь следующий месяц.

Анна. Вы уже виделись?

Арнолд. Нет. Он мне позвонил. Какое счастье, что он провел в коттедж телефон. Хорошенькое дело, если бы он прямо сюда явился.

Элизабет. Ты сказал, что приезжает леди Кэтрин?

Арнолд. Конечно, нет. У меня язык отнялся, когда я узнал, что он здесь. И потом, надо сначала обговорить все между собой.

Элизабет. Так он сюда направляется?

Арнолд. Да. Он выразил такое желание, а я не придумал никакой отговорки.

Тедди. А тех двоих нельзя отложить?

Арнолд. Они уже катят сюда в авто. В любую минуту могут быть здесь. Отложить их уже невозможно.

Элизабет. Это будет верхом неприличия.

Арнолд. Глупостью было звать их сюда. Но Элизабет настояла.

Элизабет. Все-таки это твоя мать, Арнолд.

Арнолд. Она не очень с этим посчиталась, когда... убегала из дома. С какой стати теперь я должен особо считаться с этим?

Элизабет. Прошло тридцать лет. Глупо все еще злиться на нее.

Арнолд. Я не злюсь, но она таки причинила мне непоправимое зло. И я не нахожу ей оправдания.

Элизабет. А ты искал?

Арнолд. Моя дорогая Элизабет, нет смысла во все это снова вникать. Факты обескураживающе просты. У нее

были обожающий муж, прекрасное положение, ребенок пяти лет, и она не стеснялась в средствах. А она взяла и убежала с чужим мужем.

Элизабет. Леди Портьюс едва ли может привязать к себе кого-нибудь, Арнолд. (*К Анне.*) Вы ее знаете?

Анна (*улыбаясь*). Скорее, она способна оттолкнуть.

Арнолд. Если вы намерены балагурить, я вообще не скажу больше ни слова.

Анна. Извините, Арнолд.

Элизабет. А если твоя мать ничего не могла с собой поделать, если она полюбила?

Арнолд. И забыла честь, долг и приличия? Так, знаешь, можно оправдать все что угодно.

Элизабет. Все-таки не годится так говорить о матери.

Арнолд. Да я не воспринимаю ее как мать.

Элизабет. Ты не можешь смириться с тем, что она не думала о тебе. У кого-то получается стать матерью, а кто-то остается женщиной. Мне не по себе делается, когда подумаю, как же она любила того человека. Ради него пожертвовала именем, положением, ребенком.

Арнолд. По-твоему, упомянутый ребенок может питать теплые чувства к матери, которая обошлась с ним подобным образом?

Элизабет. Нет, я так не думаю. Но мне жаль, что после стольких лет вы не можете подружиться.

Арнолд. Ты, видимо, не сознаешь, как мне жилось под сенью этого кошмарного скандала. И в школе, и в Оксфорде, и потом в Лондоне я, как меченый, оставался сыном леди Китти Чини. Это была мука мученическая!

Элизабет. Я понимаю, Арнолд. Тебе скверно приходилось.

Арнолд. Это всегда тяжело переживается, а из-за положения этих людей все было в десять раз хуже. Отец был тогда в палате общин, и Портьюс, еще нетитулованный,— тоже; он был помощником министра иностранных дел и постоянно был в центре внимания.

Анна. Мой отец говаривал, что это была умнейшая голова в партии. Все прочили ему место премьер-министра.

Арнолд. Теперь представьте, какую кость кинули британской публике. Давненько ее так не развлекали. У всех на устах была песенка про мою мать. Вам не доводилось ее слышать? «Шалунья леди Китти сказала всем «простите»...

Элизабет (*обрывая его*). Не надо, Арнолд.

Арнолд. К тому же они не давали людям забыть о себе. Сиди они себе во Флоренции, не поднимая шума, скандал

давно бы заглох. Но бесконечные судебные процессы между лордом и леди Портыус освежали людскую память.

Тедди. Из-за чего они судились?

Арнолд. Естественно, мой отец развелся с женой, а леди Портыус не давала Портыусу развода. Он пытался воздействовать на нее, отказывая в содержании, выкуривая из дома и еще бог весть как. Они постоянно тягались в судах.

Анна. По-моему, леди Портыус вела себя чудовищно.

Арнолд. Она знала, что он хочет жениться на моей матери, и ненавидела ее. Ее нельзя осуждать.

Анна. Этим двоим, конечно, не позавидуешь.

Арнолд. Поэтому они и жили во Флоренции. У Портыуса есть деньги. Там они окружили себя людьми, которых не смущало их положение.

Элизабет. С тех пор они впервые приехали в Англию.

Арнолд. Надо сказать отцу, Элизабет.

Элизабет. Конечно, надо.

Анна (*Элизабет*). Он говорил с вами о леди Китти?

Элизабет. Ни разу.

Арнолд. Вряд ли он вообще хоть раз произнес ее имя за те тридцать лет, что она покинула этот дом.

Тедди. Так они жили здесь?

Арнолд. Естественно. Тут был съезд гостей, и однажды вечером Портыус и моя мать не спустились к обеду. Их ждали. Ничего не могли понять. Отец послал за матерью, и на игольнице нашли записку.

Элизабет (*смутно улыбаясь*). Совсем как в средневековье.

Арнолд. Я думаю, после того ужасного вечера он невзлюбил этот дом. Ни дня больше не провел под его крышей, а когда я женился, отдал его мне. У него тут коттедж, он наезжает, когда есть настроение.

Элизабет. Нас это очень устраивает.

Арнолд. Я всем обязан отцу. Вряд ли он простит мне, что я пригласил сюда этих людей.

Элизабет. Я возьму всю вину на себя, Арнолд.

Арнолд (*раздраженно*). И без того ситуация щекотливая. Я не представляю, как вести себя с ними.

Элизабет. Ты не думаешь, что все само образуется при встрече?

Арнолд. В конце концов, они просто гости. Постараюсь вести себя как джентльмен.

Элизабет. Для начала надо было завести центральное отопление.

Арнолд *не реагируя на ее слова*. Она ожидает что я ее поцелую?

Элизабет (*улыбаясь*) Наверняка.

Арнолд. Терпеть не могу несдержанности в людях

Анна. Мне непонятно, как вы не виделись раньше

Арнолд. Она, скорее всего, рвалась ко мне маленькому, но отец счел за благо не пускать ее

Анна. Ясно, а когда вы выросли?

Арнолд. Она сидела в Италии. А я туда ни разу не выбрался

Элизабет. Мне не по себе от мысли, что на улице вы не узнаете друг друга.

Арнолд. Моя ли в этом вина?

Элизабет. Ты обещал, что будешь с ней сама вежливость и доброта.

Арнолд. Ошибкой было приглашать еще и Портьюса. Это выглядит так, словно мы их простили. Как держаться с ним? Пожать руку и похлопать по спине? Он разбил моему отцу жизнь.

Элизабет (*улыбаясь*). Что бы ты дал за маленькую автомобильную аварию, которая отменила бы их визит?

Арнолд. Здравомыслящий человек, я пошел у тебя на поводу, в чем не перестаю раскаиваться.

Элизабет (*благодушно*). Все-таки очень удачно, что здесь Анна и Тедди. Я не жду, что наш прием пройдет успешно.

Арнолд. Я сделаю все возможное. Я обещал, и я сдержу обещание. Но за отца я не отвечаю

Анна. А вот и он

В одной из балконных дверей появляется мистер Чампьюн-Чини

Чампьюн-Чини. Могу я войти запросто или меня должен объявить высокомерный лакей?

Элизабет. Входите. Мы вас ждем.

Чампьюн-Чини. Надеюсь, с нетерпением, детка

Мистер Чампьюн-Чини — высокий мужчина, слегка за шестьдесят, худощавый, с прекрасной лепки седовласой головой, с умным, отчасти аскетическим лицом. Он очень продуманно одет. Человек живет в свое удовольствие. Бремя лет он несет с легкостью. Он целует Элизабет, подает руку Арнолду

Элизабет. Мы ждали вас из Парижа только в следующем месяце.

Чампьюн-Чини. Здравствуй, Арнолд. Я сохраняю за собой право менять планы. Это единственная привилегия,

которую стареющий джентльмен делит с прелестной женщиной.

Элизабет. С Анной вы знакомы.

Чампьюн-Чини (*пожимая ей руку*). Конечно. Замечательно, что вы здесь. Надолго?

Анна. Пока не надоем.

Элизабет. А это мистер Лутон.

Чампьюн-Чини. Здравствуйте. Вы играете в бридж?

Лутон. Играю.

Чампьюн-Чини. Отлично. Объявляете без старших козырей?

Лутон. Никогда.

Чампьюн-Чини. Таковых есть Царствие Небесное. Сразу виден славный малый.

Лутон. И как все славные люди — бедняк.

Чампьюн-Чини. Не беда. Если вы держитесь правильных принципов, вы можете без опаски играть по десять шиллингов за сотню. Я сам никогда не играю меньше и никогда не играю больше.

Арнолд. А ты... надолго, отец?

Чампьюн-Чини. Останусь на ленч, если вы меня не прогоните.

Арнолд бросает панический взгляд на Элизабет.

Элизабет. Прекрасно.

Арнолд. Я не об этом. Понятно, ты останешься на ленч. Я спрашивал, сколько ты вообще здесь задержишься.

Чампьюн-Чини. Неделю.

Минута молчания. Все в замешательстве, кроме Чампьюн-Чини.

Тедди. Я думаю, теннис лучше отложить.

Элизабет. Конечно. Я хочу послушать, что носят в Париже на этой неделе.

Тедди. Пойду уберу ракетки. (*Уходит.*)

Арнолд. Скоро час, Элизабет.

Элизабет. Боже мой, как много.

Анна (*Арнолду*). А что, если я соблазню вас прогуляться в парке до ленча?

Арнолд (*ухватившись за эту мысль*). С превеликим удовольствием.

Анна выходит в стеклянную дверь, он следует за ней, в нерешительности останавливается.

Я хочу, чтобы ты взглянул на мое приобретение. По-моему, стул неплох.

Чампьюн-Чини. Прелесть.

Арнолд. Что-нибудь около тысяча семьсот пятидесятого года. Хорошие линии, правда? Его не трогали, не подновляли.

Чампьюн-Чини. Очень мило.

Арнолд. Удачная покупка — ты не считаешь?

Чампьюн-Чини. Мой мальчик, ты же знаешь, что я непроходимый невежда в этих делах.

Арнолд. И как раз моя эпоха... Ну ладно, увидимся на ленче. *(За Анной выходит в парк.)*

Чампьюн-Чини. Кто этот молодой человек?

Элизабет. Мистер Лутон. Он только что демобилизовался. Он управляющий на каучуковой плантации в ОМШ.

Чампьюн-Чини. А если на человеческом языке?

Элизабет. В Объединенных Малайских штатах. Он был в армии с первых дней войны. А сейчас возвращается к себе.

Чампьюн-Чини. А почему нас так демонстративно оставили наедине?

Элизабет. Правда? Я не заметила.

Чампьюн-Чини. Молодым бывает трудно признать, что старик и дурак не одно и то же.

Элизабет. С вами у меня не возникало такой мысли. Вас все считают большим умницей.

Чампьюн-Чини. А что им остается делать? Я первый твержу об этом постоянно. Вы нервничаете?

Элизабет. Дайте я в себе разберусь. *(Давит пальцем на запястье.)* Нет, пульс совершенно нормальный.

Чампьюн-Чини. Когда я высказался насчет ленча, Арнолд сморщился, как после касторки.

Элизабет. Может, вы присядете?

Чампьюн-Чини. Если это облегчит вашу задачу. *(Берет стул.)* Вы приготовили для меня что-то очень неприятное.

Элизабет. Вы не будете сердиться?

Чампьюн-Чини. Сколько вам лет?

Элизабет. Двадцать пять.

Чампьюн-Чини. Я никогда не сержусь на женщину моложе тридцати.

Элизабет. Значит, у меня еще десять лет в запасе

Чампьюн-Чини. Вы так хорошо знаете арифметику?

Элизабет. Нет, косметику

Чампьюн-Чини. Итак?

Элизабет *(задумываясь)*. Мне, наверное, было бы легче, если бы я сидела у вас на коленях.

Чампъон-Чини. Очень симпатичная склонность, при которой, однако, вам нужно следить за своим весом.

Она садится ему на колени.

Элизабет. Я не очень костлявая?

Чампъон-Чини. Наоборот. Я слушаю.

Элизабет. Сюда едет леди Кэтрин.

Чампъон-Чини. Кто это — леди Кэтрин?

Элизабет. Ваша... мать Арнолда.

Чампъон-Чини. Сюда едет?

Он слегка дергается, и Элизабет встает на ноги.

Элизабет. Не надо винить Арнолда. Это мой просчет. Я настояла. Он был против. Я приставала, пока он не вступил. И послала ей приглашение.

Чампъон-Чини. Я не знал, что вы знакомы.

Элизабет. Я не знакома с ней. Просто услышала, что она в Лондоне. Остановилась в «Кларидже»¹. Мне показалось бессердечным до такой степени пренебречь ею.

Чампъон-Чини. Когда она приезжает?

Элизабет. Мы ждем ее к ленчу.

Чампъон-Чини. То есть прямо сейчас? Понятно ваше замешательство.

Элизабет. Понимаете, мы не ждали вас. Вы говорили, что останетесь в Париже еще на месяц.

Чампъон-Чини. Детка, вы у себя дома. Нет таких причин, чтобы не звать в гости кого вам заблагорассудится.

Элизабет. При всех своих недостатках она все-таки его мать. Совершенно противоестественно, чтобы они так и не встретились. У меня сердце изболелось за эту бедную одинокую женщину.

Чампъон-Чини. Впервые слышу, что она одинокая, и уж безусловно, она не бедная.

Элизабет. Но это еще не все. Я не могла пригласить ее одну. Это значило бы... оскорбить ее. Лорда Портьюса я тоже пригласила.

Чампъон-Чини. Понятно.

Элизабет. Наверное, вам лучше не видеться с ними.

Чампъон-Чини. Это им, наверное, лучше не видеться со мною. Я отлично поем в коттедже. Самые вкусные вещи, я заметил, дают, когда приезжаешь врасплох и ешь в людской.

¹ Лондонская гостиница высшего разряда в районе Мейфэр.

Элизабет. Со мной никогда не заговаривали о леди Китти. Все избегали эту тему. Я даже не видела ни одной ее фотографии.

Чампьян-Чини. Дом был завален ими, когда она уехала. По-моему, я велел дворецкому снести их все в мусорный ящик. Ее очень много фотографировали.

Элизабет. Вы не скажете мне, какая она была?

Чампьян-Чини. Она была вашего типа, Элизабет, только не рыжая, а брюнетка.

Элизабет. Бедняжка! Сейчас она должна быть совершенно седой.

Чампьян-Чини. Скорее всего. Миленькая такая была пичужка.

Элизабет. Но она была из первых красавиц в то время. Говорят, она была прелесть.

Чампьян-Чини. У нее был совершенно восхитительный носик, вроде вашего...

Элизабет. Вам нравится мой нос?

Чампьян-Чини. И она была очень грациозна, с точечной фигуркой, и походка у нее была порхающая. В старой французской комедии она была бы маркизой. Да, она была прелесть.

Элизабет. Она и сейчас прелестна, я уверена.

Чампьян-Чини. Годы у нее уже не те.

Элизабет. Для меня это все не так, как для вас и Арнолда. При такой любви, как у нее, если и стареют, то стареют красиво.

Чампьян-Чини. Вы прямо романтик.

Элизабет. Если бы из этого не делали страшную тайну, я бы, наверное, так не относилась. Я знаю, что она ужасно обидела и вас, и Арнолда. Я охотно это признаю.

Чампьян-Чини. Вы сама доброта.

Элизабет. Но ведь она любила, она дерзала. Романтическая любовь — коварная штука. В книгах она есть, а в жизни это редкость. Я ничего не могу поделать, раз меня это волнует.

Чампьян-Чини. Больно признать, но в этих случаях муж никак не романтическая фигура.

Элизабет. Мир был у ее ног. Вы богаты. Она блистала в обществе. И ради любви от всего отказалась.

Чампьян-Чини *(сухо)*. Я начинаю думать, что вы пригласили ее сюда не только ради нее самой и Арнолда.

Элизабет. Мне кажется, я ее уже знаю. У нее, думается, немного грустное лицо, потому что такая любовь не веселит, а печалит человека, хотя на ее бледном лице я не вижу ни единой морщины. Как у детей.

Чампъон-Чини. Милая, как же у вас разыгралось воображение.

Элизабет. Она представляется мне слабой и хрупкой.

Чампъон-Чини. Хрупкой — это безусловно.

Элизабет. У нее красивые тонкие руки, седые волосы. Я столько раз воображала ее в палатце, где они живут, — ренессанс, старые мастера на стенах, прекрасная резьба, и она сидит в черном шелковом платье, с бриллиантами и старыми кружевами на шее. Понимаете, я ведь не знала матери, она умерла, когда я была маленькой. Тетушек на меня не хватало, у них свои большие семьи. Я хотела, чтобы мать Арнолда стала и мне матерью. Мне очень многое нужно ей сказать.

Чампъон-Чини. Вы счастливы с Арнолдом?

Элизабет. Почему же нет?

Чампъон-Чини. Тогда почему у вас нет детей?

Элизабет. Дайте срок. Мы женаты всего три года.

Чампъон-Чини. Интересно, каким стал Хьюи.

Элизабет. Лорд Портьюс?

Чампъон-Чини. Он был самым элегантным мужчиной в Лондоне. Останься он в политике, он бы стал премьер-министром — вот так.

Элизабет. Каким он был тогда?

Чампъон-Чини. Он был красавец мужчина. Отличный наездник. Совершенно обворожительный человек. Русоголовый такой, голубоглазый. Прекрасно сложенный. Я был его парламентским секретарем. Он крестный Арнолда.

Элизабет. Я знаю.

Чампъон-Чини. Интересно, жалеет он сейчас?

Элизабет. С какой стати?

Чампъон-Чини. Ну, я побрел к себе в коттедж.

Элизабет. Вы не сердитесь на меня?

Чампъон-Чини. Ничуть.

Она подается к нему лицом, он целует ее в обе щеки и уходит. Через минуту из парка появляется Те дди.

Те дди. Возмутитель спокойствия, я вижу, ушел.

Элизабет. Входи.

Те дди. Все в порядке?

Элизабет. С ним — да. Он будет держаться в стороне.

Те дди. Противно было?

Элизабет. Нет, он мне очень помог. Он славный старикан.

Тедди. Ты была довольно напугана.

Элизабет. Немного. Я и сейчас напугана. Не знаю чем.

Тедди. Я так и подумал. Решил, что надо прийти и морально поддержать. У вас тут потрясающе, правда?

Элизабет. Довольно мило.

Тедди. Будет что вспомнить в ОМШ.

Элизабет. А ты не скучаешь там по дому?

Тедди. Кто же иногда не скучает!

Элизабет. При желании ты мог бы найти работу в Англии, да?

Тедди. Зачем, мне там нравится. В Англию потрясающе возвращаться, но жить я тут не смогу. Это — как с заочной любовью: рядом с возлюбленной ты от нее взвоешь.

Элизабет (*улыбаясь*). Чем тебе не угодила Англия?

Тедди. Да вряд ли Англия: боюсь, я сам себе не могу угодить. Я слишком долго был оторван от нее. По-моему, тут все делается через силу — по обязанности.

Элизабет. Не свидетельствует ли это о высокой степени цивилизации?

Тедди. И люди — такие неискренние. В Лондоне, к кому ни приди, все хором говорят об искусстве, и делается ясно, что они его в грош не ставят... У нас не так уж много книг в ОМШ, и мы их постоянно перечитываем. Они для нас очень много значат. Тамошние люди вполнину не такие умные, как здесь, зато их лучше узнаешь. Понимаешь, нас так мало, что мы вынуждены раскрываться друг перед другом.

Элизабет. В ОМШ, я полагаю, не очень принято манерничать. Это такое облегчение.

Тедди. Нет смысла держать фасон, когда все точно знают, кто ты таков и чего стоишь.

Элизабет. Я не думаю, что в обществе так уж нужна искренность. Это все равно что подпирать картонный домик железными балками.

Тедди. И потом, место потрясающее. Привыкаешь к голубому небу, и в Англии без него скучно.

Элизабет. Чем же ты занимаешь себя там все время?

Тедди. Ну, там приходится работать, как каторжному. Плантатору надо ворочать за десятерых. Кроме того, там потрясающее купанье. Представь: пальмы вдоль всего побережья — красота. А какая охота. Еще мы иногда устраиваем танцульки под граммофон.

Элизабет (*поддразнивая*). У тебя там, конечно, есть подружка, Тедди.

Тедди (*с жаром*)! Еще чего!

Она несколько огорошена столь искренним отпором. Повисает молчание, затем она овладевает собой.

Элизабет Но ведь рано или поздно тебе придется жениться и окончательно осесть.

Тедди. Я не против, только это не очень просто.

Элизабет Вряд ли у вас труднее, чем везде

Тедди В Англии, если люди не ужились друг с другом, они расходятся каждый своим путем и худо-бедно устраивают свою жизнь. У нас ты сильнее зависишь от собственных возможностей.

Элизабет. Разумеется.

Тедди. Девушки в основном едут к нам в поисках развлечений. Но если они сами пустое место, то так и останутся неприкаянными. И если их мужьям это по карману, то они вернуться домой в качестве соломенных вдов.

Элизабет Я знала таких. Они вроде совсем неплохо переносят это состояние.

Тедди. Зато их мужьям погано.

Элизабет. А если мужьям не по карману отослать их?

Тедди. Тогда они начинают потихоньку закладывать.

Элизабет. Перспектива не из приятных.

Тедди. Зато правильная женщина не променяет тамошнюю жизнь ни на какую другую. В конце концов, ведь это мы создали империю.

Элизабет. А что значит — правильная женщина?

Тедди. Смелая, стойкая, искренняя. Но это, конечно, при том условии, что она любит своего мужа.

Он смотрит на нее в упор, и, подняв глаза, она отвечает ему долгим взглядом. Оба молчат

Тедди. Мой дом стоит на склоне холма, кокосовые пальмы сбегают к берегу. В саду растут азалии, камелии и всякие потрясающие цветы. Прямо перед глазами волнистая береговая линия и дальше — синее море

Пауза.

Ты знаешь, что я в тебя страшно влюблен?

Элизабет (*серьезно*). У меня не было полной уверенности. Но я догадывалась.

Тедди. А ты?

Она медленно кивает

Я тебя ни разу не поцеловал.

Элизабет. А я и не хочу, чтобы ты меня целовал.

Не отрываясь смотрят друг другу в глаза. Оба серьезные. Вбегает Арнолд.

Арнолд. Едут, Элизабет.

Элизабет (*возвращаясь на землю*). Кто?

Арнолд (*раздражаясь*). Милая моя! Мать, конечно. Их машина уже в аллею.

Тедди. Вы не хотите, чтобы я смылся?

Арнолд. Нет-нет! Оставайтесь, ради бога!

Элизабет. Наверное, их надо встретить, Арнолд.

Арнолд. Нет-нет, лучше пусть их представят. Меня тошнит на нервной почве.

Из парка входит Анна.

Анна. Гости прибыли.

Элизабет. Я знаю.

Арнолд. Я распорядился, чтобы сразу садиться за стол.

Элизабет. Зачем? Еще половины второго нет.

Арнолд. Я думал, так лучше. Когда не знаешь, о чем говорить, можно занять рот едой.

Входит дворецкий, объявляет.

Дворецкий. Леди Кэтрин Чампьюн-Чини. Лорд Портьюс.

В сопровождении Портьюса входит леди Китти; дворецкий уходит. Леди Китти — веселая миниатюрная дама с крашеными рыжими волосами и наведенными щеками. Весьма броско одета. Ни на минуту не забывает о том, что в двадцать пять лет она была прехорошенькой, и доселе держится, как в двадцать пять. Лорд Портьюс — очень лысый, преклонных лет господин, одетый мешковато и довольно экстравагантно. Он брюзга и грубиян. Совсем не такую пару ожидала увидеть Элизабет, взирающая на них изумленно распахнутыми глазами. Раскинув руки, леди Китти направляется к ней.

Леди Китти. Элизабет! Элизабет! (*Пылко целует ее.*)
Какое прелестное создание! (*Оборачиваясь к Портьюсу.*) Ну, не прелесть она, Хьюи?

Портьюс (*крякая*). Кхм!

Элизабет с улыбкой поворачивается к нему и протягивает руку.

Элизабет. Здравствуйте!

Портьюс. Адские у вас дороги. Здравствуйте, милая. Почему в Англии такие адские дороги?

Леди Китти видит Тедди и, разведя руки, устремляется к нему с намерением заключить в объятия.

Леди Китти. Мальчик мой! Я узнала бы тебя из тысячи!

Элизабет (*поспешно*). А это — Арнолд.

Леди Китти (*ни на секунду не смешавшись*). Вылитый отец! Я узнала бы его из тысячи! (*Виснет у него на шее.*) Мальчик мой!

Портьюс (*крякая*). Кхм!

Леди Китти. Скажи, а ты бы меня узнал? Я изменилась?

Арнолд. Мне же было всего пять лет, когда вы...

Леди Китти (*с чувством*). А для меня это как вчерашний день. Я поднялась к тебе в детскую... (*Меняя тон.*) Между прочим, я всегда подозревала, что нянька пьет. Вы не вывели ее на чистую воду?

Портьюс. Как, по-твоему, он может знать это, Китти?

Леди Китти. У тебя не было детей, Хьюи, — откуда тебе знать, что они помнят, а чего — нет?

Элизабет (*спеша на вырuchu*). Лорд Портьюс, это — Арнолд.

Портьюс (*пожимая ему руку*). Здравствуйте. Я знал вашего отца.

Арнолд. Естественно.

Портьюс. Он жив еще?

Арнолд. Естественно.

Портьюс. Должно быть, процветает. Он здоров?

Арнолд. Весьма.

Портьюс. Кхм! Заботится о себе, я полагаю. А я совсем расклеился. Ваш чертов климат не по мне.

Элизабет (*леди Китти*). Это миссис Шенстон. А это — мистер Лутон. Наше сборище вас не смущает?

Леди Китти (*пожимая руки Анне и Тедди*). Что вы, я в восторге. Сколько народу я тут собирала, политиков разных. Какая у вас чудесная комната!

Элизабет. Это все Арнолд.

Арнолд (*волнуясь*). Вам нравится этот стул? Я его только что приобрел. Я собираю эту эпоху.

Портьюс (*безапелляционно*). Подделка.

Арнолд (*возмущенно*). Ни на минуту не допускаю этой мысли.

Портьюс. Ножки не те.

Арнолд. Вы говорите странные вещи. Именно ножки такие, какие нужны.

Леди Китти. Безусловно.

Портьюс. Ты ничего в этом не смыслишь, Китти.

Леди Китти. Это ты так считаешь. А по-моему, очень красивый стул. Хепплауйт?

Арнолд. Нет, Шератон.

Леди Китти. Ну конечно. «Школа злословия».

Портьюс. Дорогая: Шератон. Шератон.

Леди Китти. Я же это и говорю. Во Флоренции я играла сцену с ширмой в любительских спектаклях, и Эрмит Новелли, великий итальянский трагик, признавался, что лучшей леди Тизл он не видал.

Портьюс. Кхм!

Леди Китти (*Элизабет*). Вы играете в спектаклях?

Элизабет. Куда мне! Я бы умерла от волнения.

Леди Китти. А я никогда не волнуюсь. Я прирожденная актриса. И проживи я жизнь сначала, я бы, конечно, пошла на сцену. Удивительно, как они сохраняют молодость. Я имею в виду актрис. Видимо, потому, я думаю, что все время играют разные роли. Как по-твоему, Хьюи, Арнолд на меня похож или на отца? Мне-то кажется, что он моя копия. Арнолд, тебе, видимо, следует знать, что прошлой зимой я перешла в католичество. Я много лет собиралась, а в наш последний наезд в Монте-Карло встретила совершенно восхитительного монсеньора. Я посвятила его в свои проблемы, и он так замечательно меня понял. Хьюи, я знала, не одобрит, и держала это в секрете. (*К Элизабет.*) Вы не интересуетесь религией? По-моему, это совершенно замечательная вещь. Мы обязательно переговорим о ней на днях. (*Показывает на платье.*) Калло?

Элизабет. Нет, Уорт.

Леди Китти. Я так и думала: Уорт или Калло. Я сама шью у Уорта и всегда говорю ему: линия, мой дорогой Уорт, линия. Что с тобой, Хьюи?

Портьюс. Адски мешают новые зубы.

Леди Китти. Мужчины удивительные люди. Они не могут переносить малейшее неудобство. У женщины вся жизнь из неудобств — с утра и до поздней ночи. Ты думаешь, удобно спать с маской на лице?

Портьюс. Как-то они не так сидят.

Леди Китти. Да зубы тут ни при чем. Тут десны виноваты.

Портьюс. Дантист ни к черту. В этом все дело.

Леди Китти. А по-моему, совершенно замечательный дантист. Мне он обещал, что я до пятидесяти лет прохожу со своими зубами. У него китайская комната — так интересно, он снимает зубной камень, а сам рассказывает о вдовствующей императрице, душечке. Вы не интересуетесь Китаем? По-моему, это совершенно замечательная вещь. Представьте, они все отрезали свои косицы. По-моему, безумно жаль. Так оригинально было.

Входит дворецкий.

Дворецкий. Кушать подано, сэр.

Элизабет. Вы не посмотрите ваши комнаты?

Портьюс. Мы увидим их после обеда.

Леди Китти. Мне нужно попудрить нос, Хьюи.

Портьюс. Пудри здесь.

Леди Китти. Таких невнимательных, как ты, поискать

Портьюс. Ты продержишь нас еще полчаса. Я тебя знаю

Леди Китти (*роясь в сумке*). Ладно-ладно, мир — любой ценой, как говаривал лорд Биконсфилд.

Портьюс. Он наговорил кучу глупостей, Китти, но этого он не говорил.

Леди Китти меняется в лице. Сначала оно становится растерянным, потом испуганным и наконец каменеет от ужаса.

Леди Китти. О-о!

Элизабет. Что случилось?

Леди Китти (*с болью*). Губная помада.

Элизабет. Вы не можете ее найти?

Леди Китти. В авто она была при мне. Хьюи, ты помнишь, что в авто она была при мне?

Портьюс. Ничего я не помню.

Леди Китти. Не валяй дурака, Хьюи. Когда мы въезжали в ворота, я еще сказала: «Дом, мой дом!» — и тогда же достала ее и помазала губы.

Элизабет. Наверное, в авто вы ее и обронили.

Леди Китти. Ради бога, пошлите кого-нибудь посмотреть.

Арнолд. Я позвоню.

Леди Китти. Без помады я погибший человек. Дайте мне пока свою, милая.

Элизабет. Очень сожалею, но, боюсь, у меня нет.

Леди Китти. То есть — как, вы не пользуетесь губной помадой?

Элизабет. Никогда.

Портьюс. Посмотри на ее губы. На кой черт, по-твоему, ей мазаться всяким дерьмом?

Леди Китти. Дорогая моя, вы делаете страшную ошибку! Вы должны пользоваться губной помадой. Это очень полезно для губ. И мужчинам нравится. Я бы просто не прожила без губной помады.

В стеклянной двери появляется Чампьюн-Чини, держа в поднятой руке золотую коробочку.

Чампьюн-Чини (*входя*). Никто тут не терял штуковину, содержащую, если не ошибаюсь, заветное туалетное снадобье?

Арнолд и Элизабет как громом поражены его появлением, и даже Тедди и Анна тушуются. Зато несдержанно ликует леди Китти.

Леди Китти. Моя губная помада!

Чампьюн-Чини. Я нашел ее в аллее и счел за благо принести сюда.

Леди Китти. Это святой Антоний. Я помолилась ему, когда рылась в сумочке.

Портьюс. Святой Антоний — как же! Это Клайв

Леди Китти (*от изумления потерявшая интерес к помаде*). Клайв!

Чампьюн-Чини. Ты не узнала меня. Мы давненько не виделись.

Леди Китти. Клайв, ты совсем седой, бедняга.

Чампьюн-Чини (*протягивая ей руку*). Надеюсь, вы с приятностью проехали из Лондона.

Леди Китти (*подставляя ему щеку*). Можешь поцеловать меня, Клайв.

Чампьюн-Чини (*целуя ее*). Ты не возражаешь, Хьюи?

Портьюс (*крякая*). Кхм!

Чампьюн-Чини (*с радужным видом направляясь к нему*). Как поживаешь, дорогой Хьюи?

Портьюс. Адский ревматизм, если тебе интересно. Мерзкий климат в этой стране.

Чампьюн-Чини. Ты не хочешь пожать мне руку, Хьюи?

Портьюс. Я не против того, чтобы пожать тебе руку.

Чампьюн-Чини. Ты постарел, бедняга.

Портьюс. Меня тут спрашивали на днях, сколько тебе лет.

Чампъон-Чини. Удивились, когда ты сказал?
Портъюс. Что — удивились! Поразились, как ты еще не умер.

Входит дворецкий.

Дворецкий. Звонили, сэр?

Арнолд. Нет. То есть звонил. Это уже не имеет значения.

Чампъон-Чини (*уходящему дворецкому*). Погодите. Дорогая Элизабет, я пришел довериться вашему милосердию. Мои слуги заняты исключительно собою. В коттедже не нашлось для меня ни крошки.

Элизабет. Мы будем в восторге, если вы пообедаете с нами.

Чампъон-Чини. В противном случае я просто сейчас умру от голода. Ты не возражаешь, Арнолд?

Арнолд. Папа, о чем ты?

Элизабет (*дворецкому*). Мистер Чини обедает с нами.

Дворецкий. Слушаюсь, мадам.

Чампъон-Чини (*леди Китти*). А как ты находишь Арнолда?

Леди Китти. Обожаю его.

Чампъон-Чини. Правда он вырос? Впрочем, ничего удивительного — за тридцать-то лет.

Арнолд. Ради бога, Элизабет, веди нас обедать!

Конец первого действия

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Та же сцена, что в предыдущем действии.

Послеполуденное время. Портъюс и леди Китти, Анна и Тедди играют в бридж. Элизабет и Чампъон-Чини следят за игрой.

Портъюс и леди Китти — партнеры.

Чампъон-Чини. Элизабет, когда возвращается Арнолд?

Элизабет. Видимо, уже скоро.

Чампъон-Чини. У него сегодня выступление?

Элизабет. Нет, просто совещание с доверенным лицом и одним-двумя избирателями.

Портъюс (*раздражаясь*). Как можно играть в бридж, когда кругом стоит гомон, — этого я, воля ваша, не могу понять.

Элизабет (*улыбаясь*). Извините.

Анна. Мне видно ваши карты, лорд Портьюс.

Портьюс. На здоровье.

Леди Китти. Сколько раз я тебе говорила: держи карты прямо. Ведь неинтересно играть, когда тебе суют в глаза свои карты.

Портьюс. Не обязательно в них глядеть.

Леди Китти. Каким большинством прошел Арнолд на последних выборах?

Элизабет. Семьсот с чем-то голосов.

Чампьюн-Чини. Ему надо сохранить их, если он хочет усидеть на своем месте в следующий раз.

Портьюс. Мы играем в бридж или говорим о политике?

Леди Китти. А мне разговор совсем не мешает играть.

Портьюс. Потому что и за разговором и молча ты играешь одинаково плохо.

Леди Китти. Тебе ничего не стоит обидеть человека, Хьюи. Раз я тебе не подыгрываю, ты уже считаешь, что я вовсе не умею играть.

Портьюс. Что ты мне не подыгрываешь — это ценное признание. Тогда какой же это бридж, ради Христа?

Чампьюн-Чини. Я согласен с Китти. Ненавижу, когда люди превращают бридж в похороны и тревожатся о промокших ногах.

Портьюс. Разумеется, ты станешь на ее сторону.

Леди Китти. Для него это только естественно.

Чампьюн-Чини. У меня от природы легкий характер.

Портьюс. Тебе его не успели испортить.

Леди Китти. Не могу уразуметь, что ты имеешь в виду, Хьюи.

Портьюс (*сдерживая себя*). Тебе очень нужно бить моего туза?

Леди Китти (*простодушно*). Так это был твой туз, милый?

Портьюс (*свирепея*). Да, это был мой туз.

Леди Китти. А у меня это единственный козырь. Что же я его буду держать?

Портьюс. Не надо это всем объявлять. Теперь она знает мои карты.

Леди Китти. Она и так знала.

Портьюс. Каким образом?

Леди Китти. Она же сказала, что видела их.

Анна. Я не видела. Я сказала: их видно.

Леди Китти. Я так рассудила, что раз их видно, то она их видит.

Портьюс. Положительно, у тебя дикие представления, Китти.

Чампьюн-Чини. Отнюдь нет. Если мне по глупости показывают карты, я, конечно, в них загляну.

Портьюс (*возмущаясь*). Почитай правила бриджа и уясни, что зрителям возбраняется мешать игре.

Чампьюн-Чини. Это вопрос морали, мой дорогой Хьюи, бридж тут ни при чем.

Анна. Как бы то ни было, я сыграла. И у меня роббер.

Тедди. Была игра не в масть.

Портьюс. Кто прокинулся?

Тедди. Вы.

Портьюс. Чушь. Я никогда не прокидываюсь.

Тедди. Извольте убедиться. (*Переворачивает взятки.*) Вы сбросили трефовку в третьей червонной взятке, а у вас была еще червонка.

Портьюс. У меня всего-то были две червы.

Тедди. Нет, больше. Смотрите. Вот карта, которой вы играли в предпоследней взятке.

Леди Китти (*радуясь его изобличению*). Сомнений нет, Хьюи: ты прокинулся.

Портьюс. Говорю вам: я никогда не прокидываюсь, никогда.

Чампьюн-Чини. Ты прокинулся, Хьюи. Я еще удивился, зачем ты это делаешь.

Портьюс. Тут кто хочешь прокинется, когда вокруг галдеж.

Тедди. Значит, нам еще сто очков.

Портьюс (*Чампьюн-Чини*). Я попросил бы не дышать мне в затылок. Я не могу играть в бридж, когда дышат в затылок.

Встав от карточного стола, общество расходится по комнате.

Анна. Пока не надо переодеваться, хочу полежать в гамаке с книгой.

Тедди (*он вел счет*). Так я записываю?

Портьюс (*оставшись один за столом, раскладывает пасьянс*). Конечно, записывайте. Я никогда не прокидываюсь.

Анна уходит.

Леди Китти. Ты не хочешь прогуляться, Хьюи?

Портьюс. Для чего?

Леди Китти. Для моциона.

Портьюс. Ненавижу моцион
Чампьюн-Чини *смотрит на его расклад*) Семерку
кладем на восьмерку

Портьюс отмалчивается.

Леди Китти Семерку кладем на восьмерку, Хьюи.

Портьюс. Я не собираюсь класть семерку на восьмерку.

Чампьюн-Чини. Валета кладем на даму

Портьюс. Благодарю, я не слепой

Леди Китти. Тройку кладем на четверку

Чампьюн-Чини. Эти все можно снять.

Портьюс *(в бешенстве)*. Кто раскладывает пасьянс:
я или вы?

Леди Китти. Ты все пропускаешь

Портьюс. Это моя забота.

Чампьюн-Чини. Напрасно ты нервничаешь, Хьюи

Портьюс. Убирайтесь оба. Вы меня раздражаете.

Леди Китти. Мы тебе хотели помочь, Хьюи

Портьюс. Не надо мне помогать. Я хочу сам

Леди Китти Ты совершенно невозможно ведешь себя, Хьюи.

Портьюс. Это сумасшествие какое-то, когда тебя постоянно дергают за пасьянсом.

Чампьюн-Чини. Больше не скажем ни единого слова.

Портьюс. Теперь кладем ту тройку. Если бы я, как дурак, выложил тогда семерку, я бы не смог снять все эти.

Под их молчаливым присмотром выкладывает несколько карт

Леди Китти и Чампьюн Чини *(вместе)* Четверку кладем на пятерку

Портьюс *(в гневе бросая карты)*. Черт бы вас взял! Что вы говорите под руку? Нельзя же так!

Чампьюн-Чини. Она выходила, дружище.

Портьюс. Я знал, что она выйдет. Будьте вы неладны.

Леди Китти. Какой ты придира, Хьюи!

Портьюс. Станешь таким! Я сколько раз просил не говорить под руку, когда я раскладываю пасьянс.

Леди Китти. Не говори со мной таким тоном, Хьюи.

Портьюс. Как хочу, так и буду говорить.

Леди Китти *(разражаясь слезами)*. Ты грубиян! Просто грубиян!

Убегает из комнаты

Портью с. А, черт! Теперь она ударится в слезы.

С трудом уволакивается в парк. На сцене остаются Чампьюн-Чини, Элизабет и Тедди. Минутное замешательство. Иронически улыбаясь, Чампьюн-Чини переводит взгляд с Тедди на Элизабет.

Чампьюн-Чини. Ей-богу, они совсем супружеская пара. Только и цепляются друг к другу.

Элизабет (*холодно*). Очень мило, что вы зачастили к нам, как только они приехали. Это сильно разрядило обстановку.

Чампьюн-Чини. Ирония? Наш край, земля, королевство — наша Англия не очень благоволит к этому риторическому приему.

Элизабет. Что вы всех баламутите?

Чампьюн-Чини. Как же проникает улица в речь сегодняшних молодых дам! То обстоятельство, что Арнолд пурист, видимо, увлекло вас в другую крайность.

Элизабет. Во всяком случае, вы меня поняли.

Чампьюн-Чини (*с улыбкой*). Во мне шевелится смутное подозрение.

Элизабет. Вы обещали держаться в стороне. Зачем вы пришли в ту самую минуту, когда они приехали?

Чампьюн-Чини. Из любопытства, детка. Вполне простительный грех.

Элизабет. С того времени вы постоянно здесь. Раньше вы не очень баловали нас вниманием, когда наезжали в свой коттедж.

Чампьюн-Чини. Я получаю несказанное развлечение.

Элизабет. Меня особенно поражает, что вы с каким-то злорадством разжигаете их ссоры.

Чампьюн-Чини. По-моему, особой любви там уже нет, как вы считаете?

Тедди порывается уйти.

Элизабет. Не уходи, Тедди.

Чампьюн-Чини. Пожалуйста, не уходите. Я не надолго задержусь. Перед самым ее приездом у нас был разговор о леди Китти. (*Элизабет.*) Помните? Бледная, хрупкая, в черных шелках и старых кружевах.

Элизабет (*фыркнув от смеха*). Вы сущий дьявол.

Чампьюн-Чини. Что ж, он был записной остряк и джентльмен.

Элизабет. А вы сами-то ожидали увидеть ее такой?

Ч а м п ь о н - Ч и н и. Ни в малейшей степени, детка. Вы спрашивали на днях, какой она была, когда сбежала из дома. Я не сказал вам и половины. Она была сама беспечность и простота. Кто бы подумал, что живость может вылиться в распущенность, а очаровательная непосредственность превратится в смехотворное жеманство?

Э л и з а б е т. Мне действует на нервы, как вы говорите о ней.

Ч а м п ь о н - Ч и н и. Так это не я, а правда действует вам на нервы.

Э л и з а б е т. В свое время вы ее любили. Неужели вы больше ничего не чувствуете к ней?

Ч а м п ь о н - Ч и н и. Абсолютно ничего. С какой стати?

Э л и з а б е т. Она мать вашего сына.

Ч а м п ь о н - Ч и н и. Деточка, у вас очаровательный характер—как у нее когда-то: простой, открытый и бесхитростный. Но не дайте же пустельге затмить вам здравый смысл.

Э л и з а б е т. Вы не имеете права судить ее. Она здесь всего два дня. Мы ничего не знаем о ней.

Ч а м п ь о н - Ч и н и. Моя дорогая, ее сердце так же нарумянено, как лицо. У нее нет ни единого искреннего чувства. Она сплошная мишура. Вы считаете меня прожженным старым циником. А я, вспоминая, какой она была, если бы не смеялся над ней сейчас, то должен был бы плакать.

Э л и з а б е т. Откуда вы знаете, что она не стала бы точно такой же, если бы оставалась вашей женой? Вы думаете, ваше влияние было бы благотворным?

Ч а м п ь о н - Ч и н и. Мне нравится, когда вы такая колючая и даже дерзкая.

Э л и з а б е т. Тогда извольте ответить на мой вопрос.

Ч а м п ь о н - Ч и н и. Ей было всего двадцать семь лет, когда она ушла. Она могла стать чем угодно. Могла удовлетворить ваши ожидания. Очень немногие из нас в силах подчинить себе обстоятельства. Мы производное нашей среды. Она потому глупая никчемная женщина, что вела глупую никчемную жизнь.

Э л и з а б е т (*встревоженно*). С вами просто страшно сегодня.

Ч а м п ь о н - Ч и н и. Я не говорю, что именно я мог уберечь ее от участи жалкой пародии на состарившуюся красотку. Жизнь могла уберечь. Тут у нее были бы друзья, соответствующие ее положению, пристойные занятия и достойные интересы. Вы спросите ее, как она жила все эти

годы, общаясь с разведенками, содержанками и того же разбора мужчинами. Нет ничего печальнее сладкой жизни.

Элизабет. Во всяком случае, в ее жизни была любовь, и любовь высокая. У меня к ней только жалость и сочувствие.

Чампьюн-Чини. Если она любила, то что, по-вашему, она чувствовала, видя погибшего Хьюи? Вы поглядите на него. Вчера он набрался после обеда, и позавчера тоже.

Элизабет. Я знаю.

Чампьюн-Чини. А ей хоть бы что. Вы представляете, сколько вечеров, раз за разом, он вот так набирался? Разве он таким был тридцать лет назад? Вы можете вообразить, что это был блестящий молодой человек, которого все прочили в премьер-министры? Вы поглядите на него теперь. Сварливый осоловелый дед с фальшивыми зубами.

Элизабет. У вас тоже фальшивые зубы.

Чампьюн-Чини. Но мне они, черт побери, впору. Она его погубила, и она это знает.

Элизабет (*подозрительно взглядывая на него*) А почему вы все это говорите мне?

Чампьюн-Чини. Я задеваю ваши чувства?

Элизабет. Пока с меня достаточно.

Чампьюн-Чини. Я пойду взглянуть на серебряного караса. Когда Арнолд появится, мне надо поговорить с ним. (*Церемонно.*) Боюсь, мы наскучили мистеру Лутону.

Тедди. Нисколько.

Чампьюн-Чини. Когда вы возвращаетесь в ОМШ?

Тедди. Через месяц примерно.

Чампьюн-Чини. Понятно. (*Уходит.*)

Элизабет. Интересно, какая у него была задняя мысль.

Тедди. Ты думаешь, он в тебя метил?

Элизабет. Он умен, как стая обезьян.

Маленькая пауза. Решившись, Тедди заговаривает иным тоном. Он серьезен и, пожалуй, встревожен.

Тедди. Стало очень трудно остаться наедине с тобой хоть на пару минут. Ты не сама ли создаешь эти трудности?

Элизабет. Мне надо было подумать.

Тедди. Я решил завтра уехать.

Элизабет. Почему?

Тедди. Ты нужна мне совсем или никак.

Элизабет. Ты очень требовательный.

Тедди. Ты сказала... что любишь меня.

Элизабет. Да.

Тедди. Ты не против, если мы сейчас все обсудим?

Элизабет. Не надо.

Тедди (*хмурясь*). Я стал какой-то робкий и нескладный. Я вызубрил все, что хотел тебе сказать, а сейчас мне это кажется жалким лепетом.

Элизабет. Боюсь, я сейчас расплачусь.

Тедди. Я чувствую, какое это невероятно серьезное дело, и лучше нам решать головой. А ты человек настроения, правда?

Элизабет (*улыбаясь сквозь слезы*). Как будто ты не такой.

Тедди. Поэтому мне и надо заранее продумать все, что я хочу тебе сказать. Я считаю, было бы страшно нечестно ухаживать за тобой и прочее и заставить тебя саму увлечься. Я все это записал и хотел оставить тебе как письмо.

Элизабет. Что же не оставил?

Тедди. Испугался. Письмо — это что-то холодное. А я тебя страшно люблю.

Элизабет. Ради бога, не говори так.

Тедди. Что ты плачешь? Пожалуйста, не плачь, а то я совсем раскисну.

Элизабет (*выжимая улыбку*). Прости. Это ничего не значит. Просто текут слезы.

Тедди. Нужно держаться обыкновенно — в этом наше единственное спасение.

Смолкает. Самообладание трудно дается ему. Прокашливается, недовольно морщится.

Элизабет. Что с тобой?

Тедди. В горле что-то засело. Идиотство. Надо перекурить.

Она молча смотрит, как он закуривает сигарету

Понимаешь, я никого раньше не любил по-настоящему. У меня сейчас мозги набекрень. Как я буду жить без тебя — не представляю... Старый дурак знает, что я тебя люблю?

Элизабет. Мне кажется, да.

Тедди. Когда он толковал, как леди Китти сломала карьеру лорду Портьюсу, я подумал, что на уме у него другое.

Элизабет. Наверное, хотел убедить меня не ломать твою карьеру.

Тедди. Очень внимательно с его стороны, только у меня нечего ломать. А жаль. Впервые в жизни мне хочется быть чертовски важной шишкой, чтобы бросить все к чертям и доказать тебе, что ты для меня важнее всего на свете.

Элизабет (*нежно*). Ты прелесть, Тедди.

Тедди. Понимаешь, я не умею ухаживать, а сейчас бы и просто не стал, потому что хочу быть сугубо практичным.

Элизабет (*поддразнивая*). Я рада, что ты не умеешь ухаживать. Сейчас бы я этого просто не вынесла.

Тедди. Понимаешь, во мне нет ничего романтического и чего там еще полагается. Я самый заурядный бизнесмен, аграрий. Все это кошмарно серьезно, и нам надо сохранять здравомыслие.

Элизабет (*поперхнувшись*). Какой ты умный!

Тедди. Не надо, Элизабет, не говори так со мной. Я хочу, чтобы ты взвесила все «за» и «против», а у самого сердце разрывается, и ты знаешь, что я тебя люблю. Люблю.

Элизабет (*страстно выдыхая*). Ты мое сокровище!

Тедди (*сердясь скорее на себя, чем на Элизабет*). Не глупи, Элизабет. Я не собираюсь говорить, что не смогу без тебя жить, и вообще разводить эту дребедень. Ты знаешь, что ты для меня: все на свете. (*Почти капитулирую перед гиблым делом.*) Ах ты, боже мой!

Элизабет (*прерывающимся голосом*). Неужели ты думаешь, я заранее не знаю все, что ты можешь мне сказать?

Тедди (*в отчаянии*). Но я же ничего толком не сказал. Я бизнесмен и хочу все поставить на деловую основу, если это тебе что-нибудь говорит.

Элизабет (*улыбаясь*). Я не верю, что ты очень хороший бизнесмен.

Тедди (*резко*). Не говори чего не знаешь. Я первоклассный бизнесмен, только не в этих делах, наверно. (*Безнадежно.*) Не пойму, почему у меня не выходит.

Элизабет. Что же нам делать?

Тедди. Понимаешь, я ведь не потому тебя люблю, что ты страшно красивая. Я бы тебя любил и безобразной старухой. Я люблю тебя, а не твою внешность. И никакая это, к черту, не любовь! Просто ты мне ужасно нравишься. Ты потрясающий товарищ, по-моему. Мне просто хочется быть рядом с тобой. Для меня радость и счастье знать, что ты под рукой. Я страшно обожаю тебя.

Элизабет (*смеясь сквозь слезы*). Интересно ты себе представляешь деловое предложение.

Тедди. Проклятье, ты ко всему привязываешься.

Элизабет. Ты ругнулся.

Тедди. Правильно.

Элизабет. Ты злобно ругнулся, как солдат.

Тедди. Право, Элизабет, ты невыносима.

Элизабет. А что я делаю?

Тедди. Только то, что оттягиваешь мой перекур. Я хочу сказать абсолютно простую вещь: что я самый заурядный бизнесмен.

Элизабет. Ты уже говорил.

Тедди (*сердясь*). Помолчи! У меня, кроме заработка, ни шиллинга своего нет. Никакого положения. Ничего. А ты богачка, ты важная персона, у тебя все, чего только можно пожелать. Ужасная наглость, что я вообще завожу с тобой этот разговор. Но в конечном счете только одна вещь имеет значение в жизни: любовь. И я тебя люблю. Бросай все это, Элизабет, и уходи ко мне.

Элизабет. Ты сердишься на меня?

Тедди. Я в бешенстве.

Элизабет. Милый.

Тедди. Если я тебе не нужен, так и скажи, и дай мне быстрее убраться отсюда.

Элизабет. Тедди, мне ничего не нужно в этой жизни, кроме тебя. Я пойду за тобой куда угодно. Я люблю тебя.

Тедди (*у него сваливается гора с плеч*). Ну наконец-то!

Элизабет. Это правда так много значит для тебя, Тедди?

Тедди (*возвращая себе самообладание*). Ты дурочка, Элизабет.

Элизабет. Ты сам дурочок. Заставляешь меня плакать.

Тедди. Вот что значит: человек настроения.

Элизабет. Сам такой. И бизнесмен ты наверняка никудышный.

Тедди. Думай как хочешь. Ты сделала меня страшно счастливым. Какая замечательная жизнь начинается.

Элизабет. Ты ангел, Тедди.

Тедди. Давай скорее выбираться отсюда. Чего ради терять время? Элизабет.

Элизабет. Что?

Тедди. Ничего. Просто захотелось сказать: Элизабет.

Элизабет. Дурочок.

Тедди. Слушай, ты умеешь стрелять?

Элизабет. Нет.

Тедди. Я тебя научу. Ты не представляешь, как это потрясающе: уйти на рассвете из лагеря и бродить в джунглях. Вечером не помнишь себя от усталости, небо усыпано

звездами. Что может быть лучше? Я ничего не рассказывал тебе, пока ты не решишься. Я настроился быть сугубо практичным.

Элизабет (*поддразнивая его*). Практичного в твоих словах было одно: что только любовь имеет значение в жизни.

Тедди (*счастливым*). Правильно, в следующий раз дай мне подножку с другой стороны, чтобы я не хромал на одну ногу.

Элизабет. А интересно, когда любовь взаимная, правда?

Тедди. Слушай, мне лучше сразу отсюда убраться, ты не думаешь? Оставаться... в этом доме... довольно противно.

Элизабет. Сегодня ты уже не уедешь. Нет поездов.

Тедди. Уеду завтра. Буду ждать в Лондоне, пока ты не соберешься.

Элизабет. Только, знаешь, я не хочу уходить, как леди Китти, оставив записку на игольной подушечке. Я хочу поговорить с Арнолдом.

Тедди. Да? А ты не думаешь, что заварится жуткая буза?

Элизабет. Пусть. Я не желаю быть коварной обманщицей.

Тедди. Тогда давай все вытерпим вместе.

Элизабет. Нет, с Арнолдом я поговорю сама.

Тедди. Ты никому не дашь переубедить себя?

Элизабет. Никому.

Он протягивает ей руку, она берет ее. Строго, почти торжественно оба смотрят друг на друга обожающими глазами. Снаружи слышен шум подъехавшего автомобиля.

Элизабет. Авто. Арнолд вернулся. Пойду вымою глаза. Не хочется, чтобы они видели, что я плакала.

Тедди. Хорошо. (*Вслед ей.*) Элизабет.

Элизабет (*замирая*). Что?

Тедди. Бог помочь.

Элизабет (*нежно*). Идиот.

Уходят. Элизабет во внутреннюю дверь, Тедди — в выходящую в парк. Ненадолго на сцене пусто. Появляется Арнолд. Садится, достает бумаги из папки. Входит леди Китти. Он встает.

Леди Китти. Я видела, как ты вошел. Нет-нет, дорогой, не вставай. Со мной ни к чему эти церемонии.

Арнолд. Я звонил, чтобы подали чай.

Леди Китти. Может, сейчас как раз случай немного поболтать. Мы и пяти минут не были вместе. Мне охота познакомиться с тобой.

Арнолд. Я хочу, чтобы вы знали: отец присутствует здесь помимо моего желания.

Леди Китти. Что ты, мне так интересно увидеться с ним.

Арнолд. Я боялся, что вы с лордом Портьюсом будете чувствовать себя стесненно.

Леди Китти. Ничего подобного. Хьюи был его закадычным другом. Они вместе учились в Итоне и Оксфорде. Кстати, за время моего отсутствия твой отец сильно изменился в лучшую сторону. Был так себе молодой человек, а теперь это совершенный красавец.

Лакей вносит поднос с чайным прибором.

Леди Китти. Я налью тебе?

Арнолд. Премного благодарен.

Леди Китти. Ты пьешь с сахаром?

Арнолд. Нет, я отказался от него в войну

Леди Китти. Правильно сделал. Очень вредно для фигуры. И патриотично, кроме того. Ну не чушь ли это — спрашивать, с сахаром или без пьет чай твой собственный сын? Право, удивительная штука — жизнь. Грустная, безусловно, но какая же удивительная! Бывает, лежу ночью да и расмеюсь про себя, какая она удивительная.

Арнолд. А я, боюсь, наоборот, чересчур серьезный.

Леди Китти. Сколько тебе лет, Арнолд?

Арнолд. Тридцать пять.

Леди Китти. В самом деле? Действительно, я была совсем ребенком, когда вышла за твоего отца.

Арнолд. Действительно, он говорил, вам было двадцать два года.

Леди Китти. Чепуха! Я вышла за него буквально из детской. И в день свадьбы впервые сделала себе взрослую прическу.

Арнолд. Где лорд Портьюс?

Леди Китти. Дорогой, мне очень дико слышать, как ты называешь его лордом Портьюсом. Почему тебе не звать его — дядя Хьюи?

Арнолд. Он мне все-таки не дядя.

Леди Китти. Он тебе крестный отец. Ты знаешь, он тебе понравится, если ты с ним ближе сойдешься. Я очень надеюсь, что вы с Элизабет погостите у нас во Флоренции. Я совершенно обожаю Элизабет. Такая красавица.

Арнолд. У нее дивные волосы.

Леди Китти. Она ведь их не подкрашивает?

Арнолд. Нет

Леди Китти. Я все гадала: да или нет? Бывают же совпадения: у нас совершенно одинаковые волосы. Помоему, это доказывает, что тебя с отцом привлекает один тип. Наследственность — правда это интересно?

Арнолд. Чрезвычайно.

Леди Китти. Хотя, став католичкой, я в нее больше не верю. Дарвин и прочее. Страшно это. Противно. Мало-привлекательно, наконец.

Из парка входит Чампьюн-Чини.

Чампьюн-Чини. Я не помешаю?

Леди Китти. Входи, Клайв. Мы с Арнолдом замечательно поговорили по душам.

Чампьюн-Чини. Прекрасно.

Арнолд. Отец, я на минуту заглянул к Харви на обратном пути. Они совершают преступление по отношению к дому.

Чампьюн-Чини. Что они натворили?

Арнолд. Почти безупречный георгианский дом обставлен страшной викторианской мебелью. Я высказал им свои соображения, но это безнадежно. Они говорят, что привязаны к этой мебели.

Чампьюн-Чини. Арнолду надо было стать художником по интерьеру.

Леди Китти. У него замечательный вкус. Он пошел в меня.

Арнолд. Полагаю, у меня есть в некотором смысле *fair*¹. Украшать дома — моя страсть.

Леди Китти. Этот дом ты сделал обворожительным.

Чампьюн-Чини. А помнишь, Китти, при нас тут был сплошной ситец и покойные кресла?

Леди Китти. Да, полный ужас был, правда?

Чампьюн-Чини. В наше время с джентльменов и леди не спрашивали вкуса.

Арнолд. Я все приглядываюсь к этому стулу. После того как лорд Портыус забраковал его ножки, я не нахожу себе места.

Леди Китти. Да просто он был в плохом настроении.

Чампьюн-Чини. Он вообще какой-то невыдержанный эти дни, Китти.

¹ Нюх, чутье (*фр.*).

Леди Китти. О да.

Арнолд. Такое впечатление, что он знающий человек. Я отдал семьдесят пять фунтов за этот стул. Меня трудно провести. Я убежден, что настоящую вещь всегда чувствуешь.

Чампьюн-Чини. Не хватало, чтобы ты плохо спал из-за этого.

Арнолд. Именно это и происходит, отец. Прошлой ночью я видел совершенно кошмарный сон.

Леди Китти. А вот и Хьюи.

Арнолд. Я пойду за книгой о старой английской мебели. Там воспроизводится почти такой стул.

Входит Портьюс.

Портьюс. Мать честная, прямо семейный сбор.

Чампьюн-Чини. Я тоже подумал, что мы являем типично английскую семейную идиллию.

Арнолд. Я буду через пять минут. Мне есть кое-что показать вам, лорд Портьюс.

Уходит.

Чампьюн-Чини. Хьюи, не хочешь сыграть со мной в пикет?

Портьюс. Не особенно.

Чампьюн-Чини. Ты вроде бы всегда недолюбливал пикет.

Портьюс. Мой дорогой Клайв, вы, в Англии, не представляете, что такое — пикет.

Чампьюн-Чини. Так давай сыграем. Выиграешь кучу денег.

Портьюс. Я не хочу с тобой играть.

Леди Китти. Да почему же, Хьюи?

Портьюс. Зато хочу сказать, что мне не нравится, как ты себя держишь.

Чампьюн-Чини. Жаль. Перемениться в моем возрасте не обещаю.

Портьюс. Я не понимаю, зачем ты тут околачиваешься.

Чампьюн-Чини. Естественная привязанность к дому.

Портьюс. Имей ты хоть каплю такта, ты бы держался в стороне, пока мы тут.

Чампьюн-Чини. Мой дорогой Хьюи, мне непонятно твое отношение. Уж коли я закрыл глаза на прошлое, то у тебя-то какие возражения?

Портьюс. Это не прошлое, черт побери.

Чампьюн-Чини. В конце концов, я пострадавшая сторона.

Портьюс. Какого черта ты пострадавшая сторона?

Чампьюн-Чини. Постой, ведь ты убежал с моей женой.

Леди Китти. Слушайте, не ворошите вы древнюю историю. Не понимаю, почему мы не можем остаться друзьями.

Портьюс. Я прошу тебя не вмешиваться, Китти.

Леди Китти. Я очень люблю Клайва.

Портьюс. Тебе всегда было наплевать на Клайва. А сейчас говоришь, чтобы позлить меня.

Леди Китти. Отнюдь нет. Не понимаю, почему бы ему не приехать к нам погостить.

Чампьюн-Чини. Я бы с дорогой душой. Весной во Флоренции восхитительно, я полагаю. У вас есть центральное отопление?

Портьюс. Ты мне никогда не нравился, не нравишься сейчас и не понравишься впредь.

Чампьюн-Чини. Какая незадача! Потому что ты мне всегда нравился, нравишься сейчас и будешь нравиться впредь.

Леди Китти. В тебе есть что-то очень милое, Клайв.

Портьюс. Если ты так считаешь, то какого черта ты его бросила?

Леди Китти. Ты намерен упрекнуть меня в том, что я тебя полюбила? Какая мерзость, мерзость, мерзость!

Чампьюн-Чини. Ну-ну-ну, не ссорьтесь.

Леди Китти. Это он всегда начинает. Я такая покладистая — дальше некуда. А он святого выведет из себя.

Чампьюн-Чини. Хватит, хватит, Китти, не расстраивайся. У живущих вместе неизбежны свои приливы и отливы.

Портьюс. Что ты, к черту, несешь, не могу я понять.

Чампьюн-Чини. Я не мог не отметить, что вы нет-нет да и готовы поцапать. Это бывает со многими парами. Достойно сожаления.

Портьюс. Занимайся своим делом, окажи такую невероятную милость.

Леди Китти. А это и есть его дело. Вполне естественно, что он хочет моего счастья.

Чампьюн-Чини. Я души не чаю в Китти.

Портьюс. Тогда какого черта ты за ней плохо смотрел?

Чампьян-Чини. Мой дорогой Хьюи, ты был моим лучшим другом. Я доверял тебе. Виноват, допустил промашку

Портьюс. Непростительную, причем.

Леди Китти. Не знаю, что ты имеешь в виду, Хьюи

Портьюс. Не надо, не надо, Китти, не задирай меня

Леди Китти. Я знаю, что ты имеешь в виду

Портьюс. Тогда какого черта сказала, что не знаешь?

Леди Китти. И ради этого человека я пожертвовала всем! И тридцать лет прожила в антисанитарных условиях в грязнощем мраморном палаццо!

Чампьян-Чини. То есть как, у вас нет ванной комнаты?

Леди Китти. Я мылась в лохани.

Чампьян-Чини. Китти, бедняжка, как же ты намучилась!

Портьюс. Право, Китти, мне надоело слышать о твоих жертвах. Ты, видимо, полагаешь, что я ничем не жертвовал. Я был бы сейчас премьер-министром, не подвернись ты.

Леди Китти. Чепуха!

Портьюс. Как прикажешь тебя понимать? Все в один голос говорили, что я стану премьер-министром. Я бы стал премьер-министром, Клайв?

Чампьян-Чини. Все безусловно этого ожидали.

Портьюс. На тот день я был самый многообещающий молодой человек. Я обязательно вошел бы в Кабинет на очередных выборах.

Леди Китти. И тебя так же раскусили бы, как я. Мне надоело слышать, что я погубила твою карьеру. Нечего было губить. Премьер-министр! У тебя голова не та. Не тот характер.

Чампьян-Чини. Их отлично заменяют нахрап, напор и хорошо подвешенный язык.

Леди Китти. И потом, в политике вовсе не мужчины решают. За их спиной стоят женщины. Имей я такое желание, я могла бы сделать Клайва членом Кабинета

Портьюс. Клайва?

Леди Китти. При моей красоте, с моим обаянием, темпераментом и умом я могла сделать все, что угодно

Портьюс. Клайв был всего-навсего моим политическим секретарем. Как премьер-министр я мог бы сделать его губернатором колонии или чего там еще. Западной Австралии, к примеру. По доброте сердечной.

Леди Китти (*сверкая глазами*). Ты полагаешь, я дала бы похоронить себя в Западной Австралии? При моей красоте? С моим обаянием?

Портьюс. А может, губернатором Барбадоса.

Леди Китти (*в бешенстве*). Барбадос?! Пусть Барбадос катится... в Барбадос!

Портьюс. Ничего другого для вас у меня нет.

Леди Китти. Чепуха! У меня была бы Индия!

Портьюс. Я бы никогда не дал тебе Индию.

Леди Китти. Еще как дал бы!

Портьюс. Я говорю тебе: нет.

Леди Китти. Король дал бы мне Индию. И народ поддержал бы мои права на Индию. Только вице-королева — никем еще я не пожелала бы стать.

Портьюс. А я говорю тебе: пока интересы Британской империи... Черт! Опять зубы выскакивают!

Спешит выйти из комнаты.

Леди Китти. Это уже слишком. Я не могу это больше выносить. Я терпела его тридцать лет и теперь дошла до точки:

Чампьюн-Чини. Китти, милая, успокойся.

Леди Китти. Ничего не хочу слушать. Я твердо решила: кончено. (*Меняя тон.*) Когда я узнала, что после меня ты не жил в этом доме, я так растрогалась.

Чампьюн-Чини. Тут очень много кукушек. Они так зловредно кукуют, что мне, признаться, невольно их слышать.

Леди Китти. Когда я узнала, что ты не женился второй раз, я невольно подумала, что ты меня еще любишь.

Чампьюн-Чини. Я из тех немногих, кому опыт идет на пользу.

Леди Китти. В глазах церкви я по-прежнему твоя жена. Какая она мудрая, церковь. Она знает, что в конце концов женщина вернется к своей первой любви. Клайв, я хочу вернуться к тебе.

Чампьюн-Чини. Моя дорогая Китти, я бы не хотел извлекать выгоду из твоей минутной размолвки с Хьюи и допустить, что ты сделаешь шаг, о котором, я знаю, горько пожалеешь.

Леди Китти. Ты долго ждал меня. И потом — ради Арнолда.

Чампьюн-Чини. Ты в самом деле думаешь, что нам следует тревожиться об Арнолде? За прошедшие тридцать лет он свыкся с ситуацией.

Леди Китти (*чуть улыбнувшись*). Я, наверное, перебежала, Клайв.

Чампьюн-Чини. А я — нет. Я был славным юношей, Китти.

Леди Китти. Я знаю.

Чампьюн-Чини. И хорошо, что был, потому что это помогло мне стать скверным стариком.

Леди Китти. Что, прости?

С большой книгой в руках входит Арнолд.

Арнолд. Ну вот, нашел я эту книгу. А что, лорда Портьюса нет?

Леди Китти. Извини, Арнолд. Мы с отцом заняты.

Арнолд. Прошу прощения.

Уходит в парк.

Леди Китти. Объяснись, Клайв.

Чампьюн-Чини. Когда ты ушла от меня, Китти, я мучился, злился, страдал. А главное, чувствовал себя дураком.

Леди Китти. Как же самолюбивы мужчины.

Чампьюн-Чини. Но я завзятый историк, и я скоро обнаружил, что в моем незавидном положении перебивали чуть ли не все великие мужи.

Леди Китти. Я сама великая книжница. То, о чем ты говоришь, меня всегда поражало.

Чампьюн-Чини. А дело обстоит просто. Женщины не любят интеллект, и когда обнаруживают его в собственных мужьях, то отыгрываются как умеют, превращая их — ну, во что ты меня превратила.

Леди Китти. Очень тонко. Похоже на правду.

Чампьюн-Чини. Я счел себя выполнившим долг перед обществом и решил оставшуюся жизнь прожить в свое удовольствие. Палата общин всегда наводила на меня смертную скуку, и наш скандальный развод дал мне возможность отказаться от своего места. С моим уходом выяснилось, что страна прекрасным образом обходится без меня.

Леди Китти. Но неужели в твоей жизни больше не было любви?

Чампьюн-Чини. Скажи откровенно, Китти: тебе не кажется, что вокруг любви поднимают много ненужного шума?

Леди Китти. Нет ничего замечательнее в жизни.

Чампьюн-Чини. Ты несправима. Ты действительно думаешь, что она стоила всех этих жертв?

Леди Китти. Мой дорогой Клайв, я тебе прямо скажу начни я жизнь заново, я буду тебе неверной женой, хотя и не уйду от тебя.

Чампьюн-Чини. Несколько лет я скандальным образом был жертвой скрытого участия. И знаешь, столько прелестных созданий горели желанием утешить меня, что это даже стало утомительно. В интересах здоровья я сократил посещения гостиных Мейфэра.

Леди Китти. Что же было потом?

Чампьюн-Чини. А потом я стал регулярно доставлять себе удовольствие, материально поддерживая милых крошек скромного, скажем так, звания лет двадцати — двадцати пяти.

Леди Китти. Не могу понять, что вы находите в юных девицах. Они же скучные.

Чампьюн-Чини. Это дело вкуса. Я люблю старые вина, старых друзей и старые книги и питаю слабость к молодым женщинам. Когда им исполняется двадцать пять лет, я дарю им бриллиантовый перстень и заклинаю не переводить больше на развалину вроде меня свою молодость и красоту. Происходит чрезвычайно трогательная сцена, я овладел этим искусством в совершенстве, и потом я начинаю все сначала.

Леди Китти. Ты скверный старик, Клайв.

Чампьюн-Чини. Я сам тебе это сказал. Но, видит Бог, я счастливый старик.

Леди Китти. Передо мной одна-единственная перспектива

Чампьюн-Чини. Не пугай меня.

Леди Китти (*сверкнув улыбкой*). Переодеться к обеду

Чампьюн-Чини. Отлично. Я последую твоему примеру

Леди Китти уходит, разминувшись с вошедшей Элизабет

Элизабет. Где Арнолд?

Чампьюн-Чини. На террасе. Я позову.

Элизабет. Не затрудняйтесь.

Чампьюн-Чини. Я все равно иду к себе надеть смокинг (*Выходя.*) Арнолд!

Чампьюн-Чини уходит

Арнолд. Иду! (*Входит.*) А-а, Элизабет. Слушай, я ведь нашел репродукцию стула, который почти неотличим от моего. Он датируется тысяча семьсот пятидесятым годом. Смотри!

Элизабет. Очень интересно.

Арнолд. Хочу показать Портьюсу (*Ставит на место сдвинутый стул.*) Знаешь, меня выводит из себя, что люди не могут оставить вещи в покое. Стоит мне что-нибудь поставить на место, как кто-то обязательно сдвинет

Элизабет. Тебя это, наверное, страшно бесит

Арнолд. Безусловно. И самый большой беспорядок идет от тебя. Не могу понять, почему ты, как я, не гордишься этим домом. В конце концов, это одна из достопримечательностей графства.

Элизабет. Боюсь, я тебя не вполне устраиваю.

Арнолд (*добродушно*). Мне об этом неизвестно. У меня две заботы в жизни: политика и интерьеры, и нужно быть совершенным дураком, чтобы не видеть твое полное безразличие к ним.

Элизабет. Нас мало что объединяет. Арнолд, правда

Арнолд. Вряд ли ты станешь винить в этом меня

Элизабет. Я и не виню. Ты ни в чем не виноват. Я не нахожу в тебе решительно никаких недостатков.

Арнолд (*настороженный ее тоном*). Бог мой, что все это значит?

Элизабет. В самом деле, незачем ходить вокруг да около. Я хочу, чтобы ты меня отпустил.

Арнолд. Куда?

Элизабет. Вообще. Навсегда.

Арнолд. Детка, о чем ты?

Элизабет. Я хочу быть свободной.

Арнолд (*его это скорее забавляет, нежели сбивает с толку*). Не смейся, дорогая. Ты, видимо, утомилась, и тебе нужно переменить обстановку. Если хочешь, свожу тебя в Париж на пару недель.

Элизабет. Я не стала бы заводить об этом речь, если бы не приняла решение. Мы женаты три года, и я не скажу что это удачный брак. Мне откровенно надоела жизнь, на которую ты меня обрекаешь.

Арнолд. С твоего позволения, это твоя беда. Мы ведем яркую, содержательную жизнь. Знаемся со многими превосходными людьми.

Элизабет. Я охотно допускаю, что вся беда во мне. Но что это переменит? Мне только двадцать пять лет. Если я совершила ошибку, у меня есть время исправить ее.

Арнолд. Я не могу заставить себя отнестись к тебе серьезно.

Элизабет. Пойми, я не люблю тебя.

Арнолд. Весьма сожалею. Тебя, однако, не заставляли выходить за меня замуж. Сказавши «а», говори «б».

Элизабет. Необязательно. Можно сказать любую другую букву.

Арнолд. Ради бога, не будь смешной, Элизабет.

Элизабет. Я твердо решила уйти, Арнолд.

Арнолд. Хватит, хватит, Элизабет, будь благоразумна. У тебя нет никаких причин уходить от меня.

Элизабет. Зачем тебе нужно удерживать женщину, которая хочет освободиться?

Арнолд. Я в некотором роде люблю тебя.

Элизабет. Надо было раньше говорить это.

Арнолд. Я считал это само собой разумеющимся. Какой мужчина будет обхаживать свою жену, прожив с ней три года? Я очень занятый человек. Я страшно интересуюсь политикой и работаю как черт, чтобы украсить свой дом. В конце концов, мужчина женится для того, чтобы иметь домашний очаг и еще — освободиться от сексуальных и прочих проблем. Я полюбил тебя с первой встречи и с тех пор никого больше не любил.

Элизабет. Прости, когда не любишь мужчину, его любовь уже немного значит.

Арнолд. Как это неблагоприятно. Я сделал для тебя все на свете.

Элизабет. Ты был очень добр ко мне. Но ты хотел, чтобы я вела жизнь, которая мне не нравится и для которой я не гожусь. Мне очень жаль, что я причиняю тебе боль, но лучше отпусти меня.

Арнолд. Чушь! Я много старше тебя и, по-моему, обладаю бóльшим здравым смыслом. И в твоих, и в своих интересах я не стану ничего подобного делать.

Элизабет (*улыбаясь*). Как ты можешь мне помешать? Не станешь же ты держать меня под замком.

Арнолд. Пожалуйста, не разговаривай со мной, как с глупым ребенком. Ты моя жена, и ты останешься моей женой.

Элизабет. Какая же, по-твоему, будет у нас жизнь? Неужели ты думаешь, что ты будешь счастливее меня?

Арнолд. Что конкретно ты предлагаешь?

Элизабет. Чтобы ты дал мне развод.

Арнолд (*поражаясь*). Я?! Покорнейше благодарю. Ты что же, полагаешь, что я пожертвую своей карьерой ради твоего каприза?

Элизабет. Каким же это образом?

Арнолд. Мое кресло и так шатается подо мной. Не думаешь же ты, что я удержусь в нем, если затею бракораз-

водный процесс. Даже если это будет подстроенное дело, как большинство нынешних разводов, оно погубит меня.

Элизабет. Женщине развод тоже не облегчает жизнь.

Арнолд (*с вспыхнувшим подозрением*). Что ты хочешь сказать? Ты полюбила кого-нибудь?

Элизабет. Да.

Арнолд. Кого?

Элизабет. Тедди Лутона.

Арнолд (*с минуту он остается пораженным, потом разражается хохотом*). Бедный ребенок! Зачем ты выставляешь себя на смех? У него же нет ни гроша за душой. Абсолютно заурядный молодой человек. Это настолько глупо, что у меня нет сил сердиться на тебя.

Элизабет. Я безумно влюбилась в него.

Арнолд. Ну так разлюби его так же безумно.

Элизабет. Он хочет жениться на мне.

Арнолд. Еще бы не хотел! Пусть убирается к черту.

Элизабет. Бесполезно это говорить.

Арнолд. Он твой любовник?

Элизабет. Конечно, нет.

Арнолд. Да он просто дрянь, что стал обхаживать тебя, воспользовавшись моим гостеприимством.

Элизабет. Он ни разу даже не поцеловал меня.

Арнолд. На твоём месте я бы кому-нибудь другому плел эти басни.

Элизабет. Я не хотела, чтобы было нечестно. Поэтому все тебе прямо сказала.

Арнолд. И давно ты находишься в этих мыслях?

Элизабет. Я влюбилась в Тедди с первой встречи.

Арнолд. И обо мне ты уже не думала совсем?

Элизабет. Нет, думала. Я чувствовала себя такой несчастной. Но я ничего не могу поделать. Я хотела тебя любить, но не могу.

Арнолд. Я рекомендую тебе очень хорошо все продумать, прежде чем сделать какую-нибудь глупость.

Элизабет. Я все продумала очень хорошо.

Арнолд. Боже мой! Не понимаю, почему я не задаю тебе хорошую трепку. Может быть, это наилучший способ образумить тебя.

Элизабет. Пожалуйста, не воспринимай это так, Арнолд.

Арнолд. А как прикажешь воспринимать? Ты спокойно являешься ко мне и говоришь: «Ты мне надоел. Мы женаты уже три года, и теперь я хочу выйти замуж за кого-нибудь еще. Я ломаю твою семейную жизнь? Какой ты

скучный! Ты не против, если я подам на развод? Ах, это ломает твою карьеру? Какая жалость!» О нет, девочка моя, может быть, я и дурак, но я не круглый дурак.

Элизабет. Тедди уезжает завтра первым поездом. Я хочу предупредить тебя, что последую за ним, как только он все устроит

Арнолд. Где он?

Элизабет. Не знаю. Наверное, у себя в комнате.

Арнолд подходит к двери и зовет.

Арнолд. Джордж!

Минуту-другую он ходит по комнате в нетерпении. Элизабет наблюдает за ним. Входит лакей

Лакей. Да, сэр?

Арнолд. Велите мистеру Лутону сейчас же спуститься сюда

Элизабет. Попросите мистера Лутона, если ему не трудно, на минуту спуститься к нам.

Лакей. Слушаюсь, мадам. (*Уходит.*)

Элизабет. Что ты собираешься ему сказать?

Арнолд. Это мое дело.

Элизабет. На твоём месте я бы не устраивала сцену.

Арнолд. Я не собираюсь устраивать сцену.

Молча ждут

Почему ты так настаивала на приезде моей матери?

Элизабет. Мне казалось довольно глупым разделять ваше убеждение в её пагубном влиянии на меня, когда...

Арнолд (*перебивая*). Когда ты решишься сделать точно то же самое, что и она. Хорошо, сейчас ты её увидела, и что ты о ней думаешь? По-твоему, она преуспела в жизни? Невжели кому-то захочется, чтобы его собственная мать стала такой вот женщиной?

Элизабет. Мне было стыдно. Я так переживала. Это был какой-то ужас и кошмар. Сегодня утром я обратила внимание на одну розу в саду. Она отцвела и поблекла. И походила на раскрашенную старуху. А я вспомнила, как день-два назад вот так же глядела на неё. Она была прекрасна тогда — свежая, цветущая, душистая. И хотя она сейчас страшная, это не отменяет той бывшей красоты. Ведь была красота

Арнолд. Боже мой! Поэзия! Как будто сейчас самое время для поэзии!

Входит Тедди. Он переоделся в смокинг

Тедди (*Элизабет*). Ты хотела меня видеть?
Арнолд. Это я посылал за вами.

Тедди переводит взгляд с Арнолда на Элизабет. Ему ясно: что-то случилось.

Когда вам было бы удобно покинуть этот дом?

Тедди. Я предполагал уехать завтра утром. Но могу прекрасно уехать сразу, если хотите.

Арнолд. Хочу.

Тедди. Очень хорошо. Вы еще что-то хотите сказать мне?

Арнолд. Вы считаете, это очень благородно — приехать сюда и ухаживать за моей женой?

Тедди. Нет, - не считаю. Мне самому это не очень нравилось. Поэтому я хотел уехать.

Арнолд. Честное слово, вы нахал.

Тедди. Боюсь, нет смысла рассыпаться в извинениях и тому подобном. Вы знаете, как обстоят дела.

Арнолд. Это правда, что вы хотите жениться на Элизабет?

Тедди. Да хоть сейчас.

Арнолд. А вы вообще-то подумали обо мне? Вам не пришло в голову, что вы губите мой дом, ломаете мое счастье?

Тедди. Я не понимаю, о каком счастье вы говорите, если Элизабет не любит вас.

Арнолд. Да будет вам известно, я не позволю какому-то проходимцу разрушить мой дом, обманув глупую женщину. Я не позволю, чтобы меня вынудили к разводу. Я не могу помешать моей жене уйти с вами, если она решила выставить себя полной дурой, но одно я скажу: ничто не заставит меня развестись с ней.

Элизабет. Арнолд, это было бы чудовищно

Тедди. Мы могли бы заставить вас

Арнолд. Как?

Тедди. Если мы открыто уйдем вместе, вы будете вынуждены возбудить дело.

Арнолд. Через двадцать четыре часа после того, как вы покинете этот дом, я поеду в Брайтон с какой-нибудь хористкой. И ни вы, ни я никогда не получим развода. Хватит разводов в нашем семействе. А теперь уходите, уходите!

Тедди растерянно смотрит на Элизабет

Элизабет (*слегка улыбаясь*). Не беспокойся обо мне. Со мной все будет хорошо.

Арнолд. Уходите! Уходите!

Конец второго действия

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Сцена та же. Вечер того же дня, что и во втором действии.

Чампьюн-Чини и Арнолд, оба в смокингах. Чампьюн-Чини сидит. Арнолд безостановочно ходит по комнате.

Чампьюн-Чини. Я думаю, если ты в точности последуешь моим советам, ты, возможно, добьешься цели.

Арнолд. Знаешь, мне не нравится. Это идет вразрез со всеми моими принципами.

Чампьюн-Чини. Мой дорогой Арнолд, мы все надеемся, что перед тобой открывается блестящая политическая карьера. Пора уже тебе понять, что самое полезное употребление принципа — это когда им можно выгодно пожертвовать.

Арнолд. А вдруг ничего не получится? С женщинами никогда не знаешь наперед.

Чампьюн-Чини. Чушь! Мужчины — романтики. Женщина всегда жертвует собой, если дать ей такую возможность. Это излюбленная форма ее эгоизма.

Арнолд. Никогда не понять, юморист ты, отец, или циник.

Чампьюн-Чини. Ни то и ни другое, мой дорогой мальчик. Просто я очень правдивый человек. А люди настолько отвыкли от правды, что всегда готовы ошибочно принять ее за шутку или насмешку.

Арнолд (*раздраженно*). Как все-таки несправедливо, что это должно было случиться именно со мной.

Чампьюн-Чини. Держи себя в руках, мой мальчик, и делай, что я тебе говорю.

Входят леди Китти и Элизабет. На леди Китти великолепное вечернее платье.

Элизабет. Где лорд Портьюс?

Чампьюн-Чини. На террасе. Курит сигару. (*Подходит к окну.*) Хьюи!

Портьюс входит.

Портьюс (*бранчливо*). Да? Где миссис Шенстон?
Элизабет. У нее разболелась голова. Она прилегла.

С появлением Портьюса леди Китти неприступно поджимает губы и берет иллюстрированную газету. Портьюс бросает на нее раздраженный взгляд, тоже берет иллюстрированную газету и садится в другом конце комнаты.
Они не разговаривают друг с другом.

Чампьюн-Чини. Мы с Арнолдом только что из моего коттеджа.

Элизабет. Я удивлялась, куда вы пропали.

Чампьюн-Чини. Сегодня днем я наткнулся на старый альбом с фотографиями. Я хотел принести его до обеда, но забыл. Вот мы пошли и взяли его.

Элизабет. Ой, дайте посмотреть. Я обожаю старые фотографии.

Он дает ей альбом, она садится, кладет его на колени и начинает переворачивать страницы. Он стоит за ее спиной. Леди Китти и Портьюс исподтишка посматривают друг на друга.

Чампьюн-Чини. Я подумал, вас развлечет посмотреть, как выглядели тридцать пять лет назад хорошенькие женщины. Это было время красивых женщин.

Элизабет. Вы думаете, они были красивее тогда, чем сейчас?

Чампьюн-Чини. Гораздо. Сейчас вы видите множество смазливых девиц и очень мало красивых женщин.

Элизабет. Как смешно они одеты.

Чампьюн-Чини (*показывая на фотографию*). Это миссис Лангтри.

Элизабет. У нее прелестный нос.

Чампьюн-Чини. Таких красавиц свет не видывал. Когда она входила в гостиную, матроны ерзали на стульях, чтобы ее разглядеть. Я как-то катался с ней верхом, так мы вынуждены были закрыть ворота — такая собралась толпа.

Элизабет. А это кто?

Чампьюн-Чини. Леди Лонсдейл. Это леди Дадли.

Элизабет. А это актриса, да?

Чампьюн-Чини. Совершенно верно. Эллен Терри. Боже, как я любил эту женщину.

Элизабет (*улыбаясь*). Милая Эллен Терри.

Чампьюн-Чини. Это Бвобс. Толковейший был человек, другой такой головы я не встречал. Оливер Монтегю. Генри Меннерс с моноклем.

Элизабет. Недурен, правда? А это?

Чампъон-Чини. Это Мэри Андерсон. Вам бы пови-
дать ее в «Зимней сказке». Дух захватывало от ее красоты.
Смотрите-ка! Это леди Рэндолф. Бернал Осборн — первей-
ший был остряк.

Элизабет. По-моему, это все совершеннейшая пре-
лесть. Мне нравятся эти несурзные турнюры, узкие ру-
кава.

Чампъон-Чини. А какие у них были фигуры! В те
дни от женщины не требовалось быть худой, как спичка,
и плоской, как блин.

Элизабет. А они не чересчур зашнурованы? Как они
могли это терпеть?

Чампъон-Чини. Тогда они не играли в гольф и по-
добную чушь. Они охотились, были очень щедры и мило-
сердны к деревенским беднякам.

Элизабет. Беднякам это нравилось?

Чампъон-Чини. Если нет, то они очень расстраива-
лись. Когда они были в Лондоне, то каждый день катались
в Гайд-парке, ходили на обеды с десятью переменами блюд,
где бывали только свои. Они абонировали ложу в опере,
когда пели Патти или мадам Альбани.

Элизабет. О, какая прелестная крошка! Ради бога,
кто это?

Чампъон-Чини. Где?

Элизабет. Такая хрупкая, словно фарфоровая вещи-
ца, укутанная в меха, и личико опущено в муфту, падает
снег.

Чампъон-Чини. Да, это тогда было всеобщим поме-
шательством — сниматься на фоне декоративной выюги.

Элизабет. Какая милая улыбка. Сколько в ней лукав-
ства, открытости и жизнелюбия. Как бы мне хотелось похо-
дить на нее! Скажите, кто это?

Чампъон-Чини. Не узнаете?

Элизабет. Нет.

Чампъон-Чини. Ну как же, это Китти.

Элизабет. Леди Китти! *(Обращаясь к ней.)* Дорогая,
взгляните! Какой восторг! *(Передаст ей альбом.)* Как же вы не
сказали мне, какою вы были? Конечно, все должны были
влюбляться в вас.

Леди Китти берет альбом, смотрит, потом роняет его и закрывает лицо
руками. Плачет

Элизабет *(в смятении)*. Дорогая, что с вами? Ой, что
же я наделала! Простите.

Леди Китти. Не говорите ничего. Оставьте меня. Какая я глупая!

Элизабет с минуту смотрит на нее растерянно, потом, взяв Чампюн-Чини под руку, уводит его на террасу.

Элизабет (*проходя, шепотом*). Вы сделали это умышленно?

Портьюс встает, подходит к леди Китти и кладет ей руку на плечо. Некоторое время они остаются в этом положении.

Портьюс. Боюсь, я был с тобой груб перед обедом, Китти.

Леди Китти (*снимая руку с плеча*). Не важно. Я сама была хороша.

Портьюс. Я все это не серьезно говорил.

Леди Китти. Я тоже.

Портьюс. Я сам знаю, что никогда бы не стал премьер-министром.

Леди Китти. Зачем ты несешь такую чушь, Хьюи? Если бы ты остался в политике, кто бы мог сравниться с тобой?

Портьюс. Не тот у меня характер.

Леди Китти. Дай бог кому другому иметь такой характер.

Портьюс. И потом, не скажу, чтобы мне очень хотелось стать премьер-министром.

Леди Китти. Зато как бы я тобой гордилась. Конечно, ты стал бы премьер-министром.

Портьюс. Знаешь, я бы дал тебе Индию. Думаю, это было бы очень популярным назначением.

Леди Китти. Не нужна мне Индия. Я вполне удовлетворилась бы Западной Австралией.

Портьюс. Дорогая, ты же не считаешь, что я позволил бы тебе похоронить себя в Западной Австралии.

Леди Китти. Или Барбадос.

Портьюс. Никогда. Это не лучше средства от плоскостопия. Я бы попридержал тебя в Лондоне.

Он поднимает с пола альбом и ищет глазами фотографию леди Китти. Та закрывает ее рукой.

Леди Китти. Не надо, не смотри.

Он убирает ее руку.

Портьюс. Не глупи.

Леди Китти. Как это противно — стареть, правда?

Портьюс. Знаешь, ты не очень изменилась.

Леди Китти (*в восторге*). Хьюи! Как ты можешь нести такую чушь?

Портьюс. Конечно, добавилось зрелости — и только. А женщину красит немного зрелости.

Леди Китти. Ты в самом деле так думаешь?

Портьюс. Ей-богу, да.

Леди Китти. Ты говоришь не для того, чтобы меня утешить?

Портьюс. Нет-нет.

Леди Китти. Дай я еще раз посмотрю.

Она берет альбом и не без самодовольства смотрит на фотографию.

Когда правильные черты лица, возраст не имеет значения. Всегда остаешься красивой.

Портьюс (*чуть улыбаясь, как при разговоре с ребенком*). Глупость, что ты плакала.

Леди Китти. У меня не потекли ресницы?

Портьюс. Нисколько.

Леди Китти. Я сейчас пользуюсь очень хорошей краской. Они даже не слипаются.

Портьюс. Слушай, Китти, сколько еще ты собираешься тут оставаться?

Леди Китти. Я готова сняться с места, когда ты пожелаешь.

Портьюс. Клайв действует мне на нервы. Мне не нравится, что он вертится все время вокруг тебя.

Леди Китти (*приятно развлеченная, радостно*). Хьюи, не хочешь ли ты сказать, что ревнуешь меня к бедняге Клайву?

Портьюс. Я к нему, конечно, не ревную, но он так смотрит на тебя, что это меня невольно раздражает.

Леди Китти. Хьюи, можешь сбросить меня с лестницы, как Эми Робсарт; можешь таскать меня по полу за волосы — я не возражаю. Пока ты ревнуешь, я никогда не постарею.

Портьюс. Черт побери, он был твоим мужем, в конце концов.

Леди Китти. Мой дорогой Хьюи, у него никогда не было твоего шика. Когда ты, например,ходишь в комнату, все вскидываются и спрашивают: «Черт возьми, кто это?»

Портьюс. Правда? Ты так полагаешь? А что, в твоих словах что-то есть. Что бы ни несли эти чертовы радикалы. Боже мой, Китти, когда мужчина джентльмен — ну да ладно, черт с ним, ты меня понимаешь.

Леди Китти. Мне кажется, Клайв страшно деградировал с тех пор, как мы его оставили.

Портьюс. Послушай, а не махнуть ли нам в Италию, прямоенько в Сан-Микеле?

Леди Китти. О Хьюи! Мы не были там целую вечность.

Портьюс. Не хочешь там побывать еще разок?

Леди Китти. Ты помнишь, как мы приехали туда в первый раз? Это был совершенно райский уголок. Мы всего месяц как уехали из Англии, и я еще сказала, что не прочь прожить там всю свою жизнь.

Портьюс. Конечно, помню. Через пару недель это место было совершенно твоим.

Леди Китти. Мы были там очень счастливы, Хьюи.

Портьюс. Давай вернемся туда.

Леди Китти. Я бы не стала. Там, наверное, кишмя кишат призраки нашего прошлого. Нельзя возвращаться туда, где был счастлив. Нет, это разорвет мне сердце.

Портьюс. А помнишь, как мы любили сидеть на террасе старого замка и смотреть на Адриатику? Во всем мире, казалось, нас только двое — ты и я, Китти.

Леди Китти (*трагическим голосом*). И мы думали, что наша любовь будет вечной.

Входит Чампьюн-Чини.

Портьюс. В бридж сыграть сегодня не получится?

Чампьюн-Чини. Боюсь, мы не соберем четверых.

Портьюс. Какая досада, что этот парень взял и уехал. Неплохой был игрок.

Чампьюн-Чини. Тедди Лутон?

Леди Китти. По-моему, забавно, что он уехал, ни с кем не простившись.

Чампьюн-Чини. Сегодняшние молодые люди очень необязательны.

Портьюс. Мне казалось, здесь нет вечернего поезда.

Чампьюн-Чини. Нет. Последний ушел в пять сорок пять.

Портьюс. Как же он уехал?

Чампьюн-Чини. Так и уехал.

Портьюс. Чертов эгоизм, я это так называю.

Леди Китти (*заинтригованная*). Почему он уехал, Клайв?

Некоторое время Чемпион-Чини раздумчиво смотрит на нее.

Чампьюн-Чини. Я должен сказать тебе нечто серьезное. Элизабет хочет оставить Арнолда.

Леди Китти. Что ты, Клайв! Почему?

Чампьюн-Чини. Влюбилась в Тедди Лутона. Поэтому он и уехал. Поистине не везет мужчинам в моем семействе.

Портьюс. То есть она хочет убежать с ним?

Леди Китти (*с ужасом*). Дорогой мой, что же делать?

Чампьюн-Чини. По-моему, ты можешь сделать многое.

Леди Китти. Я? Что же?

Чампьюн-Чини. А ты растолкуй ей, что все это значит.

Смотрит на нее пристально. Она выдерживает этот взгляд.

Леди Китти. О нет, нет!

Чампьюн-Чини. Она совсем ребенок. Не ради Арнолда. Ради нее самой. Ты должна.

Леди Китти. Ты не понимаешь, о чем ты просишь.

Чампьюн-Чини. Нет, я все понимаю.

Леди Китти. Хьюи, что мне делать?

Портьюс. Поступай как знаешь. Я ничем не упрекну тебя.

С письмом на подносе входит лакей. Не видя в комнате Элизабет, останавливается в нерешительности.

Чампьюн-Чини. В чем дело?

Лакей. Мне нужна миссис Чампьюн-Чини, сэр.

Чампьюн-Чини. Ее здесь нет. Это что, письмо?

Лакей. Да, сэр. Только что принесли из «Чампьюн Армс».

Чампьюн-Чини. Оставьте. Я передам его миссис Чини.

Лакей. Слушаюсь, сэр.

Передает письмо Клайву, тот берет. Лакей уходит.

Портьюс. «Чампьюн Армс» — это местная пивная?

Чампьюн-Чини (*разглядывая конверт*). Она притворяется гостиницей, но я что-то не слышал, чтобы там останавливались.

Леди Китти. Если сегодня нет поезда, значит, он туда и направился.

Чампьюн-Чини. Ах, заговорщики. Интересно, что он там пишет. *(Подходит к двери в парк.)* Элизабет!

Элизабет *(за сценой)*. Да?

Чампьюн-Чини. Вам письмо.

Молчание. Ждут Элизабет Она входит

Элизабет. Чудесно сегодня в парке.

Чампьюн-Чини. Вот, только что доставили из «Чампьюн Армс».

Элизабет. Спасибо.

Не смущаясь их присутствием, распечатывает письмо. Те смотрят, как она читает Письмо на трех страницах. Она укладывает его в сумочку.

Леди Китти. Хьюи, может, ты принесешь мне плащ? Я бы хотела немного погулять в парке, но после тридцати лет в Италии английские вечера для меня прохладны.

Не сказав ни слова, Портьюс уходит. Элизабет стоит задумавшись.

Я хочу поговорить с Элизабет, Клайв.

Чампьюн-Чини. Я вас оставляю. *(Уходит.)*

Леди Китти. Что он пишет?

Элизабет. Кто?

Леди Китти. Мистер Лутон.

Элизабет *(вздрагивает. Потом поднимает глаза на леди Китти)*. Так они вам сказали?

Леди Китти. Да. И теперь мне кажется, я это знала все время.

Элизабет. Вряд ли я вызываю у вас сочувствие. Арнолд ваш сын.

Леди Китти. В малой степени, к сожалению.

Элизабет. Я не приспособлена для такой жизни. Арнолд хочет, чтобы я заняла, как он выражается, свое место в обществе. Ах, на меня такую тоску наводят эти приемы в Лондоне. Все эти накрашенные и разодетые матроны, слоняющиеся по гостиным с перезрелыми молодыми людьми. Бесконечные ленчи, где они пересуживают чужие амурные дела.

Леди Китти. Вы очень любите мистера Лутона?

Элизабет. Всем сердцем его люблю.

Леди Китти. А он вас?

Элизабет. Ему никто не нужен, кроме меня. Это уже навсегда.

Леди Китти. Арнолд разрешит вам развестись с ним?

Элизабет. Нет, он даже не хочет слышать об этом.

И сам отказывается дать мне развод.

Леди Китти. Почему?

Элизабет. Он думает, что скандал воскресит все старые толки.

Леди Китти. Ах, бедняжка вы моя.

Элизабет. Ничего не поделаешь. Что будет — то будет, я ко всему готова.

Леди Китти. Вы еще не знаете, что это такое, когда мужчина привязан к вам только чувством долга. Если не уживаются женатые люди, они расстаются, но когда они не женаты, это невозможно. Эту цепь только смерть разрубит.

Элизабет. Если я стану безразлична Тедди, я не останусь с ним и пяти минут.

Леди Китти. Такое говорят, когда уверены, что мужчина любит, а когда этой уверенности нет — о-о, дело обстоит совсем иначе. Тогда уже надо удержать его любовь. Ничего другого не остается.

Элизабет. Я человек, наконец. Я могу самостоятельно прожить.

Леди Китти. У вас есть сколько-нибудь своих денег?

Элизабет. У меня ничего нет.

Леди Китти. Тогда о какой самостоятельности вы говорите? Вы считаете меня глупой, легкомысленной женщиной, а я прошла трудную школу. Можно писать любые законы, можно дать нам избирательное право, но когда доходит до дела, то платит и заказывает музыку мужчина. Женщина станет равноправна в одном-единственном случае: если она точно так же, как мужчина, зарабатывает себе на жизнь.

Элизабет (*улыбаясь*). Немного смешно именно от вас слышать такие вещи.

Леди Китти. Кухарка, выйдя замуж за дворецкого, может выцарапать ему глаза, потому что зарабатывает столько же, сколько он. А женщины в вашем положении или в моем — они всегда будут зависеть от мужчин, которые их содержат.

Элизабет. Мне не нужна роскошь. Вы не представляете, как мне опротивела красивая обстановка. Эти набитые красотой дома похожи на тюрьму, мне трудно в них дышать. Когда я в платье от Калло еду в «роллс-ройсе», я завидую продавщицам в костюмчиках, скачущим на подножку автобуса.

Леди Китти. То есть вы сможете заработать себе на жизнь, если потребуется?

Элизабет. Смогу.

Леди Китти. А кем вы сможете работать? Только няней либо машинисткой. Чушь все это. Роскошь портит женщину. Однажды отведав, она уже не может без нее обойтись.

Элизабет. Смотря какая женщина.

Леди Китти. В молодости мы считаем себя непохожими на других, а как станешь чуть старше, то и увидишь, что все мы из одного теста.

Элизабет. Вы очень добры, что так тревожитесь за меня.

Леди Китти. Мне страх подумать, что вы собираетесь повторить мою жалкую ошибку.

Элизабет. Не говорите так, не надо.

Леди Китти. Посмотрите на меня, Элизабет, посмотрите на Хьюи. Неужели вы думаете, что наша жизнь удалась? Если бы мне вернуть мое время, неужели, вы думаете, я бы все это повторила? И что он повторил бы?

Элизабет. Просто вы не знаете, как я люблю Тедди.

Леди Китти. А я, по-вашему, не любила Хьюи? Или он не любил меня?

Элизабет. Любил, я уверена в этом.

Леди Китти. Вначале, конечно, все было божественно. Мы были смелыми, отчаянными, а уж как мы любили друг друга! Первые два года были восхитительны. Меня, знаете, игнорировали, но мне это было безразлично. Любовь была важнее всего. Конечно, испытываешь некоторое неудобство, когда встречаешь старую приятельницу и бросаешься к ней, радуясь встрече, а наталкиваешься на холодный взгляд.

Элизабет. Вы думаете, такими друзьями стоит дорожить?

Леди Китти. Может, у них самих рыльце было в пушку. Может, они были искренне шокированы. Во всяком случае, надо, сколько возможно, уберечь своих друзей от таких испытаний. Горько ведь, что друзей оказывается так мало.

Элизабет. И все-таки они есть.

Леди Китти. Да, и они приглашают заходить, когда абсолютно уверены, что вы не столкнетесь у них с каким-нибудь недоброжелателем. А то еще так скажут: «Дорогая, ты знаешь, как я к тебе привязана и ничему не придаю значения, но у меня растет дочь, и ты меня правильно поймешь, ты не обидишься, что я не зову тебя к нам».

Элизабет (улыбаясь). По-моему, это не самое страшное.

Леди Китти. Сначала я находила в этом даже облегчение, потому что это еще больше сближало нас с Хьюи. Но знаете, мужчины очень забавные люди. Даже когда они вас любят, они не любят вас с утра до вечера. Им нужна перемена, нужна встряска.

Элизабет. Бедняги, я бы не стала их за это корить.

Леди Китти. Потом мы обосновались во Флоренции. И поскольку мы не могли окружить себя привычным обществом, мы свыклись с тем обществом, какое нам досталось. Сомнительной репутации женщины и развратные мужчины. Снобы, благоволившие к людям с высоты своих титулов. Никому не ведомые итальянские князья, норотившие занять у Хьюи несколько франков, и потрепаннные графини, любившие прокатиться со мной в Кашины¹. А потом Хьюи затосковал по прежней жизни. Собирался поехать на охоту, только я не пустила. Боялась, он не вернется.

Элизабет. Но вы же знали, что он вас любит.

Леди Китти. Ах, моя дорогая, сколь благословен институт брака — для женщин, и какие они глупые, что не желают ладить с ним. Как мудра Церковь, основываясь на инди... инди...

Элизабет. Разре...

Леди Китти. ...на разрешимости брака. Поверьте, это далеко не шуточное дело, когда вы можете полагаться только на себя, удерживая мужчину. Я не могла позволить себе стареть. Моя дорогая, я вам открою секрет, про который не знает ни одна живая душа.

Элизабет. Какой же?

Леди Китти. У меня ведь совсем другого цвета волосы.

Элизабет. Неужели!

Леди Китти. Я подкрашиваю их. Вы бы в жизни не догадались, правда?

Элизабет. Никогда бы не догадалась.

Леди Китти. И никто не догадывается. Дорогая, они белые — преждевременно, конечно, однако — белые. В этом вообще мне видится символ моей жизни. Вы интересуетесь символизмом? По-моему, это что-то совершенно замечательное.

Элизабет. Вряд ли я хорошо разбираюсь в этом

Леди Китти. И как бы я ни уставала, мне всегда надо было блистать и смеяться. И упаси бог дать Хьюи увидеть страдающее сердце за моими смеющимися глазами.

¹ Кашины — фешенебельный, «зеленый» пригород Флоренции

Элизабет (*участливо*). Бедная вы, бедная.

Леди Китти. А когда я видела, что он кем-то увлечен, какой же меня терзал страх, какая ревность! Поймите, ведь я не смела устраивать сцену, перед которой, конечно бы, не остановилась, будь я ему женой. И приходилось делать вид, что ничего не замечаешь.

Элизабет (*пораженная*). То есть вы хотите сказать, что он в кого-то влюблялся?

Леди Китти. Разумеется, время от времени.

Элизабет (*не зная, что сказать*). Наверное, вы были очень несчастны.

Леди Китти. Я была страшно несчастна. Я ночами рыдала в подушку, когда Хьюи говорил, что идет в клуб играть в карты, а я-то знала, что он с той ужасной женщиной. Но и то сказать, было множество мужчин, горевших желанием утешить меня. Мужчины, знаете, всегда тянулись ко мне.

Элизабет. Ну разумеется, это я могу себе представить.

Леди Китти. Но я не могла поступаться чувством собственного достоинства. Что бы там ни вытворял Хьюи, я знала, что не сделаю ничего такого, в чем придется раскаиваться.

Элизабет. Теперь-то можете порадоваться за себя.

Леди Китти. О да. Невзирая ни на какие соблазны, я оставалась абсолютно верна Хьюи — в душе.

Элизабет. Я не очень вас понимаю.

Леди Китти. В общем, был такой бедный итальянский мальчик, молодой граф Капель Джованни, — так он настолько безнадежно влюбился в меня, что мать заклинала не быть к нему чересчур жестокой. Она боялась, что он умрет от чахотки. Что мне оставалось делать? И еще, уже годы спустя, был такой Антонио Мелита. Этот грозил застрелиться, если я не... вы же понимаете, я не могла допустить, чтобы бедный мальчик застрелился.

Элизабет. Вы думаете, он в самом деле застрелился бы?

Леди Китти. А кто его знает. Итальянцы такие страстные. Вообще-то он был сущий агнец. У него были такие красивые глаза.

Элизабет долго, только что не оторопело смотрит на беспутную накрашенную старуху

Элизабет (*хрипло*). Но... по-моему, это ужасно.

Леди Китти. Вы шокированы? Люди жертвуют жизнью ради любви, а потом оказывается, что любви приходит

конец. Трагедия любви не в смерти и не в разлуке. Это можно пережить. Трагедия любви в безразличии.

Входит Арнолд.

Арнолд. Мне нужно поговорить с тобой, Элизабет, можно?

Элизабет. Конечно.

Арнолд. Может, прогуляемся в парке?

Элизабет. Если хочешь.

Леди Китти. Нет-нет, оставайтесь здесь. Мне все равно надо идти. (*Уходит.*)

Арнолд. Я хочу, чтобы ты немного выслушала меня, Элизабет. Я был так огорошен сказанным тобою, что совершенно потерял соображение. Я вел себя глупо — пожалуйста, прости. Я раскаиваюсь в своих словах.

Элизабет. Ну что ты, не вини себя. Это ты прости, что я вынудила тебя на эти слова.

Арнолд. Я хочу спросить: ты твердо решила уйти?

Элизабет. Твердо.

Арнолд. Сейчас я чувствую, что наговорил вещей, которых не хотел говорить, а что хотел — не сказал. Я поглупел и совершенно лишился языка. Я никогда не говорил, как сильно я тебя люблю.

Элизабет. Ой, Арнолд.

Арнолд. Пожалуйста, дай договорить. Это очень трудно. Мне страшно жаль, что, занявшись политикой, этим домом и тому подобными делами, я почти не интересовался тобой. Глупостью было рассчитывать на то, что ты, как в само собой разумеющееся, поверишь в мою великую любовь.

Элизабет. Но, Арнолд, я тебя ни в чем не упрекаю.

Арнолд. Я сам себя упрекаю. Я был бестактным и невнимательным. Но это, прошу поверить, вовсе не оттого, что я тебя не любил. Ты простишь меня?

Элизабет. Мне не за что тебя прощать.

Арнолд. Буквально до сегодняшнего дня, пока ты не заговорила об уходе, я не сознавал, как безумно люблю тебя.

Элизабет. Это после трех лет?

Арнолд. Как я горжусь тобою. Восхищаюсь. Когда я вижу тебя в гостях — такую свежую и прекрасную, возбуждающую всеобщий восторг, меня охватывает трепет при мысли, что ты моя и что потом я заберу тебя домой.

Элизабет. Ой, Арнолд, ты преувеличиваешь.

Арнолд. Я не могу представить этот дом без тебя. Как-то сразу жизнь стала пустой и бессмысленной. Ах, Элизабет, ты совсем меня не любишь?

Элизабет. Всегда лучше быть честной. Не люблю.

Арнолд. И моя любовь ничего не значит для тебя?

Элизабет. Я тебе очень признательна. Мне жаль, что я причиняю тебе боль. Что хорошего, если я останусь с тобой и буду все время несчастна?

Арнолд. Ты так любишь этого человека? Мое несчастье совсем ничего не значит для тебя?

Элизабет. Конечно, значит. Я просто умираю от этого. Понимаешь, я не знала, что значу для тебя так много. Я очень тронута. Мне так жаль, Арнолд, правда жаль. Но я ничего не могу поделать.

Арнолд. Бедное дитя, жестоко с моей стороны так мучить тебя.

Элизабет. Арнолд, поверь: я старалась сделать как лучше. Я старалась полюбить тебя, но у меня не получается. Ведь тут или любишь — или не любишь, в конце концов. Старанием делу не поможешь. А теперь я дошла до точки. Будь что будет, я уже не могу пойти против самой себя.

Арнолд. Бедное дитя, я так боюсь, что ты будешь несчастлива. Так боюсь, что ты еще пожалеешь.

Элизабет. Ты должен предоставить меня моей судьбе. Надеюсь, ты забудешь и меня, и горе, которое я тебе принесла.

Арнолд (*в паузе он задумчиво рассказывает по комнате. Останавливается и поднимает на нее глаза*). Если ты любишь этого человека и хочешь уйти к нему, я не стану тебе препятствовать. Единственное мое желание — сделать так, чтобы тебе было лучше.

Элизабет. Арнолд, ты ужасно добр ко мне. Если я дурно обошлась с тобой, то знай, по крайней мере, что я благодарна тебе за все твое добро.

Арнолд. Но я бы хотел, чтобы ты оказала мне одну услугу. Хорошо?

Элизабет. Ну конечно, Арнолд, — все, что в моих силах.

Арнолд. У Тедди не так уж много денег. А ты привыкла к известной роскоши, и мне непереносима мысль, что ты лишишься всего, что имела здесь. Меня убивает мысль, что ты будешь страдать от тягот и лишений.

Элизабет. Ну что ты, Тедди зарабатывает сколько нужно. В конце концов, нам и нужно-то немного.

Арнолд. Боюсь, моей матери не очень легко жилось, но и такая жизнь была возможна только благодаря тому, что

Портюс был богат. Я хочу, чтобы ты позволила мне дать тебе содержание в две тысячи ежегодно.

Элизабет. Что ты, с какой же стати? Это глупость.

Арнолд. Прошу тебя согласиться. Ты не представляешь, какое это имеет значение для меня.

Элизабет. Ты ужасно добр, Арнолд. Мне стыдно даже говорить на эту тему. Я ни за что не возьму у тебя ни пенни.

Арнолд. Во всяком случае, ты не можешь помешать мне открыть в моем банке счет на твое имя. Берешь ты их — не берешь, но деньги будут начисляться каждый квартал, и если что случится, они будут тебя ждать.

Элизабет. Ты меня просто убиваешь, Арнолд. Мне-то нужно, чтобы ты сделал одну-единственную вещь. Я буду тебе очень признательна, если ты разведешься со мной как можно быстрее.

Арнолд. Нет, этого я не сделаю. Но я дам тебе повод развестись со мной.

Элизабет. Ты?!

Арнолд. Да. Но, само собой, некоторое время ты должна будешь вести себя очень осторожно. Я проверну дело как можно быстрее, но, боюсь, раньше, чем через полгода, ты не освободишься.

Элизабет. А как же место в парламенте, политическая карьера?

Арнолд. А-а, ладно, отец же отказался от своего места в таких же обстоятельствах. И очень неплохо прожил без всякой политики.

Элизабет. Но в ней вся твоя жизнь.

Арнолд. В конце концов, нельзя сидеть между двух стульев. Нельзя служить Богу и мамоне. Если хочешь вести себя порядочно, готовься за это пострадать.

Элизабет. Но я совсем не хочу, чтобы ты страдал за это.

Арнолд. Поначалу я напугался скандала. Но, смею сказать, это была всего лишь слабость с моей стороны. В моих нынешних обстоятельствах мне, конечно, было бы лучше держаться подальше от суда по бракоразводным делам.

Элизабет. Арнолд, ты делаешь меня абсолютно несчастной.

Арнолд. Перед обедом ты сказала совершенную правду. Для мужчины это ничего не значит, а для женщины значит очень много. Естественно, я в первую очередь должен подумать о тебе.

Элизабет. Глупости. Об этом не может быть и речи
Я за все расплачусь сполна.

Арнолд. Я ведь не очень многого прошу, Элизабет.

Элизабет. Я тебя всего лишаю.

Арнолд. Я ставлю одно-единственное условие. Я решил бесповоротно. Я никогда не разведусь с тобою сам, но я помогу тебе развестись со мной.

Элизабет. Арнолд, жестоко быть таким великодушным.

Арнолд. Это не великодушие. Просто у меня нет другого средства показать тебе, как глубоко и искренне я тебя люблю.

Молчание. Он протягивает ей руку

Спокойной ночи. У меня еще много работы перед сном.

Элизабет. Спокойной ночи.

Арнолд. Ты позволишь поцеловать тебя?

Элизабет (с мукой). Ах, Арнолд!

Он строго целует ее в лоб и уходит. Элизабет продолжает стоять, глубоко задумавшись. Она чувствует себя сокрушенной. Входят леди Китти и Портьюс. На леди Китти плащ.

Леди Китти. Вы одна, Элизабет?

Элизабет. В письме, что вы спрашивали, леди Китти, от Тедди...

Леди Китти. Да?

Элизабет. Он хотел переговорить со мной перед отъездом. Он ждет в беседке около корта. Лорда Портьюса не затруднит сходить и позвать его сюда?

Портьюс. Конечно. Конечно.

Элизабет. Извините за беспокойство. Это очень важно.

Портьюс. Никакого беспокойства.

Уходит

Леди Китти. Мы с Хьюи оставим вас наедине.

Элизабет. Я не хочу. Я хочу, чтобы вы остались тоже.

Леди Китти. Что вы собираетесь ему сказать?

Элизабет (в отчаянии). Пожалуйста, не спрашивайте. Какая я страшно несчастная.

Леди Китти. Бедное дитя.

Элизабет. Какая она гадкая, эта жизнь. Почему нельзя быть счастливым, не делая несчастными других?

Леди Китти. Если бы я знала, как вам помочь. Я всей душой с вами. (*Лихорадочно соображает, что еще сделать или сказать.*) Хотите, я подарю вам свою помаду?

Элизабет (*улыбаясь сквозь слезы*). Спасибо. Я не пользуюсь.

Леди Китти. А вы попробуйте. Очень помогает в трудную минуту.

Входят Портьюси Тедди.

Портьюс. Доставил. Он, видите ли, зарекся идти сюда.

Леди Китти. Это когда за ним посылает дама? Такие манеры у сегодняшних молодых людей?

Тедди. Когда вас торжественно выставили из дома, по-моему, нахальство возвращаться как ни в чем не бывало.

Элизабет. Тедди, мне нужно, чтобы ты был серьезнее сейчас.

Тедди. Дорогая, в этой харчевне мне скормили кошмарный обед. Если ты вдобавок просишь, чтобы я был серьезным, я просто расплачусь.

Элизабет. Не идиотничай, Тедди. (*У нее дрожит голос.*) Я такая несчастная.

Он задерживает на ней посерьезневший взгляд.

Тедди. В чем дело?

Элизабет. Я не могу уехать с тобой, Тедди.

Тедди. Почему?

Элизабет (*растерянно глядя в сторону*). Я недостаточно тебя люблю.

Тедди. Ерунда!

Элизабет (*вспыхивая*). Не смей говорить мне «ерунда»!

Тедди. Я буду говорить тебе все, что захочу.

Элизабет. И нечего меня пугать.

Тедди. Послушай, Элизабет, ты прекрасно знаешь, что я тебя люблю, и я прекрасно знаю, что ты меня любишь, так чего ради ты несешь чушь?

Элизабет (*срывающимся голосом*). Не скажу, раз ты злишься.

Тедди (*с самой нежной улыбкой*). Я не злюсь, глупая.

Элизабет. Это еще хуже, что ты задаешься.

Тедди (*фыркая от смеха*). Тебе непросто угодить — или я ошибаюсь?

Элизабет. Ой, как все ужасно. Я была на взводе и уже совсем решила, а ты меня сейчас сбил. Я чувствую себя большим воздушным шаром, который проткнули длинной иглой. (*Быстро взглядывает на него.*) Ты это умышленно сделал?

Тедди. Клянусь, я не понимаю, о чем ты говоришь.

Элизабет. Интересно, ты в самом деле умнее, чем я думала?

Тедди (*беря ее за руки и усаживая*). Говори наконец, что ты хочешь сказать. Кстати, тебе нужно, чтобы леди Китти и лорд Портьюс присутствовали здесь?

Элизабет. Да.

Леди Китти. Элизабет просила нас остаться.

Тедди. Ради бога, я не возражаю. Я только подумал, что вы можете почувствовать себя здесь лишними.

Леди Китти (*холодно*). Порядочная дама никогда не чувствует себя лишней, мистер Лутон.

Тедди. Пожалуйста, зовите меня Тедди. Меня все так зовут.

Леди Китти пытается смерить его испепеляющим взглядом, не в силах при этом удержаться от улыбки. Тедди гладит руки Элизабет, она их отдергивает.

Элизабет. Не надо. Тедди, я сказала неправду, что не люблю тебя. Конечно, люблю. Но Арнолд тоже меня любит. Я даже не знала, как сильно.

Тедди. Что он тебе наговорил?

Элизабет. Он был такой внимательный и добрый. Я не знала, что он может быть таким добрым. Обещал разрешить мне развестись с ним.

Тедди. Очень мило с его стороны.

Элизабет. Но разве ты не понимаешь, что это связывает мне руки? Как я могу принять такую жертву? Я никогда не прощу себе, что выгадала на его великодушии.

Тедди. Если я с другим оголодавшим сажу перед одной бараньей отбивной и тот говорит: «Ешь ты»,— я не стану тратить время на препирательства. Я ее быстро слопаю, пока он не передумал.

Элизабет. Не говори так. Меня это бесит. Я хочу поступить правильно.

Тедди. Ты не любишь Арнолда; ты любишь меня. Идиотизм—жертвовать жизнью ради соплей.

Элизабет. В конце концов, я вышла за него замуж.

Тедди. Да, ты сделала такую ошибку. Брак без любви—это никакой не брак.

Элизабет. Но ведь это я сделала ошибку. Ему-то зачем страдать? Если кому и страдать, то, по справедливости, только мне.

Тедди. Какой же, по-твоему, будет ваша жизнь? Когда люди женаты, очень трудно одному несчастному не сделать несчастным и другого.

Элизабет. Я не могу злоупотреблять его великодушием.

Тедди. Ему, смею думать, это доставит громадное удовлетворение.

Элизабет. Ты какой-то дикий, Тедди. Он был совершенно замечательный. Я и не подозревала за ним этого. Он был по-настоящему благороден.

Тедди. Брось молот чепуху, Элизабет.

Элизабет. Мне интересно, смог ли бы ты повести себя так же?

Тедди. Так же — это как?

Элизабет. Что бы ты сделал, если бы я, твоя жена, пришла к тебе и сказала, что полюбила другого и хочу тебя оставить?

Тедди. У тебя изумительные голубые глаза, Элизабет. Я под каждый добавил бы еще по синяку. А потом бы мы разобрались.

Элизабет. Ты просто нахал.

Тедди. Я тоже сомневаюсь, насколько я джентльмен. Тебе это не приходило в голову?

Молча смотрят друг на друга.

Элизабет. Слушай, ты нечестно побеждаешь. Такое чувство, словно я подхожу к тебе ничего не подозревая и, стоит мне отвернуться, ты сбиваешь меня с ног.

Тедди. Тебе не кажется, что мы хорошо поладим друг с другом?

Портьюс. Элизабет дуреха, что не держится за мужа. И для мужчины такое достаточная дрянь, а уж для женщины совсем никуда. Я Арнолду не защитник. В бридж он играет прескверно. Не при тебе будь сказано, Китти, он, по-моему, зануда.

Леди Китти. Бедняга, его отец был таким же в эти годы. Надеюсь, он переменится с возрастом.

Портьюс. А вы держитесь мужа, Элизабет, держитесь. Человек — стадное животное. Мы все сбиваемся в стадо. Если мы нарушаем законы стада, мы от этого страдаем. И страдаем чудовищно.

Леди Китти. Ах, Элизабет, дорогая вы моя, не уходите. Не стоит того. Не стоит. Это я вам говорю, а я пожертвовала всем ради любви.

Пауза.

Элизабет. Мне страшно.

Тедди (*шепчет*). Элизабет.

Элизабет. Я боюсь. Нельзя требовать от меня так много. Давай простимся, Тедди. Ничего другого не остается. И пожалуйста ты меня. Я отказываюсь от всякой надежды на счастье.

Он подходит к ней и глядит ей прямо в глаза.

Тедди. А я и не предлагал тебе счастье. Не думаю, чтобы моя любовь обещала счастье. Я ревнив. Со мной нелегко ужиться. Я часто выхожу из себя, раздражаюсь. Иногда ты будешь вставать мне поперек горла, и сама не раз поперхнешься мною. Мы, наверное, будем цапаться как кошка с собакой и временами ненавидеть друг друга. Частенько ты будешь несчастна, ко всему безразлична и одинока, будешь страшно скучать по дому и жалеть о своих утратах. Глупые бабы будут хамить тебе за твой побег. Некоторые будут игнорировать тебя. Я не предлагаю тебе ни мира, ни покоя. Я предлагаю тебе беспокойство и тревогу. Я не предлагаю тебе счастье. Я предлагаю тебе любовь.

Элизабет (*протягивая ему руки*). Негодяй, я обожаю тебя.

Он обнимает ее и жарко целует

Леди Китти. Я совсем решила, что все кончено, когда он пообещал ей навесить синяк.

Портьюс (*добродушно*). Ты глупышка, Китти.

Леди Китти. Знаю, но с этим уже ничего не поделаешь.

Тедди. Давай убежим.

Элизабет. Убежим?

Тедди. Сию минуту.

Портьюс. Вы оба круглые дураки. Если хотите, возьмите мой автомобиль.

Тедди. Ужасно мило с вашей стороны. Вообще-то я уже вывел его из гаража. Он сейчас стоит на дороге.

Портьюс (*возмущенно*). Как это так: вывел из гаража?

Тедди. Ну, я подумал, что тут заварится большая буза и лучше нам с Элизабет не держаться принятого плана. Делай сразу. Отличный девиз делового человека.

Портьюс. Иначе говоря, вы хотели украсть мой автомобиль.

Тедди. Не совсем. Я применил, так сказать, большевистский подход.

Портьюс. Я не нахожу слов. Я решительно не нахожу никаких слов.

Тедди. Какого черта, не нести же мне Элизабет на себе до самого Лондона. Этакую пышку.

Элизабет. Вот собака!

Портьюс (*брызжа слюной*). Ну, знаете... (*Беспомощно.*) Он мне нравится, Китти, не буду кривить душой: нравится.

Тедди. Светит луна, Элизабет. Мы будем гнать всю ночь напролет.

Портьюс. Им лучше всего отправиться в Сан-Микеле. Я телеграфирую, чтобы там подготовились.

Леди Китти. И мы с Хьюи туда поехали, когда... (*Обрывая себя.*) Ах, мои дорогие, как я вам завидую.

Портьюс (*промокая платком глаза*). Пожалуйста, без слез, Китти. Без слез, черт побери.

Тедди. Пошли, дорогая.

Элизабет. Но я не могу вот так уйти.

Тедди. Чушь. Леди Китти одолжит тебе свой плащ, правда?

Леди Китти (*снимая плащ*). Вы способны содрать его с моих плеч, если я не дам.

Тедди (*накрывая плащом Элизабет*). А утром купим тебе в Лондоне зубную щетку.

Леди Китти. Она должна оставить записку Арнолду, я положу ее на игольную подушку.

Тедди. К чертям игольную подушку! Идем, дорогая. Нам гнать до рассвета и солнца.

Элизабет (*целуя леди Китти и Портьюса*). До свидания. До свидания.

Тедди протягивает ей руку, она берет ее. Взявшись за руки, они уходят в ночь.

Леди Китти. Ах, Хьюи, как мне все это памятно. Неужели им придется выстрадать все, что перестрадали мы? И неужели мы страдали напрасно?

Портьюс. Дорогая, мне неизвестно, чтобы поступки были важнее человека. Чужой опыт ничему не учит, потому что обстоятельства всегда разные. Если мы что-то напортили, то, может, потому, что мы пошловатые люди. Можно

хоть весь мир перевернуть, если готов ответить за последствия, а последствия зависят от твоего характера.

Потирая руки, входит Чампьюн-Чини. Он буквально светится самодовольством.

Чампьюн-Чини. Ну, с молодцом, я полагаю, разделались.

Леди Китти. Да?

Чампьюн-Чини. Чтобы перехитрить вашего покорного слугу, надо поменьше спать.

Слышно, как заводят мотор.

Леди Китти. Что это?

Чампьюн-Чини. Похоже, автомобиль. Наверное, ваш шофер тайком от хозяев захотел покатать горничную.

Портьюс. С кем, ты говоришь, разделался?

Чампьюн-Чини. А с мистером Эдвардом Лутоном, мой дорогой Хьюи. Я научил Арнолда, что надо сделать, и он это сделал. Что такое тюрьма? Это решетка и запоры. Убери их, и узнику расчешется убежать. Умно, горжусь собой.

Портьюс. Это ты всегда умел, Клайв, только сейчас ты высказываешься невразумительно.

Чампьюн-Чини. Я велел Арнолду пойти и сказать Элизабет, что она может быть свободна. Я велел ему жертвовать собою по всем пунктам. Я знаю женщин. Как только были устранены препятствия к ее браку с Тедди Лутоном, соблазн наполовину угас.

Леди Китти. И Арнолд это сделал?

Чампьюн-Чини. Он пунктуальнейше следовал моим наставлениям. Я только что видел его. Она совершенно выбита из колеи. Ставлю пятьсот фунтов против одного пенни, что она никуда не денется. А я хитрая bestia, а? Именно: хитрая bestia.

Смеется. Они тоже смеются. Все трое смеются безудержно.

Конец

ЗА ЗАСЛУГИ¹

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Ленард Эрдсли.

Шарлотта Эрдсли, его жена.

Сидней, его сын.

Ив }
Лоис } его незамужние дочери.

Этель Бартлетт, его замужняя дочь.

Говард Бартлетт, ее муж.

Колли Стрэттон, капитан Королевского флота.

Уилфред Сидар.

Гвен, его жена.

Доктор Прентис, брат миссис Эрдсли.

Гертруда, горничная.

Действие происходит в доме Эрдсли в Рэмблстоне, маленьком провинциальном городке в графстве Кент, неподалеку от города Стэнбери.

For Services Rendered.

© .Перевод. Шахова Э Я., 1994 г

АКТ I

Место действия — выходящая в сад веранда в доме Эрдсли Из дома на веранду ведут высокие стеклянные двери Ленард Эрдсли — единственный адвокат в Рэмблстоне, его дом стоит на главной улице городка Часть дома занимает контора.

Стол накрыт к чаю. Пять часов пополудни, теплый сентябрьский вечер.

Миссис Эрдсли сидит в кресле и подрубает салфетку Это худая седовласая женщина лет шестидесяти с небольшим. Черты лица у нее строгие, но глаза добрые. Одета очень скромно
Служанка вносит чай

Миссис Эрдсли. Уже время пить чай?

Гертруда. Часы на церкви как раз бьют, мадам.

Миссис Эрдсли (*встает, откладывает шитье*). Сходите на теннисную площадку, скажите им, что чай подан.

Гертруда. Хорошо, мадам.

Миссис Эрдсли. А мистера Сиднея вы предупредили?

Гертруда. Да, мадам.

Уходит в сад. Миссис Эрдсли пододвигает к столу несколько стульев Из дома на веранду входит Сидней. Ему лет сорок. Тучный, с большим обрюзгшим лицом Он слеп, ходит с палкой, но хорошо ориентируется в доме и передвигается вполне уверенно.

Миссис Эрдсли. Где ты хочешь сесть, милый?

Сидней. Все равно. (*Садится на стул возле стола, ставит рядом палку.*)

Миссис Эрдсли. Чем ты занимался после обеда?

Сидней. Да так, ничем особенным. Повязал немного

Миссис Эрдсли. А знаешь, у нас сейчас Этель Говард поехал на скотный рынок в Стэнбери. На обратном пути он заедет за ней.

Сидней. Представляю, как он там надерется.

Миссис Эрдсли. Сидней!

Сидней (*усмехнувшись*). Чушь какая-то! Неужели Этель всерьез думает, будто мы не знаем, что он пьет?

Миссис Эрдсли. Она самолюбива Да и кому приятно сознаваться в совершенной ошибке.

Сидней. А я вот не перестаю удивляться: и что только она нашла в нем?

Миссис Эрдсли. Ну, знаешь, время тогда было другое. И выглядел он этаким молодцом, в форме-то. Он ведь был офицером.

Сидней. А вы с отцом куда смотрели?

Миссис Эрдсли. Они были без ума друг от друга. И потом, во время этой страшной бойни отказывать жениху

только потому, что он всего лишь мелкий фермер-арендатор, казалось чудовищным снобизмом.

Сидней. Вы считали, что война продлится вечно?

Миссис Эрдсли. Нет, конечно. Но мы были убеждены, что после войны мир уже никогда не будет прежним.

Сидней. Забавно, как подумаешь. Ничто не изменилось, за исключением разве того, что все мы разорены до нитки да еще сотням тысяч мальчишек вроде меня пришлось распрощаться с возможностью по-человечески прожить свою жизнь.

Миссис Эрдсли вздыхает и беспомощно разводит руками. Сидней насмешливо фыркает.

Не унывай, мама. У тебя есть утешение: твой сын — герой, кавалер ордена «Военный крест», не раз упомянут в приказе. Уж меня-то никто не упрекнет, что я не выполнил своего долга.

Миссис Эрдсли. Идут.

Появляются Гвен Сидар и Этель Барлетт. Этель Барлетт — вторая дочь миссис Эрдсли, миловидная тридцатипятилетняя женщина с правильными чертами лица и красивыми глазами.

Гвен Сидар лет пятьдесят, на лице много косметики, волосы крашенные; одета не по возрасту ярко и модно. Для ее облика характерна деланная веселость и живость женщины, отчаянно цепляющейся за уходящую молодость.

Этель. Остальные придут, как только закончат сет. Привет, Сидней.

Сидней. Привет.

Гвен (*обменивается с ним рукопожатием*). Ну как дела, Сидней? Выглядите вы, во всяком случае, превосходно.

Сидней. Да, все в порядке, спасибо.

Гвен. Все трудитесь как пчелка? Вы просто чудо.

Миссис Эрдсли (*пытается отвлечь ее*). Можно, я налью вам чаю?

Гвен. Я просто преклоняюсь перед вами. Обладать таким сильным характером!

Сидней (*с усмешкой*). Железная воля!

Гвен. Помню, прошлой весной я заболела и мне пришлось целую неделю проваляться в темной комнате. Господи, это было невыносимо. Но я все время твердила себе: это же сущие пустяки, подумай, каково приходится бедняжке Сиднею.

Сидней. Правильно.

Миссис Эрдсли. Вам один кусочек сахара?

Гвен. Нет, нет, я никогда не пью с сахаром. У меня круглый год — Великий пост. (*С еще большим пылом набрасывается на Сидней.*) Вы знаете, для меня просто загадка, как только вы ухитряетесь коротать время?

Сидней. Мне помогает чуткость таких очаровательных женщин, как вы. К тому же доброта моих сестер доходит до того, что они играют со мной в шахматы. Еще я читаю — развиваю свои умственные способности.

Гвен. Ах да, по системе Бройля. Я обожаю читать. Представляете, как правило, я прочитываю, по крайней мере, по роману в день. Правда, голова у меня как решето. Бывает, читаю роман, дохожу до последней строчки, и тут только меня осеняет, что я уже читала его раньше. Прямо хоть плачь. Вообразите, такая пустая трата времени!

Сидней. Как дела на ферме, Этель?

Этель. Стараемся использовать каждый погожий день.

Гвен. Ах, как, должно быть, интересно жить на ферме! Самим сбивать масло и все такое прочее.

Этель. Да уж куда как интересно — крутишься с утра до позднего вечера. Прекрасно отвлекает от лишних мыслей.

Гвен. Но ведь вам, конечно, не приходится делать самой грязную работу?

Этель. Почему вы так решили?

Гвен. Неужели вы хотите сказать, что все делаете сами? Боже мой, как же вам удастся следить за руками?

Этель (*смотрит на свои руки, улыбается*). Да я и не слежу.

Из сада доносятся голоса.

Миссис Эрдсли. А вот и они.

На веранду входят две ее дочери и двое мужчин, с которыми они играли в теннис. Это Уилфред Сидар и Колли Стрэттон. Уилфред Сидар краснолицый, плотный, пожилой, хорошо сохранившийся мужчина с семью выюющимися волосами. Его жизненное кредо — наслаждаться всеми благами и радостями жизни. Колли Стрэттону — между тридцатью пятью и сорока. В прошлом он офицер Британского Королевского флота, его поведение отличает некоторая ребячливость, свойственная тем мужчинам, которые так никогда и не становятся взрослыми. У него приятное, открытое лицо. Ив — старшая дочь миссис Эрдсли. Худошавая, лицо немного усталое. Она мягкая, кроткая, но живет явно не в ладу сама с собой. За внешним спокойствием кроется непонятная тревога. Ей тридцать девять. Лоис Эрдсли — самая младшая в семье. Ей двадцать шесть, но при той размеренной однообразной жизни, которую она ведет, она хорошо сохранилась — на вид ей не дать больше двадцати. Она веселая и очень естественная. Лоис прехорошенькая, но всего привлекательнее в ней не столько голубые глаза и пряменький носик, сколько весь ее облик молодой, пышущей здоровьем женщины.

Лоис. Чаю, чаю, чаю...

Уилфред. Они таки заставили нас побегать. Привет, Сидней

Миссис Эрдсли. Кто с кем был в паре?

Уилфред. Мы играли с Лоис против Ив и Колли.

Ив. Уилфред, несомненно, превосходит всех нас классом игры

Колли. Да-а, этот удар справа чертовски силен.

Уилфред. Еще бы, с моей-то практикой — сколько сыграно турниров на Ривьере и в других местах.

Гвен. Для одиночной игры Уилфред, правда, уже староват, но в парной игре он еще несколько лет назад был одним из сильнейших игроков в Каннах.

Уилфред (*явно недовольный*). Вот уж не думал, что играю хуже, чем несколько лет назад.

Гвен. Что ты хочешь — вряд ли тебе сейчас под силу носиться по корту, как в молодые годы. Это же глупо!

Уилфред. Послушать Гвен, так мне уже стукнуло по меньшей мере сто. А я утверждаю: женщине столько лет, на сколько она выглядит, а мужчине — на сколько он сам себя ощущает

Сидней. Не вы первый это утверждаете.

Миссис Эрдсли (*Уилфреду*). Вы пьете чай с молоком или без молока?

Лоис. О мама! Я уверена, что они предпочли бы отнюдь не чай.

Уилфред. Умница девочка.

Миссис Эрдсли. Что бы вы хотели выпить?

Уилфред. Я бы не отказался от кружки пива. А вы, Колли?

Колли. Пойдет.

Ив. Сейчас распоряжусь.

Миссис Эрдсли (*вслед уходящей Ив*). И скажи отцу, пусть поторопитесь, если хочет чаю.

Ив. Хорошо. (*Уходит в дом.*)

Уилфред. До чего же удобно, когда контора прямо в доме

Лоис. Да еще есть отдельный выход, так что при желании можно улизнуть незаметно для клиентов.

Гвен. Вам не кажется, что у Ив немного усталый вид?

Миссис Эрдсли. Последнее время она сплошной комок нервов. Я настаиваю, чтобы она показалаась своему дяде, но Ив и слушать не хочет.

Гвен. Как это грустно, что ее жениха убили на войне.

Миссис Эрдсли. Они очень любили друг друга.

Этель. Бедняжка, она так и не оправилась от этого удара.

Гвен. Какая жалость, что она до сих пор не встретила никого, кто бы ей понравился.

Миссис Эрдсли. В нашем захолустье вряд ли на это можно рассчитывать. К концу войны в живых осталось так мало молодых людей. А невесты тем временем подрастали и подрастали.

Гвен. Мне говорили, что у нее *был* кто-то.

Миссис Эрдсли. Был, но человек не слишком подходящий для Ив. По-видимому, он сделал ей предложение и она ему отказала.

Гвен. Да, да, я слышала, что в некоторых отношениях он оставлял желать лучшего. Выходить замуж за человека не своего круга — несомненная ошибка. Ничего хорошего из этого никогда не получается.

Гвен допускает бестактность. Ведь Этель вышла замуж за человека, стоящего гораздо ниже ее на социальной лестнице.

Лоис. Что за чушь! Как будто в наше время это имеет какое-то значение. Дело в самом человеке, а вовсе не в его положении в обществе.

До Гвен наконец доходит, что она совершила промах, она бросает на Этель беспокойный взгляд и пытается исправить положение

Гвен. О, безусловно. Я совсем о другом. В наши дни самые разные люди держат магазины, разводят кур на фермах и вообще берутся за все. Мужчина должен быть джентльменом, остальное не важно, я так считаю.

Колли. Ваши слова мне маслом по сердцу, поскольку я тоже держу гараж.

Гвен. Вот-вот. Я как раз об этом. Ну разве имеет какое-нибудь значение тот факт, что вы владелец гаража? Главное — это то, что вы бывший офицер военно-морского флота и командовали эскадренным миноносцем.

Сидней. И кавалер орденов «За безупречную службу» и «Почетного легиона» в придачу

Уилфред. Раз уж о том зашла речь, Колли, — что заставило вас взяться за ремонт автомобилей после увольнения в запас?

Колли. Надо же было чем-то заняться. Ну а я неплохой механик. Получил кое-какую сумму в качестве выходного пособия и решил, что в это дело можно вложить деньги

Уилфред. Надеюсь, вы недурно зарабатываете на ремонте машин?

Колли. Неплохо, только очень уж много накладных расходов.

Из дома выходит Гертруда с двумя кружками пива на подносе.

Уилфред. Замечательно!

Берет одну кружку и делает большой глоток. Возвращается Ив.

Ив. Папа сейчас придет. Он хочет поговорить с вами, Колли.

Колли. Да?

Уилфред. Боюсь, это не к добру, старина. Известное дело: если тебя хочет повидать адвокат, значит, жди неприятностей.

Лоис. Пейте-ка скорее пиво, дадим им возможность отыграться. Быстрее, а то скоро стемнеет.

Гвен. Уилфред! Неужели ты хочешь еще поиграть? Тебе не кажется, что нам пора домой?

Уилфред. А чего торопиться? Знаешь что — бери машину и поезжай одна. А я быстренько сыграю сет и вернусь домой пешком.

Гвен. Ничего, если ты еще не едешь, я подожду тебя.

Уилфред (*пытается за напускной веселостью скрыть раздражение*). Не стоит, поезжай. Не бойся выпустить меня хоть ненадолго из-под своего крылышка. Обещаю тебе быть пай-мальчиком.

Обмениваются быстрыми взглядами. Она подавляет вздох и весело улыбается.

Гвен. Вот и чудесно. Прогулка быстрым шагом только пойдет на пользу твоей фигуре. (*Поворачивается к миссис Эрдсли, чтобы попрощаться с ней.*)

Миссис Эрдсли. Я провожу вас до калитки.

Уходят.

Сидней. Где моя палка, Иви? (*Она подает палку, и он встает со стула.*) Я, пожалуй, пойду потихоньку к корту, хочу поглядеть, как вы играете.

Этель. И я с вами, ладно?

Ив. Конечно, только мне надо сначала заварить свежего чая для папы.

Лоис. Тогда побыстрее, не то совсем стемнеет.

Ив. Я мигом. (*Уходит в дом.*)

Лоис. Господи, что бы мы делали без Ив?

Сидней. Скажи лучше, что бы Иви делала без нас? Приносить себя в жертву можно лишь в том случае, когда имеется кто-то, ради кого она приносится.

Уилфред. Э-э, да вы, оказывается, порядочный циник. Лоис (*с улыбкой*). И к тому неблагоприятный.

Сидней. Вовсе нет. Для Иви счастье иметь под рукой инвалида, за которым надо ухаживать. Представьте на минутку, что в ее силах вернуть мне зрение. Сказать волшебное словечко и вернуть. Думаете, она скажет? Да ни за что на свете. Ей самой судьбой предназначено быть святой, и тут как нельзя более кстати подвернулся я, предоставив ей возможность заработать сияние вокруг головы.

Этель (*смеясь*). Пойдем-ка лучше, дай мне руку.

Сидней (*растягивая слова, на манер лондонского кокни*). Подайте монетку бедному слепому, сэр.

Уходят.

Лоис. А я пока поищу тот пропавший мяч. Мне кажется, я более или менее представляю, куда он закатился.

Уилфред. Не будь я такой ленивый, я пошел бы с вами.

Лоис. Ну уж нет. Только потопчете клумбы своими огромными ножищами.

Уилфред. Это мне нравится! Сомневаюсь, что вам удастся найти мужчину моего роста с ногами меньшего размера.

Лоис. Какая скромность, а? Крикните мне, когда вернется Иви.

Исчезает в саду.

Уилфред. Да-а, красивая девочка. И милая. И голова на плечах.

Колли. И в теннис хорошо играет.

Уилфред. Странно, что ее до сих пор никто не подценил. Будь я молод и не женат, ни минуты б не колебался.

Колли. Здесь у нее, бедняжки, не очень-то много шансов. Ну за кого, черт возьми, выйти ей замуж в этакой дыре?

Уилфред. А вы-то что теряетесь?

Колли. Так ведь я на пятнадцать лет старше. И за душой ни гроша!

Уилфред. В нынешние времена провинциальным невестам не до выбора, они довольствуются тем, что есть.

Колли. Со мной этот номер не пройдет.

Уилфред (*проницательно глядит на него*). Да?

Колли А почему это вас интересует?

Уилфред. Просто так спросил — славная девушка, я был бы рад, если бы она нашла свое место в жизни.

Колли. Послушайте, старина, я хочу попросить вас об одном одолжении

Уилфред. Буду рад помочь вам, дружище. В чем оно заключается?

Колли. Признаться, я очутился в довольно-таки трудном положении

Уилфред. Весьма огорчительно. Что случилось?

Колли. Понимаете, дела в последнее время идут хуже некуда

Уилфред. Да, да, знаю. И не предвижу каких-либо улучшений. Честно говоря, я страшно рад, что вовремя вышел из игры.

Колли. Ну еще бы.

Уилфред. Все кругом твердили, что я совершаю ошибку, входя от дел. Но внутреннее чутье подсказало мне, что что-то неладно. И я сказал себе: хватит. Протрубил не один десяток лет и сорвал порядочный куш. А теперь поживу как подобает джентльмену. Я ликвидировал дело в пору самого расцвета. Как раз вовремя.

Колли. Повезло.

Уилфред. Черта с два повезло. Понял, что к чему, — вот как это называется.

Колли. Послушайте, Уилфред. Мне крайне неприятно обращаться к вам, но положение мое действительно чрезвычайно тяжелое. Я был бы очень вам благодарен, если бы вы ссудили мне немного денег

Уилфред (*сердечно*). Дружище, дорогой, о чем речь! Я всегда рад выручить друга. Сколько вам нужно?

Колли. Господи, вы так добры. Видите ли, мне нужно двести фунтов. Как насчет этого?

Уилфред. Ого, это сумма. Я думал, вам надо фунтов десять. Двести фунтов — совсем другое дело.

Колли. Но ведь для вас это не так уж много.

Уилфред. Вы, очевидно, считаете, что у меня денег куры не клюют. Ценные бумаги, в которые я вложил свой капитал, летят вниз, как и у всех других. Поверьте, у меня осталось только-только на жизнь.

Колли. Понимаете, я очутился прямо-таки в безвыходном положении

Уилфред. Но почему бы вам не обратиться в банк?

Колли. Да потому что я уже давным-давно превысил свой кредит. Они больше не дадут мне ни шиллинга

Уилфред. Неужели у вас нет никакого обеспечения?

Колли. С их точки зрения — нет

Уилфред. В таком случае что прикажете считать обеспечением, если я одолжу вам деньги?

Колли. Мое честное слово — я верну их вам при первой же возможности.

Уилфред. Голубчик, вы удивительно славный малый, вы кавалер ордена «За безупречную службу» и прочее и прочее, но ведь бизнес есть бизнес.

Колли. Вы знаете меня уже полгода. И должны понимать, что я честный человек.

Уилфред. Когда я ради здоровья своей жены снял неподалеку отсюда меблированный дом и услышал, что вы бывший морской офицер, я тотчас же обратился к вашим услугам — бензин, шины, ремонт автомобиля. Я ведь знаю, как трудно приходится вам — отставникам. И всегда платил по всем вашим счетам незамедлительно.

Колли. Вас отлично у меня обслуживали

Уилфред. Верно. И я очень сожалею, что ваше предприятие не оправдало себя. Будь вы деловым человеком, вы бы понимали, что поселяться в эдакой дыре — чистое безумие. Но при этом я никак не возьму в толк, почему я должен дарить вам две сотни фунтов.

Колли. Но я же прошу их не в подарок

Уилфред. Не вижу никакой разницы. Десятки раз я одалживал деньги, и не было случая, чтобы мне их вернули. Да и вообще, на мой взгляд, вы немного хватили через край, попросив у меня такую сумму

Колли. Я полагаю, вы понимаете, что мне это не доставляет большого удовольствия. Поверьте, у меня нет выхода. Для меня это вопрос жизни или смерти.

Уилфред. Глубоко сочувствую, старина, но помочь ничем не могу.. Интересно, нашла Лоис мяч или нет?

Встает и выходит в сад. Подавленный, Колли остается сидеть. Входит Ив с чайником для заварки

Ив. Что случилось? У вас ужасно расстроенный вид.

Колли (*пытается овладеть собой*) Простите

Ив. Они еще ждут нас?

Колли (*со вздохом*) Должно быть, ждут

Ив. Расскажите же, что случилось.

Колли (*пытается улыбнуться*) Да вам это совсем не интересно.

Ив. Зачем вы так говорите? Неужели вы не понимаете, что все что касается вас мне интересно

Колли. Вы очень добры.

Ив. Наверно, я чересчур замкнутая. Не умею выставлять свои чувства напоказ. Но мне так хочется, чтобы вы считали меня своим другом.

Колли. А я и считаю.

Ив. Тогда расскажите обо всем. Быть может, я смогу вам помочь.

Колли. Боюсь, это не в ваших силах. Да у вас и без меня тягот хватает.

Ив. Вы имеете в виду, что я забочусь о Сиднее? Для меня это вовсе не тягость. Я с радостью сделаю для бедного Сиднея все, что могу. Как подумаю о том, что сотворила с ним война...

Колли. И все-таки вы поступаете очень великодушно.

Ив. Понимаете, Этель была тогда уже замужем, Лоис — совсем юная. А мама никогда не отличалась крепким здоровьем. Заботы о Сиднее помогли мне пережить потерю бедного Теда.

Колли. Это ваш жених?

Ив. Да. Когда его убили, я чуть с ума не сошла. Может, я восприняла его гибель слишком болезненно. Нельзя позволять себе распускаться, верно? И уж если нам дарована жизнь, наша обязанность мужественно встречать житейские невзгоды и не падать духом.

Колли (*рассеянно*). Да, да, вы правы. Время помогает справиться с любыми трудностями.

Ив. И мне кажется, это большое счастье, что у нас хватает сил справляться с ними. По-моему, девушки должны выходить замуж. А вы как считаете? Я убеждена, что назначение женщины — быть хозяйкой в собственном доме, иметь детей и отдавать всю себя заботам о них.

Колли. Да, да, совершенно с вами согласен.

Короткая пауза.

Ив. Как странно, Колли, что вы никогда не были женаты.

Колли (*с усмешкой*). У меня никогда не было на это денег.

Ив. Ну, деньги еще не все. Умная женщина всегда сумеет обойтись малым. (*Оживленно.*) Пожалуй, мне надо поглядеть по сторонам — не найду ли я для вас кого-нибудь подходящего.

Колли. Боюсь, я уже слишком стар.

Ив. Господи, какая ерунда. Мы ведь с вами ровесники. К тому же женщины обожают моряков. Ручаюсь, любая

здешняя девушка запрыгает от радости, предложите вы ей руку и сердце.

Колли (*слегка смущенный*). Вряд ли только я это сделаю.

Ив. Неужели вы ждете, что кто-то сделает предложение вам? Ну, знаете, это уж слишком!

Колли. Не спорю!

Ив. Ведь порядочная девушка единственно что может — это показать мужчине, что он ей небезразличен, а уж дальше все зависит от него.

Колли. Простите, у меня что-то разболелась голова. Будьте добры, скажите им, что я не смогу больше играть сегодня. Может, Этель будет четвертой.

Ив. О, милый, какая жалость. Ну конечно же вам нельзя играть. Не беспокойтесь ни о чем.

Из дома выходит Ленард Эрдсли. Это крепкий краснолицый мужчина шестидесяти пяти лет с голубыми глазами и седыми волосами. Он больше похож на старомодного помещика-спортсмена, чем на провинциального адвоката. Он в дружеских отношениях с местным дворянством и в охотничий сезон не прочь поохотиться день-другой.

А, папа, наконец-то. А мы уже давно кончили чай.

Эрдсли. У меня был посетитель. (*Кивает Колли.*) Как поживаете, Стрэттон? Ступай, Иви, я налью себе сам. Мне надо поговорить с нашим молодым другом.

Ив. Хорошо. (*Выходит в сад.*)

Эрдсли. Я только что разговаривал с Рэдди.

Колли. Да?

Эрдсли. Боюсь, у меня для вас не очень хорошие новости.

Колли. Он не хочет ждать?

Эрдсли. Он не может ждать.

Колли. Что же теперь делать?

Эрдсли. На мой взгляд, единственно разумное решение — объявить себя банкротом.

Колли. Но это же смешно. Все дело в каких-то ста восьмидесяти фунтах. Мне бы продержаться еще совсем немного, и тогда я бы все выправил. Какой срок назначил Рэдди для уплаты?

Эрдсли. Первое число следующего месяца.

Колли. Значит, к этому сроку надо раздобыть деньги, вот и все.

Эрдсли. Послушайте, Колли. Вам пришлось очень трудно, и вы заслуживаете всяческого успеха. Поверьте, никто не будет огорчен больше меня, если вы его не достигнете. И пожалуйста, не вздумайте беспокоиться о гонораре. Забудем об этом.

Колли. Вы очень добры.

Эрдсли. Ничего подобного. Просто я считаю, что со всеми вами, кого вышвырнули из флота, обошлись очень уж круто. Это с вашим-то послужным списком! Насколько я понимаю, вы поставили на карту все, что имели, да?

Колли. Все. Если я объявлю себя банкротом, то останусь без гроша. Буду благодарить судьбу, если устроюсь шофером автобуса.

Эрдсли (*бодро*). Ну, надеюсь, до этого не дойдет. Такое падение для человека, командовавшего миноносцем, имеющего к тому же столько орденов...

Из дверей дома появляется миссис Эрдсли с доктором Прентисом. Это пожилой худощавый человек с седыми волосами, суровым лицом и пронзительными глазами.

Привет, Чарли.

Прентис. Здравствуй. А, это вы, Стрэттон.

Эрдсли. Вот хорошо. Угодил к самому чаю. (*Обращается к Колли.*) Вы, наверное, хотите пойти поиграть в теннис, Колли. Так ради бога не обращайтесь на нас внимания, ступайте.

Колли. Нет, нет. На сегодня хватит. До свидания, миссис Эрдсли.

Миссис Эрдсли. Как, вы уже уходите?

Колли. К сожалению, да.

Миссис Эрдсли. Ну что ж, до свидания. Приходите поскорее.

Колли. До свидания. (*Кивает обоим мужчинам и уходит в дверь, ведущую в дом.*)

Миссис Эрдсли (*Прентису*). Не хочешь ли выпить чаю?

Прентис. Нет, спасибо.

Миссис Эрдсли. Колли чем-то встревожен. Что-нибудь случилось?

Прентис. Мне говорили, его гараж совсем прогорает.

Эрдсли. Обычная история с бывшими офицерами. Начинают дело, в котором ничего не смыслят. Когда же приходит опыт, уже поздно: потеряно все до последнего шиллинга.

Миссис Эрдсли. Как это несправедливо.

Эрдсли. Конечно, несправедливо. Но что поделаешь? Государство не может позволить себе роскошь содержать армию офицеров, в которых оно больше не нуждается.

Прентис. Беда в том, что служба в армии совершенно не готовит их к тяготам и лишениям повседневной жизни.

Эрдсли. Ну ладно, мне пора назад в контору. Прикажешь считать твой визит чисто дружеским, Чарли, или ты наведался в поисках пациентов? Лично я абсолютно здоров, так что благодарю покорно.

Прентис (*с мрачной шутливостью*). Вот-вот, все вы так говорите. А померить давление, так, наверно, высоченное.

Эрдсли. Э, ерунда. Я ведь ни разу в жизни не болел.

Прентис. Ладно, ладно. Только потом не вали на меня, если удар хватит. Я всегда отношусь с подозрением к эдаким здоровячкам.

Миссис Эрдсли. По правде говоря, я хотела посоветоваться с Чарли по поводу Ив. Последнее время она крайне нервна и раздражительна.

Эрдсли. Дорогая, все это тебе только кажется. Просто она мало-помалу начинает превращаться в старую деву. Самое главное — придумать для нее занятие. Слава богу, с Сиднеем у нее забот выше головы.

Прентис. Как Сидней, здоров?

Миссис Эрдсли. Здоров, насколько это возможно.

Эрдсли. Бедный Сидней. Единственное, что мы можем для него сделать, — это по мере наших сил облегчить ему жизнь. Для меня это большое несчастье. Я так надеялся, что он войдет со временем в дело. Сейчас бы он уже снял с меня львиную долю работы. Да уж, кто-кто, а я оплатил войну сполна.

Прентис (*насмешливо*). Он тоже, в некотором отношении.

Эрдсли. Безусловно. Но он уже свыкся с этим. Понимаете, инвалидам проще. К счастью, у меня здоровья и энергии хоть отбавляй. Так или иначе, надо идти в контору и браться за работу. (*Кивает доктору и уходит в дом.*)

Прентис. Ну что за молодец. Всегда видит жизнь с лучшей ее стороны.

Миссис Эрдсли. В этом его сила.

Прентис. Ты избаловала его.

Миссис Эрдсли. Я любила его.

Прентис. И за что только?

Миссис Эрдсли (*с улыбкой*). Понятия не имею. Наверно, за то, что он никогда не видел дальше своего носа и мне приходилось постоянно быть начеку, как бы он не споткнулся и не сломал себе шею.

Прентис. Ты хорошая жена и мать, Шарлотта. Таких, как ты, в наши дни осталось немного.

Миссис Эрдсли. Да ведь и времена теперь другие. По-моему, нельзя судить слишком строго нынешнюю

молодежь, сталкивающуюся с проблемами, о существовании которых мы и понятия не имели.

Прентис. Ты хотела поговорить со мной насчет Ив?

Миссис Эрдсли. Да, да, мне бы очень хотелось, чтобы ты ее посмотрел. Она что-то все худеет. И вообще она меня очень тревожит.

Прентис. По-моему, ей надо отдохнуть. Я обязательно поговорю с ней. Но, по правде говоря, меня гораздо больше беспокоит ты. Мне внушает опасения боль, на которую ты жалуешься.

Миссис Эрдсли. Вряд ли это что-нибудь серьезное. Ну, поболит и перестанет. Как я понимаю, такие боли мучают по временам большинство женщин моего возраста.

Прентис. А у меня эта боль из головы не выходит. Может, ты согласишься все-таки на обследование?

Миссис Эрдсли. Вот уж чего не хотелось бы.

Прентис. Послушай, я ведь неплохой врач, даром что твой брат.

Миссис Эрдсли. Ну чем ты мне поможешь? Когда боль уж очень донимает, я принимаю таблетку аспирина. И нечего поднимать панику.

Прентис. Если ты не согласишься, я пожалуйюсь Ленарду.

Миссис Эрдсли. Нет, ради бога, не надо. Его хватит удар.

Прентис. А раз так, соглашайся.

Миссис Эрдсли. Прямо сейчас?

Прентис. Да, сейчас.

Миссис Эрдсли. Ты знаешь, в детстве я тебя терпеть не могла за то, что ты вечно мной командовал, и с каждым годом не терплю тебя все больше и больше.

Прентис. Ты злая старая ведьма, вот ты кто, Шарлотта, а женщине положено быть молодой и красивой, но, клянусь честью, есть в тебе что-то такое, что мне безусловно нравится.

Миссис Эрдсли *(улыбаясь)*. Дурак ты, и больше ничего.

Лоис и Уилфред Сидар медленно идут из сада.

Лоис. Привет, дядя Чарли. Теннис отменяется. Ив говорит, что у Колли разболелась голова.

Миссис Эрдсли. Да, он ушел домой.

Прентис. А я увожу с собой вашу мать — хочу осмотреть ее.

Лоис. Ой, мама, ты ведь не больна?

Миссис Эрдсли. Нет, нет, детка, конечно нет. Дядя Чарли вечно делает из мухи слона.

Они уходят в дом.

Уилфред. Мне уйти?

Лоис. Нет, садитесь. Хотите что-нибудь выпить?

Уилфред. Не сейчас. Давайте лучше поговорим.

Лоис. Вот и дни уже начали убывать. Господи, как я ненавижу зиму.

Уилфред. Тут, наверно, довольно уныло зимой.

Лоис. А, да ладно, не будем об этом! Когда вы уезжаете на юг?

Уилфред. Не раньше чем через месяц.

Лоис. А на следующий год опять снимете здесь дом?

Уилфред. Пока не знаю. А вы бы хотели?

Лоис. Ну еще бы. Ужасно, когда Мэнор-хаус пустует.

Уилфред. А знаете, вы ведь очень хорошенькая.

Лоис. Много мне от этого радости.

Уилфред. Почему бы вам не пойти на сцену?

Лоис. Просто так на сцену не пойдешь.

Уилфред. Ну, с вашей-то внешностью вам ничего не стоит устроиться в театр.

Лоис. Представьте себе, с каким лицом встретил бы папа подобное сообщение.

Уилфред. Но ведь в этой дыре у вас не очень много шансов выйти замуж.

Лоис. Ну, как знать. Глядишь, кто-нибудь и подвернется.

Уилфред. А мне почему-то кажется, вы бы имели успех на сцене.

Лоис. Для этого учиться надо. По меньшей мере год. И жить в Лондоне. А это стоит денег.

Уилфред. Деньги я беру на себя.

Лоис. Вы? То есть как это?

Уилфред. Я ведь не то чтобы совсем бедняк. Мысль, что вы будете прозябать в этой дыре, мне невыносима.

Лоис. Перестаньте говорить глупости. Как я могу принять от вас деньги?

Уилфред. А почему бы и нет? В наше время соблюдать условности — занятие весьма нелепое.

Лоис. А как, по-вашему, посмотрит на это Гвен?

Уилфред. Ей вовсе не обязательно знать об этом.

Лоис. Все равно уже поздно. Мне двадцать шесть. А начинать надо в восемнадцать... Удивительно, как быстро

летят годы. Я только после двадцати осознала, что стала взрослой. В голове порой бродили смутные мысли, что хорошо бы стать машинисткой или медсестрой. Но дальше размышлений дело никогда не шло. Наверно, потому, что я все же надеялась выйти замуж.

У и л ф р е д. Что же вы будете делать, если не выйдете?

Л о и с. Останусь старой девой. Утешением родителям на старости лет.

У и л ф р е д. Не очень-то в это верится.

Л о и с. Вы только не подумайте, что я жалуюсь. Просто уж очень здесь жизнь скучная и однообразная. Время летит, и не замечаешь, как один за другим уходят годы.

У и л ф р е д. Неужели никто никогда не просил вашей руки?

Л о и с. Ну как же. Вот хотя бы ассистент дяди Чарли. Отвратительный маленький человечек. А потом еще вдовец с тремя детьми и без гроша в кармане. Я подумала-подумала и решила, что игра не стоит свеч.

У и л ф р е д. И правильно.

Л о и с. А почему вы предложили это именно сейчас? Заплатить за мое обучение?

У и л ф р е д. Да я и сам не знаю. Просто мне стало жаль вас.

Л о и с. Вы отнюдь не производите впечатления филантропа.

У и л ф р е д. Ну раз уж вы хотите, так знайте: я просто потерял из-за вас голову.

Л о и с. И вы решили, что я отблагодарю вас общепринятым способом.

У и л ф р е д. И не помышлял об этом.

Л о и с. Ах, бросьте!

У и л ф р е д. Вы не сердитесь на меня? Ведь не моя вина, что из-за вас я лишился рассудка.

Л о и с. Но послушайте, вы же годитесь мне в отцы.

У и л ф р е д. Я знаю, и нечего тыкать мне это в нос.

Л о и с. Пожалуй, даже к лучшему, что вы через месяц уезжаете.

У и л ф р е д. Я сделаю для вас все на свете, Лоис.

Л о и с. Большое спасибо, только делать ничего не надо.

У и л ф р е д. Вы и сами не знаете, что говорите. Вы губите себя здесь. Я могу дать вам то, о чем вы и не мечтали. Париж. Вы ведь никогда не были в Париже, а? Бог мой, вы потеряете голову от одних лишь парижских туалетов. Вы сможете купить себе столько платьев, сколько захотите. Канны и Монте-Карло. А как насчет Венеции? Мы - Гвен

провели позапрошрое лето в Лидо. Фантастическая роскошь, уж можете мне поверить.

Лоис. Вы просто старое чудовище. Будь я благовоспитанной девицей, я должна бы немедленно позвать лакея и велеть ему указать вам на дверь.

Уилфред. И вовсе я не такой уж плохой. Я уверен, что могу сделать вас счастливой. Знаете, вам ведь стоит лишь шевельнуть пальцем.

Лоис (*глядя на свой палец*). Сверкающим драгоценностями?

Уилфред. Вот именно.

Лоис (*со смехом*). Хватит глупости болтать.

Уилфред. Бог мой, как я люблю вас! И какое облегчение сказать вам наконец об этом. Уму непостижимо, как только вы сами не догадались!

Лоис. Мне и в голову не приходило. А Гвен знает?

Уилфред. Что вы, она никогда ничего не видит. С ее-то куриными мозгами.

Лоис. Надеюсь, вы не собираетесь создавать из этого драму?

Уилфред. Напротив, я хочу оставить вас и дать вам возможность подумать.

Лоис. В этом нет никакой необходимости. И думать незачем. Ничего вы не добьетесь. Тихо, сюда кто-то идет.

Из дома выходит Говард Бартлетт. Это крупный импозантный мужчина сорока лет, пожалуй, склонный к полноте, но сохранивший ту броскую красоту, которая привлекла Этель во время войны. На нем весьма поношенные брюки гольф и спортивный пиджак слишком яркой расцветки. Во всем его облике есть что-то безвкусное. У него довольно правильная речь, но выговор несколько простонародный. В данный момент он не вполне трезв. Его не назовешь пьяным, но горячительные напитки, которые он выпил за день, явно привели его в веселое расположение духа.

Говард. А вот и я.

Лоис. Привет, Говард.

Говард. Никак, я вас застукал? Чем это вы здесь занимаетесь с моей свояченицей, Сидар? Ты поосторожней с этим типом, Лоис. От него можно всего ожидать.

Лоис (*со смехом*). Да ну тебя, Говард!

Говард. Уж я-то знаю. Он из тех, которым ничего не стоит сбить бедную девушку с пути.

Лоис (*холодно*). Ты пьян, Говард.

Говард. Ну и что? У меня от этого голова еще лучше работает. (*Вновь обращается к прежней теме.*) Не верь ни одному его слову. Он гадкий порочный старик.

Уилфред. Продолжайте, Говард. Я люблю, когда мне льстят

Говард. Понимаешь, намерения у него вовсе не благородные. (*Уилфреду.*) Ну скажите честно, как мужчина мужчине, у вас благородные намерения?

Уилфред. Если вы так ставите вопрос...

Говард. Не забудьте: как мужчина мужчине.

Уилфред. ...то я не стану убеждать вас в обратном.

Говард. Ну что я тебе говорю, Лоис?

Лоис. Во всяком случае, теперь я твердо знаю, как вести себя.

Говард. И не говори потом, что я не предупреждал тебя. Когда будешь бродить по Лондону бездомная, с ребенком на руках, тогда не жалуйся, что Говард тебя не предупреждал.

Лоис. Говард, тебя Этель ждет. Она хочет ехать домой.

Говард. В гостях хорошо, а дома лучше, и место женщины — дома.

Лоис. Она где-то в саду.

Говард. Превосходная женщина. Всегда знаешь, где ее найти. Не то что эти ваши бездельницы-вертихвостки. Лучше всех. И заметьте — настоящая леди. (*Уилфреду.*) Я-то, что греха таить, по рождению вовсе не дворянин.

Уилфред. Да ну?

Говард. Меня произвел в дворяне король. Его величество. Пускай я теперь всего-навсего простой фермер, но я побывал офицером, и я джентльмен. И прошу не забывать об этом.

Лоис. Ты несешь чепуху, Говард.

Говард. Ладно, но только вот что я хочу сказать вам, Сидар: оставьте эту девушку в покое. Бедную сиротинку. Невинную деревенскую простушку. Я взываю к лучшим сторонам вашей натуры.

Уилфред. А знаете, что с вами, Бартлетт?

Говард. Нет, не знаю.

Уилфред. Вы пьяны.

Говард. Я пьян? Да я трезв как стеклышко. Как повашему, сколько раз я пил сегодня?

Уилфред. И не сосчитать.

Говард. Может, оно и так, если считать по пальцам только одной руки. (*Торжествующе.*) Но если по пальцам обеих рук — извините, пожалуйста. А чтоб мне напиться — одной руки явно недостаточно.

Уилфред. Не забывайте, Говард, что вы уже не мальчик. Так много пить, как прежде, вам уже не под силу.

Говард. А знаете, когда я был офицером и джентльменом, я запросто выпивал бутылку виски в один присест — и

ни в одном глазу. (*Видит миссис Эрдсли и доктора Прентиса, которые идут через гостиную на веранду.*) А вот и доктор. Давайте-ка спросим у него.

Они выходят на веранду.

Миссис Эрдсли. Говард! А я и не знала, что ты здесь.

Говард. Собственной персоной.

Доктор Прентис. Были в Стэнбери?

Говард. Да, нынче ведь базарный день.

Доктор Прентис. Ведете какие-нибудь дела?

Говард. С делами — хуже некуда. Только время попусту трачу. На сельском хозяйстве теперь далеко не уедешь.

Миссис Эрдсли. Ты выглядишь усталым, Говард. Может, налить тебе чашку чая?

Говард. Это я-то устал? Да я вообще никогда не устаю. (*Показывает на Уилфреда.*) А знаете, что утверждает этот малый? Он утверждает, что я пьян.

Уилфред. Я пошутил.

Говард (*торжественно*). Вот я и решил узнать мнение профессионала. Дядя Чарли, доктор Прентис, скажите как мужчина мужчине — я правда пьян? И не бойтесь обидеть меня. Все, что вы ни скажете, я перенесу стойко, как офицер и джентльмен. Смирно!

Доктор Прентис. Мне приходилось видеть людей и попьянее.

Говард. Ну уж нет, проверьте-ка меня как следует. Я хочу добиться правды. Велите мне сказать: «английская конституция».

Доктор Прентис. Скажите: «английская конституция».

Говард. Ага, а я уже сказал. На этом вы меня не поймаете. А вот как насчет меловой черты?

Доктор Прентис. Какой еще черты?

Говард. Да вы что? Мне, что ли, вас учить? Проводите мелом на полу черту и велите мне пройти по ней. И сразу все выясняется. Валяйте! Проводите черту. Только смотрите, чтоб была прямая.

Доктор Прентис. К сожалению, у меня нет мела.

Говард. У вас нет мела?

Доктор Прентис. Представьте себе.

Говард. Значит, я так никогда и не узнаю, пьян я или нет.

Из сада выходит Сидней в сопровождении Этель. Чуть позже появляется Ив.

Этель. Ну как, Говард, удачный день?

Сидней. Привет.

Говард. Да. Встретил отличных ребят, парни что надо. Цвет английской нации.

Этель вздрагивает, поняв, что он нетрезв, но делает вид, что ничего не заметила.

Этель (*бодро*). Ну, а что с делами?

Говард. Хуже некуда. Цены упали. Заниматься в наши дни сельским хозяйством — это же гиблое дело. Вот я вас и спрашиваю: почему правительство ничего не предпринимает?

Этель. Они же обещали.

Говард. А собираются они сдержать свое обещание? Ты знаешь, что не собираются, и я знаю, что не собираются, да и они сами знают, что не собираются.

Этель. Значит, нам остается одно: смириться и терпеть, как мы терпели все эти годы.

Говард. Но послушайте — на нас держится вся страна или не на нас?

Сидней. Не знаю ни одного члена парламента, который бы это отрицал.

Говард (*на грани гнева*). Я знаю, что говорю.

Этель (*успокоительно*). Конечно, знаешь.

Говард. А раз так, почему он мне возражает?

Сидней. Да я и не думал возражать. Я полностью согласен с тобой.

Говард (*успокаиваясь*). Согласен, значит? Ну что ж, очень мило с твоей стороны. Ты славный малый. Ты мне всегда нравился, Сидней.

Сидней. Вот и отлично.

Говард. Я родился на ферме. Родился и вырос. Всю свою жизнь был фермером, за исключением тех лет, когда был офицером и джентльменом. Объяснить тебе, в чем беда сельского хозяйства?

Сидней. Нет, не надо.

Говард. Не надо?

Сидней. Не надо.

Говард. Ладно, не буду.

Опускается на стул, вялый и сонный. В этот момент из гостиной выходит Гвен Сидар. На ее лице — застывшая улыбка.

Миссис Эрдсли (*удивленно*). Гвен?!

Гвен. Я точно фальшивая монета, которая без конца возвращается к своему владельцу. Я шла мимо вашего

крыльца, а горничная сказала, что Уилфред все еще здесь, вот я и решила зайти за ним.

Миссис Эрдсли. Конечно.

Уилфред (*мрачнеет от злости*). Что это тебе взбрело в голову, Гвен?

Гвен. Я подумала, что тебе не захочется тащиться пешком.

Уилфред. Но ты же сказала, что едешь домой.

Гвен. Я вспомнила, что у меня есть кое-какие дела в городе.

Уилфред. Я с большим удовольствием пошел бы пешком.

Гвен (*с веселой улыбкой*). Почему?

Уилфред. Бог мой, неужели я должен объяснять, почему хочу пройтись?

Гвен. Но это глупо, когда есть машина.

Уилфред. Мне необходим моцион.

Гвен. У тебя и без того моциона предостаточно.

Уилфред. Гвен, ты ведешь себя глупо.

Гвен. Ты груб со мной, Уилфред.

Уилфред. Меня бесит, что ты вечно боишься даже на десять минут выпустить меня из-под своей опеки.

Гвен (*по-прежнему очень весело*). В тебе столько обаяния, Уилфред. Я живу в постоянном страхе, что за тобой начнет охотиться какая-нибудь наглая безнравственная женщина.

Уилфред (*грубо*). Ну, хватит, пошли. Идем же!

Гвен (*поворачивается к миссис Эрдсли, чтобы позвать ей руку*). До чего же они несносны, эти мужчины, правда?

Уилфред. До свидания, миссис Эрдсли. Большое вам спасибо.

Гвен. Мы чудесно провели время. Так мило, что вы пригласили нас.

Миссис Эрдсли. Надеюсь, вы скоро снова навестите нас.

Уилфред мрачно кивает остальным. Задерживается у окна, поджидая жену, и, когда она выпархивает из комнаты, следует за ней.

Сидней. Что, собственно, произошло?

Лоис. Господи, какая дура.

Сидней. Бьюсь об заклад, он задаст ей жару в машине.

Говард тихонько всхрапывает. Он заснул пьяным сном. Этель вздрагивает

Этель. Бедный Говард. Он ужасно устал. Ночью одной из коров было плохо, и он на ногах с пяти утра.

Миссис Эрдсли. Пусть немного поспит, Этель. Сидней, а ты бы лучше шел в дом. Становится прохладно. Сидней. Хорошо.

Миссис Эрдсли, доктор Прентис и Сидней уходят в дом.

Доктор Прентис *(на ходу)*. Как твоя невралгия, Сидней?

Сидней. Да ничего, вполне терпимо.

Три дочери миссис Эрдсли остаются одни со спящим пьяным Говардом.

Этель. Бедный Говард, он так тяжело трудится. Я рада, что ему выпало несколько минуток покоя.

Ив. Ты тоже тяжело трудишься, однако тебе покоя не выпадает.

Этель. Мне это совсем не трудно. Напротив, очень интересно. А работать вместе с Говардом одно удовольствие.

Ив. Послушай, Этель, а ты бы вышла снова за него замуж, если бы можно было повернуть время вспять?

Этель. Отчего ж, конечно. Он прекрасный муж.

Миссис Эрдсли появляется в двери гостиной.

Миссис Эрдсли. Иви, Сиднею хочется поиграть в шахматы.

Ив. Хорошо, мама, я иду.

Миссис Эрдсли уходит в комнату. Ив встает.

Лоис. Ты, наверно, терпеть не можешь шахмат?

Ив. Ненавижу.

Этель. Бедная Иви.

Ив. Это одна из немногих игр, в которые может играть Сидней. Я рада, что в моих силах хоть немного облегчить ему жизнь.

Этель. Какой ужас — война.

Лоис. И скорее всего, ничто уже никогда не изменится, а тем временем мы превратимся в дряхлых, изнывающих от скуки старух.

Говард снова всхрапывает.

Ив. Ну, я пойду. *(Идет в комнату.)*

Лоис. У тебя хотя бы есть дети.

Этель. Да, мне не на что жаловаться.

Лоис встает и, склонившись к Этель, целует ее в щеку. Потом выходит в сад, где уже ступили сумерки. Этель смотрит на мужа, и по ее лицу катятся слезы. Она вынимает носовой платок и нервно проводит им по лицу, стараясь овладеть собой.

На сцене — столовая в доме Эрдсли. Она обставлена в старомодном стиле — буфет красного дерева, стулья красного дерева с обитыми кожей сиденьями и спинками, массивный обеденный стол красного дерева. По обеим сторонам камина — два мягких кресла, одно с подлокотниками — для хозяина дома, другое без подлокотников — для хозяйки. На стенах — большие гравюры академической школы в рамах. Возле окна-эркера, выходящего на Хай-стрит, Ив и Сидней сидят за шахматами. Только что отобедали; горничная Гертруда убирает со стола.

Миссис Эрдсли сидит в своем кресле, читая газету.

Ив. Дядя Чарли на своей машине.

Сидней. Иви, пожалуйста, не отвлекайся.

Ив. Но ведь ход-то твой.

Миссис Эрдсли. Гертруда, будьте добры, откройте дверь.

Гертруда. Слушаюсь, мадам. *(Выходит.)*

Ив. Что-то он зачастил к нам последнее время.

Миссис Эрдсли. Будто ты его не знаешь. Не может не волноваться по пустякам.

Сидней. Ты плохо себя чувствуешь, мама?

Миссис Эрдсли. Нет, просто старею.

Сидней. Боюсь, против этого недуга даже дядя Чарли бессилен.

Миссис Эрдсли. Вот это я и пытаюсь втолковать ему.

Гертруда вводит доктора Прентиса.

Гертруда. Доктор Прентис.

Он входит, целует миссис Эрдсли, приветственно машет рукой остальным.

Доктор Прентис. Как поживаете? Не обращайтесь на меня внимания, продолжайте играть.

Сидней. Нам выйти?

Доктор Прентис. Нет, нет. Я приехал вовсе не как врач. Просто заглянул на минутку.

Сидней. Конь в1 — с3.

Ив передвигает фигуры согласно его указанию. Доктор садится и протягивает руки к огню.

Доктор Прентис. Холодно что-то сегодня.

Миссис Эрдсли. Ну как, договорился?

Доктор Прентис. Да, завтра в три пополудни.

Миссис Эрдсли. Что ж, прекрасно.

Доктор Прентис. А где Лоис?

Миссис Эрдсли. Играет в гольф. А чтобы не мотаться взад-вперед, решила пообедать в клубе.

Сидней. Лоис играет с Уилфредом. Обещала потом привезти его к нам, и Колли придет, так что мы сможем сыграть пару робберов в бридж.

Миссис Эрдсли. Как я рада за тебя, Сидней.

Сидней. А в гостиной горит камин?

Миссис Эрдсли. Сейчас велю затопить. Гертруда!

Гертруда (*все это время продолжала убирать со стола*)
Слушаюсь, мадам.

Убирает скатерть в буфет и уходит

Миссис Эрдсли (*доктору Прентису*) Ты не мог бы остаться и составить партию четвертым?

Доктор Прентис. Я бы с удовольствием. Беда только, дел по горло.

Ив. Конь g8—f6.

Сидней. Это же идиотский ход, Иви.

Ив. Не вижу причины, почему бы мне его не сделать, раз мне хочется.

Сидней. Но у тебя же слон под ударом.

Ив. Послушай, Сидней. Ты играешь — и играй, и пожалуйста, не указывай, как играть мне.

Миссис Эрдсли. Иви!

Сидней. Но ведь ты совершенно не желаешь просчитывать ходы.

Ив (*в ярости*). Господи, да я всю жизнь только и делаю, что просчитываю ходы. Веселенькое занятие, чтоб его черт побрал.

Сидней. Милая, что с тобой?

Ив (*беря себя в руки*). Ничего, ничего. Извини, пожалуйста. Ну хорошо, защищаю слона. Пешка f7—f5.

Сидней. По-моему, это не самый удачный ход.

Ив. Ничего, сойдет.

Сидней. Какой смысл играть в шахматы, если ты не даешь себе ни малейшего труда подумать.

Ив. О господи, перестанешь ты когда-нибудь нудеть? Просто с ума можно сойти.

Сидней. Да и не думал я нудеть. Ладно, больше не скажу ни слова.

Ив. О, как мне все это осточертело!

Опрокидывает доску и сбрасывает шахматы на пол

Миссис Эрдсли. Иви!

Ив. К черту! К черту! К черту!

Миссис Эрдсли. Иви, что с тобой? Ну можно ли сердиться из-за проигранной игры? Это же ребячество.

Ив. Да плевать я хотела — проиграю я или выиграю. Ненавижу эту мерзкую игру.

Доктор Прентис (*успокаивающе*). Мне она тоже кажется скучной.

Миссис Эрдсли. Да, да, только у Сиднея так мало развлечений.

Ив. Но почему именно я должна все время приносить себя в жертву?

Сидней (*с чуть насмешливой улыбкой*). Иви, дорогая, а мы-то думали, что тебе это нравится.

Ив. А мне надоело быть козлом отпущения.

Миссис Эрдсли. Прости, Иви, мне и в голову не приходило, что ты так к этому относишься. Мне казалось, ты готова сделать ради Сиднея все, что в твоих силах.

Ив. Мне так горько, что он слепой. Но ведь это не моя вина. И в том, что была война, я тоже неповинна. Пусть бы шел в приют для инвалидов.

Миссис Эрдсли. О, как это жестоко. Как бессердечно.

Ив. Он подвергался такому же риску, как все остальные. Ему еще повезло — он жив остался.

Сидней. Ну, это как сказать.

Ив. Он никому не хочет давать жить. Это же ужасно!

Миссис Эрдсли. Мне всегда казалось, мы должны гордиться тем, что можем хоть немного облегчить ему жизнь, ведь он стольким пожертвовал ради нас. И при этом я думала не только о нем, но о всех тех, кто, выполняя свой долг, принес в жертву так много во имя нашего блага, нашего благополучия.

Ив. Я за все это сполна расплатилась. Я расплатилась за это жизнью человека, который должен был стать моим мужем. Я обожала его. У меня мог быть свой дом, дети. А больше мне такой возможности никогда не представилось. И теперь... теперь... О, я так несчастна.

В рыданиях убегает из комнаты. На какое-то мгновение воцаряется неловкая тишина.

Миссис Эрдсли. Что это с ней?

Сидней. Ей нужен мужчина, вот и все.

Миссис Эрдсли. О Сидней, перестань. Это ужасно.

Сидней. Но отнюдь не противоестественно.

Миссис Эрдсли. Не вздумай обращать внимание на все, что она тут наговорила.

Сидней *(со снисходительной улыбкой)* Дорогая мама, для меня это вовсе не новость. Давно миновали те дни, когда я ходил в героях, для которых ничего не жалко. Пятнадцать лет — большой срок.

Миссис Эрдсли. Ты же смог все это вынести. Не вижу причин, почему другие должны распускаться.

Сидней. Понимаешь, мне легче. Быть слепым — это уже само по себе занятие. Даже удивительно, до чего быстро бежит время. А всем остальным, конечно, нелегко. На первых порах с тобой нянчатся, чуть ли не на руках носят. Постепенно все привыкают и тебя уже воспринимают как нечто данное, а кончается — такова уж человеческая натура — тем, что ты становишься для всех обузой.

Миссис Эрдсли. Для меня ты никогда не станешь обузой, Сидней.

Сидней *(нежно)*. Я знаю. Ты обладаешь тем странным, непостижимым качеством, имя которому — материнский инстинкт.

Миссис Эрдсли. Увы, я не вечна. Вот почему для меня было таким утешением знать, что с Иви ты всегда будешь как за каменной стеной.

Сидней *(почти весело)*. Да не волнуйся ты из-за меня, мама. Со мной все будет в порядке. Говорят, страдания облагораживают. Меня они не облагородили. Из меня они сделали пройдоху и хитреца. Иви считает, что я эгоист. И она права. Но я к тому же до черта изворотлив. Я умею заставлять людей служить мне, воздействуя на их лучшие чувства. Мало-помалу Иви успокоится. И я опять заживу припеваючи.

Миссис Эрдсли. Вот ведь она так и не вышла замуж. Казалось, вполне естественно, что именно она взяла на себя заботы о тебе. У Этель — муж и дети. Лоис еще совсем молодая. Она не понимает. Черствая она.

Сидней *(с добродушной улыбкой пожимает плечами)*. Ну, не знаю. Просто ей свойствен здоровый, нормальный эгоизм молодости. В этом нет ничего плохого. Ей даже в голову не приходит беспокоиться обо мне, она об этом и думать не думает. Да я и не осуждаю ее. Уж с ней-то я всегда знаю, на каком я свете.

Миссис Эрдсли. Пожалуй, надо зайти к Иви.

Доктор Прентис. По-моему, не стоит, пусть побудет одна еще немного.

Входит Гертруда с письмом.

Гертруда. Миссис Сидар просила отдать вам, мадам.
Миссис Эрдсли (*открывает конверт и читает*). Она
в гостинной?

Гертруда. Нет, мадам. Она ждет в своей машине.

Миссис Эрдсли. Так проси же ее.

Гертруда. Слушаюсь, мадам.

Уходит.

Миссис Эрдсли. Как странно!

Доктор Прентис. Что именно?

Миссис Эрдсли. Да вот хотя бы это письмо от Гвен.
Она просит разрешения повидаться со мной наедине.

Сидней. Ну, раз так, я выйду.

Встает, берет палку и ошупью идет из комнаты.

Доктор Прентис. Я, пожалуй, тоже пойду.

Миссис Эрдсли. Интересно, что ей надо.

Доктор Прентис. Может, чей-нибудь адрес или
еще что-нибудь.

Миссис Эрдсли. Так ведь она могла бы спросить
по телефону.

Доктор Прентис. Скажи, прав я или нет, считая,
что она очень глупая?

Миссис Эрдсли. Абсолютно прав.

Доктор Прентис (*ждет, пока Сидней не выйдет из
комнаты, и, как только дверь за ним закрывается, меняет тон*).
У меня был долгий разговор с Мэрреем.

Миссис Эрдсли. И зачем ты заставляешь меня
ехать на этот консилиум — до чего не хочется.

Доктор Прентис. Дорогая, это очень важно. Не
хочу тебя пугать, но должен признаться, что твое состояние
меня не слишком радует.

Миссис Эрдсли. Ну хорошо, хорошо. Завтра в три
часа, так?

Доктор Прентис. Да. Он обещал мне позвонить
после того, как посмотрит тебя.

Миссис Эрдсли (*протягивая ему руку*). Ты так добр
ко мне.

Доктор Прентис (*целует ее в щеку*). Просто я люблю
тебя.

Уходит. Через минуту Гертруда вводит в комнату Гвен Сидар и,
объяснив о ее приходе, удаляется.

Гертруда. Миссис Сидар.

Миссис Эрдсли. Здравствуйте.

Гвен. Я надеюсь, вас не очень удивила моя записка. Но мне обязательно нужно было повидаться с вами.

Миссис Эрдсли. Садитесь, пожалуйста. Нам никто не помешает.

Гвен. Я решила, что необходимо поговорить об этом с вами. То есть я подумала, так будет честнее.

Миссис Эрдсли. Да?

Гвен. Пожалуй, будет лучше, если я сразу перейду к сути.

Миссис Эрдсли (*улыбнувшись*). Похвальное намерение.

Гвен. Вы ведь знаете, что я у Уилфреда — вторая жена.

Миссис Эрдсли. Нет, не знаю.

Гвен. А он у меня второй муж. Мы страстно полюбили друг друга. Оба прошли через процедуру развода. И вот уже двенадцать лет, как мы женаты. Так давно, что мне и в голову не пришло рассказать об этом, когда мы здесь поселились.

Миссис Эрдсли. Так ведь это никого и не касается, кроме вас.

Гвен. Все эти годы мы были так счастливы. Наш брак оказался на редкость удачным.

Миссис Эрдсли. У вашего мужа, наверно, очень легкий характер.

Гвен. Сказать правду, он всегда пользовался большим успехом у женщин.

Миссис Эрдсли. О, вот уж это не по моей части.

Гвен. У него к женщинам какой-то особый подход, и это, конечно, подкупает. Он умеет оказывать маленькие знаки внимания, которые льстят им. Но все это безусловно несерьезно.

Миссис Эрдсли. Не сомневаюсь.

Гвен. Увы, далеко не все женщины понимают это. А молодой девушке такое его отношение и впрямь может вскружить голову. Но принимать его всерьез крайне неразумно. К тому же он женат, а уж я-то никогда в жизни не дам ему развода. Никогда.

Миссис Эрдсли. Дорогая, вы намеревались сразу перейти к сути дела. А вместо этого ходите вокруг да около.

Гвен. Неужели вы не понимаете, о чем я говорю?

Миссис Эрдсли. Не имею ни малейшего понятия.

Гвен. Ну что ж, для меня это большое облегчение.

Миссис Эрдсли. Может, вы объясните, в чем дело?

Гвен. А вы не рассердитесь?

Миссис Эрдсли. Ну конечно же нет.

Гвен. Видите ли, он оказывает слишком много внимания вашей Лоис.

Миссис Эрдсли (*со смешком*) Милая моя, какая нелепость!

Гвен. Но я знаю, что он увлечен ею.

Миссис Эрдсли. Откуда вы взяли такую глупость?

Гвен. Они все время вместе.

Миссис Эрдсли. Какой вздор! Просто они часто играют вместе в гольф и теннис. Они и сейчас играют в гольф. Здесь так мало мужчин, с которыми ваш муж мог бы поиграть в будние дни. Для них обоих это такое удовольствие. Неужели вы хотите сказать, что ревнуете?

Гвен. Но поверьте, я знаю, что он безумно влюблен в нее.

Миссис Эрдсли. Дорогая, все это лишь игра вашего воображения.

Гвен. А вы уверены, что и она не влюблена в него?

Миссис Эрдсли. Господи, да он годится ей в отцы.

Гвен. Какое это имеет значение?

Миссис Эрдсли. Огромное. Не хочу ни в коей мере вас обижать, но в глазах девушки возраста Лоис и вы, и я, ваш муж и мой муж — древние старики.

Гвен. Может, все это и так, но здесь не очень-то много мужчин. В такой дыре привередничать не приходится.

Миссис Эрдсли. Я бы не сказала, что вы слишком учтивы.

Гвен. Простите меня, ради бога, я не хотела вас обидеть. Я так несчастна.

Миссис Эрдсли (*участливо*). Бедняжка, я уверена, что вы ошибаетесь. Ну и потом, ведь скоро вы уедете и все само собой кончится.

Гвен (*быстро*). Ага, значит, вы сами считаете, что что-то должно кончиться?

Миссис Эрдсли. Нет, нет, я имею в виду — вашим страхам придет конец. Я очень плохо разбираюсь в таких людях, как ваш муж. Но мне кажется, мужчины в его возрасте склонны порой увлекаться молодыми красивыми девушками. Как в таких случаях поступает умная жена? Умная жена пожмет плечами и улыбнется. Залог ее спокойствия в том, что для молодой красивой девушки ее муж — отживший свой век старик.

Гвен. О, как бы мне хотелось, чтобы вы были правы! Если бы вы только знали, через какие муки я прошла с тех пор, как все узнала.

Миссис Эрдсли. Я уверена, что права. И если даже в ваших опасениях есть крошечная доля истины, то, по

моему глубокому убеждению, через две недели после отъезда ваш муж и не вспомнит о Лоис.

Встает, давая понять, что разговор окончен. Гвен тоже поднимается. Выглядывает в окно и видит подъехавшую к дому машину.

Гвен. А вот и они.

Миссис Эрдсли (*смотрит в окно*). Кто? Ах да, ваш муж и Лоис.

Гвен. Он поднимается на крыльцо.

Миссис Эрдсли. Мистер Сидар обещал Сиднею составить партию в бридж. Вы ведь не против?

Гвен. Я не хочу, чтобы он меня тут застал. Он решит, что я шпионю за ним. И страшно обозлится.

Миссис Эрдсли. Сюда он не зайдет. Он пройдет прямо в гостиную.

Гвен. Вы ведь ничего не скажете Лоис, правда? Мне не хочется восстанавливать ее против себя.

Миссис Эрдсли. Конечно, не скажу. Я уверена, ей и в голову не могло прийти то, о чем вы мне говорили. Она будет очень смущена и расстроена, если узнает.

Гвен. Я исчезну, как только путь будет свободен.

Дверь распахивается, и входит Лоис. От нее так и веет здоровьем и энергией.

Лоис. Привет! Вы, оказывается, здесь, Гвен?

Гвен. Да, ваша мама хотела повидать меня по поводу благотворительного базара. Я уже ухожу.

Лоис. А Уилфред здесь.

Гвен. Да что вы? Передайте ему сердечный привет и скажите, пусть не опаздывает к ужину. Вы ведь собираетесь играть в бридж?

Лоис. Да, Колли с Говардом придут. У них составится мужской бридж.

Гвен. Уилфред уверяет, что ваш брат играет превосходно, как будто все видит.

Лоис. Да, просто удивительно. Правда, у нас ведь специальные карты.

Гвен (*замечает нитку жемчуга на шее Лоис*). Какой прелестный жемчуг! Прежде я его у вас не видела.

Лоис (*безотчетным движением подносит руку к шее и прикрывает бусы*). Я купила его на днях в Стэнбери.

Гвен. Вы расточительны! Я просто не представляла себе, что в наши дни кто-то может позволить себе покупать жемчуг.

Лоис. Да он стоит-то всего один фунт.

Гвен. Разве он не настоящий?

Лоис. Конечно нет. Откуда ему быть настоящим?

Гвен (*подходит к Лоис и трогает жемчужины*). Уж в чем, в чем, а в жемчуге я кое-что смыслю. Если бы не вы, готова была поклясться, что он настоящий.

Лоис. Увы, это не так.

Гвен. Это самая искусная подделка из всех, какие я когда-либо видела.

Лоис. Да, сейчас научились делать отличный искусственный жемчуг. Поэтому никто и не стремится больше покупать настоящий.

На лице Гвен растерянность. Она с сомнением вглядывается в жемчуг.
Затем делает над собой усилие.

Гвен. До свидания, миссис Эрдсли. Я все приготовлю вовремя.

Миссис Эрдсли. До свидания, милая. Лоис проводит вас.

Гвен и Лоис выходят. Миссис Эрдсли остается в задумчивости одна. У нее несколько озадаченный вид. Возвращается Лоис.

Миссис Эрдсли. Лоис, милая. Ты не очень хорошо выглядишь последние дни — осунулась, похудела. Как ты посмотришь на мое предложение провести неделю-другую у тети Эмили?

Лоис. Отрицательно.

Миссис Эрдсли. А она так радуется, когда ты приезжаешь к ней.

Лоис. Скучища там адова.

Миссис Эрдсли. Тебе так или иначе придется побывать у нее до конца года. Лучше уж поехать сейчас и отделаться.

Лоис. Господи, до чего ж не хочется!

Миссис Эрдсли. Подумай как следует. Тебе нельзя плохо выглядеть, не то, смотри, засидишься в невестах.

Выходит. В оставшуюся открытой дверь слышен ее голос: «А, это вы, Коли. Сидней в гостиной». Проходя мимо двери, Коли замечает Лоис.

Коли. Привет, Лоис.

Лоис. Вы что-то рано.

Коли (*останавливается в дверях*). Я договорился о встрече с вашим отцом, но ему пришлось куда-то отлучиться. Я попросил клерка передать, что, когда я понадобится, меня можно найти здесь.

Лоис. Отлично.

Колли. Пойду в гостиную.

Лоис. Ладно.

Он уходит. Лоис подходит к зеркалу и смотрит на нитку бус, обвивающую ее шею. Перебирает жемчужины. Слышен голос Уилфреда: «Лоис!»

Лоис. Да-а!

Уилфред *из коридора*). Вы где?

Лоис. В столовой.

Уилфред *(подходит к двери)*. Раз Колли пришел, почему бы не начать?

Лоис. Говарда еще нет.

Уилфред. Я знаю. Но почему бы до его прихода вам не сыграть роббер-другой?

Лоис. Зайдите-ка сюда на минутку.

Уилфред. Зачем?

Лоис. Прикройте дверь.

Уилфред *(закрывает за собой дверь)*. Прикрыл.

Лоис. Жемчуг, который вы мне подарили, искусственный, да?

Уилфред. Конечно.

Лоис. Сколько он стоит?

Уилфред. Я же говорил вам. Один фунт.

Лоис. Только что здесь была Гвен.

Уилфред. Зачем?

Лоис. О, я не знаю. Приезжала повидаться с мамой относительно устройства благотворительного базара.

Уилфред. Ах, только за этим? Она как-то странно ведет себя последнее время.

Лоис. Гвен говорит, они настоящие.

Уилфред. Откуда ей знать?

Лоис. Она говорит, что разбирается в жемчуге. У нее самой есть жемчуг

Уилфред. И уж он-то влетел мне в хорошую копеечку.

Лоис. Она сказала правду?

Уилфред *(улыбаясь)*. Под присягой я не стал бы отрицать этого.

Лоис. Тогда почему вы сказали, что он искусственный?

Уилфред. Я не был уверен, что вы примете его, зная, что он настоящий.

Лоис. Разумеется, не приняла бы. *(Протягивает руку к застезжке.)*

Уилфред. Что вы собираетесь сделать?

Лоис. Собираюсь вернуть жемчуг вам.

Уилфред. Не надо, по крайней мере сейчас. Все сразу догадаются.

Лоис. Я не вижу, о чем можно догадаться.

Уилфред. Не видите? Вы не знаете Гвен. У нее не язык, а жало.

Лоис. Но я не могу принять от вас драгоценное жемчужное ожерелье.

Уилфред. Как бы то ни было, вам придется носить его до самого нашего отъезда.

Лоис. Сколько вы заплатили за него?

Уилфред. Дорогая, это дурной тон — спрашивать о цене подарка.

Лоис. Несколько сотен фунтов?

Уилфред. Что-то в этом роде.

Лоис. Понимаете, у меня никогда в жизни не было ни одной драгоценности. Я буду до смерти бояться потерять его.

Уилфред. А вы не думайте об этом. Не так уж я беден — как-нибудь переживу потерю.

Лоис. Но ведь я могла бы так и остаться в неведении. Могла бы носить его годами, уверенная, что он ничего не стоит.

Уилфред. На это, собственно, я и надеялся.

Лоис (*с улыбкой*). А знаете, это очень мило с вашей стороны. Я как-то не думала, что вы на такое способны.

Уилфред. Почему?

Лоис. Видите ли, мне всегда казалось, что у вас в характере — желание порисоваться. Что вы принадлежите к тем мужчинам, которые, делая дорогой подарок, обязательно позаботятся о том, чтобы стоимость его стала известна тому, кому предназначен подарок.

Уилфред. Не очень-то вы обо мне лестного мнения.

Лоис. Согласитесь, трудно было ожидать от меня какой-то особой благодарности. Подумаешь, нитка искусственного жемчуга. Говард, выиграв на скачках, вполне мог подарить мне такую же.

Уилфред. Я доволен был уже и тем, что вы носите подаренный мною жемчуг. При одной мысли, что он украшает вашу милую шейку, я прихожу в настоящий восторг.

Лоис. Не слишком ли высокую цену вы за это заплатили?

Уилфред. Поймите, Лоис, я без ума от вас. Поцелуйте меня.

Он обнимает ее и пытается поцеловать в губы, но она увертывается и поцелуй приходится в щёку

Скажите, я хоть немножко нравлюсь вам?

Лоис (*равнодушно*). Да.

Уилфред. Как вам кажется, вы смогли бы полюбить меня?

Лоис. Если бы смогла, что из того?

Уилфред. Послушайте, Лоис. Я готов для вас на все. Вы ведь знаете, отношения у нас с Гвен очень неважные. Нам обоим было бы куда лучше, если бы мы разошлись. А вам, по моему глубокому убеждению, я мог бы дать счастье. Ведь не собираетесь же вы проторчать всю жизнь в этом захолустье.

Лоис. И что вы мне предлагаете? Убежать с вами?

Уилфред. Почему бы и нет?

Лоис. А потом я вам надоем и вы меня вышвырнете вон. Нет уж, спасибо.

Уилфред. Ну хорошо, не далее как завтра я положу на ваше имя двадцать тысяч фунтов, а там уж дело ваше — захотите вы со мной уехать или нет.

Лоис. Не говорите глупостей.

Уилфред. Если я обеспечу Гвен достаточно щедро, она даст мне развод, и тогда мы поженимся.

Лоис. Раньше я всегда представляла себе это таким образом: обаятельный искуситель подло совращает с пути истинного бедную провинциалочку, а когда его хотят заставить покрыть грех венцом, он хохочет дьявольским смехом.

Уилфред. О Лоис, не надо смеяться надо мной. Я люблю вас всем сердцем. Да, да, я знаю, я стар. Я бы все отдал, чтобы сбросить лет двадцать. Я так хочу вас, Лоис. Я хочу, чтобы вы были моей.

Лоис (*несколько мгновений серьезно смотрит на него*). Пойдемте-ка играть в бридж.

Входит Этель.

Этель. Сиднею не терпится начать игру. (*Уилфреду, весело.*) А Говард утверждает, что, если вы немедленно не явитесь, вам придется жениться на Лоис.

Лоис. Я и не знала, что вы здесь.

Этель. Мы только что приехали.

Лоис. Раз Говард тут, значит, я вам не нужна.

Уилфред. Хорошо, сейчас мы начнем роббер. А вы приходите, займете место выбывшего, ладно?

Лоис. Сначала пойду попудрю нос.

Уилфред уходит.

Этель. Я слышала, Иви закатали сцену.

Лоис. Да? Из-за чего?

Этель. Не знаю. Нервы, по-видимому. Ей необходимо выйти замуж.

Лоис. Вот только за кого ей, бедняжке, выйти?

Этель. За Колли. Они и возраста одного. На мой взгляд, они очень подходят.

Лоис. Уилфред говорит, Колли на грани банкротства.

Этель. Ничего, как-нибудь устроятся. Сейчас ни у кого нет денег, а как-то же все живут. Замужество, пусть даже не вполне удачное, все же лучше, чем одиночество.

Лоис. Это ты по собственному опыту?

Этель. Я не о себе. Мне не на что жаловаться.

Лоис. Уилфред предлагает мне бежать с ним.

Этель. Уилфред? Господи! Зачем?

Лоис. Он говорит, что любит меня.

Этель. Противный старикашка. Ничего не понимаю. И что же он тебе предлагает?

Лоис. По-видимому, его план таков — содержать меня до получения развода, а в дальнейшем жениться на мне.

Этель. Скотина.

Лоис. Но ведь годы-то идут, Этель. Мне уже двадцать шесть.

Этель (*в ужасе*). Лоис!

Лоис. Какая участь меня ожидает? Могу дать точный ответ: стану истеричкой вроде Ив или буду мужественно сносить все выпадающие на мою долю невзгоды, вроде тебя.

Этель. У меня есть мои дети. Есть Говард. Конечно, он не лишен недостатков, но у кого их нет? Зато он любит меня. И уважает.

Лоис. Этель, дорогая, у тебя замечательный характер. Чего не скажешь обо мне. Неужели ты думаешь, я не вижу, как трудно тебе живется?

Этель. Не спорю, мне не легко. Но я знала, на что иду, когда выходила замуж за фермера-арендатора.

Лоис. Но ты же не могла знать, что он к тому же и пьяница.

Этель. Он пьет ничуть не больше других мужчин своего круга.

Лоис. Скажи правду, ты и впрямь привыкла к нему?

Этель (*с вызовом*). Не понимаю, о чем ты?

Лоис. Очень уж он прост, а?

Этель (*улыбнувшись*). Но ведь и мы с тобой не бог весть какие аристократки — как ты считаешь?

Лоис. Во всяком случае, мы говорим правильным английским языком. И умеем вести себя за столом, и регулярно моемся.

Этель. Поглядела бы я, как бы ты стала регулярно мыться, если бы тебе пришлось вставать в шесть утра и доить коров. Все это условности. Вот уж из-за чего не стоит расстраиваться.

Лоис. И ты не расстраиваешься?

Этель. Иногда мне не удается с собой справиться. И тогда я очень корю себя.

Лоис. Но послушай, что тебя с ним все же связывает?

Этель. Воспоминания. Те первые два-три года, когда я так безумно любила его. Он был внимательный и красивый. Настоящий мужчина. Я любила его, потому что он был от земли, в ней крылись истоки его силы. Тогда ничто не имело значения. Как бы он ни поступал, ничто не обижало меня.

Лоис. Этель, дорогая, сколько же в тебе романтики. А во мне ее нет. Романтика недолговечна. И когда она умирает, что остается, кроме праха и тлена?

Этель. Сознание выполненного тобой долга.

Лоис. Ах, это...

Этель. Не так уж мало. Что же касается меня, я пожинаяю то, что посеяла. Ты когда-нибудь слышала, чтоб я жаловалась?

Лоис. Никогда.

Этель. Я стараюсь высоко держать голову. Я стараюсь быть хорошей женой Говарду. Я стараюсь быть хорошей матерью моим детям. Иногда я даже немножко горжусь собой.

Лоис. А тебе никогда не приходило на ум, что для Говарда было бы куда лучше, если бы он женился на женщине своего круга?

Этель. Конечно, приходило, и не раз. Вот почему я и считаю необходимым быть терпеливой с ним. Я должна была предвидеть это. Я не должна была поддаваться своим чувствам.

Лоис. Господи, Этель, в тебе столько благородства, что прямо тошно становится.

Этель. Какое там благородство. Просто достаточное количество здравого смысла... Лоис, ты ведь несерьезно говорила, что хочешь бежать с этим человеком?

Лоис. Конечно нет. Просто такая возможность немного будоражит.

Этель. О, я так рада.

Входит Ленард Эрдсли.

Эрдсли. Ну что вы тут подельваете? Наверняка говорите о нарядах.

Этель (*целует его*). Как ты, папа?

Эрдсли. Болтают, болтают, целые дни напролет болтают. Будто я вас не знаю. Просто поразительно, как вам только не надоест бесконечно обсуждать свои туалеты. А Колли здесь?

Лоис. Он играет в бридж.

Эрдсли. Ну так вот, ступайте обе и пришлите его сюда. Мне надо поговорить с ним.

Лоис. Хорошо.

Эрдсли. Малыши здоровы?

Этель. Да, они всегда здоровы.

Эрдсли. Жить на ферме — что может быть для них полезнее. Деревенская жизнь — великолепная штука.

Этель. Они уже вернулись в школу.

Эрдсли. Как же, как же. Помню. Самое для них лучшее. Счастливейшая пора в их жизни.

Лоис и Этель уходят. Эрдсли видит модный журнал и берет его.

Так я и знал.

Улыбается собственной пронизательности. Дверь открывается, и входит Колли. При виде его Эрдсли вновь становится профессионально серьезным.

Здравствуйте, Колли.

Колли. Я заходил в контору, но вас не было.

Эрдсли. Да, да. Меня там дожидается один человек, с которым, по-моему, вам лучше не встречаться. Я решил поговорить с вами, прежде чем увижусь с ним. Поэтому я прошел через другую дверь.

Колли. Вот спасибо. Я ведь не очень частый посетитель адвокатских контор и всегда чувствую себя там не в своей тарелке.

Эрдсли. Боюсь, что вам предстоит услышать от меня весьма неприятные новости.

Колли. О боже!

Эрдсли. Все эти три года, что вы тут живете, вы были у нас частым гостем. Мы очень привязались к вам.

Колли. Для меня было высочайшим счастьем бывать в вашем доме. Если бы не ваша семья, жизнь моя была бы совсем безрадостна.

Эрдсли. Надеюсь, вы отдаете себе отчет, сколь неприятна мне нынешняя моя миссия.

Колли. Наверно, ваши слова следует понимать так, что дело мое проиграно? Сколько напрасных усилий. Значит, надо объявлять о банкротстве?

Эрдсли. В прошлом месяце банк поставил вас в известность, что ваши платежи превысили сумму вклада, и предупредил, что впредь до упорядочения ваших дел они прекращают оплату подписанных вами чеков.

Колли. Совершенно верно.

Эрдсли. И все же вы подписали несколько чеков уже после получения этого уведомления.

Колли. Видите ли, меня прямо-таки замучили кредиторы. Право, у меня не было выхода.

Эрдсли. Но ведь вы же понимали, что неплатежеспособны. На что вы рассчитывали? Как собирались выпутаться из создавшегося положения?

Колли. Думал, все как-нибудь образуется само собой.

Эрдсли. Неужели вы не понимаете, что тут попахивает уголовщиной?

Колли. Какая ерунда. Да на моем месте каждый поступил бы точно так же.

Эрдсли. И тотчас отправился бы в тюрьму.

Колли. Боже милостивый, вы не хотите сказать, что они собираются возбудить уголовное дело?

Эрдсли. А вы полагаете, что потерпевшая сторона безропотно примет понесенный ею ущерб?

Колли. Но это же просто смехотворно. Они знают, что у меня на уме не было ничего плохого.

Эрдсли. Непостижимо, как можно быть настолько неделовым.

Колли. А откуда мне быть деловым?

Эрдсли. Боюсь, что вы поступили крайне неосмотрительно.

Колли. Чего же теперь можно ждать?

Эрдсли. Управляющий банком сейчас у меня в конторе. Вы должны быть готовы к худшему, Колли. Они могут возбудить против вас иск.

Колли. Означает ли это, что меня арестуют?

Эрдсли. Как бы то ни было, если вас и арестуют, то отпустят под залог. Это я беру на себя. Если вы захотите, чтобы ваше дело рассматривал суд присяжных, слушание его отложат до очередной сессии. Сейчас еще рано что-нибудь решать, посмотрим, что посоветует адвокат. Я же считаю, что для вас сейчас наилучший выход — признать себя виновным и отдаться на милость суда.

Колли. Но я невиновен.

Эрдсли. Не валяйте дурака, Колли. Вы виновны ничуть не меньше вора, вытащившего у вас из кармана десять шиллингов.

Колли. Что они со мной сделают?

Эрдсли. Не сомневаюсь, что судья учтет ваше безупречное прошлое и хороший послушной список на флоте и, несомненно, проявит снисходительность. Я буду крайне огорчен, если вы получите больше трех—шести месяцев мягкого тюремного режима.

Колли (*обозленный его безразлично-деловым тоном*). И вы так легко об этом говорите?

Эрдсли. Голубчик, не думайте, что меня это не трогает. Моя профессия такова, что я оказываюсь подчас в весьма неприятных ситуациях, но мне, пожалуй, еще никогда не было так тяжело, как сейчас.

Колли. К счастью, чужая беда долго не тяготит.

Эрдсли. Вопрос не только в том, что нас с вами связывают теплые дружеские отношения, вы ведь к тому же кавалер ордена «За безупречную службу», командир эскадренного миноносца — от этого ваше положение становится еще более унижительным. Боюсь, от этого оно становится и еще более постыдным.

Колли. Они лишат меня ордена?

Эрдсли. Полагаю, что да.

Колли. А я полагаю, вы никогда не задумывались над тем, каково очутиться за бортом, прослужив родине верой и правдой двадцать лет и осознав, что эти годы ничего не значат для мирной жизни? Думали ли вы когда-нибудь, сколь унижительно и постыдно положение такого человека в этом мире, когда у него нет никаких средств к существованию и от голодной смерти его спасает лишь подачка в тысячу фунтов стерлингов?

Эрдсли. Не мне решать такие вопросы. Хотя этот аргумент можно будет использовать на процессе. Я возьму его на заметку. Конечно, и на это найдется ответ: страна стояла перед большими трудностями, суровая экономия была неизбежна, и, естественно, кто-то должен был пострадать при этом.

Колли. Помню, когда меня вытащили из воды после того, как в нас попала торпеда, я подумал: «Господи, какое счастье!» Знать бы тогда, что это будет за счастье.

Эрдсли. Отдайте мне должное, Колли. Вспомните, что еще шесть месяцев тому назад я упрашивал вас объявить о банкротстве. Вы не последовали моему совету.

Колли. Мне столько лет вдалбливали, что для офицера Британского флота нет безнадежных положений. И пока оставалась хоть какая-то надежда, я не мог примириться с поражением.

Эрдсли. Ну, ну, не впадайте в отчаяние.

Колли. В отчаяние? А как по-вашему, что ожидает бывшего морского офицера, сорока лет от роду, после шестимесячной отсидки в тюрьме?

Эрдсли. Я всегда любил верховую езду с препятствиями. А у наездников есть одно золотое правило: решить, как взять барьер, можно, лишь когда он перед тобой. А теперь мне надо идти. На буфете — виски и содовая. Налейте себе, вам сейчас весьма кстати.

Колли. Благодарю вас.

Эрдсли (*протягивая ему руку*). До свидания, голубчик. Я буду держать вас в курсе событий.

Колли. До свидания.

Эрдсли уходит. Колли опускается в кресло, закрывает лицо руками; услышав шум открывающейся двери, поднимает голову и с усилием берет себя в руки. Входит Ив.

Ив. О, простите, ради бога. Я хотела посмотреть, не здесь ли оставила свою сумочку. Я не думала, что тут кто-то есть.

Колли. Я уже ухожу.

Ив. Пожалуйста, не уходите. Я не буду докучать вам.

Колли. О чем вы говорите? Вы имеете полное право зайти в свою собственную столовую.

Ив. Я сказала неправду. Я знала, что вы здесь, а моя сумочка в комнате наверху. Я ждала, чтобы ушел папа. Я хотела повидать вас. Я безумно волнуюсь.

Колли. Из-за чего?

Ив. Мы все знаем, что у вас неприятности. Отец обмолвился об этом за обедом. Я знаю, что он виделся с вами нынче днем.

Колли. Мне приятно, что вы так близко принимаете это к сердцу. Плавание действительно проходит довольно бурно, но теперь я хотя бы знаю, где стою.

Ив. И ничего нельзя сделать?

Колли. Боюсь, ничего.

Ив. Разрешите мне помочь вам?

Колли (*с улыбкой*). Дорогая Ив, как вы можете это сделать?

Ив. Ведь вопрос только в деньгах, правда?

Колли. Ничего себе «только».

Ив. У меня есть тысяча фунтов, которые мне оставила крестная. Они вложены в дело, и проценты с этих денег я трачу исключительно на себя. Я могу отдать их вам.

Колли. Но я не могу взять их у вас, Иви. Об этом не может быть и речи.

И в. Почему? Если я сама хочу это сделать...

Колли. Вы очень великодушны, однако...

И в (*перебивает*). Вы же знаете, как хорошо я к вам отношусь.

Колли. Это очень мило с вашей стороны, Иви. Но, помимо всего, ваш отец ни за что не позволит.

И в. Деньги принадлежат мне. И я не ребенок.

Колли. Исключено, дорогая.

И в. А почему бы мне не войти в долю в вашем гараже? Ведь это будет всего-навсего помещение капитала.

Колли. Можете вы представить себе лицо своего отца, когда он услышит об этом? Когда я покупал гараж, все обстояло хорошо. Но кризис сделал свое дело — гараж на грани краха. Теперь он и ломаного гроша не стоит.

И в. Но если у вас будут деньги, вы сможете как-то продержаться до лучших времен.

Колли. Ваш отец и без того не очень высокого мнения обо мне. А уж если он решит, что я уговорил вас вложить деньги в обанкротившееся предприятие, он сочтет меня самым настоящим подлецом.

И в. Что вы все: отец, отец. При чем здесь он? Это касается только вас и меня.

Колли. Я знаю, что вы очень добрая и готовы на все, лишь бы помочь другим. Но всему есть предел. Может случиться, что вы решите выйти замуж, и вот тогда эта тысяча фунтов окажется как нельзя более кстати.

И в. Я считаю, что лучшее применение этим деньгам — отдать их человеку, который так много значит для меня.

Колли. Простите меня. Одному Богу известно, как необходимы мне сейчас деньги, но, поверьте, у вас взять их я не могу.

И в. А я-то думала, вы ко мне хорошо относитесь.

Колли. Я действительно хорошо к вам отношусь. Вы такой замечательный друг.

И в. Мне казалось, когда-нибудь мы сможем стать больше чем друзьями.

На мгновение оба замолкают. Она взвинчена до предела, но заставляет себя продолжать.

Представьте себе, что мы помолвлены. В этом случае было бы вполне естественно, если бы я выручила вас в беде?

Колли. Но ведь мы не помолвлены.

И в. А почему бы нам не выдать себя за помолвленных? На время, конечно. Тогда я спокойно могла бы одолжить вам деньги, а папа помог бы вам привести дела в порядок.

Колли. Дорогая Ив, но это же нелепость! Так бывает только в романах. Не надо быть слишком уж романтичной.

Ив. Но ведь помолвку проще простого расторгнуть, как только вы приведете свои дела в порядок.

Колли. Вы толкаете меня выступить в довольно-таки неприглядном амплуа.

Ив (*хриплым голосом*). А вдруг вы свыкнетесь с мыслью о помолвке и вам не захочется ее расторгать?

Колли. Иви, милая, как вы могли додуматься до этого? Почему?

Ив. Вы одиноки, и я одинока. Во всем мире нет никого, кому бы было до нас дело.

Колли. Но это же глупости. Ваши близкие привязаны к вам всей душой. Вы для них так много значите. Господи, да на вас весь дом держится.

Ив. Мне хочется уехать. Я так несчастна здесь.

Колли. Я не верю, что это так. Просто вы переутомлены и раздражены. Хорошо бы вам на какое-то время переменить обстановку.

Ив. Вы не хотите меня понять. Как вы можете быть так жестоки?

Колли. Но я вовсе не жесток. Я безмерно вам благодарен.

Ив. Ну ладно. Больше сказать, чем я уже сказала, я не могу. Это так унижительно.

Колли. Простите меня ради бога, Иви. Но у меня и в мыслях не было обижать вас.

Ив. Послушайте, Колли. Ведь не так уж мне много и лет. Я постоянно получаю предложения руки и сердца.

Колли. У меня нет ни малейших сомнений на этот счет. Убежден, что со временем вы встретите достойного человека, которого полюбите по-настоящему, и станете ему превосходной женой.

Она начинает плакать, и он встревоженно смотрит на нее.

Простите меня.

Она не отвечает, и он тихонько выходит из комнаты. Она рыдает. Но, услышав шум открываемой двери, вскакивает со стула и отворачивает лицо, пытаясь скрыть слезы. Входит Говард. Он совершенно трезв.

Говард. А где Колли?

Ив. Откуда я знаю?

Говард. Мы ждем его играть в бридж.

Ив. Как будто ты не видишь, что его здесь нет.

Говард. Но он был здесь.

И в (*топнув ногой*). Ну и что? Был, а теперь нет.

Говард. Нервы, нервы. В какой цене нынче ангелы милосердия?

И в. Тебе все шуточка. Смешно, правда?

Говард. А я знаю, чем вы тут занимались. Ты упрашивала его жениться на тебе.

И в (*в ярости*). Пьяная скотина! Будь ты проклят! Ненавижу!

Выбегает из комнаты. Говард поджимает губы и ухмыляется. Подходит к буфету и наливает себе виски с содовой. В комнату входит Лоис.

Лоис. Привет. А я думала, ты играешь в бридж.

Говард. Какое там! Твоему отцу приспичило поговорить с Колли, и пока что Сидней с Уилфредом играют в пикет.

Лоис. А ты воспользовался случаем выпить без помех?

Говард. Дорогая, я вынужден был. Иначе я бы с собой не совладал. Иви изругала меня вдребезги. И что за выражения! Обозвала пьяной скотиной. На человека действует деморализующе, когда воспитанная барышня из хорошего дома забывается до такой степени.

Лоис. Неужели ты не можешь не пить?

Говард. Как тебе сказать, в каком-то смысле не могу. Мой бедный папа помер от водки, и его бедный папа тоже помер от водки. Выходит, это у нас в роду. Понимаешь?

Лоис. Несчастливая Этель.

Говард. И не говори. Ей, бедной, со многим приходится мириться. Сам знаю. Ничего не поделаешь — слишком хороша для меня.

Лоис. Это ты правильно сказал.

Говард. Об чем и речь. Настоящая леди. Стоит поглядеть на нее, и сразу ясно: настоящая леди. И заметь — никогда не срывается. Я тоже могу быть настоящим джентльменом, когда захочу, только мне не всегда этого хочется. Понимаешь, я люблю повеселиться, пошутить, похохотать до упаду. А ей это ни к чему. Между нами говоря, она начисто лишена чувства юмора.

Лоис. Попробуй его не лишиться, прожив с тобой пятнадцать лет.

Говард. Мне по душе смешливые задорные девчонки. Я так считаю: пока живы, будем всласть веселиться, а померем — наотдыхаемся сколько душе угодно.

Лоис. Ну что ж, в этом что-то есть.

Говард. И заметь, я ведь не жалуясь на Этель. Что я, не джентльмен? Она же аристократка, я понимаю.

А я кто — простой фермер. Да ведь только кому охота смотреть снизу вверх на собственную жену, а?

Лоис. Никто тебя не заставляет жениться на Этель.

Говард. То-то жалость, что ты в ту пору была маленькая. Мне бы на тебе жениться.

Лоис. Считать это за комплимент?

Говард. Ты и вполонину не такая леди, как Этель. И я уверен, что сидит в тебе эдакий маленький бесенок. Уж с тобой-то мы бы жили душа в душу.

Лоис. Ты пьян.

Говард. Ничего подобного. Трезв как стеклышко.

Лоис. В таком случае ты мне больше нравишься пьяный.

Говард. Поцелуй меня, детка.

Лоис. А по физиономии получить не хочешь?

Говард. Не возражаю.

Лоис. И наглец же ты!

Говард. Ну же! Будь человеком.

Лоис. Пошел к черту.

Говард. Только вместе с тобой.

Внезапным движением хватает ее в объятия и целует прямо в губы. Она вырывается от него.

Лоис. Как ты смеешь!

Говард. А, брось притворяться. Ты и сама не против. Понравилось ведь.

Лоис. Да меня чуть не вырвало. От тебя несет навозом.

Говард. А девушкам это как раз и нравится. Самый смак.

Лоис. Грязная свинья.

Говард. Еще желаешь?

Лоис. Если бы не Этель, я бы пошла прямо к папе.

Говард. О господи, не смехи. Ты что, думаешь, я не разбираюсь в девчонках? А если ты до сих пор не научилась разбираться в мужчинах, то самое время научиться. Такой-то хорошенькой девчонке. Постыдилась бы. Только подумай, чего лишаешься.

Лоис. Ты о себе весьма высокого мнения, а?

Говард. И не без оснований. Конечно, что уж там говорить, с войной не сравнишь. Господи, по мне, так не кончалась бы она вовек. Вот это была жизнь! Понравилась тебе девчонка, берешь ее под ручку и уводишь подальше в лес. И всех дел. Ну, само собой, и военная форма, и героические подвиги здорово помогали.

Лоис. Скотина.

Говард (*доверительно*). Послушай, а почему бы тебе не приехать на несколько дней на ферму? Роскошно провели бы времечко.

Лоис. И за кого только ты меня принимаешь, Говард?

Говард. Да хватит тебе чепуху-то молоть! Ты ведь живой человек, такая же, как и я, правда? Ну скажи, какой прок превращаться в прах, не взяв от жизни свою долю? Давай-ка приезжай на ферму. Ребята уехали в школу, их комната свободна.

Лоис. Если ты не пьян, значит, не в своем уме.

Говард. Ничего подобного. А ты ведь все равно приедешь, детка.

Лоис (*презрительно*). Почему ты в этом уверен?

Говард. Пожалуйста, объясню. Я хочу тебя, и ты знаешь, что я хочу тебя, а сознание этого, как ничто другое, действует на женщин сильнее всего. О господи, как же я хочу тебя.

Он смотрит на нее, и неистовая сила его желания словно нависла над ними. Лоис инстинктивным движением прижимает руки к груди. Она с трудом переводит дыхание. Оба не произносят ни слова. В комнату входит миссис Эрдсли.

Лоис (*овладев собой*). О, мама.

Говард. А я вот уговариваю сию молодую даму приехать на несколько дней на ферму. Сдается мне, перемена обстановки будет ей очень кстати.

Миссис Эрдсли. Как я рада, что наше с тобой мнение совпадает. Я только что предложила ей провести пару недель у тети Эмили.

Лоис. Я обдумала твоё предложение, мама. Ты совершенно права. Как по-твоему, когда мне лучше поехать?

Миссис Эрдсли. Чем скорее, тем лучше. Хоть завтра.

Лоис. Хорошо. Тогда я пошлю тете телеграмму, сообщу о своем приезде.

Миссис Эрдсли. Не надо. Я уже написала ей, что ты приедешь к обеду.

Лоис. Написала? Ну и деспот же ты!

Миссис Эрдсли. Ты ведь у меня очень послушная, Лоис. Я не сомневалась, что ты посчитаешься с моим желанием.

Лоис. Послушная я или нет — это еще вопрос. Но вот ты у меня замечательная, мама.

Нежно целует ее. Миссис Эрдсли, улыбаясь, гладит ее по руке.

Гостиная в доме Эрдсли. Большая комната с низким потолком и высокими стеклянными дверями, выходящими на террасу,—место действия первого акта. Обставлена в старомодном стиле, мягкой удобной мебелью, которую ни разу не меняли с тех самых пор, как супруги вступили в брак. Стены увешаны гравюрами в рамах, акварелями, копиями флорентийских барельефов, деревянными щитами, к которым прикреплены пистолеты, кинжалы и другое оружие, и декоративными тарелками старинного английского фарфора. По углам несколько столиков, заставленных безделушками. На креслах и диванах чехлы из выцветшего кретона. На улице дождливо и ветрено, поэтому в камине горит огонь. Смеркается. Время—около половины пятого. Возле камина, держа у огня руки, стоит Уилфред. Входит Лоис. На ней дорожный костюм.

Лоис (*идет к нему с протянутыми руками*). Здравствуйте, Уилфред. А мамы нет дома. Обещала вернуться к чаю. Она поехала в Стэнбери.

Уилфред. Знаю. Я справился у горничной, могу ли вас видеть. Это правда, что вы сегодня уезжаете?

Лоис. Да, на две недели к тете, которая живет неподалеку от Кентербери.

Уилфред. Но ведь через две недели меня уже тут не будет.

Лоис. Разве?

Уилфред. И вы собирались уехать, даже не попрощавшись?

Лоис. Я решила, что за меня это сделает мама.

Уилфред (*хриплым, взволнованным голосом*). Не уезжайте, Лоис.

Лоис (*равнодушно*). Почему?

Уилфред. Но почему, почему вы уезжаете?

Лоис. Мама считает, что мне необходима перемена обстановки. Так уж заведено, что раз или два в году я гощу неделю-другую у тети Эмили. Она моя крестная, обещала оставить мне что-нибудь по завещанию.

Уилфред. А я как раз собирался завтра в Лондон, положить на ваше имя ту сумму, о которой говорил.

Лоис. Перестаньте глупить. Нужны мне ваши деньги! Даже если бы я и уехала с вами, я б все равно их не взяла. Предпочитаю сохранить независимость.

Уилфред. Вы могли бы подарить мне эти две последние недели. Для вас это не имеет ровным счетом никакого значения, а для меня—огромное.

Лоис. Откуда вы узнали, что я уезжаю?

Уилфред. Гвен сказала.

Лоис. А она откуда узнала?

Уилфред. Ваша мама позвонила ей и сказала.

Лоис. А-а!

Уилфред. Вы убеждены, что Гвен приходила вчера к вашей маме поговорить насчет благотворительного базара?

Лоис. Ни о чем другом говорить она бы не посмела. Вы не знаете мамы. Она никому не позволит сказать худого слова ни про кого из нас. Вы видели ее только в тех ситуациях, когда она была сама любезность. Но если кому-нибудь случится проявить бесцеремонность — тут уж не жди пощады.

Уилфред. А Гвен углядела-таки жемчуг.

Лоис (*принимается отстегивать ожерелье*). Ой, совсем забыла. Я же собиралась вернуть его вам.

Уилфред. Может быть, вы все-таки оставите его себе? Ну, пожалуйста, Лоис. Вам от этого никакого вреда, а для меня огромное счастье.

Лоис. Просто не знаю, как быть. Ведь, скорее всего, мы с вами никогда больше не встретимся. Ну зачем вам швырять деньги на ветер?

Уилфред. Я буду жить с мыслью, что у вас хоть что-то осталось от меня. Я держал эти жемчужины в своих руках. Я буду жить с мыслью, что они хранят тепло вашего тела, что им введома нежность вашей шеи.

Лоис (*пытается преодолеть искушение*). У меня еще никогда в жизни не было такой ценной вещи. Я чувствую себя в какой-то мере продажной женщиной.

Уилфред. Но послушайте, Лоис, цена этому жемчугу всего один фунт.

Лоис. Ну и лгун же вы, Уилфред. А Гвен знает, что это вы подарили его мне?

Уилфред. По этому поводу не было сказано ни слова. Но она знает, что, кроме меня, это сделать некому.

Лоис. Она устроила вам сцену?

Уилфред. Боже упаси. Она умеет держать себя в руках. Бойтся.

Лоис. Чего? Разве вы страшный?

Уилфред. Нет, конечно. Да вы и сами в этом убедитесь.

Лоис. Вы очень влюблены в меня?

Уилфред. Очень.

Лоис. Странно, правда? И что только вы во мне нашли?

Уилфред. Вы разбили мне сердце, Лоис. Я ведь знаю, что вы не любите меня. Да, собственно, по какой такой

причине вам меня полюбить? А с другой стороны — почему бы и нет? Если я буду очень добрый? И терпеливый? Я готов сделать все на свете, лишь бы вы были счастливы.

Лоис. До чего же странное, удивительное ощущение испытываешь от сознания, что тебя любят.

Уилфред. Я чуть с ума не сошел, когда Гвен сказала, что вы уезжаете. Она бросила это вскользь, будто невзначай, но сама-то прекрасно знала, что всаживает мне нож в сердце, и не спускала с меня глаз, смотрела, как я корчусь от боли.

Лоис. Бедняжка Гвен. Ревность толкает людей к жестокости.

Уилфред. Да черт с ней, с Гвен. И думать о ней не хочу. Хочу думать только о себе! Вы для меня дороже всего на свете, Лоис, а все остальные могут катиться в тартарары. Это мой последний шанс.

Она отрицательно качает головой. Он смотрит на нее с отчаянием

Уилфред. Неужели мне не удастся уговорить вас?

Лоис. Нет.

Уилфред. Ну что ж, значит, мне конец.

Лоис. Да ничего подобного. Пройдет время, и все забудется. Когда вы уезжаете на Ривьеру?

Уилфред. Вам бы только шутить. *(Страстно.)* Господи, как я ненавижу свою старость!

Входит Ив.

Ив. Почему не задернуты шторы? О, Уилфред, это вы!

Уилфред *(делает вид, что ничего не произошло)*. Как поживаете, Иви?

Ив. Я, пожалуй, зажгу свет.

Включает электричество, а Лоис задергивает шторы.

Лоис. Какой ветреный день.

Уилфред. Ну, я пошел.

Ив. Разве вы не останетесь к чаю? Сейчас придет Сидней. Он так любит поиграть с вами в пикет.

Уилфред. К сожалению, мне надо идти. Я ведь зашел только проститься с Лоис.

Ив. Надеюсь, мы вас скоро увидим?

Уилфред. Непременно.

Лоис *(протягивает ему руку. Обмениваются рукопожатием)*. До свидания. Передайте привет Гвен.

Уилфред. До свидания. *(Поспешно уходит.)*

Ив. Что это с ним? Какой-то он сегодня странный.

Лоис. Да? А по-моему, такой же, как всегда.

Ив. Ты уже уложила вещи?

Лоис. Да.

Ив. Ты каким поездом едешь — в пять пятьдесят?

Лоис. Да.

Ив. Значит, у тебя вполне хватит времени выпить чаю. Этель придет.

Лоис. Я знаю. Она хочет послать со мной тете Эмили несколько куропаток.

Входит Сидней.

Сидней. Чай готов?

Ив. Да ведь еще пяти нет.

Сидней. Господи, как приятно, когда горит камин. Терпеть не могу газовых печек, вроде той, что у меня в комнате. Мама, наверно, еще не вернулась?

Ив. Нет. Она обещала быть дома к чаю.

Лоис. Говард уверяет, что нынешняя зима будет очень суровая.

Сидней. Весело.

Лоис. Ненавижу зиму.

Ив. Не будь зимы, мы бы не испытывали такой радости от прихода весны.

Сидней. Послушай, Иви, неужели ты не можешь обойтись без подобных фраз?

Ив. Как ни странно, но это правда.

Сидней. Как ни странно, а дважды два — четыре, ну и что из этого?

Лоис. Я поставлю пластинку, ладно?

Ив. О, бога ради, не надо, от ваших пластинок можно сойти с ума.

Лоис. Хорошо, хорошо, не буду.

Оба удивлены.

Ив. У меня что-то сегодня разгулялись нервы. Должно быть, из-за восточного ветра.

Сидней. Лоис, будь добра, дай мне мое плетение.

Лоис. Пожалуйста.

Она протягивает ему плетение, и руки его сразу занимаются работой.

Сидней. Интересно, Колли придет?

Ив. Я звонила ему, хотела пригласить на чай. Его целый день не было в гараже.

Входят Этель и Говард.

Э т е л ь. Здравствуйте.

С и д н е й. Привет.

Г о в а р д. Мы привезли куропаток. Им нужно повисеть пару деньков, а то я их только вчера принес с охоты.

С и д н е й. Много дичи настрелял в этом году, Говард?

Г о в а р д. Совсем мало. А чем это ты занимаешься?

С и д н е й. Да вот, кружево плету.

И в. Заводите патефон, если хотите.

Г о в а р д. Давайте я заведу. (*Идет к патефону, заводит его, ставит пластинку.*)

Э т е л ь. Боюсь, у тети Эмили тебе будет не очень-то весело.

Л о и с. Зато почитаю вдоволь.

С и д н е й. Будем надеяться, что она скоро помрет и оставит тебе хороший куш.

Л о и с. Да ей и оставлять-то особенно нечего.

В комнату вбегает мистер Эрдсли.

Э т е л ь. А, папа.

Э р д с л и. Останови патефон.

И в. Что случилось?

Говард, который так и не успел отойти от патефона, останавливает пластинку.

Э р д с л и. Случилось что-то ужасное. Я решил сразу же прийти и рассказать вам все.

И в (*с криком*). Колли!

Э р д с л и. Откуда ты знаешь?

С и д н е й. Что произошло, отец?

Э р д с л и. Мне только что позвонили из полицейского участка. Произошел несчастный случай. Колли застрелили.

Г о в а р д. Застрелили? Кто?

Э р д с л и. Боюсь, что он застрелился сам.

Г о в а р д. Боже милосердный!

И в. Но он жив?

Э р д с л и. Нет, он умер.

У Ив вырывается громкий, долгий, какой-то нечеловеческий крик.

Э т е л ь. Иви!

И в (*подбегает к отцу с воздетыми руками и сжатými в кулаки пальцами*). Это ты убил его, изверг!

Э р д с л и. Я? О чем ты, Иви?

И в. Ты — изверг, ты — чудовище!

Этель (*успокаивающе кладет ей руку на плечо*). Иви.

Ив (*в ярости сбрасывает ее руку*). Оставь меня! (*Отцу.*) Тебе ничего не стоило спасти его. Ты — дьявол. Ненавижу тебя. Ненавижу.

Эрдсли. Ты сошла с ума, Иви!

Ив. Ты затравил его до смерти. Ты мог спасти его, но не захотел!

Эрдсли. Да мы все только и делали, что пытались спасти его.

Ив. Ты лжешь. Он умолял тебя дать ему денег. Он умолял тебя дать ему отсрочку. И ни один из вас не пожелал помочь ему. Ни один из вас не вспомнил, что он ради вас сотни раз рисковал жизнью. Скоты вы, вот что!

Эрдсли. Какой вздор!

Ив. Надеюсь, о вашем бесстыдстве станет известно всему свету. Пусть все узнают, что смелый благородный человек пошел на смерть, потому что в этом проклятом городишке не нашлось ни одного человека, готового одолжить ему две сотни фунтов.

Эрдсли. Что за выражения, Иви! Да будет тебе известно, что две сотни фунтов не помогли бы ему. Они спасли бы его от тюрьмы, но и только.

Ив. От тюрьмы?

Эрдсли. Да, от тюрьмы. Нынешним утром был подписан ордер на его арест.

Ив (*с мукой в голосе*). Бедный Колли. Нет, я не вынесу этого. Какая жестокость! Какая жестокость! (*В отчаянии рыдает.*)

Эрдсли. Иви, дорогая, не принимай этого так близко к сердцу. Ступай к себе, полежи. Этель придет и смочит тебе виски одеколоном. Что и говорить, все это крайне неприятно. И никто более меня не сожалеет о случившемся. Бедняга безнадежно запутался. На мой взгляд, если ему дорога была честь бывшего офицера, он избрал наилучший выход из создавшегося положения, не сулившего ему ничего, кроме позора.

Ив (*смотрит на него с нескрываемым ужасом*). Но ведь он жил, жил, а теперь его больше нет. Он ушел от нас навсегда. Его ограбили — отняли те годы, которые он еще мог прожить. Неужели же у тебя нет к нему ни капли сострадания? Ведь он бывал здесь чуть не каждый день.

Эрдсли. Колли был очень приятный человек. Настоящий джентльмен. К сожалению, он не обладал решительно никакими деловыми качествами.

Ив. Какое мне дело до его деловых качеств!

Э р д с л и. А почему, собственно, тебе до этого должно быть дело? Вот уж кому есть до этого дело, так его кредиторам.

И в. Он был для меня всем на свете.

Э р д с л и. Дорогая, что за манера вечно все преувеличивать. В твоём возрасте пора стать более благоразумной.

И в. Он любил меня, и я любила его.

Э р д с л и. Не говори глупостей.

И в. Мы были помолвлены, мы собирались пожениться.

Э р д с л и (*пораженный*). Что-что? Это когда же произошло?

И в. Давным-давно.

Э р д с л и. Но тогда ты счастливо отдалась. В его положении он не мог позволить себе жениться.

И в (*с мукой в голосе*). Это был мой единственный шанс в жизни.

Э р д с л и. У тебя есть родной дом. С нами тебе будет лучше.

И в. И вам со мной — поскольку я приношу пользу.

Э р д с л и. Не вижу в этом ничего дурного.

И в. Но у меня столько же прав на личную жизнь и счастье, как у других.

Э р д с л и. Безусловно.

И в. Однако ты сделал все возможное, чтобы не дать мне выйти замуж.

Э р д с л и. Какой вздор!

И в. Почему я все время должна приносить себя в жертву? Почему должна быть у всех на побегушках? Почему должна все за всех делать? Мне осточертело позволять всем и каждому дурачить себя. Мне осточертел ты, мне осточертел Сидней, мне осточертела Лоис. Вы все мне осточертели.

Ее возбуждение неудержимо нарастает. Рядом стоит столик, заставленный безделушками. В порыве ярости она опрокидывает его, безделушки валяются на пол.

Э т е л ь. Иви!

И в. Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты! Будьте вы прокляты!

Рыдая, она падает на пол и истерически колотит по нему кулаками.

Э р д с л и. Перестань. Перестань сейчас же.

Г о в а р д. Наверно, лучше увести ее отсюда.

Поднимает ее и несет на руках из комнаты. Эрдсли открывает ему дверь. Он и Этель идут рядом. Лоис и Сидней остаются одни. Бледная, дрожащая, Лоис наблюдает происходящее с ужасом и страхом.

Лоис. Что с ней?

Сидней. Истерика. Ты огорчена?

Лоис. Мне страшно.

Сидней. Пойду позвоню дяде Чарли. По-моему, ей необходима врачебная помощь.

Ощупью идет из комнаты. Лоис не двигается с места, не в силах унять сотрясающей ее нервной дрожи. Входит Говард.

Говард. Я уложил ее на диван в столовой.

Лоис. Папа и Этель с ней?

Говард. Да. *(Сматривает на Лоис и понимает, в каком она состоянии. Обнимает ее за плечи.)* Бедняжка, ты расстроилась, да?

Лоис *(не замечая его прикосновения)*. Мне страшно.

Говард. Да ничего страшного в этом нет. Просто она дала выход своим чувствам, и теперь ей сразу станет легче. Не принимай этого так близко к сердцу. *(Наклоняется и целует ее в щеку.)*

Лоис. Зачем ты это сделал?

Говард. Очень уж у тебя горестный вид.

Она серьезно и внимательно смотрит на него. Он обворожительно улыбается в ответ.

Говард. Учти, я абсолютно трезв.

Лоис. Ты бы лучше убрал руку. В любую минуту может войти Этель.

Говард. Я ужасно люблю тебя, Лоис. А я тебе нравлюсь?

Лоис *(грустно)*. Не очень.

Говард. Приехать мне к тебе, к тетушке Эмили?

Лоис. Это еще зачем?

Говард *(тихим, страстным шепотом)*. Лоис!

Она смотрит на него с любопытством и холодной враждебностью.

Лоис. До чего же непонятна человеческая натура. Умом я понимаю, что ты подлец. И презираю тебя. Какое счастье, что ты не можешь заглянуть мне в душу.

Говард. А что я бы там увидел?

Лоис. Желание.

Говард. Какое желание? Не понимаю, о чем ты.

Лоис. Я и не ожидала, что ты поймешь, иначе не стала бы говорить. Все это так мерзко и постыдно. Я и сама это прекрасно понимаю. Но удивительное дело: мне, по-видимому, все равно.

Говард. Ага, теперь понял. Ну что ж, отлично. Всему свое время, детка. Я подожду.

Лоис (*холодно, безразлично*). Свинья!

Входит Сидней.

Сидней. Дядя Чарли уже выехал к нам.

Лоис. С минуты на минуту вернется мама.

Сидней. Ты как собираешься добираться до станции?

Говард. Хочешь, я тебя отвезу?

Лоис. Нет, нет, я уже обо всем договорилась.

Входит Эрдсли.

Эрдсли. Приехал Прентис. Они укладывают Иви в постель.

Лоис. Пойду посмотрю, может, им надо помочь.

Выходит.

Эрдсли (*Сиднею*). Сидней, ты что-нибудь знал о помолвке Ив с Колли?

Сидней. Да не верю я, что помолвка вообще была.

Эрдсли. Ты считаешь, что она все это выдумала?

Сидней. Вполне допускаю. Но уверен, что она будет стоять на своем. Да и то сказать, теперь уже некому ее опровергнуть.

Эрдсли. До чего же ужасно с этим беднягой Колли! Никто больше меня не удручен случившимся.

Сидней. Не слишком ли жестоко: пройти всю войну, заработать орден «За безупречную службу» — и такой конец?

Эрдсли. Не сомневаюсь, что он был отличным морским офицером. Но бизнесменом он был никудышным. Вот в чем суть.

Сидней. Ну чем не надпись на надгробном камне? Прекрасная эпитафия.

Эрдсли. Если это шутка, Сидней, то она отдает дурным вкусом.

Сидней. Видишь ли, папа, мне кажется, у меня есть право говорить то, что я думаю. Я хорошо помню: когда началась война, нас всех охватил пылкий энтузиазм. Ни одна жертва не считалась напрасной. Мы в ту пору были весьма робки и сдержанны и не очень распространялись на эти темы, но такие понятия, как честь и патриотизм, по-настоящему что-то значили для нас и не были пустыми словами. А когда все кончилось, мы искренне верили, что те

из нас, кто погиб, погиб не напрасно, а тех из нас, кто вышел из войны покалеченный, с ясным пониманием своей ненужности и бесполезности, тех поддерживало сознание, что если они и пожертвовали всем, то они пожертвовали этим во имя великой цели.

Эрдсли. Так оно и есть на самом деле.

Сидней. Ты все еще веришь в это? Я — нет. Теперь-то я знаю, что мы были пешками в руках некомпетентных глупцов, которые правили в те годы государствами. Теперь-то я знаю, что нас принесли в жертву их суетному тщеславию, их алчности, их глупости. Но не это самое страшное. Самое страшное то, что они не вынесли из войны никаких уроков. Они так же тщеславны, они так же алчны, они так же глупы, как были прежде. Они без конца мутят воду и в один прекрасный момент домутят ее до того, что втянут нас в новую войну. И я скажу вам, что сделаю, когда это произойдет. Я выйду на улицу и крикну: «Посмотрите на меня! Не будьте идиотами! Все, что они твердят вам о чести, патриотизме, о славе, все это одно пустословие, пустословие, пустословие!»

Говард. Ну и что из того, что пустословие? Война — счастливейшая пора моей жизни. Никакой тебе ответственности и куча денег. У меня сроду не было столько денег — ни до войны, ни после. Девочек — сколько твоей душе угодно, виски — пей сколько влезет. Не жизнь, а малина. В окопах оно, конечно, не сладко, зато потом резвись до упаду. Говорю вам, хуже дня в моей жизни, чем тот, когда подписали перемирие, не было. Что я теперь имею? Изю дня в день одно и то же: работаешь как вол, из кожи лезешь вон, а все равно еле-еле концы с концами сводишь. Нет уж, как только объявят войну, тотчас поступаю на военную службу. И по мне, чем скорее это произойдет, тем лучше. Вот тогда поживем. Ей-богу!

Эрдсли (сыну). Тебе так много пришлось вынести, Сидней. Но ведь не тебе одному. Только представь себе, каким ударом было для меня узнать, что ты не сменишь меня на посту главы фирмы, как некогда сменил я моего отца. Тебе на роду было написано стать моим преемником — в третьем поколении. Но этому не суждено было свершиться. Поверь, никто не хочет новой войны меньше меня. Но я убежден, если она начнется, ты, насколько это от тебя зависит, выполнишь свой долг, как уже выполнил его однажды. Для меня было настоящим горем, что преклонные годы не позволили мне вступить в армию. Но все, что в моих силах, я сделал — служил констеблем. И если в моих услугах снова окажется необходимость, я буду счастлив снова их оказать.

Сидней (*сквозь зубы*). Господи, даруй мне терпение.

Говард. Выпей виски с содовой, старина, сразу полегчает.

Сидней. Да разве виски с содовой помогут мне забыть несчастную, на грани безумия, Иви? Или Колли, который предпочел тюрьме самоубийство? Или мое утраченное зрение?

Эрдсли. Мой дорогой мальчик, ты берешь своих близких. Что и говорить, на нашу долю выпало много страданий, быть может, больше, чем нам причиталось по справедливости. Но ведь наша семья — это только наша семья.

Сидней. Как будто ты не знаешь, что таких семей, как наша, сколько угодно по всей Англии? И по всей Германии? И по всей Франции? А ведь мы ничего особенного не хотели — только жить тихо и мирно, никому не мешая. О большем счастье и не мечтали. Мы просили только одного: чтоб нас оставили в покое. А, да ладно, какой толк говорить обо всем этом.

Эрдсли. Беда в том, что ты слишком много размышляешь.

Сидней (*улыбаясь*). Что правда, то правда, папа. Понимаешь, у меня мало возможностей заниматься чем-либо другим. Я уж подумываю, не принятась ли мне за коллекционирование марок.

Эрдсли. Прекрасная идея, мой мальчик. Если взяться за дело с умом, это весьма надежное помещение денег.

Входит миссис Эрдсли. Она еще не сняла пальто и шляпу.

Сидней. Привет, мама.

Миссис Эрдсли (*устало опускается в кресло и сразу замечает беспорядок в комнате и раскиданные по полу вещи, сброшенные Ив со столика*). Похоже, у вас тут был пикник?

Эрдсли. Это Ив опрокинула столик.

Миссис Эрдсли. Случайно или нарочно?

Говард. Сейчас я подберу все с пола.

Миссис Эрдсли. Да, пожалуйста, ужасный разгром.

Говард подбирает одну вещицу за другой, ставит на место столик.

Эрдсли. Колли, бедняга, покончил жизнь самоубийством.

Миссис Эрдсли. Да, я слышала. Как жалко.

Эрдсли. На Иви это страшно подействовало.

Миссис Эрдсли. Бедняжка, пойду к ней.

Эрдсли. У нее сейчас Чарли Прентис.

Сидней. Мама, выпей сначала чашку чая. По-моему, ты устала.

Миссис Эрдсли. Да, немножко.

Входит доктор Прентис, и она улыбается ему.

А, это ты, Чарли. А я как раз собиралась подняться наверх.

Прентис. Не стоит. Я сделал Иви укол, пусть лучше побудет одна.

Эрдсли. Садись, Чарли. Я схожу в контору, надо закончить кое-какие дела. Вернусь к чаю, минут через пятнадцать.

Миссис Эрдсли. Хорошо.

Эрдсли уходит.

Говард (*закончив убирать*). Ну вот, кажется, все.

Миссис Эрдсли. Спасибо, Говард.

Говард. Пожалуй, схожу-ка я в гараж Колли. У него там есть неплохие инструменты. Не стянул бы кто ненароком.

Сидней. Да, да, конечно.

Говард. Скажите Этель, что я зайду за ней. Я ненадолго.

Уходит.

Сидней. Что сказал врач, мама?

Миссис Эрдсли. Какой врач, Сидней?

Сидней. Перестань, мамочка. Обычно ты не очень-то балуешь свое семейство подробными отчетами о том, куда и зачем едешь. Поэтому когда сегодня утром ты стала подробно и многословно объяснять цель своей поездки в Стэнбери, я сразу догадался, что ты едешь показаться врачу.

Миссис Эрдсли. Ты же знаешь, я не верю докторам.

Прентис. Продолжай, я не обижусь.

Миссис Эрдсли. Лучше скажи мне, что с Иви?

Прентис. Мне пока что не совсем ясно. Однако не исключено, что ей придется лечь на несколько недель в больницу.

Миссис Эрдсли. Но ведь она не лишилась рассудка?

Прентис. Ее психическое состояние крайне неустойчиво... Да, кстати, я как раз собирался ехать к вам, когда позвонил Сидней. Мне звонил Мэррей — сразу после осмотра тебя.

Миссис Эрдсли. Зачем он вмешивается не в свои дела?

Прентис. А это его дело.

Сидней. Мне уйти?

Миссис Эрдсли (*бросает на него короткий, внимательный взгляд*). Да нет, оставайся, если хочешь. Только не прерывай своего занятия и делай вид, что не слушаешь.

Сидней. Ладно.

Берет плетение и притворяется, что целиком поглощен работой.

Миссис Эрдсли. Ну, продолжай.

Прентис. К сожалению, Мэррей подтвердил мой диагноз, Шарлотта.

Миссис Эрдсли (*бодро*). Я так и знала. Вы, доктора, всегда заодно.

Прентис. Он согласен со мной, что необходима срочная операция.

Миссис Эрдсли. Да, я знаю.

Прентис. Он сказал мне по телефону, что ты колеблешься.

Миссис Эрдсли. Ничего подобного. Я ни капли не колеблюсь.

Прентис. Вот и чудесно. Я ведь знаю, какая ты мужественная. И нисколько не сомневался в твоём здравомыслии.

Миссис Эрдсли. Очень рада слышать это.

Прентис. Тогда я договариваюсь об операции — чем скорее мы её сделаем, тем лучше.

Миссис Эрдсли. Я не буду делать никакой операции, Чарли.

Прентис. Но, дорогая, хочу быть с тобой предельно честным. Пойми, это единственная возможность спасти тебе жизнь.

Миссис Эрдсли. Неправда, Чарли. Это единственная возможность продлить мне жизнь. На несколько месяцев, может быть, на год. А потом все начнется сначала. По-твоему, игра стоит свеч? По-моему — нет.

Прентис. Но ведь у тебя муж, дети — подумай о них.

Миссис Эрдсли. Я знаю. Но с другой стороны — операция будет стоить огромных денег. И даже перенеся её, я останусь на всю жизнь инвалидом. Потребуется постоянная сиделка. Нет, я не стою таких хлопот.

Прентис. Ты жестока, Шарлотта. И совершенно не права.

Миссис Эрдсли. Может быть. Но ты ведь знаешь меня не один год, Чарли. И знаешь наверное, что, раз

приняв какое-то решение, я уже никогда от него не отказываюсь.

Прентис. Не валяй дурака, Шарлотта.

Миссис Эрдсли. Пойми, Чарли, мне не на что жаловаться. Я прожила вполне счастливую жизнь. И вполне готова поставить точку.

Прентис. Может быть, Мэррей был недостаточно откровенен?

Миссис Эрдсли. Я, во всяком случае, просила его ничего не скрывать.

Прентис. Послушай, Шарлотта. Я говорю совершенно серьезно: если ты не согласишься на операцию, тебе останется жить всего несколько месяцев.

Миссис Эрдсли (*холодно*). Как странно, ты слово в слово повторил то, что сказал доктор Мэррей.

Прентис. Так как же?

Миссис Эрдсли. В молодости я часто рисовала в воображении такую сцену: мне говорят, что меня ждет неминуемая смерть. Как я принимаю это сообщение? Кричу от страха? Падаю в обморок? Оказывается—ни то, ни другое. Я испытала какое-то забавное ощущение. Будто выпила на пустой желудок рюмку портвейна. В Стэнбери после приема у врача я прошлась по магазинам. Боюсь, я проявила чрезмерную расточительность. На душе было как-то необыкновенно легко и беззаботно.

Прентис. Не могу сказать этого про себя.

Миссис Эрдсли. Это доказывает, как прав Ленард, говоря, что решить, как взять барьер, можно, лишь когда он перед тобой.

Прентис. Чтоб он провалился, твой Ленард.

Миссис Эрдсли. А я теперь вольная птица. Ничто уже не имеет значения. Удивительно приятное чувство.

Прентис. А все прочее?

Миссис Эрдсли. Все прочее, дорогой мой, останется между мной и бледной, бесплотной тенью, тем, что вами—умников—стараниями еще сохранилось в моем представлении от Бога.

Прентис (*после недолгого размышления*). Ну что ж, если ты придерживаешься такой точки зрения, если ты знаешь правду и готова нести ответственность за последствия,—тогда мне нечего больше сказать. Может, ты и права. Восхищаюсь твоим мужеством. Хочу надеяться, что и у меня достанет его последовать твоему примеру.

Миссис Эрдсли. Мне остается попросить тебя об одном одолжении.

Прентис. Все что угодно, дорогая.

Миссис Эрдсли. Я не хочу терпеть больше страданий, чем необходимо, Чарли. Мы ведь всегда питали друг к другу самую нежную привязанность, правда?

Прентис. Конечно.

Миссис Эрдсли. Вы, врачи,—весьма жестокое словие. Нет предела вашему терпению, когда вы наблюдаете мучения других людей.

Прентис. Я обещаю тебе использовать все средства, доступные медицине, чтобы избавить тебя от страданий.

Миссис Эрдсли. Но я прошу тебя совсем не о том.

Обмениваются долгим, напряженным взглядом.

Прентис. Хорошо, я готов сделать даже это.

Миссис Эрдсли (*сразу другим, веселым тоном*). Ну тогда все в порядке. И забудем обо всем неприятном.

Сидней встает, подходит к матери, наклоняется и целует ее в лоб.

Миссис Эрдсли. Раз уж ты встал, Сидней, позвони, пожалуйста, в колокольчик. Мне ужасно хочется чаю.

Пока он звонит, входит Этель.

Этель. А я и не знала, что ты уже вернулась, мама.

Миссис Эрдсли. Да, всего несколько минут назад. (*Этель целует ее.*) Я хотела подняться к Иви, но дядя Чарли отсоветовал.

Этель. Она чувствует себя вполне хорошо.

Миссис Эрдсли. Спит?

Этель. Нет, просто лежит.

Миссис Эрдсли. А где Лоис?

Этель. У себя в комнате. Сейчас придет.

Входит служанка с подносом, ставит его на маленький столик.

Миссис Эрдсли. Гертруда, если кто-нибудь придет, меня нет дома.

Гертруда. Слушаюсь, мадам.

Миссис Эрдсли. Что-то я не расположена сегодня принимать гостей.

Прентис. Ухожу, ухожу.

Миссис Эрдсли. Не глупи. Я не отпущу тебя, пока ты не выпьешь чаю.

Прентис. Но меня ждут другие пациенты.

Миссис Эрдсли. Ничего, подождут.

Входит Лоис.

Миссис Эрдсли. Тебе уже, наверно, пора ехать, да, Лоис?

Лоис. Еще есть время. До станции езды не больше пяти минут.

Этель. Ты не забудешь куропаток?

Лоис. Нет.

Миссис Эрдсли. Передай от меня тете Эмили сердечный привет.

Прентис. И от меня поклон.

Лоис. Хорошо.

Миссис Эрдсли. У нее, наверно, вот-вот зацветут хризантемы.

Поставив поднос на столик, Гертруда вышла из комнаты; теперь она возвращается.

Гертруда. Миссис Сидар, мадам.

Миссис Эрдсли. Я же просила сказать, что меня нет дома.

Гертруда. Я сказала, мадам, но она говорит, это очень важно.

Миссис Эрдсли. Какая надоедливая особа. Передайте ей, что я только что вернулась из Стэнбери и очень устала. Скажите, пусть извинит меня, но я никого не в состоянии видеть сегодня.

Гертруда. Слушаюсь, мадам.

Поворачивается и уходит, но в это время дверь распахивается и в комнату вбегает Гвен. Она в крайне возбужденном состоянии.

Гвен. Простите, ради бога, что я врываюсь к вам, но это вопрос жизни и смерти. Мне необходимо поговорить с вами.

Миссис Эрдсли. Я не очень хорошо себя чувствую, Гвен. Нельзя ли подождать до завтра?

Гвен. Нет, нет, нет, завтра будет слишком поздно. О боже мой, что же мне делать?

Миссис Эрдсли. Ну, раз уж вы здесь, самое разумное — сесть и выпить чашку чая.

Гвен (*сдавленным голосом*). Лоис и Уилфред собираются сбежать вдвоем.

Миссис Эрдсли. О дорогая, не говорите глупости. Право, это становится скучным.

Гвен. Но это правда, уверяю вас, это правда.

Миссис Эрдсли. Лоис уезжает на две недели погостить у моей свояченицы. Я с самого начала знала, что все ваши домыслы ничего не стоят, но все же во избежание

недоразумений договорилась, что до самого вашего отъезда ее здесь не будет.

Гвен. Но она и не думает ехать к вашей свояченице. Уилфред встретит ее в Стэнбери, и они поедут в Лондон.

Лоис. Что вы выдумываете, Гвен?

Гвен. Я слышала по телефону каждое ваше слово.

Лоис (*пытается скрыть испуг*). Когда?

Гвен. Только что. Десять минут назад. Вы ведь не знаете, но я провела себе в комнату отводную трубку. Не такая уж я дура, как вы думаете. Ну, будете вы теперь отрицать, что говорили с Уилфредом?

Лоис. Нет.

Гвен. Вы сказали Уилфреду: «Решено». А он ответил: «Что вы имеете в виду?» А вы сказали: «Я вверяю себя вашему доброму попечению. Вы ведь хотели этого, мой мальчик. Я готова бежать с вами».

Этель. Да она пошутила.

Гвен. Странные шутки. Он сказал: «Боже мой, неужели вы серьезно?» А она сказала: «Я сойду с поезда в Стэнбери. Встречайте меня с машиной, и мы обсудим все по дороге в Лондон».

Миссис Эрдсли. Это правда, Лоис?

Лоис. Да.

Сидней. Какая же ты дура, Лоис.

Гвен. О Лоис. Я ведь не сделала вам ничего плохого. Я была вам хорошим другом — вы не отнимете у меня мужа?

Лоис. А я и не отнимаю его у вас. Вы сами потеряли его много лет назад.

Гвен. Вы молоды, Лоис, у вас еще все впереди. А я уже старая, он — все, что у меня есть. Клянусь вам, если он покинет меня, я лишу себя жизни.

Миссис Эрдсли. Но почему вы пришли сюда? Почему сразу же не пошли к мужу?

Гвен. Он не станет слушать меня. О, какая же я была дура! Я должна была догадаться сразу, как только увидела жемчуг.

Миссис Эрдсли. Какой жемчуг?

Гвен. Да он и сейчас на ней. Она притворялась, что он фальшивый, но он настоящий. Ей подарил его Уилфред.

Миссис Эрдсли. Сейчас же снимите жемчуг, Лоис, и отдайте Гвен.

Не говоря ни слова, Лоис расстегивает застужку и бросает нитку жемчуга на стол.

Гвен. Неужели вы думаете, я прикоснусь к нему? Он ненавидит меня. О, как это страшно — любить человека всей душой и сознавать, что он видеть тебя не может. Я упала перед ним на колени, молила не покидать меня. Он сказал, что я ему до смерти надоела. Он толкнул меня так, что я повалилась на пол. Я слышала, как за ним захлопнулась дверь. Он ушел. Он ушел, чтобы встретиться с ней. *(Падает на колени и раздражается слезами.)*

Миссис Эрдсли. Гвен, Гвен, не надо, перестаньте.

Гвен *(подползает на коленях к миссис Эрдсли)*. Не разрешайте ей идти к нему. Вы ведь понимаете, каково это — быть старой. Понимаете, каким беззащитным становится человек в старости. Она еще пожалеет о своем поступке. Вы ведь его совсем не знаете. Она ему скоро надоест, и он отделается от нее, как отделялся от остальных. Он грубый, жестокий, эгоистичный. Он сделал меня такой несчастной.

Миссис Эрдсли. Но если это так, если он такой, как вы говорите, радуйтесь, что избавляетесь от него.

Гвен. Я слишком стара, чтобы начинать все сначала. Слишком стара, чтобы остаться одной. Одной. *(Она вскакивает на ноги.)* Он мой. Ради него я прошла все тяготы бракоразводного процесса. Я не дам ему уйти. *(Поворачивается к Лоис.)* Клянусь вам самим Господом Богом, вам никогда не выйти за него замуж. Он заставил первую жену развестись с ним, потому что у нее не было денег, но у меня есть свои собственные деньги. Я ни за что в жизни не дам ему развода.

Лоис. Да я ни за что на свете и не выйду за него.

Гвен. Берите его, если хотите. Он все равно вернется ко мне. Он старый. Он еще пытается хорохориться. Пустое. Я знаю, чего это ему стоит. Он смертельно устал, но не хочет сдаваться. На кой черт он вам нужен? Как вам могла прийти в голову такая глупость? Неужто вам не стыдно?

Миссис Эрдсли. Гвен! Гвен!

Гвен. Деньги. О, будь прокляты деньги! Да, он богат, а у вас у всех за душой ни гроша. Вы тут все заодно. Все. Все вы хотите что-нибудь урвать от этого. Скоты! Твари!

Прентис *(поднимается и берет ее за руку)*. Довольно, миссис Сидар. Пойдемте. Вы зашли уж слишком далеко. Вам лучше уйти.

Гвен. Никуда я не пойду.

Прентис. Тогда я буду вынужден вывести вас. *(Подталкивает ее к двери.)*

Гвен. Ну подождите. Я устрою такой скандал, что вы в глаза людям смотреть не сможете. И больше никогда не будете задирать нос.

Прентис. Ну все, довольно. Убирайтесь!

Гвен. Не прикасайтесь ко мне, черт бы вас побрал!

Прентис. Идемте, я отвезу вас домой.

Оба уходят. Дверь за ними закрывается, и в комнате воцаряется напряженная тишина.

Лоис. Мама, я очень сожалею, что тебе пришлось из-за меня вынести эту ужасную сцену.

Сидней. Как не сожалеть.

Этель. Ты ведь не уедешь с этим человеком, Лоис?

Лоис. Уеду.

Этель. Но ты же не любишь его.

Лоис. Конечно нет. Если бы любила, ни за что бы не согласилась. Неужели ты думаешь, я такая идиотка?

Этель (*в ужасе*). Лоис!

Лоис. Если бы я его любила, я бы побоялась.

Этель. Ты не представляешь себе, на что идешь. Если бы ты его любила — пусть это было бы ужасно и противоестественно, но явилось бы хоть каким-то оправданием.

Лоис. Скажи, Этель, тебе любовь принесла много счастья?

Этель. Мне? При чем тут я? Я вышла замуж за Говарда. С тех пор он со мной — и в радости, и в горе.

Лоис. Ты хорошая жена и хорошая мать. Одним словом, ты добродетельная женщина. И что это тебе дает? Как будто я не вижу: ты постарела, ты устала, ты отчаялась. Мне страшно, Этель, страшно.

Этель. Меня никто не неволил выходить замуж. Мама с папой были против.

Лоис. Ну хорошо, представь, ты бы осталась дома, как Иви. Я тоже могу остаться. Но мне страшно, Этель. Страшно. Я не хочу стать такой, как Иви.

Этель. Мама, неужели ты не можешь что-нибудь сделать? Все это так ужасно. Безумие какое-то.

Миссис Эрдсли. Я хочу выслушать Лоис.

Этель (*прерывающимся голосом*). Может, тебя тут кто-нибудь обидел и ты поэтому уходишь из дома?

Лоис (*улыбается*¹). О дорогая, вот уж на меня непохоже.

Этель (*пристыженная и смущенная*). Я было подумала, не приставал ли кто-нибудь к тебе.

Лоис. Господи, Этель, не будь такой наивной. Ну кто ко мне пристанет в этой Богом забытой дыре?

Этель. Сама не знаю. Наверно, это все мое воображение. Значит, исключительно ради денег?

Лоис. Да, ради денег. Ради того, что они дают: свободу и возможности в жизни.

Этель. Все это пустые слова.

Лоис. Я устала ждать, пока что-нибудь подвернется. Время летит, и скоро будет уже слишком поздно.

Миссис Эрдсли. Когда ты пришла к этому решению, Лоис?

Лоис. Полчаса назад.

Миссис Эрдсли. Ты взвесила все последствия?

Лоис. Ах, мамочка, если бы я это сделала, я бы осталась здесь и до скончания своих дней продолжала бы бить баклуши.

Миссис Эрдсли. Ты поступаешь не очень благо-разумно, Лоис.

Лоис. Я знаю.

Миссис Эрдсли. И это жестоко по отношению к Гвен.

Лоис *пожав плечами*). Не я, так другая.

Миссис Эрдсли. И какой страшный удар для твоего отца.

Лоис. Весьма сожалею.

Миссис Эрдсли. Да и скандал печально отразится на нас.

Лоис. Ничего не могу поделать.

Этель. А самое неприятное произойдет, когда ты решишь выйти за него замуж. Гвен сказала, она ни за что не даст ему развода.

Лоис. Я вовсе не хочу выходить за него замуж.

Этель. А если он бросит тебя? Что станет с тобой тогда?

Лоис. Этель, милая, ты намного старше меня, ты замужняя женщина. Как можно быть такой наивной? Тебе никогда не приходило в голову, какой властью обладает женщина, в которую страстно влюблен мужчина, если он ей совершенно безразличен?

Гертруда вносит поднос, на котором чайник для заварки и чайник с кипятком

Миссис Эрдсли (*Этель*). Скажи отцу, что чай готов, Этель

Расстроенно махнув рукой, Этель выходит из комнаты

Лоис. Пойду поднимусь к себе, надену шляпку

Гертруда уходит

Прости меня, мама, что огорчила тебя. Я не хотела.

Миссис Эрдсли. Твое решение окончательно, Лоис?

Лоис. Да.

Миссис Эрдсли. Я так и думала. Тогда, наверно, тебе действительно лучше всего пойти к себе и надеть шляпу.

Лоис. А как быть с папой? Ужасно не хочется, чтоб он закатил сцену.

Миссис Эрдсли. Я все расскажу ему после твоего отъезда.

Лоис. Спасибо.

Уходит. Миссис Эрдсли и Сидней остаются одни.

Сидней. Мама, неужели ты разрешишь ей уехать?

Миссис Эрдсли. А разве в моих силах ее удержать?

Сидней. Да, если ты скажешь ей то, что услышала сегодня утром от хирурга.

Миссис Эрдсли. Дорогой мой мальчик, стоя одной ногой в могиле, поздно вато прибегать к шантажу.

Сидней. Но тогда она не уедет.

Миссис Эрдсли. Скорее всего. Но я не могу этого сделать, Сидней. Я все время буду жить с ощущением, что она ждет моей смерти. Буду оправдываться перед самой собой за каждый прожитый день.

Сидней. Может, она еще одумается.

Миссис Эрдсли. Она молода, у нее вся жизнь впереди. Пусть поступает, как считает для себя лучше. А я уже нахожусь вне жизни. У меня нет права влиять на нее.

Сидней. А ты не боишься, что ее ждет сокрушительная неудача?

Миссис Эрдсли. Нет. Она холодная и эгоистичная. И, на мой взгляд, отнюдь не глупая. Она сумеет о себе позаботиться.

Сидней. Ты говоришь о ней как о посторонней.

Миссис Эрдсли. Тебе кажется, что я слишком сурова к ней? Понимаешь, меня не покидает ощущение, что ничто уже не имеет значения. Я свое отжила. Я сделала все, что было в моих силах. Пусть те, кто останутся жить, обходятся без моей помощи.

Сидней. И тебе совсем не страшно?

Миссис Эрдсли. Нисколько. Странно, но я счастлива. Даже ощущаю какое-то облегчение при мысли, что все кончено. Я чувствую себя чужой в этом новом сегодняшнем

мире. Я принадлежу другой, довоенной поре. Все изменилось, все стало по-другому. Мне здесь все чуждо. В жизни все как на балу: поначалу весело и интересно, а потом становится раздражающе шумно и скучно и хочется поскорей уйти домой.

Возвращается Этель.

Этель. Я сказала папе. Он сейчас придет.

Миссис Эрдсли. Боюсь, не перестоял бы чай.

Сидней. Да ведь для папы чай чем крепче, тем лучше.

Входит Лоис. На ней уже надета шляпа.

Лоис (*взволнованно, испуганно*). Мама, Иви спускается вниз.

Миссис Эрдсли. Разве она не спит?

Сидней. Дядя Чарли сказал, что дал ей что-то успокаивающее.

Дверь открывается, и входит Ив. Глаза ее блестят от лекарства, которое ей дал доктор. На лице странная, застывшая улыбка. Она переделалась в свое самое нарядное платье.

Миссис Эрдсли. А я думала, ты лежишь, Иви. Мне сказали, ты не вполне хорошо себя чувствуешь.

Ив. Я решила спуститься к чаю. Сейчас придет Колли.

Лоис (*потрясенная*). Колли?

Ив. Он очень огорчится, если меня не будет.

Миссис Эрдсли. Ты надела свое самое красивое платье.

Ив. Да, да, ради такого случая. Понимаешь, я помолвлена и собираюсь выйти замуж.

Этель. Ив, помилуй бог, о чем ты?

Ив. Я решила предупредить вас заранее, чтобы для вас это не было неожиданностью. Сегодня вечером Колли будет разговаривать с папой. Пожалуйста, никому ничего не говорите до его прихода.

Все подавленно молчат, не зная, что сказать и что делать.

Миссис Эрдсли. Сейчас я налью тебе чаю, дорогая.

Ив. Мне не хочется чая. Я слишком взволнованна. (*Видит нитку жемчуга, которую бросила на стол Лоис.*) А это что за жемчуг?

Лоис. Возьми его себе, если хочешь.

Миссис Эрдсли. Лоис!

Лоис. Он мой.

И в. Можно, правда? Пусть он будет твоим обручальным подарком. О Лоис, какая ты добрая. *(Подходит к Лоис и целует ее, потом, стоя перед зеркалом, надевает бусы на шею.)* Колли говорит, что у меня очень красивая шея.

Входят мистер Эрдсли и Говард.

Эрдсли. Ну где же ваш чай?

Говард. Привет, Иви. Снова на ногах?

И в. Конечно. Со мной ровно ничего не случилось.

Эрдсли. Ты готова, Лоис?

Лоис. Да.

Эрдсли. Не откладывай отъезд на последнюю минуту.

Говард. Не исключено, что в ближайшие несколько дней я навещу тебя, Лоис. Мне надо по делам в Кентербери, Этель. Вряд ли я успею обернуться туда и обратно за день.

Этель. Да, да.

Говард. Я заеду за тобой на машине, и мы махнем в кино.

Лоис *(насмешливо)*. Это будет замечательно.

Эрдсли. Должен признаться, нет ничего приятнее, чем посидеть за чашкой чая у камина в своем доме, в кругу своей семьи. И если уж на то пошло — какие у нас заботы? Что и говорить, мы не бог весть как богаты, каждая копейка на счету, но зато мы здоровы и мы счастливы. В общем, нам не на что особенно жаловаться. Правда, страна наша пережила в последние годы некоторые трудности, но тяжелым временам, на мой взгляд, приходит конец, дело пошло на поправку, и мы можем с уверенностью и надеждой смотреть в будущее. Наша добрая старушка Англия выдержала все выпавшие на ее долю испытания, и, что касается меня, я верю в нее и во все, что она олицетворяет.

И в *(запеваает тоненьким, надтреснутым голосом)*.

Боже, храни короля!

Долгой жизни нашему славному королю!

Боже, храни короля!

Пораженные ужасом, все в оцепенении смотрят на нее. Когда она умолкает, Лоис вскрикивает и выбегает из комнаты.

Занавес

НА КИТАЙСКОЙ
ШИРМЕ

Перевод И. Гуровой

On a Chinese Screen

1955

І. ЗАНАВЕС ПОДНИМАЕТСЯ

И вот перед вами убогий ряд лачужек, которые тянутся до городских ворот. Глинобитные хижинки, такие обветшалые, что кажется, подуй ветер, и они прахом рассыплются по пыльной земле, из которой были слеплены. Мимо, осторожно ступая, проходит вереница тяжело нагруженных верблюдов. Они брезгливо высокомерны, точно нажившиеся спекулянты, которые проездом оказались в мире, где очень и очень многие не так богаты, как они. У ворот собирается кучка людей, чья синяя одежда давно превратилась в лохмотья,— и бросается врассыпную, потому что к воротам на низкорослой монгольской лошади галопом подлетает юноша в остроконечной шапке. Орава ребятишек преследует хромую собаку, они бросают в нее комья сухой глины. Два дородных господина в длинных черных одеяниях из фигурного шелка и шелковых безрукавках беседуют друг с другом. Каждый держит палочку— а на палочке сидит привязанная за ногу птичка. Оба вынесли своих любимиц подышать свежим воздухом и дружески сравнивают их достоинства. Иногда птички вспархивают, летят, пока не натянется шнурочек, и быстро возвращаются на свои палочки. Два почтенных китайца, улыбаясь, ласково смотрят на них. Грубые мальчишки пронзительными головами выкрикивают по адресу чужеземца что-то презрительное. Городская стена, осыпающаяся, древняя, зубчатая, приводит на память старинный рисунок городской стены какого-нибудь палестинского города времен крестоносцев.

За воротами вы попадаете в узкую улицу, по сторонам которой теснятся лавки— многие, с изящными решетками,

альными с золотом, покрытыми прихотливой резьбой, несут особую печать былого великолепия, и кажется, будто в их темных нишах продается все разнообразие невиданных товаров сказочного Востока. Поток прохожих катится по узкому неровному тротуару и по вдавленной мостовой, и кули, сгибаясь под тяжелой ношей, короткими резкими окриками требуют, чтобы им уступили дорогу. Лоточники гортанно выкликают свои товары.

И тут появляется пекинская повозка, запряженная неторопливо шагающим ухоженным мулом. Ярко-синий навес, огромные колеса усажены шляпками гвоздей. Возница, болтая ногами, сидит на оглобле. Сейчас вечер, и красное солнце закатывается за желтую остроконечную фантастичную крышу храма. Пекинская повозка бесшумно проезжает мимо, передняя занавеска задернута, и хочется узнать, кто сидит за ней, поджав под себя ноги. Может быть, ученый, знающий наизусть все труды классиков, отправился навестить друга и будет обмениваться с ним замысловатыми приветствиями и беседовать о золотом времени Танской и Сунской династий, которые уже никогда не возвратятся. А может быть, это певица в роскошных шелках, в богато вышитой кофте, с нефритовыми булавками в черных волосах приглашена на пирушку, где споет песенку и будет обмениваться изящными шутками с молодыми повесами, достаточно образованными, чтобы оценить тонкое остроумие. Пекинская повозка скрывается в сгущающихся сумерках, словно нагруженная всеми тайнами Востока.

II. ГОСТИНАЯ МИЛЕДИ

— Нет, право, я думаю, что-то из этого сделать все-таки можно,— сказала она.

Она посмотрела вокруг энергичным взглядом, и в ее глазах просиял свет творческого вдохновения.

Это был старинный храм, маленький городской храм — она его купила и теперь превращала в жилой дом. Триста лет назад храм воздвигли для очень святого монаха его поклонники, и здесь он провел закат своих дней в великом благочестии, всячески умерщвляя плоть. И еще долго память о его добродетели привлекала сюда верных, но время шло, пожертвований становилось все меньше, и в конце концов еще поддерживавшие храм два-три монаха вынуждены были его покинуть. Он носил следы непогоды, а зеленая

черепица крыши поросла бурьяном. Пересеченный балками потолок с поблекшими золотыми драконами на поблекшем красном фоне все еще был прекрасен, но ей темные потолки не нравились, а потому она затянула его холстом и заклеила обоями. Ради света и воздуха она прорубила в стенах два больших окна. Как удачно, что у нее нашлись голубые занавески как раз нужного размера. Голубой—ее любимый цвет, он подчеркивает цвет ее глаз. Столбы, величавые крепкие красные столбы действовали на нее угнетающе, но она обклеила их ужасно милыми обоями, в которых не было ничего китайского. Очень удачно получилось и с обоями, которыми она обклеила стены. Куплены они были в туземной лавочке, но практически не отличались от сандерсоновских—в такую веселенькую розовую полосочку, что комната сразу стала уютной. В глубине была ниша, где некогда стоял лакированный стол, а за ним статуя Будды, вечно предающегося медитации. Здесь поколения верующих жгли свои свечи и возносили молитвы—кто о преходящих благах, кто об освобождении от постоянно возвращающегося бремени земных жизней,—ей же эта ниша показалась просто созданной для американской печки. Ковер она была вынуждена купить в Китае, но сумела выбрать такой, что его просто не отличить от аксминстерского. Разумеется, он ручной выделки, а потому не так ровен, как подлинно английский, но все-таки вполне приличная замена. Ей удалось купить маленький гарнитур у атташе, которого перевели в Рим, и она выписала из Шанхая прелестный светлый ситчик на чехлы. К счастью, у нее было много картин—главным образом свадебные подарки, но некоторые она купила сама, потому что натура у нее художественная, и они так мило украсили комнату. Ей понадобилась ширма, и ничего не поделаешь, пришлось купить китайскую, однако, как она остроумно заметила, ведь и в Англии вполне можно поставить у себя китайскую ширму. У нее было множество фотографий в серебряных рамочках, в том числе принцессы Шлезвиг-Гольштейнской, и еще—шведской королевы, и обе подписанные: их она поставила на рояль, потому что они придавали комнате домашний вид. И, завершив свои труды, она с удовлетворением обзрела их результаты.

— Разумеется, на лондонскую гостиную это не очень похоже,—сказала она.—Но такая гостиная вполне может быть в каком-нибудь милом английском городке. Челтнеме, например, или в Танбридж-Уэлсе.

III. МОНГОЛЬСКИЙ ВОЖДЬ

Одному небу известно, из какой дали он прибыл. Он спускался верхом по петляющей тропе с высокого монгольского плато, где повсюду по сторонам непроходимой стеной вставали бесплодные каменные неприступные горы; он спускался мимо храма, стерегущего перевал, и наконец достиг древнего речного ложа — ворот Китая. Их окаймляли предгорья, сверкавшие под утренним солнцем, иссеченные черными тенями: за многие века бесчисленные путники, конники и караваны превратили это каменистое дно в подобие дороги. Воздух был холодным и чистым, небо голубым. Здесь круглый год двигался нескончаемый поток: верблюды, везущие плиточный чай в Ургу, до которой семьсот миль, а оттуда — в Сибирь; вереницы фургонов, влекомые мирными волами; запряженные крепкими лошадами небольшие повозки, группами по две-три. А навстречу в Китай тоже верблюды, везущие шкуры на пекинские базары, и длинные процессии фургонов. Иногда по дороге гнали табун, иногда козье стадо. Но его глаза ни на чем не задерживались, он, казалось, не замечал, что на перевале он не один. Его сопровождали челядинцы, шестеро или семеро, надо признаться, довольно оборванные, на жалких клячах, но очень воинственные с виду. Они трусили по дороге беспорядочной кучкой. На нем была черная шелковая куртка и черные шелковые штаны, заправленные в высокие сапоги с задранными носками, а голову венчала высокая соболья шапка, обычная в его родном крае. Сидел он в седле очень прямо, гордо опережая свою свиту на несколько шагов. И, глядя, как он едет, высоко держа голову с неподвижными глазами, ты спрашивал себя, о чем он думает — не о том ли, как в былые дни его предки скакали через этот перевал, скакали вниз на плодородные равнины Китая, где богатые города сулили им сказочную добычу.

IV. ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ

Я узнал его поразительную историю до того, как познакомился с ним, и ожидал кого-то ничем не похожего на других. Мне казалось, что необычность пережитого не могла не наложить отпечатка необычности на весь его облик. Но увидел я человека, в чьей внешности не было ничего примечательного. Ниже среднего роста, тщедушный, загорелый, с уже седеющими волосами, хотя ему еще не было

тридцати, и с карими глазами. Он ничем не выделялся среди десятков ему подобных, и запомнить его с первой встречи было бы трудно. Если бы вы увидели его за прилавком большого магазина или на табурете в маклерской конторе, то решили бы, что он как раз на своем месте, — да только вы его попросту не заметили бы, как не замечаете прилавков и табуретов. В нем ничто не привлекало внимания — до такой степени, что это само по себе становилось интригующим: лицо, лишенное малейшей значительности, напоминало вам глухую стену дворца времен Маньчжурской династии где-нибудь в убогом переулке, за которой, как вам известно, прячутся расписные дворики, резные драконы и бог знает какие сложные и тайные интриги.

Ибо замечательным был весь его путь. Сын ветеринара, он начал самостоятельную жизнь в Лондоне судебным репортером, потом устроился стюардом на торговое судно, шедшее в Буэнос-Айрес. Там он сбежал и, берясь то за ту, то за другую работу, пересек Южную Америку. Из какого-то чилийского порта он добрался до Маркизских островов, где полгода существовал на щедроты туземцев, всегда готовых оказать гостеприимство белому, а затем, умолив владельца шхуны взять его до Таити, отплыл в Амой вторым помощником на старой лохани, доставившей китайских чернорабочих на острова Товарищества.

Это было за девять лет до моего знакомства с ним, и с тех пор он жил в Китае. Сначала он устроился в Англо-Американскую табачную компанию, но года через два заскучал и, подучившись за это время языку, перешел в фирму, торговавшую патентованными лекарствами по всей стране. Три года он блуждал из провинции в провинцию, продавая пилюли, и к концу этого срока скопил восемьсот долларов. Вновь он бросил работу.

И тут начались самые замечательные его приключения. Переодевшись бедняком китайцем, он отправился из Пекина путешествовать по стране со спальней циновкой, обкуренной китайской трубкой и зубной щеткой. Он останавливался в придорожных харчевнях, спал на канах бок о бок с другими путниками и ел китайскую пищу. Это само по себе было уже немалым подвигом. Поездами он почти не пользовался, а больше шел пешком, ехал на повозке, плыл в джонке. Он оставил позади Шеньси и Шаньси, он прошел пешком плоскогорья Монголии и рисковал жизнью в диком Туркестане. Он прожил долгие недели с кочевниками пустыни и путешествовал с караванами, которые везли плиточный чай через безводные просторы Гоби. В конце концов, истратив свой последний доллар, он вернулся в Пекин.

И занялся поисками работы. Легче всего, как будто, было бы писать, и редактор одной из газет, выходявших на английском языке, предложил напечатать серию статей о его сгранствованиях. Казалось бы, единственной трудностью было решить, на чем из обилия накопленных богатств остановить выбор. Он был осведомлен в том, чего, возможно, кроме него, не знал ни один англичанин. Он видел и испытал столько необычного, потрясающего, страшного, смешного, неожиданного. И он написал двадцать четыре статьи. Я не хочу сказать, что они были неудобочитаемыми,— нет, в них нашла выражение точная и благожелательная наблюдательность, но подано все было в полнейшем беспорядке. Это был сырой материал, а не искусство. Статьи напоминали каталоги фирм, торгующих по почте: для человека с воображением они были залежами золота, то есть сырьем для литературы, а не самой литературой. Он был натуралистом, который терпеливо собирает огромное множество фактов, но не обладает даром обобщения — и они остаются просто разрозненными фактами, ждущими, чтобы их синтезировали более могучие умы. Собирал он не растения, не животных, а людей. Коллекция его не имела себе равных, но ориентировался он в ней плохо.

Когда я познакомился с ним, то попытался понять, как на него повлияло то, что ему довелось пережить, но хотя он помнил массу интересных происшествий, был добродушен, мил и охотно со множеством подробностей рассказывал о своих приключениях, ни одно из них, насколько я мог заметить, не затронуло его глубоко. Инстинктивная потребность поступать своеобразно, как он поступал, показывала, что есть в нем жилка своеобразия. Цивилизованный мир его раздражал, и у него была страсть ходить нехоженными путями. Диковинки, припасенные жизнью, его развлекали. Его снедало неутолимое любопытство. Но, по-моему, это все был плотский опыт, не преображавшийся в опыт духа. Вот почему, возможно, вы чувствовали, что, в сущности, он незначителен. Заурядность его внешности была верным отражением заурядности его души. За глухой стеной была пустота.

V. МИНИСТР

Он принял меня в длинной комнате, выходящей в сад с песчаной почвой. Розы на искривленных кустах засохли, а старые величавые деревья стояли поникшие. Он усадил меня на квадратный табурет у квадратного стола и сел

напротив меня. Бой подал чашки с цветочным чаем и американские сигареты. Он был худым, среднего роста, с худыми изящными руками и смотрел на меня сквозь очки в золотой оправе большими, темными, печальными глазами. Он походил на философа или мечтателя. Улыбка у него была очень ласковая. Одет он был в длинное одеяние из коричневого шелка и короткую кофту из черного шелка, а на голове у него была круглая шляпа.

— Не странно ли,— сказал он со своей обаятельной улыбкой,— что мы, китайцы, носим такую одежду, потому что триста лет назад маньчжуры были конниками?

— Но куда более странно,— возразил я,— что ваше превосходительство носит котелок, потому что англичане победили при Ватерлоо.

— Вы полагаете, я ношу его поэтому?

— Могу без труда доказать.

Опасаясь, что его изысканная учтивость не позволит ему спросить, как именно, я поспешил объяснить в нескольких красноречивых словах.

Он снял свою шляпу и поглядел на нее с легчайшим вздохом. Я осмотрел комнату. Ковер был брюссельский, зеленый с большими цветами, а по стенам стояли резные стулья из черного дерева. С реек свисали свитки с письмами великих мастеров прошлого и — для разнообразия — картины маслом в ярких золоченых рамках, которые в девяностых годах прошлого века вполне можно было увидеть на выставках Королевской академии художеств. Работал министр за американским бюро с выпуклой крышкой.

Он печально беседовал со мной о положении Китая. Древнейшая цивилизация, какие только знал мир, теперь безжалостно сметается прочь. Студенты, возвращающиеся из Европы и Америки, сокрушают то, что с любовью воздвигали бесчисленные поколения их предков, и ничего не создают взамен. Им неведомы ни любовь к отчизне, ни религия, ни почтение перед прошлым. Храмы, покинутые верующими и священнослужителями, ветшают, и скоро их красота превратится в воспоминание.

Но затем красноречивым жестом худой аристократической руки он отодвинул эту тему и спросил, не хочу ли я посмотреть принадлежащие ему предметы искусства. Мы обходили комнату, и он показывал мне бесценный фарфор, бронзу, статуэтки эпохи Танской династии. Лошадь из гробницы в Хонане дышала изысканной грацией греческих скульптур. На большом столе возле бюро покоились свитки. Он выбрал один и, держа за верх, позволил мне развернуть

его. Это была картина эпохи какой-то ранней династии — горы, проглядывающие сквозь кружево облаков, и он улыбающимися глазами смотрел, с каким восторгом я гляжу на нее. Потом картина была свернута, а он показал мне другую. И еще одну, и еще. Вскоре я выразил сожаление, что отнимаю столько времени у столь занятого человека, но он не желал меня отпускать. И развешивал картину за картиной. Он был истинным знатоком и с наслаждением называл школы и эпохи, к которым они принадлежали, и рассказывал интересные истории об их творцах.

— Боюсь, я не уверен, что вам дано оценить драгоценнейшие мои сокровища, — сказал он, указывая на свитки, украшавшие его стены. — Это образчики несравненной каллиграфии Китая.

— Они вам нравятся больше картин? — спросил я.

— Несравнимо больше. Их красота более целомудренна. В них нет ни малейшей фальши. Но я могу понять, почему европейцу нелегко воспринимать столь строгое и столь тонкое искусство. Мне кажется, в китайских шедеврах вам более по вкусу гротесковость.

Он достал альбом, и я пролистал его. Чудесные вещи! С театральным инстинктом коллекционера самый дорогой ему альбом он приберег напоследок. В нем были серии птиц и цветов, нарисованных эскизно, тремя-четырьмя штрихами, но с такой выразительностью, с таким чувством природы и с такой улыбчатой нежностью, что дух захватывало. Веточки цветущей сливы, воплотившие в своей изящной свежести всю магию весны, пичужки, чьи нахохленные перышки хранили биение и трепет жизни. Это была работа великого художника.

— Сотворят ли американские студенты хоть когда-нибудь нечто сравнимое? — спросил он с грустной улыбкой.

Однако самое упоительное для меня заключалось в том, что я каждую минуту помнил, что он — отпетый негодяй. Продажный, бездарный, бессовестный, он ничему не позволял встать у себя на пути. Он был великим мастером шантажа и умел выжимать последнее. Он нажил огромное богатство самыми гнусными способами. Он был бесчестным, жестоким, мстительным и алчным. И бесспорно, вложил свою лепту в доведение Китая до состояния, которое столь искренне оплакивал. Но когда он держал в руке миниатюрную вазу цвета ляпис-лазури, его пальцы словно обволакивали ее с чарующей нежностью, взгляд его печальных глаз ласкал ее, а губы были открыты почти влюбленно.

1. В стенах посольства

Доложили о швейцарском директоре Сино-Аргентинского банка. Он вошел с крупной красавицей супругой, которая демонстрировала свои пышные прелести так щедро, что становилось страшновато. Ходили слухи, что она была кокеткой, и английская девица в годах (розовато-оранжевый атлас и бусы), которая приехала рано, приветствовала ее ледяной узкогубой улыбкой. Гватемальский посланник и черногорский атташе вошли вместе. Атташе пребывал в чрезвычайном волнении: он не понял, что это официальный прием, он думал, что его пригласили на обед en petit comité¹, и он не надел ордена. И вот — посланник Гватемалы в блеске всех своих звезд! Что ему делать? Смятение чувств, вызванное угрозой дипломатического инцидента, несколько рассеялось с появлением двух китайских слуг в длинных одеяниях и плоских квадратных шапочках; они держали подносы с коктейлями и закусками. Затем вплыла русская княгиня. У нее были белоснежные волосы, а черное шелковое платье закрывало даже шею. Она походила на героиню Викторiena Сарду, которая пережила мелодраматичные страсти своей юности и теперь вяжет крючком. Она невыносимо скучала, если вы заговаривали с ней о Толстом или Чехове, но оживлялась, чуть только начинала говорить о Джеке Лондоне. Она задала вопрос английской девице, на который девица, хотя и в годах, ответить никак не могла.

— Почему вы, англичане, — спросила она, — пишете такие глупые книги о России?

Но тут вошел первый секретарь английского посольства, придав своему появлению весомость исторического события. Он был очень высок, лысоват, но элегантен и одет с безупречной корректностью; его взгляд недоуменно обратился на ослепительные звезды гватемальского посланника. Черногорский атташе, льстивший себя мыслью, что лучше него никто в дипломатическом корпусе не одевался, но не уверенный, что первый секретарь английского посольства разделяет его убеждение, порхнул к нему узнать его откровенное мнение о своей плоеной манишке. Англичанин вставил в глаз монокль в золотой оправе и несколько секунд рассматривал манишку с весьма серьезным видом, а затем сделал своему собеседнику сокрушающий комплимент.

¹ В дружеском кругу (*фр.*).

К этому времени собрались все гости, кроме супруги французского военного атташе. Говорили, что она всегда опаздывает.

— Elle est insupportable¹, — сказала красивая супруга швейцарского банкира.

Наконец, великолепно игнорируя то обстоятельство, что ее тут ждут уже полчаса, она вступила в комнату. Очень высокая на своих немыслимых каблуках, чрезвычайно худая, в платье, создававшем впечатление, что на ней вообще ничего нет. Волосы у нее были коротко подстриженные и золотые, и она была откровенно покрашена. Она выглядела Терпеливой Гризельдой в представлении постимпрессиониста. При каждом ее движении по воздуху разливались волны пряных ароматов. Она протянула гватемальскому посланнику для поцелуя унизанную кольцами исхудалую руку, двумя-тремя словами и улыбкой заставила жену банкира почувствовать себя провинциальной толстухой, чье время давно миновало; одарила рискованной шуткой английскую девицу, чье смущение, правда, смягчала мысль о том, что супруга французского военного атташе *très bien née*², и выпила один за другим три коктейля.

Подали обед. Разговор переходил с раскатистого звучного французского на неуверенный английский. Они говорили о посланнике, от которого только что пришло письмо из Бухареста — или Лимы. И о жене советника, которая находит жизнь в Христиании невыносимо скучной или в Вашингтоне — такой дорогой. В целом же для них не составляло большой разницы, в какой столице оказаться, поскольку существование они вели совершенно одинаковое и в Константинополе, и в Берне, и в Стокгольме, и в Пекине. Окопавшись за своими дипломатическими привилегиями, укрепляемые убеждением своей значимости, они обитали в мире, не звавшем Коперника, ибо для них солнце и звезды услужливо обращались вокруг нашей Земли, а они были ее центром. Никто не знал каким образом тут очутилась английская девица, и супруга швейцарского банкира в доверительной беседе говорила, что она, конечно же, немецкая шпионка. Зато она была непререкаемым авторитетом во всем, что касалось Китая. Она сообщала вам, что у китайцев такие безупречные манеры, и, право же, очень жаль, что вы не знали вдовствующей императрицы — она была такая душечка! Вы прекрасно понимали, что в Константинополе

¹ Она невыносима (*фр.*)

² Здесь, аристократического происхождения *фр*

она заверила бы вас, что турки — истинные джентльмены, а султанша Фатима — такая душечка и так изумительно говорит по-французски! Бездомная, она была дома везде, где имелось дипломатическое представительство ее страны.

Первый секретарь английского посольства находил общество довольно смешанным. Он говорил по-французски куда лучше всех когда-либо живших французов. Он был человеком со вкусом и обладал природным талантом всегда оказываться правым. Знаком он был только с людьми, достойными того, и читал только книги, достойные того; он восхищался только музыкой, достойной восхищения, и картины ему нравились, только достойные нравиться; одевался он у единственно возможного портного и рубашки покупал в единственно возможном магазине. Слушали вы его, все больше цепenea. И вскоре уже всем сердцем желали, чтобы он признался в слабости к чему-то хоть чуточку вульгарному, — вам стало бы легче, если бы с дерзкой пристрастностью он заявил, что «Пробуждение души» — произведение искусства, а «Четки» — шедевр. Но вкус у него безупречный. Он само совершенство, и начинаешь побаиваться, а не известно ли это и ему — в покое его лицо становится таким, словно он влачит невыносимое бремя. Тут вы узнавали, что он пишет *vers libre*¹, и вздыхали свободнее.

2. В открытом порту

Обед воскрешал роскошь, уже давно исчезнувшую из банкетных залов Англии. Стол красного дерева стонал под тяжестью серебра. В центре белоснежной дамасской скатерти лежала салфетка желтого шелка, какие вы волей-неволей покупали на благотворительных базарах чинных дней вашей юности, а на ней высилось массивное украшение литого серебра. Высокие хризантемы в высоких серебряных вазах заслоняли сидящих напротив вас, а высокие серебряные подсвечники попарно поднимали гордые головы по всей длине стола. К каждому блюду подавалось соответствующее вино: херес к супу, легкое белое к рыбе; и было два главных кушанья, белое и коричневое — без них заботливые хозяйки дома девяностых годов не мыслили званого обеда.

Беседа, пожалуй, была не столь разнообразной, так как хозяева и гости виделись друг с другом почти ежедневно на протяжении нестерпимо долгой череды лет, и все судорож-

Свободный стих (*фр.*)

но хватались за любую тему для того лишь, чтобы она тут же иссякла и сменилась тяжелым молчанием. Они говорили о скачках, о гольфе, об охоте на птиц. Заговорить о чем-либо абстрактном было бы дурным тоном, политика же их захохотать не достигала. Китай им всем смертельно надоел, и говорить о нем они не хотели, да и знали ровно столько, сколько им требовалось для ведения своих дел, а на того, кто учил китайский язык, смотрели с подозрением. Зачем ему это, если он не миссионер и не секретарь по китайским делам в посольстве? За двадцать пять долларов в месяц можно нанять переводчика, а всем известно, что те, кого Китай интересуется сам по себе, мало-помалу свихиваются. Все они тут были людьми влиятельными. Первый номер «Джардайна» с супругой, и управляющий Гонконго-Шанхайского банка с супругой, и глава АПК с супругой, и глава БАТ с супругой, и глава Б. и С. с супругой. Вечерние костюмы они носили с какой-то неловкостью, словно надевали их из чувства долга перед родиной, а не потому, что так им было удобнее. Они пришли на этот обед потому, что им нечем было занять вечер, но, едва настанет минута, когда приличия позволят откланяться, они тут же уйдут со вздохом облегчения. Все они надоели друг другу до смерти.

VII. АЛТАРЬ НЕБЕСАМ

Он воздвигнут под открытым небом — три круглые террасы из белого мрамора, поставленные друг на друга, куда поднимаются по четырем мраморным лестницам, смотрящим на восток, запад, юг и север. Он символизирует небесную сферу и четыре стороны света. Его окружает большой парк, а парк окружает высокая стена. И сюда год из года в ночь перед зимним солнцестоянием являлся Сын Неба, чтобы торжественно поклониться своему родоначальнику. В сопровождении князей, знатнейших вельмож и стражи император, очищенный постом, подходил к алтарю. А там его ждали князь, и министры, и мандарины, и те, кто танцует священные танцы. В скудном свете огромных факелов церемониальные одежды поражали темным великолепием. И перед табличкой с начертанными на ней словами: «Императорские Небеса — Верховный Император», — он возлагал курения и шелк, мясной бульон и рисовую водку. Он преклонял колени и девять раз бил лбом по мраморной плите.

И здесь, на том самом месте, где склонял колени вице-правитель Небес и Земли, Уиллард В. Антермейер четко

и размашисто написал свою фамилию, а также штат и город, откуда приехал: Гастингс, Небраска. Вот так он попытался присоединить свою преходящую личность к воспоминаниям о величии, смутные слухи о котором, вероятно, достигли и его. Он решил, что теперь люди запомнят его именно таким, когда его не станет. Пошленьким способом он замахнулся на бессмертие. Но тщетны надежды людские. Ибо не успел он небрежной походкой спуститься по лестнице, как китайский служитель, который стоял у парапета, лениво глядя в синее небо, подошел, метко плюнул на место, где расписался Уиллард В. Антермейер, и подошвой растер плевков по фамилии. Через десять секунд не осталось никаких воспоминаний о том, что здесь побывал Уиллард В. Антермейер.

VIII. СЛУЖИТЕЛИ БОЖЬИ

Они сидели бок о бок, два миссионера, и разговаривали о пустяках, как разговаривают люди, когда хотят быть вежливыми, но между ними нет ничего общего; и они удивились бы, если бы им сказали, что одно чудесное общее между ними есть — подлинная добродетельность, ибо у обоих было и еще одно общее — смирение, хотя, пожалуй, у англичанина оно было сознательным, а потому и более заметным, и менее естественным, чем у француза. В остальном же контраст между ними доходил до смешного. Французу было без малого восемьдесят, но годы не сгорбили его высокую фигуру, а крупные кости свидетельствовали, что в молодости он отличался незаурядной силой. Но теперь ее след остался только в его глазах, таких больших, что не заметить их особого выражения было невозможно, и пылающих огнем. Это определение часто прилагается к глазам, но, по-моему, только у него мне довелось увидеть такое полное соответствие слов и реальности. В них действительно горело пламя, и они, казалось, излучали свет. В них была необузданность, плохо сочетающаяся со святостью. Это были глаза библейского пророка. Нос у него был крупный и воинственный, подбородок крепкий и квадратный. Пренебрежения он к себе не вызывал никогда, но в расцвете сил, несомненно, внушал трепет. Быть может, пламя в его глазах говорило о давних битвах, бушевавших в глубинах его сердца. В них кричала его душа, побежденная, кровоточащая и все же торжествовавшая победу, и он радовался этой незаживающей ране, своей добровольной жертве Богу Всемогущему. Его старые кости мерзли, и он, точно солдат

в плащ, кутался в меха, а на голове у него была шапка из китайского соболя. Он был великолепен. В Китае он прожил полвека и трижды бежал из своей миссии, спасая жизнь, когда на нее нападали китайцы.

— Надеюсь, больше они не нападут,— сказал он, улыбаясь.— Я ведь стал слишком стар для столь внезапных перемещений.— Он пожал плечами.— *Je serai martyr*¹.

Он раскурил большую черную сигару и начал ею попы- хивать с явным удовольствием.

Его собеседник был много моложе — лет пятидесяти, не больше, и в Китае пробыл не дольше двадцати лет. Он был членом миссии англиканской церкви и носил серый твидовый костюм с галстуком в горошек. Он старался как можно меньше походить на священника. Хотя он был несколько выше среднего роста, но настолько толст, что выглядел приземистым. У него было круглое добродушное лицо с румяными щеками и седыми усами, подстриженными «под зубную щетку». Он сильно облысел, но с простительным и трогательным тщеславием отрастил оставшиеся волосы с одной стороны так, чтобы их можно было зачесывать поперек плечи, внушая иллюзию — во всяком случае ему, — что его шевелюра не так уж и поредела. Он был общителен, и когда друзья его поддразнивали или он поддразнивал их, то от души разражался громовым, искренним и добрым хохотом. Юмор его был юмором школьника, и легко было вообразить, как сотрясалась бы вся его дородная фигура, поскользшись кто-нибудь на апельсиновой корке. Но смех тут же оборвался бы и он покраснел бы, вдруг сообразив, что поскользнувшийся мог сильно ушибиться, и он уже был сама доброта и сочувствие. Невозможно было провести в его обществе десять минут и не убедиться в редкой мягкости его сердца. Вы чувствовали, что нет такого одолжения, которое он с радостью не оказал бы, и если на первых порах его благодушие, возможно, мешало вам обратиться к нему за духовной поддержкой, то во всех житейских делах вы могли твердо рассчитывать на его внимание, сочувствие и здравый смысл. Он принадлежал к людям, чей кошелек всегда открыт для неимущих и чье время всегда к услугам тех, кто может в нем нуждаться. И пожалуй, было бы несправедливо утверждать, будто в области духа его помощь оказалась бы неэффективной. Хотя он не мог, как старик француз, говорить с вами от имени Церкви, никогда не допускавшей сомнений, или с пламенной убедительностью аскета, он

¹ Стану мучеником (*фр.*).

разделил бы ваше горе с искренней симпатией, утешил бы вас своей нерешительной мягкостью — не столько служитель Бога, сколько такой же, как вы, робкий и неуверенный в себе человек, ищущий поделиться с вами надеждой и утешением, укрепляющими его собственную душу, — так что и в нем вы могли обрести опору, пусть иную, но по-своему ничуть не хуже.

История его была несколько необычной. Начал он жизнь военным и любил поговорить о прежних днях, когда скакал за лисицей и танцевал без отдыха весь лондонский сезон. Болезненное раскаяние в былых грехах его не мучило.

— В молодости я был лихой танцор, — говорил он, — но нынче куда уж бы мне со всеми этими новомодными танцами.

Эта жизнь была прекрасна, пока продолжалась, но, хотя он о ней нисколько не сожалел, он ничуть себя за нее не осуждал. Глас ему был, когда он находился в Индии. Он точно не мог объяснить, как и почему это произошло, — просто вдруг возникло чувство, что с этих пор он должен посвятить себя обращению язычников в веру Христову. Побороть это чувство он не сумел, оно не давало ему ни минуты покоя. Теперь он был счастлив и получал радость от своего служения.

— Дело движется медленно, — говорил он, — но я замечаю обнадеживающие признаки, и я люблю китайцев. Свою жизнь здесь я не променяю ни на какую другую.

Миссионеры попрощались.

— Когда вы возвращаетесь домой? — спросил англичанин.

— Moi? ¹ Дня через два.

— Ну, так мы теперь не скоро увидимся. Я еду домой в марте.

Но один говорил про китайский городок с узкими улочками, где он прожил пятьдесят лет: покинув в молодости Францию, он покинул ее навсегда, а второй говорил об элизаветинском господском доме в Чeshire с его подстриженными газонами и старыми дубами, в котором его предки обитали триста лет.

IX. ГОСТИНИЦА

Кажется, темнота спустилась рано — вот уже час перед вашим креслом-носилками идет кули с фонарем. Фонарь отбрасывает бледный круг света, и на мгновение вы

¹ Я? (фр.)

различаете неясное, как образ красоты, вдруг смутно возникающий из потока будней, то бамбуковую рощу, то мерцание воды рисового поля, то сгусток мрака — многостольную смоковницу. Порой навстречу проскальзывает припоздавший крестьянин с двумя тяжелыми корзинами на коромысле. Носильщики теперь идут медленнее, но за долгий день они не утратили бодрости и все еще весело болтают, смеются, а один вдруг затягивает протяжную песню и тут же ее обрывает. Но насыпная дорога становится заметно выше, фонарь внезапно освещает беленую стену — вы добрались до первых лачужек, которые тянутся вдоль дороги до городской стены, и через две-три минуты впереди возникают крутые ступеньки. Носильщики берут их с разбега. Вы минуете городские ворота. Узкие улочки запружены множеством прохожих, и лавки еще торгуют. Носильщики раздражаются хриплыми криками. Толпа расступается, и вы оказываетесь внутри двойной изгороди из прижатых друг к другу странных людей. Их лица непроницаемы, темные глаза полны таинственности. Носильщики, чьим дневным трудам близится конец, шагают широко и упруго. Внезапно они останавливаются, сворачивают вправо во двор: вы добрались до гостиницы. Кресло опущено на землю.

Гостиница — она состоит из длинного частично крытого двора, в который с обеих сторон открываются двери, — освещена тремя-четырьмя керосиновыми фонарями. Они тускло озаряют то, что возле них, но от этого окружающий мрак становится еще более густым. Передняя часть двора заставлена столиками, за ними теснятся люди, которые едят рис или пьют чай. Некоторые играют в неизвестные вам игры. У огромной печи, где в большом котле постоянно греется вода и варится рис в гигантской кастрюле, стоят слуги. Они проворно раздают внушительные миски с рисом и наполняют заварочные чайники, которые им непрерывно подносят. В стороне парочка голых кули, крепких, плотно сложенных и ловких, обливаются горячей водой. Вы проходите в конец двора, где, обращенная к входу, но укрытая от бесцеремонных глаз ширмой, расположена лучшая комната для постояльцев.

Это обширное помещение без окон, с земляным полом и высокое, поскольку потолком служит опирающаяся на стены крыша. Стены выбелены, но все бревна видны четко, и вам вспоминаются жилища сассекских фермеров. Мебель включает квадратный стол, пару деревянных кресел с прямой спинкой и три-четыре деревянных помоста, накрытые

циновками,— на наименее грязном из них вы вскоре расстелите свою постель. Плавающий в чашке с жиром фитилек питает крохотное пламя. Вам приносят ваш фонарь, и остается ждать, когда вам приготовят обед. Носильщики, освободившиеся от своей ноши, совсем развеселились. Они моют ноги, надевают чистые сандалии и закуривают длинные трубки.

Как драгоценна в такие минуты редкостная толщина вашей книги (вы путешествуете налегке и ограничили себя всего тремя) и с какой ревнивой бережливостью вы прочитываете каждое слово каждой страницы, чтобы елико возможно оттянуть грозный миг, когда вы достигнете конца! В эти минуты вы до глубины души благодарны творцам толстых томов, и, перелистывая страницы, прикидывая, насколько вам удастся их растянуть, вы жалеете, что книга не в полтора раза толще. Сейчас вас не манит прозрачная ясность стиля. Запутанная многоступенчатая фраза, которую требуется перечесть раза два, чтобы добраться до смысла, особенно приятна, а изобилие метафор, дающее богатую пищу фантазии, неисчислимые цитаты и намеки, дарящие радость узнавания, тут кажутся свойствами, которым нет цены. Если же вдобавок идеи раскрыты тщательно, но без излишней глубины (вы ведь были в дороге с рассвета и миль двадцать из сорока, а то и больше прошли пешком), эта книга именно то, что вам сейчас требуется.

Но внезапно шум в гостинице десятикратно усиливается, и, выглянув, вы видите, что прибыли еще путешественники — компания китайцев в креслах-носилках. Они занимают комнаты слева и справа от вашей, и до глубокой ночи сквозь тонкие стены до вас доносятся их голоса. Ваше тело блаженствует в постели, извлекая чувственное удовольствие из собственного утомления, а ваш взгляд отдыхает, лениво прослеживая замысловатый переплет окна над дверью. Бумага, которой оно затянато, кое-где разорвана, и в прорехи проникает свет фонаря во дворе. На светлом фоне сложные переплетения решетки выглядят совсем черными. Наконец наступает тишина, только ваш сосед надрывно кашляет. Это характерные повторяющиеся приступы чахоточного кашля — слушая их всю ночь, вы думаете, что бедняге, наверное, уже недолго осталось. И наслаждаетесь собственным крепким здоровьем и силой. Тут громко кричит петух — словно над самым вашим ухом, а где-то неподалеку трубач извлекает из своей трубы долгий меланхоличный вопль. Гостиница начинает просыпаться, зажигаются огни, и кули готовят свои ноши для наступающего дня.

Это как бы комнатуха в углу корабельной лавки, под самым потолком, куда поднимаются по лестнице, крутой, как корабельный трап. От лавки ее отделяет фанерная перегородка высотой около четырех футов, так что, сидя на деревянной скамье у стола, видишь внутренность лавки и все товары там — бухты канатов, клеенчатые плащи, тяжелые морские сапоги, фонари, окорока, консервы, всевозможные спиртные напитки, сувениры в подарок жене и детям, одежду и уж не знаю что. Во всяком случае, все, что может потребоваться иностранному судну в восточном порту. Наблюдаешь за продавцами-китайцами и покупателями — вид и у тех и у других таинственный, словно они заключают какие-то темные сделки. Видишь, кто входит в лавку, а поскольку это всегда добрый знакомый, приглашаешь его присоединиться к тебе в Славном Уголке. За широким входом видишь накаляемые солнцем плиты мостовой и трусящих мимо кули, горбящихся под тяжестью груза. Часов около трех-четырёх начинает собираться обычное общество: два-три лоцмана, капитан Томпсон и капитан Браун, старики, которые тридцать лет бороздили китайские моря, а теперь обрели теплые местечки на берегу, шкипер бродячего судна шанхайской приписки и тайпаны¹ двух-трех чайных фирм. Бой молча ждет распоряжений, приносит рюмки со спиртным и стаканчик с костями. Разговор вначале течет вяло. На днях затонуло судно, шедшее в Фучжоу, а Маклин, ну, этот механик Ань Чана, недавно сорвал хороший куш на каучуке, а супруга консула возвращается из Европы на «Эмпресс»; но к тому времени, когда стаканчик с костями обошел стол вкруговую и проигравший поставил подпись на чеке, рюмки пусты, и стаканчик с костями начинает второй круг. Бой приносит полные рюмки, языки этих медлительных упрямых мужчин чуть-чуть развязываются, и они начинают вспоминать прошлое. Один из лоцманов обосновался в этом порту без малого пятьдесят лет назад. Вот были дни!

— Видели бы вы Славный Уголок тогда! — говорит он с улыбкой.

Это были дни чайных клиперов, когда в порту, ожидая груза, стояло тридцать или даже сорок судов. Тогда все купались в деньгах, а Славный Уголок был средоточием жизни порта. Когда вам требовалось срочно кого-нибудь

¹ Китайское название главы торговой фирмы.

ытывать, вы шли в Славный Уголок, и если не заставляли его гам, так он появлялся через несколько минут. Здесь торговые агенты договаривались со шкиперами, а у доктора не было особых часов приема: в полдень он направлялся в Славный Уголок и, если кому-то немоглось, осматривал и лечил его прямо тут. Это были дни, когда люди умели пить. Приходили чуть ли не в полдень и пили до вечера. Бой приносил им перекусить, если им хотелось есть, и они пили всю ночь. В Славном Уголке приобретались и терялись целые состояния, потому что тогда они были настоящими игроками, и человек ставил на карту всю прибыль от плаванья. Добрые были дни! Но теперь торговля замерла, чайные клиперы уже не выстраиваются в гавани, порт умер, а молокососы из АПК или от Джардайна воротят носы от Славного Уголка. И пока старик лоцман говорил, в убогую комнатку с ветхим столом словно на мгновение возвращались эти закаленные, бесшабашные, азартные шкиперы, принадлежащие времени, которое кончилось навсегда

XI. СТРАХ

Путешествуя, я остановился у него на ночь. Миссия стояла на пологом холме у самых ворот многолюдного города. Первое, что мне бросилось в глаза, был его особый вкус. Как правило, дом миссионера обставлен с просто вызывающей пошлостью. Гостиная с ее нежилой атмосферой оклеена пестрыми обоями, а стены увешаны текстами из Святого Писания и гравюрами сентиментальных картин — «Пробуждение души» и «Доктор» Люка Филда. А еще, если миссионер живет в стране уже долго, то и поздравительные свитки на плотной красной бумаге. Брюссельский ковер на полу, качалка, если хозяин американец, и жесткие кресла по сторонам камина, если он англичанин. Диван, поставленный так, что на него нельзя сесть, хотя, судя по его зловещему виду, желающие все равно вряд ли нашлись бы. На окнах кружевные занавески. Кое-где столики, а на них фотографии и безделушки из современного фарфора. У столовой вид несколько более жилой, но почти вся она занята огромным столом, и, садясь к нему, вы оказываетесь почти в камине. Однако в кабинете мистера Уингрува от пола до потолка громоздились книги, рабочий стол был завален бумагами, занавески были из плотной зеленой материи, а над камином висело тибетское знамя. На каминной доске стояли в ряд тибетские Будды.

— Не знаю почему, но возникает такое чувство, будто дышишь воздухом старинного университетского колледжа,— сказал я.

— Вы думаете? Одно время я преподавал в Ориэле,— ответил он.

На вид ему было под пятьдесят — высокий, упитанный, хотя не толстый, волосы с проседью коротко подстрижены, лицо красноватое. Казалось, перед вами добродушный человек, любитель от души посмеяться, приятный собеседник и добрый малый. Но вас смущали его глаза, неулыбчивые, почти угрюмые — для их выражения я нахожу только одно слово: затравленные. Я решил, что попал к нему в неудачный момент, когда его мысли были заняты каким-то неприятным делом, но почему-то мне казалось, что выражение это не преходящее, а постоянное, и я не мог этого понять. У него был тот тревожный вид, который сопутствует некоторым сердечным заболеваниям. Он поговорил о том о сем, а потом сказал:

— Я слышу, вернулась моя жена. Не пройти ли нам в гостиную?

Он проводил меня туда и представил миниатюрной худенькой женщине в очках с золотой оправой. Держалась она довольно неловко. Сразу бросалось в глаза, что происходит она из другого сословия, чем ее муж. По большей части миссионеры среди множества своих добродетелей не числят те, которые мы за неимением лучшего слова объединяем в понятие воспитанность. Пусть они святые, но джентльменов среди них мало. А тут я вдруг обнаружил, что мистер Уингров — джентльмен, и все потому, что его жена не была леди. Говорила она с вульгарными интонациями. Такой обстановки, как в их гостиной, ни в одном миссионерском доме мне видеть еще не доводилось. На полу лежал китайский ковер. На желтых стенах висели китайские картины, причем старинные. Две-три черепицы эпохи Минской династии обеспечивали цветовой эффект. Посередине стоял резной стол черного дерева, а на нем — статуэтка из белого фарфора. Я произнес какую-то банальную фразу.

— Сама-то я эту китайщину не люблю,— энергично сказала хозяйка дома,— но мистер Уингров настаивает. Будь моя воля, я бы все тут повыбрасывала.

Я засмеялся — но не потому что мне стало смешно — и вдруг перехватил в глазах мистера Уингрува выражение ледяной ненависти. Я удивился. Но оно тут же исчезло.

— Если они вам не нравятся, моя дорогая, то мы обойдемся без них,— сказал он мягко.— Их можно вынести в кладовую.

— Да пусть их, если вам они по вкусу.

Мы заговорили о моем путешествии, и я между прочим спросил мистера Уингрува, давно ли он был в Англии.

— Семнадцать лет назад,— ответил он.

Я удивился.

— Но мне казалось, каждые семь лет вы получаете годовой отпуск?

— Да, но я не поехал.

— Мистер Уингров думает, что взять и уехать на год значит повредить тутошней работе,— объяснила его жена.— Ну а я, куда же я без него поеду?

Я не понимал, каким образом он оказался в Китае. Конкретные подробности того, как человека вдруг призывает глас Божий, меня живо интересуют, и не так уж редко находятся люди, охотно об этом рассказывающие, хотя выводы свои делаешь не столько из самих слов, сколько из подтекста. Однако я не предполагал, что мистера Уингрува можно прямо или обиняком толкнуть на столь личную исповедь. Он, очевидно, относился к своей деятельности очень серьезно.

— А другие иностранцы здесь есть?

— Нет.

— Так вам, наверное, очень одиноко,— сказал я.

— Мне, пожалуй, так больше по душе,— ответил он, глядя на одну из картин.— Это ведь могут быть только дельцы, а вы знаете,— он улыбнулся,— они не слишком жалуют миссионеров. И они не настолько интеллектуальны, чтобы считать отсутствие их общества большой потерей.

— И конечно, нам вовсе не так уж одиноко,— сказала миссис Уингров.— У нас есть двое евангелистов. И еще две барышни, которые учат детей. Ну и сами дети.

Подали чай, и мы беседовали о том о сем. Впечатление было такое, что мистеру Уингрову было трудно говорить. Я все больше ощущал в нем подавленную тревогу. Манеры у него были приятные, и он, бесспорно, старался держаться любезно, но за всем этим пряталось усилие. Я перевел разговор на Оксфорд, упомянул моих друзей там, с которыми он мог быть знаком, однако поддержки у него не встретил.

— Я уехал так давно,— сказал он.— И ни с кем не поддерживал переписки. Подобная миссия требует многих забот и поглощает человека целиком.

Я решил, что он преувеличивает, а потому заметил:

— Ну, судя по количеству книг в вашем кабинете, какое-то время для чтения у вас все-таки остается.

— Я читаю очень редко,— ответил он отрывисто, не совсем своим голосом, как я уже понял.

Я недоумевал. В нем было что-то странное. В конце концов, как, вероятно, и следовало ожидать, он заговорил о Китае. Миссис Уингров держалась о китайцах такого же мнения, какое мне высказывали уже столько миссионеров: они все лгуны, ненадежны, жестоки и нечистоплотны, однако на Востоке брезжит слабый свет. Хотя усилия миссионеров пока еще сколько-нибудь заметных плодов не приносят, будущее сулит надежду. Они больше не верят в своих прежних богов, и власть ученого сословия разрушена. Это была позиция недоверия и неприязни, подкрашенная оптимизмом. Но мистер Уингров смягчил инвективы жены. Он подробно остановился на добром характере китайцев, на их почитании родителей и любви к своим детям.

— Мистер Уингров слова дурного о китайцах слышать не желает,— сказала его жена.— Он их просто обожает

— Я считаю, что они обладают многими благородными качествами,— ответил он.— Нельзя пройти по их кишачим людьми улицам и не убедиться в этом.

— Видно, мистер Уингров запашков не замечает!— Его жена засмеялась.

Тут в дверь постучали, и вошла молодая женщина. На ней была длинная юбка, а ноги ее никогда не бинтовались — то есть она была христианкой с рождения. Выглядела она одновременно и заискивающей и угрюмой. Она что-то сказала миссис Уингров. А я случайно взглянул на мистера Уингрова. При виде ее по его лицу скользнуло выражение глубочайшей физической брезгливости, оно сморщилось, словно от тошнотворного запаха. Но выражение это тут же исчезло, и его губы сложились в приветливую улыбку. Но усилие оказалось слишком уж большим, и получилась болезненная гримаса. Я смотрел на него с изумлением. Миссис Уингров, извинившись, встала и вышла из комнаты.

— Это одна из наших учительниц,— произнес мистер Уингров тем же нарочитым голосом, на который я уже обратил внимание.— Ей нет цены. Я всецело на нее полагаюсь. У нее прекрасный характер.

И тут, сам не знаю почему, я отгадал правду: я увидел в его душе отвращение ко всему, что его воля требовала любить. Я испытал то жгучее волнение, какое, наверно, охватывало первопроходца, когда после трудного и опасного пути он оказывался в краях, сулящих много нового и неизведанного. Эти измученные глаза сами себя объясняли, и нарочитость голоса, и взвешенная сдержанность, с которой он хвалил, и выражение затравленности в глазах. Вопреки всему, что я от него слышал, он ненавидел китай-

цев ненавистью, перед которой неприязнь его жены была пустяком. Когда он проходил среди кишящих толп, для него это было смертной мукой, жизнь миссионера была ему омерзительна, его душа походила на стертые до крови плечи кули, на которые давит коромысло. Он отказывался от отпуска, потому что у него не хватало сил вновь увидеть то, что было ему так дорого; он не читал книг, потому что они напоминали ему о жизни, которую он любил так страстно; возможно, он и женился на этой вульгарной женщине, чтобы еще решительней порвать все связи с миром, по которому томился всеми фибрами. Он обрекал свою истерзанную душу на мученичество со страстным отчаянием.

Я попытался представить себе, как он услышал глас. Мне кажется, много лет он был безоблачно счастлив в Оксфорде, где жизнь отвечала его вкусу: любимая работа, приятное общество, книги, каникулярные поездки во Францию и Италию. Он был довольным человеком и желал только прожить таким образом до конца своих дней. Не знаю, какое смутное чувство мало-помалу овладевало им, внушая, что его жизнь слишком приятна, слишком полна лени. Думаю, он всегда был религиозен, и, быть может, внушенное ему в детстве, а затем забытое представление о ревнивом Боге, которому ненавистно, что его создания могут быть счастливы на земле, где-то в глубине язвило ему сердце. Думаю, он начал считать свою жизнь грешной, потому что был ею безоговорочно доволен. Его охватила тягостная тревога. Что бы ни твердил ему рассудок, его нервы трепетали от ужаса перед вечной погибелью. Не знаю, что именно внушило ему мысль о Китае, но, вероятно, сначала он ее отбросил со жгучим отвращением; или, быть может, именно сила его отвращения породила эту мысль. Думаю, он говорил себе: не поеду! Но я думаю, он чувствовал, что вынужден будет поехать. Бог гнался за ним, и, где бы он ни прятался, Бог настигал его. Рассудок в нем сопротивлялся, но сердце поймало его в капкан. Он ничего не мог с собой поделать. И в конце концов сдался.

Я знал, что больше никогда его не увижу, и у меня не было времени на банальные разговоры в ожидании, что более близкое знакомство позволит мне коснуться чего-либо более личного. И я воспользовался тем, что мы были одни.

— Как по-вашему, — сказал я, — обречет ли Бог китайцев на вечную гибель, если они не обратятся в христианство?

Не сомневаюсь, что мой вопрос был груб и нетактичен, — старик в нем неодобрительно поджал губы. И все-таки он ответил.

— Евангельское учение вынуждает прийти к этому выводу. Ни единый из доводов против, измышленных людьми, не обладает силой простых слов Иисуса Христа.

XII. КАРТИНА

Не знаю, был ли он мандарином, державшим путь в столицу провинции, или студентом, направлявшимся к тому или иному источнику учености, как не знаю причины, почему он задержался в самой скверной из всех скверных гостиниц Китая. Быть может, кто-то из его носильщиков спрятался, чтобы выкурить трубочку опиума (опиум в тех местах дешев, а с носильщиками всегда хлопот не оберешься), и его не удалось найти. Или его вынудил задержаться хлынувший ливень.

Потолок в комнате был такой низкий, что ничего не стоило дотянуться до него рукой. Глинобитные стены покрывала грязная побелка, во многих местах облупившаяся, и повсюду на деревянных настилах лежала солома — постель для кули, обычных здешних постояльцев. Только солнце помогало как-то сносить эту печальную убогость. Сквозь частый переплет окна оно бросало сноп золотых лучей и покрывало утрамбованный ногами земляной пол чудесным прихотливым узором.

И здесь, чтобы скоротать невольный досуг, он достал свою каменную плитку, капнул воды, потер это место палочкой туши, взял тонкую кисточку, которой рисовал красивые китайские иероглифы (несомненно, он гордился своей изысканной каллиграфией, и друзья, которым он посылал свиток с собственноручно им написанной максимой божественного Конфуция, жемчужиной краткости, бывали очень рады такому подарку), и твердой рукой нарисовал на стене цветущую ветку сливы и сидящую на ней птичку. Нарисованы они были скупыми штрихами, но восхитительно. Не знаю, какая милость судьбы водила рукой художника, но птичка трепетала жизнью, а цветки сливы, казалось, покачивались на своих стебельках. Благоуханный воздух весны веял с наброска в эту грязную каморку, и на краткое мгновение вы соприкасались с Вечностью.

XIII. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЕЕ БРИТАНСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА

Это был человек среднего роста с ежиком темно-каштановых волос, щеточкой усов и очками, сквозь которые его голубые глаза смотрели на вас воинственно, несколько ис-

каженные толстыми стеклами. В его внешности была вызывающая бойкость воробышка, и, когда он приглашал вас сесть, а сам копался в ворохе бумаг на столе, словно вы оторвали его от срочного и важного дела, у вас возникало ощущение, что он только ждет случая поставить вас на место. Официальность он довел до совершенства. Вы были широкой публикой, досадной, но неизбежной помехой, и оправдать свое существование могли, только незамедлительно и без возражений делая то, что вам говорят. Но даже у официальных лиц есть свои слабости, и почему-то ему никак не удавалось разрешить вопрос, не поведав вам о своих обидах. Оказывается, люди, и особенно миссионеры, считают его высокомерным и самовластным. Он заверял вас, что во многих отношениях признает миссионеров весьма полезными, хотя, безусловно, в большинстве они невежественны и упрямы до безрассудства, и ему не нравится позиция, которую они занимают; в здешних краях почти все миссионеры — канадцы, а ему лично канадцы не нравятся; но утверждать, будто он держится высокомерно (он поправил пенсне на переносице), — возмутительная неправда. Наоборот, он доставляет себе лишние хлопоты, помогая им, но, вполне естественно, поступает при этом, как считает нужным он, а не они. Сдерживать улыбку, слушая его, было нелегко, потому что каждое сказанное им слово свидетельствовало, как невыносим он с теми, кому выпало несчастье так или иначе от него зависеть. Его манеры нельзя назвать иначе, чем прискорбными. Способность выводить людей из себя он развил до необычайной степени. Короче говоря, это был самодовольный, раздражительный, чванный и нудный человек.

В дни революции, когда в городе то и дело вспыхивали перестрелки между соперничающими сторонами, ему как-то понадобилось побывать у южного генерала по официальному делу, связанному с обеспечением безопасности гражданам его страны, и на обратном пути во дворе резиденции он увидел троих заключенных, которых вели на казнь. Он остановил офицера, которому предстояло командовать расстрелом, и, узнав, что должно произойти, заявил яростный протест. Это же военнопленные, и убивать их — неслыханное варварство. Офицер — очень грубо, по словам консула, — ответил, что обязан выполнить приказ. Консул вспыл. Он не собирался допустить, чтобы проклятый китайский офицеришка так с ним разговаривал. Завязалась словесная перепалка. Генерал, которому доложили о случившемся, приказал пригласить консула к себе, но консул наотрез отказался двинуться с места, пока пленные — трое

жалких позеленевших от страха кули — не будут переданы под его охрану. Офицер сделал ему знак отойти и командовал взводу: «Целься!» Тогда консул — я мысленно увидел, как он поправляет пенсне, а его волосы яростно дыбятся, — тогда консул встал между взятыми на прицел винтовками и тремя бедняками и велел солдатам стрелять, будь они прокляты. Возникло замешательство. Мятежникам явно не хотелось пристрелить британского консула. Вероятно, они наспех посоветовались. Трое пленных были ему переданы, и низенький человечек вернулся в консульство, торжествуя победу.

— Черт побери, сэр! — сказал он свирепо. — Я уже думал, что у проклятых идиотов хватит наглости выстрелить в меня!

Странные они люди, британцы. Будь их манеры так же хороши, как велико их мужество, они бы заслуживали мнения, которого придерживаются о себе.

XIV ОПИУМНЫЙ ПРИТОН

Как эффектно выглядит все это на сцене! Тускло освещенная комната, грязная, с низким потолком. В углу перед жутким идиолом таинственно мерцает светильник, и по театральному залу разливается экзотический аромат жертвенных курений. Взад и вперед прохаживается китаец с косой, надменный и сардонический, а на жалких тюфяках лежат одурманенные жертвы наркотика. То один, то другой начинает неистово бредить. Следует очень драматичный эпизод: бедняга, которому нечем заплатить за удовлетворение мучительной тяги, с мольбами и проклятиями выпрашивает у злодея, хозяина притона, одну-единственную трубочку, чтобы утишить свои страдания. Читал я и в романах описания, от которых кровь стыла в жилах. И когда вкрадчивый евразий взялся проводить меня в опиумный притон, винтовая лестница, по которой мы поднимались, несколько подготовила меня к захватывающе жуткому зрелищу, которое мне предстояло вот-вот увидеть. Меня ввели в довольно чистое помещение, ярко освещенное и разделенное на кабинки. Деревянные настилы в них, застеленные чистыми циновками, служили удобным ложем. В одной почтенный старец с седой головой и удивительно красивыми руками безмятежно читал газету, а его длинная трубка лежала рядом. В другой расположились два кули, с одной трубкой на двоих, — они по очереди приготавливали ее и выкуривали. Они были молоды, крепки на вид и дружески мне улыбнулись. А один

пригласил меня сделать затяжку-другую. В третьей кабинке четверо мужчин, присев на корточки, наклонялись над шахматной доской; дальше мужчина тетешкал младенца (загадочный обитатель Востока питает неумемную любовь к детям), а мать младенца — как я решил, жена хозяина, — милостивая пухленькая женщина, глядела на него, улыбаясь во весь рот. Это было приятное место, удобное, подомашнему уютное. Оно чем-то напомнило мне тихие берлинские пивнушки, куда усталый рабочий может пойти вечером и мирно скоротать часок-другой. Выдумки куда более странны, чем действительность.

XV ПОСЛЕДНИЙ ШАНС

С первого взгляда было гнетуще ясно: в Китай она приехала выйти замуж, и трагичность заключалась в том, что в свободном порту не нашлось бы ни одного холостяка, который этого не понимал бы. Она была крупной, с нескладной фигурой, крупные ступни и кисти, крупный нос да, собственно, все в ней было крупным. Но ее голубые глаза были прекрасны. Пожалуй, она слишком уж это сознавала. Она была блондинка, и ей было тридцать лет. Днем, в практичных туфлях, короткой юбке и шляпе с широкими опущенными полями, она выглядела приемлемо. Но вечером, когда, в шелковом платье, голубом, чтобы оттенять цвет ее глаз, шитом неведомо какой пригородной портнихой по выкройке из иллюстрированного журнала, она старалась быть очаровательной, вы испытывали тягостную неловкость за нее. Она хотела быть всем для всех неженатых мужчин. Она слушала с кокетливым интересом, как один обсуждал охоту на фазанов, и она слушала с беззаботной веселостью, как другой обсуждал фрахты. Она с девичьим восторгом хлопала в ладоши, когда они обсуждали скачки на следующей неделе. Она ужасно любила танцевать — с молодым американцем и вырвала у него обещание взять ее на бейсбольный матч; однако любила она не только танцевать (все-таки хорошенького понемножку), и в обществе пожилого, но одинокого тайпана известной фирмы она просто обожала гольф. Она жаждала научиться играть на бильярде у молодого человека, потерявшего на войне ногу, и с увлечением слушала управляющего банком, который объяснял ей свою точку зрения на серебряный стандарт. Китаем и китайцами она не интересовалась, поскольку в обществе, где она очутилась, на подобный интерес смотрели косо, но, будучи жен-

щиной, не могла не возмущаться тем, как китайцы обходятся с женщинами.

— Вы знаете, их выдают замуж, не спрашивая их согласия,— объясняла она.— Все устраивают свахи, и мужчина в первый раз видит свою жену только после свадьбы. Ни намека на романтичность. Ну а любовь...

У нее не хватало слов. Она была доброй и покладистой, и любой из этих мужчин, и молодых и старых, нашел бы в ней прекрасную жену. И она это знала.

XVI. МОНАХИНЯ

Белый прохладный монастырь укрывался в тени деревьев на вершине холма, и, ожидая у калитки, когда меня впустят, я смотрел вниз, на коричневатую-желтую реку, блестящую в солнечных лучах, на зубчатые горы за ней. Приняла меня мать настоятельница, женщина с ласковым, спокойным лицом и мягким голосом, интонации которого сказали мне, что приехала она сюда с юга Франции. Она показала мне вверенных ее попечению сироток, которые, застенчиво улыбаясь, плели кружева, чему их обучили монахини; и она показала мне больницу, где лежали солдаты, жертвы дизентерии, тифа и малярии. Они были неухожены и грязны. Мать настоятельница сказала, что ее родители были баски. Горы, на которые она смотрит из окна, напоминают ей Пиренеи. В Китае она прожила двадцать лет. Она сказала, как порой бывает тяжело вовсе не видеть моря. Здесь они живут на берегу великой реки, а до моря тысяча миль; и потому что я знал ее родной край, она заговорила со мной о прекрасных тамошних дорогах через горы — ах, в Китае ничего подобного нет! — и о виноградниках и милых деревушках, лепящихся в предгорьях над стремительными ручьями. Но китайцы — хорошие люди. У сироток очень ловкие пальцы, они очень прилежны. Китайцы охотно женятся на них, потому что в монастыре их обучили многим полезным вещам, и даже в замужестве они могут зарабатывать иголкой кое-какие деньги. И солдаты тоже — они вовсе не так плохи, как утверждают люди. В конце-то концов, — *les pauvres petits!*¹ — они же не хотели быть солдатами и предпочли бы жить дома и трудиться на полях. Те, кого сестры выходили, бывают даже благодарны: порой, когда они на носилках нагоняют монахинь, которые вдвоем ходи-

Бедняжки! (*фр.*)

ли в город за покупками и возвращаются с тяжелыми корзинами, они предлагают им поставить корзины на носилки. Au fond¹ они не так уж жестокосерды.

— Но сойти на землю и уступить место монахиням им в голову не приходит? — спросил я.

— Монахиня в их глазах всего лишь женщина! — Она снисходительно улыбнулась. — Не следует ждать от людей больше, чем они способны дать.

Как это верно и как трудно об этом помнить!

XVII. ХЕНДЕРСОН

Было очень трудно взглянуть на него и не засмеяться, потому что его внешность сразу все о нем рассказывала. Когда он в клубе читал «Лондон меркюри» или посиживал в баре над бокалом джина с настойкой из трав (коктейлей он не признавал), ваше внимание привлекало его пренебрежение к условностям, но вы немедленно узнавали, кто он, ибо в нем его класс нашел идеальное свое воплощение. Пренебрежение условностями у него было изысканнейшим их соблюдением. Все в нем соответствовало стандарту, от добротных тупоносых сапог до довольно длинных растрепанных волос. Он носил свободный отложной воротник, открывавший толстую шею, и свободные, довольно поношенные, но дивно скроенные костюмы. Он всегда курил короткую пенковую трубку. К сигаретам он относился весьма юмористически. Он был мужчиной атлетического сложения с красивыми глазами и приятным голосом. Говорил он очень округло. Часто употреблял непристойные выражения, но не потому, что у него был нечистый ум, а из-за демократического склада характера. Как вы догадывались по его виду, он пил пиво (не в реальности, но в духе своем) с мистером Честертоном и гулял по сассекским холмам с мистером Хилари Беллоком. Он играл в регби в Оксфорде, но вместе с мистером Уэлсом презирал этот старинный университет. Мистера Бернарда Шоу он считал несколько устаревшим, но все еще возлагал большие надежды на мистера Грэнвилла Баркера. Он много раз беседовал с мистером Сиднеем Уэббом и миссис Беатрисой Уэбб на серьезнейшие темы и был членом Фабианского общества. Единственной точкой соприкосновения с беззаботными прожигателями жизни было его одобрительное отношение к русскому балету. Он писал неприлизанные стихи

¹ В сущности (*фр.*).

о проститутках, собаках, фонарных столбах, колледже Магдалины, пивных и домиках сельских священников. Он презирал англичан, французов и американцев, но, с другой стороны мизантропом он не был), не желал слушать ничего дурного о тамилах, бенгальцах, кафрах, немцах или греках. В клубе он слыл чуть не нарушителем спокойствия. «Социалист, знаете ли» — говорили о нем.

Но он был младшим партнером в известной уважаемой фирме, а у Китая есть та особенность, что ваше социальное положение извиняет ваши пристрастия. Пусть всем известно, что вы бьете жену, но если вы — управляющий солидным банком, свет окружит вас любезностями и засыплет приглашениями на званые обеды. А потому, когда Хендерсон провозглашал свои социалистические убеждения, над ним только посмеивались. Приехав в Шанхай, он отказывался пользоваться услугами рикши: его достоинство оскорбляла мысль, что человек, ничем от него не отличающийся, будет, точно лошадь, возить его, куда потребуется. И поэтому ходил пешком. Он клялся, что это отличная разминка и помогает сохранить форму, а к тому же пробуждает в нем жажду, которую он за двадцать долларов не продал бы! И со смаком выпивал свое пиво. Но климат в Шанхае очень жаркий, а потому изредка он вынужден был пользоваться постыдным экипажем. Он испытывал душевную неловкость, но это, бесспорно, было немалым удобством. Вскоре он начал пользоваться им часто, но рикш в оглоблях всегда считал человеком и братом.

Когда я с ним познакомился, он жил в Шанхае четвертый год. Утро мы провели в китайских кварталах, посещая одну лавку за другой, и наши рикши обливались горячим потом. Каждую минуту они утирали лоб рваной тряпицей. Теперь мы направились в клуб и уже почти добрались туда, как Хендерсон вдруг вспомнил, что хотел купить новую книгу мистера Бертрана Рассела, которая только-только достигла Шанхая. Он остановил рикш и приказал им везти нас назад.

— Но, может быть, отложим это на потом? — сказал я. — Эти ребята взмылены, как лошади.

— Им это полезно, — ответил он. — Не обращайтесь на китайцев внимания. Видите ли, мы здесь только потому, что они нас боятся. Мы — господствующая раса.

Я промолчал. И даже не улыбнулся.

— У китайцев всегда были господа и всегда будут.

На мгновение нас разлучил автомобиль, и, когда Хендерсон вновь поравнялся со мной, он оставил эту тему.

— Вы, живущие в Англии, даже представления не имеете, что для нас означают книжные новинки, когда мы

наконец их получаем,— сказал он.— Я читаю все, что публикует Бертран Рассел. Вы его последнюю книгу читали?

— «Дороги к свободе»? Да. Прочел как раз перед отъездом из Англии.

— Я видел несколько рецензий. Кажется, он развивает там несколько интереснейших идей.

По-моему, Хендерсон собирался поговорить об этих идеях поподробнее, но тут рикша не свернул за угол, как было надо.

— За угол, за угол, идиот проклятый! — завопил Хендерсон и для пущей наглядности ловко брыкнул рикшу в зад.

XVIII. РАССВЕТ

Еще ночь, и двор гостиницы исчерчен сгустками глубокого мрака. Фонари бросают неверный свет на кули, которые готовят свой груз в путь. Они кричат, хохочут, сердито спорят и затевают шумные ссоры. Я выхожу на улицу и иду следом за боем с фонарем. То тут, то там позади закрытых дверей поют петухи. Однако многие лавки уже распахнули ставни, и неугомимые люди приступают к своим долгим дневным трудам. Тут подмастерье подметает пол, там мужчина моет лицо и руки. Фитилек, горящий в чашке с растопленным жиром,— вот и все его освещение. Я прохожу мимо харчевни, где полдюжата человек уже сидят за ранним завтраком. Внутренние ворота заперты, но сторож выпускает меня через калитку, и я иду вдоль стены по берегу медлительного ручья, в котором отражаются яркие звезды. Затем я подхожу к главным городским воротам и вижу, что одна створка уже открыта. Я выхожу наружу, и меня со всех сторон встречает призрачный рассвет. Впереди меня ждут день, и длинный путь, и широкие просторы.

Погас фонарь. Позади меня тьма растворяется в лиловый туман, и я знаю, что вскоре она вся порозовеет. Я различаю насыпную дорогу, а вода рисовых полей отражает бледный сумрачный свет. Уже не ночь, но еще и не день. Это мгновение неизреченной красоты, когда и холмы, и долины, и деревья, и вода укрывают неземные тайны. Ведь когда поднимется солнце, на какой-то срок мир вокруг безрадостен, свет холоден и сер, точно свет в студии художника, и тени еще не пеленают землю в пестрые пеленки. Огибая вершину лесистого холма, я гляжу вниз, на рисовые поля. Впрочем, «поля» тут слишком величественное слово. По большей части это лоскутки, полумесяцами врезанные

в склон один над другим, чтобы их можно было затоплять. В лощинах растут ели и бамбук, точно посаженные там искусным садовником, который упорядочивает красоту, чтобы церемонно воспроизвести приволье природы. А в эти колдовские мгновения вы видите не плоды смиренного труда, но любимые сады императора. Сюда, сбросив бремя государственных забот, приходит он в желтых шелках, расшитых драконами, с драгоценными браслетами на запястьях, чтобы позабавиться с наложницей до того красивой, что в последующие века люди находят только естественным, что из-за нее погибла династия.

И вот уже, встречая разгорающийся день, с рисовых полей поднимаются туманы и до половины закрывают пологие холмы. То, что вы видите, могло представлять перед вами в сотнях картин, так как старые китайские мастера до чрезвычайности любили изображать подобное. Небольшие холмы, — до вершин поросшие лесом с четким силуэтом зубчатых елей по гребню на фоне неба, — небольшие холмы громоздятся один над другим, и туманы на розовой высоте слагаются в узор, придают композиции завершенность, которая, однако, оставляет простор для воображения. Бамбук растет почти от самой дороги, его узкие листья трепещут в легчайшем ветерке; он полон такого аристократического изящества, что рожица кажется придворными дамами великой Минской династии, которые томными группами отдыхают возле дороги. Они посетили какой-то храм, их платья богато расшиты цветами, а в прически вплетены бесценные нефритовые украшения. Они отдыхают, стоя на маленьких ножках, на своих золоченых лилиях, обмениваясь остроумными замечаниями: им ли не знать, что высшее достижение культуры — это умение болтать вздор с неподражаемым достоинством. Еще минута, они рассядутся по своим паланкинам и исчезнут. Но дорога поворачивает, и — Бог мой! — бамбук, китайский бамбук волшебством тумана преобразается в кентские хмельники. Помните душистые хмельники, сочные зеленые луга, железнодорожное полотно, которое тянется вдоль моря, вдоль сверкающего пляжа и унылой серости Ла-Манша? Над зимним холодом летит чайка, и тоска в ее крике почти невыносима.

ХІХ. ВОПРОС ЧЕСТИ

Дружеским отношениям между разными странами ничто так не вредит, как фантастические представления о национальном характере друг друга, которые каждая ревниво

лелеет, и, пожалуй, ни один народ не страдал от выдумок своих соседей более французов. Их объявляли нацией порхающих шалопаев, не способных на серьезные мысли, пустоголовых, безнравственных и ненадежных. Даже добродетели, которые им отводили,— как-то: блистательное остроумие и веселость — признавались за ними (во всяком случае англичанами) со снисходительным пожатием плеч, ибо англосаксы ставят такие добродетели не особенно высоко. Почему-то никто не хотел замечать, что в основе французского характера лежит глубокая серьезность и что главную заботу среднего француза составляет поддержание своего достоинства. Не случайно Ларошфуко, тонкий знаток человеческой природы вообще и своих соотечественников в частности, положил *l'honneur*¹ в основу своей системы. Щепетильность, с какой наши соседи соблюдают эту честь, частенько забавляла британца, склонного поглядывать на себя с юмором. Однако для француза это, как говорится, живая сила, и у вас нет ни малейшего шанса понять его, если вы не будете постоянно помнить о щекотливости его представлений о чести.

Эти мысли приходят мне в голову всякий раз, когда я вижу, как виконт де Стеенворде проезжает мимо в своем роскошном автомобиле или сидит во главе своего стола. В Китае он представляет некоторые весомые французские интересы, и, по слухам, в министерстве иностранных дел Франции у него больше власти, чем у самого министра. Между ним и этим последним никогда не существовало ни малейшей симпатии, поскольку тому, вполне естественно, не нравилось, что какой-то его согражданин ведет дипломатические дела с китайцами у него за спиной. Однако уважение, каким мосье де Стеенворде пользовался на родине, неопровержимо доказывалось красным кружочком, который украшал лацкан его сюртука.

У виконта была прекрасная голова, несколько лысоватая, но вполне пристойно (*une légère calvitie*², как выражаются французские романисты, тем самым наполовину смягчая жестокий факт), нос как у великого герцога Веллингтона, блестящие черные глаза под тяжелыми веками и маленький рот, укрытый на редкость красивыми усами, кончики которых он то и дело подкручивал белыми пальцами в драгоценных перстнях. Породистость его облика подкреплялась тремя массивными подбородками. У него был крупный торс и величественная дородность, так что за

¹ Честь (*фр.*).

² Здесь: начинающаяся лысина (*фр.*).

столом он всегда сидел чуть отодвинувшись, как будто ел против воли и вообще намеревался только слегка перекусить. Однако Природа сыграла с ним скверную, хотя и довольно обычную шутку — его ноги были слишком коротки для его туловища. Сидя, он казался высоким, но стоило ему встать, и вы ошеломленно обнаруживали, что рост его даже ниже среднего. По этой причине наиболее эффектно он выглядел за столом, а также когда ехал в автомобиле по улице. Тогда он поражал внушительностью. Если он приветственно махал вам рукой или широким жестом снимал шляпу, вы чувствовали, что вот так снизойти до простых смертных — это безмерная любезность. Он обладал всей почтенной солидностью министров Луи-Филиппа, которые взирают на нас с полотен Энгра с торжественной важностью: все в благопристойно черных костюмах, длинноволосые и бритые.

Часто слышишь, что такой-то или такой-то говорит, как книга. Мосье де Стеенворде говорил, как журнал, — разумеется, не развлекательный журнал, позволяющий приятно скоротать часок-другой, но полный учености и влияющий на общественное мнение. Мосье де Стеенворде говорил, как «*Revue des Deux Mondes*»¹. Слушать его было большим удовольствием, хотя и утомительным. Он обладал красноречием тех, кто без конца повторяет одно и то же. Он никогда не запинаясь в поисках слова. Все излагалось стройно и ясно на восхитительно изысканном языке и с таким авторитетным видом, что в его устах заведомая банальность обретала блеск эпиграммы. Он отнюдь не был лишен остроумия. И умел рассказывать забавные сплетни о ближних. А когда, отпустив особенно ядовитую шпильку на чей-то счет, он оборачивался к вам со словами: «*Les absents ont toujours tort*»², — то умудрялся вернуть этому избитому афоризму его первоначальную свежесть. Он был ревностным католиком, однако льстил себя мыслью — не реакционером, но человеком с положением, состоянием и принципами.

Будучи бедным, но честолюбивым (слава — последняя слабость благородного духа), он женился на дочери сахарного маклера ради ее огромного приданого. Теперь она была накрашенной миниатюрной дамой с волосами рыжими от хны и всегда элегантно одетой. Вероятно, для него явилось тяжким испытанием, что, даровав ей свое осененное честью имя, он не смог кроме того даровать ей высокую

¹ Французский литературно-политически-научный журнал, основанный в 1829 г.

² Отсутствующие всегда виноваты (*фр.*).

гордость, которая играла столь могучую роль во всех его собственных поступках. Ибо, подобно многим великим людям, мосье де Стеенворде был женат на женщине, которая постоянно ему изменяла. Но это несчастье он переносил с характерным для него мужеством и достоинством. Он держался с такой безупречностью, что этот тяжкий крест буквально возвышал его в глазах друзей. Он был для всех предметом сочувствия. И будучи рогоносцем, оставался истинным аристократом. Едва мадам де Стеенворде заводила нового любовника, как он требовал с ее родителей сумму, достаточную для возмещения ущерба, причиненного его родовому имени и чести. По слухам, речь шла о четверти миллиона франков, однако я не сомневаюсь, что при нынешних ценах на серебро деловой человек настоял бы на уплате долларами. Мосье де Стеенворде уже весьма состоятельный человек, но к тому времени, когда его супруга достигнет канонического возраста, он, вне всяких сомнений, будет богачом.

XX. ВЬЮЧНЫЙ СКОТ

В первый момент кули на дороге, горбящийся под своей ношей, кажется живописным. В лохмотьях всех оттенков синевы и голубизны от индиго до бирюзы и молочности туманного неба, он удивительно гармонирует с ландшафтом. Трусая по узкой насыпной дороге между рисовыми полями, взбираясь по зеленому склону холма, он именно то, чего требует пейзаж. Одежда его состоит из короткой куртки и штанов. Возможно, костюм этот некогда был одноцветен, но, когда его требуется подлатать, хозяин не затрудняет себя поисками лоскутков того же оттенка. Он берет то, что попадает под руку. Голову от солнца и дождя он укрывает соломенной шляпой в форме гасителя для свечей с невероятно широкими плоскими полями.

Вот кули проходят вереницей: у каждого на плечах коромысло, по концам которого свисают два огромных узла, и они приятно оживляют пейзаж. Забавно наблюдать за их отражением в воде рисовых полей. Вы разглядываете их лица, пока они проходят мимо. Вы бы сказали, что это добродушные, открытые лица, если бы вам заранее не вдолбили, что восточный человек непостижим. Когда они, расположившись на отдых под смоковницей у придорожного святилища, курят и весело болтают, попытайтесь поднять один из узлов, с которыми они проходят за день тридцать миль и больше. Как тогда не восхититься их выносливостью

и мужеством! Но если вы упомянете о своем восхищении китайским старожилом, вас сочтут смешным. Снисходительно пожав плечами, вам объяснят, что кули — животные и таскают вьюки вот уже две тысячи лет из поколения в поколение, а потому неудивительно, если они сохраняют веселую бодрость. Да и нетрудно самому убедиться, что начинают они рано — вам, конечно, уже встречались детишки с коромыслами на плечах, которые бредут, сгибаясь под тяжестью корзинок с овощами.

Приближается полдень, и становится все жарче. Кули снимают куртки и идут дальше голые по поясу. Порой один останавливается, чтобы передохнуть, и опускает ношу на землю, но коромысла с плеч не снимает, так что отдыхает он скорчившись, и вы видите, как колотится о ребра бедное истомленное сердце, — видите так же четко, как у некоторых сердечных больных в приемном покое больницы. Смотришь, и твое собственное сердце почему-то сжимается. Видишь ты и спины кули. Коромысло, долгие годы день за днем врезаюсь в плечи, оставило на них багровые рубцы, а иногда видны и незаживающие язвы — большие язвы, не перебинтованные, ничем не смазанные, трущиеся и трущиеся о дерево коромысла. Но особенно странно, что порой Природа словно старалась приспособить человека для жестокого труда, к которому его принуждают, и вы замечаете необычное уродство — что-то вроде верблюжьего горба, на который опирается коромысло. Но колотящееся сердце, воспаленные язвы, хлещущий дождь или палящее солнце для них не помеха, и они вечно идут вперед от рассвета до сумерек, год за годом, с раннего детства до глубокой дряхлости. Вы видите стариков без капли жира в теле — только кости да дряблая кожа, высохших, с морщинистыми обезьяньими личиками, с жидкими седыми волосами: пошатываясь под тяжестью ноши, они бредут к могиле, в которой наконец обретут отдых. А кули все идут, идут — и не шагом, хотя и не бегом, а скользящей походкой, не отрывая глаз от земли, следя, куда ставить ноги, и на лицах их застыло тревожное напряжение. И вереница их уже не кажется вам живописной. Вас угнетают усилия, которые они обречены делать. Вас переполняет бесполезное сострадание.

В Китае вьючное животное — это человек.

«Не знать покоя от забот и невзгод жизни и идти по ней быстро, не имея возможности замедлить шаг, это ли не достойно жалости? Трудиться без отдыха, а затем, так и не вкусив плодов этого труда, выжатому досуха, внезапно уйти неведомо куда — это ли не справедливая причина для горя?»

Так писал один китайский мистик.

Это был видный мужчина. Когда мы познакомились, я дал бы ему без малого шестьдесят, но он сохранял и здоровье и силы. Он был корпулентен, но большой рост делал его дородность благообразной. У него было сильное, почти красивое лицо с орлиным носом, кустистыми седыми бровями и волевым подбородком. Одевался он в черное, носил низкие воротнички и белый галстук-бабочку. Он походил на англиканского священнослужителя прошлого поколения. Голос у него был звучный и благодушный, а смех громкий.

Его жизненный путь отличался некоторым своеобразием. В Китай он приехал тридцать лет назад как врач-миссионер, но теперь, хотя и сохранял добрые отношения с миссией, уже не состоял в ней. Как выяснилось, во время оно возникло намерение построить школу на весьма удобном участке, который присмотрел доктор,—в перенаселенных китайских городах найти участок под строительство очень непросто. Когда же миссия после долгих переговоров о цене все-таки купила его, оказалось, что владелец вовсе не китаец, с которым эти переговоры велись, а сам доктор. Зная, что школу решено построить, и убедившись, что других подходящих участков нет, он занял деньги у китайского банкира и купил участок сам. Ничего противозаконного в этой операции не было, но, возможно, она не отвечала строгим требованиям порядочности, и другие члены миссии в отличие от доктора Мак-Алистера не сочли ее превосходной шуткой. Наоборот, некоторые отнеслись к ней очень кисло, и в результате доктор Мак-Алистер хотя и не порвал с людьми, цели и интересы которых всемерно уважал, но сложил с себя свои обязанности. Он пользовался репутацией хорошего врача и вскоре обзавелся большой практикой, как среди иностранцев, так и среди китайцев. Он открыл приют, в котором путешественник за плату, причем высокую, мог получить стол и кров. Его постояльцы жаловались, что им воспрещено употреблять там спиртные напитки, однако китайские гостиницы были куда менее комфортабельными, и приходилось кое в чем уступать принципам доктора. Он был предприимчив. Купил обширный земельный участок на холме за рекой и построил там несколько бунгало, которые одно за другим продал миссионерам для летнего отдыха; кроме того, ему принадлежал большой магазин, где продавалось все, что только могло понадобиться иностранцу, начиная от открыток и местных сувениров и кончая вустерским соусом и свитерами ручной вязки. Магазин приносил большой доход — у доктора, бесспорно, была коммерческая жилка.

Обед, на который он меня пригласил, больше смахивал на банкет. Жил доктор в большой квартире над своим магазином с видом на реку. Общество состояло из самого доктора Мак-Алистера, его третьей жены — сорокапятилетней дамы в черном атласе и очках в золотой оправе, миссионера, остановившегося у доктора на неделю-другую по пути во внутренние области страны, и двух молчаливых барышень, новых членов миссии, которые усердно учили китайский язык. Стены столовой были увешаны поздравительными свитками, преподнесенными доктору в день его пятидесятилетия китайскими друзьями и новообращенными. Как всегда в Китае, еда была обильной, и наш хозяин усердно воздавал ей должное. Начался и завершился обед длинной благодарственной молитвой, которую доктор прочел звучным голосом с впечатляющим благочестием.

Когда мы перешли в гостиную, доктор Мак-Алистер, стоя перед уютно пылающим камином (в Китае бывает очень холодно), взял с каминной полки небольшую фотографию и протянул ее мне.

— Узнаете? — спросил он.

На фотографии был запечатлен очень худой молодой миссионер в низком воротничке и белом галстуке. Глаза у него были большие и печальные, лицо выражало глубокую серьезность.

— Симпатичный юноша, э? — басил доктор.

— Очень, — ответил я.

Пожалуй, слишком уж чопорный. Но чопорность в молодости прощательна, тем более что тут она полностью уравновешивалась грустным выражением. Тонкое, чуткое, даже красивое лицо, странно трогательные в своей безутешности глаза... Пусть в этом лице чувствовался фанатизм, но он сочетался с мужеством, которое не дрогнет перед мученичеством, с чарующим идеализмом, а его юность и бесхитрость брали за душу.

— Удивительно привлекательное лицо, — сказал я, возвращая фотографию.

Доктор Мак-Алистер испустил веселый смешок.

— Вот каким я был, когда только-только приехал в Китай, — сказал он.

Это была его собственная фотография.

— Никто его на ней не узнает, — с улыбкой сказала миссис Мак-Алистер.

— А снимок на редкость похожий, — сказал он.

Он расправил черные фалды черного сюртука и встал перед огнем поудобнее.

— Я частенько посмеиваюсь, когда вспоминаю мои первые впечатления от Китая,— сказал он.— Приехал я в чайнии всяческих лишений и трудностей. Первым ударом был пароход с удобнейшими каютами и обедами из десяти блюд. Назвать это лишениями было затруднительно, но я сказал себе: погоди, вот доберешься до Китая! Ну-с, в Шанхае меня встретили добрые знакомые, я поселился в прекрасном доме, за мной ходили прекрасные слуги, я ел прекрасную пищу. Шанхай, сказал я, чумная яма Востока. Во внутренних областях все будет по-иному! Наконец я добрался сюда. Мне предстояло гостить у главы миссии, пока не будет готово мое собственное жилище. Он жил в большом компаунде, дом у него был прекрасный, обставленный американской мебелью, а на такой чудесной кровати мне еще спать не доводилось. Он любил огородничество и выращивал всяческие овощи. Мы ели салаты точно такие же, которые ели в Америке, и фрукты — всевозможные фрукты. Он держал корову, так что молоко и масло у нас были свежайшие. По-моему, никогда в жизни я не ел так вкусно и так плотно. И ничего для себя делать самому не приходилось. Вам хотелось выпить воды, вы звали боя, и он приносил вам стакан. Приехал я в начале лета, и все укладывались, чтобы ехать в горы. Бунгало там тогда еще не было, и лето они проводили в храме. Я пришел к выводу, что особых лишений ждать нечего. А я-то предвкушал мученический венец. Знаете, что я сделал?

Посмеиваясь, доктор Мак-Алистер вспоминал это давнее-давнее время.

— Когда в первую ночь я остался один у себя в спальне, то кинулся ничком на кровать и плакал, как малое дитя.

Доктор Мак-Алистер продолжал говорить, но я его больше не слушал. Я думал, по каким ступеням он прошел, чтобы из того человека, каким был тогда, стать человеком, какого я видел перед собой. Вот рассказ, который мне хотелось бы написать.

XXII. ДОРОГА

Собственно, это и не дорога вовсе, а своего рода дамба, выложенная сверху каменными плитами в фут шириной и четыре фута длиной, так что места еле-еле хватает на то, чтобы двое кресел-носилков могли осторожно разойтись. По большей части она в приличном состоянии, но кое-где плиты разбиты или их смыло во время затопления рисовых

полей, и в таких местах идти трудно. Она вьется, следуя изгибам тропы, которая соединяла город с городом с тех пор, как тысячу лет назад или более того в этих краях возникли города. Она вьется между рисовыми полями, подчиняясь капризам рельефа с обдуманной беззаботностью: и видно, что прокладывали ее поверх тропки, протоптанной в незапамятные времена крестьянами, которые искали не самый короткий путь, но самый легкий. Как она рождалась, вы можете увидеть, когда, свернув с тракта, отправляетесь напрямик к какому-нибудь городку, расположенному в стороне от главных путей. Там дамба настолько узка, что нагруженный кули не может с вами разминуться, и, если вы встретились посреди рисового поля, он вынужден спуститься на засаженную фасолью маленькую насыпь, разделяющую смежные поля. Вскоре каменные плиты исчезают, и вы оказываетесь на утоптанной земляной тропе, настолько узкой, что ваши носильщики ступают по ней с большой осторожностью.

Путешествие, вопреки всем историям про бандитов, которыми вас пугали, и эскорту из оборванных солдат, никакими приключениями не разнообразится, зато мелких происшествий хоть отбавляй. Во-первых, вечное разнообразие рассветов. Поэты писали о них с восхищением, но поэты все лежебоки и в поисках вдохновения полагались на фантазию, а не на свои сонные глаза. Словно любовнице, являющейся среди грез в лунные ночи, чьи чары недоступны красавицам бодрствующего дня, они приписывали заре чудеса, существовавшие лишь в их воображении. Ведь самая волшебная заря уступает в великолепии заурядному закату. Но поскольку видим мы ее очень редко, ей словно бы свойственно большое разнообразие. Каждый рассвет чуть-чуть отличается от всех прочих, и можно вообразить, что каждое утро мир сотворяется заново не совсем таким, каким был накануне.

Затем обычные зрелища справа и слева от дороги. Крестьянин по бедра в воде пашет свое поле тем же первобытным плугом, каким пользовались его праотцы на протяжении сорока смертных веков. Буйвол бредет, разбрызгивая жидкую грязь, и его скептические глаза словно спрашивают, какой цели служит этот нескончаемый труд. Проходит старуха в синем халате и коротких синих штанах, ковыляя на перебинтованных ногах и для надежности опираясь на длинный посох. Навстречу плывут в креслах два толстых китайца, глядя на вас любопытными и в то же время безразличными глазами. Каждая такая встреча — уже событие, хотя и пустяковое, но дающее пищу воображению на мину-

ту-другую. И теперь ваши глаза с удовольствием задерживаются на желтоватой, как слоновая кость, атласной коже юной матери, идущей по дороге с ребенком, привязанным за спиной, на сморщенном непроницаемом лице старика или на изящных, угадывающихся под плотью, лицевых костях дюжего кули. А кроме всего этого — непреходящий восторг, когда, не без труда одолев крутой подъем, вдруг видишь расстилающуюся перед тобой панораму. Изо дня в день, изо дня в день одно и то же, но каждый раз испытываешь радостный трепет открытия. Те же невысокие округлые холмы замыкают вас в своем кольце, точно овцы, и следуют один за другим, насколько достигает взгляд. И на вершине многих, словно нарочно там посаженное живописности ради, ажурным узором вырисовывается в небе одинокое дерево. Те же бамбуковые рощи чуть клонятся, почти окружая те же крестьянские домики, которые под многоярусными кровлями уютно прячутся в тех же самых укромных лощинах. Стволы бамбука склоняются над шоссе с обворожительной грацией. В них чувствуется снисходительность высокородных дам, которая льстит, а не оскорбляет. В них ощущается самозабвенность цветов, аристократичная сладострастность, настолько уверенная в своей избранности, что не может опуститься до грубого разврата. Но мемориальная арка добродетельной вдовы или преуспевшего ученого предупреждает вас, что вы приближаетесь к деревне или городу, и вот, доставляя мимолетное развлечение местным жителям, вы движетесь между рядами убогих лачуг или по запруженной прохожими улице. От солнца улица защищена большими циновками, натянутыми от карниза к карнизу, и смутный свет пакладывает на снующие толпы оттенок чего-то неестественного. Вам чудится, что именно так выглядели люди в зачарованных городах, которые посетил арабский мореход,— в городах, где ночью вас подстерегало жуткое превращение, и, пока вам не удавалось узнать волшебное слово, вы волей-неволей коротали дни в обличии кривого осла или желто-зеленого попугая. Торговцы в своих лавочках предлагают неведомые заклятые товары, а в харчевнях варят похлебки из того, что человеку есть заказано. В единообразии — все китайские городки, во всяком случае на взгляд иностранца, очень похожи друг на друга — вы с удовольствием подмечаете пусть небольшие, но отличия и таким образом узнаете, какие ремесла преобладают именно тут. В каждом городке производится все, что может потребоваться его обитателям, но у каждого есть и своя специальность: в одном вы найдете тонкие ткани из

хлопка, в другом — шнуры, в третьем — шелка. Мало-помалу апельсиновые деревья, все в золотистых плодах, почти исчезают, сменяясь сахарным тростником. Черные шелковые шапочки уступают место тюрбанам, а красный зонтик из промасленной бумаги — зонтику из ярко-голубой хлопчатобумажной ткани.

Все это — обычные происшествия, вносящие разнообразие в каждый день. Они подобны заранее ожидаемым событиям, которые не дают жизни стать монотонной: чередование рабочих будней с праздниками, встречи с друзьями, наступление весны, несущей прилив новых сил, и наступление зимы, несущей долгие вечера, легкость общения и сумрак. Подобно тому как вторжение любви превращает все остальное лишь в фон для ее сияния и возносит будничные мелочи на ту высоту, где ничтожные пустыки обретают мистическое значение, обыденность порой вдруг отступает и перед вами предстает красота, берущая приступом вашу застигнутую врасплох душу. Ибо в туманной дымке перед вами поднимаются сказочные крыши храма, величественно стоящего на огромном каменном бастионе, основание которого, точно естественный ров, омывает тихая зеленая речка, и, когда его озаряет солнце, вы словно видите воплощенные в явь грезы о китайском дворце — китайском дворце таком роскошном и великолепном, какие властвовали над воображением арабских сказочников; или, оказавшись у переправы на рассвете, вы видите чуть выше себя, силуэтами на фоне занимающейся зари, большой сампан, в котором паромщик перевозит толпу пассажиров на другой берег, — и внезапно вы узнаете в нем Харона и понимаете, что перевозит он тоскующие тени мертвецов.

XXIII. БОЖЬЯ ПРАВДА

Берч был агентом БАТ и вел дела в городишке, где после дождя на улицах грязь была по колено, и приходилось забираться в самую глубину повозки, иначе жидкая глина облепляла вас с головы до ног. Разбитая за долгие годы мостовая была вся в таких рытвинах и ухабах, что вы от тряски и толчков дух не могли перевести, даже если ехали шагом. Две-три улицы были застроены лавками, но он наизусть знал все товары в них. Между этими улицами вились бесчисленные улочки, по обеим сторонам которых тянулись стены без окон, и только тяжелые запертые двери нарушали единообразие. Это были жилые дома китайцев,

столь же недоступные для людей одного с ним цвета кожи, как и жизнь, его окружавшая. Он мучился от ностальгии. Уже три месяца он не разговаривал с белым человеком.

С делами на день он покончил. Заняться ему было нечем, и он пошел погулять по дороге — других мест для прогулок тут не было. За городскими воротами он зашагал между глубокими колеями и рытвинами дороги через долину, которую со всех сторон замыкали дикие безлесые горы, так что он чувствовал себя запертым в клетке в неизмеримой дали от цивилизованного мира. Он знал, что не должен поддаваться волнам неизбывного одиночества, которые накатывались на него, но держать себя в руках было труднее обычного. У него уже почти не оставалось сил. Внезапно он увидел, что к нему приближается европеец на низкорослой лошадке. За ним ползла китайская повозка, видимо, с его багажом. Берч сразу догадался, что это из миссии дальше в горах миссионер направляется в свободный порт, и сердце в нем заиграло от радости. Он ускорил шаги. Вялую апатию как рукой сняло. Он ощущал себя бодрым и энергичным. И уже почти бежал к всаднику.

— Приветствую вас, — сказал он. — Откуда вы?

Всадник остановился и назвал дальний городок.

— Я еду на железнодорожную станцию, — добавил он.

— Лучше переночуйте у меня: я уже три месяца не видел ни одного белого. Места сколько угодно. БАТ, понимаете?

— БАТ... — повторил всадник. Его лицо изменилось, глаза, секунду назад дружески улыбающиеся, посуровели. — Я не желаю иметь с вами ничего общего.

Он ударил лошадку каблуком и поехал бы дальше, но Берч схватил поводья. Он не поверил своим ушам.

— Что вы такое говорите?

— Я не могу вступать в общение с человеком, который торгует табаком. Отпустите поводья.

— Но я же три месяца не видел ни единого белого лица!

— Меня это не касается. Отпустите поводья!

Он снова ударил лошадку каблуками. Губы его были упрямо сжаты. Он смотрел на Берча жестким взглядом. И тут Берч сорвался. Он повис на поводьях, осыпая миссионера проклятиями. Он обрушивал на него самую грязную ругань, какую знал. Он бесновался, он сыпал непристойностями. Миссионер молчал и только подгонял лошадь. Берч ухватил ногу миссионера и выдернул ее из стремени. Миссионер чуть было не вылетел из седла, но успел кое-как ухватиться за гриву, а потом полускатился, полусоскользнул

на землю. Повозка тем временем подъехала к ним и остановилась. Сидевшие в ней два китайца посматривали на белых с ленивым любопытством. Миссионер побелел от ярости.

— Вы напали на меня! Я добьюсь, чтобы вас за это выгнали!

— Идите к черту,— сказал Берч.— Я три месяца не видел белого лица, а вы даже поговорить со мной не захотели. И еще зовете себя христианином?

— Как ваша фамилия?

— Берч моя фамилия, и провались ты ко всем чертям!

— Я сообщу о вас вашему начальству. А теперь посторонитесь, не загораживайте дорогу.

Берч стиснул кулаки.

— Вали отсюда, не то я тебе все кости переломаю.

Миссионер взобрался в седло, резко стегнул лошадку хлыстом и зарысился прочь. Китайская повозка медленно поползла за ним. Но едва Берч остался один, его бешенство угасло и из груди против воли вырвалось рыдание. Безлесые горы были не такими безжалостными, как сердце человека.

XXIV. РОМАНТИКА

Весь день я плыл вниз по реке. Той самой реке, по которой Чан Чэнь в поисках ее истоков поднимался много дней, пока не добрался до города, где увидел девушку, которая ткала, и юношу, который вел на водопой вола. Он спросил, что это за место, а девушка вместо ответа дала ему челнок со своего станка и велела, вернувшись, показать челнок астрологу Хэн Чунпину, который по этому знаку поймет, где он побывал. Тот так и сделал. Астролог сразу увидел, что челнок принадлежит Ткачихе, и объявил далее, что, по его наблюдениям, в тот самый день и час, когда Чан Чэнь получил челнок, между Ткачихой и Пастухом вторглась блуждающая звезда. Вот так Чан Чэнь узнал, что он плывал по Серебряной Реке, которая зовется еще Млечным Путем¹.

Я, однако, так далеко не бывал. Весь день, как и предыдущие семь дней, мои пять гребцов гребли стоя, и в моих

¹ В китайском мифе Ткачиха (звезда в созвездии Лиры), дочь Небесного правителя, ткала небесную парчу из облаков. Отец выдал ее за Волопаса (звезда Пастух в созвездии Орла), и она бросила ткать. В наказание Небесный правитель послал ее мужа на другом берегу Млечного Пути, разрешив им встречаться лишь раз в году — в седьмой день седьмой луны. День этот считается в Китае днем влюбленных.

ушах все еще отдавался монотонный стук весел о деревянную чеку, служившую уключиной. Порой вода становилась очень мелкой, и лодка, задев камень на дне, останавливалась с резким толчком. Тогда двое-трое гребцов засучивали синие штанины по бедра и спускались за борт. Под дружные крики они стаскивали плоскодонку с места. Иногда впереди показывались быстрины — совсем пустячные, если сравнить их с бурными быстринами Янцзы, но тем не менее джонки, идущие по течению, преодолевали их только с помощью бечевы, а мы проносились через них под множество воплей, взлетали на пенящиеся буруны и вдруг оказывались на плесе, спокойном и зеркальном, точно озеро.

А теперь была ночь, и гребцы спали вповалку на носу под навесом, какой им удалось соорудить, когда мы в сумерках причалили к берегу. Я сидел на моей постели. Бамбуковые циновки на трех деревянных арках образовывали подобие каюты, которая в течение недели служила мне гостиной и спальней. С четвертой стороны ее замыкала дощатая стена, сбита так грубо, что между досками оставались широкие щели. Сквозь них прорывался пронзительный ветер. По ту ее сторону лодочники — крепкие сильные ребята — днем гребли, а ночью спали, — и тогда к ним присоединялся кормчий, который в рваном синем одеянии, стеганой куртке выгоревшего серого цвета и черном тюрбане от зари до сумерек стоял у своего кормила — длинного тяжело го весла. Обстановку моей каюты составляли постель, блюдо, напоминавшее огромную глубокую тарелку, в котором тлел древесный уголь, потому что было холодно, корзина с моей одеждой, служившая мне столом, и фонарь, который был подвешен к одной из арок и чуть покачивался от течения вместе с лодкой. Каюта была такой низкой, что мне, человеку отнюдь не высокого роста (я утешаюсь наблюдением Бэкона, который указал, что высокие люди сходны с высокими домами в том, что верхний этаж у них обставлен наиболее скудно), почти приходилось наклонять голову. Кто-то из спящих захрапел громче и, возможно, разбудил двух других, потому что я услышал обмен фразами. Но вскоре голоса смолкли, храп не возобновился, и вновь вокруг сомкнулась тишина.

Внезапно у меня возникло ощущение, что здесь, прямо передо мной, почти касаясь меня, пребывает романтика, которую я всегда искал. Чувство, не похожее ни на одно другое, столь же конкретное, как упоение произведением искусства, хотя я абсолютно не знал, что именно подарило мне вдруг эту редчайшую эмоцию.

На протяжении моей жизни я часто оказывался в ситуациях, которые показались бы мне вполне романтическими, если бы я где-нибудь прочел о них. На деле же только потом, сравнив их с моими понятиями о романтике, я замечал в них что-то выходящее за рамки обыденности. Лишь усилием воображения, поставив себя, так сказать, на место зрителя, наблюдающего, как я же играю какую-то роль, мне удавалось уловить отзвуки необычайного в обстоятельствах, которые, касаясь они других, сразу оделись бы для меня в радужные цвета. Я танцевал с актрисой, чье обаяние и талант сделали ее кумиром моей страны, или бродил по залам знаменитого дворца, где собрался весь цвет аристократии, как крови, так и духа, какой только мог похвастать Лондон,—но лишь потом я распознавал, что, пусть и несколько в манере Уйды, это, пожалуй, все-таки была романтика. Во время сражения, когда, сам особой опасности не подвергаясь, я наблюдал за происходящим с живым интересом, у меня не хватило флегматичности взять на себя роль зрителя. Ночью в полнолуние я плыл к коралловому острову в Тихом океане, и чудо красоты вдруг наполнило меня счастьем,—но лишь потом пришло пьянящее чувство, что я соприкоснулся с романтикой кончиками пальцев. Трепет ее крыльев я услышал, когда однажды сидел в номере нью-йоркского отеля за столом с еще шестерыми и мы строили планы возрождения древнего царства, беды которого уже век как вдохновляли поэтов и патриотов,—но главным моим чувством было ироническое удивление, что волей войны я оказался участником дела, совершенно чуждого моей натуре. Подлинный романтический восторг овладевал мной при обстоятельствах, которые другим показались бы далеко не такими романтическими, и, помню, впервые я испытал его как-то вечером, когда играл в карты в хижине на побережье Бретани. В соседней комнате умирал старый рыбак, и женщины говорили, что он скончается с отливом. Снаружи бушевала буря, и казалось на редкость уместным, что дряхлый боец с морской стихией уйдет из жизни под дикие вопли ветра, бьющего в ставни на окнах. Волны с громом обрушивались на измученные скалы. И я испытывал ликующее торжество, потому что знал—здесь властвует романтика.

И вот теперь мной овладело то же ликование, и вновь передо мной была романтика, почти одетая плотью. Но явилась она так неожиданно, что я был заинтригован. Пробралась ли она между теньями, которые фонарь отбрасывал на циновки, или ее принес ветер по реке, которую я видел из

каюты? Желая выяснить, из каких элементов слагалось это невыразимое восхищение, я прошел на корму. Рядом были причалены джонки, поднимающиеся вверх по реке,— мачты на них были поставлены прямо. Их тоже одевала тишина. Лодочники давно спали. Ночь была облачной, но не темной, так как за облаками плыла полная луна. Тем не менее река в этом туманном свете выглядела призрачной. Неясная дымка сглаживала очертания деревьев на том берегу. Зрелище было колдовское, но в нем не пряталось ничего непривычного, и того, чего я искал, тут не было. Я повернулся и ушел в мое бамбуковое убежище, но одевавшее его очарование исчезло. Увы, я был как человек, который разорвал бы на части бабочку, чтобы узнать, в чем заключается ее красота. И все же, подобно тому как Моисей, спускаясь с Синая, нес на своем челе сияние от общения с Богом Израиля, так и моя каюта, моя жаровня, мой фонарь и даже моя складная кровать все еще таили в себе частичку неземного восторга, который я на мгновение познал. Я уже не мог смотреть на них с прежним равнодушием, ибо был миг, когда они предстали мне одетые волшебством.

XXV ВЫСОКИЙ СТИЛЬ

Он был очень стар. Миновало пятьдесят семь лет с тех пор, как он попал в Китай судовым врачом и в одном из южных портов сменил местного медика, которого здоровье вынудило вернуться на родину. Тогда ему никак не могло быть меньше двадцати пяти лет, из чего следовало, что теперь ему уже давно перевалило за восемьдесят. Он был высоким, очень худым, и кожа висела на костях, будто слишком широкий костюм. Под подбородком она болталась широкой складкой, словно серьга старого индюка, но голубые глаза, большие и блестящие, сохранили свой цвет, а голос оставался звучным и басистым. За эти пятьдесят семь лет он купил и продал три-четыре практики на побережье, а теперь жил в нескольких милях от порта, в котором обосновался, когда только приехал в Китай. Это была якорная стоянка в устье реки, где разгружались и грузились суда, если низкая осадка не позволяла им подняться по ней до города. Селение состояло из семи домов, где жили белые, крохотной больнички и кучки китайских лачужек, так что врач там, в сущности, сидел без дела. Но он был еще и вице-консулом, а тихая жизнь в его возрасте идеально ему подходила. Праздным он себя не чувствовал, но занятий

у него набралось ровно столько, чтобы не утомляться. Дух его все еще был здоров и силен.

— Я подумываю уйти на покой,— говаривал он,— пора освободить дорогу молодым.

Он развлекался, строя планы на будущее. Всю жизнь ему хотелось побывать в Вест-Индии, и, черт побери, сейчас он это и осуществит. Черт побери, сэръ, откладывать на потом он уже не может. Англия? Ну, судя по доходящим оттуда вестям, Англия теперь не место для настоящих джентльменов. В последний раз он побывал там тридцать лет назад. А к тому же он ведь и не англичанин вовсе. Родился в Ирландии. Да, сэръ! Диплом получил в Тринити-колледже в Дублине. Да только теперь между католическими попами с одной стороны и шинфейнерами с другой от той Ирландии, которую он знал в юности, мало что осталось. А какая там была охота! При этих словах в его широко открытых голубых глазах появился веселый блеск.

Манеры у него были лучше тех, которые приняты у медиков, наделенных, Господь их благослови, многими добродетелями, но презирающих хорошие манеры. Не знаю, чему врач обязан злосчастным ощущением превосходства над другими. Играет ли тут роль общение с больными, или пример тех его учителей, кто поддерживает скверную традицию грубости, которую культивировали кое-какие светила практической медицины в качестве профессиональной привилегии, или годы учения, проведенные в палатах для неимущих больных (их он обычно считает много ниже себя), но факт остается фактом: в целом нет другой корпорации, столь чуждой простой вежливости.

Он был совершенно не похож на людей моего поколения. Но заключалось ли различие в его голосе и жестах, его непринужденности или в изысканности его старинной учтивости, решить было трудно. Мне кажется, он гораздо больше соответствовал понятию «джентльмен», чем многие и многие в наши дни, когда мужчину именуют джентльменом в уничижительном смысле. Слово это обрело дурной привкус, а качества, которые оно подразумевает, подвергаются осмеянию. За последние тридцать лет в мире много шуму наделали люди, которых никакая сила воображения не способна подогнать под это понятие, и они пускали в ход весь свой сарказм, чтобы сделать одиозным определение; под которое — как, возможно, они сами прекрасно сознавали — они не подходили ни с какой стороны. А может быть, отличие его объяснялось разницей в образовании. В юности ему преподавали множество бесполезностей, как, например,

классиков Греции и Рима, и эти абстракции заложили основу его характера, в нынешние времена очень редкую. Он был молод в эпоху, когда не существовало еженедельников, а ежемесячные журналы были очень солидны. Чтение тогда не было развлекательным. Быть может, мужчины пили больше, чем шло им на пользу, но они читали Юрация ради удовольствия и знали наизусть романы сэра Вальтера Скотта. Он помнил, как читал «Ньюкомов»¹ еще в выпусках. Мне кажется, люди в ту эпоху если и не дерзали больше, чем в нашу, зато дерзали величаво: теперь человек рискует жизнью с шуточкой из сборника анекдотов на губах, а тогда это была латинская цитата.

Как могу я проанализировать тончайшие отличия этого старика? Прочтите страничку Свифта: слова те же, какими мы пользуемся сегодня, и почти не отыщется предложения, в котором они не были бы расположены в самом простом порядке, и все-таки они обладают достоинством, емкостью, ароматом, каких все наши современные потуги обрести не могут,—короче говоря, в них есть стиль. Вот так и с ним: в нем был стиль, и больше сказать нечего.

XXVI. ДОЖДЬ

Да, но солнце сияет не каждый день. Иногда вас хлещет холодный дождь, а северо-восточный ветер пронизывает до костей. Обувь и верхняя одежда не просохли со вчерашнего дня, а до завтрака вам идти еще четыре часа. Вы бредете в безрадостном свете злого рассвета, а впереди вас ждут только грязь и неудобства китайской гостиницы. Там вы найдете голые стены, сырость земляного пола и попытаетесь немного обсушиться над жаровней с тлеющим древесным углем.

И вы начинаете вспоминать свой уютный кабинет в Лондоне. Дождь барабанит в окна, но делает комнату только еще теплее. Вы сидите у огня с трубкой в зубах и читаете «Таймс», ничего не пропуская. Конечно, не редакционную статью, но колонки личных объявлений и заманчивые описания продающихся загородных резиденций, купить которые никогда не сможете. (В Чилтернских холмах с собственным парком, площадью в сто пятьдесят акров, с большим плодовым садом, огородами и т. д., и т. д. Дом XVIII века в превосходном состоянии, полностью сохранившиеся дубовые панели и камин, шесть гостиных, четырнадцать спа-

¹ «История Ньюкомов» (1855) — роман У. М. Теккеря.

лен и обычные подсобные помещения, современные удобства, конюшня с квартирой над ней, превосходный гараж. В трех милях от первоклассного поля для гольфа.) Тут я понимаю, что господа Найт, Фрэнк и Ратли — мои любимейшие авторы. Материалы, с которыми они имеют дело, подобно великим банальностям, лежащим в основе всей подлинной поэзии, никогда не приедаются, а творческая манера, как у всех великих мастеров, характерна, но разнообразна. Их стиль — как стиль Конфуция, если верить синологам, — отличает блистательная сжатость: суховатый, но емкий, он сочетает достойную восхищения точность с образностью, дающей волю воображению. Легкость, с какой они оперируют мерами длины и площади, значение которых я, наверное, когда-то знал, хотя уже много лет оно остается для меня тайной, просто поразительна, и пользуются они ими с большим вкусом и непринужденностью. Они умеют играть техническими терминами с находчивостью мистера Редьярда Киплинга и способны одеть их кельтской магией мистера У. Б. Йейтса. Они с такой полнотой слили свои индивидуальности, что никакой самый пронизательный критик не сумеет найти ни малейших признаков отдельного авторства. Истории литературы известны случаи сотрудничества двух творцов, и возбужденная фантазия тотчас обращается к таким именам, как Бомонт и Флетчер, Эркман — Шатриан, Безант и Райс; но теперь, когда высшая критика уничтожила прививавшуюся мне в детстве веру в тройное авторство Библии, я полагаю, Найт, Фрэнк и Ратли остались единственными триедиными авторами.

Тут Элизабет, весьма элегантная в белой белке, которую я привез ей из Китая, входит попрощаться со мной — ей, бедной девочке, положено гулять во всякую погоду, — и мы с ней играем в поезда, пока готовится ее коляска. После чего мне, конечно, следовало бы поработать, но погода такая скверная, что меня одолевает лень и я беру книгу профессора Джилса о Чжуан-цзу. Ортодоксальные конфуцианцы его не одобряют, потому что он — индивидуалист, а при скорбное захирение Китая они объясняют как раз индивидуализмом эпохи, но это очень приятное чтение. А в дождь у этой книги есть то преимущество, что ее можно читать, не слишком сосредотачиваясь, и не так уж редко вы наталкиваетесь на мысль, дающую пищу для ваших собственных раздумий. Но вскоре всякие идеи, прокрадываясь в ваше сознание, точно набегающие волны прилива, поглощают вас целиком, изгоняют навеянные стариком Чжуан-цзу и, вопреки вашему желанию побездельничать, усаживают вас к столу.

Только дилетанты обзаводятся бюро. Ваше перо свободно скользит по бумаге, пишется вам легко и просто. Так хорошо ощущать себя живым! Ко второму завтраку приходят два приятных собеседника, а когда они уходят, вы заглядываете к Кристи. Там выставлены несколько минских статуэток, но они хуже тех, которые вы привезли из Китая, а потом вы наблюдаете продажу картин, которые сами ни за что не стали бы покупать. Вы смотрите на часы: в Гаррик-клубе уже, конечно, сели за бридж, а отвратительная погода достаточное оправдание, чтобы потратить впустую оставшиеся дневные часы. Но долго вы там оставаться не можете: у вас билеты на премьеру, так что надо вернуться домой и переодеться к раннему обеду. Вы успеете как раз вовремя, чтобы рассказать Элизабет сказку на сон грядущий. Как она мила в своей пижамке и с волосами, заплетенными в две косички! В премьерях есть что-то такое, к чему способна остаться равнодушной только пресыщенность критика. Приятно увидеть знакомые лица, и так забавно слушать рукоплескания партера, когда любимица публики, даже лучше, чем на подмостках, сыграв наивное смущение оттого, что ее вдруг узнали, садится на свое место в ложе. Возможно, увидите вы скверную пьесу, но у нее есть то преимущество, что ее еще никто никогда не видел, и можно надеяться, что где-то она вас растрогает или вызовет улыбку.

Навстречу вам в огромных соломенных шляпах — точно шляпы влюбленных Пьеро, но только с большими полями — шагает вереница кули, чуть горящихся под тяжестью огромных тюков хлопка. Насквозь мокрая синяя одежда, такая тонкая и обтрепанная, облепляет их тела. Разбитые плиты дороги стали очень скользкими, и вы опасливо шлепаете по жидкой грязи.

XXVII. САЛЛИВАН

Он был ирландским матросом, сбежал со своего судна в Гонконге и вбил себе в голову пройти пешком весь Китай. Три года он бродил по стране и вскоре научился неплохо объясняться по-китайски. Как часто бывает с людьми этого класса, язык давался ему легче, чем людям более образованным. Кормился он своей находчивостью. Старательно избегал английских консулов, но в каждом городке посещал судью и сообщал, что его в дороге ограбили, отобрали все его деньги. В истории этой ничего неправдоподобного не

было, а излагалась она с таким богатством всяческих подробностей, что заслужила бы одобрение даже такого великого знатока, как капитан Костиган. Судья, по китайскому обыкновению, не чаял, как от него избавиться, и был рад расщедриться на десять — пятнадцать долларов, лишь бы он поскорее убрался. А если ему не предлагали денег, то уж ночлег и хороший ужин — почти навверное. Он обладал грубоватым юмором, который нравится китайцам, и продолжал успешно вести такое существование, пока судьба не сыграла с ним злой шутки, приведя к судье совсем иного склада. Судья этот, выслушав его историю, сказал ему:

— Ты просто нищий и бродяга. Тебя надо побить.

Он отдал распоряжение, ирландца тут же вывели во двор, бросили на землю и отделали палками. Он был не только сильно избит, но и совершенно ошеломлен, ощутил себя неимоверно униженным. И потерял уверенность в себе. Он тут же отказался от своей бродячей жизни и, добравшись до ближайшего открытого порта, попросил начальника таможни взять его простым таможенником. Найти на подобное место белого было непросто, и тем, кто на него соглашался, лишних вопросов не задавали. Его взяли, и вы можете увидеть его там и сейчас — загорелый дочерна бритый мужчина лет сорока пяти, довольно толстый, в аккуратной синей форменной одежде, влезает на борт пароходов и джонок в речном городке, где заместитель начальника округа, почтмейстер, миссионер и он сам — единственные европейцы. Его познания в китайском языке и обычаях делают его бесценным служащим. У него есть миниатюрная желтая жена и четверо детей. Он не стыдится своего прошлого и за рюмочкой крепкого виски расскажет вам всю эпопею своих скитаний. Но побои — вот через что он не может переступить. Они все еще его удивляют, и он не в состоянии, ну, просто не в состоянии понять, что, собственно, произошло. Дурных чувств он к судье не питает: наоборот, это щекочет его чувство юмора.

— Лихой старикан, ну, лихой, — говорит он. — Хватило же наглости!

XXVIII. СТОЛОВАЯ

Это была необъятная комната в необъятном доме. Когда он строился, строительство обходилось дешево, и князья торговли тех дней строили с размахом. Деньги тогда наживались легко, и жизнь окружалась роскошью. Стать богатым

не составляло особого труда, и человек мог возвратиться в Англию еще относительно молодым и доживать свои дни среди такой же роскоши в прекрасном доме где-нибудь в Суррее. Правда, население было враждебно, в любую минуту могли вспыхнуть беспорядки, и пришлось бы бежать, спасаясь от смерти, но это лишь добавляло малую толику остроты к безмятежному существованию, а когда оно оказывалось под серьезной угрозой, почти наверное появлялась канонерка, обеспечивая защиту или убежище. Иностранная община, сплоченная многочисленными брачными союзами, отличалась хлебосольством, и члсны ее устраивали друг другу пышные приемы. Они давали чопорные обеды, танцевальные и карточные вечера. Дела оставляли достаточно свободного времени, чтобы посвящать несколько дней охоте на уток в глубине провинции. Летом, бесспорно, стояла страшная жара, и человек приучался не слишком надрываться в эти месяцы, зато весь остальной год погода была просто теплой, небо — синим, воздух — душистым, и жизнь текла очень приятно. Допускалась определенная свобода поведения, и никому это не ставилось в упрек, при условии, что живущая с ним ясноглазая китаяночка не будет навязываться вниманию дам. Когда он вступал в брак, китаяночка отсылалась к родным с подарком, а дети, если они были, росли в шанхайском евразийском пансионе, ни в чем не нуждаясь.

Но эта полная довольства жизнь канула в прошлое. Порт жил торговлей чаем и разорился, когда в моду вместо китайских вошли цейлонские сорта. Тридцать лет порт умирал. Прежде у консула там были два вице-консула, облегчавшие ему труды, но теперь он легко справлялся со всей работой сам. Обычно ему удавалось выкроить время для гольфа во второй половине дня, и он редко отказывался от партии в бридж, ссылаясь на занятость. От прежнего пышного расцвета сохранились только огромные склады, но почти все они стояли пустые. Торговцы чаем — те, которые еще остались, — брались за что угодно еще, лишь бы сводить концы с концами. Но усилия их были вялыми. Все в порту казалось одряхлевшим. Молодым людям делать там было нечего.

Комната, в которой я сидел, словно рассказывала мне историю прошлого и историю того, кого я ждал. Было воскресное утро, и, когда я после двухдневного плавания сошел на берег с каботажного судна, он еще не вернулся из церкви. Я пытался нарисовать его портрет по обстановке комнаты. В ней чудилось что-то жалкое. Она хранила великолетие былых лет, но великолетие обветшалое, и царивший в ней порядок, не знаю почему, словно подчеркивал

стыдливую бедность. Пол был устлан гигантским турецким ковром, в семидесятых, несомненно, стоившим больших денег, но он уже совсем истерся. Необъятный стол красного дерева, за которым съедалось столько изысканных обедов, запивавшихся превосходными винами, был так отполирован, что в него можно было смотреться, как в зеркало. Он ассоциировался с портвейном — выдержанным, золотисто-багряным, с преуспевающими краснолицыми джентльменами, которые носили бакенбарды и обсуждали проделки этого шарлатана Дизраэли. Стены были того темно-красного цвета, который считался приличным для столовой в дни, когда обед нес важную светскую функцию, и увешаны портретами. Родители хозяина дома: пожилой лысый господин с седыми бакенбардами и суровая смуглая старая дама, причесанная а-ля императрица Евгения. И еще его бабушка в пышном чепце. Буфет красного дерева с зеркалом в глубине обременяли подносы накладного серебра и чайный сервиз и еще всякая всячина, а на середине стола красовалось внушительных размеров декоративное нечто из серебра. На каминной полке из черного мрамора стояли черные мраморные часы, обрамленные черными мраморными вазами, а по четырем углам комнаты расположились витрины, заставленные всевозможными серебряными безделушками. Несколько больших пальм раскидывали над паркетом жесткие листья. Массивные красного дерева стулья, набитые конским волосом и обтянутые красной кожей, два таких же кресла по сторонам камина. Комната, несмотря на свою величину, казалась заставленной, но все выглядело таким старым, что она наводила грусть. Чудилось, что все эти вещи обладают собственной жизнью, но жизнью угасающей, ибо обстоятельства оказались сильнее их. У них не осталось энергии бороться с судьбой, но они льнули друг к другу с робкой настойчивостью, словно смутно ощущали, что только так сумеют сохранить свою значимость. И меня охватило предчувствие, что скоро наступит конец и они будут небрежно, кое-как составлены в унылом холоде аукционного зала, а с задней стороны у них будут наклеены номерки

XXIX. АРАБЕСКА

Из туманной дымки, необъятная, величественная, безмолвная и грозная, вставала Великая Китайская стена. В гордом одиночестве с невозмутимым равнодушием самой Природы она взбиралась по горному склону и уходила вниз,

в долину. Над ней через положенные промежутки воинственно поднимались сторожевые башни, квадратные и угрюмые. Она беспощадно — ведь постройка ее обошла в миллион жизней, и каждый из огромных серых камней был окроплен кровавыми слезами пленника или изгоя — пролагала свой темный путь среди моря горных отрогов. В своем бесконечном путешествии она углубляется бесстрашно в самые недоступные внутренние области Азии, совершенно одна, мистически уподобляясь великой империи, которую охраняла. Из туманной дымки, необъятная, величественная, безмолвная и грозная, вставала Великая Китайская стена.

XXX. КОНСУЛ

Мистер Пит был вне себя от раздражения. За двадцать с лишним лет службы в консульствах ему приходилось иметь дело со всевозможными нестерпимыми людьми: чиновниками, недоступными голосу рассудка, торговцами, считавшими британское правительство агентством по взысканию долгов, миссионерами, восстававшими на любую попытку сохранять беспристрастность, но он не мог вспомнить другого случая, который поставил бы его настолько в тупик. Человек мягкий, он без всякой причины вдруг накинулся на своего секретаря и чуть было не уволил евразийского клерка за две орфографические ошибки в поданной ему на подпись бумаге. Он был добросовестным человеком и подумать не мог покинуть свой кабинет, прежде чем часы пробьют четыре, но едва это произошло, как он вскочил на ноги и приказал подать ему шляпу и трость. Бой замешкался, и он свирепо отругал его. Говорят, все консулы обзаводятся странностями, — коммерсанты, способные прожить в Китае тридцать пять лет, не выучив и десятка китайских слов, чтобы спросить дорогу на улице, утверждают, будто причина заключается в необходимости изучать китайский язык. И мистер Пит, бесспорно, отличался кое-какими странностями. Он был холост, а потому его назначали в городки, которые считались малоподходящими для людей женатых из-за своего уединенного местоположения. Продолжительное одиночество способствовало тому, что его эксцентрические наклонности развились в необычной степени, и его привычки приводили в недоумение незнакомых людей. Он был очень рассеян. Он не обращал внимания ни на свой дом, в котором всегда царил страшный беспорядок, ни на то, что ел: слуги кормили его чем хотели

и за все заставляли платить втридорога. Он был неутомим в своих усилиях положить конец контрабанде опиума — и только он один в городке не знал, что его бои прячут опиум прямо в консульстве и торговля наркотиком бойко ведется через задние ворота. Он был заядлым коллекционером, и в резиденциях, которые ему предоставляло правительство, было тесно от предметов, собранных им в те или иные годы. Оловянная посуда, изделия из бронзы и из дерева — а вдобавок он коллекционировал птичьи яйца, ярлыки отелей и почтовые марки. По его утверждению, его коллекция марок была лучшей в Британской империи. В глуши он много читал, и, хотя настоящим синологом не стал, о Китае, его истории, литературе и народе он знал гораздо больше многих и многих своих коллег. Но чтение развило в нем не терпимость, а тщеславие. И вид у него был своеобразный. Тощий, щупленький, он, когда двигался, напоминал сухой лист, танцующий на ветру, и было нечто неопишимо странное в маленькой тирольской шляпе с петушиным пером, очень старой и потрепанной, которую он лихо заламывал на своей крупной голове. Лыс он был абсолютно. Молочно-голубые глаза за стеклами очков выглядели подслеповатыми, а обвисшие клочковатые усы не маскировали брюзгливой складки губ. И теперь, пройдя по улице, на которой располагалось консульство, он направился к городской стене — единственному месту в перенаселенном городе, где можно было прогуливаться с удовольствием.

Свои обязанности он принимал близко к сердцу и изводил себя из-за всяких пустяков, но, как правило, прогулка по стене успокаивала его, приносила ему отдохновение. Город стоял на обширной равнине, и на закате со стены нередко удавалось разглядеть в отдалении снежные вершины гор — гор Тибета. Но на этот раз он шел быстрым шагом, не глядя по сторонам, не глядя на своего толстенького спаниеля, который резвился возле него. Он быстро и монотонно бормотал себе под нос. Причиной его раздражения была дама, которая посетила его в этот день. Она называла себя миссис Ю, а он с консульским педантизмом называл ее мисс Ламберт. Одно это делало их беседу неприятной. Она, англичанка, была замужем за китайцем. Два года назад она приехала сюда с мужем из Англии, где тот учился в Лондонском университете. Он внушил ей, что у себя на родине он — важная персона, и она воображала, будто здесь ее ждет роскошный дворец и высокое положение в обществе. И разочарование было жестоким, когда он привез ее в ветхий, кишачий людьми китайский дом. В нем

не было даже человеческой кровати, даже столового ножа с вилкой, и все ей казалось грязным и вонючим. Она была ошеломлена, узнав, что ей предстоит жить под одной крышей с отцом и матерью ее мужа,— и он тут же предупредил ее, что она должна слушаться его матери беспрекословно. О китайских обычаях она не знала ровно ничего, и прошло три дня, прежде чем ей стало ясно, что она — не единственная жена своего мужа. Его женили почти еще мальчиком, до того как он покинул родной город, чтобы заимствовать у варваров их познания. Когда она горько упрекнула его за обман, он пожал плечами. Любой китаец, если он того хочет, имеет право обзавестись двумя женами, и, добавил он, несколько уклоняясь от истины, китайские женщины ничего дурного в этом не видят. После этого открытия она и посетила консула в первый раз. Он уже слышал о ее приезде — в Китае все знают все обо всех — и принял ее без удивления. И особого сочувствия она у него не нашла. Самый факт, что европейка вышла замуж за китайца, привел его в негодование, а она к тому же решилась на такой шаг, не наведя никаких справок! Это подействовало на него как личное оскорбление. И по ее внешности в ней никак нельзя было угадать способность на такое безумство. Молодая женщина плотного сложения, невысокая, некрасивая, деловитая. Одета она была в дешевый костюм и носила берет с помпоном. Зубы у нее были скверные, как и цвет лица. Кисти большие, красные, неухоженные. Сразу угадывалось, что черная работа ей не внове. По-английски она говорила с простонародной интонацией.

— Как вы познакомились с мистером Ю? — спросил консул ледяным тоном.

— Видите ли, дело было так, — ответила она. — Папаша хорошее место имел, а когда он помер, мамаша сказала: «Грешно, чтобы все эти комнаты стояли пустыми. Надо будет карточку к окну прилепить, что они сдаются».

Консул перебил ее:

— Он снимал у вас квартиру?

— Ну, не то чтобы квартиру, — ответила она.

— В таком случае, скажем, меблированные комнаты? — ответил консул со своей узкогубой, чуть-чуть самодовольной улыбкой.

Обычное объяснение подобных браков! Затем — поскольку она казалась ему очень глупой и вульгарной женщиной — он без обиняков объяснил ей, что английский закон ее брака с Ю не признает, и лучше всего ей было бы безотлагательно вернуться в Англию. Она расплакалась,

и он слегка смягчился. И обещал, что поручит ее заботам миссионерш, так что долгий путь обратно она проделает не в одиночестве, и вообще, если она хочет, он выяснит, нельзя ли ей будет немедленно перебраться в одну из миссий. Но пока он говорил, мисс Ламберт утерла слезы.

— А чего мне в Англию возвращаться-то? — сказала она. — К кому?

— К вашей матери.

— Так она была против, чтоб я вышла за мистера Ю. И если я вернусь, она меня поедом есть будет.

Консул попробовал ее убедить, но чем больше он убеждал, тем упрямее она отказывалась, и наконец он вышел из себя.

— Если вы хотите остаться здесь с мужчиной, который вам не муж, дело ваше, но я умываю руки и снимаю с себя всякую ответственность.

Ее ответ и сейчас еще болезненно его уязвлял.

— Так чего же вам беспокоиться! — сказала она, и всякий раз, когда он вспоминал о ней, перед его глазами всплывало ее лицо в ту минуту.

С тех пор прошло два года, и видел он ее очень редко. Со свекровью и первой женой своего мужа она ладила очень плохо и раза два обращалась к консулу с нелепейшими вопросами о том, какие у нее есть права согласно китайским законам. Он повторял свое предложение помочь ей уехать, но она по-прежнему отказывалась наотрез, и их разговор неизменно кончался тем, что консул приходил в ярость. Он даже испытывал нечто вроде сочувствия к пройдохе Ю, которому приходилось поддерживать мир между тремя ссорящимися женщинами. По словам его английской жены, он не обходился с ней плохо и пытался поступать справедливо по отношению к обеим своим женам. За это время мисс Ламберт не похорошела. Консул знал, что обычно она ходит в китайской одежде, но к нему она приходила в своем европейском костюме. Она совсем обрюзгла. Китайская еда не шла ей на пользу, и вид у нее был очень больной. Однако он был просто ошеломлен, когда слуга проводил ее к нему в кабинет в этот день. Она была без шляпы, растрепанная и почти в истерике.

— Они меня ядом травят! — взвизгнула она и поставила перед ним миску с каким-то дурно пахнущим месивом. — Отравы, — сказала она. — Я последние десять дней совсем больна была и спаслась просто чудом.

Она пустилась в длинный обстоятельный и вполне правдоподобный рассказ: что странного, если китайки прибе-

нули к обычному средству, чтобы избавиться от ненавистной чужеземки?

— Они знают, что вы пришли сюда?

— Еще бы! Я им сказала, что выведу их на чистую воду

Наконец-то настал момент для действенных мер: консул принял свой самый официальный вид.

— Вам нельзя возвращаться туда. Я отказываюсь смириться с вашим вздором. Я требую, чтобы вы оставили этого человека, который вам не муж.

Но перед ослиным упрямством этой женщины он оказался бессилён. Он повторил все аргументы, которые так часто пускал в ход, но она не слушала, и, как обычно, он вышел из себя. Вот тогда-то в ответ на его последний возмущенный вопрос она и произнесла слова, которые совершенно выбили его из колеи.

— Но что вас заставляет оставаться с ним? — вскричал он.

Она замаялась, и на лице у нее появилось странное выражение.

— У него волосы надо лбом растут как-то так, что просто за сердце берет, — ответила она.

Ничего столь возмутительного консул еще никогда не слышал. Это явилось последней каплей. И вот теперь, быстро шагая вперед в попытке утишить свой гнев, он, хотя всегда избегал крепких выражений, не сумел удержаться и пробормотал свирепо:

— Все бабы стервы!

XXXI. ЮНОША

Он шел по дороге легким уверенным шагом. Семнадцатилетний, высокий, худощавый, с гладкой желтой кожей, не знавшей бритвы. Его глаза, лишь чуть раскосые, были большими, широко открытыми, а на пухлых алых губах трепетала улыбка. В его осанке сквозила веселая дерзость юности. Круглая шапочка бойко сидела на голове, черное одеяние было перепоясано на чреслах, а штаны, как правило перевязываемые у щиколотки, засучены до колен. Он был бос, если не считать тонких соломенных сандалий, а ступни у него были небольшие и изящные. Он шел с раннего утра по мощеной дороге, которая извивалась змеей то вверх по склонам холмов, то по долинам среди бесчисленных рисовых полей — мимо тесных кладбищ, через хлопотливые деревни, где, быть может его глаза

одобрительно задерживались на какой-нибудь хорошенькой девушке в синей кофте и коротких синих штанах, которая сидела на пороге своего дома (хотя, я думаю, его взгляд требовал восхищения, а не дарил его). И вот теперь он приближается к концу своего пути — к городу, где он думает найти свое счастье. Город этот стоит посреди плодородной равнины, окружен зубчатой стеной, и при виде его юноша решительно ускоряет шаг. Он смело откидывает голову. Он гордится своей силой. Все его имущество покоится в синем узелке, который он несет за плечом.

Дик Уиттингтон отправился на поиски славы и богатства в обществе кота, а этот китаец нес круглую клетку с красными прутьями, которую изящно держал большим и указательным пальцами, и сидел в клетке красивый зеленый попугай.

XXXII. ФАННИНГИ

Они жили в прекрасном, опоясанном верандой, квадратном доме на пологом холме над рекой, а чуть ниже находился еще один прекрасный квадратный дом, в котором помещалась таможня, куда — потому что он был помощником комиссара — Фаннинг ходил каждый день. До города было пять миль, а на речном берегу приютилось крохотное селение, возникшее, чтобы снабжать джонки материалами или припасами, которые могли им понадобиться. В городе жили миссионеры, но он их видел редко, и единственными чужеземцами в селении, кроме них, были два таможенника — бывший матрос первой статьи и итальянец. Оба женатые на китайках. Фаннинги приглашали их на завтрак в день Рождества и в день рождения короля, но в остальном отношения с ними оставались чисто служебными. Пароходы причаливали не больше чем на полчаса, и ни капитана, ни старшего механика — единственных белых на борту — они не видели, а на протяжении пяти месяцев в году вода в реке стояла низко, и пароходы вообще не ходили. Как ни странно, именно в эти месяцы они чаще всего видели европейцев: время от времени какой-нибудь путешественник, торговец, но чаще всего миссионер, плывший вверх по течению на джонке, причаливал на ночлег, и помощник комиссара, спустившись к реке, приглашал его отобедать у них. Так что жизнь они вели одинокую.

Фаннинг был абсолютно лысым коренастым коротышкой, курносый и с очень черными усами. Он был педан-

тичен, требователен, резок и держался очень агрессивно. К китайцам он обращался только громким отрывистым тоном категорического приказа. По-китайски он говорил свободно, но стоило какому-нибудь «бою» чем-то его прогневить, он обругивал его по-английски. Впечатление он производил неприятное, пока вы не обнаруживали, что агрессивность была всего лишь броней, под которой пряталась болезненная застенчивость. Это была победа воли над характером. Сварливая резкость рождалась из почти абсурдной попытки доказать тем, с кем ему приходилось иметь дело, что он их не боится. Возникало ощущение, что сам он больше всех удивлен, что его воспринимают серьезно. Он напоминал те забавные резиновые фигурки, которые дети надувают, точно воздушные шарики, и казалось, его снедает страх, как бы не лопнуть: ведь тогда все увидят, что он всего лишь полый пузырь. И его жена использовала каждый случай, чтобы внушить ему, какой он железный человек, и после очередной вспышки говорила ему:

— Когда ты впадаешь в такой гнев, я просто пугаюсь!

Или:

— Пожалуй, мне следует немножко успокоить боя: твои слова привели его просто в ужас.

Тут Фаннинг выпячивал грудь и снисходительно улыбался.

А случайным гостям она объявляла:

— Китайцы безумно боятся моего мужа, но, разумеется, уважают его. Знают, что с ним их обычные штучки бесполезны.

— Ну, естественно, я знаю, как надо с ними обходиться,— отвечал он, насупив брови.— Как-никак я живу в этой стране двадцать лет.

Миссис Фаннинг была маленькая некрасивая женщина, сморщенная как печеное яблоко, с крупным носом и плохими зубами. Она всегда выглядела очень неряшливо, а ее седеющие волосы то и дело выбивались из прически. Во время разговора она рассеянно вытаскивала одну-две шпильки, встряхивала головой и, даже не взглянув в зеркало, кое-как закалывала жидкие пряди. Ей нравились яркие краски, и она носила фантастические одеяния, идеи которых вместе со швей-китайкой черпала из модных журналов. Но, одеваясь, она вечно не могла найти то, с чем следовало носить это, а также это, с чем следовало носить то, и выглядела так, словно ее спасли с тонущего корабля и одели во что попало. Она походила на карикатуру, и, глядя на нее, трудно было удержаться от улыбки. Единственно привлекательным в ней был ее голос, негромкий

и чрезвычайно музыкальный, и говорила она с легкой отяжкой, характерной уж не знаю для какого английского графства. У Фаннинггов было двое сыновей — девяти и семи лет — вот, собственно, и все обитатели дома над рекой. Мальчики были симпатичные, ласковые, не стеснительные, и наблюдать эту дружную семью доставляло большое удовольствие. У них были свои семейные шутки, очень их забавлявшие, и они устраивали всякие шалости, словно никому среди них еще не исполнилось одиннадцати лет. Хотя они все время находились в обществе друг друга, создавалось впечатление, что всякое расставание для них невыносимо: каждый день, когда Фаннинг отправлялся на службу, мальчики еле отпускали его, и каждый день, когда он возвращался, они встречали его неумным восторгом. Его ворчливой агрессивности они несколько не боялись.

И вскоре вы обнаруживали, что фокусом безоблачной гармонии была эта маленькая смешная некрасивая женщина. Не случайность спланивала семью и не особая доброжелательность ее членов, но жившая в этой женщине страстная любовь. С минуты пробуждения и до отхода ко сну все ее мысли были заняты удобствами и благополучием трех мужчин, оказавшихся у нее под крылом. Ее изобретательный ум строил план за планом, как сделать их счастливыми. Мне кажется, мысль о себе даже не мелькала в ее растрепанной голове. Она была чудом самоотверженности. В этом мерещилось что-то нечеловеческое. Никто не слышал от нее сердитого слова. Она была очень радушна, — и это она посылала мужа к реке приглашать путешественников пообедать у них. Хотя, по моему, гости нужны ей были не для себя: сама она была вполне счастлива в их уединении, но полагала, что ее мужу приятно скоротать вечер с заезжими людьми.

— Я хочу, чтобы он мог иногда встряхнуться, — говорила она. — Мой бедный муж! Он скучает без бильярда и бриджа. Мужчине очень тяжело, когда ему не с кем поговорить, кроме женщины.

Каждый вечер, после того как дети были уложены, они играли в пикет. Она, бедняжка, ничего в картах не понимала и постоянно допускала ошибки, но, когда муж бранил ее, она говорила.

— Нельзя же требовать, чтобы все были умны, как ты.

И потому, что говорила она с глубокой искренностью, в него не хватало духа рассердиться на нее. Затем, когда помощнику комиссара надоедало выигрывать у нее, они заводили граммофон и, сидя рядышком, молча слушали

последние модные песни из лондонских музыкальных комедий. Задирайте нос, если вам угодно. Но они жили в десяти тысячах миль от Англии, и это была их единственная связь с родиной, которую они любили. У них возникало чувство, что они не совсем отторгнуты от цивилизованного мира. А потом они начинали говорить, как устроят детей, когда те подрастут,—ведь скоро их нужно будет отослать домой в школу, и, быть может, сердце маленькой женщины болезненно сжималось.

— Тебе будет тяжело, Берти, когда они уедут,—говорила она.—Но может быть, нас переведут куда-нибудь, где будет клуб, и тогда ты сможешь играть там в бридж по вечерам.

XXXIII ПЕСНЬ РЕКИ

На реке вы все время ее слышите. Звучно и громко—от гребцов, которые гонят вниз по быстрому течению джонку с высокой кормой и мачтой, привязанной к борту. Надрывным напевом—от впряженных в лямки людей, которые отчаянно пытаются преодолеть силу течения вшестером, если волокут через быстрины вупан, или сотней-другой, когда впряжены в великолепную джонку с поставленным квадратным парусом. На палубе джонки стоит человек и непрерывно бьет в барабан, задавая ритм их движениям, и они тянут, напрягая все силы, как одержимые, сгибаясь в три погибели, а порой, на пределе возможного, ползут по земле на четвереньках, как звери полевые. Они напрягаются, напрягаются, напрягаются, борясь с безжалостной мощностью потока. Старшой прохаживается взад и вперед вдоль вереницы и, заметив того, кто не отдается своей задаче целиком, бьет по нагой спине расщепленной бамбучиной. Каждый обязан вкладывать максимум усилий, иначе труд всех окажется тщетным. И тем не менее они ни на миг не обрывают свой напев, неистовый, властный, как бурные воды. Я не знаю, какими словами можно передать нескончаемое усилие. В этом напеве воплощены перенапряженное сердце, грозящие лопнуть мышцы и одновременно—неукротимый дух человека, побеждающего безжалостную стихию. Пусть порвется канат и огромную джонку потащит обратно, рано или поздно быстрины останутся позади, а после дня изнуряющего труда их ждет сытная еда, а может быть, и трубочка опиума, дарящая блаженные сны. Но самая страдальческая песнь—это песнь кули, таскающих

огромные тюки хлопка с джонки по крутой лестнице к городской стене. Они поднимаются и спускаются без конца, и бесконечные, как их труд, звучат ритмические вопли. Хи, о-а, ох! Они босы, обнажены по пояс. По их лицам струится пот, и песня их — мучительный стон. Это вздох отчаяния, она обжигает сердце состраданием, она почти нечеловеческая. Это вопль агонизирующих душ, на самой грани музыкальности, а в заключительной ноте — последнее рыдание рода людского. Жизнь слишком тяжела, слишком жестока, и это — заключительный безнадежный протест. Вот она — песнь реки.

XXXIV. МИРАЖ

Он высок, с выпуклыми небесно-голубыми глазами и застенчивыми манерами. Когда глядишь на него, начинает казаться, что он великоват для своей кожи и ему было бы легче, если бы она не так туго натягивалась. Волосы, очень гладкие и упругие, так плотно прилегают к голове, что кажутся париком, и вы с трудом подавляете желание подержать за них. Болтать о пустяках он не умеет и, напрягая мозг в поисках темы для разговора, в отчаянии предлагает вам виски с содовой.

Он возглавляет отделение БАТ, и здание, в котором он живет, одновременно служит конторой, складом и резиденцией управляющего. Гостиная обставлена унылой мягкой мебелью, аккуратно выстроенной по стенам, а середину комнаты занимает круглый стол. Висячая керосиновая лампа обеспечивает тусклый свет, а керосиновая печка — тепло. Где положено в роскошных рамках висят олеографии из рождественских номеров американских журналов. Но он в этой комнате не сидит. Свободные часы он проводит у себя в спальне. В Америке он жил в мебелированных, где только в спальне мог побыть наедине с собой, и у него выработалась привычка жить в спальне. Сидеть в гостиной ему кажется противоестественным: снимать там пиджак ему неловко, а по-домашнему он чувствует себя, только сняв пиджак. Свои книги и личные вещи он держит в спальне. Там у него есть и письменный стол, и кресло-качалка.

Он прожил в Китае уже пять лет, но китайского не знает и не интересуется народом, среди которого ему, возможно, предстоит прожить лучшие годы. В конторе у него есть переводчик, а в доме всем заведует старший бой. Иногда он отправляется в Монголию и проезжает несколько сот миль

по диким гористым местам в китайской повозке или верхом на низкорослой лошадке, ночуя в придорожных гостиницах среди торговцев, гуртовщиков, пастухов, солдат, всяких темных личностей и головорезов. Это беспокойный край, и, когда вспыхивают беспорядки, он подвергается немалому риску. Но поездки чисто деловые. Они ему надоели. И он всегда с радостью возвращается в свою обжитую спальню в здании БАТ. Потому что он большой любитель чтения. Читает он исключительно американские журналы, и количество их, которое он получает с каждой почтой, просто поразительно. Он не выбрасывает их, и по всему дому они громоздятся кипами. Город, в котором он живет,— это ворота из Монголии в Китай, через эти ворота течет неиссякаемый поток монголов с верблюдскими караванами; нескончаемые процессии запряженных волами повозок, везущих шкуры через необъятные азиатские просторы, грохочут по городским мостовым. А он скучает. Ему и в голову не приходит, что он ведет жизнь, где его со всех сторон подстерегают приключения. Их он способен распознать только на печатных страницах. И, чтобы взволновать его кровь, требуется рассказ о стрельбе и погонях в Техасе или Неваде, о невероятных спасениях в последнюю секунду на островах Южного моря.

XXXV. НЕИЗВЕСТНЫЙ

Выбраться в этот палящий зной из города было благом. Миссионер сошел на берег с катера, в котором с удовольствием плыл вниз по реке, и удобно устроился в кресле, ожидавшем его у края воды. Его пронесли через деревню на реке, а там начинался подъем в гору. Ему предстоял еще час пути по широким каменным ступеням под елями, между которыми порой открывался восхитительный вид на могучую реку, сверкающую на солнце в обрамлении ликующей зелени рисовых полей. Носильщики шли ровным плавным шагом. Их потные спины блестели. Это была священная гора с буддийским монастырем на вершине, и у дороги располагались беседки для отдыха, где кули ставили кресло на землю и монах в сером одеянии подавал вам чашку цветочного чаю. Воздух был свеж и душист. Приятность этого неторопливого путешествия — покачивание кресла навевало успокоение — искупала день, проведенный в городе. А в конце пути его ждало уютное бунгало, в котором он обитал летом, и впереди был душистый вечер. В этот день

пришла почта, и он вез с собой письма и газеты. Четыре номера «Сатердей ивнинг пост» и четыре «Литерари дайджест». Да, его ждало все самое приятное, и обычный тихий мир (мир превыше всякого ума, как он любил повторять за апостолом Павлом), преисполнявший его всякий раз, когда он оказывался среди этих зеленых деревьев вдали от кишящего людьми города, давно уже должен был бы снизойти на него.

Но он был раздражен. Неприятная встреча — и, при всей ее пустячности, ему никак не удавалось забыть о ней. Поэтому-то его лицо хранило досадливое выражение. Это было тонкое, почти аскетическое лицо с правильными чертами и умными глазами. Он был долговязым, очень худым, с ногами-спичками, как у кузнечика, и, покачиваясь в кресле в такт шагам носильщиков, несколько гротескно, напоминал увядшую лилию. Кроткая душа. Он был не способен обидеть и мухи.

На городской улице он случайно столкнулся с доктором Сондерсом, маленьким, седым, с красным лицом и курносым носом, придававшим ему неожиданно нахальное выражение. У него был широкий чувственный рот, и, смеясь — а смеялся он часто, — он показывал гнилые потемневшие зубы. Когда он смеялся, вокруг его голубых глазок складывались странные морщинки, и он выглядел воплощением злорадства. В нем было что-то от фавна. Быстрые, неожиданные движения. Торопливая, подпрыгивающая походка, словно он все время куда-то спешил. Он был врачом, который жил в самом сердце города среди китайцев. Он не значился в медицинском реестре, но кто-то не поленился раскопать, что в свое время диплом он получил, а вот почему его вычеркнули из реестра, за профессиональный или чисто личный проступок, не знал никто. Оставалось неизвестным, каким образом он попал на Восток и в конце концов обосновался в Китае. Но было очевидно, что врач он прекрасный, и китайцы питали к нему большое доверие. Европейцев он избегал, и о нем ходили не слишком приятные истории. Шапочко с ним были знакомы все, но никто не приглашал его к себе, и никто у него не бывал.

Когда они встретились днем, доктор Сондерс воскликнул:

— Что привело вас в город в такое время года?

— У меня есть кое-какие неотложные дела, — ответил миссионер, — а кроме того, я хотел забрать почту.

— На днях вас тут спрашивал какой-то неизвестный, — сказал доктор.

— Меня? — с удивлением переспросил миссионер.

— Ну, не то чтобы лично вас,— объяснил доктор.— Он спросил, как пройти к американской миссии. Я сказал ему, но добавил, что он там никого не найдет. Он, казалось, удивился, и я объяснил, что в мае вы все уехали в горы и вернетесь только в сентябре.

— Иностранец? — спросил миссионер, все еще недоумевая, кто бы это мог быть.

— Да-да, несомненно! — Глаза доктора поблескивали.— Тогда он спросил меня о других миссиях. Я сказал, что у лондонской миссии тут тоже есть отделение, но и туда ходить не стоит — все миссионеры сейчас в горах. В конце-то концов, в городе дьявольски жарко. «В таком случае я хотел бы посмотреть школы при миссиях», — сказал неизвестный. «Они все закрыты», — сказал я. «Ну, так я зайду в больницу». — «Да, там стоит побывать», — говорю я. — Американская больница располагает новейшим оборудованием. И операционная просто чудо». — «А как фамилия главного врача?» — «О, он в горах». — «А как же больные?» — «Больных, — отвечаю, — между маем и сентябрем не бывает. А если заведутся, придется им обойтись туземными лекарями».

Доктор Сондерс умолк. Миссионер чуть досадливо поморщился.

— Так что же? — спросил он.

— Неизвестный посмотрел на меня нерешительно, а потом сказал: «Я хотел, пока я здесь, побывать в миссиях». — «Загляните к католикам», — сказал я. — «Они тут круглый год». — «А когда же они отдыхают?» — спросил он. «А никогда», — ответил я. Тут он ушел. По-моему, он направился к испанским монахиням.

Миссионер попал в расставленную ему ловушку, и его раздражало воспоминание о том, каким простаком он оказался. Ему следовало догадаться!

— Так кто же это был? — осведомился он простодушно.

— Я спросил, как его имя, — сказал доктор. — «А? Я Христос», — ответил он.

Миссионер пожал плечами и резко велел рикше везти его дальше.

Это крайне его расстроило. Так несправедливо! Разумеется, они уезжали с мая по сентябрь. Жара клала конец всякой полезной деятельности, и горький опыт показывал, что миссионеры лучше сохраняют здоровье и силы, если проводят жаркие месяцы в горах. Больной миссионер — только обуза. Все решает практика, и, вне всяких сомнений, труды на ниве Господней оказываются плодотворнее, если некая часть года отводится для отдыха

и здоровых развлечений. И этот намек на католиков был уж вообще грубейшей несправедливостью. Они не вступают в брак. Им не надо заботиться о семье. А смертность среди них просто ужасающа. Да ведь в этом самом городе из четырнадцати монахинь, приехавших в Китай десять лет назад, живы еще только три! Им-то легко! Им просто удобнее жить в центре города и оставаться там весь год — удобнее для их работы. У них нет никаких уз. У них нет обязанностей перед близкими и любимыми. Нет, абсолютно нечестно приплетать сюда католиков!

Внезапно его осенила новая мысль. Ему особенно досаждало, что он оставил последнее слово за негодяем доктором (стоило только взглянуть на его сморщившуюся от злорадства физиономию, чтобы понять, какой он мерзавец!). А ведь доктора можно было поставить на место, только он в ту минуту растерялся, и вот теперь он нашел нужный ответ! Его охватило приятное чувство, и ему даже показалось, что он все-таки ответил. Да, сокрушающий ответ — он удовлетворенно потер худые руки с длинными пальцами. «Любезный сэръ, — следовало ему сказать, — на всем протяжении своего земного служения Господь наш ни разу не утверждал, что он — Христос!» О, такой поразительный удар отразить было бы нечем! И, смакуя его, миссионер забыл свою досаду.

XXXVI. ДЕМОКРАТИЯ

Вечер был холодный. Я кончил ужин, и мой бой стелил мне постель, а я сидел возле жаровни, в которой тлели древесные угли. Почти все кули уже устроились на ночь в соседней комнате, и сквозь тоненькую перегородку я слышал, как двое переговариваются. Час назад прибыла еще компания путешественников, и маленькая гостиница была переполнена. Внезапно раздался шум, и, подойдя к двери, я увидел, что во двор внесли три кресла. Их поставили прямо напротив меня, и из первого вылез китаец весьма внушительной наружности. На нем было длинное одеяние из черного фигурного шелка, подбитое белкой, а на голове квадратная меховая шапка. Увидев меня в лучшей комнате гостиницы, он как будто несколько растерялся и, повернувшись к хозяину, что-то властно ему сказал. Выяснилось, что он какой-то чиновник и очень недоволен, что лучшая комната в гостинице уже занята. Ему сказали, что свободна только одна комната — маленькая, с постелями из соломы,

наваленной у стен, где, как правило, ночуют только кули. Он пришел в неопиcуемый гнев, и разыгралась весьма впечатляющая сцена. Чиновник, два его спутника и носильщики бурно негодовали на наносимое ему оскорбление, а хозяин гостиницы и слуги объясняли, доказывали, умоляли. Чиновник бушевал и грозил. Несколько минут двор, мгновение назад такой тихий, гремел гневными выкриками. Затем, оборвавшись столь же внезапно, как и возникнув, шум прекратился, и чиновник вошел в предложенную ему комнату. Оборванный слуга принес горячую воду, а за ним вскоре последовал хозяин с огромными мисками дымящегося риса. И вновь воцарилась тишина.

Час спустя я вышел во двор, чтобы размять ноги перед тем как лечь, и с некоторым изумлением увидел, что дородный чиновник, совсем недавно такой надутый и чванный, сидит за столом у входа в гостиницу в компании самого оборванного из моих кули. Они дружелюбно болтали, а чиновник покуривал хукку. Он поднял эту бурю, чтобы не потерять лица, но, достигнув своей цели и нуждаясь в собеседнике, принял общество кули, не заботясь о сословных различиях. Держался он вполне благодушно, без малейшего следа снисходительности. Кули же разговаривал с ним, как с равным. Мне это показалось истинной демократией. На Востоке люди равны в ином смысле, чем в Европе и Америке. Общественное положение и богатство ставят человека выше других как бы случайно и не препятствуют дружескому общению.

Лежа в постели, я спросил себя, почему на деспотичном Востоке между людьми возможно равенство куда большее, чем на свободном и демократическом Западе, и был вынужден прийти к заключению, что объяснение следует искать в выгребной яме. Ибо на Западе нас от наших ближних отчуждает обоняние. Рабочий — наш господин, склонный править нами железной рукой, но нельзя отрицать, что от него воняет, и не удивительно: на заре, когда спешно собираешься на работу, опережая заводской гудок, о ванне думать некогда, а тяжелый физический труд не овеян благоуханием, да и белье меняешь не так уж часто, если стиркой занимается сварливая жена. Я не виню рабочего за то, что от него воняет, но от него воняет. И для человека с чувствительным носом это затрудняет светское с ним общение. Ежедневная ванна обеспечивает классовую замкнутость куда эффективнее крови, богатства или образования. Недаром романисты, выходцы из трудового сословия, склонны превращать ее в символ классовых предрассудков, а один из наиболее именитых писателей наших дней в своих

занимательных романах неизменно изобличает главных злодеев, указывая, что они принимают ванну каждый день. Ну а китайцы всю жизнь живут в тесном соседстве с самыми гнусными запахами. И не замечают их. Ноздри у них не восприимчивы к ароматам, оскорбляющим европейские носы. А потому они способны быть на равных с земледельцем, кули, ремесленником. Смею думать, что для демократии выгребная яма важнее всех парламентских институтов. Изобретение «санитарных удобств» уничтожило в людях ощущение равенства. Оно повинно в классовой ненависти куда более, чем монополия капитала, сосредоточенного в руках немногих.

Трагично думать, что первый человек, который спустил воду в ватерклозете, своим небрежным жестом похоронил демократию.

XXXVII. АДВЕНТИСТ СЕДЬМОГО ДНЯ

Он был крупным человеком и весьма упитанным. У вас возникало впечатление, что он заметно раздобрел с тех пор, как обзавелся своим костюмом, который казался ему тесен. Но этот синий костюм, видимо купленный в магазине готового платья (лацкан украшал крохотный американский флаг), высокие крахмальные воротнички и белый галстук с узором из незабудок составляли его неизменный наряд. Короткий нос и упрямый подбородок придавали его бритому лицу решительный вид. Глаза за стеклами очков в золотой оправе были большими и голубыми, а поредевшие на висках прямые и тусклые волосы были тщательно прилизаны. Но на затылке торчал мятежный хохолок.

Вверх по Янцзы он плыл впервые, но абсолютно не интересовался окружающим. Не замечал расстилающихся впереди бурных вод могучей реки, не видел красок, грозных и нежных, которыми восходы и закаты расцветивали все вокруг. Вниз по течению величаво плыли большие джонки под квадратными парусами. Поднималась луна, заливая благородную реку серебром и одевая таинственной магией храмы в рожицах по берегам, а он откровенно скучал. В определенные часы он изучал китайский язык и все остальное время читал — но лишь номер «Нью-Йорк таймс» трехмесячной давности и отчет о парламентских дебатах за июль 1915 года, неведомо каким образом очутившийся на борту. Его не интересовали религии, главенствовавшие в стране, куда он явился с благой вестью. Он презрительно

отмахивался от них всех, как от дьявольских культов. Не думаю, что он хотя бы заглянул в «Беседы и суждения» Конфуция. Об истории, искусстве и литературе Китая он не знал ничего.

Я не понимал, что привело его в эту страну. Он говорил о своем служении, как о профессии, которую выбрал, как можно выбрать государственную службу, и, хотя она плохо оплачивается (он жаловался, что зарабатывает меньше хорошего ремесленника), он намерен выполнять свои обязанности со всей добросовестностью. Он хотел увеличить число членов своей церкви, он хотел сделать свою школу самоокупаемой. Если он когда-то и видел свое призвание в том, чтобы обращать язычников, никаких следов этого не сохранилось. Теперь он смотрел на свое служение как на чисто деловое предприятие. Секрет успеха заключался в ключевом слове — организация! Он был прямым, честным и добродетельным, но в нем не было ни страсти, ни энтузиазма. Китайцы, видимо, представлялись ему примитивными людьми, и раз они не знали того, что знал он, то казались ему глубоко невежественными. Он не мог скрыть, что считает себя выше их. Законы, которые они утверждали, белых не касались, и его возмущало, что они хотят, чтобы он считался с их обычаями. Но он был неплохой человек. Даже доброжелательный, и, пока вы не ставили под сомнение его право решать все за всех, он безусловно постарался бы по мере сил услужить вам.

XXXVIII. ФИЛОСОФ

Удивительно было найти столь большой город в столь отдаленной, как мне казалось, безлюдной глуши. С башни его ворот, обращенных к закату, виднелись снежные горы Тибета. Он был так перенаселен, что спокойно прогуливаться вы могли только по стенам, а чтобы обойти их все быстрым шагом, ходуку требовалось три часа. Ближайшая железная дорога находилась в тысяче миль от него, а река, на которой он стоял, была такой мелководной, что плавали по ней только легко нагруженные джонки. В сампане до верхней Янцзы можно было добраться за пять дней. И минуту-другую вы смущенно спрашивали себя, а так ли уж необходимы для жизни поезда и пароходы, как мы привыкли верить. Ведь здесь благополучно проживал миллион человек: люди женились, рождали детей, умирали. Миллион их усердно занимался торговлей, искусством, размышлениями.

И здесь жил именитый философ — желание увидеть его входило в число причин, подвигнувших меня на это не такое уж легкое путешествие. В Китае его считали величайшим знатоком конфуцианства. По слухам, немецкий и английский он знал в совершенстве. Много лет он был секретарем одного из знаменитейших правителей, назначавшихся вдовствующей императрицей, но теперь удалился от дел. Однако круглый год в определенные дни недели его двери были отворены для взыскующих знания, и он беседовал с ними об учении Конфуция. У него был круг учеников, но не многочисленных, так как его скромному жилищу и строгим требованиям молодые люди по большей части предпочитали великолепные здания заморских университетов и практические науки варваров — он же упоминал о них только для того, чтобы с презрением отвергнуть. Судя по всему, что я о нем слышал, он был оригиналом.

Когда я объявил о своем желании посетить этот светоч мудрости, мой гостеприимный хозяин тут же обещал все устроить, однако проходили дни, а об этом ничего не говорилось. Я заговорил сам, и мой хозяин пожал плечами.

— Я послал сказать ему, чтобы он приехал. Не понимаю, почему он не появился. Старик с характером.

Мне показалось, что нельзя обращаться к философу столь бесцеремонно — не удивительно, если подобное приглашение он оставил без ответа. По моему настоянию ему отправили письмо, в котором я в самых почтительных, какие только мог придумать, выражениях осведомлялся, не разрешит ли он мне посетить его, и через два часа получил ответ, что он ждет меня на следующее утро в десять часов.

Меня отнесли туда в кресле. Дорога казалась бесконечной. Мы кружили по людным улицам, пока наконец не оказались в тихом пустом переулке, где носильщики опустили кресло вместе со мной перед дверцей в белой длинной стене. Носильщик постучал в нее, и через довольно долгое время в ней открылось окошечко. В него выглянули темные глаза. Последовали короткие переговоры, и меня наконец впустили. Бледный юноша, весь сморщенный и бедно одетый, сделал мне знак следовать за ним. Я не понял, слуга он или ученик. Мы пересекли убогий дворик, и меня ввели в длинную комнату с низким потолком, скудно обставленную — американское бюро с полукруглой крышкой, пара кресел черного дерева и два китайских столика. Стены были все в полках, на которых теснилось множество книг, по большей части, разумеется, китайских, однако с заметным вкраплением философских и научных трудов на ан-

глийском, французском и немецком языках,— и еще уйма непереплетенных научных журналов. В промежутках между полками висели свитки, на которых было что-то начертано разными каллиграфическими стилями. Изречения Конфуция, решил я. Ковра на полу не было. Комната выглядела холодной, пустой и неудобной. Угрюмость ее смягчалась только желтой хризантемой, которая одна занимала высокую вазу на бюро.

Некоторое время я ждал, потом юноша, проводивший меня сюда, принес чайничек с чаем, две чашки и жестянку виргинских сигарет. В тот миг, когда он покинул комнату, вошел философ. Я поспешил выразить свою благодарность за честь, которой он меня удостоил, согласившись меня принять. Он жестом пригласил меня сесть и разлил чай.

— Я польщен, что вы пожелали со мной познакомиться,— сказал он в ответ.— Ваши соотечественники имеют дело только с кули и с торговцами. По их убеждению, всякий китаец либо то, либо другое.

Я осмелился возразить. Но я не понял его намека. Он откинулся в кресле и насмешливо посмотрел на меня.

— Они считают, что достаточно поманить пальцем и мы обязаны кидаться к ним со всех ног.

Я понял, что злосчастное приглашение моего друга задело его довольно сильно, и, не зная, что ответить, пробормотал что-то лестное.

Он был высоким стариком с жидкой седой косицей и блестящими черными глазами, под которыми набрякли мешки. Зубы у него были щербатые и темные. Худ он был невероятно, и его руки, маленькие и изящные, выглядели иссохшими клешнями. Мне говорили, что он курит опиум. Одет он был бедно— черное одеяние, черная шапочка, заметно поношенные, и темно-серые штаны, завязанные у лодыжек. Он внимательно на меня поглядывал. Очевидно, ему было неясно, как со мной держаться, и в нем чувствовалась настороженность. Среди тех, кто посвятил себя духовности, философ, разумеется, занимает место монарха, а, если верить такому авторитету, как Бенджамин Дизраэли, монархов следует потчевать обильной лестью. Я пустил в ход всю свою изобретательность и вскоре заметил, что он немножко смягчился. Он был словно человек, который позирует фотографу, но, услышав щелчок затвора, расслабляется и становится самим собой. Он показал мне свои книги.

— Степень доктора философии я получил в Берлине, как, может быть, вы знаете,— сказал он.— Потом некоторое время занимался в Оксфорде. Но англичане, если вы

позволите мне так выразиться, к философии не слишком склонны.

Хотя сказано это было извиняющимся тоном, но маленькую шпильку он отпустил с явным удовольствием.

— Однако и у нас были философы, оставившие свой след в мире мысли,— заметил я.

— Юм и Беркли? Философы, преподававшие в Оксфорде, когда я был там, избегали задевать своих богословских коллег. Они не доводили свои рассуждения до логического конца, опасаясь повредить своему положению в университете.

— А вы изучали развитие современной философии в Америке? — спросил я.

— Вы имеете в виду прагматизм? Последнее прибежище тех, кто хочет верить в невероятное? Американскую нефть я нахожу полезнее американской философии.

Его суждения были едкими. Мы вновь сели и выпили еще по чашке чаю. Его речь обрела обстоятельность. Говорил он по-английски очень правильно, хотя свободно пользовался идиоматическими оборотами. Иногда для пояснения своей мысли он вставлял немецкие фразы. В той мере, в какой подобный упрямый человек способен поддаться влиянию, он находился под влиянием немцев. Методичность и трудолюбие немцев произвели на него глубокое впечатление, а их тонкое восприятие философии получило в его глазах неопровержимое доказательство, когда некий дотошный профессор опубликовал в весьма ученом журнале статью об одной из собственных его работ.

— Я написал двадцать книг,— сказал он.— И это — единственное упоминание обо мне в европейских публикациях!

Впрочем, изучение европейской философии в конечном счете лишь окончательно убедило его, что истинная мудрость заключена все-таки в конфуцианском каноне. Эту философию он принял безоговорочно. Она отвечала потребностям его духа с такой полнотой, что вся чужеземная ученость выглядела напрасной тратой времени. Меня это заинтересовало как подтверждение давней моей мысли, что философия опирается более на характер, чем на логику: философ верует в зависимости не от умозрительных доказательств, но согласно своему темпераменту, и разум лишь оправдывает то, в чем его убеждает инстинкт. Если конфуцианство так прочно овладело китайцами, то потому лишь, что оно выражало и объясняло их, как никакая другая система мышления.

Мой хозяин закурил сигарету. Вначале он говорил надтреснутым и утомленным голосом, но, по мере того как

собственные слова все больше его заинтересовывали, голос этот обретал звучность. Говорил он с каким-то исступлением. В нем не было и следа безмятежности легендарных мудрецов. Он был полемистом и бойцом. Современный призыв к индивидуализму внушал ему отвращение. Для него общество означало единство, а семья была основой общества. Он восхвалял старый Китай и старую школу, монархию и жесткий канон Конфуция. С ожесточенной горечью он говорил о нынешних студентах, которые возвращаются из чужеземных университетов и святотатственными руками рвут и крушат старейшую цивилизацию мира.

— Но вы,— вскричал он,— знаете ли вы, что делаете? По какому праву вы смотрите на нас сверху вниз? Превзошли ли вы нас в искусстве и литературе? Уступали ли наши мыслители глубиной вашим? Была ли наша цивилизация менее развитой, менее сложной, менее утонченной, чем ваша? Да ведь когда вы еще жили в пещерах и одевались в шкуры, мы уже были культурным народом. Вам известно, что мы поставили эксперимент, уникальный в истории мира? Мы стремились управлять огромной страной с помощью не силы, но мудрости. И много веков преуспевали в этом. Так почему же белые презирают желтых? Сказать вам? Да потому что белые изобрели пулемет. Вот в чем ваше превосходство. Мы — беззащитная орда, и вы можете разнести нас в клочья. Вы сокрушили мечту наших философов о мире, в котором правят закон и порядок. И теперь вы обучаете вашему секрету нашу молодежь. Вы навязали нам ваши чудовищные изобретения. Или вы не знаете, что в области механики мы гении? Или вы не знаете, что в пределах этой страны трудятся четыреста миллионов самых практичных и прилежных людей в мире? Как по-вашему, много ли нам потребуется времени, чтобы выучиться? И что станет с вашим превосходством, когда желтые научатся делать пушки не хуже, чем белые, и стрелять из них столь же метко? Вы положились на пулемет, и пулеметом будете вы судимы.

Но тут нас прервали. В комнату вошла маленькая девочка и прильнула к старику. Он сказал мне, что это его младшая дочь. Он обнял ее и, что-то ласково шепча, нежно ее поцеловал. На ней была черная кофта и штаны, едва достигавшие ей до лодыжек, а на спину падала длинная коса. Она родилась в тот день, когда революция победоносно завершилась отречением императора.

— Я думал, что девочка явилась провозвестницей Весны новой эры,— сказал он.— Но она была лишь последним цветком Осени великой нации.

Из ящика американского бюро он достал несколько монет, дал их девочке и отослал ее.

— Вы видите, я ношу косу,—сказал он, беря ее в руки.— Это символ. Я последний представитель старого Китая.

Более мягким тоном он поведал мне, как в былые времена философы в сопровождении учеников переходили из княжества в княжество, обучая всех, кто был достоин обучения. Монархи призывали их к себе на совет и назначали правителями городов. Он обладал обширной эрудицией, и его округлые фразы придавали многокрасочную живость эпизодам истории его родины, которые он упоминал. Невольно он представился мне довольно жалким. Он чувствовал в себе способность управлять государством, но не было монарха, который вручил бы ему бразды правления; он был хранителем учености и жаждал передать ее множеству учеников, по которым томилась его душа, а внимать ему приходила лишь горстка бедных, заморенных голодом провинциалов.

Раза два я начинал тактично прощаться, но ему не хотелось меня отпускать. Дольше оставаться я уже не мог и встал. Он задержал мою руку в своих.

— Мне хотелось бы подарить вам что-нибудь на память о вашем посещении последнего философа Китая. Но я беден и не нахожу ничего, что было бы достойно вашего внимания.

Я заверил его, что воспоминание о нашей встрече уже бесценный дар. Он улыбнулся.

— В нынешние демократические дни память людей стала короткой, и мне хотелось бы подарить вам что-нибудь более весомое. Я подарил бы вам одну из моих книг, но вы не читаете по-китайски.

Он поглядел на меня с дружеской растерянностью, и тут меня осенило.

— Подарите мне образчик вашей каллиграфии,—сказал я.

— И вы будете довольны?—Он улыбнулся.— В дни моей юности считали, что я владею кисточкой не столь уж дурно.

Он сел за стол, взял большой лист бумаги и положил перед собой. Капнул водой на камень, потер по нему палочкой туши, взял кисточку и начал писать, свободно двигая рукой от плеча. Следя за ним, я, посмеиваясь про себя, вспомнил еще кое-что, мне про него известное. Как говорили, почтенный старец, едва ему удавалось накопить

немножко денег, расточительно бросал их на ветер в квартале, населенном дамами, для описания которых обычно употребляются эвфемизмы. Его старшего сына, видное лицо в городе, такое скандальное поведение сердило и ставило в унижительное положение. Только сильное чувство сыновьяго долга удерживало его от сурового нагоняя распутнику. Не спорю, такая безнравственность для сына достаточно тяжела, однако те, кто изучает человеческую натуру, смотрят на нее без возмущения. Философы склонны полировать свои теории в кабинетной тиши, делая выводы о жизни, которую знают лишь из вторых рук; и мне часто казалось, что их труды обрели бы большую весомость, испытай они на себе прихоти судьбы, выпадающие на долю обыкновенных людей. Я был готов взглянуть на забавы почтенного старца в злачных местечках с полной снисходительностью. К тому же он, быть может, лишь тщился пролить свет на самую неизъяснимую из человеческих иллюзий.

Он кончил. Чуть-чуть присыпал лист пеплом, чтобы тушь скорее высохла, и встал, протягивая его мне.

— Что вы написали? — спросил я.

Мне показалось, что в его глазах вспыхнул злокозненный огонек.

— Я осмелился преподнести вам два маленьких моих стихотворения.

— Я не знал, что вы к тому же и поэт.

— Когда Китай был еще нецивилизованной страной, — сказал он саркастически, — все образованные люди умели слагать стихи — хотя бы изящно.

Я взял лист и посмотрел на иероглифы. Они сплетались в очень приятный узор.

— Но не напишете ли вы мне и перевод?

— Traduttore — traduttore¹, — ответил он. — Не можете же вы требовать, чтобы я предал себя! Попросите кого-нибудь из своих английских друзей. Те, кто знает о Китае особенно много, не знают ничего, но, конечно, вы найдете такого, кто сумеет перевести вам несколько простых безыскусных строк.

Я попрощался с ним, и с величайшей любезностью он проводил меня до носилок. При первом удобном случае я отдал стихи моему знакомому синологу, и вот они в подстрочном переводе, который он сделал. Признаюсь, что, прочитав их, я был — вероятно, без малейшего на то основания — крайне изумлен.

¹ Переводить — значит предавать (*ит.*).

Ты меня не любила: твой голос был сладок,
Глаза наполнились смехом, руки были нежны.
А потом ты полюбила меня: твой голос был горек,
Глаза наполнились слезами, руки были жестоки.
Как грустно, как грустно, что любовь сделала тебя такой,
Какую нельзя любить.

Я жаждал, чтобы годы проходили быстрее,
Чтобы ты лишалась
Блеска глаз, персиковой нежности кожи
И всего жестокого великолепия своей юности.
Тогда я один буду любить тебя
И наконец-то ты будешь равнодушна ко мне.
Завистливые годы промчались слишком быстро,
И ты лишилась
Блеска глаз, персиковой нежности кожи
И всего чарующего великолепия своей юности.
Увы, я не люблю тебя
И равнодушен к тому, что ты ко мне равнодушна.

XXXIX. МИССИОНЕРША

Ей, несомненно, было по меньшей мере пятьдесят, но годы, прожитые в несгибаемом убеждении, не омраченном и тенью сомнений, не покрыли ее лицо морщинами. Ее чело, не изборожденное следами пытливых мыслей, осталось гладким. Черты лица у нее были крупные и правильные, чуть-чуть мужские, а решительный подбородок подтверждал впечатление от ее глаз. Они были голубые, уверенные, безмятежные. И сквозь большие круглые очки сразу определяли вас. Вы чувствовали, что перед вами женщина, привыкшая и умеющая распоряжаться. Ее милосердие отличалось в первую очередь практичностью, и вы сразу проникались убеждением, что несомненную доброту своего сердца она расходует по-деловому. Можно было предположить, что человеческое тщеславие ей не чуждо (и это следовало засчитать ей как искупительную добродетель), поскольку на ней было платье из темно-лилового шелка, пышно вышитое, и шляпка с гигантскими анютиными глазками, которая на менее почтенной голове могла бы показаться пикантной. Однако мой дядя Генри, двадцать семь лет пребывавший священником Уитстеблского прихода и имевший самые твердые взгляды на то, как положено одеваться супруге духовного лица, никогда не возражал против того, чтобы тетя Софи носила лиловое, и не нашел бы ничего предосудительного в костюме миссионерши. Речь ее текла свободно и ровно, как вода из крана. Беседовала она с восхити-

тельной словоохотливостью политика по окончании предвыборной кампании. Вы чувствовали, что она понимает смысл своих слов (редкое достижение для большинства из нас) и говорит не на ветер.

— Я полагаю,— сказала она мягко,— что, зная обе стороны вопроса, вы будете судить о нем иначе, чем судили бы, зная только одну. Но факт остается фактом: два плюс два равно четырем, и спорьте хоть всю ночь напролет, пяти они равны не будут. Права я или ошибаюсь?

Я поспешил заверить ее, что она абсолютно права, хотя в самой глубине души, учитывая новые теории относительности и странное поведение параллельных линий в бесконечности, я не так уж в этом уверен.

— Никто не может есть пирог и иметь его,— продолжала она,— и за удовольствия надо платить, но, как я всегда объясняю детям, не следует ждать, что все всегда будет по-вашему. Никто не совершенен, и я считаю, что, ожидая от людей самого лучшего, всегда получаешь самое лучшее.

Признаюсь, я был ошеломлен, но твердо решил вносить свою лепту. Этого требовала простая вежливость.

— Люди в большинстве живут достаточно долго, чтобы узнать на опыте, что худа без добра не бывает,— начал я с глубоким убеждением.— Проявляя настойчивость, вы достигнете практически всего, на что способны, и в конце-то концов лучше желать того, что вы имеете, чем иметь то, чего вы желаете.

Как мне показалось, ее глаза при этом моем категорическом утверждении чуточку остекленели от недоумения, но не исключено, что мне это померещилось, поскольку она энергично кивнула.

— Разумеется, я понимаю, что вы имеете в виду,— сказала она.— Мы не можем сделать больше того, что можем.

Но кровь у меня разбушевалась, и, словно не заметив, что меня прервали, я продолжал:

— Мало кто осознает всю глубину неоспоримой истины, что каждый фунт содержит двадцать шиллингов, а каждый шиллинг содержит двенадцать пенсов. Я убежден, что лучше ясно видеть кончик своего носа, чем смутно проникать взглядом сквозь кирпичную стену. И если мы можем быть в чем-то уверены, так лишь в том, что целое всегда больше части.

С характерной твердостью дружески встряхнув на прощание мою руку, она сказала:

— Что же, мы очень интересно побеседовали. Всегда приятно вдали от цивилизации обменяться мыслями с теми, кто тебе интеллектуально равен.

— Особенно чужими,— пробурчал я.

— Я считаю, что великими мыслителями прошлого необходимо пользоваться,— возразила она.— Это показывает, что мертвые гении жили не напрасно.

Ее манера разговаривать была сокрушительной.

XL. ПАРТИЯ В БИЛЬЯРД

Я сидел в вестибюле отеля и читал старый номер «Саут-Чайна таймс», когда дверь в бар довольно резко распахнулась и из нее вышел очень высокий худой человек.

— Не хотите ли сыграть на бильярде? — сказал он.

— С удовольствием.

Отель был небольшой, каменный, со следами архитектурных потуг, и принадлежал португальцу с примесью китайской крови, который курил опиум. Постояльцев не набралось бы и десятка: португальский чиновник с супругой, ожидавшие парохода, который должен был отвезти их в дальнюю колонию, ланкаширский инженер, угрюмо пьяный с утра до вечера, таинственная дама уже не первой молодости, но с пышными формами, которая выходила к столу и сразу же возвращалась к себе в номер. Этого человека я видел впервые и решил, что он приехал вечером с китайским пароходом. На вид я дал бы ему больше пятидесяти, он был весь сморщен, точно тропическое солнце иссушило его соки и придало кирпичную красноту его лицу. Определить, кто он, я не сумел. То ли оставшийся без места шкипер, то ли агент какой-нибудь иностранной фирмы в Гонконге. Он оказался очень молчаливым и не отвечал на мои реплики во время игры. Играл он неплохо, хотя и не блестяще, и оказался очень приятным партнером: загнав в лузу мой шар, предоставил мне возможность отыграться. Но после конца партии я сразу бы забыл о нашем знакомстве, если бы он, впервые нарушив молчание, не задал мне крайне странный вопрос.

— Вы верите в судьбу? — спросил он.

— Играя в бильярд? — спросил я в свою очередь с некоторым удивлением.

— Нет. В жизни.

Отвечать серьезно мне не хотелось.

— Право, не знаю,— ответил я.

Он прицелился и разбил шары. Потом, меля кий, сказал: — А я верю. Я верю, что, если вас что-то ждет, вам от этого не уйти.

И все. Больше он ничего не сказал. Когда мы кончили играть, он ушел к себе в номер, и больше я его не видел. Так я никогда и не узнаю, какое странное чувство толкнуло его задать этот внезапный вопрос совершенно незнакомому человеку.

XLІ. ШКИПЕР

Я понимал, что он пьян.

Он был шкипером новой школы — невысоким бритым человеком и вполне мог сойти за командира подводной лодки. В его каюте висел красивый новый китель с золотым шнуром — форма, которую морякам торгового флота даровали за их заслуги в годы войны, но он стеснялся ее носить. Ведь он был всего лишь капитаном пароходика, ходившего по Янцзы, и на мостике поэтому стоял в аккуратном коричневом костюме и фетровой шляпе на голове, а в его идеально вычищенные ботинки можно было смотреться. Глаза у него были ясными и блестящими, кожа свежей. Хотя он провел на море двадцать лет и, следовательно, меньше сорока ему никак не могло быть, выглядел он на двадцать восемь. Вне всяких сомнений, он вел чистую жизнь, был здоров духом не менее, чем телом, и пороки Востока, о которых столько говорят, его не коснулись. У него был вкус к добротной развлекательной литературе, и его книжный шкаф украшали произведения Э. В. Льюкаса. В каюте у него вам бросались в глаза фотография футбольной команды (он — третий слева) и две фотографии молодой женщины с аккуратно завитыми волосами — вполне возможно, его невесты.

Я понимал, что он пьян, но полагал, что лишь чуть-чуть, пока он внезапно не спросил меня:

— Что такое демократия?

Я ответил уклончиво, пожалуй, даже с иронией, и несколько минут разговор продолжался на другие, не столь несвоевременные темы. Затем после паузы он произнес:

— Надеюсь, вы не сочли меня социалистом, потому что я спросил: что такое демократия?

— Разумеется, нет, — ответил я. — Хотя не вижу, почему бы вам и не быть социалистом.

— Даю вам честное слово, я не социалист, — заверил он меня. — Будь моя воля, я бы поставил их всех к стенке и расстрелял.

— А что такое социализм? — спросил я.

— Вы же понимаете, о чем я: Гендерсон, Рамсей Макдональд и все такое прочее. — Я по горло сыт трудящимися.

— Но ведь вы тоже, по-моему, трудящийся?

Он надолго замолчал, и я уже решил, что его мысли перескочили на другие темы. Но я ошибся. Он, несомненно, обдумывал мой вопрос со всех сторон, так как в конце концов сказал:

— Нет, послушайте, никакой я не трудящийся! Черт побери, я же учился в Харроу.

XLII. ГОРОДСКИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Я не усердный любитель достопримечательностей, и, когда гиды-профессионалы или милые знакомые уговаривают меня непременно осмотреть знаменитый памятник, во мне возникает упрямое желание потребовать, чтобы они оставили меня в покое. Слишком много глаз до меня уже взирало на Монблан, слишком много сердец прежде моего преисполнялись благоговением перед Сикстинской Мадонной. Подобные достопримечательности сходны с женщинами, излишне щедрыми на сострадание: вы все время ощущаете, сколько людей до вас уже обрело утешение в их сочувствии, и смущаетесь, когда они с отработанным тактом прельщают вас доверительно прошептать в их надежнейшие ушки свою горькую повесть. А вдруг вы окажетесь последней соломинкой, сломавшей спину верблюду? Нет, сударыня, своей печалью (если уж я не в силах переносить ее в одиночестве, что куда достойнее) я поделюсь с кем-нибудь, от кого не обязательно ждать наиболее уместных слов утешения. И в новом для меня городе я предпочитаю идти куда глаза глядят, и если упущу красоты готического собора, так, быть может, наткнувшись на романскую часовенку или дверь эпохи Возрождения и потешу себя надеждой, что до меня они ничьего внимания не привлекали.

Но это, разумеется, была удивительная достопримечательность, и не ознакомиться с ней значило бы совершить непростительную глупость. Я прогуливался по пыльной дороге за городской стеной и увидел мемориальные арки — маленькие, без украшений, расположенные не перпендикулярно к дороге, а вдоль нее в тесном соседстве, а то и одна перед другой, словно ставили их не из благодарности к почившим и не в знак уважения к добродетели, а воздавали честь автоматически, как именитых граждан провинциаль-

ных городов возводят в рыцарское достоинство по поводу дня рождения монарха. За этим рядом арок земля круто уходила вверх, а поскольку в здешних краях китайцы предпочитают погребать своих мертвых именно на склонах, этот склон усеивали могилы. Утоптанная тропа поднималась к башенке, и я направился туда. Низенькая, высотой на глаз футов в десять, она была сложена конусом из грубо отесанных камней, и кровля напоминала шляпу Пьеро. Венчая окруженный могилами пригорок, она на фоне голубого неба выглядела необычной и даже живописной. У ее подножия в беспорядке валялись корзины. Я начал обходить ее и увидел продолговатую дыру, дюймов восемнадцать на восемь, из которой свисала крепкая веревка. Из дыры тянуло непривычным тошнотворным запахом. Внезапно я понял, что это за сооружение. Башня младенцев! В корзинах сюда приносили новорожденных: две-три выглядели совсем новыми и пролежали тут, очевидно, лишь несколько часов. А веревка? Ну, если принесший малютку — кто-то из родителей, бабушка, повитуха, услужливый сосед или соседка — был мягкосердечен и не решался сбросить девочку прямо на дно (под башней расположена глубокая яма), веревка позволяла опустить ее туда бережно и осторожно. Запах же был запахом разложения. Пока я стоял там, ко мне подошел бойкий мальчуган и знаками объяснил, что утром к башне принесли четырех младенцев.

Есть философы, взирающие на зло с некоторым благодушием, поскольку, утверждают они, без зла не было бы и добра. Без нужды не существовало бы милосердия, без горя — сострадания, без опасности — мужества. И в китайской традиции детоубийства они нашли бы весомое подтверждение своей точки зрения. Без башни младенцев в городе не было бы детского приюта, путешественники лишились бы любопытнейшей достопримечательности, а несколько бедных женщин не нашли бы применения своей трогательной самоотверженной доброте. Сиротский приют был убогим и ютился в нищем перенаселенном районе, так как устроившие его испанские монахини (их было всего пять) считают, что жить им следует там, где они могут оказаться полезнее всего; а к тому же у них просто нет средств построить вместительный дом в более здоровом месте. Приют они содержат на деньги, вырученные за кружева и вышивки своих маленьких учениц, и на подаяния верующих.

Две монахини — мать настоятельница и одна из сестер — показали мне все, что можно было там увидеть. Проходя через выбеленные комнатки (мастерские, детские,

дортуары и трапезную) — низенькие, прохладные, ничем не украшенные, — испытываешь странное чувство, точно ты попал в Испанию, и поглядываешь на окна, так и ожидая увидеть за одним из них Хиральду¹. И умиляешься нежностью, с какой монахини относятся к своим питомцам. Девочек в приюте было около двухсот, и, естественно, сиротами они считались потому лишь, что родители отказались от них. В одной детской играли сверстницы лет около четырех — все одного роста и до того похожие друг на друга (черные глазенки, черные волосы, желтая кожа), что их можно было принять за сорок детей старушки из детского стишка, которая жила в башмаке, — но только китайской старушки. Они окружили монахинь, втягивая их в свою веселую игру. Такого ласкового голоса, как у матери настоятельницы, мне еще слышать не приходилось, но он стал еще ласковее, когда она шутила с малышками. Все они льнули к ней, среди них она выглядела воплощением Милосердия — ведь некоторые были калеками, а другие — больными, или щуплыми уродцами, или слепыми. Меня пробрала дрожь, и я еще сильнее поразился любви, засветившейся в ее добрых глазах, ее нежной улыбке.

А потом меня отвели в гостиную, угостили сладкими испанскими пирожками со стаканчиком мансанильи и, когда я упомянул, что долго жил в Севилье, тут же позвали третью монахиню, чтобы она могла несколько минут поговорить с человеком, который видел город, где она родилась. С простодушной гордостью они показали мне свою убогую часовенку с аляповатой статуей Пресвятой Девы, бумажными цветами и деревенскими мишурными украшениями, ибо эти милые чистые души были, увы, наделены прескверным вкусом. Но мне было все равно: в этой чудовищной пошлости я ощутил что-то глубоко трогательное. А когда я начал прощаться, мать настоятельница спросила, не хочу ли я взглянуть на младенцев, которых они взяли нынче утром. Чтобы их приносили в приют, они за каждого платят двадцать центов. Двадцать центов!

— Видите ли, — объяснила она, — ведь путь часто оказывается неблизким, и, если им ничего не заплатить, они не станут затрудняться.

Она повела меня в маленькую приемную возле входа. Там на столе под одеяльцем лежали четыре новорожденных. Их только что выкупали и облачили в рубашечки. Одеяльце приподняли: они лежали рядком на спинках, четыре суча-

¹ Колокольня собора в Севилье.

щие ножками крохи с очень красными и, пожалуй, сердитыми личиками — их ведь только что купали, и они очень проголодались. Глаза их выглядели неестественно большими. А сами они были такие маленькие, такие беспомощные... Вы невольно улыбались, глядя на них. И в гортани у вас вставал комочек.

XLIII. СУМЕРКИ

Под вечер вы, устав идти пешком, киваете носильщикам, садитесь в кресло, и на вершине холма перед вами возникают каменные ворота. Вы не понимаете, для чего ворота в таком пустынном месте, вдалеке от селений, но остатки стены подсказывают, что во времена какой-то забытой династии тут высилась крепость, чтобы отражать нашествия врагов. А за воротами внизу сверкает вода рисовых полей — лоскутков, образующих в обрамлении округлых лесистых холмов подобие шахматной доски, словно из какой-то китайской «Алисы в Зазеркалье». Но в сгущающихся сумерках, спускаясь по каменным ступеням узкой насыпной дороги, соединяющей города, вы минуете рощи, и на вас веет зябкой прохладой, напоенной запахами ночи. И вы больше не слышите размеренных шагов своих носильщиков, ваши уши внезапно гложут к их резким выкрикам, когда они переключаются с шеста на другое плечо, к их неумолчной болтовне или обрывкам песен, которыми они иногда скрашивают монотонность пути, ибо лесные запахи здесь неотличимы от тех, которыми дышит жирная кентская земля, когда идешь по лесам Блина, и вас охватывает ностальгия. Ваши мысли уносятся вдалеке через пространство и время, прочь от Здесь и Сейчас, и вы вспоминаете свою исчезнувшую юность, ее радужные надежды, ее страстную любовь, ее честолюбивые замыслы, и тогда, если вы, как говорят, циник и, следовательно, сентиментальны, на глаза вам навертываются непрошенные слезы. А когда вы берете себя в руки, уже наступает ночь.

XLIV. НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Было время, когда мне пришлось изучать анатомию — скучнейшая необходимость, поскольку вам вменяется в обязанность заучивать огромное число всякой всячины вне логики и упорядоченности. Однако в моей памяти навеки запечатлелись слова, которые я услышал от моего преподавателя, когда он помогал мне анатомизировать бедро. Мне никак не удава-

лось отыскать некий нерв, и потребовалась его опытность, чтобы обнаружить указанный нерв в том месте, где мне и в голову не пришло его искать. Я рассердился на учебник, который ввел меня в заблуждение. И мой преподаватель сказал с улыбкой: «Видите ли, нормальность — редчайшая вещь!»

И хотя речь шла об анатомии, с тем же правом он мог бы отнести свои слова к человеку. Это случайно оброненное замечание произвело на меня куда более сильное впечатление, чем многие и многие глубокие истины, и миновавшие с тех пор годы, заметно пополнившие мои представления о человеческой натуре, только укрепили мое убеждение в его верности. Я встречал сотни нормальнейших, на первый взгляд, людей, чтобы незамедлительно обнаружить в них те или иные отклонения, которые делали их почти уникальными. Меня очень развлекало, когда я открывал тайную странность в людях, казавшихся самыми обыкновенными. Меня часто ошеломяло столкновение с отвратительными извращениями в человеке, который со всех сторон представлялся абсолютно заурядным. В конце концов я уже мечтал о том, как обнаружу абсолютно нормального человека, словно редчайший художественный шедевр. Мне чудилось, что знакомство с ним подарит мне ту особую радость, для которой есть только одно слово — «эстетическая».

Я искренне верил, что обрел его в Роберте Уэббе, консуле в одном из небольших портов, к которому у меня было письмо. Уже в Китае я наслышался о нем многого. И только хорошего. Стоило мне упомянуть, что я думаю побывать в порту, где он служил, как непременно кто-нибудь говорил:

— Боб Уэбб вам понравится. Преотличнейший человек.

И популярен он был не только как личность, но и как консул. Он заслужил расположение торговцев, чьи интересы активно защищал, не возбуждая антагонизма китайцев, и они хвалили его твердость, — и расположение миссионеров, которые одобряли его частную жизнь. В дни революции он, благодаря своему такту, решительности и мужеству, оградил от серьезной опасности не только иностранцев в том городе, где он тогда находился, но и многих китайцев. Он выступил в роли миротворца, и его находчивости враждующие стороны были обязаны тем, что сумели прийти к обоюдно удовлетворительному соглашению. Ему несомненно предстояло повышение по службе. И он действительно оказался обаятельным человеком. Красавцем его никто не назвал бы, но внешность у него была очень приятная: высокий рост, заметно выше среднего, крепкая, но не дородная фигура, свежий цвет лица, которое, правда, теперь

(он разменял пятый десяток) по утрам часто оплывало. В последнем, впрочем, ничего необычного не было: иностранцы в Китае едят и пьют весьма неумеренно, а Роберт Уэбб умел ценить жизненные блага. Он держал отличный стол и любил общество, так что у него обычно завтракали или обедали двое-трое гостей. Глаза у него были голубые и дружелюбные. Его отличали приятные светские таланты: он очень хорошо играл на рояле, но ему нравилась та же музыка, что и всем, и, когда обществу хотелось потанцевать, он всегда с удовольствием садился сыграть уанстеп или вальс. В Англии у него были жена, дочь и сын, так что он не мог держать скаковых лошадей, однако был завзятым любителем скачек, недурно играл в теннис, а в бридже превосходил многих и многих. В отличие от немалого числа своих коллег он не относился к своему положению с ревнивой важностью и по вечерам в клубе держался дружески и непринужденно. Однако он ни на минуту не забывал, что является консулом Его Британского Величества, и меня восхищало искусство, с каким без намека на чванство он поддерживал достоинство, приличествующее, как он считал, его положению. Короче говоря, манеры у него были безупречные. Он умел поддержать разговор, и его интересы, правда достаточно ординарные, были разнообразными. Он обладал мягким юмором. Умел пошутить и рассказать хороший анекдот. В браке он был очень счастлив. Сын его учился в Чартерхаусе, и он показал мне фотографию высокого светловолосого подростка в спортивном костюме с открытым приятным лицом. Показал он мне и фотографию своей дочери. Жизнь в Китае имеет ту трагическую сторону, что человек вынужден надолго расставаться с семьей, а из-за войны Роберт Уэбб не видел свою восемь лет. Его жена увезла детей на родину, когда мальчику было восемь лет, а девочке одиннадцать. Сначала они предполагали дождаться его отпуска, чтобы поехать всем вместе, но местность, где они тогда жили, для детей не подходила, и его жена согласилась, что их следует увезти оттуда немедленно. До его отпуска оставалось три года, а тогда он прожил бы с ними целый год. Но началась война, в консульстве не хватало людей, и он не мог оставить свой пост. Его жена не хотела разлучаться с детьми, поехать же значило бы подвергнуться всяким трудностям и опасностям, к тому же никто не думал, что война затянется на такой срок, а тем временем год проходил за годом.

— Моя дочь была совсем девочкой, когда я видел ее в последний раз,— сказал он мне, показывая ее фотографию.— И вот она уже замужняя женщина.

— А когда вы уедете в отпуск? — спросил я.

— Ко мне скоро приедет жена.

— Но разве вы не хотите повидать дочь? — спросил я.

Он снова посмотрел на фотографию и отвел глаза. На его лице появилось странное выражение — как мне показалось, обиженное, — и он ответил:

— Я слишком долго не был дома. И больше туда не поеду.

Я откинулся на спинку кресла, попыхивая трубкой. На фотографии я увидел девятнадцатилетнюю девушку с широко открытыми голубыми глазами и коротко подстриженными волосами. Лицо было миловидное, открытое, дружелюбное, но особенно его отличало пленительное выражение. Дочка Боба Уэбба была очаровательной девушкой. Мне понравилась ее подкупающая зазорность.

— Когда она прислала мне эту фотографию, я как-то растерялся, — сказал он после паузы. — Я ведь думал о ней как о маленькой девочке. Повстречайся мы на улице, я бы ее не узнал. — Он усмехнулся, не слишком естественно. — Это нечестно... Маленькая, она так любила приласкаться...

Он не отрывал глаз от фотографии, и мне почудилось в них совершенно неожиданное чувство.

— Мне приходится убеждать себя, что это моя дочь. Я ждал, что она вернется сюда с матерью, и вдруг она написала, что выходит замуж.

Он отвел глаза, и уголки его рта опустились, как мне показалось, от мучительного смущения.

— Наверное, здесь становишься эгоистом, я был очень зол, но в день ее свадьбы устроил тут банкет, и мы все нализались.

Он виновато засмеялся.

— Не мог иначе, — сказал он неловко. — Такая на меня злость нашла.

— А что такое ее муж? — спросил я.

— Она в него страшно влюблена. И когда пишет мне, то только о нем да о нем! — В его голосе слышалась непонятная дрожь. — Как-то тяжело это: родишь девочку, растишь ее, любишь, ну и так далее — и все для какого-то молодчика, которого в глаза не видел. У меня где-то лежит его фотография. Не помню, куда ее засунул. По-моему, он бы мне не очень понравился.

Боб Уэбб налил себе еще виски. Он устал. И выглядел старым, оплывшим. Долгое время он молчал, а потом словно бы взял себя в руки.

— Ну, слава Богу, скоро приедет ее мать.

По-моему, он все-таки не был нормальным человеком.

Ему исполнилось семьдесят шесть лет. Приехал он в Китай еще совсем мальчишкой вторым помощником на парусном судне, да так и остался там. С того дня он перепробовал много всякого. Долгие годы командовал китайским пароходиком, ходившим из Шанхая в Ичан, и знал наизусть каждый дюйм грозной Янцзы. Был шкипером буксира в Гонконге и сражался в рядах Победоносной армии. Во время Боксерского восстания он награбил неплохую добычу, а в дни революции находился в Ханькоу, когда мятежники обстреливали город из орудий. Он был трижды женат: сначала на японке, потом на китайке и, наконец, на англичанке — ему тогда было уже под пятьдесят. Все три давно умерли, и вспоминал он только японку. Он рассказывал, как она украшала цветами их шанхайский дом: одна-единственная хризантема в вазе или ветка цветущей вишни, и он не мог забыть, как она держала чашку чая в обеих руках — с таким изяществом. Сыновей у него было много, но он ими не интересовался. Они устроились в разных китайских портах — кто в банке, кто в пароходстве, и он редко с ними виделся. Он очень гордился дочерью от своей английской жены, но эта единственная его дочь сделала на редкость удачную партию и уехала в Англию. Он знал, что больше они никогда не увидятся. Единственный человек, к которому он теперь еще питал привязанность, был бой, прослуживший у него сорок пять лет, — маленький сморщенный китаец, медлительный и угрюмый. Ему было далеко за шестьдесят. Они непрерывно ссорились. Старожил объявлял бою, что из него песок сыплется и надо бы его выгнать, а бой отвечал, что ему надоело служить сумасшедшему чужеземному дьяволу. Но оба знали, что говорилось и то и другое не всерьез. Они были старыми друзьями, эти два старика, и разлучить их могла только смерть.

Когда он женился на своей английской жене, то оставил воду и вложил свои сбережения в отель. Но неудачно. Это был летний курорт на некотором расстоянии от Шанхая, а в то время автомобили еще не проникли в Китай. Он был общителен и слишком много времени проводил в баре. Он был щедр и угощал бесплатно примерно на ту же сумму, которую выручал за вечер. Кроме того, у него была странная привычка плевать в раковину, и брезгливым клиентам это не нравилось. Когда его последняя жена умерла, он обнаружил, что все держалось на ней одной, и вскоре

перестал справляться с трудностями своего положения. Все его сбережения ушли на покупку отеля, который к этому времени был уже заложен, перезаложен и приносил одни убытки. Он был вынужден продать его японцу и, расплатившись с долгами, в возрасте шестидесяти восьми лет остался без гроша. Но, черт побери, сэр! Он же моряк! Одна из пароходных компаний на Янцзы взяла его старшим помощником — капитанского диплома у него не было, — и он вернулся на реку, которую знал так хорошо. Как-никак восемь лет он плавал по ней взад и вперед, взад и вперед. И теперь он стоял на мостике своего чистенького пароходика, меньше даже речного трамвая на Темзе, — подтянутый, стройный, худощавый, как в дни юности: капитанская фуражка лихо сидит на седых волосах, острая бородка щегольски подстрижена. Семьдесят шесть лет. Почтенный возраст. Откинув голову, держа бинокль в руке, он озирает огромную ширь петляющей реки, а возле него стоял лодман-китаец. Быстрое течение несло навстречу флотилию джонок с обычной высокой кормой. Квадратные паруса были поставлены, гребцы налегали на поскрипывающие весла и тянули монотонный напев. В лучах заходящего солнца зеркальная гладь желтой воды ласкала глаз переливами мягких оттенков, а на фоне бледнеющего неба по плоским берегам рисовались деревья и хижинки жалкой деревушки, точно резко очерченные силуэты в театре теней. Услышав клики диких гусей, он еще больше откинул голову и увидел в вышине их косяк, летящий в дальние, неведомые ему земли. В отдалении сквозь марево заката вставал одинокий холм, увенчанный храмами. Оттого, что зрелище это старик со всеми подробностями видел столько раз, оно подействовало совершенно неожиданно. Умирание дня почему-то привело ему на ум все его прошлое и возраст, которого он достиг. И он ни о чем не пожалел.

— Черт побери, — пробормотал он, — прекрасную жизнь я прожил.

XLVI. РАВНИНА

Происшествие, конечно, было пустячным и легко поддавалось объяснению, однако меня поразило, что духовные глаза способны навести такую слепоту на глаза физические. Я растерялся, обнаружив, до какой степени человек подвластен законам ассоциации. День за днем я путешествовал среди нагорий и знал, что нынче доберусь до огромной

равнины, на которой стоит древний город, ради которого я отправился в этот путь. Но в первые часы утра никаких признаков приближения к равнине заметно не было. Склоны выглядели все такими же крутыми, и, когда я взбирался на очередной холм, ожидая увидеть с его вершины широкий простор, передо мной вздымался следующий — еще выше и круче. А за ним змеилась все вверх и вверх белая насыпная дорога, которая столько дней вела меня сюда и, поблескивая на солнце, огибала вершину львино-желтой скалы. Небо было синим, и на западе висели белые облачка, точно рыбацьи лодки в вечернем безветрии у мыса Данджнесс. Я шел и шел, все время поднимаясь, и ждал простора, который должен был распахнуться впереди, если не за этим поворотом, так за следующим, и вот, когда я задумался о чем-то другом, он внезапно открылся передо мной. Однако увидел я не китайский ландшафт с рисовыми полями, мемориальными арками, сказочными храмиками, крестьянскими домами в бамбуковых рощах и придорожными гостиницами, где в тени смоковницы бедные кули отдыхают от тяжелого груза. Нет, это была долина Рейна, широкая равнина, вызолоченная закатом, прошитая серебряной лентой реки, с башнями Вормса вдали — та великая равнина, которая открылась моим юным глазам, когда я, гейдельбергский студент, после долгих блужданий по еловым лесам на холмах над старинным городом, внезапно вышел на просеку. И из-за того, что там я впервые ощутил красоту, из-за того, что там я познал первые восторги обретения знаний (каждая прочитанная книга была замечательным приключением!), из-за того, что там я впервые испытал опьянение разговорами (ах, эти дивные клише, которые каждый мальчишка открывает для себя сам, словно никто прежде о них и понятия не имел), из-за утренних променадов по солнечному бульвару, из-за плюшек и кофе, подкрепляющих мою аскетическую юность после утомительных прогулок, из-за ленивых вечеров на террасе замка над окутанными голубой дымкой многоярусными крышами старинного городка, из-за Гете, и Гейне, и Бетховена, и Вагнера, и (а почему бы и нет?) Штрауса с его вальсами, из-за биргартена, где играл оркестр и чинно прохаживались девушки с золотыми косами, — из-за всех этих воспоминаний, обладающих силой завораживать каждое из пяти моих чувств, для меня слово «*равнина*» не только везде и повсюду означает одну лишь долину Рейна, но еще и знаменует единственный символ счастья, какой мне известен: широкий простор, залитый золотом заходящего солнца, струящаяся

по нему серебряная река, точно тропа жизни, точно идеал, ведущий тебя по ней, и встающие вдали серые башни древнего города.

XLVII. НЕУДАЧНИК

Толстячок в фантастичной шляпе австралийского разбойника с необъятными полями, в морской куртке, точно такой, в какие Лич одевал моряков на своих иллюстрациях, и в очень широких клетчатых брюках покроя, модного, только Богу известно, сколько лет тому назад. Когда он снимает шляпу, вы видите пышные длинные кудри, почти не тронутые сединой, хотя ему уже под шестьдесят. Черты лица у него правильные. Он носит воротнички заметно шире своего размера, а потому вся его массивная лепная шея открыта взгляду. Он смахивает на римского императора в трагедии шестидесятих годов прошлого века, и это сходство с актером старой школы усугубляется его зычным басом. Правда, из-за этого животик и короткий торс выглядят несколько нелепо. Словно видишь, как он с необыкновенной выразительностью декламирует белые стихи Шеридана Ноулса, приводя партер в исступление, и, когда он здоровается с вами, преувеличенно жестикулируя, вы понимаете, какие слезы исторг бы у вас (в 1860 году) могучий инструмент его голосовых связок стенаниями о смерти любимого дитя. И до чего же чудесно услышать несколько минут спустя, как он с ирландским акцентом требует сапоги у слуги-китайца: «Сапог, сапог! Полцарства, бой, за мой сапог!» Он признается, что всегда хотел стать актером.

— Быть или не быть, вот в чем вопрос был, но мои близкие, мой милый, не перенесли бы подобного позора, и я был отдан в жертву пращам и стрелам яростной судьбы.

Короче говоря, он приехал в Китай как дегустатор чая. Но приехал, когда цейлонские сорта уже вытесняли китайские, и времена, когда торговец мог разбогатеть за несколько лет, канули в прошлое. Однако пышный образ жизни оставался прежним и тогда, когда средства оплачивать его исчерпались. Борьба, чтобы сводить концы с концами, становилась все более тяжелой, а потом разразилась Китайско-японская война, принесла утрату Формозы и разорение. Дегустатору чая пришлось подыскивать другое занятие. Он перебивал виноторговцем, гробовщиком, агентом по продаже недвижимости, маклером, аукционщиком. Он перепро-

бывал все способы наживать деньги, какие подсказывало ему пылкое воображение, но порт беднел, и его потуги были бесплодны. Жизнь взяла над ним верх. И теперь в его облике наконец появилась жалкая обескураженность. В ней было даже что-то трогательное, как в безмолвной мольбе женщины, не способной поверить в увядание своей красоты и напрашивающейся на комплимент, который успокаивает ее, но больше уже не убеждает. И тем не менее у него было утешение,— он по-прежнему сохранял великолепный апломб. Да, он был неудачником и знал, что он неудачник, но по-настоящему это его не угнетало, ибо он видел себя жертвой Рока: ни разу даже тень сомнения в своих недюжинных талантах не омрачила его души.

XLVIII. ЗНАТОК ДРАМАТУРГИИ

Мне подали его элегантную визитную карточку, надлежащей формы и размеров, с широкой черной каймой, внутри которой под его фамилией значилось: «Профессор сравнительной современной литературы». Оказался он молодым человеком, очень невысоким, с миниатюрными изящными руками, с носом довольно крупным для китайца и очками в золотой оправе. Хотя стояла жара, одет он был по-европейски — в костюм из толстого твида. Он оказался несколько застенчивым и говорил высоким фальцетом, словно голос у него еще не ломался, и пронзительные ноты почему-то придавали разговору с ним ощущение нереальности. Он учился в Женёве и в Париже, в Берлине и в Вене и бегло изъяснялся по-английски, по-французски и по-немецки.

Выяснилось, что он читает лекции по драматургии и недавно написал по-французски исследование, посвященное китайскому театру. Его занятия за границей привили ему непонятное преклонение перед Скрибом, и именно такую модель он предлагал для возрождения китайской драмы. Было странно слышать его утверждения, что пьеса должна увлекать: он требовал *pièce bien fait, scène à faire*¹, занавеса, неожиданности, драматичности. Китайский театр с его сложной символикой был именно тем, чего всегда требовали мы,— театром идей, и, видимо, он чахнул, утопая в скуке. Бесспорно, идеи под ногами не валяются и для придания им аппетитности требуют новизны, а когда залеживаются, то воняют, как лежалая рыба.

¹ Здесь: хорошо построенная пьеса, выигрышная сцена (*фр.*).

Затем, вспомнив надпись на визитной карточке, я спросил у своего нового знакомого, какие книги, английские или французские, он рекомендует читать своим студентам, чтобы они шире ознакомились с текущей литературой. Он чуть-чуть замялся.

— Право, не могу сказать,— ответил он наконец.— Видите ли, это не моя область: я ведь занимаюсь только драматургией. Но если вас это интересует, я попрошу моего коллегу, который ведет курс европейской беллетристики, посетить вас.

— Прошу меня извинить,— сказал я.

— Вы читали «Les Avariés»?¹ — спросил он.— По-моему, это лучшая пьеса, написанная в Европе со времен Скриба.

— Вы так полагаете? — вежливо осведомился я.

— Да, и наши студенты очень интересуются социологическими вопросами.

На мое несчастье, я ими не интересуюсь, а потому постарался, как мог искуснее, перевести разговор на китайскую философию, с которой знакомился довольно беспорядочно. Я упомянул Чжуан-цзы. У профессора отвалилась челюсть.

— Он ведь жил так давно! — с недоумением сказал он.

— Как и Аристотель,— любезно прожурчал я.

— Философов я не изучал,— заметил он.— Но, естественно, в нашем университете есть профессор философии, и, если она вас интересует, я попрошу его посетить вас.

С педагогом спорить бессмысленно, как (на мой взгляд, несколько зловеще) Дух Океана заметил Духу Реки, и я смирился с тем, что разговор пойдет о драматургии. Моего профессора интересовала техника построения пьес, и он как раз готовил курс лекций, посвященный этому предмету — по его мнению, видимо, и сложному и темному. Он польстил мне, осведомившись у меня о тайнах ремесла драматурга.

— Мне известны только две,— ответил я.— Первая: запасись здравым смыслом — и вторая: не отвлекайся от темы.

— Неужели этого достаточно, чтобы написать пьесу? — спросил он, и в его голосе прозвучала легкая растерянность.

— Ну, еще нужна определенная сноровка,— уступил я.— Но не больше, чем для бильярда.

¹ «Потерпевшие крушение» — пьеса французского драматурга Эжена Брисе (1858—1932). Написана в 1905 г. Ее название вошло во французский язык как презрительное прозвище больных сифилисом.

— Во всех крупнейших университетах Америки читаются курсы по технике драматургии,— сказал он.

— Американцы народ на редкость практичный,— ответил я.— По-моему, в Гарварде учреждается кафедра по обучению лягушек плаванию.

— Мне кажется, я вас не совсем понял.

— Если вы не способны написать пьесу, никто вас этому научить не сумеет. А если способны, то это проще, чем свалиться в яму.

Тут его лицо выразило полнейшее недоумение, но, мне кажется, потому лишь, что он не мог сообразить, в чью компетенцию входит падение в яму— профессора теоретической физики или же профессора прикладной механики.

— Но если пьесы писать так просто, почему же драматурги пишут их столь медленно?

— Отнюдь. Лопе де Вега, Шекспир и еще сотни и сотни писали очень плодovито и с большой легкостью. Некоторые современные драматурги были абсолютно малограмотны и умудрялись связать два слова лишь ценой длительного труда. Знаменитый английский мастер драмы однажды показал мне свою рукопись, и я увидел, что вопрос «Вы пьете чай с сахаром?» он написал пять раз, прежде чем сумел облечь его в эту форму. Романист умрет с голоду, если он не сумеет просто сказать то, что хочет сказать, а будет без конца ходить кругом да около.

— Но Ибсена вы малограмотным назвать не можете, однако известно, что ему требовалось два года, чтобы написать одну пьесу.

— Совершенно очевидно, что Ибсену плохо давались сюжеты. Он месяц за месяцем бешено напрягал мозг, а затем, отчаявшись, брался за тот, который уже не раз использовал.

— О чем вы говорите?— вскричал профессор, и его голос сорвался на визг.— Я совершенно вас не понимаю.

— Разве вы не замечали, что Ибсен все время берет один и тот же сюжет? Несколько человек живут в тесной душной комнате, затем является некто (с гор или из-за моря) и распахивает окно, все простуживаются, и занавес опускается.

Я не исключал возможности, что на мгновение серьезное лицо профессора осветит тень улыбки, но он сдвинул брови и минуты на две уставился в пространство. Затем он встал.

— Я снова перечту произведения Генрика Ибсена под таким углом,— сказал он.

На прощание я не преминул задать ему вопрос, который один почтенный исследователь драмы непременно задает

другому, если волей судеб они встретятся. Спросил же я его, что он думает о будущем театра. Мне было почудилось, что он выругался по-английски, но по зрелому размышлению я решил, что он просто воззвал к небесам по-французски: *ô ciel!* Он вздохнул, он покачал головой, он воздел свои изящные руки — ну, просто воплощение уныния. Было весьма утешительно обнаружить, что в Китае все вдумчивые люди считают положение драматургии не менее безнадежным, чем все вдумчивые люди в Англии.

XLIX. ТАЙПАН

Никто лучше его не знал, какая он важная персона. Он был первым номером отнюдь не наименее важного филиала самой крупной английской фирмы в Китае. Своего положения он достиг благодаря способностям и трудолюбию и с легкой улыбкой оглядывался на желторотого клерка, который приехал в Китай тридцать лет назад. Когда он вспоминал скромный родительский кров, кирпичный домишко в ряду кирпичных домишек в Барнсе, пригороде, который изо всех сил тщится стать фешенебельным, а обретает лишь скорбную убогость, и сравнивал его с великолепным каменным особняком, служившим ему и домом и конторой, с широкими верандами и обширными комнатами, у него вырывался довольный смешок. Да, с той поры он проделал большой путь! Ему вспоминался вечерний чай, к которому он возвращался из школы (учился он в школе Св. Павла): за столом отец, мать и две его сестры, по ломтю холодного мяса, хлеба с маслом сколько хочешь, и молока в чай тоже, и все сами за собой ухаживают. И тут же он начинал думать о том, как торжественно вкушает теперь традиционно поздний обед. Он обязательно к нему переодевался, и даже если гостей не было, все равно за столом прислуживали три боя. Его старший бой точно знал, что и как он любит, и ему не приходилось тратить время на хозяйственные мелочи. Однако обед всегда подавался по давно заведенному порядку: суп, рыба, что-нибудь из птицы или, например, омары, жаркое, десерт, так что всегда можно было пригласить кого-нибудь в самую последнюю минуту. Он любил поесть и не видел, почему, обедая в одиночестве, он должен обходиться менее изысканной едой, чем в гостях.

Да, он действительно прошел большой путь. Потому-то ему и не хотелось возвращаться на родину. В Англии он не бывал уже десять лет, проводя отпуск в Японии или в Ван-

кувере, где мог твердо рассчитывать на общество кого-нибудь из старых друзей с китайского побережья. На родине у него не было никого. Его сестры нашли мужей в своем кругу: их мужья были клерками, и сыновья их были клерками. Между ним и ими не было ничего общего. С ними он изнывал от скуки. Родственные чувства он удовлетворял, посылая им на Рождество отрез прекрасного шелка, какие-нибудь красивые вышивки или ящик чая. Он не был скуп и, пока жила его мать, выплачивал ей содержание. И когда подойдет время уйти на покой, он в Англию не вернется: слишком многие возвращались, и, как он знал, чаще это кончалось плохо. Нет, он поселится в Шанхае где-нибудь поближе к ипподрому и с помощью бриджа, скаковых лошадей и гольфа скоротает остаток жизни очень приятно. А впрочем, он еще много лет может не думать об уходе на покой. Еще пять-шесть лет — и Хиггинс вернется на родину, а он возьмет управление главной конторой в Шанхае. А пока ему и тут очень хорошо — можно откладывать деньги, что в Шанхае не вышло бы, и вдобавок прекрасно проводить время. И еще одно преимущество перед Шанхаем: здесь он самый видный член общества и его слово закон. Даже консул очень с ним считается. Был случай, когда они с консулом столкнулись на узкой дорожке, и посторониться пришлось не ему. Вспомнив об этом, тайпан воинственно выпятил подбородок.

Но он улыбнулся, так как настроение у него было превосходное. Он шел пешком к себе в контору после отличнейшего завтрака в Гонконгско-Шанхайском банке. Там умеют принять. Чудесная еда и обилие напитков. Начал он с двух коктейлей, затем выпил редкостного сотерна и кончил двумя рюмками портвейна и каплей несравненного старого коньяка. Он чувствовал себя великолепно. И против обыкновения решил вернуться в контору пешком. Носильщики с его креслом следовали за ним в нескольких шагах на случай, если он все-таки пожелает сесть в него. Однако ему хотелось поразмять ноги. Последнее время он разминался мало. Теперь, когда он слишком отяжелел, чтобы ездить верхом, возможностей для этого у него осталось мало. Но если сам он и не ездит, держать скаковых лошадей ему не возбраняется, и, вдыхая душистый воздух, он начал думать о весенних скачках. У него была пара неопробованных лошадей, на которых он возлагал порядочные надежды, а из одного клерка у него в конторе вышел отличный жокей (надо присмотреть, чтобы его не сманили: старик Хиггинс в Шанхае не пожалеет кругленькой суммы, чтобы заполучить его себе), и пару-другую скачек он выиграет. Он льстил себя

мыслью, что у него лучшая в городе конюшня, и теперь выпятил грудь. Чудесный день, и как хорошо быть живым!

Он остановился, поравнявшись с кладбищем, таким аккуратным, ухоженным — верным доказательством преуспевания европейской общины. Оказываясь рядом с кладбищем, он всегда ощущал приятный прилив гордости. Ему нравилось быть англичанином. Ибо кладбище было расположено на земельном участке, который, когда его выбрали, не стоил ничего, но с ростом богатства города приобрел большую ценность. Предлагали даже перенести могилы куда-нибудь еще, а землю продать под застройку, но общественное мнение было против. Мысль, что их усопшие покоятся в самой ценной земле на острове, дарила тайпану большое удовлетворение. Ведь, следовательно, деньги для них еще не самое главное. Да и что такое — деньги! Когда дело шло о «действительно важном» (любимое выражение тайпана), как было не вспомнить, что деньги еще далеко не все.

Пожалуй, недурно будет пройтись по кладбищу. Он глядел на могилы: они все выглядели безупречно, а дорожки между ними нигде не заросли бурьяном. Все здесь дышало богатством. И, неторопливо проходя по аллее, он читал имена на памятниках. Вот бок о бок — капитан, первый помощник и второй помощник барка «Мэри Бакстер», — все трое погибли в тайфуне в 1908 году. Этот тайфун он помнил прекрасно. А вот двое миссионеров, их жены и дети, убитые в дни боксерских беспорядков. Какой это был возмутительный ужас! Не то чтобы он ставил миссионеров так уж высоко, но, черт побери, нельзя же допустить, чтобы проклятые китайцы их крошили! Затем он увидел крест со знакомым именем. Приятный малый Эдвард Малок, но пить не умел и допился до смерти в двадцать пять. Да разве он один! Тайпан навидался таких на своем веку. Вот еще несколько аккуратных крестов с мужским именем и возрастом — двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь... Все та же старая история: приезжали в Китай, столько денег никогда прежде не видели, а будучи приятными мальчиками, пить хотели наравне с другими, ну и не выдерживали. Вот и лежат здесь на кладбище. Чтобы пить, не отставая от других, на китайском побережье, нужна крепкая голова и здоровый организм. О конечно, это очень печально, но тайпан не удержался от улыбки при мысли о том, сколько этих молодчиков пили с ним, пока не оказывались под землей. И одна такая смерть оказалась полезной — его сослуживец, старше его по положению и умница вдобавок. Проживи тот подольше, возможно, он сейчас не был бы

тайпаном. Поистине пути Господни неисповедимы. А! Вот и малютка миссис Тернер, Вайлет Тернер, очаровательная штучка, у него с ней был прямо-таки настоящий роман — он был чертовски огорчен, когда она умерла. Он искал взглядом на памятнике год ее рождения. Нет, будь она жива, так и вторую молодость давно бы позади оставила. И пока он вспоминал всех этих покойников, им все больше овладевало блаженное удовлетворение. Он взял верх над ними всеми! Они мертвы, а он жив! И, черт возьми, он им показал! Его взгляд разом вобрал все эти могилы, он презрительно улыбнулся, чуть было не потер руки и пробормотал:

— Ну, да меня никто никогда дураком не считал!

Он испытывал добродушное пренебрежение к бестолковым мертвецам. А потом вдруг увидел перед собой двух кули, которые копали могилу.

— Для кого бы это, черт побери? — произнес он вслух.

Кули даже не взглянули на него, а продолжали копать, стоя в уже довольно глубокой могиле и выбрасывая за края тяжелые комья земли. Хотя он прожил в Китае столько лет, китайского так и не выучил (в его время проклятый туземный язык никому не требовался!) и потому спросил кули по-английски, для кого они роют могилу. Они не поняли и ответили ему по-китайски, а он выругал их, невежественных тупиц. Конечно, ребенок миссис Брум болеет и, конечно, мог умереть, однако он бы, безусловно, об этом узнал, да и могила копалась не для ребенка, а для взрослого. Для крупного мужчины. Непонятно. Он пожалел, что зашел на кладбище, и, торопливо его покинув, сел в свое кресло. От хорошего настроения не осталось и следа. Его лицо тревожно хмурилось. Едва войдя в контору, он спросил у своего заместителя:

— Послушайте, Петерс, не знаете, кто умер?

Но Петерс ничего не знал. Тайпан пришел в полное недоумение. Он позвал одного из туземных клерков и послал его на кладбище спросить у кули, а сам начал подписывать письма. Вернулся клерк и сказал, что кули ушли и спросить было не у кого. Тайпаном начало овладевать смутное раздражение: он не любил, когда что-то случалось без его ведома. Ну, да его бой знает, его бой всегда знает все! И он послал за ним. Но бой не слышал, чтобы кто-нибудь умер.

— Так я и думал, — сердито сказал тайпан. — Но зачем тогда рыли могилу?

Он послал боя к кладбищенскому смотрителю узнать, какого дьявола выкопали могилу, если никто не умер.

— Только прежде подай мне виски с содовой, — сказал он, когда бой повернулся к двери.

Он не понимал, почему вид могилы внушил ему такое беспокойство. Но попытался выкинуть ее из головы. Когда он выпил виски, ему стало легче, и он кончил подписывать письма. Потом поднялся к себе наверх и полистал «Панч». Скоро он отправится в клуб и сыграет робберок-другой в бридж. Однако для полного спокойствия следует послушать, что ему скажет бой, и он решил его дожидаться. Через несколько минут бой явился — но вместе со зрителем.

— Зачем вырыли могилу? — спросил он зрителя напрямик. — Ведь никто же не умер.

— Я могилы не лыл, — ответил китаец.

— То есть как? Сегодня два кули рыли могилу!

Китайцы переглянулись. Потом бой сказал, что они вместе обошли кладбище. Ни одной новой могилы там нет.

Тайпан сумел промолчать. У него с языка чуть было не сорвалось: «Но, черт возьми, я сам ее видел!»

Однако он не сказал этих слов. И, проглотив их, побагровел. Оба китаецца смотрели на него немигающими глазами. Он вдруг задохнулся и прохрипел:

— Ну хорошо, идите!

Но едва они вышли, как он тут же кликнул боя, а когда тот вошел, как всегда невозмутимый, черт бы его побрал, приказал подать виски и утер вспотевшее лицо. Когда он подносил рюмку к губам, руки у него дрожали. Пусть говорят что хотят, но могилу он видел своими глазами! Он и сейчас прямо-таки слышит глухие шлепки земли, которую кули выкидывали за края ямы. Что это значит? Сердце у него колотилось, и он ощущал невнятную тревогу. Но сумел взять себя в руки. Чепуха! Если могилы там нет, значит, у него была галлюцинация. Так надо ехать в клуб, и, если доктор там, можно будет договориться, когда он его посмотрит.

В клубе все выглядели совершенно как обычно. Он сам не знал, почему ожидал, что они будут выглядеть как-то по-другому. Во всяком случае, приятно. Эти люди, много лет жившие бок о бок раз и навсегда упорядоченным образом, приобрели множество маленьких личных привычек: один за бриджем непрерывно напевал себе под нос, другой пил пиво только через соломинку — и все эти их штучки, так часто раздражавшие тайпана, теперь стали для него опорой. А в опоре он нуждался, потому что не мог забыть представшее ему странное зрелище. Играл он на редкость скверно, его партнер указывал ему на ошибки, и тайпан вышел из себя. Ему показалось, что все глядят на него как-то странно. И начал думать, что такого необычного они в нем увидели.

Внезапно он почувствовал, что больше не в силах оставаться в клубе. Выходя, он увидел в читальне доктора с «Таймс», но почувствовал, что говорить с ним не может. Он хотел сам убедиться, рыли на кладбище могилу или нет, и, садясь в кресло, приказал носильщикам идти туда. Ведь галлюцинации не повторяются, так? И он возьмет с собой зрителя: если могилы там нет, он ее не увидит, а если она есть, то задаст зрителю задачу, которую тот на всю жизнь запомнит. Но зрителя не нашли. Он куда-то ушел и унес ключи. Узнав, что попасть на кладбище нельзя, тайпан внезапно обессилел. Он снова сел в кресло и приказал нести себя домой. Надо будет прилечь на полчаса перед обедом. Он переутомился. В том-то и причина. Он слышал, что от переутомления возникают галлюцинации. Когда вошел бой помочь ему переодеться к обеду, он с трудом заставил себя встать. Ему очень не хотелось переодеться, но он не поддавался соблазну: у него такое правило, вот уже двадцать лет он каждый вечер переодевается к обеду, и правила этого он не нарушит. Однако он распорядился подать к обеду шампанское и почувствовал себя увереннее. После обеда он приказал бою подать ему лучший коньяк и после двух рюмок вновь стал самим собой. К дьяволу галлюцинации! Он прошел в бильярдную и попрактиковался в двух-трех трудных ударах. При таком глазомере у него, конечно, все должно быть нормально. Когда он лег спать, то сразу же погрузился в здоровый сон.

И вдруг проснулся. Ему приснилась могила, неторопливо копающие кули... Да видел же он их, видел! Какие еще галлюцинации, если он собственными глазами их видел! Тут он услышал дробный стук — ночной сторож совершал свой обход. Стук этот с такой резкостью ворвался в ночную тишь, что тайпана передернуло. И тут его объял ужас. Как страшны эти кривые бесчисленные улочки китайского города, как жутки и чудовищны изогнутые крыши храмов, гримасничающие, корчащиеся демоны! Как отвратительны запахи, бьющие ему в ноздри! А люди... Мириады кули в синей одежде, нищие в вонючих лохмотьях, торговцы и чиновники в длинных черных одеяниях, маслянистые, улыбающиеся, непроницаемые. Они все словно бы угрожающе надвигались на него. Как он ненавидит эту страну! Китай... И зачем он только сюда приехал? Им овладела паника. Надо бежать отсюда. Он ни единого года тут не останется, ни единого месяца. Шанхай? А зачем ему Шанхай?

— Господи! — вскрикнул он. — Только бы благополучно добраться до Англии!

Он хочет вернуться на родину. Если уж умирать, так в Англии. Он не вынесет, если его похоронят среди этих желтокожих с их раскосыми глазами и ухмыляющимися мордами. Он хочет, чтобы его похоронили на родине, а не в могиле, которую он видел днем. В ней ему покоя не обрести. Никогда. А что подумают люди, ни малейшей важности не имеет. Пусть думают что хотят. Важно одно: выбраться отсюда, пока можно.

Он встал с кровати и написал письмо главе фирмы. Написал, что опасно заболел. Пусть подыщут ему замену. Задержится он лишь на самый необходимый срок. Он должен безотлагательно уехать домой.

Утром письмо это нашли зажатым в пальцах тайпана. Он соскользнул на пол между креслом и бюро. Он был мертв.

L. МЕТАМПСИХОЗА

Одет он был вполне благопристойно, хотя отнюдь не богато. Круглая шапочка из черного шелка на голове, туфли из черного шелка на ногах. Одевание из бледно-зеленого фигурного шелка, а поверх него — короткая черная кофта. Был он стариком с белоснежной бородой, длинной и по китайским меркам пышной. Лицо все в морщинах — особенно между бровями — сияло благодушием, а большие в роговой оправе очки не прятали благодушия в его взоре. Он выглядел прямо-таки мудрецом, который на старинной картине созерцает Вечный Путь, сидя в сени бамбуков у подножия крутой скалистой горы. Однако в эту минуту его лицо выражало досадливое раздражение, а добрые глаза хмурились, ибо, как ни странно (для человека с такой внешностью), он пытался вести по насыпной дороге между затопленными рисовыми полями черную свинку. А черная свинка то внезапно устремлялась рывком вперед, то неожиданно сворачивала в сторону и выписывала зигзаги по всем направлениям, кроме того, куда нужно было почтенному старцу. Он яростно тянул веревку, но свинка визжала и упиралась. Он уговаривал ее и осыпал бранью, но свинка присаживалась на задние ноги и смотрела на него злокозненным взглядом. Тут я понял, что в дни Танской династии старец этот был философом и передергивал факты, как заведено у философов, и подгонял их под причудливые измышления, которые именовал своими теориями. И вот теперь, после неведомо скольких перевоплощений, он искупал все прежние грехи, в свою очередь страдая от упрямой тирании фактов, которые в свое время оскорбил.

Путешествуя по Китаю, особенно поражаешься страсти китайцев все изукрашивать. Неудивительно, конечно, что изукрашены мемориальные арки или внутренность храмов: там причина очевидна; естественно это и для мебели, и вы не изумляетесь, хотя и восхищаетесь, обнаруживая то же самое, когда речь идет о самой простой утвари. Оловянный горшок облагорожен изящным узором, миска, из которой кули ест свой рис, тоже чем-то украшена, пусть и грубовато. Так и кажется, что китайский мастер не считает свое изделие законченным, пока линией или краской не нарушит простоты его поверхности. Он даже начертит арабеску на оберточной бумаге. Но когда дело касается фасада лавки, подобная изысканность уже не так понятна — великолепная резьба, позолоченная или, наоборот, на золотом фоне, и вывеска словно сложная скульптура. Возможно, пышность эта служит своего рода рекламой — но потому лишь, что прохожий (потенциальный клиент) ценит изящество; и невольно веришь, что владелец лавки ценит его не меньше. Когда он сидит перед дверью, покуривая хукку и читая газету сквозь большие роговые очки, его взгляд уж конечно порой ласково скользит по сказочным украшениям. На прилавке в узкогорлом кувшинчике стоит одинокая гвоздика.

То же восторженное пристрастие к изукрашенности вы обнаруживаете и в самой бедной деревушке, где суровая невзрачность двери смягчается тончайшей резьбой, а решетка в окошках образует прихотливый и прелестный узор. В безлюднейшей местности редко встречается мост, к которому не прикоснулась бы рука художника. Камни его уложены так, что образуют своеобразную мозаику, и кажется, будто строители тщательно взвешивали, какой формы мост лучше впишется в окружающий пейзаж — прямой или горбатый. Перила снабжены львами или драконами. Мне вспоминается мост, для которого словно бы выбрали место там, где смотреть на него — чистейшее наслаждение, пусть практическая польза вызывает сомнение: хотя ширина его позволяла проехать экипажу, запряженному парой, воедино он соединял лишь узкий проселок между двумя нищими деревушками. До ближайшего городка было тридцать миль. Широкая река, сужавшаяся в этом месте, струилась между двух зеленых холмов, и берега ее поросли ореховыми деревьями. Перила отсутствовали. Сложен мост был из гигантских гранитных плит и опирался на пять быков, средний из которых имел форму огромного сказочного дракона с длин-

нейшим чешуйчатым хвостом. Края внешних плит по всей длине украшал узорный барельеф — чудо легкости, тонкости и изысканности.

Тем не менее, хотя китайцы всячески стараются не утомлять ваш взгляд и с безошибочным вкусом смягчают пышность украшений, оставляя для контраста участки поверхности, не тронутые кистью или резцом, в конце концов вы устаете. Эта щедрость вызывает недоумение. Нельзя не отдать дань восторга изобретательности, с какой они столь по-разному воплощают занимающие их идеи, создавая впечатление безграничной фантазии, но факт остается фактом — идей на самом деле очень мало. Китайский художник напоминает скрипача, который с несравненным искусством разыгрывал бы бесконечные вариации одного и того же мотива.

Так вот: мне довелось познакомиться с врачом-французом, который много лет практиковал в городе, в котором я тогда оказался. Он коллекционировал фарфор, бронзу, вышивки и показал мне свои сокровища — они были прекрасны, но чуточку однообразны. Я восхищался без особого энтузиазма. И тут вдруг очередь дошла до обломка мраморного торса.

— Но он же греческий! — сказал я с удивлением.

— Вы так думаете? Я рад.

Ни головы, ни рук. К тому же статуя — а это несомненно когда-то была статуя — лишилась всей нижней своей части. Однако сохранился нагрудник, а на нем выпуклый Персей поражал выпуклого дракона. Обломок, по сути, никакого художественного интереса не представлял, но он был греческим и — возможно потому, что я пресытился китайскими красотами — подействовал на меня неожиданным образом. Он говорил на языке, мне хорошо знакомом. Он дал отдохновение моему сердцу. Я погладил его изъеденную временем поверхность с восторгом, которому сам удивился. Я уподобился матросу, который, наплававшись по тропическим морям, познав ленивую прелесть коралловых островов и чудеса многолюдных городов Востока, вдруг вновь оказался среди замызганных проулков какого-нибудь порта на Ла-Манше. И холод, и пасмурность, и грязь, но это — Англия.

Доктор, лысый коротышка с блестящими глазками, пребывавший в постоянном возбуждении, потер руки.

— А вы знаете, что он был найден всего в тридцати милях отсюда по эту сторону тибетской границы?

— Найден! — воскликнул я. — Где найден?

— Mon Dieu ¹, в земле, разумеется. Пролежал в ней две тысячи лет. И найден был не только этот обломок, но еще несколько, и, кажется, не то одна, не то две целые статуи. Только их тут же разбили, и сохранился только вот этот.

Греческие статуи в такой неизмеримой дали от Греции? Невероятно!

— Как вы это объясняете? — спросил я.

— По-моему, это статуи Александра Македонского, — сказал он.

— Черт побери!

Мысль, от которой брала дрожь! Неужто кто-то из полководцев Македонца не вернулся с ним из похода на Индию, а добрался до этого загадочного уголка Китая под сенью тибетских гор? Доктор хотел показать мне маньчжурские одеяния, но я не мог на них сосредоточиться. Каким же смелым искателем приключений был тот, кто проник так далеко на Восток, чтобы создать царство для себя? И он воздвиг там храм Афродиты и храм Диониса; в театре актеры разыгрывали «Антигону», по вечерам в его покоях певцы декламировали «Одиссею». А он и его воины, слушая, быть может, приравнивали себя к древнему мореходу и его спутникам. О каком великолепии повествует этот потемневший обломок мрамора, о каких невероятных приключениях! Долго ли просуществовало это царство и какой трагедией был отмечен его конец? Да, в ту минуту я был не способен разглядывать тибетские знамена и чашечки из зеленого фарфора — у меня перед глазами стоял Парфенон, строгий и прекрасный, а за ним расстилалась безмятежная гладь Эгейского моря.

ЛII. ЧУДО-ЧЕЛОВЕК

Фамилию его я не запомнил, но когда бы о нем в порту ни говорили, его обязательно называли «чудо-человеком». Ему было лет пятьдесят — худощавый и довольно высокий, подтянутый, элегантно одетый, с небольшой, приятной формы головой и резкими чертами лица. Его голубые глаза за пенсне светились добродушием и жизнерадостностью. По натуре он был бодряком и обладал легким остроумием. Он умел отпустить шутку, которая вызывает веселый хохот мужчин, собравшихся у буфетной стойки в клубе, и позволял себе мило прохаживаться — но без малейшей злобы — на

¹ Бог мой (*фр.*).

счет тех членов их небольшой общины, которые при этом не присутствовали. Юмор его был того же пошиба, что у комиков в музыкальных комедиях. Когда о нем говорили, то нередко замечали:

— Знаете, я просто удивляюсь, почему он не пошел на сцену! Имел бы огромный успех. Чудо-человек.

Он всегда был готов выпить с вами, и едва ваша рюмка пустела, как он уже прибежал к китайскому присловью:

— Готовы ко второй половине?

Но сам никогда не пил больше, чем ему было полезно.

— О, у него есть голова на плечах! — говорили о нем. — Чудо-человек!

Когда по кругу пускали шляпу для какой-нибудь милосердной цели, можно было твердо рассчитывать, что он даст не меньше, чем все другие, и он никогда не отказывался принять участие в состязаниях по гольфу или в бильярдном турнире. Он был холост.

— Брак человеку, который живет в Китае, ни к чему, — говорил он. — Жену каждое лето нужно отправлять в горы, а когда дети только-только начинают быть интересными, подходит время отослать их в Англию. Обходится черт знает в какие деньги, а вы за них не получаете ничего.

Но он всегда охотно оказывал ту или иную услугу местным дамам. Он был первым номером у «Джардайна», и возможность быть полезным представлялась часто. Он прожил в Китае тридцать лет и гордился тем, что не может сказать по-китайски ни слова. Он никогда не бывал в китайской части города. Его агент был китаец, как и почти половина клерков, и, разумеется, его слуги, а также носильщики. Это были единственные китайцы, с которыми он соприкасался, но и их ему хватало с избытком.

— Ненавижу эту страну, ненавижу этот народ, — говорил он. — Как только поднакоплю денег, немедленно выберусь отсюда! — Он засмеялся. — Знаете, когда я последний раз был на родине, там все помешались на китайском хламе — картины, фарфор и все прочее. Со мной ни о чем китайском не говорите, сказал я им. Я до конца своих дней ничего китайского видеть больше не желаю. — Он повернулся ко мне. — Знаете что? По-моему, у меня в доме нет ни единой китайской вещи.

Но если вы хотели поговорить с ним о Лондоне, он готов был вести этот разговор хоть час, хоть два. Он знал все музыкальные комедии, поставленные за последние двадцать лет, и на расстоянии в девять тысяч миль оставался в курсе всех выходок мисс Лили Элси и мисс Элси Джейнис. Он

играл на рояле, у него был приятный голос, и не требовалось особых уговоров, чтобы он сел за инструмент и спел модные песенки, которые слышал, когда в последний раз ездил на родину. Меня поражала неисчерпаемая фривольность этого седого человека, в ней даже было что-то жуткое. Но когда он кончал, ему громко аплодировали.

— Он бесподобен, верно? — говорили о нем. — Чудо-человек.

ЛIII. МОРСКОЙ ВОЛК

Судовые капитаны народ по большей части очень скучный. Разговаривают они о фрахтах и грузах. В порту назначения они видят только контору своего агента, бар, где собираются им подобные, и дома терпимости. Ореолом романтики, которым их одевает связь с морем, они обязаны исключительно воображению обитателей суши. Для них море — источник заработка, и они знают его, как машинист знает свой паровоз, лишь с сугубо практической точки зрения. Это труженики с узким умственным горизонтом, чаще убого образованные и некультурные. Личности они цельные и лишены душевной тонкости и воображения. Прямолнейные, мужественные, честные, надежные, эти люди обеими ногами стоят на неизменности очевидного и во всем ясны: в своем окружении они напоминают предметы, снятые стереоскопически, так что возникает иллюзия, будто вы видите их со всех сторон. Они предлагают вам себя во всеоружии типичного.

Однако трудно было найти менее типичного капитана, чем капитан Бутс. Он был шкипером китайского пароходика в верхнем течении Янцзы, а так как я оказался единственным пассажиром, то мы много времени проводили в обществе друг друга. Но хотя он был разговорчив, даже болтлив, вижу я его лишь смутно, и в моей памяти он сохраняется очень расплывчато. Вероятно, мое воображение он занимает именно из-за своей неясности. В его внешности, бесспорно, ничего неясного не было. Крупный мужчина, ростом шесть футов два дюйма, могучего телосложения, с красным дружелюбным лицом и рублеными чертами. Когда он смеялся, открывались два ряда прекрасных золотых зубов. Он был абсолютно лысым, а усы и бороду брил, зато таких пышных, кустистых и грозных бровей я ни у кого больше не видел, а из-под них смотрели кроткие голубые глаза. По рождению он был голландцем и, хотя Голландию покинул в восьмилетнем возрасте, агент сохранял до сих

пор. Его отец, рыбак, плававший по Зюдерзее на собственной шхуне, прослышав, что возле Ньюфаундленда рыба ловится отлично, отправился с женой и двумя малолетними сыновьями через Атлантический океан. Проведя в водах Ньюфаундленда и в Гудзоновом заливе несколько лет — все это происходило почти полвека назад, — они поплыли вокруг мыса Горн в Берингов пролив. И били тюленей, пока закон не вступился за зверей, которых они истребляли подчистую, и Бутс, Бог свидетель, уже взрослый и храбрый парень, начал плавать на парусных судах третьим, а затем и вторым помощником. Почти всю жизнь он ходил под парусами и теперь никак не мог толком освоиться на пароходе.

— Комфорт бывает только на парусниках, — говорил он. — Где пар, там прощай комфорт.

Он плавал вдоль всего побережья Южной Америки в поисках азотных удобрений, потом отправлялся к западным берегам Африки, потом возвращался в Америку ловить треску у берегов Мэна, а потом с грузом соленой рыбы шел в Испанию и Португалию. В Маниле трактирный приятель порекомендовал ему попробовать китайскую таможду. Он отправился в Гонконг, где его взяли в таможенники, а вскоре он получил под свою команду паровой катер. Три года он гонялся за опиумными контрабандистами, а потом, поднакопив денег, построил себе шхуну в сорок пять тонн водоизмещением и решил на ней вновь попытать счастья, добывая тюленей у Берингова пролива.

— Только моя команда перетрусилась, — сказал он. — В Шанхае они все сбежали, а набрать другую я не сумел, ну и продал шхуну, а сам поступил на судно, которое шло в Ванкувер.

Там он впервые расстался с морем. Познакомился с человеком, продававшим патентованные вилы, и согласился поехать с ними по Соединенным Штатам. Странноватое занятие для моряка, и ничего хорошего из этого не вышло: фирма, нанявшая его, обанкротилась, и он оказался в Солт-Лейк-Сити без гроша в кармане. Каким-то образом он сумел вернуться в Ванкувер, но идея жизни на берегу овладела им прочно, и он устроился в агентстве по продаже недвижимости. Его обязанностью было отвозить покупателей на их участки и, если участки им не нравились, убеждать их, что сделку они заключили очень выгодную.

— Одному малому мы продали ферму на склоне горы, — сказал он, и при этом воспоминании глаза его весело заблестели, — а склон до того крутой, что у цыплят одна нога отрастала длиннее другой.

Через пять лет ему захотелось вернуться в Китай. Устроиться помощником на судно, идущее на запад, оказалось очень легко, и вскоре он зажил прежней жизнью. С тех пор он чаще всего ходил из Китая и в Китай — из Владивостока в Шанхай, из Амоя в Манилу, а также по всем большим китайским рекам — теперь уже на пароходах, став из второго помощника первым, а в конце концов и шкипером у судовладельцев-китайцев. Он охотно рассказывал о своих планах на будущее. Китая с него, пожалуй, хватит — вот ферма в Канаде на реке Фрейзер самое милое дело. Построит себе суденышко и будет еще и рыбу ловить — лосося и палтуса.

— Пора мне осесть прочно, — сказал он. — Я в море уже пятьдесят три года. Может, я и сам кораблестроением займусь. Одно что-то делать не по мне.

Тут он был совершенно прав, но тяга к переменам переродилась в странную нерешительность. Было в нем что-то зыбкое, и казалось непонятным, как за него ухватиться. Он напоминал пейзаж с туманом и дождем на японской картине, где рисунок проступает настолько слабо, что его не сразу различаешь. Он обладал своеобразной мягкостью, совершенно неожиданной в бывалом грубом моряке.

— Я никого обижать не хочу, — говорил он. — Стараюсь по-хорошему с ними обходиться. Если люди не делают того, чего вы от них хотите, так потолкуйте с ними по душам, убедите их. Для чего грозить? Попробуйте лаской.

Весьма необычный принцип в обращении с китайцами, и, насколько я мог судить, не такой уж удачный, поскольку после очередного недоразумения он входил в каюту, махал рукой и говорил:

— Ничего с ними поделаться не могу. Никаких доводов не слушают.

Тут его терпимость обрела большое сходство со слабостью. Но глуп он не был. И обладал чувством юмора. В одном месте осадка у нас превышала семь футов, а так как уровень воды в реке на перекатах держался немногим выше и фарватер был опасен, портовые власти отказывались выдать нам необходимое разрешение, пока часть груза не будет снята. Это был последний рейс пароходика, а он вез жалованье войскам, расквартированным в нескольких днях пути ниже по течению, и военный губернатор отказывался выпустить пароходик, если он выгрузит серебро.

— Ну что же, придется мне сделать по-вашему, — сказал капитан Бутс начальнику порта.

— Разрешение вы получите, только когда я увижу над водой пятифуттовую марку.

— Я распоряжусь, чтобы агент забрал часть серебра.

Пока проводилась эта операция, он увел начальника порта в таможенный клуб и принялся поить его. Пил он с ним четыре часа, а когда вышел из клуба, держался на ногах столь же крепко, как и четыре часа назад, но начальник порта был пьян.

— А, как вижу, два фута они убрали,— сказал капитан Бутс.— Значит, можно отплыть.

Начальник порта смерил взглядом колонку цифр на борту пароходика: и действительно, у поверхности воды виднелась пятифутровая марка.

— Вот и хорошо,— сказал он.— Можете отправляться.

— Сейчас и отчалию,— сказал капитан.

Ни унции груза снято не было: китаец, понимавший все с полуслова, аккуратно переписал цифры.

А позднее, когда в одном из речных портов взбунтовавшиеся воинские части положили глаз на серебро, которое мы везли, и попытались задержать нас, он показал похвальную твердость. Его благодущие подверглось тяжкому испытанию, и он сказал:

— Никто не заставит меня остаться, если я этого не желаю. Я капитан этого судна, и приказы здесь отдаю я. Мы отчаливаем.

Перепуганный агент уверял, что солдаты тогда будут стрелять. Офицер что-то скомандовал, и солдаты, упав на одно колено, взяли винтовки на изготовку. Поглядев на них, капитан Бутс распорядился:

— Поставьте бронешиты. Говорю вам, я отчаливаю, а китайская армия пусть летит в тартарары.

Он приказал поднять якорь, и тут же офицер отдал приказ стрелять. Капитан Бутс стоял на своем мостике, и вид у него был довольно гротескный: старая синяя куртка, красная физиономия и дюжая фигура придавали ему полное сходство с дряхлыми рыбаками, которых можно наблюдать в доках Гримсби. Он ударил в колокол, и мы медленно отошли от пристани под треск винтовочных выстрелов.

LIV. ВОПРОС

Меня повели осмотреть храм. Он стоял на склоне холма, и фоном ему служило полукольцо львино-рыжих гор, одевавших его церемонным величием. Мне указали, с какой изумительной гармонией серия зданий уходит вверх, ведя к последнему — истинной жемчужине из белого мрамора,

окруженной деревьями. Ведь китайский зодчий тщился украсить природу своим творением и использовал особенности ландшафта для декоративных целей. Мне объяснили, с каким тонким расчетом были посажены деревья, здесь контрастируя с мрамором ворот, тут даруя приятную тень, а там обеспечивая фон; мое внимание обратили на восхитительные пропорции огромных крыш, поднимающихся одна над другой с изяществом цветов; и меня предупредили, что желтые черепицы бывают разных оттенков, так что взыскательный вкус не оскорбляло однообразие широких цветочных пятен, но развлекали и убажали нежные переливы тонов. Мне показали, как сложная резьба на воротах перемежается с ничем не украшенными плоскостями, так что глаз не пресыщался и не утомлялся. Со всем этим меня знакомили, пока мы прогуливались по гармоничным дворикам, переходили мостики — чудо изящества, заглядывали в храмы с неведомыми богами, темными, жестикулирующими, но когда я спросил, какая духовная потребность заставила воздвигнуть все эти бесчисленные постройки, ответить они не смогли.

LV. СИНОЛОГ

Он высок, излишне дороден и дрябловат от сидячей жизни. Бритое широкое красное лицо под седыми волосами. Говорит он быстро, нервно, и голос его тонковат для такого крупного тела. Живет он в храме сразу за городскими воротами в покоях для гостей, а оберегают храм и молятся в нем три буддийских духовных лица и маленький служка. В комнатах мало китайской мебели и очень много книг, но никакого уюта. Помещения очень холодные, и кабинет, где мы сидим, едва обогревает керосиновая печка.

Он знает китайский лучше любого человека в Китае. Десять лет он работает над словарем, который заставит забыть о словаре именитого ученого, к кому вот уже четверть века он питает личную неприязнь. Таким образом он обогащает китаеведение и удовлетворяет собственную мстительность. У него есть все атрибуты университетского профессора, и вы не сомневаетесь, что кончит он главой кафедры китайского языка в Оксфорде, заняв именно то место, для которого предназначен. Он обладает заметно более широкой культурой, чем большинство синологов, которые, возможно, и знают китайский — это приходится брать на веру, — но с прискорбной очевидностью ничего другого не знают; а потому его рассуждения о китайской философии и литера-

туре отличаются глубиной и эрудированностью, с какими не так уж часто сталкиваешься у специалистов по языку. Он совершенно поглощен своими занятиями, ни скачками, ни охотой не интересуется, и европейцы считают его чуть тронутым чудаком. Они относятся к нему с той подозрительностью и боязливым почтением, какие люди всегда испытывают к тем, кто не разделяет их вкусов. Они намекают, что он не в своем уме, а некоторые обвиняют его в пристрастии к опиуму. Это обвинение всегда выдвигается против белых, которые стараются как можно лучше узнать цивилизацию страны, где им предстоит провести значительную часть жизни. Лишь нескольких минут в этой комнате, лишенной даже подобия комфорта, достаточно, чтобы понять, что перед вами человек, который ведет чисто духовную жизнь.

Но жизнь эта узко направлена. Искусство и красота словно бы вовсе его не трогают, и, слушая, как он с сочувственным пониманием говорит о китайских поэтах, я невольно спрашиваю себя, не ускользнуло ли у него сквозь пальцы самое лучшее. Вот человек, который соприкасается с реальностью исключительно посредством печатных страниц. Трагическое великолепие лотоса трогает его, только когда оно превращено в святыню стихами Ли По, а смех робких китайских девушек волнует его кровь лишь в совершенных строках изысканного четверостишия.

LVI. ВИЦЕ-КОНСУЛ

Носильщики поставили кресло во дворе суда и отстегнули кожух, защищавший его от дождя. Он высунул голову, точно птица из гнезда, затем извлек наружу длинное худое туловище, а затем и худые длинные ноги. Несколько секунд он стоял, точно не зная, что с собой делать. Был он очень молод, и его неуклюжая долговязость только подчеркивала его сходство с неоперившимся птенцом. Круглое свежее лицо (при таком длинном росте голова у него казалась маленькой) выглядело совсем мальчишеским, а карие глаза смотрели с бесхитростной откровенностью. Ощущение важности его официального положения (совсем недавно он был всего лишь студентом-переводчиком) боролось в нем с природной застенчивостью. Он вручил свою карточку секретарю судьи, и тот проводил его во внутренний дворик и пригласил сесть. Там было холодно, сильно дуло, и вице-консул радовался, что на нем плотный дождевик. Оборванный служитель принес чай и сигареты. Секретарь, испитой мо-

лодой человек в очень потрепанном черном одеянии, учился в Гарварде и обрадовался случаю похвастать своим умением говорить по-английски.

Затем вошел судья, и вице-консул встал. Судья был почтенный толстяк в стеганой одежде, с очками в золотой оправе на большом улыбающемся лице. Они сели, начали прихлебывать чай, закурили американские сигареты. И вели дружескую беседу. Английского судья не знал, но китайский вице-консула был еще совсем свежим, прямо с университетской скамьи, и он мысленно решил, что не ударил в грязь лицом. Вскоре появился еще один служитель и что-то сказал судье, после чего судья любезно осведомился, не хочет ли он приступить к делу, которое привело его сюда. Дверь во внешний двор была распахнута, судья прошел в нее и сел на широкую скамью за столом, поставленным на крыльце. Он больше не улыбался, а инстинктивно облекся в величавое достоинство, приличествующее его должности, и даже походка его, как ни был он толст, обрела внушительную важность. Повинуясь вежливому жесту, вице-консул сел рядом с ним. Секретарь встал у конца стола. Тут распахнулась калитка в уличной стене (вице-консулу почудилось, что нет ничего драматичнее внезапно распахивающейся двери), и во двор торопливо, как-то странно подпрыгивая, вошел преступник. На середине двора он замер, глядя на судью. По бокам его шли двое солдат в хаки. Преступник был молод — вице-консул подумал, что они с ним, видимо, ровесники. Одет он был только в бумажные брюки и бумажную безрукавку, совсем выцветшие, но чистые. Босой, с непокрытой головой, он ничем не отличался от тысяч кули в неизменно синей одежде, каких полным-полно на запруженных людьми городских улицах. Судья и преступник молча смотрели друг на друга. Вице-консул взглянул на лицо преступника и тут же опустил глаза: ему не хотелось видеть то, что было видно так ясно. Его вдруг охватило смущение. И, глядя вниз, он заметил, что ступни у этого человека небольшие, красивой формы. А руки связаны за спиной. Он был худощав, среднего роста, гибок и чем-то напоминал лесного зверя. И стоял он на своих изящных ступнях с какой-то особой грациозностью. Против воли вице-консул снова посмотрел на его лицо — овальное, без единой морщины, без единого волоска. И такой странный цвет! Консул много раз читал, как лица зеленеют от ужаса, и считал, что это вычурная метафора, но теперь он увидел такое лицо. И был потрясен. И охвачен стыдом. В глазах тоже — в глазах, вовсе не раскосых, которые ложно

приписываются всем китайцам, но смотрящих прямо, в глазах неестественно больших и блестящих, устремленных на судью глазах, в них тоже был ужас, приводивший в содрогание. Но когда судья задал ему вопрос — суд и приговор были уже позади, а привели его сюда в это утро просто для формального опознания, — он ответил громким четким голосом, почти дерзко. Пусть тело предало его, но он еще оставался господином своей воли. Судья отдал краткое распоряжение, и два солдата вывели преступника на улицу. Судья и вице-консул встали и направились к калитке, где их ждали кресла-носилки. Там между своих стражей стоял преступник. Хотя руки у него были по-прежнему связаны, он курил сигарету. Под выступом крыши жался взвод щуплых солдатиков, и при появлении судьи офицер скомандовал им построиться. Судья и вице-консул сели в свои кресла. Офицер снова скомандовал, и взвод замаршировал по улице. Шагах в трех за ним шел преступник, далее следовал судья, а замыкал шествие вице-консул.

Они быстро двигались по многолюдным улицам, и лавочники смотрели на них без всякого любопытства. Дул холодный ветер, дождь не прекращался. Преступник в своей бумажной безрукавке, конечно, вымок до костей. Шел он твердым шагом и голову держал высоко, даже с какой-то лихостью. От суда до городской стены путь был неблизкий, и им, чтобы добраться туда, потребовалось полчаса. Наконец они добрались до городских ворот и вышли за них. С наружной стороны стены возле убогого гроба, кое-как отесанного и некрашеного, стояли четверо мужчин в синих рубищах — они выглядели как крестьяне. Проходя мимо, преступник взглянул на гроб. Судья и вице-консул сошли с носилок, а офицер скомандовал взводу остановиться. Сразу же за городской стеной начинались рисовые поля. Преступника вывели на тропку, разделявшую два поля, и велели встать на колени. Но офицер счел это место неподходящим и приказал ему встать. Он прошел еще три-четыре шага и опустился на колени. От взвода отделился солдат и занял позицию за спиной приговоренного, примерно в шаге от него. И поднял винтовку. Офицер отдал команду, он выстрелил. Преступник упал ничком и конвульсивно задержался. Офицер подошел к нему, увидел, что жизнь еще не угасла, и выстрелил в тело из обоих стволов своего револьвера. Затем снова построил своих солдат. Судья улыбнулся консулу, но это была не столько улыбка, сколько гримаса, болезненно искажившая толстое добродушное лицо.

Они сели в свои кресла, но у городских ворот их пути расходились, и судья учтивым поклоном попрощался с ви-

це-консулом. Вице-консула понесли к консульству по изви-
листым, полным прохожих улицам, жившим обычной жиз-
нью. Быстро продвигаясь по ним — его носильщики были
крепкие ребята, чьи громогласные требования дать дорогу
слегка его отвлекали, — вице-консул думал о том, что созна-
тельно обрывать чью-то жизнь очень страшно: брать на себя
уничтожение того, что было плодом неисчислимых поколе-
ний. Род человеческий существует очень давно, и каждый
из нас, живущих, являет собой результат бесконечной цепи
чудесных совпадений. Но одновременно вице-консул с не-
доумением почувствовал, как ничтожна жизнь. Одним боль-
ше, одним меньше — какое это имеет значение? Но, когда
они приблизились к консульству, он взглянул на свои часы,
удивился, как уже поздно, и приказал носильщикам повер-
нуть к клубу. Подошло время коктейлей, и, черт побери,
ему не мешает выпить. В баре он увидел у стойки человек
десять. Все они знали, какое поручение он выполнял утром.

— Так что же, — сказали они, — видели вы, как мерзавца
пристрелили?

— Ну а как же! — произнес он громким небрежным
голосом.

— И все прошло гладко?

— Подергался немножко. — Он повернулся к стойке. —
Как обычно, Джон.

LVII. ГОРОД, ПОСТРОЕННЫЙ НА СКАЛЕ

Про него говорят, что собаки лают, если в него ненаро-
ком заглянет солнце. Это серый угрюмый город, окутанный
туманами, потому что стоит он на скале у слияния двух рек,
так что со всех сторон, кроме одной, его омывают мутные
стремительные воды. Скала напоминает нос старинной га-
леры и словно таит в себе странную противоестественную
жизнь и вся напрягается, чтобы вот-вот устремиться в бурля-
щий поток. И еще город теснят крутые горные обрывы.

За его стенами ютятся лачужки, построенные на сваях,
и там, когда вода стоит низко, разный сброд спешит пожи-
виться, пользуясь «слабостями» речников: у подножия скалы
впритык стоят сотни джонок, и человеческая жизнь там бурна
и мутна, как эта река. Крутая извилистая лестница ведет
к огромным воротам, охраняемым храмом, и по этой лестнице
весь день напролет поднимаются и опускаются водоносы
с капающими ведрами. Поэтому и ступеньки и улица за
воротами всегда мокры, точно после сильного ливня. Редко

где удастся сделать несколько шагов по горизонтали, и вырубленных в скале лестничек здесь не меньше, чем в горных городках над итальянской Ривьерой. Из-за того, что свободного пространства в стенах города очень мало, темные узенькие улочки теснят друг друга и все время куда-то сворачивают, а потому отыскать там дорогу не легче, чем в лабиринте. Толпы прохожих густы, как на центральных улицах Лондона, когда театры начинают извергать зрителей. И приходится пролагать себе путь в этой живой массе, каждую минуту сторонясь, чтобы пропустить кули с носилками или с каким-нибудь другим грузом, а лоточники, которые торгуют всем чем угодно, толкают тебя, когда ты пробираешься мимо. Лавки помещаются в открытых на улице навесах без окон и дверей, и они тоже полны народа. Они напоминают выставки предметов искусства и всяческих ремесел, и вдруг вы осознаете, как выглядели городские улицы в средневековой Англии, когда каждый городок производил все, что требовалось его жителям. Причем соседи подбираются по схожести занятий: в результате вы вдруг оказываетесь на улице мясников, где справа и слева висят огромные окровавленные туши и внутренности, вокруг них жужжат мухи, под ними рыскают облезлые собаки. Или вы проходите по улице, где в каждом доме есть ручной ткацкий станок, на котором без отдыха ткут шелк или сукно. Из бесчисленных харчевен доносятся густые запахи — в любое время дня и ночи там сидят люди и едят. Затем (обычно на углу) вы видите чайные домики, и там тоже весь день напролет за столиками не найдется свободного места, и самые разные люди пьют чай и курят бок о бок друг с другом. Цирюльники занимаются своим ремеслом на глазах у всех, и вы видите, как их клиенты терпеливо сидят, подсунув под себя руки, пока им бреют голову; другим прочищают уши, а некоторым — отвратительное зрелище! — выскребают внутреннюю сторону век.

Это город тысячи шумов. Лоточники заявляют о себе, колотя в деревянные гонги, слышатся трещотки слепых и массажистов, кто-то пронзительным фальцетом распевает в харчевне, и гремит металлический гонг в доме, где справляется свадьба. Хрипло кричат кули и носильщики кресел, угрожающе клянчат милостыню нищие — жалкие карикатуры на человека, скелеты, еле прикрытые грязными лохмотьями, пораженные отвратительными кожными болезнями; надтреснуто и тоскливо звучит труба, на которой без конца и без толку упражняется трубач; и басово аккомпанирует всему этому варварская мелодия — неумолчные человеческие голоса: смех, ссоры, крики, споры, шутки, дружеская

болтовня. Неутихающий гомон. Сначала он поражает, потом оглушает, терзает и, наконец, ввергает в бешенство. Вы жаждете мгновения полной тишины. Вам чудится, что она будет полна неизъяснимой прелести.

Вдобавок к раздражающим толпам, к шуму, терзающему ваши уши, еще и вонь, в которой время и опыт помогают вам различать сотни слагаемых. Ваши ноздри обретают особую чуткость. Смрадные запахи бьют по вашим истомленным нервам, точно визг и лязг скверных инструментов, разыгрывающих жуткую симфонию.

Невозможно догадаться, где живут тысячи и тысячи людей, снующих мимо. Своих соотечественников вы понимаете и способны испытывать к ним симпатию и сочувствие; вы способны, хотя бы в воображении, войти в их жизнь, в каком-то смысле действительно ощутить их своими. Усилим фантазии вы можете приобщить себя к каждому из них. Но все эти люди чужды вам, как вы чужды им. У вас нет ключа к их тайне. Ибо хотя довольно во многом они с вами схожи, это вам не помогает, а, наоборот, подчеркивает различия, разделяющие вас. Некто привлекает ваше внимание: бледный юноша в больших роговых очках с книгой под мышкой, чья сосредоточенность производит приятное впечатление; или старик в капюшоне с седой реденькой бородкой и усталыми глазами — он похож на одного из тех мудрецов, которых китайские художники писали на фоне скалистых пейзажей, а в дни императора Канси делали из фарфора. Но с тем же успехом вы могли бы смотреть на кирпичную стену. Вам не за что ухватиться, вы не знаете о них ровно ничего, и ваше воображение бессильно.

Но потом, добравшись до вершины холма, вы вновь оказываетесь у зубчатой стены, опоясывающей город, минуете угрюмые ворота и попадаете на кладбище. Ряды могил простираются куда-то вдаль на милю, на две мили, на три, на четыре, на пять — бесконечные, уходящие вверх и вниз по склонам зеленые холмики с серыми камнями, к которым раз в году приходят люди совершить возлияния и рассказать мертвым, как обстоят дела у живых, которых они опередили; и они — мертвые — теснятся точно так же, как живые в городе, и кажется, что они давят на живых, словно рады были бы столкнуть их в мутные речные водовороты. В этих бесчисленных рядах есть что-то угрожающее, точно они с угрюмой беспощадностью осадили город и выжидают своего часа; точно под конец, наступая с неумолимостью судьбы, они вытеснят эти кишашие толпы, заполнят собою улицы и дома, пока зеленые бугры не

достигнут водяных ворот. И вот тогда тут воцарится тишина, нерушимая тишина.

Они наводят жуть, эти зеленые могилы, они повергают в ужас. Они как будто ждут, ждут.

LVIII. ВОЗЛИЯНИЯ БОГАМ

Это была старуха, чье сморщенное лицо изборождали глубокие морщины. Три серебряных ножа в седых волосах образовывали фантастичный головной убор. Линялая синяя одежда состояла из длинной изношенной и заплатанной кофты и штанов, которые доставали ей чуть ниже икр. Ноги ее были босы, но одну лодыжку охватывал серебряный браслет. Было видно, что она очень бедна. Хотя и худая, выглядела она коренастой и в расцвете сил, вероятно, легко выдерживала выматывающий труд, в котором промелькнула ее жизнь. Шла она неторопливо чинной походкой состарившейся женщины, а на руке несла корзинку. Она спустилась в порт, где теснились пестрые джонки. Ее глаза на миг с любопытством остановились на мужчине, который, стоя на узком бамбуковом плотике, ловил рыбу с помощью бакланов. Корзинку она поставила на плиту набережной у самой воды и вынула из нее красную свечу. Свечу она зажгла и укрепила в щели между плитами. Затем вынула несколько курительных палочек, секунду подержала каждую в пламени свечи и воткнула их вокруг себя. Потом достала три крохотные чашечки и налила в них жидкость из фляжки, которую принесла с собой, и аккуратно поставила их в один ряд. Затем извлекла из своей корзинки сверток бумажных денег и бумажных «башмаков» и развернула их, чтобы они лучше горели. Она зажгла костерок и, когда он разгорелся, взяла три чашечки и вылила часть их содержимого перед тлеющими курительными палочками. Она трижды поклонилась, бормоча какие-то слова, и разворошила горящую бумагу, чтобы огонь вспыхнул ярче. Затем вылила на камни всю остальную жидкость и вновь трижды поклонилась. Никто не обращал на нее ни малейшего внимания. Она достала из корзинки еще сверточек бумажных денег и бросила их в костерок. Потом забрала корзинку и удалилась той же неторопливой, довольно тяжелой походкой. Боги были умилостивлены и, подобно старой французской крестьянке, которая к вечеру удачно управилась со всеми хозяйственными хлопотами, она вернулась к собственным делам.

ПОДВОДЯ ИТОГИ



Перевод М. Лорие

The summing up

1925

Эта книга — не автобиография и не мемуары. Все, что случалось со мною в жизни, я так или иначе использовал в своих произведениях. Бывало, что какое-нибудь мое переживание служило мне темой, и я выдумывал ряд эпизодов, чтобы выявить ее; но чаще я брал людей, с которыми был близко или хотя бы слегка знаком, и на их основе создавал своих персонажей. Факты и вымысел в моих книгах так перемешаны, что сейчас, оглядываясь назад, я не всегда могу отличить одно от другого. Записывать факты, которые я уже употребил с большей пользой, мне было бы неинтересно, даже если бы я мог их припомнить. К тому же они показались бы очень пресными. Я прожил разнообразную, временами очень интересную жизнь, но приключениями она не богата. У меня плохая память. Анекдоты я помню, только пока мне их рассказывают, а потом забываю, не успев пересказать другим. Я никогда не запоминал даже собственных шуток, почему и был лишен возможности повторять их. И я понимаю, что этот недостаток умаляет удовольствие от общения со мною.

Я никогда не вел дневника. Теперь я жалею, что не делал этого, когда впервые добился успеха как драматург: в тот год я встречался с многими незаурядными людьми, и мои записи могли бы представить собою интересный документ. То было время, когда вера народа в аристократию и земельное дворянство рухнула из-за бездарности, проявленной ими в Южной Африке, но аристократы и дворяне-землевладельцы еще не поняли этого, и самоуверенность их ничуть не уменьшилась. В домах некоторых политических деятелей, где мне довелось бывать, они все еще говорили так, словно управление Британской империей

было их личным делом. Помню, с каким странным чувством я слушал их рассуждения насчет того, отдать ли после всеобщих выборов министерство внутренних дел Тому и удовлетворится ли Дик Ирландией. Едва ли кто-нибудь сейчас читает романы миссис Хэмфри Уорд, но, как они ни скучны, они, сколько помнится, дают хорошее представление о жизни правящего класса того времени. Эта жизнь все еще очень интересовала романистов, и даже писатели, в глаза не видевшие лорда, считали своим долгом писать по преимуществу о знати. Взглянув на тогдашние театральные афиши, всякий поразился бы количеству титулованных персонажей. Директоры театров считали, что такие персонажи привлекают публику, актеры любили избражать их. Но по мере того, как политическое значение аристократии сходило на нет, публика все меньше интересовалась ею. Зрители уже согласны были видеть на сцене людей своего собственного класса — богатое купечество и профессионалов-интеллигентов, вершивших в то время дела страны; и понемногу вошло в силу неписаное правило — не вводить в литературное произведение титулованных особ, если того не требовала тема. Заинтересовать публику жизнью низших классов было тогда еще невозможно. Романы и пьесы, посвященные им, встречали с брезгливым высокомерием. Теперь, когда эти классы стали политической силой, интересно, проявит ли широкая публика такой же интерес к их жизни, какой она так долго проявляла к титулованной знати, а некоторое время и к наиболее обеспеченным кругам буржуазии.

В те годы я познакомился с несколькими людьми, которые в силу своего рождения, известности или положения в обществе вполне могли считать себя предназначенными на роль исторических личностей. Они оказались не такими блестящими, как я думал. Англичане — нация политиков, и меня часто приглашали в дома, где политикой интересовались превыше всего. У видных государственных мужей, которых я там встречал, я не обнаружил выдающихся талантов. Из этого я сделал вывод, возможно опрометчивый, что для управления страной не требуется большого ума. Позднее я знавал в разных странах немало политических деятелей, достигших высоких постов, и тоже бывал поражен тем впечатлением интеллектуального убожества, какое они на меня производили. Они были плохо осведомлены в самых простых житейских вопросах, и лишь очень редко я обнаруживал у них тонкий ум или живость воображения. Одно время я склонялся к мысли, что своим видным положе-

нием они обязаны исключительно дару слова, поскольку в демократическом обществе человек, в сущности, не может достичь власти, если он не умеет захватить аудиторию; а дар слова, как известно, не часто сочетается с силой мышления. Но дело, видимо, не в этом, поскольку некоторые деятели, не казавшиеся мне особенно умными, вели государственные дела вполне успешно. Надо полагать, что для управления страной требуется специфический талант, совершенно не зависящий от общей талантливости. Я знавал и деловых людей, которые наживали большие состояния и возглавляли крупные, процветающие предприятия, но во всем, что не касалось их дела, не могли проявить хотя бы здравого смысла.

И разговоры, которые я тогда слышал, обманули мои ожидания. Они редко давали много пищи для ума. Велись они легко, хотя и не всегда весело; были приятны и поверхностны. Серьезных тем не касались — считалось, что обсуждать их в обществе неудобно; а «профессиональными» разговорами эти люди опасались нарушить хороший тон и потому не говорили о том, что их больше всего интересовало. Сколько я мог судить, разговор сводился к пристойному злословию, но не часто доводилось услышать в нем остроту, которую стоило бы повторить. Впору было подумать, что единственное назначение культуры — это научить людей болтать глупости с важным видом. Самым, пожалуй, интересным, неизменно занимательным собеседником, какого я встречал, был Эдмунд Госсе. Он очень много читал, хотя, видимо, не слишком внимательно, и в разговоре так и сверкал умом. У него была потрясающая память, тонкое чувство юмора, лукавство. Он близко знал Суинберна и увлекательно рассказывал о нем, но и о Шелли, с которым он уж никак не мог быть знаком, он умел говорить как о закадычном друге. В течение многих лет он общался со всякими известными людьми. Я думаю, что он был тщеславным человеком и наблюдать их слабости и причуды доставляло ему удовольствие. Я убежден, что в его рассказах они были гораздо занятнее, чем в жизни.

II

Меня всегда поражало, почему люди так стремятся к знакомству со знаменитостями. Престиж, который знакомство со знаменитым человеком создает вам в глазах ваших приятелей, доказывает только, что сами вы немногого

стоите. Знаменитости вырабатывают особую технику общения с простыми смертными. Они показывают миру маску, нередко убедительную, но старательно скрывают свое настоящее лицо. Они играют роль, которой от них ожидают, и постепенно выучиваются играть ее очень хорошо, но глупо было бы воображать, что актер играет самого себя.

В моей жизни было несколько человек, к которым я был привязан, глубоко привязан; но людьми вообще я интересуюсь не ради них, а ради моей работы. В каждом человеке я, игнорируя завет Канта, вижу не самоцель, а материал, который может пригодиться мне как писателю. И неизвестные люди занимают меня больше, чем известные. Они чаще бывают самими собой. Им не нужно изображать кого-то, чтобы защититься от мира или поразить его воображение. В ограниченной сфере их деятельности индивидуальные их свойства легче могут развиваться, и поскольку они не находятся в центре внимания, им не приходит в голову, что они должны что-то скрывать. Они открыто проявляют свои чудачества, потому что не знают за собой ничего чудного. И ведь, в конце концов, нам, писателям, приходится иметь дело с обыкновенными людьми; короли, диктаторы, промышленные магнаты, с нашей точки зрения, мало чем могут порадовать. Сколько раз писатели поддавались искушению писать о них, но неудачи, которыми кончались такие попытки, показывают, что это личности слишком исключительные, чтобы брать их в основу произведения искусства. Их нельзя сделать реальными. Область обыкновенного куда богаче для писателя. Ее неожиданность, неповторимость, ее бесконечное разнообразие дают ему неисчерпаемый материал. Великий человек слишком часто бывает сделан из одного куска; маленький человек — это клубок противоречивых элементов. Он неистощим. Нет конца сюрпризам, которые у него припасены для вас. Я лично куда охотнее провел бы месяц на необитаемом острове с ветеринаром, чем с премьер-министром.

III

В этой книге я постараюсь привести в порядок свои мысли о предметах, которые больше всего занимали меня на протяжении моей жизни. До сих пор выводы, к которым я пришел, носились у меня в голове, как обломки корабля в бурном море. Мне все казалось, что, закрепив их на бумаге в известной последовательности, я отчетливее увижу,

в чем они состоят, и смогу объединить их в нечто целое. Я уже давно подумывал о том, чтобы заняться этим, и не раз, отправляясь в долгое путешествие, решал, что вот теперь для этого наступило самое подходящее время. Но меня всегда захлестывало столько впечатлений, я видел столько нового, встречал столько людей, завладевавших моим воображением, что некогда было спокойно подумать. Я так интенсивно жил настоящим, что, хоть убей, не мог настроиться на интроспективный лад.

Отпугивала меня также нудная задача непосредственно излагать мои собственные мысли. Ибо хотя я часто писал от первого лица, но писал как автор романов и рассказов, а стало быть, в какой-то мере мог считать себя одним из персонажей. В силу долголетней привычки мне удобнее высказываться через посредство вымышленных мною людей. Решать, что они подумали бы, мне легче, чем решить, что думаю я сам. Первое всегда доставляло мне радость; второе было тяжелым трудом, который я с готовностью откладывал на завтра. Но больше откладывать нельзя. В молодости годы тянутся перед нами бесконечно длинной вереницей, и трудно осознать, что они когда-нибудь минуют; даже в среднем возрасте, при нормальной в наши дни жадности к жизни, легко найти предлог, чтобы не делать того, что нужно бы сделать, но не хочется. Но наконец наступает время, когда требует к себе внимания смерть. Один за другим уходят сверстники. Мы знаем, что все люди смертны (Сократ был человеком, следовательно... и так далее), но это, в сущности, остается для нас силлогизмом и абстракцией до тех пор, пока мы не бываем вынуждены признать, что по ходу вещей и наш конец уже не за горами. Просматривая иногда сообщения о смерти в «Таймс», я пришел к мысли, что шестьдесят лет — очень нездоровый возраст; а так как я уже давно знаю, что мне было бы очень досадно умереть, не написав этой книги, то, пожалуй, надо браться за нее немедленно. Закончив ее, я смогу безмятежно смотреть в будущее — труд моей жизни будет закончен. Я не могу больше убеждать себя, что не готов для этой работы: уж если у меня до сих пор не сложилось мнение о том, что кажется мне всего важнее, едва ли оно когда-нибудь сложится. Я рад собрать наконец воедино все мысли, которые так долго плавали вразброд в том или ином уголке моего сознания. Записав их, я с ними покончу и освобожу свою голову для другого — ведь я надеюсь, что это будет не последняя моя книга. Человек не умирает сейчас же после того, как составит завещание; завещание составляют на всякий случай.

Привести свои дела в порядок — это хорошая подготовка к тому, чтобы прожить остаток дней без забот о будущем. Закончив эту книгу, я буду знать, чего держаться. И тогда я могу поступить как угодно с теми годами жизни, которые мне еще отпущены.

IV

Разумеется, я скажу здесь много такого, что уже говорил раньше, поэтому я и назвал книгу: «Подводя итоги». Когда судья подводит итоги дела, он вновь останавливается на фактах, которые прошли перед присяжными, и комментирует речи обвинителя и защитника. Новых свидетельств он не приводит. И поскольку всю свою жизнь я вложил в свои книги, многое из того, что я хочу сказать, естественно, нашло себе в них место. Едва ли в сфере моих интересов найдется предмет, которого я бы уже не касался либо всерьез, либо в шутку. Сейчас я могу лишь попытаться дать более или менее стройную картину моих взглядов и мнений и, может быть, кое-где развить более подробно ту или иную мысль, которую раньше только бросил в виде намека, сообщаясь с ограничениями, какие налагают законы прозы и драматургии.

Эта книга по необходимости будет эгоцентрична. В ней говорится о предметах, которые важны для меня, и в ней говорится обо мне, поскольку я могу трактовать эти предметы только так, как я их воспринимаю. Но это не описание моей жизни. У меня нет ни малейшего желания обнажать свою душу, и я не намерен вступать с читателем в слишком интимные отношения. Есть вещи, которые я предпочитаю держать про себя. Никто не может рассказать о себе всю правду. Тем, кто пытался открыть себя людям, не только самолюбие мешало рассказать всю правду, но и самая направленность их интереса; от разочарования в самих себе, от удивления, что они способны на поступки, казалось бы, ненормальные, они без нужды раздувают эпизоды, более обыденные, чем это им представляется. Руссо в своей «Исповеди» рассказывает о случаях, глубоко оскорбивших чувствительных людей во всем мире. Описывая эти случаи с такой откровенностью, он спутал критерии и придал им в своей книге больше значения, чем они имели в его жизни. Это были эпизоды среди тысячи других, возвышенных или хотя бы безразличных, которые он опустил, потому что, на его взгляд, они, как слишком заурядные, не стоили упомина-

ния. Есть люди, которые оставляют без внимания свои хорошие поступки, но мучаются тем, что они совершили дурного. Именно этого типа люди чаще всего пишут о себе. Они умалчивают о своих похвальных свойствах и поэтому кажутся нам только слабыми, беспринципными и порочными.

V

Я пишу эту книгу, чтобы вытряхнуть из головы некоторые мысли, которые что-то уж очень прочно в ней застряли и смущают мой покой. Я не стремлюсь никого убеждать. У меня нет педагогической жилки, и, когда я что-нибудь знаю, я не испытываю потребности поделиться своими знаниями. Мне более или менее все равно, согласны ли со мной другие. Разумеется, я считаю, что я прав — иначе я бы не думал так, как думаю, — а они не правы, но их неправота меня мало трогает. Не волнуюсь я и тогда, когда обнаруживаю, что мое суждение идет вразрез с суждением большинства. Я до некоторой степени доверяю своему инстинкту.

Я должен писать так, словно я — очень важная персона; да я и есть важная персона — для себя самого. Для себя я — самая значительная личность на свете, хотя я и не забываю, что, не говоря уже о такой грандиозной концепции, как Абсолют, но даже просто с точки зрения здравого смысла, я ровно ничего не значу. Мало что изменилось бы в мире, если бы я никогда не существовал. Может показаться, что я пишу так, словно предлагаю считать некоторые свои произведения из ряда вон выходящими; на самом же деле они просто важны для меня, поскольку мне приходится упоминать о них в ходе моих рассуждений. Я думаю, что мало найдется серьезных писателей — а я имею в виду не только авторов книг о серьезных материях, — совершенно равнодушных к тому, что станет с их произведениями после их смерти. Приятно думать пусть не о том, что ты достиг бессмертия (бессмертие литературного произведения исчисляется в лучшем случае несколькими столетиями, да и то это обычно лишь бессмертие в школьной программе), но о том, что несколько поколений будут читать тебя с интересом и что ты займешь хотя бы скромное место в истории литературы своей страны. Что касается меня, то я и на такую возможность смотрю скептически. Еще на моей памяти некоторые писатели, в свое время наделавшие в литературном мире гораздо больше шума, были преданы забвению. Когда я был молод, мы не сомневались, что книгам

Джорджа Мередита и Томаса Гарди суждена долгая жизнь. Но современной молодежи они почти ничего не говорят. Время от времени какой-нибудь критик в поисках темы напишет о них статью, и тогда несколько читателей возьмут из библиотеки тот или другой роман; но едва ли я ошибусь, сказав, что ничего из написанного ими не будут читать так, как читают «Путешествия Гулливера», «Тристрама Шенди»¹ или «Тома Джонса»².

Тон этой книги может показаться догматичным, но это лишь потому, что мне очень скучно предпосылать каждой фразе оговорки вроде «я считаю» или «по моему мнению». Все, что я говорю,— не более как мое мнение. Читатель волен соглашаться или не соглашаться со мной. Если у него хватит терпения дочитать книгу до конца, он увидит, что с уверенностью я утверждаю лишь одно: на свете есть очень мало такого, что можно утверждать с уверенностью.

VI

Писать было для меня с самого начала так же естественно, как для утки — плавать. Я до сих пор иногда удивляюсь, что я — писатель; к этому не было никаких причин, кроме непреодолимой склонности, а почему такая склонность во мне возникла — непонятно. Больше ста лет мужчины в нашей семье занимались юриспруденцией. Если верить «Биографическому словарю», дед мой был одним из двух основателей Общества юристов, и в каталоге библиотеки Британского музея имеется длинный перечень его юридических трудов. Только одна из написанных им книг была другого рода. Это — сборник эссе, которые он ранее помещал в солидных журналах того времени, и выпустил он их анонимно, сообразуясь со своим понятием о благопристойности. Однажды я держал в руках эту красивую книжку, переплетенную в телячью кожу, но тогда я ее не прочел, а позднее не мог найти. Это очень жаль — она, вероятно, помогла бы мне узнать, что за человек был мой дед. Много лет он прожил на Чансери-лейн, потому что стал секретарем основанного им общества, а уйдя в отставку и переселившись на Кенсингтон-роуд, в дом, выходивший окнами в Гайд-парк, получил в подарок поднос, чайный и кофейный сервизы и плоскую вазу — все из серебра и все такое вычурное

¹ Роман Лоренса Стерна (1767).

² Роман Генри Филдинга (1749).

и массивное, что потомки его до сих пор не знают, что делать с этим добром. Один старый адвокат, которого я знал в детстве, рассказывал мне, что, находясь в обучении, был однажды приглашен к моему дедушке на обед. Дедушка нарезал ростбиф, после чего слуга поднес ему печеного картофеля. Печеный картофель, если взять к нему побольше масла, перца и соли,— удивительно вкусное блюдо, но дед мой, видимо, держался иного мнения. Он встал со своего места во главе стола и расшвырял картофелины в картины, висевшие на стенах,— по одной в каждую картину. Затем, не говоря ни слова, сел и продолжал обедать. Я спросил своего знакомого, какое впечатление это произвело на остальное общество. Он ответил, что никто и бровью не повел. Еще он сказал мне, что в жизни не видел никого безобразнее моего деда. Я побывал в здании юридического общества на Чансери-лейн, зная, что там висит его портрет: мне хотелось проверить, так ли уж он был безобразен. Если старичок говорил правду, значит, художник сильно польстил моему дедушке: на портрете у него очень красивые темные глаза под черными бровями, и в глазах — насмешливый огонек; твердый подбородок, прямой нос и полные красные губы. А темные волосы развеваются на ветру так же эффектно, как у мисс Аниты Лус. В руке он держит гусиное перо, рядом с ним лежит стопка книг — конечно, его собственные сочинения. Несмотря на черный сюртук, вид у него не такой почтенный, как я ожидал, а скорее чуть озорной. Много лет назад, когда я после смерти одного из его сыновей — моего дяди — уничтожил семейные бумаги, мне попался дневник, который дед мой вел молодым человеком, в начале девятнадцатого столетия, совершая то, что принято было тогда называть малым туром, то есть путешествие по Франции, Германии и Швейцарии; и мне запомнилось, что, описывая не слишком внушительные пороги на Рейне у Шафхаузена, он возносил хвалу Всевышнему за то, что, сотворив «сей преизрядный водопад», Он дал возможность «жалким творениям Своим уразуметь свое ничтожество по сравнению с неизреченным великолепием Его трудов».

VII

Своих родителей я потерял так рано — мать в восемь лет, а отца в десять,— что знаю о них главным образом по рассказам. Отец мой, не знаю почему, разве что повинуюсь той беспокойной тяге к неизвестному, которая

всегда снедала его сына, уехал в Париж и стал юрисконсультом английского посольства. Контора его помещалась напротив посольства, в предместье Сент-Оноре, но жил он на тогдашней авеню д'Антен — широкой, обсаженной каштанами улице, начинающейся у площади Рон-Пуен. По тем временам он мало путешествовал — побывал в Турции, Греции, Малой Азии, в Марокко добрался до Феса, куда в те дни заглядывало очень мало иностранцев. У него был неплохой подбор книг о путешествиях, а в квартире на авеню д'Антен хранилось множество предметов, вывезенных из разных стран: танагрские статуэтки, гончарные изделия Родоса и турецкие ятаганы с богато разукрашенными серебром рукоятками. Ему было сорок лет, когда он женился на моей матери, которой не было еще и двадцати. Она была на редкость красивая женщина, а он — на редкость некрасивый мужчина. Мне рассказывали, что в Париже их прозвали Красавица и Чудовище. Отец ее был военным; он умер в Индии, и его вдова, моя бабушка, растратив порядочное состояние, поселилась во Франции и жила на пенсию. Видимо, она была женщина с характером, и к тому же одаренная: она писала по-французски романы *pour les jeunes filles*¹ и сочиняла салонные романсы. Мне приятно думать, что ее романы читали, а романсы пели высокородные героини Октава Фейе. У меня есть ее фотография — небольшой снимок женщины средних лет, в кринолине, с прекрасными глазами и выражением лица твердым и доброжелательным. Мать моя была очень миниатюрна, с большими карими глазами, волосами цвета червонного золота, тонкими чертами лица и прелестной кожей. Она вызывала всеобщее восхищение. Большой ее приятельницей была леди Энглси, американка, дожившая до очень преклонных лет. Она сама мне рассказывала, что однажды сказала моей матери: «Вы такая красавица, столько мужчин вами увлекается, почему вы верны своему уродцу мужу?» И моя мать ответила: «Он никогда не оскорбляет моих чувств».

✓ Единственное написанное ею письмо, которое я видел, попало мне в руки, когда я разбирал бумаги своего умершего дяди. Он был священником, и в письме она просила его быть крестным отцом одного из ее сыновей. Очень просто и смиренно, она выражала надежду, что, будучи служителем церкви, он окажет на своего крестника благотворное влияние и ребенок вырастет добрым и богобоязненным. Она прочла несчетное количество романов; в бильярд-

¹ Для молодых девиц (*фр.*).

ной на авеню д'Антен стояло два больших книжных шкафа, набитых книжками в издании Таухница. Она болела туберкулезом, и я еще помню, как у наших дверей останавливались ослики — ее поили ослиным молоком, считавшимся в то время лекарством от этого недуга. На лето мы снимали дом в Довилле — тогда это был еще не модный курорт, а рыбачья деревушка, которую совершенно затмевал фешенебельный Трувиль, — а зимою она в последние годы жила в По. Однажды, когда она лежала в постели, вероятно после кровохарканья, уже зная, что дни ее сочтены, ей пришло в голову, что сыновья ее, когда подрастут, не будут даже знать, как она выглядела перед смертью; и вот она позвала горничную, велела одеть себя в вечерний туалет из белого атласа и поехала к фотографу. Она родила шестерых сыновей и умерла от родов. У тогдашних врачей была теория, что чахоточным женщинам полезно рожать детей. Ей было тридцать восемь лет.

После смерти матери ее горничная стала моей няней. До тех пор няньки у меня были француженки и я ходил во французскую начальную школу. Английского языка я, видимо, почти не знал. Говорят, что однажды, увидев из окна вагона лошадь, я крикнул: «Regardez, maman, voilà un'orse!»

Отец мой, сколько я понимаю, был романтиком. Он затеял постройку дома, где собирался жить летом. Купил участок на вершине холма в Сюренне. Оттуда открывался прекрасный вид на равнину и на далекий Париж. С холма вела дорога к реке, у реки приютилась деревенька. Новый дом должен был напоминать виллу на Босфоре, верхний его этаж был опоясан лоджиями. Каждое воскресенье я ездил с отцом на речном трамвае по Сене смотреть, как подвигается постройка. Когда была готова крыша, отец занялся обстановкой дома и для начала купил антикварные каминные щипцы и кочергу. Он заказал множество стеклянной посуды с выгравированным на каждой вещи знаком от дурного глаза — этот знак он разыскал в Марокко, читатель может увидеть его на обложке этой книги. Дом был белый, ставни выкрашены в красный цвет. Перед домом разбили сад. Комнаты обставили, а потом мой отец умер.

VIII

Меня взяли из французской школы, и я стал каждый день ходить на уроки к английскому священнику посольской церкви. Он обучал меня английскому языку, заставляя

читать вслух отдел происшествий в «Стандард», и я до сих пор помню, с каким ужасом читал отвратительные подробности убийства, совершенного в поезде между Парижем и Кале. Мне было в то время десять лет. С произношением английских слов я долго не мог справиться, и я никогда не забуду, каким хохотом встречали в приготовительной школе мои неправильные ударения и как это меня смущало.

За всю жизнь я получил только два урока английского языка, потому что, хотя я и писал в школе сочинения, не помню, чтобы меня когда-нибудь учили строить фразы. Эти два урока были мне преподаны так поздно, что едва ли я уже смогу извлечь из них большую пользу. Первый состоялся всего несколько лет тому назад. Я ненадолго приехал в Лондон и пригласил для временной секретарской работы одну молодую женщину. Она была застенчива, миловидна, и у нее был роман с женатым человеком, занимавший все ее помыслы. Перед тем я написал книгу под заглавием «Пирог и пиво» и как-то в субботу утром, получив переписанную на машинке рукопись, попросил свою секретаршу взять ее домой и выправить к понедельнику. Я хотел, чтобы она только исправила опечатки и отметила места, где машинистка ошиблась, не разобрав моего почерка, который, надо сказать, оставляет желать лучшего. Но секретарша моя была добросовестная молодая особа, и поняла она меня буквально. В понедельник она принесла мне рукопись, а с нею — четыре большие страницы исправлений. Признаюсь, первым моим чувством была легкая досада, но потом я подумал, что раз человек затратил столько труда, глупо будет не воспользоваться этим, и стал внимательно читать замечания. По всей вероятности, моя помощница окончила коммерческий колледж, и мой роман она исправляла так же методично, как тамошние преподаватели исправляли ее работы. Замечания, которыми она аккуратно исписала четыре большие страницы, были язвительны и строги. Я сразу решил, что преподаватель английского языка в том колледже не стеснялся в выражениях. Он, несомненно, вел твердую линию и ни в чем не допускал двух мнений. Способная его ученица требовала, чтобы каждое мое предложение было построено точно по правилам грамматики. Свое неодобрение по поводу разговорных оборотов она отмечала восклицательным знаком. По ее мнению, на одной странице не следовало дважды употреблять то же слово, и всякий раз она предлагала какой-нибудь синоним. Там, где я позволял себе роскошь разогнать предложение на десять строк, она писала: «Неясно. Лучше разбить на два или даже три

предложения». Когда я давал в своем тексте приятную передышку, обозначаемую точкой с запятой, она возражала: «Точка»; а если я отваживался на двоеточие, едко замечала: «Архаизм». Но самым жестоким ударом был ее вопрос по поводу шутки, которая мне казалась вполне удачной: «Проверено?» В общем, я вынужден заключить, что ее преподаватель поставил бы мне весьма невысокую отметку.

Второй урок мне дал один оксфордский педагог, умный и обаятельный человек, который гостил у меня, когда я сам проверял рукопись другой своей книги. Он был так любезен, что предложил мне прочесть рукопись. Я колебался, зная, что он предъявляет к литературе требования, которые нелегко удовлетворить; и хотя я не сомневался в его эрудиции по части елизаветинцев, его суждениям о современных книгах я не вполне доверял — очень уж он восхищался «Эстер Уотерс»:¹ человек, хорошо знающий французский роман XIX века, не стал бы так высоко ценить это произведение. Однако мне хотелось сделать свою книгу как можно лучше, и я надеялся, что его замечания будут мне полезны. Критика его оказалась весьма снисходительной. Она особенно заинтересовала меня потому, что показывала, как он подходит к работам своих студентов. У этого человека был, видимо, врожденный талант к языку, который он прилежно воспитывал; вкус его показался мне безошибочным. Особенно меня поразило, какое внимание он уделял силе воздействия каждого отдельного слова. Более весомое слово он всегда предпочитал более благозвучному. Так, например, у меня было сказано, что статуя будет воздвигнута на такой-то площади, а он предложил вариант: статуя будет стоять. Сам я отказался от этого варианта, потому что мне резала слух аллитерация. Я заметил также, что, по его мнению, слова нужно употреблять не только для построения фразы, но и для построения мысли. Это — здравая точка зрения: ведь мысль может не дойти до читателя, если выразить ее слишком грубо; однако действовать нужно с осторожностью, иначе легко впасть в многословие. Здесь писателю должно помочь знание сценического диалога. Иногда актер просит автора: «Вы бы не могли добавить мне несколько слов в этом месте? Если мне больше нечего сказать, вся реплика получается какая-то пустая». Прислушиваясь к замечаниям моего оксфордца, я невольно думал, насколько лучше я бы писал сейчас, если бы в молодости получал такие вот разумные, терпимые и доброжелательные советы.

¹ Роман Джорджа Мура (1894).

Но мне пришлось быть самоучкой. Недавно я просмотрел рассказы, которые писал в ранней молодости: мне хотелось понять, какие врожденные способности у меня были, с каким капиталом я начинал, прежде чем взялся сознательно его приумножать. В тоне рассказов сквозит надменность, которую, пожалуй, можно оправдать возрастом, и раздражительность, как следствие плохого характера; но сейчас я говорю только о том, как я выражал свои мысли. Я думаю, что ясность слога и сноровка в обращении с диалогом были присущи мне с самого начала. Когда Генри Артур Джонс, известный в ту пору драматург, прочел мой первый роман, он сказал какому-то знакомому, что с годами я стану одним из самых популярных драматургов своего времени. Вероятно, он усмотрел в моей книге непосредственность и наглядность изображения, что и заставило его предположить у меня чувство сцены. Язык у меня был банальный, словарь ограниченный, фразы избитые, грамматика сильно хромала. Но писать для меня было такой же инстинктивной потребностью, как дышать, и я не задумывался над тем, плохо или хорошо я пишу. Лишь несколько лет спустя я догадался, что это тонкое искусство, которое постигается упорным трудом. Открытие это я сделал, когда почувствовал, как нелегко выразить словами то, что хочешь. Диалог давался мне без малейших усилий, но когда дело доходило до описаний, я запутывался во всевозможных подвохах. По нескольку часов я мучился над двумя-тремя фразами и не мог с ними сладить. Я решил, что научу себя писать. К несчастью, помочь мне было некому. Я делал много ошибок. Будь рядом со мною руководитель вроде того чудесного оксфордца, о котором я только что рассказал, это сберегло бы мне много времени. Такой человек мог бы объяснить мне, что мое дарование, какое ни на есть, направлено в определенную сторону и что в эту сторону его и следует развивать; а пытаться делать то, к чему я не склонен, бесполезно. Но в то время успехом пользовалась орнаментальная проза. Литературную ткань пытались обогатить изысканными оборотами и нагромождением затейливых эпитетов: идеалом была парча, так густо затканная золотом, что она держалась стоймя. Интеллигентные молодые люди зачитывались Уолтером Патером. Здравый смысл подсказывал мне, что это — анемичная литература; за тщательно отделанными, изящными периодами мне виделся усталый, слабый человек. Я был молод, полон сил и жажды

жизни; мне хотелось свежего воздуха, действия, опасностей и трудно было дышать в этой мертвой, наддушенной атмосфере, сидеть в затихших комнатах, где полагалось говорить только шепотом. Но я не слушал своего здравого смысла. Я убеждал себя, что это — вершина культуры, и с презрением отворачивался от внешнего мира, где люди кричали и сквернословили, валяли дурака, развратничали и напивались. Я читал «Замыслы» и «Портрет Дориана Грея»¹. Я опьянялся изысканной красочностью слов-самоцветов, которыми усыпаны страницы «Саломеи»². Ужаснувшись бедности своего словаря, я ходил с карандашом и бумагой в библиотеку Британского музея и запоминал названия редких драгоценных камней, оттенки старинных византийских эмалей, чувственное прикосновение тканей, а потом выдумывал замысловатые фразы, чтобы употребить эти слова. К счастью, мне так и не представилось случая их использовать, и они по сей день хранятся в старой записной книжке к услугам любого, кто вздумал бы писать вздор. В то время было широко распространено мнение, что лучшая английская проза — это «Авторизованный перевод» Библии. Я прилежно читал ее, особенно Песнь Песней Соломона, выписывая впрок поразившие меня обороты и составляя перечни необычных или просто красивых слов. Я штудировал «Благочестивую смерть» Джереми Тэйлора. Чтобы проникнуться его стилем, я списывал оттуда куски, а потом пытался снова записать их, уже по памяти.

Первым плодом этих трудов была небольшая книжка об Андалузии, озаглавленная «Страна Пресвятой Девы». На днях мне довелось перечитать из нее кое-какие места. Андалузию я сейчас знаю гораздо лучше, чем знал тогда, и на многое из того, о чем писал, смотрю иначе. Поскольку в Америке эта книжка все еще пользуется кое-каким спросом, я подумал, что ее, может быть, стоит переработать. Я быстро убедился в том, что это невозможно. Ее написал человек, которого я начисто забыл. Она показалась мне невыносимо скучной. Но речь идет о качестве ее текста — ведь я писал ее как некое стилистическое упражнение. Это — вымученная проза, полная грусти и намеков. В ней нет легкости, нет свободы. Она отдает тепличными растениями и воскресным обедом, как воздух зимнего сада, примыкающего к столовой какого-нибудь большого дома

¹ «Замыслы» — сборник статей и очерков Оскара Уайльда (1891), «Портрет Дориана Грея» — роман Оскара Уайльда (1891).

² «Саломея» — драма Оскара Уайльда (1894).

в Бэйсуотере. Книга изобилует мелодичными прилагательными. Словарь ее сентиментален. Она напоминает не итальянскую парчу с роскошным золотым узором, а драпировочную ткань, изготовленную Моррисом по рисунку Берн-Джонса.

Х

То ли следуя подсознательному убеждению, что писать так — значит насиловать свою природу, то ли в силу врожденной методичности, но я затем обратился к классикам XVIII века. Проза Свифта пленила меня. Я решил, что это — мой идеал, и принялся работать над Свифтом так же, как раньше работал над Джереми Тэйлором. Я выбрал «Сказку о бочке». Говорят, что Свифт, перечитывая ее в старости, воскликнул: «Как гениален я был в то время!» На мой взгляд, гений его лучше виден в других произведениях. «Сказка о бочке» — скучная аллегория, и ирония в ней не самого высокого разбора. Но слог — удивительный. Я не могу себе представить, чтобы можно было лучше писать по-английски. Здесь нет ни цветистых периодов, ни оригинальных оборотов, ни высокопарных образов. Это — культурная проза, естественная, сдержанная и отточенная. Никаких попыток удивить читателя необычным словоупотреблением. Похоже, будто Свифт обходился первым попавшимся словом, но, поскольку у него был острый и логический ум, это всегда оказывалось самое нужное слово, и стояло оно на нужном месте. Сила и стройность его предложений объясняются превосходным вкусом. Как и прежде, я списывал куски текста, а потом пытался воспроизвести их по памяти. Я пробовал заменять слова или ставить их в другом порядке. Я обнаружил, что единственно возможные слова — это те, которые употребил Свифт, а единственно возможный порядок — тот, в котором он их поставил. Это — безупречная проза.

Но у совершенства есть один изъян: оно может наскучить. Проза Свифта напоминает обсаженный тополями французский канал, который проходит по приветливой, живописной местности. Спокойное его очарование доставляет удовольствие, но он не будоражит чувств, не будит воображения. Плынешь и плывешь по нему и наконец чувствуешь, что тебе надоело. Вот так же, восхищаясь поразительной ясностью Свифтовой прозы, ее сжатостью, естественностью, отсутствием аффектации, все же со временем чувствуешь, что внимание твое отвлекается, если только

самое содержание не удерживает его. Будь у меня возможность начать сначала, я бы, вероятно, стал изучать особенно пристально не Свифта, а Драйдена. Но когда я набрел на его прозу, я уже утратил склонность к таким трудам. Проза Драйдена восхитительна. Она не так совершенна, как у Свифта, не так изящна, как у Аддисона, но в ней пленяет какая-то весенняя веселость, разговорная легкость, жизнерадостная непосредственность. Драйден был очень хорошим поэтом, но едва ли кто-нибудь назовет его лириком; а вот его нежно переливающаяся проза, как ни странно, именно лирична. До него никто в Англии не писал такой прозы; и редко кто писал так после него. Драйден творил в удачный момент. Всем своим существом он еще чувствовал звучные периоды и барочную массивность языка времен Иакова I, а гибкость и находчивость, которые он перенял у французов, позволили ему превратить этот язык в орудие, пригодное не только для возвышенных тем, но и для выражения любой мимолетной, преходящей мысли. Он был первым из художников, работавших в стиле рококо. Если Свифт наводит на мысль о французском канале, то Драйден напоминает английскую речку, которая весело вьется среди холмов, забегает в тихие, деловитые городки и уютные деревушки, иногда вдруг задержится, разлившись широкой заводью, а потом спешит дальше, в тень лесов. Все в ней — жизнь, разнообразие, свежий воздух, и веет от нее чудесным запахом английской природы.

Работа, которую я проделал, безусловно пошла мне на пользу. Я стал писать лучше, хотя отнюдь не хорошо. Писал напряженно, слишком старательно. Я пытался строить фразы по определенной форме, но не видел, что форма выпирает наружу. Я заботился о том, как расставить слова, но не соображал, что порядок слов, естественный для начала восемнадцатого века, кажется весьма неестественным для начала двадцатого. Того, что больше всего восхищало меня в Свифте, — впечатления непогрешимости — я не мог достичь, куда старался его копировать. Тогда я написал несколько пьес, забросив все, кроме диалога. Лишь пять лет спустя я опять взялся за роман. Но к тому времени я уже не ставил себе стилистических задач. Я решил писать без всяких ухищрений, в возможно более оголенной и неприкрашенной манере. Мне столько нужно было сказать, что я не мог позволить себе роскошь даром тратить слова. Я хотел только излагать факты. Я поставил себе недостижимую цель — вовсе не употреблять прилагательных. Мне казалось, что, если найти правильное слово, можно обойтись

без эпитета. Книга моя представлялась мне в виде длинной телеграммы, в которой экономии ради опущены все слова, не абсолютно необходимые для передачи смысла. Я не перечитывал ее после того, как держал корректуру, и не знаю, в какой мере удалась моя попытка. Сколько помнится, написана эта книга, во всяком случае, более естественно, чем все, что я писал раньше; но я не сомневаюсь, что местами она сделана неряшливо и, вероятно, в ней немало грамматических ошибок.

С тех пор я написал еще много книг. И хотя я перестал систематически изучать старых мастеров (дух бодр, но плоть немощна!), но всегда и все более усердно старался писать как можно лучше. Я установил пределы своих возможностей и, как мне казалось, выбрал единственно разумный путь — стремиться к максимальному совершенству в этих пределах. Я уже знал, что не наделен лиризмом. Словарь мой был беден, и никакими усилиями я не мог существенно его расширить. Мне плохо давалась метафора; оригинальное, запоминающееся сравнение редко приходило мне в голову. Поэтические взлеты, широта воображения были мне не по силам. Я восхищался ими у других писателей, так же как их сложными тропами и необычным, полным недомолвок, языком, в который они облекали свои мысли; но собственный мой мозг не подсказывал мне таких прикрас, а я устал пытаться делать то, что не получалось у меня само собою. С другой стороны, я был наделен острой наблюдательностью, и мне казалось, что я вижу много такого, что ускользает от внимания других людей. Я умел ясно описать то, что видел. Я мыслил логично, и если не обладал особым чутьем к изысканным, экзотическим словам, то, во всяком случае, способен был оценить звучание слова. Я знал, что никогда не буду писать так хорошо, как мне бы хотелось, но не терял надежды научиться писать настолько хорошо, насколько это возможно при моих природных недостатках. После долгих размышлений я решил, что мне следует стремиться к ясности, простоте и благозвучию. Порядок, в котором перечислены эти качества, отражает степень значения, какое я им придавал.

XI

Меня всегда раздражали писатели, которых можно понять только ценою больших усилий. Достаточно обратиться к великим философам, чтобы убедиться, что самые тонкие

оттенки смысла можно выразить совершенно ясно. Я допускаю, что вам нелегко будет понять мысль Юма и, если у вас нет философской подготовки, вы, конечно, не уловите всех ее разветвлений; но значение каждой отдельной фразы поймет любой мало-мальски образованный человек. Редко кто писал по-английски так изящно, как Беркли. Писатели бывают непонятны по двум причинам: одни — по небрежности, другие — нарочно. Многие люди пишут непонятно, потому что не дали себе труда научиться писать ясно. Таковую непонятность часто, слишком часто, встречаешь у современных философов, у ученых и даже у литературных критиков. Последнее воистину достойно удивления. Казалось бы, люди, всю жизнь изучающие великих мастеров литературы, должны быть достаточно восприимчивы к красоте языка, чтобы выражаться если не красиво, то хотя бы ясно. А между тем их труды пестрят фразами, которые нужно перечитать и раз и другой, чтобы добраться до смысла. Подчас о нем можно только догадываться, потому что сказано у автора явно не то, что он хотел сказать.

А бывает, что автор и сам не уверен в том, что он хочет сказать. Он имеет об этом лишь смутное представление, которое либо не сумел, либо поленился ясно сформулировать в уме, а найти точное выражение для путаной мысли, разумеется, невозможно. Объясняется это отчасти тем, что писатели думают не до того, как писать, а в то время, как пишут. Перо порождает мысль. Опасность этого — и писатель всегда должен остерегаться ее — заключается в том, что написанное слово гипнотизирует. Мысль, облекшись в видимую форму, становится вещественной, и это мешает ее уточнению. Но такая неясность легко переходит в неясность нарочитую. Некоторые писатели, не умеющие четко мыслить, склонны считать свои мысли более значительными, чем это кажется с первого взгляда. Им лестно думать, что мысли их необычайно глубоки, а значит, их нельзя выразить так, чтобы они были понятны кому угодно. Таким писателям, конечно, не приходит в голову, что вся беда — в их неспособности к точному мышлению. И здесь опять действует гипноз написанного слова. Очень легко убедить себя, будто фраза, которую не вполне понимаешь, на самом деле сугубо значительна. А отсюда — один шаг до привычки закреплять свои впечатления на бумаге во всей их изначальной туманности. Всегда найдутся дураки, которые отыщут в них скрытый смысл. Другой вид нарочитой непонятности рядится в одежды аристократизма. Автор затуманивает свою мысль, чтобы сделать ее недоступной для толпы. Его

душа — таинственный сад, куда могут проникнуть лишь избранные, если преодолеют целый ряд опасных препятствий. Но такая непонятность не только претенциозна, она еще и недальновидна. Ибо Время играет с ней странные шутки. Если в писаниях мало смысла, Время превращает их в совсем уже бессмысленный набор слов, которого никто не читает. Такая участь постигла ухищрения тех французских писателей, которых соблазнил пример Гийома Аполлинера. Бывает и так, что Время бросает резкий, холодный свет на то, что казалось глубоким, и тогда обнаруживается, что за языковыми вывертами прячутся весьма обыденные мысли. Стихи Малларме, за малыми исключениями, сейчас совершенно понятны; нельзя не заметить, что мысли его на редкость неоригинальны. У него есть красивые фразы; но материалом для его стихов служили поэтические трюизмы его времени.

XII

Простота — не столь очевидное достоинство, как ясность. Я всегда стремился к ней, потому что у меня нет таланта к пышности языка. До известного предела я восхищаюсь пышностью у других писателей, хотя в больших дозах мне трудно бывает ее переварить. Одну страницу Рескина я читаю с наслаждением, но после двадцати чувствую только усталость. Плавный период; полный достоинства эпитет; слово, богатое поэтическими ассоциациями; придаточные, от которых предложение обретает вес и торжественность; величавый ритм, как волна за волной в открытом море, — во всем этом, несомненно, есть что-то возвышающее. Слова, соединенные таким образом, поражают слух, как музыка. Впечатление получается скорее чувственное, чем интеллектуальное, красота звуков как будто освобождает от необходимости вдумываться в смысл. Но слова — великие деспоты, они существуют в силу своего смысла, и, отвлекшись от смысла, отвлекаешься от текста вообще. Мысли начинают разбегаться. Такая манера письма требует подобающей ей темы. Нельзя писать высоким слогом о пустяках. Никто не пользовался им с большим успехом, чем сэр Томас Браун, но и он не всегда избегал этой ловушки. Тема последней главы «Гидриотафии» («Погребения урна») — судьба человека — вполне соответствует пышному барокко языка, и здесь доктор из Норича создал страницы прозы, непревзойденные в нашей литературе; но

когда он в той же пышной манере описывает, как были найдены его урны, эффект (по крайней мере на мой взгляд) получается менее удачным. Когда современный писатель в высокопарном стиле сообщает вам, как обыкновенная потаскушка юркнула или не юркнула под одеяло к ничем не примечательному молодому человеку, это вызывает у вас законное отвращение.

Но если для пышности слога нужен талант, которым наделен не всякий, простота — отнюдь не врожденное свойство. Чтобы добиться ее, необходима строжайшая дисциплина. Сколько мне известно, наш язык — единственный, в котором пришлось создать особое, обозначение для определенного вида прозы — *purple patch*¹. Не будь она столь характерной, в этом не было бы надобности. Английская проза скорее вычурна, чем проста. Но так было не всегда. Нет ничего более хлесткого, прямолинейного и живого, чем проза Шекспира; однако следует помнить, что это был диалог, рассчитанный на устную речь. Мы не знаем, как писал бы Шекспир, если бы он, подобно Корнелю, сочинял предисловия к своим пьесам. Возможно, они были бы столь же манерны, как письма королевы Елизаветы. Но более ранняя проза, например проза сэра Томаса Мора, не тяжеловесна, и не цветиста, и не выпренняя. От нее отдает английской землей. Мне думается, что Библия короля Иакова оказала пагубное влияние на английскую прозу. Я не так глуп, чтобы отрицать ее красоту. Она величественна. Но Библия — восточная книга. Образность ее нам бесконечно далека. Эти гиперболы, эти сочные метафоры чужды нашему духу. На мой взгляд, не меньшим из зол, какие причинило духовной жизни в нашей стране отделение от римско-католической церкви, было то, что Библия надолго стала ежедневным, а нередко и единственным чтением англичан. Ее ритм, мощь ее словаря, ее высокопарность вошли в кровь и плоть нации. Простая, честная английская речь захлебнулась во всевозможных украшениях. Туповатые англичане вывихивали себе язык, стремясь выразиться, как иудейские пророки. Видимо, были для этого в английском характере какие-то данные: быть может, природная неспособность к точному мышлению, быть может, наивное пристрастие к красивым словам ради них самих или врожденная эксцентричность и любовь к затейливым узорам — не знаю; но верно одно: с тех самых пор английской

¹ «Пурпурная заплата» — кусок текста, выделяющийся своим эффектным, сугубо изысканным языком.

прозе все время приходится бороться с тенденцией к излишествам. Если по временам исконный дух языка утверждал себя, как у Драйдена и у писателей царствования королевы Анны, его затем снова захлестывала помпезность Гиббона или доктора Джонсона. В работах Хэзлитта, в письмах Шелли, в лучших страницах Чарлза Лэма английская проза вновь обретала простоту — и вновь утрачивала ее в произведениях де Квинси, Карлейля, Мередита и Уолтера Патера. Высокий стиль, несомненно, поражает больше, чем простой. Мало того, многие считают, что стиль, который не привлекает внимания, — вообще не стиль. Такие люди восхищаются Уолтером Патером, но способны прочесть эссе Мэтью Арнолда и даже не заметить, как изящно, благородно и сдержанно он излагает свои мысли.

Хорошо известно изречение, что стиль — это человек. Афоризм этот говорит так много, что не значит почти ничего. Где мы видим Гете-человека — в его грациозных лирических стихах или в его неуклюжей прозе? А Хэзлитта? Но я думаю, что если человек неясно мыслит, то он и писать будет неясно, если у него капризный нрав, то и проза его будет прихотлива, а если у него быстрый, подвижный ум и любой предмет напоминает ему о сотне других, то он, при отсутствии строгого самоконтроля, будет уснащать свой текст сравнениями и метафорами. Есть большая разница между велеречивостью писателей начала XVII века, которых опьяняли новые богатства, лишь недавно привнесенные в язык, и напыщенностью Гиббона и доктора Джонсона, которые были жертвой дурной теории. Каждое слово, написанное доктором Джонсоном, доставляет мне удовольствие, потому что он был остроумен, обаятелен и наделен здравым смыслом. Никто не мог бы писать лучше его, если бы он — вполне сознательно — не прибегал к высокому слогу. Он умел ценить хороший английский язык. Ни один критик не хвалил прозу Драйдена с таким знанием дела. Он сказал, что суть искусства Драйдена — находить ясное выражение для сильной мысли. А одно из своих «жизнеописаний» он закончил так: «Всем, кто хочет выработать себе английский слог, натуральный, но не грубый, и изящный, но не бьющий в глаза, должно посвятить дни и ночи томам Аддисона». Однако, когда он сам брался за перо, цель у него была иная. Высокопарность он принимал за благородство. Ему не хватало воспитания, чтобы понять, что первый признак благородства — это естественность и простота.

Ибо хорошая проза немислима без воспитанности. В отличие от поэзии проза — упорядоченное искусство. Поэзия — это барокко. Барокко — трагичный, массивный, мистический стиль. Оно стихийно. Оно требует глубины и прозрения. Мне все кажется, что прозаики периода барокко — авторы Библии короля Иакова, сэр Томас Браун, Гленвиль — были заблудившимися поэтами. Проза — это рококо. Она требует не столько мощи, сколько вкуса, не столько вдохновения, сколько стройности, не столько величия, сколько четкости. Для поэта форма — это узда и мундштук, без которых вы не поедете верхом (если только вы не циркач); но для прозаика это — шасси, без которого ваша машина просто не существует. Не случайно, что лучшая проза была написана, когда рококо с его изяществом и умеренностью только еще родилось и находилось в самой совершенной своей поре. Ибо рококо возникло тогда, когда барокко выродилось в декламацию и мир, устав от грандиозного, взывал о сдержанности. Оно явилось естественным самовыражением для тех, кто ценил цивилизованную жизнь. Юмор, терпимость и здравый смысл сделали свое дело: большие, трагические проблемы, волновавшие первую половину XVII века, стали казаться чрезмерно раздутыми. Жить на свете сделалось удобнее и уютнее, и культурные классы, возможно впервые за много веков, могли спокойно посидеть и насладиться досугом. Говорят, что хорошая проза должна походить на беседу воспитанного человека. Беседа возможна лишь в том случае, если ум у людей свободен от насущных тревог. Жизнь их должна быть более или менее в безопасности, и душа не должна причинять им серьезных волнений. Они должны придавать значение утонченным благам цивилизации. Они должны ценить вежливость, заботиться о своей внешности (ведь говорят также, что хорошая проза должна быть как хорошо сшитый костюм — подходящей к случаю, но не кричащей), должны бояться наскучить другим, не должны быть ни слишком веселы, ни слишком серьезны, но всегда находить верный тон, а на «восторги» должны взирать критически. Вот это — почва, весьма благоприятная для прозы. Не удивительно, что она породила лучшего прозаика нашего современного мира — Вольтера. Английские писатели, может быть в силу поэтического характера своего языка, редко достигали того совершенства, которое ему словно бы давалось само собой. И восхищения они заслуживают постольку, поскольку умели приблизиться к легкости, уравновешенности и точности великих французов.

Придавать ли цену благозвучию — третьему из упомянутых мною качеств, — это зависит от тонкости слуха. Очень многие читатели и многие прекрасные писатели лишены его. Поэты, как мы знаем, всегда широко пользовались аллитерацией. Они убеждены, что повторение звука создает красивый эффект. К прозе это, по-моему, не относится. Мне кажется, что в прозе к аллитерации можно прибегать только умышленно; случайная аллитерация режет ухо. Однако встречается она так часто, что остается лишь предположить, что неприятна она далеко не всем. Многие писатели совершенно спокойно ставят рядом два рифмующихся слова, предваряют чудовищно длинное существительное столь же длинным прилагательным или допускают в конце одного слова и в начале следующего такое скопление согласных, что язык сломается. Это — примеры банальные и очевидные. Я привел их лишь в доказательство того, что если такие вещи делают писатели, внимательно относящиеся к своему языку, значит, у них просто нет слуха. Слова имеют вес, звук и вид; только помня обо всех трех этих свойствах, можно написать фразу, приятную и для глаза, и для уха.

Я прочел много книг об английской прозе, но извлечь из них пользу оказалось нелегко: по большей части они расплывчаты, слишком теоретичны и зачастую недоброжелательны. Нельзя сказать того же о «Словаре живого английского языка» Фаулера. Это — ценный труд. Как бы хорошо человек ни писал, здесь он может найти для себя много полезного. Читать его интересно. Фаулер любил простоту, строгость и здравый смысл. Претенциозность его раздражала. Он держался здоровой точки зрения, что идиоматика — костяк языка, и высоко ценил хлесткие обороты. Он не грешил рабским преклонением перед логикой и всегда готов был проложить дорогу живому разговорному языку через слишком жесткие барьеры грамматики. Английская грамматика очень трудна, лишь немногие авторы пишут совсем без грамматических ошибок. Даже Генри Джеймс, писатель на редкость осмотрительный, подчас так пренебрегал грамматикой, что любой школьный учитель, найди он такие ошибки в сочинении школьника, преисполнился бы справедливого негодования. Знать грамматику нужно, и лучше писать без ошибок, чем с ошибками, но следует помнить, что грамматика — лишь повседневная речь, сведенная к правилам. Единственный критерий — это живой язык. Строго правильному обороту я всегда предпочту оборот легкий

и естественный. Одно из различий между английским и французским языком состоит в том, что по-французски можно соблюдать правила грамматики, оставаясь естественным, а по-английски — далеко не всегда. Писать по-английски трудно потому, что звук живого голоса доминирует над видом напечатанного слова. Я много думал над вопросами стиля и положил на него много трудов. Я знаю, что среди написанных мною страниц мало таких, которые я не мог бы улучшить, и слишком много таких, на которые я махнул рукой, потому что не мог добиться лучшего, как ни старался. Я не могу сказать о себе того, что Джонсон сказал о Поупе: «Он никогда не оставлял изъяна неисправленным от равнодушия, ниже проходил мимо него от отчаяния». Я пишу не так, как хочу; я пишу, как могу.

Но у Фаулера не было слуха. Он не понимал, что иногда простота должна отступать перед благозвучием. Я считаю, что несколько искусственное, или устарелое, или даже аффектированное слово вполне приемлемо, если оно звучит лучше, чем простое, «лежащее рядом», или придает фразе большую стройность. Но спешу оговориться: я считаю, что можно смело идти на такие уступки ради приятного звучания, но ни в коем случае и ни ради чего нельзя жертвовать ясностью выражения мысли. Нет ничего хуже, как писать неясно. Против ясности нельзя привести никаких возражений, против простоты — лишь то, что она может обратиться в сухость. А на этот риск стоит идти, если вспомнить, насколько лучше быть лысым, нежели носить завитой парик. Но в благозвучии таится другая опасность: оно легко становится однообразным. Когда Джордж Мур начинал писать, язык его был беден; так и кажется, будто он писал тупым карандашом на оберточной бумаге. Постепенно, однако, у него выработался очень музыкальный английский язык. Он научился делать фразы, завораживающие своей томной неторопливостью, и это ему так понравилось, что он уже не мог остановиться. Он не избежал однообразия. Строки его звучат, как волны, взбегающие на низкий каменистый берег, — они убаюкивают, и их быстро перестаешь замечать. Они так мелодичны, что вызывают смутную потребность чего-то поглубже, какого-то резкого диссонанса, который нарушил бы эту шелковистую гармонию. Как уберечься от этого — не знаю. Вероятно, единственное спасение в том, чтобы острее своих читателей реагировать на монотонность, тогда она надоест тебе раньше, чем им. Нужно все время остерегаться нарочитых приемов и, когда какая-нибудь ритмическая фигура слишком легко выходит из-под

пера, спрашивать себя, не стала ли она получаться механически. Очень трудно уловить момент, когда отобранные тобою выразительные средства перестают давать нужный эффект. Как сказал доктор Джонсон: «Тот, кто однажды с великим прилежанием выработал свой стиль, редко пишет затем вполне непринужденно». Как ни замечательно стиль Мэтью Арнолда соответствовал его задачам, я должен сказать, что излюбленные его приемы часто меня раздражают. Его стиль — орудие, которое он выковал раз и навсегда, а не человеческая рука, способная выполнять множество разных действий.

Если б можно было писать ясно, просто, благозвучно и притом с живостью, это было бы совершенство: это значило бы писать, как Вольтер. А между тем мы знаем, как опасна погоня за живостью: она может привести к скучной акробатике Мередита. Маколей и Карлейль замечательны каждый по-своему, но лишь за счет драгоценного свойства — естественности. Их яркие эффекты мешают сосредоточиться. Они разрушают собственную убедительность; вы не поверили бы, что человек твердо намерен провести плугом борозду, если бы он таскал с собою обруч и на каждом шагу прыгал через него. Хороший стиль не должен хранить следа усилий. Написанное должно казаться счастливой случайностью. По-моему, никто во Франции не пишет лучше, чем Колетт, и звучит у нее все так легко, что невозможно поверить, будто это стоило ей какой-то работы. Говорят, есть пианисты, от рождения владеющие техникой, которой большинство исполнителей добивается неустанным трудом, и я готов поверить, что среди писателей тоже есть такие счастливицы. К ним я и склонен был причислить Колетт. Я спросил ее, верно ли это. К великому своему удивлению, я услышал в ответ, что она иногда целое утро работает над одной страницей. Но не важно, как достигается впечатление легкости. Я, например, если и достигаю его, то лишь ценой серьезных усилий. Редко когда верное и притом не искусственное и не банальное слово или оборот подвертываются мне сами собой.

XIV

Я где-то читал, что Анатоль Франс старался употреблять только словарь и конструкции писателей XVII столетия, которыми он так восхищался. Не знаю, так ли это. Если так, то этим, возможно, объясняется некоторый недостаток живо-

сти в его прекрасном и простом языке. Но простота фальшива, когда писатель не говорит того, что ему нужно сказать, лишь потому, что не может сказать это определенным образом. Писать нужно в манере своего времени. Язык живет и непрерывно изменяется; попытки писать, как в далеком прошлом, могут привести только к искусственности. Ради живости слога и приближения к современности я не колеблясь употребляю ходячее словечко, хотя и знаю, что мода на него скоро пройдет, или сленг, который через десять лет, вероятно, будет непонятен. Если общая форма достаточно строга, она выдержит умеренное использование языковых элементов, имеющих лишь местную или временную ценность. Вульгарного писателя я предпочитаю жеманному; ведь сама жизнь вульгарна, а он стремится изобразить жизнь.

Мне кажется, что мы, английские писатели, можем многому поучиться у наших американских собратьев. Ибо американская литература избежала деспотического влияния Библии короля Иакова и на американских писателей оказали меньшее воздействие старые мастера, чья манера писать стала частью нашей культуры. Выработывая свой стиль, они, может быть бессознательно, больше равнялись на живую речь, звучавшую вокруг них; и в лучших своих образцах этот стиль отмечен прямоотой, жизненностью и силой, перед которыми наш, более культурный, кажется изнеженным. Американским писателям, из которых многие в тот или иной период были репортерами, пошло на пользу, что в своей газетной работе они пользовались более лаконичным, нервным и выразительным языком, чем это принято у нас. Мы сейчас читаем газеты так, как наши предки читали Библию. И это полезно: ведь газета, особенно дешевая, обогащает нас опытом, которым мы, писатели, не вправе пренебрегать. Это — сырье прямо с живодерни, и глупы мы будем, если вздумаем воротить от него нос, потому что оно, мол, пахнет кровью и потом. При всем желании мы не можем избежать воздействия этой будничной прозы. Но стилистически пресса того или иного периода очень однородна; похоже, словно всю ее пишет один человек; она безлична. Ее воздействию следует противопоставить чтение иного рода. Для этого есть один путь: непрерывно поддерживать связь с литературой другой, но не слишком отдаленной эпохи. Тогда у вас будет мерка, по которой проверять свой стиль, и идеал, к которому можно стремиться, оставаясь, однако, современным. Для меня самыми полезными в этом смысле писателями оказались Хэзлитт и кардинал Ньюмен. Я не пытался им подражать. Хэзлитт бывает

излишне риторичен, и красоты его порой тривиальны, как викторианская готика. Ньюмен бывает не в меру цветист. Но в лучших своих страницах оба превосходны. Время мало коснулось их языка — это язык почти современный. Хэзлитт пишет ярко, бодро, энергично; он полон жизни и силы. В его фразах чувствуется человек — не тот мелочный, сварливый, неприятный человек, каким он казался знавшим его, но внутреннее его «я», видимое лишь ему самому. (А ведь наше внутреннее «я» не менее реально, чем тот жалкий, спотыкающийся человек, которого видят другие.) Ньюмен — это грация, музыка — то легкая, то серьезная, — это чарующая красота языка, благородство и мягкость. И тот и другой писали ясно до предела. Оба, на самый строгий вкус, недостаточно просты. В этом они, мне кажется, уступают Мэтью Арнолду. Оба писали удивительно стройными фразами, и оба умели писать приятно для глаза. У обоих был очень тонкий слух.

Тот, кто сочетал бы их достоинства с современной манерой, писал бы так хорошо, как только возможно писать.

XV

Время от времени я задаю себе вопрос: лучше или нет я писал бы, если бы посвятил литературе всю жизнь? Еще очень давно, не помню точно, в каком возрасте, я решил, что, поскольку жизнь у меня одна, я должен взять от нее все, что можно. Мне казалось, что только писать — это мало. Я задумал составить программу своей жизни, в которой писательство заняло бы важнейшее место, но которая включила бы и все другие виды человеческой деятельности и которую в конце концов дополнила бы и завершила смерть. Мне многого недоставало. Я был мал ростом; вынослив, но не силен физически; я заикался, был застенчив и слаб здоровьем. У меня не было склонности к спорту, который занимает столь важное место в жизни англичан; и — то ли по одной из этих причин, то ли от рождения — я инстинктивно сторонился людей, что мешало мне с ними сходиться. В разное время я любил отдельных людей; но к людям вообще никогда не чувствовал особой симпатии. Я лишен той располагающей общительности, которая позволяет с первого же знакомства завязывать дружбу. С годами я научился изображать сердечность при вынужденном контакте с посторонними, но никто никогда мне не нравился с первого взгляда. Кажется, ни разу в жизни я не заговари-

вал с незнакомыми людьми в вагоне или на пароходе. Из-за плохого здоровья я не мог общаться с себе подобными на почве алкоголя: задолго до того, как я мог бы достигнуть той степени опьянения, когда для многих, более удачливых, все люди становятся братьями, желудок мой восставал, и меня начинало немилосердно тошнить. Все это — серьезные помехи и для человека, и для писателя. Пришлось с ними как-то справляться. Я упорно следовал своей программе. Вероятно, она была весьма несовершенна, но думаю, что на большее я не мог рассчитывать в данных обстоятельствах и при очень ограниченных возможностях, которые были отпущены мне природой.

Аристотель, пытаясь определить, какая функция свойственна только человеку, решил, что поскольку он способен к росту, как растения, и к чувствованию, как животные, но, кроме того, наделен разумом, значит, его специфическая функция — деятельность души. Из этого он заключил, что человеку следует развивать не все эти три формы деятельности (что было бы логично), но лишь ту, которая присуща ему одному. Философы и моралисты всегда относились к телу с недоверием. Они указывали, что физические наслаждения преходящи. Но наслаждение — все равно наслаждение, даже если оно не длится вечно. В жаркий день приятно окунуться в холодную воду, хотя через минуту тело уже перестает ощущать холод. Ведь белое со временем не становится белее. В ту пору я считал частью своей программы испытать все удовольствия, какие доставляют нам чувства. Я не боялся излишеств — сплошь и рядом они нас подстегивают. Они не дают умеренности превратиться в скучную привычку. Они тонизируют организм и успокаивают нервы. Нередко дух свободнее всего тогда, когда тело пресыщено наслаждением; так звезды кажутся ярче, если смотреть на них не с вершины холма, а из сточной канавы. Самое острое из чувственных наслаждений — это физическая любовь. Я знал мужчин, посвящавших ей всю жизнь; теперь это старики, но они считают, как я не без удивления замечал, что жизнь свою прожили с толком. Сам я из-за врожденной привередливости, к сожалению, испытал этих радостей меньше, чем мог бы. Я проявлял умеренность, потому что на меня трудно угодить. Бывало, что при виде тех, с кем удовлетворяли свои желания великие любовники, я больше дивился их всеядности, нежели завидовал их успехам. Ясно, что человеку не часто придется голодать, если он готов обедать бараньим рагу и пареной репой.

Большинство людей живут от случая к случаю — носятся по воле ветра. Многих среда, окружавшая их с детства, и необходимость зарабатывать на жизнь заставляют идти прямой дорогой, с которой не свернешь ни вправо, ни влево. Им программа навязана извне, самой жизнью. Она вполне может оказаться такой же полной, как и та, которую человек разрабатывает сознательно. Но у художника положение особое. Я пользуюсь словом «художник» не для того, чтобы подчеркнуть особую ценность его продукции, но просто для обозначения человека, занимающегося искусством. Лучшего слова я не нашел. Творец — претенциозно и как бы предполагает оригинальность, которая на самом деле обычно отсутствует. Мастер — недостаточно. Плотник тоже мастер, и хотя в узком смысле слова он может быть художником, он, как правило, не имеет той свободы действий, какой пользуется самый безграмотный писака, самый бездарный мазилка. В известных пределах художник может распорядиться своей жизнью, как захочет. Что касается других профессий, например врача или юриста, вы вольны остановить или не остановить на них свой выбор, но, раз выбрав, вы уже не свободны. Вы связаны законами своей профессии, вынуждены соблюдать те или иные правила поведения. Программа ваша predetermined. Только художник да еще, пожалуй, преступник может составить ее сам.

Наметить себе программу жизни еще в юности меня заставила, быть может, врожденная методичность, а быть может, нечто, что я открыл в себе и о чем речь пойдет ниже. У такой затеи есть изъян — она может убить непосредственность. Одно из существенных различий между живыми людьми и литературными персонажами состоит в том, что живые люди — создания импульсивные. Кто-то сказал, что быть метафизиком — значит находить неубедительные причины для того, во что мы верим инстинктивно; с тем же успехом можно сказать, что в жизни мы пользуемся своей способностью рассуждать, чтобы оправдывать поступки, которые совершаем потому, что нам так хочется. И не противиться импульсам тоже входит в программу. Мне кажется, у такой программы есть более серьезный изъян: она заставляет слишком много жить в будущем. Я давно знаю за собой этот недостаток и старался от него избавиться, но безуспешно. Никогда, разве что сознательным усилием воли, я не просил мгновение помедлить, чтобы я мог полнее им насладиться, потому что, даже когда оно приносило мне что-то, чего я очень, очень ждал и хотел, воображение мое сразу же переносилось к проблематичным радостям

будущего. Всякий раз, как я шел по южной стороне Пикадилли, мне страшно хотелось знать, что происходит на северной. Это — безумие. Миг настоящего — это все, в чем мы можем быть уверены; как же не извлечь из него всю возможную ценность? Будущее в свое время станет настоящим и покажется столь же неинтересным, как настоящее кажется сейчас. Но такие здравые соображения мне не помогают. Я не жалуясь на настоящее, я просто принимаю его. Оно — часть программы, но интересует меня то, чего еще нет.

Я наделал немало ошибок. Временами я попадал в ловушку, которая подстерегает всякого писателя, — у меня являлось желание самому совершить некоторые поступки, которые я заставлял совершать вымышленных мною героев. Я пытался делать вещи, по природе мне не свойственные, и упорствовал, из тщеславия отказываясь признать себя побежденным. Я слишком считался с чужим мнением. Я шел на жертвы ради недостойных целей, потому что у меня не хватало смелости причинить боль. Я совершал безрассудства. У меня беспокойная совесть, и некоторые свои поступки я не в состоянии окончательно забыть. Если бы мне выпало счастье быть католиком, я мог бы освободиться от них на исповеди и, отбив наложенную на меня епитимью, получить отпущение и раз навсегда выкинуть их из головы. Но мне пришлось обходиться здравым смыслом. Я не жалею о прошлом: мне думается, что на собственных серьезных проступках я научился снисходительности к людям. Это потребовало долгого времени. В молодости я был жестоко нетерпим. Помню, как возмутило меня чье-то замечание (отнюдь не оригинальное, но для меня в то время новое), что лицемерие — это дань, которую порок платит добродетели. Я считал, что скрывать свои пороки не следует. У меня были высокие идеалы честности, неподкупности, правдивости. Меня бесила не человеческая слабость, а трусость, и я был беспощаден ко всяким обинякам и уверткам. Мне и в голову не приходило, что никто так не нуждается в снисходительности, как я.

XVI

На первый взгляд странно, что собственные проступки кажутся нам настолько менее предосудительными, чем чужие. Вероятно, это объясняется тем, что мы знаем все обстоятельства, вызвавшие их, и поэтому прощаем себе то, чего не

прощаем другим. Мы стараемся не думать о своих недостатках, а когда бываем к тому вынуждены, легко находим для них оправдания. Скорее всего, так и следует делать: ведь недостатки — часть нашей натуры, и мы должны принимать плохое в себе наряду с хорошим. Но других мы судим, исходя не из того, какие мы есть, а из некоего представления о себе, которое мы создали, исключив из него все, что уязвляет наше самолюбие или уронило бы нас в глазах света. Возьмем самый элементарный пример: мы негодуем, уличив кого-нибудь во лжи; но кто из нас не лгал, и притом сотни раз? Мы огорчаемся, обнаружив, что великие люди были слабы и мелочны, нечестны или себялюбивы, развратны, тщеславны или невоздержанны; и многие считают непозволительным открывать публике глаза на недостатки ее кумиров. Я не вижу особой разницы между людьми. Все они — смесь из великого и мелкого, из добродетелей и пороков, из благородства и низости. У иных больше силы характера или больше возможностей, поэтому они могут дать больше воли тем или иным своим инстинктам, но потенциально все они одинаковы. Сам я не считаю себя ни лучше, ни хуже большинства людей, но я знаю, что, расскажи я о всех поступках, какие совершил в жизни, и о всех мыслях, какие рождались у меня в мозгу, меня сочли бы чудовищем.

Мне непонятно, как у людей хватает духу осуждать других, когда им стоит только оглянуться на собственные мысли. Немалую часть своей жизни мы проводим в мечтах, и чем богаче у нас воображение, тем они разнообразнее и ярче. Многие ли из нас захотели бы увидеть свои мечты механически записанными? Да мы бы сгорели от стыда. Мы возопили бы, что не могли мы быть так подлы, так злы, так мелочны, так похотливы, лицемерны, тщеславны, сентиментальны. А между тем наши мечты — такая же часть нас самих, как и наши поступки, и, будь наши сокровенные мысли кому-нибудь известны, мы бы и отвечать за них должны были в равной мере. Люди забывают, какие отвратительные мысли порою приходят им в голову, и возмущаются, обнаружив их у других. Гете рассказывает в своей «Поэзии и правде», как в юности ему претила мысль, что отец его — всего-навсего франкфуртский бюргер истряпчий. Он чувствовал, что в жилах его течет голубая кровь. И вот он пытался убедить себя, что какой-нибудь князь, проездом во Франкфурте, встретил и полюбил его мать и что он — плод этого союза. Редактор того издания, которое я читал, снабдил это место негодующим примечанием.

Он решил, что недостойно великого поэта было бросить тень на всем известную добродетель своей матери ради снобистского удовольствия выставить себя незаконнорожденным аристократом. Конечно, Гете поступил по-свински, но в этом не было ничего неестественного, скажу больше — ничего из ряда вон выходящего. Вероятно, почти всякий романтически настроенный, строптивый и мечтательный мальчишка носился с мыслью, что он не может быть сыном своего скучного, почтенного папаши, а свое воображаемое превосходство объяснял, смотря по личным склонностям, происхождением от какого-нибудь венценосца, государственного деятеля или безвестного поэта. Олимпийство позднего Гете преисполняет меня глубокого уважения; это же признание будит более теплые чувства. Человек остается человеком, даже если пишет великие произведения.

Надо полагать, что именно такие бесстыдные, безобразные, подлые и эгоистичные мысли неотступно мучили святых, уже после того, как они посвятили свою жизнь добрым делам и покаянием смыли грехи прошлого. Святой Игнатий Лойола, как известно, отправился в обитель Монсеррат, исповедался там и получил отпущение грехов; но сознание собственной греховности по-прежнему его терзало, так что он готов был покончить с собой. До своего обращения он вел жизнь, обычную для знатного молодого человека того времени. Он немного кичился своей внешностью, знался с женщинами, играл в кости; но по меньшей мере один раз проявил редкое великодушие и всегда был честен, добр и смел. А душевного покоя он не обрел потому, что не мог простить себе своих мыслей. Приятно было бы знать наверняка, что даже святые не избежали этой участи. Глядя на великих мира сего, как они выступают в своей официальной роли, такие праведные, полные достоинства, я часто спрашивал себя, помнят ли они в эти минуты, о чем иногда думают наедине, и не смущает ли их порою мысль о тайнах, которые кроются за их сублимированным обликом. Зная, что тайные мысли свойственны всем людям, мы, по-моему, должны быть очень терпимы и к себе, и к другим. А кроме того, к своим близким, даже самым знаменитым и респектабельным, лучше относиться с юмором, да и самих себя не принимать слишком всерьез. Слушая, как елейно читает мораль какой-нибудь судья в суде Олд-Бейли, я спрашивал себя, неужели он забыл свою человеческую сущность так основательно, как это явствует из его слов?

И у меня возникало желание, чтобы возле его милости рядом с букетом цветов лежала пачка туалетной бумаги. Это напоминало бы ему, что он — такой же человек, как все.

XVII

Меня часто называют циником. Меня обвиняют в том, что в своих книгах я делаю людей хуже, чем они есть на самом деле. По-моему, я в этом неповинен. Я просто выявляю некоторые их черты, на которые многие писатели закрывают глаза. На мой взгляд, самое характерное в людях — это непоследовательность. Я не помню, чтобы когда-нибудь видел цельную личность. Меня и сейчас поражает, какие, казалось бы, несовместимые черты уживаются в человеке и даже производят в совокупности впечатление гармонии. Я часто задумывался над этим. Я знал мошенников, способных жертвовать собой, воришек с ангельским характером и проституток, почитавших делом чести на совесть обслуживать клиентов. Объяснить это я могу только тем, что в глубине души каждый человек твердо убежден в своей исключительности, а потому считает для себя не то чтобы естественным и правильным, но, во всяком случае, прощательным то, что для других может быть и не дозволено. Контрасты, которые я наблюдал в людях, интересовали меня, но мне не кажется, что я отводил им неправомерно большое место. Строгая критика, которой я время от времени подвергался, была, возможно, вызвана тем, что я не осуждал своих персонажей за то, что в них было плохого, и не хвалил за хорошее. Пусть это очень дурно, но я не способен серьезно возмущаться чужими грехами, если только они не касаются меня лично, да и тогда тоже. Я наконец научился прощать все и всем. Не надо ждать от людей слишком многого. Будь благодарен за хорошее обращение, но не сетуй на плохое. «Ибо каждого из нас, — как сказал Афинский Незнакомец, — сделало тем, что он есть, направление его желаний и природа его души». Только недостаток воображения мешает увидеть вещи с какой-либо точки зрения, кроме своей собственной, и неразумно сердиться на людей за то, что они его лишены.

По-моему, я действительно заслуживал бы порицания, если бы видел в людях только недостатки и был слеп к их достоинствам. Но это, мне думается, не так. Нет ничего прекраснее, чем доброта, и я часто с удовольствием показывал, как много ее в таких людях, которых следовало бы беспощадно осудить, если подходить к ним с обычной

меркой. А показывал я ее потому, что видел. Порою мне казалось, что именно в таких людях она светит ярче среди окружающей ее тьмы греха. Доброту праведных людей я принимаю как должное, в них мне забавно находить недостатки или пороки; но доброта грешников меня трогает, и я всегда готов снисходительно пожать плечами на проявления их греховности. Я не сторож брату моему. Я не могу заставить себя судить своих ближних; хватит с меня того, что я их наблюдаю. И мои наблюдения убедили меня в том, что на поверку между добрыми и злыми нет такой большой разницы, как пытаются нам внушить моралисты.

Я не сужу о человеке по первому впечатлению. Возможно, что умение пристально всматриваться в людей я унаследовал от своих предков: навряд ли они могли бы стать хорошими юристами, если бы не обладали известной остротой ума и позволяли сбить себя с толку обманчивой внешностью. А может быть, мне, в отличие от многих, недоступны вспышки радостных чувств при встрече с каждым новым человеком, от которых глаза застилает розовым туманом. Безусловно, здесь сыграло роль то, что я получил медицинское образование. Я не хотел быть врачом. Я хотел быть только писателем, но был слишком робок, чтобы заявить об этом. К тому же в те времена это было неслыханное дело, чтобы восемнадцатилетний мальчик из хорошей семьи стал профессиональным литератором. Самая эта мысль была так несуразна, что я даже не пробовал с кем-нибудь ею поделиться. Я всегда думал, что пойду по юридической части, но три моих брата, все намного старше меня, уже были юристами, и для меня, так сказать, не осталось места.

XVIII

В школе я проучился недолго. Три безрадостных года я провел в начальной школе в Кентербери, в которую меня отдали после смерти отца, потому что оттуда было всего шесть миль до Уитстебла, где мой дядя и опекун был викарием. Это был филиал старинной Королевской школы, куда я и перешел, когда мне исполнилось тринадцать лет. Выбравшись из младших классов, где учителя были грубые тираны, я вполне примирился со школой и был страшно огорчен, когда из-за болезни мне пришлось провести целый триместр на юге Франции. Моя мать и ее единственная сестра умерли от туберкулеза, поэтому, когда выяснилось, что у меня слабые легкие, дядя с теткой забеспокоились.

В Йере мне давал уроки частный преподаватель. Вернувшись в Кентербери, я как-то не нашел себе там места. У моих друзей появились новые друзья. Я оказался один. В мое отсутствие меня перевели в следующий класс, и мне после трехмесячного перерыва было трудно там учиться. Классный наставник придирался ко мне. Я убедил дядю, что для моих легких будет очень полезно, если я, вместо того чтобы оставаться в школе, проведу ближайшую зиму на Ривьере, а после этого мне стоит пожить в Германии — изучить немецкий язык. Тем временем я буду продолжать заниматься предметами, которые нужны для поступления в Кембридж. Дядя был слабый человек, а доводы мои казались серьезными. Меня он недолюбливал, за что я его совсем не виню, потому что я, сколько могу судить, не был симпатичным мальчиком; а так как деньги на мое образование тратились мои собственные, он был вполне готов предоставить мне свободу действий. Тетка же горячо сочувствовала моим планам. Она сама была из немецкой семьи, очень бедной, но родовитой; у них имелся замысловатый фамильный герб с щитодержателями, которым она очень гордилась. В другом месте¹ я рассказал, как она, будучи всего лишь женою бедного священника, не пожелала нанести визит жене богача-банкира, снявшего на лето дом по соседству, — а все потому, что он занимался коммерцией. Она-то и устроила меня в семейный пансион в Гейдельберге, о котором слышала от своих мюнхенских родичей.

Но когда я восемнадцати лет возвратился из Германии, у меня уже сложились весьма определенные взгляды касательно моего будущего. За границей мне жилось лучше, чем когда-либо раньше. Впервые я отведал свободы, и самая мысль о Кембридже, где пришлось бы снова ее лишиться, была для меня невыносима. Я чувствовал себя взрослым, и мне не терпелось вступить в жизнь. Я чувствовал, что нельзя терять ни минуты. Дядя мой лелеял надежду, что я стану священником, хотя ему следовало бы понять, что, поскольку я заикался, это была самая неподходящая для меня профессия; но когда я сказал ему, что не хочу поступать в Кембридж, он принял это со своим обычным равнодушием. Я еще помню, какие глупейшие разговоры велись по поводу моего будущего. Так, кто-то подал мысль, что мне следует поступить на государственную службу, и дядя в письме к своему старому приятелю по Оксфорду, занимавшему важный пост в министерстве внутренних дел, спро-

¹ В романе «Пироги и пиво».

сил его совета на этот счет. Приятель ответил, что теперь, когда введена система экзаменов и соответственно расширилась категория лиц, попадающих на государственную службу, это неподходящее поприще для джентльмена. Вопрос отпал. В конце концов было решено, что я стану врачом.

Медицина меня не интересовала, но она давала мне возможность жить в Лондоне, окунуться в настоящую жизнь, о чем я так мечтал. Осенью 1892 года я поступил в медицинскую школу при больнице св. Фомы. Первые два курса показались мне скучными, и я уделял занятиям ровно столько внимания, сколько требовалось, чтобы кое-как сдать экзамены. Я был очень неважным студентом. Но свободу я себе отвоевал. Мне нравилось, что у меня своя комната, где я могу быть один; я старался обставить ее красиво и уютно. Все свободное время, а также большую часть времени, которое мне следовало бы посвящать занятиям медициной, я читал и писал. Читал я запоем и исписывал бесконечные тетради сюжетами для рассказов и пьес, отрывками диалогов и рассуждениями, весьма наивными, по поводу прочитанных книг и собственных переживаний. В жизни больницы я почти не участвовал, почти ни с кем из студентов не дружил — я был занят другим. Но на третьем курсе началась работа в амбулатории, и это меня заинтересовало. А потом я стал куратором в стационаре, и тут интерес мой возрос настолько, что, когда я однажды на вскрытии не в меру разложившегося трупа схватил септический тонзиллит и слег, я буквально не мог дожидаться дня, когда смогу вернуться к работе. Чтобы получить диплом, я должен был принять известное количество родов, а это означало походы в трущобы Ламбета — подчас в грязные, зловонные дворы, куда не решалась заглядывать полиция, но где мой черный чемоданчик служил надежной защитой; эта работа меня захватила. Одно время я день и ночь работал в «Скорой помощи», что было очень утомительно, однако увлекло меня чрезвычайно.

XIX

Да, здесь было то, что больше всего меня влекло, — жизнь в самом неприкрашенном виде. За эти три года я, вероятно, был свидетелем всех эмоций, на какие способен человек. Это разжигало мой инстинкт драматурга, волновало во мне писателя. Еще сейчас, спустя сорок лет, я помню некоторых людей так отчетливо, что мог бы нарисовать их

портрет. Фразы, услышанные в то время, до сих пор звучат у меня в ушах. Я видел, как люди умирали. Видел, как они переносили боль. Видел, как выглядит надежда, страх, облегчение, видел черные тени, какие кладет на лица отчаяние; видел мужество и стойкость. Я видел, как вера сияла в глазах людей, уповавших на то, что сам я считал лишь иллюзией, и видел, как человек встречал свой смертный приговор иронической шуткой, потому что из гордости не мог допустить, чтобы окружающие увидели ужас, охвативший его душу.

В то время (а это было время, когда многие жили, не зная нужды, когда мир казался прочным и безопасностью — обеспеченной) имелась группа писателей, воспевавших моральную ценность страдания. Они утверждали, что страдание целительно. Что оно усиливает сочувствие и обостряет впечатлительность. Что оно открывает новые просторы для духа и дает ему соприкоснуться с мистическим Царством Божиим. Что оно укрепляет характер, очищает его от грубости и тому, кто не бежит страдания, а ищет его, приносит более совершенное счастье. Несколько книг на эту тему имели большой успех, и авторы их, жившие в комфортабельных домах, сытно питавшиеся три раза в день и пребывавшие в завидном здоровье, пользовались широкой известностью. В своих тетрадях я не раз и не два, а десятки раз записывал факты, которые видел своими глазами. Я знал, что страдание не облагораживает: оно портит человека. Под действием его люди становятся себялюбивыми, подленькими, мелочными, подозрительными. Они дают поглотить себя пустякам. Они приближаются не к Богу, а к зверю. И я со злостью писал, что резиньяции мы учимся не на своих страданиях, а на чужих.

Все это было для меня ценнейшим опытом. Я не знаю лучшей школы для писателя, чем работа врача. Вероятно, и в конторе адвоката можно немало узнать о человеческой природе; но там, как правило, имеешь дело с людьми, вполне владеющими собой. Лгут они, возможно, столько же, сколько лгут врачу, но более последовательно, и адвокату, может быть, не так необходимо знать правду. К тому же он обычно занимается материальными вопросами. Он видит человеческую природу со специфической точки зрения. Врач же, особенно больничный врач, видит ее без всяких покровов. Скрытность обычно удается сломить; очень часто ее и не бывает. Страх в большинстве случаев разбивает все защитные барьеры; даже тщеславие перед ним пасует. Почти все люди обожают говорить о себе, и мешает им только то

обстоятельство, что другие не хотят их слушать. Сдержанность — искусственное качество, которое развивается у большинства из нас лишь в результате несчетных осечек. Врач умеет хранить тайны. Его дело — слушать, и нет тех подробностей, которые были бы слишком интимны для его ушей.

Но, разумеется, может быть и так, что человеческая природа перед вами как на ладони, а вы не имеете глаз, чтобы видеть, и ничего не узнаете. Если вы скованы пред-рассудками, если вы человек сентиментального склада, то, сколько бы вы ни ходили по больничным палатам, опыт ваш от этого не обогатится. Чтобы такая затея удалась, нужен непредубежденный ум и большой интерес к людям. Я считаю, что мне очень повезло: хотя я никогда особенно не любил людей, они меня так интересуют, что, кажется, не способны мне надоест. Я не большой любитель говорить и всегда готов слушать. Мне все равно, интересуются мною другие или нет. Я не жажду делиться с людьми своими знаниями и не чувствую потребности поправлять их, если они ошибаются. Скучные люди могут быть очень занимательны, если умеешь держать себя в руках. Помню, как за границей одна добрейшая дама повезла меня кататься — смотреть окрестности. Разговор ее состоял из одних трюизмов, и она употребляла избитые фразы в таком количестве, что я отчаялся их запомнить. Но одно ее замечание засело у меня в памяти, как бывает с исключительно удачными остротами. Мы проезжали мимо домиков, выстроившихся в ряд на берегу моря, и она сказала: «Это — бунгало для воскресного отдыха, вы понимаете... другими словами, это бунгало, куда приезжают отдыхать на воскресенье». Не услышать этого было бы для меня большой потерей.

У меня нет желания проводить слишком много времени со скучными людьми, но и с занятыми людьми тоже. Светское общение меня утомляет. Очень многие находят в беседе и развлечение, и отдых. Мне она всегда стоит усилий. В молодости, когда я заикался, долгий разговор меня просто выматывал, и даже теперь, хотя я в большой мере излечился, это для меня трудное дело. Я испытываю облегчение, когда могу уйти куда-нибудь и спокойно почитать.

XX

Я отнюдь не имею в виду, что за годы, проведенные в больнице св. Фомы, до конца постиг человеческую природу. Едва ли кто может на это претендовать. Я изучал ее,

сознательно и бессознательно, в течение сорока лет, но и сейчас люди для меня — загадка. Даже близко знакомый мне человек может удивить меня поступком, на который я не считал его способным, или проявлением такой черты характера, какой я в нем и не подозревал. Возможно, что представление о людях у меня сложилось несколько однобокое, поскольку в больнице св. Фомы я соприкасался главным образом с людьми больными, бедными и необразованными. Я по мере сил остерегался этого. Остерегался по мере сил и собственной предвзятости. У меня нет врожденной веры в людей. Я склонен ожидать от них скорее дурного, чем хорошего. Это — цена, которую приходится платить за чувство юмора. Обладая чувством юмора, находишь удовольствие в капризах человеческой природы; не слишком доверяешь благородным декларациям, всегда доискиваясь недостойных мотивов, которые за ними скрываются; несоответствие между видимостью и действительностью развлекает, и там, где не удастся его найти, подмывает его создать. Порою закрываешь глаза на истину, добро и красоту, потому что они дают мало пищи чувству смешного. Юморист незамедлительно приметит шарлатана, но не всегда распознает святого. Но если односторонний взгляд на людей — дорогая плата за чувство юмора, зато в нем есть и ценная сторона. Когда смеешься над людьми, на них не сердись. Юмор учит терпимости, и юморист — когда с улыбкой, а когда и со вздохом — скорее пожмет плечами, чем осудит. Он не читает морали, ему достаточно понять; а ведь недаром сказано, что понять — значит пожалеть и простить.

Однако, с этими оговорками, о которых я стараюсь не забывать, я утверждаю, что опыт всей последующей жизни только подтвердил наблюдения над человеческой природой, которые я — по молодости лет еще бессознательно — делал в амбулаториях и палатах больницы св. Фомы. Я вижу людей так же, как видел тогда, и такими их рисую. Может быть, изображение получается неправильное; многие, я знаю, находят его неприятным. Разумеется, оно предвзято, поскольку я, естественно, смотрю на людей сквозь призму собственного характера. Экспансивный, здоровый, чувствительный оптимист увидел бы тех же людей совсем по-другому. Я могу только сказать, что видел их отчетливо. Многие писатели, как мне кажется, совсем не наблюдают, а персонажей своих создают стандартных размеров и по образцам, которые сами же выдумывают. Они — как те рисовальщики, что копируют слепки с античных скульптур

и никогда не пытаются рисовать живую натуру. В лучшем случае они могут придать видимость жизни порождениям собственного ума. Если ум у них возвышенный, им порой удастся создать возвышенные образы, и тогда, пожалуй, не так уж важно, что в этих образах не отражена бесконечная сложность повседневной жизни.

Я всегда писал с живой натуры. Помню, как однажды на занятиях по анатомии руководитель спросил меня название какого-то нерва, и я не мог ответить. Он мне сказал; я стал спорить, потому что нерв находился не там, где ему полагалось. Он же настаивал, что это тот самый нерв, который я тщетно искал. Я возмутился такой ненормальностью, на что он с улыбкой заметил, что в анатомии необычна скорее норма. В то время это меня только разозлило, но слова его запали мне в память, а позднее я пришел к выводу, что их можно отнести не только к анатомии, но и к человеку вообще. Норма — это то, что встречается лишь изредка. Норма — это идеал. Это портрет, который складывают из характерных черточек отдельных людей, а ведь трудно ожидать, что все эти черты могут соединиться в одном человеке. Вот такие-то фальшивые портреты и берут за образец писатели, о которых я говорил, и оттого, что они берут явления столь исключительные, они редко добиваются впечатления правды. Эгоизм и добросердечность, высокие порывы и чувственность, тщеславие, робость, бескорыстие, мужество, лень, нервность, упрямство, неуверенность в себе — все это уживается в одном человеке, не создавая особой дисгармонии. Понадобилось немало времени, чтобы убедить в этом читателя.

Не думаю, чтобы в прошедшие века люди отличались от нынешних, но своим современникам они, по всей вероятности, казались более цельными, иначе писатели не стали бы изображать их такими. «Всяк в своем нраве»¹ — это казалось вполне естественным. Скупец был только скуп, щеголь — щеголеват, обжора — обжорлив. Никому не приходило в голову, что скупец может быть щеголеват и обжорлив, — а между тем мы сплошь и рядом встречаем таких людей, — и уж подавно, что он может быть честным человеком, бескорыстно служить обществу и искренне увлекаться искусством. Когда писатели начали изображать пестроту, которую они обнаруживали в самих себе или в других, их обвинили в клевете на человечество. Насколько

¹ Комедия Бена Джонсона (1598).

я знаю, первым, кто сознательно пошел на это, был Стендаль. Роман «Красное и черное» был встречен современной критикой в штыки. Даже Сент-Бёв отнесся к нему весьма строго, хотя ему достаточно было заглянуть в собственное сердце, чтобы увидеть, сколь противоречивые свойства уживаются в человеке. Жюльен Сорель — один из самых интересных характеров во всей литературе. На мой взгляд, Стендалю не удалось сделать его вполне правдоподобным, но это, вероятно, вызвано причинами, о которых речь пойдет в своем месте. На протяжении первых трех четвертей романа он вполне достоверен. Иногда он внушает отвращение, иногда сочувствие; но во всем этом есть внутренняя связность, так что, даже содрогаясь, приемлешь.

Но у Стендаля не скоро нашлись последователи. Бальзак при всей своей гениальности лепил свои характеры по старым образцам. Он вдохнул в них собственную невероятную жизненность, поэтому их принимаешь как живых людей; однако на самом деле это — «нравы», такие же, как в старинных комедиях. Персонажи его незабываемы, но каждый из них дан с точки зрения своей доминирующей страсти, которая поражала тех, с кем он соприкасался. Вероятно, людям свойственно воспринимать своих ближних так, словно они являют собой нечто однородное. Конечно же, куда проще сразу составить себе мнение о человеке и, чтобы не думать долго, наклеить на него ярлык «молодчина» или «мерзавец». Не очень-то приятно узнать, что спаситель отечества — скряга или что поэт, открывший нам новые горизонты, — сноб. Из врожденного эгоизма мы судим о людях по той их стороне, которая повернута к нам самим. Мы хотим, чтобы они были такими-то и такими-то — для нас; и такими они для нас и будут; остальное, что в них есть, нам не нужно, и мы его игнорируем.

Этими причинами, пожалуй, и можно объяснить, почему так холодно принимаются попытки изобразить человека во всем многообразии его, казалось бы, несовместимых качеств и почему люди в испуге отворачиваются, когда простосердечные биографы обнародуют правду о великих мира сего. Печально думать о том, что человек, написавший квинтет в «Мейстерзингерах», был не честен в денежных делах и вероломен по отношению к тем, кто оказывал ему помощь. Но возможно, что, не будь у него больших недостатков, у него не было бы и больших достоинств. Я не согласен с мнением, что нужно закрывать глаза на пороки знамени-

тых людей; по-моему, лучше, чтобы мы о них знали: тогда, помня, что мы не менее их порочны, мы все же можем верить, что и добродетели их для нас достижимы.

XXI

Медицинское образование не только помогло мне вникнуть в человеческую природу — оно дало мне элементарные научные знания и понятие о научном методе. До того я занимался только искусством и литературой. Новые мои познания были невелики, в соответствии с тогдашней более чем скромной программой, но все же передо мною открылась дорога, ведущая в область, совершенно для меня неведомую. Я усвоил кой-какие принципы. Научный мир, в который я заглянул одним глазком, был насквозь материалистичен, и, поскольку концепции его соответствовали моим склонностям, я жадно за них ухватился. «Ибо люди, — как заметил Поуп, — что бы они ни говорили, одобряют чужое мнение, лишь если оно совпадает с их собственным». Мне приятно было узнать, что сознание человека (возникшего в ходе естественноисторического развития) есть функция мозга и, подобно другим частям его тела, подчиняется законам причинности, а законы эти — те же, что управляют движением звезд и атомов. Я ликовал при мысли, что вселенная — не более как огромная машина и каждое событие, в ней происходящее, предопределено каким-то предшествующим событием, так что никакого выбора быть не может. Эти концепции не только питали мой писательский инстинкт — они давали мне отрадное ощущение свободы. С чисто юношеской кровожадностью я приветствовал гипотезу о выживании сильнейшего. Я был очень доволен, узнав, что Земля — всего лишь комочек грязи, который носится в пространстве вокруг второстепенной звезды, мало-помалу остывающей; и что породившая человека эволюция, заставляя его приспособляться к своей среде, со временем лишит его всех приобретенных им свойств, кроме тех, что необходимы для борьбы с усиливающимся холодом; а в конце концов на всей планете — обледеневшем уголке — не останется ни признака жизни. Я поверил, что мы — жалкие марионетки во власти беспощадной судьбы; что, подчиняясь неумолимым законам природы, мы обречены участвовать в непрекращающейся борьбе за существование и что впереди — неизбежное поражение, и больше ничего. Я узнал, что людьми движет бешеный эгоизм, что любовь — всего-навсего-

го скверная шутка, которую природа шутит с людьми, чтобы добиться продолжения рода, и я решил, что, какие бы цели ни ставил себе человек, он заблуждается, ибо у него не может быть иных целей, кроме собственного удовольствия. Однажды мне случилось оказать услугу приятелю (как я мог это сделать, раз я знал, что все наши поступки эгоистичны,— об этом я не задумался), а он, желая выразить мне свою благодарность (для которой, конечно, не было оснований, поскольку моя кажущаяся доброта была строго преднамеренной), спросил, что мне подарить. Я ответил без запинки: «Основные начала» Герберта Спенсера. В общем книга эта мне понравилась. Но я презирал Спенсера за его сентиментальную веру в прогресс: мир, который я знал, катился в пропасть, и я с восторгом представлял себе, как мои отдаленные потомки, давно позабывшие искусства, науку и ремесла, будут сидеть в пещерах, кутаясь в звериные шкуры и ожидая прихода холодной вечной ночи. Я был воинствующим пессимистом. А между тем молодость брала свое— и жилось мне отнюдь не скучно. Я мечтал занять видное место в литературе. Я бросался в любое приключение, сулившее обогатить мой опыт, и читал все, что удавалось достать.

XXII

В то время я общался с группой молодых людей, казавшихся мне гораздо более одаренными, чем я сам. Я завидовал легкости, с какой они писали, рисовали и сочиняли музыку. Их умение оценивать и критиковать произведения искусства казалось мне недостижимым. Некоторые из них умерли, не оправдав надежд, которые я на них возлагал, другие прожили ничем не приметную жизнь. Теперь-то я понимаю, что у них не было ничего, кроме творческого инстинкта молодости. В молодые годы множество людей сочиняют стихи и прозу, играют пьески на фортепиано, рисуют и пишут красками. Это своего рода игра, выход для бьющей через край энергии и не более серьезно, чем игра ребенка, строящего замок из песка. Думаю, что я лишь по собственному невежеству так восхищался талантами моих друзей. Будь я менее наивен, я бы понял, что мнения, казавшиеся мне такими оригинальными, заимствованы из вторых рук, а стихи и музыка— не столько плод живого воображения, сколько результат цепкой памяти. Но сейчас мне важно отметить другое: такая творческая легкость свойственна столь многим (если не всем), что из нее нельзя

делать выводов. Вдохновением служит молодость. Одна из трагедий искусства — это великое множество людей, которые, обманувшись этой преходящей легкостью, решили посвятить творчеству всю свою жизнь. С возрастом выдумка их иссякает, и они, упустив время для приобретения более прозаической профессии, год за годом мучительно стараются выбить из своего усталого мозга ту искру, которой он уже не может дать. Счастье их, если они, затаив в душе жгучую горечь, научились зарабатывать на жизнь, подвизаясь в какой-нибудь области, смежной с искусством, например в журналистике или преподавании.

Разумеется, настоящий художник выходит из числа тех, кто этой врожденной легкостью обладает. Без нее не может быть таланта; но она — только часть таланта. Каждый из нас поначалу живет в одиночестве собственного сознания, и постепенно из того, что в нас заложено, и из общения с сознанием других людей мы строим такой внешний мир, какой нам нужен. Оттого, что все мы — результат одного и того же процесса эволюции и что среда у нас более или менее одинакова, возведенные нами здания весьма сходны между собой. Удобства ради мы принимаем их как тождественные и говорим об одном общем мире. Особенность художника состоит в том, что он чем-то отличен от других людей, а значит, и мир, построенный им, будет особенный. Эта особенность — самая ценная часть его багажа. Если изображение им своего личного мира может заинтересовать определенное количество людей своей необычностью, или богатством, или соответствием их собственным взглядам (ведь среди нас нет двух совершенно одинаковых людей, и не всякий принимает общий нам мир целиком), за ним признают талант. Если это писатель, он окажется нужен своим читателям, и с ним они будут жить духовной жизнью, более отвечающей их устремлениям, чем та жизнь, которую навязали им обстоятельства. Но другая особенность данного писателя оставляет холодными. Мир, построенный на ее основе, их раздражает. Иногда он даже вызывает их возмущение. Тогда писателю нечего им сказать, и они отказывают ему в таланте. Я не считаю, что гений и талант — совершенно разные вещи. Я даже не уверен, что гений связан с каким-то особенным, врожденным дарованием. Так, например, я не считаю, что у Сервантеса был исключительный писательский дар; однако едва ли кто откажет ему в гениальности. Или еще: в английской литературе трудно найти более одаренного поэта, чем Геррик, но всякий, вероятно, согласится, что у него был прелестный

талант, и не более того. Мне кажется, что гениальность — это сочетание природного творческого дара и особой способности художника видеть мир совершенно по-своему и в то же время с такой широтой, что он находит отклик не у людей того или иного типа, но у всех людей. Его личный мир — это мир обыкновенных людей, только обширнее и богаче. Он обращается ко всему человечеству, и даже когда люди не вполне понимают его слово, они чувствуют, что оно полно значения. Он предельно нормален. По счастливому совпадению он воспринимает жизнь необычайно остро и во всем ее бесконечном многообразии, но вместе с тем просто и здраво, как все люди. По выражению Мэтью Арнолда, он воспринимает ее спокойно и как целое. Но гений рождается раз или два в столетие. И здесь, как в анатомии: самое редкое — это норма. Глупо, как это сейчас принято, называть человека гениальным, если он ловко сделал пять-шесть пьес или написал десяток хороших картин. Талант — это тоже совсем неплохо; мало у кого он есть. С талантом художник достигнет только второго класса, но пусть это его не смущает — и здесь он встретит многих, чьи произведения стоят необычайно высоко. Ведь таланту мы обязаны такими романами, как «Красное и черное», такими стихами, как «Мальчик из Шропшира»¹, такими картинами, как «Галантные празднества» Ватто, — право же, выходит, что стыдиться нечего. Талант не достигает самых высоких вершин, но на дороге, ведущей к ним, он может показать вам неожиданный и чарующий вид — тенистую лощину, журчащий ручей, романтический грот. Человек так капризен, что не обязательно радуется, когда ему предлагают самый широкий взгляд на человеческую природу. Его может утратить великолепие «Войны и мира» Толстого, но он с удовольствием возьмется за Вольтерова «Кандида». Трудно было бы всегда иметь перед глазами фрески Микеланджело с плафона Сикстинской капеллы, но никто не откажется повесить у себя в комнате «Солсберийский собор» Констебла.

Я не наделен всеобъемлющим сочувствием и пониманием. Я могу быть только самим собой, а сам я — частью от природы, частью в силу обстоятельств — существо ограниченное. Я не общителен. Я не способен напиться и проникнуться любовью к людям. Застольное веселье всегда было мне скучно. Когда в пивной или в лодке на реке поют песни, я молчу. Я даже в церкви никогда не пел. Я не люблю, чтобы ко мне прикасались, и, когда меня берут под руку,

¹ Сборник стихов Альфреда Хаусмена (1896).

мне нужно сделать над собой усилие, чтобы не отодвинуться. Я не умею забывать о себе. Истеричность окружающего мира мне претит, и нигде я не чувствую себя так одиноко, как в толпе, охваченной бурным весельем или столь же бурным горем. Я любил немало женщин, но ни разу не познал блаженства взаимной любви. Я знаю, что лучше ее жизнь ничего не может дать и почти все люди хотя бы короткое время ею наслаждались. Я же сильнее всего любил тех, кому был более или менее безразличен, а когда любили меня, испытывал только смущение, терялся и не знал, что делать. Чтобы не оскорбить чувства женщины, я часто разыгрывал несуществующую страсть. По возможности мягко, а то и не скрывая досады, я старался разорвать сети, которыми опутывала меня любовь. Я ревниво оберегал свою независимость. Я не способен до конца отдать себя другому. И, конечно, поскольку мне неведомы некоторые из самых обычных чувств нормальных людей, в произведениях моих нет и не может быть той теплоты, широкой человечности и душевной ясности, которую мы находим лишь у самых великих писателей.

XXIII

Пускать публику за кулисы опасно. Она легко теряет свои иллюзии, а потом сердится на вас, потому что ей нужна была именно иллюзия; она не понимает, что для вас-то самое интересное то, как иллюзия создается. Энтони Троллопа перестали читать и не читали тридцать лет, после того как он признался, что писал регулярно, в определенные часы, и заботился о том, чтобы получать за свою работу возможно больше денег.

Но мой путь уже почти окончен, и мне было бы не к лицу скрывать правду. Я не хочу, чтобы обо мне думали лучше, чем я того заслуживаю. Пусть те, кому я нравлюсь, принимают меня как есть, а остальные не принимают вовсе. У меня больше силы характера, чем ума, и больше ума, чем природного таланта. Что-то в этом роде я сказал много лет назад одному очень милому и умному критику. Не знаю, как это вышло, вообще-то я не склонен говорить о себе. Было это в первые месяцы войны, в Мондидье, где мы завтракали по дороге в Перон. Перед этим на нас навалилось очень много работы, и приятно было посидеть за едой, которая, на наш здоровый аппетит, казалась необычайно вкусной. Вероятно, меня подогрело вино, а может, я был

взволнован открытием, что в Мондидье, как явствовало из статуи на рыночной площади, родился Пармантье, человек, который ввез во Францию картофель. Так или иначе, когда дело дошло до кофе и ликера, я с превеликой откровенностью и знанием дела занялся оценкой собственного таланта. Через несколько лет я не без смущения обнаружил ее, почти слово в слово, на страницах одного известного журнала. Это меня немного уязвило — ведь совсем не одно и то же говорить правду о себе и слышать ее от других, и, уж во всяком случае, критик мог хоть из вежливости упомянуть, что узнал все это от меня самого. Но, подумав, я счел вполне естественным, что он приписал себе такую пронизательность. А кроме того, это была правда. Для меня это обернулось не очень удачно: упомянутый критик пользуется заслуженным авторитетом, и то, что он сказал в своей статье, многие затем повторяли. А еще как-то раз я в минуту откровенности сообщил своим читателям, что я — человек достаточно сведущий. Можно подумать, что без моей помощи критики нипочем не додумались бы до этого; но тут они стали применять ко мне это определение часто и неприязненно. Мне до сих пор не понятно, почему столько людей, связанных, хотя бы косвенно, с искусством, смотрят на сведущего в своем деле писателя так неодобрительно.

Мне объяснили, что певцом можно родиться и можно им стать. Разумеется, и во втором случае какие-то голосовые данные необходимы, но основное здесь — выучка; вкус и музыкальность могут возместить такому певцу недостаток голоса, и пение его будет доставлять большое удовольствие, особенно знатокам; но никогда он не взволнует вас так, как волнует чистый, сильный голос певца-самородка. Пусть певцу-самородку не хватает выучки, пусть у него нет ни знаний, ни вкуса, пусть он нарушает любые каноны искусства — все равно его голос покоряет вас. Когда эти волшебные звуки ласкают ваш слух, вы прощаете певцу и вульгарность, и вольности, которые он себе позволяет, и то, что воздействие его — чисто эмоциональное. Я не родился писателем, я им стал. Но было бы тщеславием воображать, будто результат, которого мне удалось достигнуть, объясняется тем, что я выполнял заранее обдуманый план. Побуждения, руководившие мною в жизни, были очень простые, и, только оглядываясь на прошлое, я вижу, что бессознательно стремился к определенной цели. Этой целью было развить свою личность, чтобы восполнить недостаток врожденных способностей.

У меня ясный и логический ум, не очень тонкий и не очень мощный. Я долго был им недоволен. Я выходил из себя, когда он отказывался меня слушаться. Так чувствовал бы себя математик, умеющий только складывать и вычитать и знающий, что заняться более сложными вычислениями он при всем желании не способен. Прошло много времени, пока я примирился с мыслью, что надо наилучшим образом использовать то, что имеешь. Я думаю, что моего ума хватило бы на то, чтобы достигнуть успеха в любой выбранной мною профессии. Я не принадлежу к тем, кто ничего не смыслит вне своей специальности. А ясный ум и умение разбираться в людях полезны и юристу, и врачу, и политическому деятелю.

Одно преимущество у меня есть: я никогда не ощущал недостатка в сюжетах. У меня всегда было больше рассказов в голове, чем времени для их написания. Нередко я слышал от писателей жалобы, что им-де хочется писать, но не о чем, а одна известная писательница даже рассказывала мне, что в поисках темы просматривает некую книгу, в которой собраны все сюжеты, когда-либо использованные в литературе. Таких затруднений я никогда не испытывал. Свифт, как известно, утверждал, что можно писать о чем угодно, и, когда ему предложили написать рассуждение о метле, очень неплохо справился с этой задачей. Я почти без преувеличения могу сказать, что берусь написать сносный рассказ о любом человеке, с которым провел час времени. Приятно иметь в запасе столько рассказов, что, в каком бы настроении ты ни был, всегда найдется, чем занять свое воображение и час-другой, и неделю. Мечты — это основа творческой фантазии; преимущество художника в том, что для него, в отличие от других людей, мечты — не уход от действительности, а средство приблизиться к ней. Его мечты не бесплодны. Они доставляют ему наслаждение, перед которым бледнеют чувственные радости, и дают ощущение уверенности и свободы. Понятно, что порой ему не хочется отрываться от них ради нудного сидения за столом и утрат, неизбежных при закреплении их на бумаге.

Но хотя выдумка у меня богатая — что не удивительно, поскольку мир так богат разнообразными людьми, — большой силой воображения я не наделен. Я беру живых людей и выдумываю для них ситуации, трагические или комические, вытекающие из их характеров. Можно сказать, что они сами выдумывают о себе истории. Я не способен на долгий полет, не уношусь на могучих

крыльях в надзвездные сферы. Фантазию мою, от природы умеренную, всегда сдерживает мысль о жизненной достоверности. Мое дело — станковая живопись, а не фрески.

XXIV

Я от души жалею, что в молодости около меня не было никого, кто мог бы разумно руководить моим чтением. Со вздохом я вспоминаю, сколько времени потратил на книги, не принесшие мне особой пользы. Те немногие указания, какие я в этом смысле получил, исходили от одного молодого человека, с которым мы вместе жили в семейном пансионе в Гейдельберге. Я назову его Браун. В то время ему было двадцать шесть лет. Он учился в Кембридже, стал адвокатом, но, так как юриспруденция пришлось ему не по вкусу, а кое-какие средства, по тем временам достаточные, чтобы прожить, у него были, решил посвятить себя литературе. В Гейдельберг он приехал учиться немецкому языку. Я поддерживал с ним знакомство сорок лет, до самой его смерти. Двадцать лет он тешил себя мыслью о том, что он напишет, когда всерьез возьмется за дело, а еще двадцать лет — о том, что он мог бы написать, обойдись с ним судьба более милостиво. Он писал стихи. У него не было ни воображения, ни страсти, ни поэтического слуха. Несколько лет он занимался переводом тех диалогов Платона, которые и до него переводили чаще всего. Но едва ли он закончил хоть один из них. Силы воли у него не было ни малейшей, зато тщеславия и сентиментальности хоть отбавляй. Он был небольшого роста, но красив, с тонкими чертами и вьющейся шевелюрой; глаза голубые, выражение печальное — точь-в-точь такими принято представлять себе поэтов. В старости, после жизни, прожитой в полном безделье, он был худ и лыс и вид имел аскетический, так что мог сойти за ученого, прошедшего долгие годы в упорном, самозабвенном труде. В его одухотворенном лице читался усталый скептицизм философа, который исследовал все тайны жизни и убедился, что все — суета. Понемногу растратив свое скромное состояние, он все же предпочитал не работать, а жить чужими щедротами, и порой ему нелегко бывало сводить концы с концами. Но свое благодушное самодовольство он не утратил. Оно помогало ему сносить бедность безропотно, а неудачи — равнодушно. Едва ли ему хоть раз пришло в голову, что он — бессовестный обманщик. Вся его жизнь

была ложью, но я убежден, что он и в свой последний час (если б только знал, что умирает, от чего милостиво был избавлен) сказал бы, что прожил ее не зря. Он был обаятелен, совершенно чужд зависти, и хотя по эгоизму своему никогда никому не помог, но и обидеть человека был не способен. Литературу он по-настоящему любил и ценил. Во время наших долгих прогулок по горам вокруг Гейдельберга он рассказывал мне о книгах. Рассказывал он также об Италии и Греции, хотя, в сущности, ничего о них не знал, но он зажег мое юношеское воображение, и я стал заниматься итальянским. Все, что он говорил мне, я воспринимал с горячей верой неопита. Я не хочу осуждать его за то, что книги, которыми он учил меня восхищаться, не все на поверку оказались достойными восхищения. Когда он приехал в Гейдельберг, я как раз читал «Тома Джонса», и он заметил, что в этом, разумеется, ничего дурного нет, но лучше бы я прочел «Диану из Кроссуэйз». Уже тогда он увлекался Платоном и дал мне читать «Пир» в переводе Шелли. Он толковал о Ренане, о кардинале Ньюмене, о Мэтью Арнолде. Впрочем, Мэтью Арнолд, по его мнению, сам был отчасти филистером. Он толковал о «Поэмах и балладах» Суинберна и об Омаре Хайяме. Многие из его четверостиший он знал наизусть и читал мне во время наших прогулок. Я приходил в восторг от их эпикурейской романтики, но декламация Брауна повергала меня в смущение — в пору было подумать, что священник высокой церкви читает молитву в полутемном склепе. Но было два писателя — Уолтер Патер и Джордж Мередит, которыми мне предписывалось восхищаться в первую очередь, если я хотел быть культурным человеком, а не английским филистером. Ради такой чести я был готов на все и прочел «Как обрили Шагпата», покатываясь со смеху — до того уморительной показалась мне эта аллегория. Потом я стал читать романы Мередита один за другим. Я решил, что это — замечательные вещи; впрочем, не столь замечательные, как я внушал даже самому себе. Восхищение мое было надуманное. Я восхищался, потому что так подобало культурному молодому человеку. Я опьянялся собственными восторгами. Я не желал прислушиваться к внутреннему голосу, упорно твердившему «нет». Теперь-то я знаю, что в этих романах много высокопарного вздора. Но странно то, что, перечитывая их, я точно возвращаюсь к тем дням, когда прочел их впервые. Они связаны для меня с солнечным утром, с пробуждением моего ума, с чудесными юношескими грезами, так что стоит мне, закрыв роман Мередита, скажем «Эвана Гаррингтона»,

решить, что неискренность его вопиюща, снобизм противен, а многословие невыносимо и что я никогда больше не прочту ни строчки этого писателя,—как сердце мое тает и я думаю: до чего хорошо!

Однако Уолтер Патер, которого я прочел в то же время и с таким же волнением, теперь не вызывает у меня подобных чувств. Никакие ассоциации не возвышают его в моих глазах. Я нахожу его скучным, как картины Альма Тадемы. Даже странно, что когда-то эта проза меня восхищала. Она не льется. В ней нет воздуха. Затейливая мозаика, изготовленная без особого технического мастерства для украшения вокзального буфета. Мне претит отношение Патера к окружающей жизни—джентльменское, отчужденное, чуть надменное. В оценке искусства должна быть горячность и страсть, а не тепленькое, снисходительное изящество с оглядкой на коллег-педагогов. Но Уолтер Патер был слабый человек; нет нужды изничтожать его. Он плох не сам по себе, плохо то, что он—один из тех ненавистных мне и довольно обычных в литературном мире людей, которые кичатся своей культурностью.

Культура нужна, поскольку она воздействует на характер человека. Если она не облагораживает, не укрепляет характер, грош ей цена. Она должна служить жизни. Цель ее—не красота, а добро. Как мы знаем, она часто, слишком часто порождает самодовольство. Кто не видел, с какой едкой улыбочкой кабинетный ученый поправляет человека, превратившего цитату, или какое обиженное лицо бывает у знатока, когда кто-нибудь хвалит картину, которую он считает второсортной? Прочесть тысячу книг—не большая заслуга, чем вспахать тысячу полей. И умение правильно охарактеризовать картину ничуть не выше умения разобраться в том, отчего заглох мотор. В обоих случаях нужны специальные знания. Есть такие знания и у биржевого маклера, и у ремесленника. Мнение интеллигента, что только его познания чего-нибудь стоят,—это глупейший предубеждение. Истина, Добро и Красота не находятся в исключительном владении тех, за чье учение плачены большие деньги, кто перерыл все библиотеки и часто бывает в музеях. У художника нет никаких оснований относиться к другим людям свысока. Он дурак, если воображает, что его знания чем-то важнее, и кретин, если не умеет подойти к каждому человеку как к равному. Мэтью Арнолд сослужил плохую услугу культуре, утверждая, что она противостоит филистерству.

В восемнадцать лет я знал французский, немецкий и немножко итальянский, но образования не имел никакого и остро сознавал свое невежество. Я читал все, что попадалось под руку. Любознательен я был до того, что с одинаковой жадностью мог читать историю Перу и мемуары ковбоя, трактат о провансальской поэзии и «Исповедь св. Августина». Такое чтение дало мне некоторые знания, что для писателя нелишне. Любые сведения рано или поздно могут пригодиться. Я составлял списки прочитанных книг, и один такой список у меня случайно сохранился. Если бы я не составлял его для себя, и ни для кого больше, я бы не поверил, что за два месяца можно прочесть три пьесы Шекспира, два тома «Истории Древнего Рима» Моммзена, больше половины «Французской литературы» Лансона, два или три романа, несколько произведений французских классиков, два научных труда и пьесу Ибсена. Поистине я был прилежным подмастерьем. За те годы, что я занимался медициной, я систематически проштудировал английскую, французскую, итальянскую и латинскую литературу. Я прочел множество книг по истории, кое-что по философии и, разумеется, по естествознанию и медицине. Любопытство не давало мне подумать о том, что я читал: я едва мог дождаться, когда кончу одну книгу, до того мне не терпелось начать следующую. Это всегда сулило новые переживания, и я брался за очередной памятник литературы с таким же волнением, с каким нормальный молодой человек бьет по крикетному мячу или девушка из хорошей семьи едет на бал. Время от времени репортеры, за неимением лучшего материала, спрашивают меня, какой момент в моей жизни был самый захватывающий. Если б мне не было стыдно, я мог бы ответить: тот момент, когда я приступил к чтению «Фауста» Гёте. В какой-то мере это ощущение у меня сохранилось — даже теперь от первых страниц книги меня иногда пронизывает дрожь. Чтение для меня отдых, как для других — разговор или игра в карты. Более того, это потребность, и если на какое-то время я остаюсь без чтения, то выхожу из себя, как морфинист, оказавшийся без морфия. По мне, лучше читать расписание поездов или каталог, чем ничего не читать. Да что там, я провел немало восхитительных часов, изучая прейскурант магазина Армии и Флота, списки букинистических лавок и железнодорожные справочники. Они полны романтики. Они куда занимательнее, чем современные романы.

Я отрывался от книг только из тех соображений, что время уходит, а мне нужно жить. И я шел к людям, потому что считал это необходимым для приобретения опыта, без которого я не мог бы писать, но опыт мне был нужен и сам по себе. Быть только писателем — этого мне казалось мало. В программе, которую я себе наметил, значилось, что я должен максимально участвовать в таинственном действе, именуемом жизнью. Я хотел приблизиться к горестям и радостям, составляющим всеобщий удел. Я не видел оснований подчинять требования чувств заманчивому зову духа и был твердо намерен извлечь все возможное из встреч и отношений с людьми, из еды, питья и распутства, из роскоши, спорта, искусства, путешествий — словом, из всего на свете. Но это требовало усилия, и я всегда с облегчением возвращался к книгам и собственному обществу.

И все же, несмотря на то что я столько прочел, читать я не научился. Я читаю медленно и не умею бегло проглядывать книги. Даже плохую и нудную книгу мне трудно бросить на середине. Я могу по пальцам пересчитать книги, которые не прочел от корки до корки. С другой стороны, я очень редко что-нибудь перечитываю. Я отлично знаю, что многие книги я не мог до конца оценить с первого раза, но в свое время я взял от них все, что успел, и, хотя подробности, вероятно, забылись, каждая из них как-то обогатила меня. Есть люди, которые перечитывают книги по многу раз. Я объясняю это только тем, что они читают глазами, а не всем своим существом. Это — механическое упражнение, так тибетцы вертят молитвенное колесо. Я допускаю, что занятие это вполне безобидное, но не следует считать его интеллектуальным.

XXVI

В молодости, когда мое непосредственное впечатление от какой-нибудь книги расходилось с мнением авторитетных критиков, я не задумываясь признавал себя неправым. Я еще не знал, как часто критики вторят обывателю, и мне даже в голову не приходило, что нередко они с уверенностью рассуждают о том, чего, в сущности, не знают. Лишь долго спустя я понял, что в произведении искусства для меня важно одно: как я сам отношусь к нему. Теперь я больше полагаюсь на свое суждение, так как не раз замечал, что мнение о том или ином писателе, которое инстинктивно сложилось у меня сорок лет назад и которое

я отбросил, потому что оно казалось ересью, ныне стало почти всеобщим. Несмотря на это, я до сих пор читаю много критики, потому что этот литературный жанр мне нравится. Не всегда хочется читать что-нибудь возвышающее душу, а провести час-другой за чтением критических статей — что может быть приятнее? Интересно соглашаться с автором; интересно с ним спорить; и всегда интересно узнать, что думает умный человек о каком-нибудь писателе, которого тебе не довелось прочесть, например о Генри Море или о Ричардсоне.

Но по-настоящему важно в книге только то, что она значит для меня; критик может дать ей и другое, более глубокое, толкование, но из вторых рук оно мне уже не нужно. Я читаю книгу не ради книги, а ради себя. Мое дело не судить о ней, но вобрать из нее все, что я могу, как амеба вбирает частичку инородного тела, а то, чего я не могу усвоить, меня не касается. Я не ученый, не литературовед, не критик; я — профессиональный писатель, и теперь я читаю только то, что мне нужно как профессионалу. Пусть кто угодно напишет книгу, которая совершит переворот в вопросе о династии Птолемеев, — я все равно не стану ее читать; пусть появится захватывающее описание экспедиции в глубь Патагонии — я к нему не притронусь. Писателю-беллетристу нет нужды быть специалистом в какой бы то ни было области, кроме своей собственной; это ему даже вредно: человек слаб, и едва ли он устоит перед соблазном щеголять своими специальными познаниями к месту и не к месту. Романисту лучше избегать языка техники. Неумеренное употребление специальных терминов, вошедшее в моду в девяностых годах, утомительно. Достоверности нужно добиваться другими средствами, а скука — слишком дорогая цена за достоверный фон. Писатель должен разбираться в основных проблемах, занимающих людей, о которых он пишет, но, как правило, ему достаточно очень скромных познаний. Пуще всего ему следует опасаться педантизма. Но и при этих оговорках выбор велик, и я стараюсь выбирать только такие книги, которые непосредственно служат моим целям. О своих персонажах сколько ни знаешь — все мало. В биографиях, в мемуарах, даже в специальных трудах часто находишь какую-то интимную деталь, выразительную черточку, красноречивый намек, какого нипочем не подметил бы в живой натуре. Людей трудно постичь. Нужно долго дожидаться, пока они расскажут вам о себе именно то, что вы сможете использовать. Неудобно также, что их нельзя в любое время отложить

в сторону, как книгу, и часто приходится, выражаясь фигурально, прочесть весь том, прежде чем убедишься, что ничего интересного для тебя он не содержит.

XXVII

Молодые люди, мечтающие о писательстве, порой оказывают мне честь спрашивать моего совета, какие книги им нужно прочитать. Но они редко следуют моим советам; они, как видно, не любознательны. Им кажется, что для постижения литературного мастерства достаточно прочесть два-три романа миссис Вулф, один — Э. М. Форстера, несколько — Д. Г. Лоуренса и, как ни странно, «Сагу о Форсайтах». Правда, современная литература вызывает непосредственный, живой интерес, чего нельзя ожидать от классиков, и к тому же молодому писателю полезно знать, о чем и как пишут его современники. Но в литературе то и дело возникают модные течения, и нелегко сказать, в чем непреходящая ценность того или иного стиля, который в данную минуту пользуется успехом.

Прекрасным мерилom служит знакомство с великими произведениями прошлого. Иногда я спрашиваю себя, почему многие молодые писатели при всей своей ловкости, легкости и технической сноровке так быстро выдыхаются — не происходит ли это от их невежества? Они выпускают две или три книги не только блестящих, но даже зрелых, а потом — конец. Но так литература не обогащается. Для этого нужны писатели, способные дать не две или три книги, а целую совокупность произведений. Разумеется, они будут неравноценны, ведь для рождения шедевра нужно сочетание очень многих счастливых обстоятельств; но шедевр — это чаще венец долгих трудов, чем случайная находка неученого гения. Писатель может быть плодovit, только если он обновляется, обновляться же он может, только если душа его будет непрестанно обогащаться новым опытом. А для этого нет лучшего средства, чем увлекательные путешествия в великие литературы минувших эпох. Ибо произведение искусства возникает не чудом. Оно требует подготовки. Почву, даже самую богатую, нужно удобрять. Путем размышлений, путем сознательных усилий художник должен добиваться большей широты, глубины, многосторонности. Потом земля какое-то время остается под паром. Как Христова невеста, художник ждет озарения, от которого родится новая духовная жизнь. Он терпеливо занимается

повседневными делами; подсознание между тем ведет свою таинственную работу; и вот, как будто бы из ничего, возникает идея. Но, подобно зерну, брошенному на каменистую почву, она легко может засохнуть; ее нужно заботливо растить. Всю силу своего ума, все свое умение, весь свой опыт, все характерное и индивидуальное, что у него есть, должен отдать ей художник для того, чтобы с бесконечным трудом показать ее наконец людям в подобающем ей воплощении.

Но я не сержусь на молодых людей, когда они, услышав от меня совет читать Шекспира и Свифта, совет, повторяю, преподанный по их же просьбе, отвечают, что «Путешествие Гулливера» они читали в детстве, а «Генриха IV» проходили в школе; и если «Ярмарка тщеславия» кажется им невыносимо скучной, а «Анна Каренина» — пошленькой чепухой, — что ж, это их дело. Читать имеет смысл, только если это доставляет удовольствие. Зато их нельзя упрекнуть в высокомерии, свойственном многим эрудитам. Никакие рогатки высокой культуры не препятствуют им близко и с полным сочувствием подойти к заурядным людям, которые, между прочим, и являют собою их материал. Их искусство — не таинство, а ремесло, как всякое другое. Они пишут романы и пьесы так же скромно, как другие люди делают автомобили. И это очень хорошо. Потому что художник, и в особенности писатель, в духовном одиночестве строит себе мир, отличный от мира других людей; особенность, благодаря которой он стал писателем, отгораживает его от них, и возникает парадокс: хотя цель его — правдиво изображать людей, самое его дарование мешает ему видеть их такими, как они есть. Он оказывается в положении человека, который, сиюсь разглядеть какой-то предмет, сам же протягивает между ним и собой темную завесу. Писатель стоит вне той жизни, которую он создает. Это — комик, не способный раствориться в своей роли, потому что он одновременно и зритель, и актер. Хорошо говорить, что поэзия — это чувство, которое вспоминается в минуты душевного покоя; но у поэта чувство особого порядка, присущее больше поэту, нежели человеку. Недаром женщины с их инстинктивным здравым смыслом так часто не находят удовлетворения в любви поэта. Возможно, что писатели наших дней, которые находятся настолько ближе к своему сырью, — обыкновенные люди среди обыкновенных людей, а не художники в чуждой им толпе — ломают барьер, неизбежно воздвигаемый их дарованием, и подойдут ближе, чем когда-либо раньше, к правде жизни.

Во мне в свое время тоже было достаточно интеллектуальной спеси, и если я, как мне кажется, избавился от нее, то это не моя заслуга: просто мне довелось больше путешествовать, чем многим другим писателям. Я люблю Англию, но никогда не чувствовал себя там вполне дома. Англичан я стеснялся. Англия была для меня страной обязанностей, которые мне не хотелось исполнять, и ответственности, которая меня тяготила. Чтобы почувствовать себя свободным, мне нужно отдалиться от родины хотя бы на ширину Ла-Манша. Есть счастливицы, умеющие обрести свободу внутри себя; я, не обладая их духовной силой, нахожу ее в путешествиях. Еще живя в Гейдельберге, я много поездил по Германии (в Мюнхене я видел Ибсена, когда он пил пиво в «Максимилианергофе» и, сердито хмурясь, читал газету) и заглянул в Швейцарию; но первое настоящее путешествие я совершил по Италии. Я ехал туда, начитавшись Уолтера Патера, Рескина и Джона Аддингтона Саймондса. В моем распоряжении было шесть недель пасхальных каникул и двадцать фунтов стерлингов. Побывав в Генуе и Пизе — где я не поленился тащиться пешком в несусветную даль, чтобы посидеть в лесу под теми самыми пиниями, под которыми Шелли читал Софокла и писал стихи о гитаре, — я почти на месяц осел во Флоренции в доме одной почтенной вдовы. Я читал с ее дочкой «Чистилище» и, не выпуская из рук томик Рескина, осматривал город. Я восхищался всем, чем велел мне восхищаться Рескин (включая безобразную башню Джотто), и пренебрежительно отворачивался от всего, что он не одобрял. Едва ли у него был когда-нибудь более ревностный ученик. Потом я посетил Венецию, Верону и Милан. В Англию я вернулся очень довольный собой и проникнутый презрением ко всем, кто не разделял моих (и Рескина) взглядов на Боттичелли и Беллини. Мне было двадцать лет.

Год спустя я опять отправился в Италию, доехал до Неаполя и открыл Капри. Такого очаровательного места я еще никогда не видел, и в следующем году я провел там все каникулы. Капри в то время мало кто знал. Фуникулера от берега к городу еще не было. Летом там почти не бывало приезжих и за четыре шиллинга в день можно было снять комнату с видом на Везувий и с полным пансионом, включая вино. В то время там жили один поэт, один бельгийский композитор, мой гейдельбергский приятель Браун, несколько художников, скульптор (Гарвард Томас) и американский

полковник — южанин, ветеран Гражданской войны. Я с восторгом слушал, как они, собравшись в доме полковника на горе в Анакапри или в таверне Моргано возле пиаццы, толковали об искусстве и красоте, о литературе и об истории Рима. Я видел, как два человека бросились друг на друга с кулаками, потому что разошлись во взглядах на поэтические достоинства сонетов Эредиа. Это было упоительно. Искусство для искусства — больше ничто в мире не имело значения; только художник привносит смысл в этот нелепый мир. Политика, торговля, университетская премудрость — много ли они стоят с точки зрения абсолюта? Мои новые друзья (все умерли, все до одного!) могли спорить о ценности сонета или о высоких качествах греческого барельефа («Греческий? Еще чего! Говорю вам, это римская копия, а раз я говорю, значит, это так»); но в одном все они были согласны: они горели «холодным, рубиновым пламенем искусства». По робости своей я не сообщил им, что написал роман и пишу второй, и меня до глубины души огорчало, что ко мне, тоже горевшему холодным, рубиновым пламенем, они относились как к филистеру, который только и знает, что резать трупы, и норовит даже лучшего друга застать врасплох, чтобы поставить ему клизму.

XXIX

Пришло время, и я получил диплом врача. Еще до этого я успел выпустить роман, который, против ожидания, имел успех. Я решил, что будущее мое обеспечено, и, бросив медицину, укатил в Испанию. Было мне тогда двадцать три года, и знал я, по-моему, куда меньше, чем нынешняя молодежь в этом возрасте. Я поселился в Севилье. Отрастил усы, курил филиппинские сигары, учился играть на гитаре, завел широкополую шляпу с плоской тульей, в которой разгуливал по Сьерпес, и мечтал о плаще с подкладкой из красно-зеленого бархата. Однако не купил его, убоившись расхода. Я ездил верхом на лошади, которую дал мне в пользование знакомый. Мне жилось так хорошо, что я не мог уделять безраздельное внимание литературе. В Севилье я собирался прожить год, за это время овладеть испанским языком, потом поехать в Рим, который я знал только как турист, и усовершенствоваться в итальянском, оттуда перебраться в Грецию, где я хотел научиться современному языку, прежде чем браться за древнегреческий, и, наконец, поехать в Каир и там изучить арабский язык. План был

грандиозный, но сейчас я доволен, что не выполнил его. В Рим, я, правда, поехал (и написал там свою первую пьесу), но затем вернулся в Испанию, ибо произошло нечто непредвиденное: влюбился в Севилью, в тамошнюю жизнь, а между прочим (правда, ненадолго) — и в некое юное создание с зелеными глазами и веселой улыбкой, и меня влекло туда неудержимо. Год за годом я возвращался, бродил по тихим белым улицам, слонялся по берегам Гвадалквивира, околачивался в соборе, ходил смотреть на бой быков и ухаживал за хорошенькими испаночками, которые не требовали от меня больше того, что я, при своих скудных средствах, мог им предложить. Изумительно было жить в Севилье в цвете молодости! Свое образование я отложил до более подходящего времени. И в результате «Одиссею» я читал только по-английски, и честолюбивый замысел — прочесть «Сказки тысячи и одной ночи» по-арабски — тоже остался неосуществленным.

Когда английская интеллигенция увлеклась Россией, я вспомнил, что Катон стал изучать греческий язык в восемьдесят лет, и занялся русским. Но к тому времени юношеского пыла во мне поубавилось; я научился читать пьесы Чехова, но дальше этого не пошел, и то немногое, что я тогда знал, давно забылось. Теперь все эти планы кажутся мне не слишком разумными. Важны не слова, а их смысл, и духовный мир человека не станет шире оттого, что он изучит десяток языков. Я знал полиглотов, но не заметил, чтобы они были умнее других людей. Удобно, конечно, путешествуя за границей, быть в состоянии спросить дорогу или заказать обед; и если у той или иной страны есть интересная литература, приятно читать ее в подлиннике. Но в таком объеме изучить язык нетрудно. А пытаться узнать больше — бесполезно. Чтобы научиться в совершенстве говорить на языке чужой страны, чтобы по-настоящему узнать ее людей и ее литературу, нужно посвятить этому всю жизнь. Ибо люди эти (и литература, через которую они себя выражают) состоят не только из совершаемых ими поступков и произносимых ими слов, в общем легко доступных пониманию, но также из унаследованных инстинктов, оттенков чувств, которые они впитали с молоком матери, и врожденных симпатий и антипатий, а их-то иностранцу никогда не постичь до конца. Достаточно трудно узнать своих соотечественников. Мы обманываем себя, особенно мы, англичане, воображая, что знаем жителей других стран. На своем острове мы отделены от остального мира, а общность религии, когда-то делавшая эту изолированность менее заметной, кончилась с Реформацией. Так

стоит ли тратить силы на приобретение знаний, которые все равно останутся поверхностными? Поэтому я и говорю, что углубляться в изучение языков — пустая трата времени. Единственное исключение я допускаю для французского языка. Французский — это общий язык всех образованных людей, и, конечно же, имеет смысл говорить на нем хорошо, чтобы уметь поддержать разговор на любую тему. У Франции великая литература (другие страны, за исключением Англии, имеют скорее великих писателей, чем великую литературу), и вплоть до войны ее влияние сильно ощущалось во всем мире. Читать по-французски так же свободно, как на родном языке, — это отлично. Однако не следует позволять себе слишком хорошо говорить на этом языке. Англичанина, говорящего по-французски в совершенстве, лучше остерегаться: того и гляди, окажется, что это либо шулер, либо атташе какого-нибудь посольства.

XXX

Я никогда не был одержим театром. Я знал драматургов, которые ходили в театр на каждое представление своей пьесы. Они уверяли, что хотят проверить, не разболтался ли спектакль, но я подозреваю, что им просто хотелось еще и еще слушать собственные слова. Для них не было большего удовольствия, чем сидеть в антракте в артистической уборной, глядеть, как гримируется актер, и рассуждать о том, почему такая-то сцена сегодня «не дошла» или, наоборот, особенно удалась. Театральные сплетни были полны для них неиссякаемого интереса. Они любили театр и все, что с ним связано. Они были отравлены запахом кулис.

Ничего похожего я не испытал. Больше всего я люблю театр в его непарадном виде, когда в зрительном зале темно, а голая сцена с декорациями, сдвинутыми к задней стене, освещена только рампой. Я провел много счастливых часов на репетициях; мне нравилась их легкая, товарищеская атмосфера, завтрак на скорую руку в ближайшем ресторанчике в обществе кого-нибудь из актеров, а в четыре часа — чашка крепкого, горького чая с бутербродами, которые приносила уборщица. Я до сих пор помню, до чего удивительно и забавно было впервые услышать, как взрослые люди повторяют фразы, так легко вылившиеся у меня из-под пера. Мне интересно бывало следить, как постепенно волею актера создается роль — от первого прочтения им текста, напечатанного на машинке, до чего-то, похожего на образ,

который я себе представлял. Меня занимали и серьезная дискуссия о том, где именно должен стоять такой-то стул или этажерка, и деспотизм режиссера, и истерика актрисы, недовольной своей мизансценой, и изворотливость старых актеров, норовящих вынести свою сцену поближе к рампе, и беспорядочная болтовня о том о сем. Но венец всего — это генеральная репетиция. В первом ряду партера расположилось несколько женщин. Это портнихи, притихшие, как в церкви, но настроенные весьма деловито; они шепотом обмениваются короткими замечаниями, сопровождая их сдержанными, но выразительными жестами. Вам ясно, что речь идет о длине юбки, о покрое рукава или об отделке на шляпе; и едва опускается занавес, как они, уже набрав в рот булавок, спешат через боковую дверь на сцену. По знаку режиссера занавес поднимается, и вы видите, как актриса на сцене спешит закончить оживленный разговор с двумя строгими дамами в черных платьях.

— Ах, мистер Смит,— кричит она в зал,— я сама знаю, что стеклярус не годится, но мадам Флосс обещала заменить его кружевом.

Дальше в креслах сидят фотографы, администраторы и кассир, матери занятых в пьесе актрис и жены актеров, ваш агент, ваша знакомая девушка да три-четыре старых актера, которым уже лет двадцать не давали ролей. Это — идеальная публика. После каждого акта режиссер оглашает замечания, которые он успел записать у себя в блокноте. Получает нагоняй осветитель сцены — кажется, несложное дело управляться с выключателями, так нет же, и тут умудрился напутать; и автор возмущен его небрежностью, однако готов проявить снисходительность: он почти уверен, что осветитель потому лишь забыл о своих обязанностях, что увлекся пьесой. Иногда какой-нибудь кусок повторяют. Потом устраивают эффектные мизансцены и при вспышках магния фотографы делают снимки. Занавес опускается, сцену готовят к следующему действию, актеры уходят переодеваться. Портнихи исчезают. Старые актеры спешат в бар на углу пропустить стаканчик. Администраторы от нечего делать закуривают папиросы, жены и матери переговариваются вполголоса, агент автора читает спортивную страницу вечерней газеты. Во всем этом есть что-то нереальное и волнующее. Наконец портнихи гуськом возвращаются через железную дверь на свои места, надменно держась поодаль друг от друга, а из-за занавеса высовывается голова помощника режиссера.

— Все готово, мистер Смит,— говорит он.

Хорошо. Начали. Занавес!

Но генеральная репетиция была последней радостью, какую я получал от своих пьес. На премьерах я вначале замирал от страха, потому что они решали мое будущее. К тому времени, когда была поставлена «Леди Фредерик», я успел истратить небольшое наследство, которое получил в руки, достигнув совершеннолетия; прожить на доходы от романов было невозможно. Время от времени мне заказывали рецензии на книги, однажды я уговорил некоего редактора поручить мне отзыв о спектакле, но, видимо, у меня не было способностей к таким вещам; тот же редактор сказал мне, что я не чувствую сцены. Мне казалось, что, если «Леди Фредерик» провалится, для меня останется один путь: на год вернуться в больницу, чтобы освежить свои познания в медицине, а потом наняться врачом на пароход. В то время должность судебного врача не считалась завидной, и врачи, окончившие в Лондоне, редко ее добивались. Позднее, когда я уже пользовался успехом как драматург, я ходил на премьеры, чтобы, напряженно следя за реакцией зрительного зала, проверять по ней, не начал ли я сдавать. Я старался затеряться среди публики. Для зрителей премьеры — это когда более, когда менее интересное времяпрепровождение между легкой закуской в половине восьмого и ужином в одиннадцать; успех или неуспех ее особенно их не трогает. Я старался воображать, что присутствую на премьере не своей пьесы, а чужой, но все равно переживание было не из приятных. Меня не утешал ни смех, которым встречали удачную шутку, ни аплодисменты после понравившегося публике действия. Дело в том, что даже в самые легкие свои пьесы я вкладывал так много себя, что не мог отделаться от смущения, когда они становились достоянием сотен людей. Слова были написаны мною и потому были для меня чем-то сугубо интимным, чем мне претило делиться с первыми встречными. Это дурацкое ощущение не покидало меня, даже когда я смотрел свои пьесы в переводе, сидя в театре как никому не известный зритель. Короче говоря, я вообще не ходил бы смотреть свои пьесы, ни в вечер премьеры, ни в какой другой вечер, если бы не считал нужным проверять их действие на публику, чтобы на этом учиться, как их писать.

XXXI

Путь актера труден. Я говорю не о тех молодых женщинах, которые идут на сцену, потому что у них смазливое личико, и, если бы машинисток подбирали по признаку

красоты, с тем же успехом могли бы работать в любом учреждении; и не о тех молодых людях, которые выбирают театр, потому что у них хорошая фигура и никаких склонностей к чему-либо иному. Это — залетные птицы: через некоторое время женщины выходят замуж, мужчины становятся агентами по продаже вин или берут подряды на внутреннюю отделку квартир. Я говорю об актерах по призванию. У них есть талант и желание работать. А работать нужно упорно и долго, — к тому времени, когда актер поймет, как играть ту или иную роль, он порой уже слишком стар, чтобы ее играть. Его профессия требует бесконечного терпения, несет с собой много разочарований. Бывают тяжкие полосы вынужденного безделья. Успехи редки и проходящи. Награды недостаточны. Актер отдан на милость превратностям судьбы и непостоянству публики. Едва он перестает нравиться, как о нем забывают. И тут уж ему не поможет, что когда-то он был кумиром толпы. Он может спокойно умереть с голоду, толпе теперь все равно. Я всегда помню об этом, и потому мне легко быть снисходительным к кривлянью, капризам и суетным выходкам, которые актер себе позволяет, когда находится на гребне волны. Пусть себе важничает и чудит. Ведь это так ненадолго! И, в конце концов, вся эта самовлюбленность — часть его таланта.

Было время, когда сцену окружал ореол романтики, и все с ней связанное казалось таинственным и влекущим. В цивилизованный мир восемнадцатого столетия актеры вносили элемент фантазии. В «век разума» их беспорядочная жизнь будоражила воображение; героические роли, которые они исполняли, стихи, которые они произносили, заставляли видеть в них высшие существа. По «Вильгельму Мейстеру» Гете — этой замечательной и незаслуженно забытой книге — можно судить, с какой нежностью поэт относился к труппе бродячих актеров — скорее всего, очень посредственных. А в XIX веке актеры указывали путь к спасению от давящей респектабельности индустриальной эры. Легкость нравов, которую приписывала им молва, занимала воображение молодых людей, вынужденных ради заработка корпеть в какой-нибудь конторе. Это были сумасбродные, беззаботные создания в трезвом и осмотрительном мире, и чужая фантазия наделяла их волшебными чарами. У Виктора Гюго в его «Виденном» есть сценка, трогательная по своему скрытому юмору, где благонамеренный маленький обыватель описывает ужин у актрисы, вкладывая в это описание и ужас, и удивление, и немножко зависти к такому беспутству. Раз в жизни он почувствовал,

что ему сам черт не брат. Боже мой, как лилось шампанское, как роскошно была убрана ее квартира, какие тигровые шкуры, какое серебро!

Эта слава померкла. Актеры теперь — положительные, почтенные, обеспеченные люди. Их обижало, что их считают особым племенем, и они решили сделаться такими, как все. Они предстали перед нами без грима, при ярком свете дня и предложили нам самим убедиться, что они играют в гольф и платят налоги, что они — мыслящие мужчины и женщины. По-моему, все это вздор и чепуха.

Я был коротко знаком со многими актерами. Я любил бывать в их обществе. С ними не скучно — они за словом в карман не лезут, умеют рассказать анекдот, превосходно пародируют. Они великодушные, добрые, смелые. Но я никогда не воспринимал их как обыкновенных людей. Никогда не мог по-настоящему с ними сблизиться. Они — как кроссворд, в котором для нужного слова не хватает клеточек. Мне думается, дело здесь в том, что личность их состоит из всех ролей, которые они играют, а в основе ее лежит что-то аморфное, мягкое, податливое, чему можно придать любую форму и любую окраску. Один остроумный писатель высказал предположение, что недаром актеров так долго не разрешали хоронить на кладбищах — совершенно ясно, что у них нет души. Это, конечно, сказано для красного словца. Актеры — очень интересный народ. И писатель, если он искренен, должен признать, что у него есть с ними некоторое сходство: подобно им, он являет собой сочетание несочетаемых свойств. Актер — это все персонажи, которых он может сыграть; писатель — все персонажи, которым он может дать жизнь. Оба воспроизводят чувства, которых — по крайней мере в данную минуту — не испытывают, и, одной своей стороной стоя вне жизни, изображают ее для удовлетворения своего творческого инстинкта. Иллюзорный мир для них действительность, и они дурачат ту самую публику, которая служит им материалом и выступает как их судья. А поскольку иллюзорный мир для них — действительность, они могут считать действительность иллюзией.

XXXII

Думаю, что я начал писать пьесы по той же причине, что и большинство молодых писателей: передавать на бумаге разговор мне казалось легче, чем строить повествование.

Доктор Джонсон еще давно заметил, что выдумывать приключения не в пример труднее, нежели диалоги. Проглядывая старые записные книжки, в которых я, восемнадцати — двадцати лет от роду, набрасывал сцены для задуманных пьес, я вижу, что диалог у меня в общем получался легкий и естественный. Шутки теперь уже не вызывают улыбки, но выражены они теми словами, какие в то время были в ходу. Разговорный язык давался мне сам собой. Впрочем, шуток там мало, и тон их изрядно свирепый. Сюжеты моих пьес были один мрачнее другого, и кончались они сплошным мраком, отчаянием и смертью. В свое первое путешествие по Италии я взял с собой «Привидения» и для отдыха (серьезно я тогда занимался Данте) перевел их с немецкого на английский, чтобы поучиться драматургической технике. Помню, что при всем моем восхищении Ибсеном пастор Мандерс показался мне довольно-таки скучным. В театре «Сент-Джеймс» в то время шла «Вторая миссис Тэнкери»¹.

В последующие два-три года я написал несколько одноактных пьесок и разослал их в театры. Некоторые из них мне так и не вернули, остальные я, разочаровавшись в них, сам уничтожил. В то время, и еще долго после того, неизвестному драматургу было гораздо труднее попасть на сцену, чем теперь. Пьесы шли подолгу, больших денег на постановки не тратили, и основные театры всегда могли рассчитывать на то, что в нужную минуту небольшая группа драматургов, возглавляемая Пинеро и Генри Артуром Джонсом, предложит им новую пьесу. Еще не вышел из моды французский театр, и в Англии были очень популярны французские пьесы в вольных переводах, вернее — в более целомудренных вариантах. Может быть, потому, что «Стачка в Арлингфорде» Джорджа Мура шла в Независимом театре, я забрал в голову, что единственная возможность проникнуть в театр — это составить себе литературное имя. И вот я, забросив на время драматургию, стал писать романы. Читатель волен считать, что такой методичный и деловитый подход был не к лицу молодому автору и свидетельствует скорее о практическом складе ума, нежели о внушенной свыше потребности обогатить мир творениями искусства. Выпустив два или три романа и подготовив к печати сборник рассказов, я сел и написал свою первую многоактную пьесу. Называлась она «Порядочный человек». Я послал ее Форбсу Робертсону, популярному в то

¹ Пьеса Артура Пинеро (1893).

время актеру, по слухам понимавшему толк в искусстве, а месяца через три, когда он мне ее вернул, — Чарлзу Фромену. Тот тоже ее вернул. Я ее переписал и наконец, успев к тому времени выпустить еще два романа, из которых один («Миссис Крэддок») имел большой успех, так что кое-кто уже видел во мне серьезного писателя с будущим, послал ее в Театральное общество. Там ее приняли, и В. Л. Кортни, член комитета, нашел возможным напечатать ее в «Форт-найтли ревью». До этого он опубликовал только одну пьесу — «Облик ночи» миссис Клиффорд, так что это была большая честь.

Поскольку Театральное общество было в то время единственной организацией такого рода, издания его вызывали большой интерес, и критики подошли к моей пьесе не менее серьезно, чем если бы ее поставил какой-нибудь видный театр. Старые рутинеры во главе с Клементом Скоттом разругали ее на все корки; рецензент «Санди таймс» (фамилию его я не запомнил) заявил, что в ней нет ни проблеска сценического таланта. Но критики, не устоявшие перед влиянием Ибсена, сочли ее достойной внимания и писали сочувственно и ободряюще.

Мне уже казалось, что после такого скачка вперед дальнейшее будет сравнительно просто. Однако я вскоре убедился, что не достиг ничего, разве что немного набил себе руку. После двух спектаклей моя пьеса умерла. Имя мое было известно узкому кругу людей, интересовавшихся экспериментальным театром, и я не сомневался, что, если напишу подходящие пьесы, Театральное общество их поставит. Но этого мне было мало. На репетициях я познакомился с теми, кто интересовался Обществом, в частности с Грэнвилем Баркером, игравшим главную роль в моей пьесе. Отношение, которое я там встретил, мне не понравилось, показалось покровительственным и нетерпимым. Грэнвиль Баркер был очень молод; мне самому едва исполнилось двадцать восемь лет, а он, сколько помню, был на год моложе меня. Он был весел, обаятелен, шаловлив и битком набит чужими мыслями. Но в нем чувствовался страх перед жизнью, который он выдавал за презрение к стадности. Презирал он, кажется, все на свете. Ему не хватало какого-то внутреннего заряда. Мне казалось, что в искусстве нужно быть сильнее, энергичнее, грубее, выносливее, крепче. Он написал пьесу «Замужество Анны Лит», на мой взгляд малокровную и жеманную. Я же любил жизнь и хотел ею наслаждаться. Я был твердо намерен взять от нее все, что можно. Одобрения кучки

интеллигентов мне было недостаточно. К тому же я не был в них уверен: когда Театральное общество, неизвестно почему, поставило однажды глупый и пошлый фарс, я сам видел, как члены Общества хохотали до колик. Я сильно подозревал, что в их интересе к серьезной драматургии много напускного. Мне нужна была не такая аудитория, но широкая публика. К тому же я был беден. Жить в мансарде и питаться черствым хлебом не входило в мои планы. Я уже обнаружил, что деньги — это некое шестое чувство, без которого остальные пять неполноценны.

Во время репетиций «Порядочного человека» я отметил, что легкий флирт в первом акте звучит забавно, и тогда же решил, что могу написать комедию. Теперь я за нее принялся. Я назвал ее «Хлебы и рыбы». Герой ее — честолюбивый, занятый мирскими помыслами священник, который по ходу сюжета ухаживает за богатой вдовой, с помощью интриг пытается получить сан епископа и в конце концов женится на богатой и красивой девушке. Все театры как один от меня отмахнулись: ставить пьесу, в которой духовное лицо выведено в смешном виде? И думать нечего! Тогда я пришел к выводу, что нужно написать комедию с интересной женской ролью, чтобы актриса, если захочет, сама уговорила антрепренера ее поставить. Я поразмыслил о том, какая именно роль может пригнуться премьерше, и написал «Леди Фредерик». Но в самой эффектной сцене, той, что впоследствии обеспечила успех всей пьесы, героиня, чтобы отвадить молодого поклонника, принимает его, сидя у своего туалетного стола, без грима, с распущенными волосами. В те далекие времена не все женщины красились и очень многие носили накладки. Но ни одна актриса не соглашалась показаться в таком виде перед публикой, и опять я во всех театрах получил отказ. Тогда я решил сочинить такую пьесу, в которой не к чему будет придрачиться. Я написал «Миссис Дот». Ее постигла та же участь. Антрепренеры утверждали, что пьеса слишком поверхностна, что в ней мало действия, а мисс Мэри Мур, популярная актриса того времени, предложила мне для большей занимательности ввести в сюжет кражу со взломом. Я стал склоняться к мысли, что никогда не сумею написать пьесу, в которой известной актрисе захотелось бы сыграть, и попытал счастья с мужской ролью. Я написал пьесу «Джек Стро».

Я пребывал в уверенности, что мой скромный успех в Театральном обществе расположит ко мне руководителей театров. К сожалению, этого не случилось. Скорее мои связи с Обществом мне повредили — кой у кого создалось

впечатление, что я могу писать только мрачные и недоходные пьесы. Назвать мои комедии мрачными никто не решался, но антрепренеры смутно чувствовали в них что-то неприятное и были убеждены, что они не дадут сборов. По всей вероятности, я бы скоро отчаялся — каждая возвращенная рукопись всегда действовала на меня угнетающе; но, к счастью для меня, Голдинг Брайт решил, что мои пьесы будут иметь сбыт, и занялся ими. Он стал носить их из театра в театр, и наконец в 1907 году, после десятилетнего ожидания и когда у меня уже было написано шесть больших пьес, Придворный театр поставил «Леди Фредерик». Спустя три месяца «Миссис Дот» шла в театре «Комеди», а «Джек Стро» — в «Водевиле». В июне Льюис Уоллер поставил в театре «Лирик» пьесу «Исследователь», которую я написал сейчас же после «Порядочного человека». Я достиг своей цели.

XXXIII

Первые три из этих пьес шли с успехом. «Исследователь» едва не провалился. Много денег я не заработал, потому что в те дни и сборы были меньше, и отчисления я получал очень скромные, но, во всяком случае, пора бедности миновала, и я был спокоен за свой завтрашний день. То обстоятельство, что в Лондоне одновременно шли четыре мои пьесы, создало мне известность, и в «Панче» появилась карикатура Бернарда Партриджа, на которой был изображен Шекспир, изнывающий от зависти перед афишами с моей фамилией. Меня фотографировали и интервьюировали. Видные люди искали знакомства со мной. Это был успех сенсационный и неожиданный. Меня он не столько взволновал, сколько успокоил. Я, видимо, органически не способен удивляться. Во время моих путешествий самые любопытные картины, самые непривычные условия казались мне в порядке вещей, и мне приходилось нарочно напоминать себе, до чего они необыкновенны; так и теперь я воспринял весь этот шум как нечто вполне естественное. Однажды вечером, когда я обедал у себя в клубе, за соседним столиком оказался другой член клуба, не знакомый со мною, и его гость; они шли смотреть одну из моих пьес, и разговор зашел обо мне. Узнав, что я состою здесь членом, гость спросил:

— А вы его знаете? Он теперь небось заважничал?

— Конечно, знаю, — отвечал мой собрат по клубу. — Пыжится, как индюк, вот-вот лопнет.

Это было несправедливо. Свой успех я принимал как должное. Он забавлял меня, но не кружил мне голову. Единственная реакция, им вызванная, которую я могу припомнить,— это мысль, возникшая у меня, когда я шел как-то вечером по Пэнтон-стрит. Проходя мимо театра «Комеди», я случайно взглянул вверх и увидел облака, освещенные заходящим солнцем. Я остановился полюбоваться этим чудесным зрелищем и подумал: «Вот хорошо, я могу смотреть на закат и не думать о том, как описать его». В то время я воображал, что не напишу больше ни одного романа, а на всю жизнь посвящу себя театру.

Публика с восторгом принимала мои пьесы не только в Англии и в Америке, но и на континенте. Однако критики отнюдь не были единодушны. Общеизвестные газеты хвалили пьесы за остроумие, веселость и сценичность, но поругивали за цинизм; более серьезные критики были к ним беспощадны. Они называли их дешевыми, пошлыми, говорили мне, что я продал душу маммоне. А интеллигенция, ранее числившая меня своим скромным, но уважаемым членом, не только от меня отвернулась, что было бы достаточно плохо, но низвергла меня в адскую бездну как нового Люцифера. Это меня озадачило и слегка обидело, но я стойко нес свой позор, ибо знал, что до конца еще далеко. Я наметил себе определенную цель и достиг ее единственными средствами, какие казались мне возможными; раз люди этого не понимали, мне оставалось только пожалеть плечами. Если бы я продолжал писать такие горькие пьесы, как «Порядочный человек», или такие злые, как «Хлебы и рыбы», мне бы нипочем не дали возможности позднее поставить некоторые пьесы, заслужившие похвалу даже самых строгих критиков. Меня обвиняли в том, что я подлаживаюсь к изменным вкусам публики; это не совсем верно. В те годы я был полон жизнерадостности и озорного веселья; я умел оценить смешную ситуацию и без труда писал забавный диалог. Было во мне и кое-что другое, но это я до времени приберегал, а в комедии вкладывал только те свои свойства, которые могли послужить моей цели. Комедии должны были нравиться, и они нравились.

Я не хотел успокоиться на мимолетном успехе и следующие две пьесы написал, чтобы сильнее завладеть симпатиями публики. Эти пьесы были немножко смелее, и хотя сейчас показались бы совершенно невинными, чопорные люди объявили, что они непристойны. Одна из них, «Пене-лопа», видимо, не была лишена достоинств — по возобно-

лении в Берлине через двадцать лет она в течение целого сезона шла при переполненном зале.

Теперь я овладел сценической техникой настолько, насколько это вообще было в моих возможностях, и позади у меня был ряд непрерывных успехов, если не считать «Исследователя», которого публика не приняла по вполне понятным мне причинам. Со временем я собирался заняться более серьезной работой. Я хотел проверить, справлюсь ли с более сложным сюжетом и что выйдет из задуманных мною небольших технических экспериментов, на мой взгляд многообещающих, и как далеко я могу зайти с публикой. Я написал пьесы «Помещики» и «Десятый человек», а затем извлек на свет «Хлебы и рыбы», пролежавшие у меня в столе больше десяти лет. Ни одна из этих пьес не провалилась, но ни одна не имела шумного успеха. Театры на них не разорились и не разбогатели. «Хлебы и рыбы» продержались на сцене недолго, потому что зрителей в то время смущало, если духовенство изображалось в смешном виде. Пьеса эта написана несколько развязно, это скорее фарс, чем комедия, но некоторые сцены в ней забавны. С остальными двумя пьесами я просчитался. В одной из них изображен узкий, ограниченный мирок мелких землевладельцев, в другой — мир политический и финансовый; с обоими этими кругами общества я был неплохо знаком. Но я помнил, что мне нужно заинтересовать, увлечь, развеселить публику, и — переборщил. В результате пьесы получились не вполне реалистические и не вполне условные. Половинчатость моя обернулась против меня же. Публике пьесы показались неприятными и малоправдоподобными. Два года я отдыхал, после чего написал «Землю обетованную». Она шла с аншлагом несколько месяцев, а потом началась война. За семь лет на сцене было поставлено десять моих пьес. Интеллигенция вынесла мне свой приговор и теперь игнорировала меня, но расположение публики было завоевано прочно.

XXXIV

В годы войны у меня иногда выдавалось свободное время, и я продолжал писать пьесы; работа, которой я был занят, заполняла лишь часть дня, а писание пьес было удобным средством отвлечь внимание от основной моей деятельности; позднее, когда я заболел туберкулезом и надолго слег, это было приятным времяпрепровождением.

Быстро, одну за другой, я написал целый ряд пьес, начиная с «Тех, кто выше нас» в 1915 году и до «Верной жены» — в 1927-м.

По большей части это комедии. Написаны они в манере, которая расцвела пышным цветом во время Реставрации, была подхвачена Голдсмитом и Шериданом и, очевидно, поскольку традиция оказалась такой прочной, имеет что-то особо притягательное для английского характера. Те, кто не любит этого рода комедию, называют ее искусственной, ошибочно воображая, что такой эпитет содержит в себе осуждение. В основе этой драматургии лежит не действие, а разговор. Со снисходительным цинизмом она рисует нравы, сумасбродства и пороки светского общества. Она изящна, порой сентиментальна, ибо это тоже в английском характере, и не вполне реалистична. Она не проповедует; иногда автор под занавес выводит мораль, но мимоходом, словно предлагая вам не придавать ей особого значения. Когда непоседливый мосье де Вольтер явился в гости к Конгриву, чтобы побеседовать с ним о современной драматургии, мистер Конгрив заметил, что он не столько драматург, сколько дворянин. Интервьюер возразил: «Будь вы всего лишь дворянином, я бы не стал тратить время на поездку к вам». Мосье де Вольтер, несомненно, был самым остроумным человеком своего времени, но в данном случае он проявил недостаток понимания. Слова мистера Конгрива имеют глубокий смысл. Они показывают, что он прекрасно сознавал, что автор комедий должен подходить как комедиограф в первую очередь к самому себе.

XXXV

Постепенно я решил для себя многие вопросы, связанные с драматургией.

Один из выводов, к которым я пришел, заключался в том, что пьеса, написанная в прозе, устаревает почти так же быстро, как газета. Требования, предъявляемые к драматургу и к журналисту, во многом сходны. Это — зоркость, умение найти эффектную опорную точку и живость стиля. Помимо этого драматургу нужно еще некое специфическое качество. Никто еще, кажется, не сумел определить, в чем оно состоит. Выучиться ему нельзя. Оно может наличествовать и без образования и без культуры. Это — способность создавать текст, который доходит до зрительного зала, и строить сюжет, так сказать, стереоскопически, чтобы

он развертывался на глазах у зрителей. Здесь нет ничего общего с литературным талантом, как явствует из того, что попытки даже самых видных романистов писать для театра обычно кончались полной неудачей. Подобно умению подбирать по слуху, эта способность не свидетельствует о высоком духовном уровне. Но если человек ее лишен, то, как ни глубоки его идеи, как ни оригинальна тема, как ни тонко обрисованы характеры, пьесы он не напишет.

О технологии драматургического ремесла написано немало книг. Большую часть их я прочел с интересом. Но лучший способ выучиться делать пьесы — это посмотреть собственную пьесу на сцене. Тут вы постигаете, как строить реплики, которые актерам легко произносить, и, если у вас есть слух, до какого предела можно ритмизировать фразу, не теряя разговорной интонации. Вы поймете, какого рода слова и какого рода сцены дают наибольший эффект. Но секрет писания пьес, как мне кажется, укладывается в две заповеди: не отклоняйтесь от главного и сокращайте где только возможно. Первое требует логического склада ума. Им обладают немногие. Одна мысль тянет за собой другую; очень заманчиво бывает ее развить, даже если она и не имеет прямого отношения к вашей теме. Человеку свойственно отвлекаться. Но драматург должен страшиться этого больше, чем праведник страшится греха, ибо грех можно простить, тогда как отступления драматурга караются смертью. Драматург должен направлять интерес публики. В романе этот принцип тоже немаловажен, но там самый объем вещи допускает больший размах, и, подобно тому как зло, по теории идеалистов, в абсолюте превращается в совершенное добро, некоторые отступления входят неотъемлемой частью в развитие главной темы. (Отличный пример тому — предыстория старца Зосимы в «Братьях Карамазовых».) Вероятно, следует объяснить, что я разумею под словами «направлять интерес». Это — метод, с помощью которого автор заставляет вас заинтересоваться судьбой определенных людей, поставленных в определенные условия, и поддерживает в вас этот интерес до самой развязки. Стоит ему позволить вам отвлечься от главной линии, и он уже навряд ли сумеет снова овладеть вашим вниманием. Человеческая психология так устроена, что зритель заинтересовывается теми персонажами, которых драматург выводит в самом начале пьесы, так что, если в дальнейшем интерес переключается на тех, кто появился на сцене позднее, он испытывает чувство разочарования. Умелый драматург дает экспозицию как можно раньше, и,

если по композиционным соображениям главные действующие лица появляются не сразу, внимание зрителей уже должно быть приковано к ним разговором тех, кто находится на сцене при поднятии занавеса, так что задержка только повышает напряжение, с каким их ждут. Никто не следовал этому методу более неукоснительно, чем весьма сведущий в своем деле драматург Вильям Шекспир.

Именно потому, что направлять интерес — нелегкая задача, особенно трудно писать то, что принято называть пьесами настроения. (Наиболее известны из них, разумеется, пьесы Чехова.) Поскольку интерес здесь сосредоточен не на двух или трех персонажах, а на целой группе и поскольку тема пьесы — их отношения друг с другом и с их средой, автору приходится все время бороться с естественной склонностью публики уделять все свое внимание одному или двум персонажам за счет остальных. При таком распылении интереса есть опасность, что ни одного из персонажей зритель не примет близко к сердцу, а поскольку автор должен постоянно остерегаться, как бы одна линия в пьесе не перевесила и не заслонила остальных, все эпизоды звучат приглушенно, в минорной тональности. Тут очень трудно не дать зрителям заскучать; и оттого, что ни один характер, ни один эпизод не оставил у них яркого впечатления, они зачастую уносят из театра чувство растерянности. Опыт показал, что такие пьесы можно смотреть только в безупречном исполнении.

Перехожу ко второй своей заповеди. Самую блестящую сцену, самую остроумную реплику, самую глубокомысленную сентенцию драматург должен изъять, коль скоро она не обязательна для развития пьесы. И здесь ему будет легче, если он литератор в широком смысле этого слова. Тому, кто сочиняет только пьесы, кажется чудом, что он вообще может написать какие-то слова, и, после того как они попали на бумагу из собственной его головы, а может, и прямо с неба, они для него священны. Ни одним из них он не хочет пожертвовать. Я помню, как однажды Генри Артур Джонс показал мне свою рукопись и как я удивился, когда увидел, что простой вопрос «Вам чаю с сахаром?» был у него написан в трех разных вариантах. Не удивительно, что люди, которым слова даются с таким трудом, придают им чрезмерное значение. Литератор привык писать; он научился выражать свои мысли без натуги и потому сокращает без боли сердечной. Разумеется, у каждого писателя время от времени бывают находки, которые кажутся ему столь удачными, что отказываться от них для него горше, чем дать

выдернуть себе зуб. Вот тут-то особенно важно, чтобы у него была выжжена в сердце заповедь: «Где только возможно, сокращай».

В наши дни это особенно необходимо, потому что публика сейчас более сообразительна и более нетерпелива, чем когда-либо в истории театра. Во все времена пьесы писались так, как нравилось публике. В прошлом зрители, видимо, были согласны высиживать старательно разработанные сцены и выслушивать монологи, в которых персонажи подробно о себе рассказывали. Сейчас — возможно, в связи с появлением кино — все это изменилось. Зрители, особенно в странах английского языка, научились теперь сразу улавливать смысл каждой сцены, а уловив его, хотят перейти к следующей; они схватывают суть тирады по нескольким словам, после чего внимание их резко ослабевает. Автору приходится обуздывать в себе естественное желание выжать все возможности из интересной сцены или дать своим персонажам полностью себя выразить. Достаточно намекать. Он будет понят. Диалог должен быть чем-то вроде устной стенографии. Нужно сокращать и сокращать, пока не будет достигнута максимальная концентрация.

XXXVI

Спектакль — это результат сотрудничества между автором, актером, публикой и — в наши дни нельзя этого не добавить — режиссером. Для начала поговорим о публике. Все лучшие драматурги равнялись на публику и, хотя говорили о ней чаще с презрением, чем доброжелательно, прекрасно знали, что они от нее зависят. Деньги платит публика, и если представление ей не нравится, она на него не ходит. Без публики пьеса просто не существует. Самое определение слова «пьеса» гласит: «Сочинение в форме диалога, разыгрываемое актерами перед тем или иным числом зрителей». Пьеса, предназначенная для чтения, — это лишь роман в форме диалога, в котором автор по каким-то причинам (для большинства из нас непонятным) отказался от преимуществ повествовательной формы. Пьеса, не обращенная к публике, может иметь свои достоинства, но назвать ее пьесой будет так же верно, как назвать мула лошадью. (Увы, все мы, драматурги, время от времени производим на свет этакие сомнительные гибриды.) Всякий, кто имел дело с театром, знает, как своеобразно воздействует на пьесу публика; бывает, что на утреннике и на

вечернем спектакле зрители видят две совершенно разные пьесы. Известно, что норвежцы воспринимают пьесы Ибсена как веселые комедии; английский зритель никогда не находил в этих тяжелых драмах повода для смеха. Реакция публики, ее заинтересованность, ее смех входят составной частью в действие пьесы. Они создают пьесу так же, как мы с помощью своих чувств создаем из объективных данных красоту солнечного восхода и безмятежность моря. Публика — один из важных актеров в пьесе, и если она не желает исполнять свою роль, вся пьеса разваливается, а драматург оказывается в положении теннисиста, который остался один на корте, так что ему некому послать мяч.

Но эта самая публика — весьма курьезное существо. Она скорее понятлива, чем умна. Умственный уровень ее ниже, чем у наиболее интеллектуальных индивидуумов, ее составляющих. Если расположить их по нисходящей, в алфавитном порядке от А до Z, так чтобы Z обозначал ноль, то есть истеричную продавщицу из магазина, то средний умственный уровень публики придется где-нибудь возле буквы О. Публика легко поддается внушению: одни смеются шутке, которой не поняли, потому что ей смеются другие. Она эмоциональна, но инстинктивно противится тому, чтобы ее эмоции ворошили, и всегда рада отделаться смешком. Она сентиментальна, но признает сентиментальность только своей марки: так, в Англии она всегда готова расчувствоваться по поводу святости домашнего очага, но в любви сына к матери видит нечто скорее смехотворное. Она легко поступается вероятностью, если ситуация ее интересует, — черта, которой широко пользовался Шекспир; но шарахается от недостоверности. Отдельные люди знают, что они сплошь и рядом действуют импульсивно, но публика требует, чтобы каждый поступок был убедительно обоснован. Ее моральный критерий — это моральный критерий толпы, и ее шокируют отношения, которые люди, ее составляющие, порознь восприняли бы совершенно спокойно. Думает она не головой, а солнечным сплетением. Она быстро пресыщается и начинает скучать. Она любит новое, но лишь тогда, когда оно соответствует старым понятиям, когда оно волнуется, но не тревожит. Она любит мысли при условии, что они облечены в образы, только мысли эти должны быть такие, какие ей самой приходили в голову, но по недостатку смелости остались невысказанными. Она не примет участия в игре, если сочтет себя оскорбленной или обиженной. Превыше всего она хочет, чтобы ее убедили, будто иллюзия есть действительность.

В основе своей публика никогда не меняется, но в различные периоды и в различных странах одновременно она не одинаково легковерна. Драматургия рисует современные нравы и обычаи, в свою очередь воздействуя на них, и, по мере того как они изменяются, понемножку меняются и темы пьес, и внешние их признаки. Так, например, с изобретением телефона иные сцены оказались ненужными, темп убыстрился и стало возможно обходиться без некоторых несуразностей. Правдоподобие — фактор непостоянный. Это попросту то, во что публика согласна верить. Зачастую это не поддается объяснению. В наше время люди теряют компрометирующие их письма и случайно подслушивают разговоры, не предназначенные для их ушей, не чаще и не реже, чем при Елизавете, и отвергать такие инциденты как неправдоподобные — простая условность. Гораздо важнее то, что со сменой цивилизации мы сами изменились внутренне, а поэтому некоторые темы, излюбленные драматургами, вышли из употребления. Мы стали менее мстительны, и сейчас пьеса, посвященная мести, едва ли прозвучит правдиво. Может быть, потому, что страсти наши оскудели, может быть, потому, что в наши тупые головы наконец-то проникло учение Христа, мы считаем месть чем-то постыдным. Однажды я высказал мысль, что эмансипация женщины и обретенная ею сексуальная свобода так сильно изменили взгляд мужчин на необходимость целомудрия, что ревность отныне может быть темой не трагедии, а разве что комедии; но эта мысль вызвала такой взрыв негодования, что я предпочитаю не развивать ее.

XXXVII

Я набросал этот портрет публики потому, что характер публики — самая серьезная из условностей, связывающих драматурга. В любой области искусства художник вынужден считаться с определенными условностями, причем бывает, что из-за этих условностей данный вид искусства отодвигается в разряд второстепенных. В XVIII веке поэтическая условность гласила, что изъявление восторгов предосудительно и что воображение следует обуздывать рассудком; в результате лирика у нас отошла на второй план. Драматург вынужден учитывать то обстоятельство, что средний умственный уровень публики намного ниже, чем у самых умных зрителей, взятых в отдельности, и этим, на мой взгляд, обусловлено, что пьеса в прозе не может быть

первоклассным произведением искусства. Неоднократно отмечалось, что в плане интеллектуальном драматургия на тридцать лет отстает от жизни, и умные люди, ссылаясь на ее оскудение, почти перестали ходить в театр. Мне представляется, что, когда умные люди требуют от пьесы глубоких мыслей, они проявляют меньше ума, чем можно было бы ожидать. Мысли — частное дело каждого. Их порождает разум. Они зависят от умственных способностей человека и от того, насколько он образован. Они передаются от интеллекта, в котором возникли, тому интеллекту, который способен их воспринять, и если верно, что «кошке игрушки — мышке слезки», тем более верно, что мысль, представляющаяся одному человеку глубокой и новой, для другого — прописная истина. Выше я осмелился высказать мнение, что если расположить зрителей в алфавитном порядке, взяв за А, скажем, критика из литературного отдела «Таймс», а за Z — девицу, которая продает сласти в лавчонке близ Тоттенхем-Корт-роуд, то средний их умственный уровень придется где-то возле буквы О. Так возможно ли вложить в пьесу такие интересные мысли, чтобы и критик из «Таймс» перестал клевать носом в своем кресле, и продавщица на галерке позабыла о молодом человеке, который держит ее за руку? Когда они слиты в единое целое, называемое публикой, на них действуют только самые обыденные, самые элементарные мысли, больше приближающиеся к чувствам, те самые мысли, что лежат в основе поэзии: любовь, смерть, судьба человека. Не всякий драматург может сказать на эти темы что-нибудь такое, что уже не говорилось бы тысячи раз; великие истины слишком важны, чтобы быть новыми.

Кроме того, мысли на дороге не валяются, новые мысли появляются лишь у очень немногих людей в каждом поколении. И трудно предположить, что драматург, которому посчастливилось родиться со способностью доносить свои пьесы до зрительного зала, окажется, кроме того, оригинальным мыслителем. Он не был бы драматургом, если бы ум его не работал в сфере конкретного. Он зорко подмечает отдельные случаи; нет смысла ожидать от него умения обобщать. Он может быть склонен к размышлениям, может интересоваться проблемами своего времени, но от этого еще далеко до творческого мышления. Возможно, было бы неплохо, если бы драматурги были философами, но шансов на это у них не больше, чем у королей. В наше время среди драматургов есть только два выдающихся мыслителя — Ибсен и Шоу. Оба они творили в подходящее время. Появле-

ние Ибсена совпало с движением за освобождение женщин от домашнего рабства, в котором они так долго пребывали; появление Шоу — с бунтом молодежи против сковывающих ее условностей викторианской эпохи. У обоих было сколько угодно сюжетов, новых для театра и поддающихся эффектной разработке. Шоу отличали качества, нужные всякому драматургу: бьющая через край живость, бесшабашный юмор, остроумие и бездна веселой выдумки. Ибсену, как известно, выдумки не хватало; одни и те же персонажи снова и снова появляются у него под разными именами, интрига лишь слегка варьируется от пьесы к пьесе. Не будет грубым преувеличением сказать, что единственный его сюжетный ход — это неожиданное появление незнакомца, который входит в душную комнату и распахивает окна; в результате люди, сидевшие в комнате, простужаются, и все кончается как нельзя более несчастливо. Разобравшись в психологическом содержании того, что могли нам предложить оба эти автора, каждый мало-мальски образованный человек убедится, что оно сводится к обычному культурному багажу того времени. Идеи Шоу были выражены необычайно живо. Но поражали они только потому, что интеллектуальный уровень публики был очень невысок. Сейчас они уже не поражают; более того, молодежь склонна видеть в них устаревшую буффонаду. Идеи губельны в драматургии потому, что, если они приемлемы, их принимают, а это убивает пьесу, которая способствовала их распространению. В самом деле, нет ничего скучнее, как, сидя в театре, выслушивать изложение идей, с которыми вы заранее согласны. Сейчас, когда право женщины на собственную личность общепризнано, невозможно смотреть «Кукольный дом» без чувства досады. Тот, кто пишет пьесы идей, сам себе роет яму. Пьеса и без того вещь достаточно эфемерная, потому что она должна быть оформлена согласно сегодняшней моде, а моды меняются, так что пьеса быстро теряет одну из своих привлекательных черт — злободневность; так разве не жаль делать ее еще более эфемерной, основывая ее на идеях, которые послезавтра утратят всякий интерес! Говоря об эфемерности, я, разумеется, не имею в виду пьесы, написанные в стихах; поэзия — величайшее и благороднейшее из искусств — сообщает собственную жизнь своему скромному партнеру. Я имею в виду пьесы в прозе. Только ими и занимаются наши современные театры. Я не могу припомнить ни одной серьезной пьесы в прозе, которая пережила бы породившее ее поколение. Несколькими комедий числят свое спорадическое существование

двумя-тремя веками. Время от времени их возобновляют, если видный актер прельстится знаменитой ролью или антрепренер с горя решит поставить пьесу, за которую не нужно платить авторских. Но это — музейные экспонаты. Публика смеется их остроумию из вежливости, а фарсовым сценам — от смущения. Внимание ее не захвачено, чувства молчат. Она не верит, а раз так — гипноз сцены на нее не подействует.

Но если пьеса по природе своей эфемерна, драматург вправе спросить: а почему ему не смотреть на себя как на журналиста (журналиста высшей марки, из тех, что сотрудничают в еженедельниках) и не писать пьес на современные темы, политические и социальные? Идеи его будут не более и не менее оригинальны, чем идеи серьезных молодых людей, которые пишут для этих журналов. Они вполне могут оказаться интереснее; а если они устареют к тому времени, как пьеса сойдет со сцены, — что же из этого? Ведь пьеса все равно умерла. Ответ на это один: на здоровье, если только это ему удастся и если он считает, что это стоящее занятие. Но следует его предупредить, что критики ему спасибо не скажут. Ибо хотя они громогласно требуют идейных пьес, но, получив такую пьесу, фыркают на нее, если идеи им знакомы, скромно считая, что то, что известно им, уже стало всеобщим достоянием; если же идеи им незнакомы, объявляют их вздором и обрушиваются на автора. Даже всеми признанный Шоу не избежал этой дилеммы.

Для постановки пьес, которые могли бы привлечь людей, презирающих коммерческий театр, основываются разные общества. Они влачат жалкое существование. Интеллигенцию не заманишь на эти спектакли, в лучшем случае она желает их смотреть бесплатно. Есть немало драматургов, проводящих всю жизнь в писании пьес, которые ставят только такие общества. Они пытаются идти против законов драматургии: с той минуты, как определенное число людей собирается в зрительном зале, эти люди становятся публикой и — даже если их средний умственный уровень выше обычного — реагируют так же, как всякая публика. Ими движет не столько разум, сколько чувства; они требуют не рассуждений, а действия. (Я, разумеется, имею в виду не только физическое действие. С точки зрения театра персонаж, который говорит «у меня разболелась голова», действует в не меньшей мере, чем тот, который падает с колокольни.) Когда подобные пьесы проваливаются, авторы утверждают, что виной всему публика, не сумевшая их

оценить. Едва ли это верно. Их пьесы проваливаются потому, что они не сценичны. Не следует полагать, будто коммерческие пьесы имеют успех потому, что они плохи. Сюжет их может быть затаскан, диалог банален, характеры примитивны, и все же они имеют успех — потому что обладают одним пусть дешевым, но специфическим достоинством: они увлекают зрителей своей театральностью. Впрочем, у коммерческой пьесы могут быть и другие достоинства, о чем свидетельствует драматургия Лопе де Вега, Шекспира и Мольера.

XXXVIII

О «пьесах идей» я заговорил потому, что именно спросом на такого рода пьесы объясняется, на мой взгляд, прискорбный упадок нашего театра. Критики требуют их, громко и упорно. Но критик — худший судья пьесы. Подумайте сами: ведь пьесы воспринимает некое собирательное существо — публика; эмоция, которой зрители заражаются друг от друга, весьма существенна для драматурга, ему как раз и требуется эпидемия; он должен увлечь зрителей так, чтобы они стали инструментом, на котором он мог бы играть, и реакция их — резонанс, тон, чувство — становится частью спектакля. Но критик приходит в театр не чувствовать, а судить. Его дело — уберечься от заразы, которой охвачены остальные, и сохранить самообладание. Он должен оставаться холодным и рассудительным. Боже его упаси слиться с публикой! Его дело — не играть свою роль в спектакле, но наблюдать его со стороны. В результате он видит не ту пьесу, которую видят рядовые зрители, потому что в отличие от них он сам в ней не участвует. А раз так — вполне понятно, что он предъявляет к пьесе иные требования, чем публика. Но выполнять его требования бессмысленно. Пьесы пишутся не для критиков. Вернее, так не должно быть. Но драматурги — чувствительные создания, и когда им говорят, что их пьесы — издевательство над взрослым человеком, это их огорчает. Им хочется сделать как лучше, и вот молодые, ищущие драматурги, этикие невинные души, садятся писать пьесы с идеями. В том, что это возможно и даже приносит славу и богатство, их убеждает пример Бернарда Шоу.

Влияние Шоу на современный английский театр оказалось поистине разрушительным. Пьесы его, так же как и пьесы Ибсена, не всегда нравились публике, но после них

другие, написанные по старым канонам, нравились ей еще меньше. У Шоу появились последователи, пытавшиеся идти тем же путем, но практика показала, что это невозможно без его огромного таланта. Самым талантливым из учеников Шоу был Грэнвиль Баркер. Как видно по многим эпизодам в его пьесах, у него были задатки очень хорошего драматурга; у него было чувство сцены, умение строить легкий, естественный и забавный диалог, создавать эффектные характеры. Под влиянием Шоу он стал придавать большое значение идеям, достаточно банальным, и возвел присущую ему рассудочность в некую добродетель. Если бы ему не внушили, что зрители — дураки, с которыми нужно действовать не лаской, а таской, он обычным способом — пробуя и ошибаясь — научился бы писать лучше и, возможно, обогатил бы английскую драматургию рядом превосходных общедоступных пьес. Что касается более мелких последователей Шоу, то они лишь копировали его недостатки. Пьесы Шоу пользуются успехом не потому, что это драматургия идей, а потому что это настоящая драматургия. Но Шоу неподражаем. Самобытность его обусловлена некоей особенностью, присущей, конечно, не ему одному, но до него не находившей своего выражения в драматургии. Англичане, каковы бы они ни были во времена Елизаветы, сейчас — не поклонники любви. Любовь у них скорее сентиментальная, чем страстная. Они, разумеется, достаточно сексуальны для продолжения рода, но не могут побороть инстинктивное отвращение к половому акту. В любви они более склонны видеть привязанность или доброжелательство, чем страсть. Они с одобрением принимают сублимации любви, описанные в ученых книгах, но откровенное ее проявление встречают либо брезгливой гримасой, либо смехом. Английский — единственный современный язык, для которого потребовалось позаимствовать из латыни слово с пренебрежительным оттенком (*ixhigious*), означающее нежную любовь мужа к жене. Всепоглощающая любовь кажется англичанину недостойной. Во Франции к человеку, загубившему свою жизнь из-за женщин, относятся с сочувствием и восхищением — игра, мол, стоила свеч, — а сам герой даже слегка гордится этим; в Англии его сочли бы, и он сам себя счел бы, последним болваном. Вот почему «Антоний и Клеопатра» — наименее популярная из трагедий Шекспира. Английские зрители всегда чувствовали, что отказаться от империи ради женщины — это несерьезно. Да что там, не будь сюжет пьесы основан на всем известной легенде, они в один голос стали бы утверждать, что этого не было.

Вот почему зрители, вынужденные годами смотреть пьесы, где весь сюжет строился на любви, но при этом инстинктивно чувствовавшие, что любовь — это, может быть, и не плохо, однако не так существенно, как представляется драматургу, поскольку в жизни ведь есть и политика, и гольф, и продвижение по службе, и мало ли что еще, со вздохом облегчения приветствовали драматурга, изображавшего любовь как скучное, второстепенное дело, как средство наспех удовлетворить мимолетное желание, обычно ведущее к малоприятным последствиям. Такое отношение к любви, выраженное, как и подобает для театра, с известным преувеличением (не следует забывать, что Шоу — на редкость искусный драматург), было достаточно жизненным, чтобы поразить умы. Оно отвечало глубоко укоренившемуся пуританству англосаксов. Но хотя англичане не поклоняются любви, они сентиментальны и эмоциональны, и они чувствовали, что им показывают правду, но не всю правду. Когда другие авторы стали на позицию Шоу — не потому, что это было, как у их учителя, естественным самовыражением большой личности, а потому, что самая позиция казалась оригинальной и эффектной, — сразу выявилась ее односторонность, и стало скучно. Автор показывает вам свой личный мир, и, если этот мир вас интересует, ему обеспечено ваше внимание. Но едва ли вам интересно будет знакомиться с ним из вторых рук. Нет смысла повторять то, что уже сказал Шоу, и сказал превосходно.

XXXIX

Мне кажется, что драматургия свернула с правильного пути, когда в погоне за жизнеподобием отказалась от стихотворной формы. В стихах заключена специфическая сила воздействия — каждый может убедиться в этом по тому волнению, какое вызывает в нем тирада из трагедии Расина или любой шекспировский шедевр. И дело тут не в смысле, а в эмоциональной силе ритмической речи. Мало того, стихи облачают содержание в условную форму, которая повышает эстетическое воздействие. Они могут поднять драму на такой уровень красоты, о каком прозе не приходится и мечтать. Как бы ни восхищали нас «Дикая утка»¹, «Как важно быть серьезным»², «Человек и сверх-

¹ Драма Генрика Ибсена (1884).

² Комедия Оскара Уайльда (1895).

человек»¹, мы не назовем их прекрасными в истинном смысле этого слова. Но главная ценность стихов заключается в том, что они освобождают пьесу от трезвой реальности. Они на какую-то ступень отдалают ее от жизни и тем облегчают публике задачу настроиться на максимально восприимчивый лад по отношению к специфически театральному воздействию. Стихи, как сугубо искусственное средство выражения, позволяют показать на сцене жизнь не в дословном переводе, а в вольном пересказе, что дает драматургу простор для всестороннего проявления его таланта. Ибо драматургия — это вымысел. Для нее важна не правда, а впечатление. Необходимое условие для нее — тот «временный отказ от неверия», о котором писал Колридж. Правда нужна драматургу постольку, поскольку она повышает интерес, но правда для него — это правдоподобие. Это то, что он способен внушить публике. Если публика верит, что человек мог усомниться в верности своей жены, потому что кто-то сказал ему, что видел еще у кого-то ее платок, — все в порядке; значит, это достаточный повод для ревности. Если публика верит, что обед из шести блюд с десертом можно съесть в десять минут, — опять-таки все в порядке, можно двигать пьесу дальше. Но когда от драматурга требуют все большего сходства с жизнью, как в мотивах, так и в поступках персонажей, когда ему предписывают не расширять жизнь веселыми или романтическими узорами, но копировать ее, он оказывается лишенным большей части своих ресурсов. Он вынужден отказаться от реплик «в сторону», потому что в жизни люди не разговаривают вслух сами с собой; он не чувствует себя вправе сжимать события, что позволяло ему убыстрять действие, а нанизывает их не спеша одно за другим, подражая настоящей жизни; он старается обойтись без случайностей и совпадений, ибо мы знаем (когда сидим в театре), что на самом деле так не бывает. Практика показала, что слишком часто такое приближение к жизни не дает ничего, кроме серых и скучных пьес.

Когда кино научилось говорить, театру уже нечем было от него защититься. Кино могло изображать действие гораздо убедительнее, а ведь действие — душа драматургии. Экран принес с собой ту искусственность, которую когда-то придавали драме стихи, так что появился новый критерий достоверности и невероятное стало приемлемым, если только на нем можно было построить ситуацию. Экран породил

¹ Пьеса Бернарда Шоу (1903).

множество новых приемов, живописных и игровых, которые будоражили и волновали публику. Авторам, создававшим пьесы идей, пришлось проглотить горькую пилюлю: интеллигенция, для которой они писали, знать не хотела их пьес, но зато валом валила в кино, где покатывалась со смеху, глядя на фарсовые трюки, и упивалась дешевой интригой. Что же произошло? Да просто интеллигенция не устояла перед той атмосферой, от которой театр так усердно старался освободиться, и увлеклась иллюзией столь же безоговорочно, как первые зрители, смотревшие пьесы Лопе де Вега и Вильяма Шекспира.

Я не люблю ни пророчествовать, ни поучать; но все же хочу высказать уверенность, что драматургия в прозе, которой я отдал такой большой кусок своей жизни, доживает последние дни. Малые жанры в искусстве, возникающие не столько из сокровенных потребностей человека, сколько из нравов и обычаев своего времени, рождаются и умирают. Мадригал, некогда бывший распространенной формой музыкального представления, вдохновлявшей композиторов и давшей школу мастеров-исполнителей, сошел на нет, когда были созданы музыкальные инструменты, с помощью которых достигался сходный, но более красивый эффект; есть все основания полагать, что драматургии в прозе уготована та же участь. Можно возразить, что экран не способен вызвать того ответного волнения, какое мы испытываем, глядя на живых актеров из плоти и крови. В свое время многие, вероятно, утверждали, что струны и дерево нипочем не заменят теплоты человеческого голоса. Однако опыт доказал обратное.

В одном как будто можно не сомневаться: если что-нибудь и поможет театру выжить, так только не попытки делать то, что кино может делать гораздо лучше. Те драматурги, которые пытаются посредством множества коротеньких сцен воспроизвести быстрое действие и непрерывную смену фона, присущие кинематографу, идут по ложному пути. Мне приходило в голову, что драматургу, возможно, следовало бы вернуться к истокам современной драматургии и призвать на помощь стихи, танцы, музыку, пышное зрелище, чтобы удовлетворить больше разнообразных вкусов; но и здесь кино с его огромными возможностями без труда перещеголяет театр, не говоря уже о том, что автор такого рода постановок должен быть не только драматургом, но и поэтом. Пожалуй, драматургу-реалисту в наше время больше всего стоит заниматься тем, в чем кино, по крайней мере до сих пор, еще не добилось крупных

успехов, а именно — драмой, построенной не на внешнем, а на внутреннем действии, и комедией остроумия. Экран требует физического действия. Чувства, которые не поддаются передаче средствами такого действия, и юмор интеллектуального порядка мало пригодны для кино. Возможно, что хотя бы на какое-то время такие пьесы нашли бы свою публику.

Впрочем, нужно признать, что в отношении комедии выдвигать требование реалистичности едва ли разумно. Комедия — искусственный жанр, в ней уместна только видимость реальности. Смеха следует добиваться ради смеха. Цель драматурга в наши дни — не изображать жизнь такой, как она есть (невеселая картина!), но давать к ней свои примечания, сатирические и веселые. Нельзя допускать, чтобы зритель спрашивал: «А так бывает в жизни?» Нужно, чтобы он смеялся, и больше ничего. Кто-кто, а автор комедии непременно должен добиваться «временного отказа от неверия». Поэтому напрасно критики сетуют, что комедия иногда «вырождается» в фарс. Практика показала, что внимания публики не хватает на три акта чистой комедии: комедия действует на коллективный ум публики, а этот ум быстро утомляется, в то время как фарс действует на более выносливый орган — ее коллективный желудок. Великие комедиографы Шекспир, Мольер и Бернард Шоу никогда не чурались элемента фарса. Это — кровь, поддерживающая жизнь в теле комедии.

XL

Подобные соображения, еще не вылившиеся в отчетливую форму, постепенно увеличивали мое недовольство театром, и наконец я решил с ним расстаться. Сотрудничество с кем бы то ни было никогда мне не давалось, а спектакль, как я указывал, больше, чем всякое иное произведение искусства, есть плод совместных усилий. Мне становилось все труднее находить общий язык с моими товарищами по работе.

Принято говорить, что хорошие актеры могут извлечь из пьесы больше, чем вложил в нее автор. Это неверно. Хороший актер, привнося в роль свой талант, часто придает ей такую ценность, какой не усмотрел бы в ней читатель-непрофессионал; но в лучшем случае он может только достигнуть идеала, который автор видел внутренним оком. Для этого ему нужно обладать большим тактом; гораздо

чаще автор вынужден довольствоваться приближением к тому, что он себе представлял. Мне повезло: во всех моих пьесах некоторые роли были сыграны так, как мне хотелось; но нет ни одной пьесы, в которой меня удовлетворило бы исполнение всех ролей. Это, разумеется, неизбежно: ведь актер, подходящий для той или иной роли, всегда может оказаться занят, и тогда приходится брать другого, немного, а иногда и много менее подходящего. За последние годы — как известно всем, кому приходилось подбирать труппу, — из-за конкуренции нью-йоркских театров и кино, как английского, так и американского, стало труднее, чем когда-либо, находить актеров на соответствующие роли; антрепренерам сплошь и рядом приходится брать заведомо бездарных актеров, потому что они не могут найти ничего лучшего. Другая трудность — это вопрос оплаты. Нередко маленькая роль требует отличной игры, а значит — опытного актера, но с точки зрения администрации она тянет лишь на такую-то оплату, и брать для нее нужного актера нерентабельно. И вот роль исполняется посредственно, и вся композиция пьесы оказывается под угрозой: из-за плохого исполнения выкидывается сцена, имеющая определенное композиционное значение. Случается и так, что идеальный для данной роли актер отказывается играть эту роль, потому что она слишком маленькая или слишком неприятная.

Говоря все это, я далек от мысли преуменьшить мою благодарность выдающимся актерам и актрисам, так сильно содействовавшим успеху, который имели многие из моих пьес. Список тех, кто оправдал все мои надежды, так длинен, что приводить его здесь было бы скучно; но есть один актер, о котором я хотел бы упомянуть, потому что он не попал в разряд «звезд», а значит, и не был признан по заслугам. Это — С. В. Франс. Он играл в нескольких моих пьесах. И не было роли, которой он не сыграл бы великолепно. Он до мельчайших подробностей воспроизводил тот образ, который я себе представлял. Трудно найти на английской сцене актера более культурного, умного и разностороннего. Но бывали и такие постановки моих пьес, когда я чувствовал, что зрители не видят ничего похожего на то, что я хотел им показать. Ошибки, допущенные при распределении ролей, часто непоправимы — особенно когда речь идет об актерам с именем, — и тогда автор переживает тяжелые минуты: его судят по тому, что является искажением его замысла. Ролей, способных выдержать любого актера, не существует. Есть роли эффектные, есть совсем неэффективные, хотя часто и очень важные, но, как бы ни

была эффектна роль, все ее возможности выявляются лишь в превосходном исполнении. Самая смешная фраза смешна, только если произнести ее так, как нужно; самая нежная сцена не вызовет отклика, если сыграть ее без нежности. Есть и другая ловушка, в которую драматург попадает по милости актера. О ней мало думают, однако при нынешней системе подбора актеров с таким расчетом, чтобы они играли самих себя, избежать ее трудно. Автор создает образ, затем на данную роль намечается актер, по характеру своему приближающийся к этому образу; но когда его индивидуальность накладывается на индивидуальные черты, уже приданные автором персонажу, это ведет к неоправданному нажиму; задуманный автором персонаж, вполне достоверный и естественный, превращается в гротеск. Я не раз пытался дать актеру роль, противоположную его характеру, но не могу сказать, чтобы из этого выходило что-нибудь хорошее; здесь нужен такой талант перевоплощения, каким современные актеры не обладают. Вероятно, лучший способ бороться с этой трудностью — это не дописывать роли, а только набрасывать характеры в расчете на то, что актеры дополнят их собственной индивидуальностью. Но тогда драматург должен быть уверен, что его пьесу будут играть актеры, которые на это способны.

Нажим, о котором я говорил, и несоответствие актеров ролям, порою неизбежное, достаточно искажают замысел автора; слишком часто случается, что еще больше его искажает режиссер. Когда я начинал писать для театра, режиссеры держались более скромных взглядов на свои функции, нежели в последнее время. Они ограничивались тем, что сокращали авторские длинноты и ловко маскировали его композиционные ляпсусы; они придумывали мизансцены и помогали актерам наилучшим образом использовать роль. Кажется, Рейнгардт первым потребовал для режиссера львиной доли в создании спектакля. Его примеру последовали менее талантливые режиссеры, и с тех пор мы много раз слышали нелепое утверждение, что авторский текст следует рассматривать лишь как материал, позволяющий режиссеру выразить свои собственные идеи. Известны случаи, когда режиссеры воображали себя драматургами. Джеральд дю Морьс, очень хороший режиссер, сам говорил мне, что ему интересно ставить пьесу только тогда, когда он может частично переписать ее. Это — крайность. Но нельзя отрицать, что сейчас очень трудно найти режиссера, который довольствуется тем, чтобы поставить пьесу

автора; как правило, он видит в ней отправную точку для создания чего-то оригинального и своего.

Зрители удивились бы, узнав, как часто из-за глупого режиссерского упрямства они, в сущности, видят не ту пьесу, которую написал автор, и сколько упреков в пошлости и бессмыслице, которыми они его осыпают, должно быть переадресовано режиссеру. Режиссер — человек с идеями, но идей у него мало, а это очень опасно. Чувствовать, как у тебя рождаются идеи, очень интересно, но безопасно лишь в том случае, если их рождается так много, что не придаешь им чрезмерного значения. Тем, у кого их мало, трудно не относиться к ним с излишним почтением. Режиссер, придумавший несколько строк диалога, немую сценку или эффектный выход, так дорожит ими, что без зазрения совести затормозит действие пьесы и исказит ее смысл, лишь бы найти им местечко. Слишком часто вам встречается режиссер тщеславный, взбалмошный, лишенный воображения; порой он до того деспотичен, что навязывает актерам свои интонации и ужимки. Актеры, которым его отзывы помогают получать роли, а покорность помогает заслужить его расположение, волей-неволей ему повинуются, отчего их игра лишается всякой непосредственности. Лучший режиссер тот, который меньше всего творит. По счастью, мне приходилось иногда работать с режиссерами, которые искренне пеклись об интересах пьесы и старались выполнить мои желания; но влезть в чужую душу трудно, и даже при самых добрых намерениях режиссер может осуществить авторский замысел лишь очень приблизительно. Я думаю, что часто он дает публике нечто такое, что нравится ей больше, чем понравилось бы задуманное автором. Но автору от этого не легче.

Спасение, конечно, в том, чтобы автор сам ставил свои пьесы. Но драматурги этого не умеют, разве что они раньше были актерами. Мало указать актеру на неправильную интонацию или жест — нужно еще показать ему правильный жест и интонацию. Это особенно необходимо в наше время, когда исполнители мелких ролей недостаточно владеют техникой. Джеральд дю Морье часто прибегал к болезненному, но действенному приему — пародировал неудачный момент в работе актера, а затем показывал, что от него требуется. Он мог это делать лишь потому, что был и отличным имитатором, и отличным актером. Но это еще пустяки.

Режиссура — сложное дело. Это особая специальность или, если хотите, искусство, которое постигается большим

трудом. В ведении режиссера вся механика спектакля, выходы и уходы, расстановка актеров на сцене с таким расчетом, чтобы она не резала глаз и чтобы внимание публики, когда нужно, легко переключалось с одного действующего лица на другое. Режиссер должен помнить об индивидуальных особенностях актеров и, если от актера требуется что-нибудь для него непосильное, выдумывать уловку для преодоления этой трудности. Он должен также учитывать особенности актеров вообще, — например, что в наше время ни один английский актер не может произнести диалога длиннее чем в двадцать строк, не застеснявшись, и его дело — помочь такому актеру справиться с чувством стеснения. Режиссер направляет внимание публики на главное в пьесе и ловко заставляет ее принимать и скучную экспозицию, и проходные эпизоды, и подготовку к наиболее драматическим сценам, без которой нельзя обойтись ни в одной пьесе. Он знает, как легко публика отвлекается, и в опасных местах удерживает ее внимание, вводя немую игру. Он следит за тем, чтобы самолюбие, зависть, суетность актеров и прочие личные мотивы не нарушили равновесия спектакля; чтобы каждая роль имела правильный удельный вес и один актер не выдвигал свою роль на первый план в ущерб другим. Он решает, когда убыстрить, когда замедлить темп; где подчеркнуть, а где приглушить; где нажать, а где сгладить. Он заботится о декорациях — чтобы они были удобны и подходили к пьесе; выбирает костюмы (и зорко следит за актрисами, которые норовят одеться не столько в соответствии с ролью, сколько красиво и нарядно); дает указания осветителю.

Режиссура — это профессия или искусство, требующее серьезных технических знаний. Кроме того, она требует хорошего характера, такта, терпения, твердости и гибкости. Я отлично сознавал, что сам я не имею ни тех познаний, ни большинства тех качеств, какие необходимы, чтобы ставить пьесы. Еще мне мешало, что я заикался, а также то несчастное обстоятельство, что, написав пьесу и выправив текст, переписанный на машинке, я уже не мог заставить себя всерьез ею интересоваться. Мне любопытно бывало посмотреть ее на сцене, но, как собака, охладевающая к своим щенкам после того, как их подержали в руках люди, я уже не ощущал ее как что-то неотъемлемо свое. Меня часто ругали за то, что я слишком легко уступал режиссерам и принимал их мнения, с которыми не был согласен, но дело в том, что я никогда не был особенно уверен в своей правоте; что я избегал громких ссор, если только не выходил

из себя, а это со мной случалось редко; и наконец — что мне, в сущности, было все равно. Моя неприязнь к театру продолжала расти не потому, что режиссеры иногда оказывались не на высоте, а потому, что нельзя было обойтись совсем без режиссера.

XLI

А теперь о публике. Может показаться очень невежливым, что я высказываю что-либо кроме благодарности по адресу тех, кто создал мне если не славу, то известность, а также богатство, позволившее мне жить так, как жил до меня мой отец. Я много путешествовал; я живу в просторном доме с видом на море, окруженном садом и удаленном от других жилищ. Я всегда считал, что жизнь слишком коротка, чтобы делать для себя то, что могут для тебя сделать за деньги другие, и теперь я могу позволить себе роскошь делать только то, что никто за меня сделать не может. Я могу принимать у себя друзей и помогать тем, кому хочу помочь. Всем этим я обязан расположению публики. И все же с какого-то момента во мне стало неудержимо нарастать раздражение против той ее части, которая ходит в театр. Я уже говорил, что с самого начала испытывал странную неловкость, глядя на представление своей пьесы, и с каждой пьесой это чувство не только не ослабевало, как можно было ожидать, но росло. Одна мысль, что сотни людей смотрят мою пьесу, наполняла меня отвращением, так что во время спектаклей мне случалось делать кряк, лишь бы не пройти мимо театра.

Я уже давно пришел к выводу, что мало смысла писать пьесы, которые не будут иметь успеха, а как добиться успеха — это я, казалось мне, в точности знал. Иными словами, я знал, чего ждать от публики. Без ее участия я ничего не мог сделать, и я всегда мог предсказать с уверенностью, насколько активным будет это участие. Это претило мне все больше и больше. Драматург должен разделять вкусы и взгляды своих зрителей — мы убеждаемся в этом на примерах Шекспира и Лопе де Вега, — и, как он ни смел, он в лучшем случае может лишь выразить словами то, что они чувствовали, но из лени или из трусости не высказывали. Я устал говорить полуправду, а большего публика не желала принимать. Я устал от человеческой . упусти, которая в обычном разговоре признает многое такое, что на сцене предписывает отрицать. Мне надоело приспособлять сюжет

к строго установленному объему — без нужды растягивать его или непомерно сжимать потому, что для сцены годятся пьесы только определенной длины. Мне надоело стараться никогда не быть скучным. Короче говоря, я больше не желал считаться с условностями драматургии. Заподозрив, что я утерял ключ к сердцу публики, я решил проверить себя и посмотрел несколько пьес, делавших хорошие сборы. Ничего интересного я в них не нашел. Шутки, от которых покатывалась публика, меня не смешили, сцены, трогавшие ее до слез, оставляли меня холодным. Это было последней каплей.

Я мечтал о свободе прозаика и с удовольствием думал о читателе, который согласен в одиночестве выслушивать все, что я хочу ему сказать, и с которым может быть достигнута близость, невысказанная в переполненном, залитом огнями театре. Я знал многих, очень многих драматургов, переживших свою популярность. Я видел, как одни, выбиваясь из сил, писали еще и еще пьесы по старым образцам, не понимая, что времена изменились; как другие отчаянно пытались уловить дух времени и сникали, когда их усилия встречали насмешками. Я слышал, как оскорбительно разговаривали с известными авторами, предлагавшими пьесу тем самым антрепренерам, которые когда-то приставали к ним с контрактами; слышал, с какой насмешкой отзывались о них актеры. Я видел их растерянность, смятение, горечь, когда они наконец понимали, что публика не желает больше смотреть их пьесы. Артур Пинеро и Генри Артур Джонс, известнейшие в свое время драматурги, оба говорили мне в точности те же слова, один — с угрюмой, презрительной усмешкой, другой — с горестным недоумением: «Я им больше не нужен». И я решил уйти, не дожидаясь, пока меня о том попросят.

XLII

Однако в голове у меня было еще несколько ненаписанных пьес. Две или три лишь неявно маячили в сознании, от них я был готов отказаться; но четыре лежали в кладовках моего мозга совсем готовенькие, и, хорошо зная себя, я знал, что они не дадут мне покоя до тех пор, пока я их не напишу. Я думал о них уже много лет, а не писал их потому, что не надеялся на успех у публики. С самого начала, вероятно в силу моих буржуазных инстинктов, мне бывало неприятно, когда антрепренеры теряли деньги на моих

пьесах, и в общем обходилось без этого. Принято считать, что на круг из каждых пяти пьес одна приносит театру доходы. Скажу без преувеличения, что в моем случае отношение было обратное. Свои четыре последние пьесы я написал в том порядке, в каком они, по моим расчетам, должны были иметь все меньший успех. Мне не хотелось ронять себя в глазах публики, пока я с ней окончательно не распрощался. Первые две из этих пьес, к моему удивлению, были приняты отлично. Вторые две, как я и ожидал, — весьма прохладно. Я остановлюсь только на одной из четырех, «Священный огонь», и то лишь потому, что в ней я пошел на некий эксперимент, который, возможно, заинтересует читателя. В этой пьесе я попытался дать более строгий и правильный диалог, чем тот, каким пользовался до тех пор. Свою первую многоактную пьесу я написал в 1898 году, последнюю — в 1933-м. За это время сценический диалог прошел путь от напыщенной и педантичной речи Пинеро, от изящной искусственности Оскара Уайльда до предельной «разговорности» наших дней. Требование жизнеподобия все больше тянуло драматургов к натурализму, к стилю, который, как известно, довел до предела Ноэль Кауард. Драматурги не только отбрасывают все, что звучит «литературно», но, стремясь воспроизвести живую речь, обходятся без грамматики, ломают фразы (ведь считается, что в жизни люди говорят короткими или незаконченными фразами и не по правилам грамматики), а словарь персонажей ограничивают лишь самыми простыми и обыденными словами. Восполняют такой диалог пожиманье плечами, помахиванье рукой и гримасы. Мне думается, что, уступая таким образом моде, драматурги сильно себе повредили. Ведь эта рубленая, ломаная, уснащенная жаргоном речь, которую они воспроизводят, свойственна лишь определенной группе — богатой и необразованной молодежи, которую в газетах именуют фешенебельным обществом, которая фигурирует в светской хронике и на страницах иллюстрированных еженедельников. Может быть, англичане и впрямь косноязычны, но едва ли в такой мере, как нам сейчас пытаются внушить. Есть сколько угодно людей — врачей, инженеров, адвокатов и просто культурных мужчин и женщин, — которые выражают свои мысли, не греша против грамматики и не прибегая к жаргону, и умеют сказать то, что хотят сказать, верными словами, употребленными в верном порядке. Нынешняя мода, вынуждающая судью или видного врача объясняться на сцене так же нечленораздельно, как завсегдатаи баров, есть грубое извращение

правды. Она сузила круг характеров, которые может вывести драматург, потому что характер он может раскрыть только в речи; а как изобразить человека тонкого ума или сложных эмоций, если весь диалог сведен к неким устным иероглифам? Он невольно подбирает персонажей, для которых естественна та речь, какую стала считать естественной публика, то есть неизбежно примитивных и понятных с первого взгляда. Круг его тем тоже сузился: ведь, если обходиться только натуралистическим диалогом, трудно ставить основные вопросы человеческой жизни, невозможно разбираться в сложности человеческих характеров (то и другое — безусловно, темы для драматургии). Новая мода убила комедию, которая зиждется на словесном остроумии, а оно, в свою очередь, зиждется на ловко сделанных репликах. Так был забит еще один гвоздь в гроб драматургии.

Итак, я решил, что в «Священном огне» мои персонажи будут говорить не теми словами, какими они говорили бы в жизни, а более правильно, как если бы они могли подготовиться к этому заранее и умели выражать свои мысли точным и чистым языком. Вероятно, я не вполне справился с этой задачей. На репетициях мне стало ясно, что у актеров, отвыкших от такого рода речей, создается неприятное чувство, будто они декламируют, и многие фразы мне пришлось упростить и разбить. Но и того, что осталось, хватило, чтобы вызвать недовольство критиков, и кое-кто из них разругал мой диалог за «литературность». Мне твердили, что люди так не говорят. Я и сам это знал. Но я не спорил. Как человек, живущий в арендованном доме и знающий, что срок аренды скоро истекает, я считал, что не стоит уже заниматься перестройками. В последних двух пьесах я вернулся к натуралистическому диалогу. Когда день за днем идешь по горной дороге, в какую-то минуту тобой овладевает уверенность, что стоит обойти еще только вон ту скалистую громаду, и за ней откроется равнина; но нет, впереди вырастает новая стена, нужно брести дальше; ну, уж теперь-то, наверно, конец? Нет, тропинка все вьется, и опять ее преграждают горы. И вдруг горы расступаются, и вся равнина — как на ладони. Сердце ликует. Какая ширь, сколько солнца! Вся тяжесть гор свалилась с плеч, дышится вольно и радостно. Испытываешь удивительное чувство свободы. Вот такое же чувство я испытал, когда разделался со своей последней пьесой.

Я не знал, навсегда ли освободился от театра: ведь писатель — раб того, что я вынужден, за неимением более

скромного слова, назвать вдохновением, и я не мог поручиться, что в один прекрасный день у меня не возникнет тема, которую мне во что бы то ни стало понадобится воплотить в форме пьесы. Но я надеялся, что этого не будет. Дело в том, что мною владела одна мысль, которая читателю не может не показаться до глупого самонадеянной. Весь опыт, какой я мог получить от работы с театром, я уже получил. Я заработал столько денег, сколько мне требовалось, чтобы жить по своему вкусу и заботиться о тех, кто мог рассчитывать на мою помощь. Я приобрел известность, может быть, даже мимолетную славу. Казалось бы, чего мне еще? Но было еще что-то, чего я хотел достичь, а в драматургии это казалось мне недостижимым. Совершенство — вот к чему я стремился. Я вчитывался в пьесы — не в свои, где изъяны и погрешности ни для кого так не очевидны и не огорчительны, как для меня, а в те, что перешли к нам от прошлых времен. Даже в самых великих из них есть серьезные недостатки. Приходится делать скидку на условности той или иной эпохи и на возможности театра, для которого они писались. Великие греческие трагедии так далеки от нас и отражают цивилизацию столь чуждую для нашего времени, что трудно судить о них беспристрастно. Мне кажется, что очень близка к совершенству «Антигона». А в драме нового времени никто, по-моему, не подходил к нему ближе, чем Расин. Но какое это одностороннее совершенство! Словно он с бесконечным искусством вытачивал вишневую косточку. Только слепое поклонение помешает увидеть серьезные недочеты в развитии действия, а иногда и в обрисовке характеров у Шекспира; и это очень понятно, поскольку он, как мы знаем, готов был пожертвовать всем ради эффектной ситуации. Все упомянутые мною пьесы написаны бессмертными стихами. В современной драме, написанной в прозе, мы напрасно стали бы искать совершенства. Кажется, общепризнано, что за последние сто лет не было более великого драматурга, чем Ибсен. Но, при всех его неоценимых достоинствах, как он беден на выдумку, как повторяются из пьесы в пьесу его характеры и как, в сущности, глупы многие его сюжеты! Получается, что искусству драматургии всегда присущи те или иные дефекты. Чтобы добиться одного результата, нужно жертвовать другим, так что написать пьесу совершенную во всех отношениях, в которой сочетались бы интересная и значительная тема, тонкая и самобытная разработка характеров, достоверность сюжета и красота диалога, — просто невозможно. Мне казалось, что в романе и в рассказе писатели

иногда достигали совершенства, и хотя сам я на это не надеялся, но все же видел больше шансов приблизиться к нему в этих жанрах, нежели в драматургии.

XLIII

Первый написанный мною роман назывался «Лиза из Ламбета». Его принял первый же издатель, которому я его послал. Незадолго до того Фишер Энвин стал издавать серию коротких романов — он назвал ее «Серия Псевдоним», — которые привлекли внимание публики. Среди них были романы Джона Оливера Гоббса. Их считали остроумными и смелыми. Они принесли автору известность и повысили интерес к серии в целом.

Я написал два рассказа, предполагая, что вместе они составят томик подходящего размера, и послал их Фишеру Энвину. Через некоторое время он их вернул, но с письмом, в котором спрашивал, не могу ли я предложить ему роман. Это так меня окрылило, что я тут же сел и написал роман. Весь день я работал в больнице, писать мог только вечерами. Я приходил домой в начале седьмого, прочитывал «Стар», которую покупал на углу у Ламбетского моста, и, пообедав, немедленно принимался за работу.

Фишер Энвин не баловал своих авторов. Воспользовавшись моей молодостью, неопытностью и явной радостью по поводу того, что мой роман будет издан, он заключил со мной контракт, по которому мне не причиталось ничего до тех пор, пока он не продаст известного количества экземпляров; но продвигать свой товар на рынок он умел и книгу мою разослал всяким влиятельным лицам. Она получила много разнообразных отзывов, а Бэзил Уилберфорс, впоследствии архидиакон Вестминстерский, прочел о ней проповедь в аббатстве. Старший акушер больницы св. Фомы оценил ее настолько, что предложил мне место у себя в отделении; вскоре после выхода книги в свет я сдал последний экзамен; но это предложение я по глупости отклонил, так как, преувеличив свой успех, решил тут же бросить медицину. Книга моя разошлась в один месяц и была переиздана, и я уже не сомневался, что легко смогу зарабатывать себе на жизнь писательством. Год спустя меня ждало разочарование: вернувшись из Севильи, я получил от Фишера Энвина чек... на двадцать фунтов. Судя по тому, что «Лизу из Ламбета» до сих пор покупают, ее и сейчас еще можно читать; но если в ней и есть достоинства,

объясняются они случайной удачей: просто моя медицинская практика столкнула меня с такой стороной жизни, которой писатели в то время занимались очень мало. Артур Моррисон своими книгами «Повести убогих улиц» и «Дитя Джаго» привлек внимание публики к тому, что тогда принято было называть низшими классами, а я оказался от этого в выигрыше.

Я ничего не смыслил в писательстве. Прочсть я для своего возраста успел довольно много, но читал без разбора, глотая одну за другой те книги, о которых что-нибудь слышал, просто чтобы узнать, о чем они; хотя кое-что я, вероятно; из них почерпнул, все же, когда я стал писать, наибольшее влияние оказывали на меня романы и рассказы Мопассана. Начал я их читать в шестнадцать лет. Бывая в Париже, я часами пасся в книжных лавках на галереях возле театра «Одеон». Некоторые вещи Мопассана выходили тоненькими книжками ценою в семьдесят пять сантимов — эти я покупал; но другие стоили по три с половиной франка, что было мне не по карману, и вот я брал книгу с полки и прочитывал из нее сколько мог. Продавцы в своих светло-серых блузах не обращали на меня внимания, и частенько, когда они отворачивались, мне удавалось разрезать страницу-другую и читать дальше без перерыва. Так я еще до двадцати лет прочел почти всего Мопассана. Хотя сейчас он уже не пользуется прежней славой, но огромные его достоинства несомненны. Он предельно ясен и четок, отлично чувствует форму и умеет выжать из своих сюжетов максимум драматизма. Думаю, что учиться у него было полезнее, чем у тех английских романистов, которые тогда оказывали влияние на литературную молодежь. В «Лизе из Ламбета» я, ничего не добавляя и не преувеличивая, изобразил людей, встречавшихся мне в больничной амбулатории или в районе, который я обслуживал как практикант-акушер, и случаи, поразившие меня, когда я по долгу службы заходил в дома или в свободное время бродил по улицам. По недостатку воображения (оно вырабатывается упражнением и, вопреки распространенному взгляду, сильнее развито у людей зрелых, чем у молодых) я просто вносил в книгу то, что видел своими глазами и слышал своими ушами. Успех ее был чистой случайностью. Моего будущего он никак не предопределял. Но я не знал этого.

Фишер Эввин уговаривал меня написать еще одну книгу о трущобах, много длиннее первой. Он объяснил мне, что такой книги ждут от меня читатели, и предсказывал ей еще больший успех, поскольку лед уже сломан. Но это вовсе не

входило в мои планы. Я был честолюбив. Я вбил себе в голову, сам не знаю почему, что нужно не гнаться за успехом, а бежать его, а у французов я научился невысоко ценить roman régional¹. Книгу о трущобах я написал, они меня больше не интересовали; мало того, у меня уже был готов роман совсем иного сорта. Фишер Энвин, наверно, всплеснул руками, когда его увидел. Действие романа происходило в Италии во времена Возрождения, сюжет был основан на одном эпизоде, который я вычитал в «Истории Флоренции» Макиавелли. А написал я его, потому что прочел статьи Эндрю Ланга об искусстве писателя. В одной из этих статей он доказывал, и, как мне представлялось, весьма убедительно, что единственный вид романа, который может удаться молодому автору, — это исторический роман. Чтобы писать о современных нравах, молодому автору, дескать, недостает жизненного опыта; история дает ему и сюжет, и персонажей, а романтический пыл молодости обеспечивает живость, необходимую для такого рода сочинений. Теперь-то я знаю, что это чепуха. Прежде всего, неверно, что молодому автору не хватает знаний, чтобы писать о своих современниках. Вероятно, никого за всю жизнь нельзя узнать так близко, как тех, с кем провел детство и юность. Семья, слуги, на чьем попечении ребенок ежедневно остается по многу часов, школьные учителя, другие мальчики и девочки — о них мальчик знает очень много. Он видит их без средостений. Взрослые, вольно или невольно, раскрывают себя перед очень юными неизмеримо полнее, чем перед другими взрослыми. И все свое окружение — родной дом, деревню или улицы города — ребенок познает в таких подробностях, которые станут ему недоступны впоследствии, когда от слишком обильных впечатлений восприимчивость его притупится. И, конечно же, исторический роман требует большого опыта в общении с людьми — без него невозможно создать живые образы из персонажей, которые поначалу, в силу далеких нам нравов и представлений, кажутся нам чужими и мертвыми. Чтобы воссоздать прошлое, нужны не только обширные знания, но и полет воображения, какого трудно ожидать от молодых. Я бы сказал, что правда — как раз обратное тому, что утверждал Ланг. К историческому роману писатель должен обращаться в конце своего пути, когда размышления и собственный опыт уже дали ему знание жизни, а многолетнее изучение окружающих его людей научило интуитивному проникнове-

¹ Роман, ограниченный местной или профессиональной темой (*фр.*).

нию в человеческую природу, позволяющему понять и воссоздать людей прошлого. Мой первый роман был написан о том, что я знал, а теперь, послушавшись дурного совета, я засел за роман исторический. Я писал его на Капри во время летних каникул, и столь велико было мое рвение, что я просил будить себя в шесть часов утра и работал не отрываясь, пока голод не гнал меня завтракать. К счастью, у меня хватило ума хотя бы время от завтрака до обеда проводить в море.

XLIV

О романах, написанных мною в последующие несколько лет, я говорить не буду. Один из них, «Миссис Крэддок», имел успех, и позднее я включил его в собрание своих сочинений. Два других были переделаны из пьес, не принятых театрами, и долго лежали у меня на совести, как преступления,—я много бы дал, чтобы их уничтожить. Но теперь я понимаю, что напрасно так мучился. Даже у величайших писателей бывали очень слабые книги. Бальзак, например, сам не захотел включить многие свои вещи в «Человеческую комедию», да и среди включенных им есть несколько таких, которые способны читать только литературоведы. Писатель может быть уверен, что книги, о которых он хотел бы забыть, будут забыты. Одну из тех своих книг я написал потому, что мне нужно было как-то просуществовать в течение года; другую — потому что был в то время сильно увлечен одной эксцентричной молодой особой и исполнению моих желаний мешали ухаживания более состоятельных поклонников, способных окружить ее роскошью, которой жаждала ее легкомысленная душа. Я же не мог ей предложить ничего, кроме серьезного характера и чувства юмора. Я решил написать книгу, чтобы, заработав таким образом триста или четыреста фунтов, утереть нос своим соперникам. Ибо молодая особа была очень мила. Но быстро написать роман невозможно, даже при самой упорной работе, а потом надо ждать, пока его издадут; а издатель вам платит еще только через несколько месяцев. В результате к тому времени, когда деньги были получены, страсть, которую я мнил вечной, угасла, и у меня уже не было ни малейшего желания тратить эти деньги так, как я предполагал. Я предпочел поехать на них в Египет.

За исключением этих двух романов, все книги, которые я писал в первые десять лет, что стал профессиональным писателем, были упражнениями — я учился на них своему

ремеслу. Одна из трудностей, стоящих перед профессиональным писателем, в том и состоит, что он овладевает мастерством за счет читающей публики. Он начинает писать, повинувшись внутренней потребности, голова его полна тем и сюжетов. Но он не умеет с ними справляться. Жизненный опыт его беден. Он еще не сложился как человек и не знает, как применить свое дарование. А когда книга написана, он должен ее опубликовать, если только сумеет, — отчасти, конечно, для того, чтобы ему было на что жить, но также и потому, что, пока вещь не опубликована, он не знает, что у него получилось; недостатки свои он может увидеть, только если на них укажут ему друзья или критики. Молодой Мопассан приносил все свои новые вещи на суд Флоберу, и прошло несколько лет, прежде чем Флобер позволил ему опубликовать его первый рассказ. Всему миру известно, что то был маленький шедевр, озаглавленный «Пышка». Но это случай исключительный. Мопассан служил в государственном учреждении, что давало ему средства к жизни, оставляя достаточно времени для литературной работы. Мало у кого хватило бы терпения так долго ждать встречи с читателями, и уж совсем немногим выпадало счастье учиться под руководством такого крупного и требовательного мастера, как Флобер. Большинство писателей зря растрачивают сюжеты, которые они могли бы интересно использовать, если бы не трогали их, пока не узнают получше жизнь и не овладеют техникой своего искусства. Иногда я жалею, что первая же моя книга была сразу принята издателем. Не будь этого, я продолжал бы заниматься медициной: поработал бы в городской больнице и со старыми деревенскими врачами, а то и самостоятельно в разных концах страны. Все это обогатило бы меня ценнейшим опытом. Если бы мои книги одну за другой отказывались печатать, я бы в конце концов предстал перед публикой с менее несовершенными произведениями. Я жалею, что некому было меня учить, — это избавило бы меня от многих неверно нацеленных усилий. Я знал нескольких литераторов — не многих, потому что уже тогда чувствовал, что общение с ними хоть и приятно, но для писателя совершенно бесполезно, — однако совета их не искал, потому что был для этого слишком робок, или слишком самонадеян, или слишком неуверен в себе. Французских романистов я изучал больше, чем английских, — взяв все, что мог, у Мопассана, я обратился к Стендалю, Бальзаку, Гонкурам, Флоберу и Анатолию Франсу.

Я шел на всякие эксперименты. Один из них для того времени отличался некоторой новизной. Жизненный опыт,

которого я искал непрерывно и жадно, подсказывал мне, что, когда романист берет двух или трех персонажей, или даже группу людей, и описывает их жизнь, внутреннюю и внешнюю, так, будто бы на свете никого, кроме них, не существует и ничего не происходит, картина действительности в его книгах получается очень необъективная. Я сам вращался в разных кругах, ничем между собою не связанных, и мне пришло в голову, что можно показать жизнь более правдиво, если рассказать параллельно несколько историй одинаково значительных, действие которых разворачивается в различных кругах общества. Я наметил больше обычного персонажей — с таким количеством их я еще никогда не пытался совладать — и разработал четыре или пять самостоятельных сюжетов. Связывала их между собой лишь тоненькая ниточка — некая пожилая женщина была знакома хотя бы с одним персонажем в каждой группе. Называлась книга — «Карусель». Это была смешная и глупая книга. Под влиянием эстетической школы 90-х годов я писал напряженным, аффектированным языком, а своих персонажей сделал сплошь красавцами и красавицами. Но главный ее недостаток заключался в том, что не было единой сюжетной линии, направляющей интерес читателя; отдельные истории не получились, конечно, равноценными по своему значению, и переключать внимание с одной группы людей на другую было утомительно и скучно. Неудача моя объяснялась незнанием очень простого приема: увидеть все события и участников этих событий глазами одного человека. Этим приемом, конечно, веками пользовались в романах, написанных от первого лица, но особенно интересно его применял Генри Джеймс. Попросту подставляя «он» вместо «я» и спускаясь с пьедестала всезнающего повествователя на позицию участника событий, которому известно далеко не все, он умел добиться и единства сюжета, и правдоподобия.

XLV

Мне сдается, что я рос медленнее, чем большинство других писателей. На рубеже нынешнего столетия меня считали способным молодым автором, развитым не по годам, резким и немного неприятным, однако достойным внимания. Хотя книги приносили мне мало денег, рецензировали их много и добросовестно. Но, сравнивая мои ранние романы с теми, что пишут молодые авторы в наши дни, я не могу не признать, что превосходство

на их стороне. Старейшему писателю полезно следить за тем, как работают молодые, и время от времени я читаю их романы. Девушки восемнадцати — девятнадцати лет и студенты университетов выпускают книги, очень хорошие по языку и по композиции и отражающие большой жизненный опыт. Не знаю, в чем тут дело — либо молодежь созревает сейчас быстрее, чем сорок лет назад, либо само писательское искусство за это время настолько шагнуло вперед, что написать хороший роман стало так же легко, как тогда было трудно написать даже посредственный. Всякого, кто даст себе труд просмотреть тома «Желтой книги», в то время казавшейся последним словом утонченной культуры, поразит, до чего плоха подавляющая часть вошедшего в нее материала. Авторы, сотрудничавшие в ней, несмотря на внешний блеск, были всего лишь рябью на поверхности глухой заводи, и история английской литературы, думается мне, в лучшем случае лишь мельком упомянет о них. Переворачивая эти древние страницы, я чувствую, как по спине пробегает холодок, и спрашиваю себя, неужели через сорок лет нынешние молодые дарования покажутся такими же неинтересными, какими кажутся сейчас их незамужние тетушки из «Желтой книги».

Для меня было большой удачей, что я быстро получил признание как драматург и тем избавился от необходимости писать по роману в год ради заработка. Пьесы давались мне легко; известность, которую они мне принесли, льстила самолюбию; и денег я на них заработал достаточно, чтобы покончить с полуголодным существованием, на которое до этого был обречен. Я никогда не умел жить как птицы небесные, не заботясь о завтрашнем дне. Я терпеть не мог занимать деньги и ненавидел долги. Нищая жизнь отнюдь меня не привлекала. Я не родился в нищете. Как только позволили средства, я купил себе дом в Мейфэре.

Есть люди, презирающие земные блага. Возможно, они и правы, когда утверждают, что художнику не пристало обременять себя богатством, но сами художники едва ли разделяют такой взгляд. Никогда они по своей воле не ютились в мансардах, куда поклонники охотнее всего бы их поселили. Гораздо чаще они разорялись в результате того, что вели расточительный образ жизни. Как-никак, у людей искусства богатое воображение, и роскошь их пленяет — прекрасные дома, слуги, мягкие ковры, чудесные картины, пышная обстановка. Тициан и Рубенс жили по-царски. У Поупа был его «Грот» и французский парк, у сэра Вальтера — готический Абботсфорд. Эль Греко имел горы

нарядов, анфилады комнат, библиотеку, музыкантов, усаждавших его слух, пока он обедал,— и умер банкротом. Занимать половину дачи и питаться паштетом, состряпанным единственной служанкой, для художника противоестественно. Это свидетельствует не о бескорыстии, а о мелочной и скучной душе. Ибо роскошь, которой художник себя окружает,— не более как развлечение. Его дом, поместье, автомобили, картины — это игрушки, которыми он забавляется; это — видимые признаки его власти; но внутреннего его равновесия они не нарушают. О себе могу сказать, что, хотя я имел в жизни все, что можно купить за деньги (а это очень неплохо), я с легким сердцем мог бы отказаться от своего достояния. Мы живем в беспокойное время, и возможно, что у нас отнимут все, чем мы владеем. Я ни о чем не стал бы жалеть, лишь бы у меня была возможность удовлетворять мой скромный аппетит самой простой пищей, была своя комната, книги из библиотеки, перо и бумага. Я был доволен, что своими пьесами заработал много денег. Они дали мне свободу. Я тратил их осмотрительно, потому что не желал снова очутиться в таком положении, когда из-за недостатка их не мог бы делать все, чего мне действительно хотелось.

XLVI

Я стал писателем, как мог бы стать врачом или юристом. Профессия эта необычайно приятна, недаром ее избирают столько людей, не имеющих для этого никаких данных. Она полна волнений и разнообразия. Писатель волен работать, где хочет и когда хочет, волен бездельничать, если он нездоров или в плохом настроении. Но есть у этой профессии и свои минусы. Один из них заключается в том, что, хотя материалом вам служит весь мир со всеми его обитателями и всем, что в нем происходит, вы-то сами можете писать только о том, что действует на какую-то скрытую в вас пружину. Рудник неисчерпаем, но каждый может добыть из него лишь определенное количество руды. Таким образом, писатель может среди полного изобилия умереть с голоду. Ему не хватает материала, и мы говорим, что он исписался. Я думаю, мало найдется писателей, которых не страшил бы такой конец. Второй минус заключается в том, что профессиональный писатель должен нравиться. Если его не захотят читать, ему будет не на что жить. Бывает, что обстоятельства давят на него особенно сильно, и тогда он

с яростью в сердце начинает потакать вкусам публики. Нельзя требовать от человеческой природы слишком много, и, если писатель время от времени состряпает дешевку, не будем судить его за это слишком строго. Писатели, у которых есть средства помимо гонораров, должны бы скорее сочувствовать тем своим братьям, кого нужда порой заставляет халтурить. Некий столичный мудрец как-то заметил, что писатель, который пишет для денег, пишет не для него. Он (как и подобает мудрецу) сказал много умных вещей, но это были очень неумные слова: читателю нет дела до того, из каких побуждений пишутся книги. Ему важен только результат. Многие писатели вообще не стали бы писать, если б их не подстегивала нужда (к их числу принадлежал, например, Сэмюэл Джонсон), но это не значит, что они пишут для денег. Да и глупое это было бы занятие — ведь почти любым трудом можно при тех же способностях и прилежании заработать больше, чем писательством. Большая часть знаменитых портретов была написана потому, что живописцам за них платили. А когда работа начата, она так захватывает художника — и живописца и писателя, — что он уже думает только о том, как бы выполнить ее возможно лучше. Но и живописец не будет получать заказов, если он, как правило, не удовлетворяет своих клиентов, и писателя не будут читать, если книги его, как правило, не интересны читателям. А между тем среди писателей распространено мнение, что они непременно должны нравиться; и если книги их не распродаются, они склонны винить в этом не себя, а публику. Я не встречал писателя, который бы признал, что книгу его не покупают, потому что она скучная. Многих художников долгое время не ценили, но потом они все же достигли славы. О тех, чья работа так и не дождалась признания, мы ничего не слышим, а ведь таких еще гораздо больше. Где вклад тех, кто бесследно исчез? Если правда, что талант — это сочетание вдохновенной легкости с индивидуальным видением мира, тогда понятно, почему оригинальность поначалу отпугивает. В нашем непрестанно меняющемся мире люди подозрительно относятся к новому и не сразу к нему привыкают. Писатель с резко выраженной индивидуальностью лишь мало-помалу находит тех, кому она по душе. Во-первых, ему нужно время, чтобы стать самим собой (молодые этого стесняются), во-вторых, ему нужно время, чтобы убедить тех, кого он впоследствии будет горделиво именовать своей публикой, в том, что он может дать им что-то для них нужное. Чем ярче его индивидуальность, тем это труднее

и тем дольше ему придется ждать приличных заработков. К тому же он не уверен, что завоеванное им положение прочно: ведь может оказаться, что, при всей его неповторимой индивидуальности, сказать ему почти нечего, и тогда очень скоро он снова канет в неизвестность, из которой выбрался с таким трудом.

Легко говорить, что писатель должен иметь работу, которая давала бы ему пропитание, а писать в те часы, какие остаются у него от этой работы. Такой образ жизни он зачастую вынужден был вести в прошлом, когда авторы, даже известные и много читаемые, просто не могли своим писательством заработать себе на хлеб насущный. Он и сейчас вынужден к этому в странах, где мало читают; ему приходится служить в каком-нибудь учреждении, предпочтительно государственном, или пробавляться журналистикой. Но у писателя, пишущего по-английски, потенциальный круг читателей так велик, что он вполне может целиком отдаться литературе. Профессиональных писателей было бы гораздо больше, если бы в странах английского языка не укоренилось слегка презрительное отношение к занятиям искусством. В этих странах ощущается этакое здоровое мнение, что писать, будь то книги или картины,— не настоящая работа, и оглядка на это мнение многих удерживает. Нужна очень сильная внутренняя потребность, чтобы заниматься делом, которое общество считает в какой-то мере зазорным. Во Франции и в Германии литература — почетная профессия, и ею занимаются с благословения родителей, хотя денег она приносит не так уж много. Не одна немецкая мать, если спросить ее, кем думает стать ее сын, с гордостью ответит: «Поэтом»; во Франции родные богатой невесты вполне благосклонно отнесутся к ее браку с молодым талантливим писателем.

Но писатель пишет, не только когда сидит за своим столом; он пишет весь день — когда думает, когда читает, когда живет; все, что он видит и чувствует, служит его целям, и он, сознательно или бессознательно, все время накапливает и отбирает впечатления. Он не может всерьез уделять внимание никакому другому занятию, а значит, его работа не удовлетворит ни его самого, ни его нанимателей. Чаще всего он берется за журналистику, потому что ему кажется, что она ближе к его основному делу. Тут-то его и подстерегает опасность. Газета безлична, и это сказывается на писателе. Те, кто много пишет для газет, теряют способность видеть вещи своими глазами; они видят все с обобщенной точки зрения; видят нередко очень живо,

порой с лихорадочной отчетливостью, но это уже не то видение, благодаря которому в изображении жизни, пусть не вполне объективном, чувствуется неповторимая личность художника. Да, работа в прессе убивает индивидуальность писателя. Не менее вредна и рецензентская работа: у писателя не остается времени читать что-либо, кроме книг, присылаемых ему на отзыв, и такое прочтение сотен случайных книг — не ради духовной пищи, которую можно в них почерпнуть, а лишь для того, чтобы дать о них более или менее добросовестный отчет, — притупляет его восприимчивость и тормозит воображение. Писательство требует всего человека без остатка. Писать — в этом должен быть для писателя главный смысл жизни; другими словами, он должен быть профессионалом. Счастье его, если он достаточно богат, чтобы не зависеть от литературного заработка, но это не мешает ему быть профессиональным писателем. Свифт со своей бенефицией, Вордсворт со своей синекурой были профессиональными писателями, точно так же как Бальзак и Диккенс.

XLVII

Всеми признано, что живописец и композитор не могут достигнуть мастерства без упорной работы, и к произведениям дилетантов по справедливости относятся с благодушным или досадливым пренебрежением. Все мы благодарим судьбу за то, что радио и граммофон изгнали из гостиной любителей — певцов и пианистов. Овладеть мастерством в литературе не менее трудно, чем в других видах искусства, а между тем многим кажется, что всякий, кто умеет читать и написать письмо, способен написать книгу. В наши дни писательство стало любимым видом отдыха. За него берутся целыми семьями, как в более счастливые времена шли в монастырь. Женщины пишут романы, чтобы скоротать месяцы беременности; скучающие аристократы, уволенные из армии офицеры, гражданские служащие в отставке хватаются за перо, как за бутылку. Создалось впечатление, что одну книгу может написать кто угодно; но если имеется в виду хорошая книга, то впечатление это ложно. Бывает, конечно, что дилетант напишет что-то стоящее. Либо у него, по счастливой случайности, врожденное умение хорошо писать, либо есть материал, который сам по себе интересен, либо он — обаятельный или незаурядный человек, и эти его личные качества, именно в силу его

испытности, накладывают отпечаток на книгу. Но пусть он помнит ходячее мнение: одну книгу может написать кто угодно; про вторую там ничего не сказано. Дилетанту лучше не искушать судьбу: следующая его книга почти наверняка будет макулатурой.

Ибо одно из главных различий между любителем и профессионалом заключается в том, что последний способен расти. В литературу страны входят, повторяю, не отдельные превосходные книги, а совокупность трудов, а ее может дать только профессиональный писатель. В тех странах, где литературу создавали главным образом дилетанты, она бедна по сравнению с другими, где множество людей, обрекая себя на трудное существование, избирали ее как профессию. Совокупность произведений — это результат долгого, упорного труда. Писатель, как и другие люди, учится на своих ошибках. Первые его работы — это только разведка; он пробует свои силы в разных жанрах, в разных методах, а тем временем развивает собственный характер. В едином процессе он открывает самого себя, то есть то, что он может дать, и учится наилучшим образом делиться этим открытием с читателями. И наступает момент, когда он, полностью овладев своим талантом, дает миру то лучшее, на что он способен. Поскольку писательство — здоровая профессия, он, вероятно, проживет после этого еще довольно долго, а поскольку писать к этому времени войдет у него в привычку, он, несомненно, будет и дальше выпускать книги, уже менее значительные. И публика будет вправе пренебречь ими. С точки зрения читателя очень немногое из того, что писатель сделал за свою жизнь, достойно внимания. (Этими словами я обозначаю не какую-то абсолютную ценность, а лишь ту часть продукции писателя, которая выражает его индивидуальность.) Но это немногое он, как мне кажется, может дать только в результате долгого ученичества и после ряда неудач. А значит, литература должна быть делом его жизни. Значит, он должен быть профессиональным писателем.

XLVIII

Я говорил о минусах писательской профессии; теперь я хочу сказать несколько слов об опасностях, которые она таит.

Совершенно очевидно, что профессиональный писатель не может позволить себе писать только тогда, когда ему

этого хочется. Если он будет ждать настроения или, как он выражается, вдохновения, ему придется ждать долго, и в конце концов он не сделает ничего или очень мало. Профессиональный писатель сам создает нужное настроение. Ему знакомо и вдохновение, но он держит его в узде и владеет им, назначая себе определенные часы для работы. Однако со временем писание входит в привычку, и — как старого, ушедшего на покой актера, которому не сидится на месте в тот час, когда он годами уезжал в театр гримироваться к вечернему спектаклю, — писателя тянет к бумаге и перу именно в те часы, которые он уже привык посвящать работе. И тут он иногда пишет автоматически. Слова льются у него легко, и слова подсказывают мысли. Это старые, неинтересные мысли, но привычная рука облекает их в какую-то приемлемую форму. Писатель идет обедать или ложится спать в приятной уверенности, что он хорошо поработал. Каждое произведение художника должно быть выражением чего-то глубоко пережитого. Это — недостижимый идеал. В нашем несовершенном мире профессиональный писатель заслуживает некоторой снисходительности, но стремиться к своему идеалу он должен всегда. В сущности, писать следует только для того, чтобы освободиться от темы, которую обдумывал так долго, что больше нет сил носить ее в себе; и разумен тот писатель, который пишет с одной целью — вернуть себе душевный покой. Чтобы сломать привычку писать механически, проще всего, пожалуй, переменить обстановку на такую, в которой ежедневная регулярная работа невозможна. Нельзя писать хорошо или много (а я смею утверждать, что, если не писать много, не будешь писать хорошо) без привычки; но в писательском деле, как и вообще в жизни, только те привычки хороши, которые можно сломать, едва они оборачиваются нам во вред.

Однако самая большая опасность для профессионального писателя — это та, которой, к несчастью, лишь немногим приходится остерегаться. Успех. Вот самое трудное, с чем должен совладать писатель. Достигнув его наконец после долгой и жестокой борьбы, писатель обнаруживает, что это — ловушка, которая завлекает его, чтобы погубить. Мало у кого из нас хватает решимости не попасться в нее. Ее нужно обходить с великой осторожностью. Широко распространено ошибочное мнение, будто успех портит людей, потому что делает их самодовольными, тщеславными эгоистами. Напротив, в большинстве случаев он делает их смиренными, терпимыми и добрыми. Неудача озлобляет

человека. Успех идет человеку на пользу; однако он не всегда идет на пользу писателю. Часто он лишает писателя той силы, которая и принесла ему успех. Индивидуальность его сложилась из его опыта, борьбы, разочарований, попыток приспособиться к враждебному миру; она должна быть очень стойкой, чтобы противостоять размягчающему влиянию успеха.

К тому же успех часто несет в себе семена гибели, поскольку он разлучает писателя с его материалом. Писатель вступает в новый мир. С ним носятся. А он всего лишь смертный человек, и, конечно же, ему льстит внимание великих мира сего и благосклонность красивых женщин. Он втягивается в новый образ жизни, вероятно более роскошный, чем тот, какой он вел раньше, привыкает к людям более воспитанным и светским, чем те, с которыми он раньше общался. Они более интеллектуальны, их внешний лоск пленяет. Как трудно теперь писателю не потерять связи с тем миром, где он черпал свои сюжеты! Успех так изменил его в глазах прежних знакомых, что они уже не чувствуют себя с ним свободно. Они завидуют ему или восхищаются им, но он теперь для них чужой. Новый мир, в который успех открыл ему двери, волнует его воображение, и он начинает писать о нем; но он его видит извне и не способен проникнуть в него так глубоко, чтобы стать частью его. Лучший пример тому — Арнолд Беннетт. По-настоящему он знал только жизнь Пяти Городов, где он родился и вырос, и только о них он мог написать что-то свое. Когда успех привел его в общество литераторов, богачей и светских женщин и он попробовал писать о них, у него ничего не вышло. Успех погубил его.

XLIX

Итак, пусть писатель остерегается успеха. Его должно страшить, что люди начинают предъявлять на него какие-то права, что у него появляются новые обязанности, новые заботы. Успех благотворен только в двух отношениях. Во-первых, и это главное, он дает писателю возможность следовать своему влечению; во-вторых, он придает ему уверенности. При всем своем гоноре и тщеславии писатель, сравнивая свою книгу с тем, что ему хотелось создать, всегда в себе сомневается. Так велика разница между замыслом и осуществлением, что результат в его глазах — не более как паллиатив. Ему нравятся отдельные страницы, он бывает

доволен одним эпизодом или одним характером; но лишь очень редко какая-нибудь его работа в целом доставляет ему удовлетворение. В глубине души он подозревает, что сделанное им вовсе не хорошо, и всякая похвала, даже если он не склонен ей верить, служит ему желанной поддержкой.

Поэтому похвала и нужна ему. Но гоняться за нею — слабость, хотя, может быть, и простительная. Ибо художник должен быть равнодушен и к похвалам, и к брани, поскольку его творение интересно ему лишь применительно к самому себе, а как отнесется к нему публика — в этом он может быть заинтересован материально, но не духовно. Художник творит, чтобы освободить свою душу. Творить для него так же естественно, как для воды — течь под уклон. Недаром художники называют свои творения детищами своего мозга и сравнивают муки творчества с родовыми муками. Это что-то органическое, что развивается, конечно, не только в мозгу художника, но и в сердце, в нервах, в крови, что-то, что в силу творческого инстинкта вырастает из его опыта, душевного и физического, и наконец распирает его с такой силой, что он должен от него избавиться. Когда это происходит, он испытывает чувство освобождения и какую-то блаженную минуту спокойно отдыхает. Но, в отличие от женщины-матери, он очень быстро теряет интерес к своему новорожденному детищу. Оно перестает быть частью его. Оно дало ему удовлетворение, и душа его уже готова для нового зачатия.

Породив произведение, художник воплотил свой замысел. Однако это еще не значит, что оно имеет ценность для кого-нибудь, кроме него самого. Тому, кто читает книгу или смотрит на картину, нет дела до чувств художника. Художник искал облегчения, но потребитель искусства хочет, чтобы ему что-то сообщили, и только он может судить о том, насколько это сообщение для него ценно. Для художника то, что он может сообщить публике, — побочный продукт. Я сейчас не говорю о тех, кто занимается искусством с целью поучать других; это — проповедники, и для них искусство — дело второстепенное. Творчество — особый вид деятельности, оно в самом себе несет удовлетворение. То, что создано художником, может быть хорошим искусством или плохим искусством. Это уже решать потребителю. И он решает, исходя из эстетической ценности сообщения, которое ему предлагается. Если оно позволяет ему уйти от действительности, он его приветствует, но в лучшем случае скажет, что это искусство средней руки; если оно обогащает его душу и способствует его внутреннему росту, он с пол-

ным основанием скажет, что это — большое искусство. Однако художнику, повторяю, нет до этого дела; вполне естественно, что ему приятно доставить другим удовольствие и поднять их дух; но пусть он не сетует, если они не найдут в его творениях ничего для себя нужного. Он получил свою награду, удовлетворив свой творческий инстинкт. И это уже не абстрактный идеал — это единственное условие, при котором художник может приблизиться к недостижаемому совершенству, к которому он стремится. Если он писатель, он употребит свое знание людей и мест, а также себя самого, свою любовь и ненависть, свои сокровенные мысли, свои преходящие увлечения на то, чтобы из книги в книгу давать изображение жизни. Оно всегда будет неполным, но, если ему посчастливится, он в конце концов сумеет сделать другое: даст полное изображение самого себя.

Этим, во всяком случае, утешаешься, просматривая рекламы издателей. Когда читаешь эти длинные перечни книг, которые рецензенты превозносят до небес за остроумие, глубину, оригинальность, невольно впадаешь в уныние: где уж угнаться за таким количеством гениев! Издатели скажут вам, что в среднем жизнь романа исчисляется в девяносто дней. Трудно примириться с мыслью, что книга, в которую ты вложил не только всего себя, но еще несколько месяцев напряженной работы, будет прочтена за три-четыре часа, а через девяносто дней забыта. Даже самый трезвый писатель, не ожидая от этого никакой пользы для себя, втайне все же лелеет надежду, что хотя бы часть его книг переживет его на одно-два поколения. Эта безобидная вера в посмертную славу помогает многим художникам мириться с разочарованиями и неудачами, постигающими их при жизни. В том, как беспредметна такая вера, мы убеждаемся, вспоминая писателей, которым мы сами всего каких-нибудь двадцать лет назад предрекали бессмертие. Кто их сейчас читает? А при том множестве новых книг, которые выходят в свет, и тех, что оказались более долговечными, как мало вероятия, что сочинения, однажды забытые, опять всплывут на поверхность! У потомков есть одна очень странная и, как многие считают, очень некрасивая черта: они дарят своим вниманием тех авторов, которые и при жизни пользовались известностью. Те же писатели, которые услаждают кучку избранных и не находят пути к широким кругам читателей, никогда не будут услаждать потомков, потому что потомки о них просто не узнают. Это должно служить утешением популярным авторам, которым внушают, что самая их популярность свидетельствует о низком

качестве их продукции. Шекспир, Вальтер Скотт и Бальзак, может быть, и не писали для того столичного мудреца, но так и кажется, будто они писали для грядущих веков. Единственное верное прибежище писателя — это находить удовлетворение в собственном труде. Если он способен почувствовать, что достаточной наградой за его труды явилось освобождение от душевного бремени и сознание, что ему удалось хоть в какой-то мере удовлетворить собственное эстетическое чувство, — тогда все остальное ему безразлично.

L

Дело в том, что наряду с минусами и опасностями у писательской профессии есть такое преимущество, перед которым все трудности, разочарования, а может быть, и лишения кажутся пустяком. Она дает духовную свободу. Жизнь для писателя — трагедия, и в процессе творчества он переживает катарсис — очищение состраданием и ужасом, в котором Аристотель видел смысл искусства. Все свои грехи и безумства, несчастья, выпавшие на его долю, любовь без ответа, физические недостатки, болезни, нужду, разбитые надежды, горести, унижения — все это он властен обратить в материал и преодолеть, написав об этом. Нет того, что бы ему не годилось, — от лица, мельком увиденного на улице, до войны, сотрясающей весь цивилизованный мир, от аромата розы до смерти друга. Все недоброе, что с ним может случиться, он властен изжить, переплавив в строфу, в песню или в повесть. Из всех людей только художнику дана свобода.

Этим, возможно, и объясняется, почему к художнику относятся с такой подозрительностью. В самом деле, можно ли ему доверять, раз он так странно реагирует на самые обыкновенные человеческие побуждения? А художник, и правда, никогда не чувствовал себя связанным обычными нормами. И с какой бы стати? У большинства людей все помыслы и поступки направлены в первую очередь на удовлетворение своих потребностей и сохранение своей жизни; но художник удовлетворяет свои потребности и сохраняет свою жизнь, занимаясь искусством. То, что для них лишь времяпрепровождение, для него — самое важное, а значит, и отношение к жизни у него будет иное. Он сам создает себе ценности. Люди считают его циником, потому что он не придает значения тем добродетелям и не возмуща-

тся теми пороками, которые их волнуют. Он не циник. Но то, что они называют пороком и добродетелью, интересует его лишь между прочим. Это — малозначительные элементы в той картине жизни, из которой он строит свою свободу. Разумеется, люди совершенно правы, что возмущаются им. Но это на него не действует. Он неисправим.

LI

Когда я, добившись успеха как драматург, решил до конца жизни посвятить себя писанию пьес, я многого не предвидел. Я был счастлив, богат, занят по горло, в голове теснилось множество пьес, которые мне хотелось написать. Не знаю, потому ли, что успех дал мне не все, на что я надеялся, или потому, что то была естественная реакция на успех, но едва я утвердился в положении популярного драматурга, как меня стали неотступно преследовать воспоминания о прошлом. Смерть матери и вызванный этим развал семьи, сплошная мука первых лет в школе, к которой мое французское детство так плохо меня подготовило и где мне приходилось особенно трудно потому, что я заикался, радость спокойных, однообразных, но волнующих дней в Гейдельберге, когда я впервые приобщился к интеллектуальной жизни, скучные занятия медициной и захватывающее знакомство с Лондоном — все это вспоминалось так настойчиво — во сне, на прогулках, на репетициях моих пьес, на званых вечерах, — стало таким наваждением, что я решил: нужно написать об этом роман, иначе мне не успокоиться. Я знал, что роман получится длинный, и работать над ним хотел без помехи. Поэтому я отказался от всех контрактов, которые на меня сыпались, и на время расстался с театром.

Один роман на ту же тему я уже написал в тот год, когда, получив диплом врача, уехал в Севилью. На мое счастье, Фишер Энвин не дал мне ста фунтов, которые я за него просил, а другие издатели отказались его печатать даже бесплатно: иначе я бы загубил тему, с которой в то время, по молодости лет, не мог справиться. Рукопись этого романа у меня сохранилась, но я не читал его с тех пор, как просмотрел после машинки; не сомневаюсь, что это произведение весьма незрелое. Я еще не отдалился от описываемых событий настолько, чтобы выработать на них разумную точку зрения; со мною еще не произошло многое из того, что впоследствии обогатило новую книгу. Я, кажется,

знаю, почему работа над этим первым романом не помогла мне загнать в подсознание печальные воспоминания, которые легли в его основу: писатель освобождается от своей темы лишь после того, как книга его выходит в свет. Когда книга становится достоянием публики, пусть даже самой неотзывчивой, она уже не принадлежит писателю и тяжелый груз уже не давит ему на плечи. Свою книгу я назвал «Красота вместо пепла» (цитата из пророка Исаии), но, обнаружив, что это заглавие не так давно уже было использовано, выбрал название одной из глав «Этики» Спинозы — «О человеческом рабстве»¹. Книга моя — не автобиография, а автобиографический роман, где факты крепко перемешаны с вымыслом; чувства, в нем описанные, я пережил сам, но не все эпизоды происходили так, как о них рассказано, и взяты они частью не из моей жизни, а из жизни людей, хорошо мне знакомых. Книга эта оправдала надежды, которые я на нее возлагал, и, когда она вышла из печати (в мир, ввергнутый в кровопролитную войну и слишком поглощенный собственными страданиями, чтобы заинтересоваться приключениями вымышленного лица), я навсегда освободился от мучительных и тягостных воспоминаний. Я вложил в нее все, что тогда знал, и, дописав ее наконец, увидел, что можно жить дальше.

ЛII

К тому времени я сильно устал. Устал не только от людей и мыслей, так долго занимавших мой ум, но и от тех людей, среди которых жил, и от самой жизни, которую вел. Я чувствовал, что взял все возможное от того мирка, в котором вращался: успех у зрителей и безбедное существование как результат этого успеха; светскую жизнь, званые обеды у важных персон, блестящие балы и воскресные сборища в их загородных резиденциях; общение с умными и блестящими людьми — писателями, художниками, актерами; легкие связи и необременительную дружбу; комфорт и обеспеченность. Я задыхался в этой жизни и жаждал новой обстановки и новых впечатлений. Но я не знал, где их искать. Я подумывал о том, чтобы уехать из Англии. Я устал от самого себя, и мне казалось, что путешествие в какие-нибудь далекие края поможет мне обновиться. В то

¹ В русском переводе роман называется «Время страстей человеческих».

время многие интересовались Россией, и я носился с мыслью отправиться туда на год, изучить язык, который я уже немножко знал, и проникнуться настроением этой необъятной и таинственной страны. Я думал, что там, возможно, почерпну новые душевные силы. Мне было сорок лет. Если я вообще собирался жениться и обзавестись семьей, то медлить с этим не стоило, и с некоторых пор я забавы ради пробовал иногда представить себя женатым человеком. Ни на ком в частности мне не хотелось жениться. Меня привлекал брак как таковой. Казалось — это необходимый пункт в намеченной мною программе жизни, и в простодушии своем (я был уже не молод и считал себя умудренным в житейских делах, но во многих отношениях все еще был невероятно наивен) я воображал, что брак сулит мне покой: не будет больше треплющих нервы связей, поначалу, может быть, и легких, но чреватых неприятными осложнениями (поскольку в романе ведь участвуют двое, и слишком часто то, что для мужчины удовольствие, для женщины оборачивается трагедией); я смогу писать все, что захочу, не теряя даром драгоценного времени, не отвлекаясь лишними заботами. Покой и упорядоченный, достойный образ жизни. Я искал свободы и думал, что найду ее в браке. Это представление сложилось у меня, когда я еще писал «О человеческом рабстве», и, обратив мечту в вымысел, как это свойственно писателям, я в конце книги нарисовал такой брак, какой мог бы соблазнить меня самого. По мнению большинства читателей, это самая слабая часть книги.

Однако все мои колебания разрешило событие, над которым я не был властен. Разразилась война. Одна глава моей жизни закончилась. Начиналась новая глава.

LIII

У меня был знакомый — член кабинета, и я написал ему с просьбой помочь мне получить работу, после чего был вскоре вызван в военное министерство; но, опасаясь, что меня засадят в какую-нибудь канцелярию в Англии, тогда как мне хотелось поскорее попасть во Францию, я тут же завербовался в автосанитарную часть. Не думаю, чтобы я был патриотом меньше других, но к моему патриотизму примешивалась жажда новых впечатлений, и во Франции я с первого же дня стал вести дневник. Однако работы все прибавлялось, и к концу дня я так уставал, что только о том и мог думать, как бы добраться до постели. Я наслаждался

новой жизнью, в которую так внезапно окунулся, и отсутствием ответственности. Мне, со школьных лет не слышавшему приказаний, приятно было, что мне велят сделать то-то и то-то, а когда все было сделано — знать, что теперь я волен распоряжаться своим временем. Как писатель, я этого никогда не чувствовал; напротив, мне всегда казалось, что нельзя терять ни минуты. Теперь я со спокойной совестью часами просиживал в кафе за разговорами. Мне нравилось встречаться с сотнями людей, и хотя я перестал вести дневник, но бережно копил в памяти их характерные черты. Особой опасности я не подвергался. Мне интересно было, как она на меня подействует. Я никогда не считал себя очень храбрым, да и не видел, зачем мне это нужно. Единственный случай проверить себя представился мне в Ипре, когда на Главной площади снарядом разбило стену, возле которой я за минуту до того стоял, а потом отошел, чтобы поглядеть с другой стороны на разрушенный дом цеха суконщиков; но тут я так удивился, что мне было не до наблюдений над самим собою.

Позже я поступил в органы разведки, где, как мне казалось, мог принести больше пользы, чем управляя (и притом неважно) санитарной машиной. Новая работа давала пищу и моей любви к романтике, и чувству юмора. Методы, какими меня учили спасаться от слежки, тайные встречи с агентами в самых несусветных местах, шифрованные сообщения, передача сведений через границу — все это было, конечно, необходимо, но так напоминало мне дешевые детективные романы, что война в большой мере теряла свою реальность и я поневоле начинал смотреть на свои приключения как на материал, который смогу когда-нибудь использовать. Впрочем, все это было до того старо и избито, что я сильно сомневался в пригодности такого материала. Год я работал в Швейцарии. Работа была сопряжена с разъездами, зима выдалась суровая, а мне по долгу службы приходилось во всякую погоду пересекать на пароходиках Женевское озеро. Со здоровьем у меня было очень неважно. Когда работа в Женеве кончилась, я оказался свободным и отправился в Америку, где в это время готовили к постановке две мои пьесы. Мне хотелось восстановить свое душевное равновесие (по собственной глупости и заносчивости я потерял его в связи с обстоятельствами, о которых нет нужды рассказывать), и я решил уехать в Полинезию. Меня тянуло туда еще с тех пор, как я мальчишкой прочел «Отлив» и «Тайну корабля»¹, а кроме того,

¹ Романы Р. Л. Стивенсона.

хотелось собрать материал для давно задуманного мною романа, основанного на жизни Поля Югена.

Я уехал на поиски красоты и романтики, счастливый тем, что целый океан ляжет между мной и неприятностями, которые меня порядком потрепали. Я нашел и красоту, и романтику, но, кроме того, нашел нечто такое, на что и не рассчитывал: нового себя. С тех самых пор, как я расстался с больницей св. Фомы, я жил среди людей, придававших значение культуре. Я проникся убеждением, что в мире нет ничего важнее искусства. Я искал смысла существования вселенной, и единственным смыслом, какой я мог найти, была красота, время от времени создаваемая человеком. Жизнь моя, казалось бы разнообразная и интересная, в сущности, была ограничена очень узкими рамками. Теперь мне открылся новый мир, и всем своим инстинктом писателя я с упоением стал вбирать его новизну. Не только красота островов меня захватила — к этому меня подготовили Герман Мелвилл и Пьер Лоти, и хоть красота здесь иная, но ей не уступает красота Греции или Южной Италии; и не только легкая, неторопливая жизнь, чуть сдобренная приключениями. Самое интересное было то, что я встречал еще и еще людей, совершенно для меня новых. Я был подобен натуралисту, попавшему в страну с невообразимо богатой фауной. Кое-кого я узнавал: я их помнил по книгам; и теперь они вызывали во мне то же радостное изумление, какое я однажды испытал на Малайском архипелаге, когда увидел на дереве птицу, ранее виденную мною только в зоологическом саду: первой моей мыслью было, что она улетела из клетки. Но встречались и совсем незнакомые, и они волновали меня так же глубоко, как Уоллеса во время его экспедиций — новый вид животного. Общаться с ними оказалось легко. И какие только типы тут не встречались! Впору было растеряться от такого разнообразия, но я уже понаторел в наблюдении над людьми и без особых усилий раскладывал их по полочкам в своем сознании. Культурных людей среди них почти не было. Мы с ними учились жизни в разных школах и пришли к разным выводам. И жили они на другом уровне, причем чувство юмора не позволяло мне по-прежнему считать, что мой уровень выше. Он был просто другой. Если взглядеться повнимательнее, их жизнь тоже складывалась по определенной программе и следовала определенной логике.

Я спустился со своего пьедестала. Мне казалось, что эти люди более живые, чем те, которых я знал до сих пор. Они горели не холодным, рубиновым пламенем,

а жарким, дымным, снедающим огнем. Они тоже были по-своему ограничены. И у них были свои предрассудки. И среди них было много глупых и скучных. Но это меня не смущало. Они были новые. В цивилизованном обществе индивидуальные черты сглаживаются, поскольку люди вынуждены соблюдать известные правила поведения. Культурность — это маска, скрывающая их лица. Здесь люди жили без покровов. Эти разнородные создания, попав в обстановку, еще сохранившую много первобытного, не считали нужным приспособляться к каким-то нормам. Индивидуальность могла здесь раскрываться без помехи. В больших городах люди напоминают камни, насыпанные в мешок: их острые края постепенно стираются, и они становятся гладкими, как галька. У этих людей острые края не стирались. Человеческая природа проявлялась в них более зримо, чем в тех людях, среди которых я так долго прожил, и я всей душой потянулся к ним, как много лет назад — к тем, что приходили на прием в амбулаторию при больнице св. Фомы. Я заполнял записные книжки короткими описаниями их внешности и характеров, и постепенно, начинаясь с намека, с подлинного происшествия или счастливой выдумки, вокруг некоторых из них, наиболее ярких, стали складываться рассказы.

LIV

Я вернулся в Америку, а вскоре за тем меня направили с секретной миссией в Петроград. Я колебался — поручение это требовало качеств, которыми я, как мне казалось, не обладал, но в ту минуту никого более подходящего не нашлось, а моя профессия была хорошей маскировкой для того, чем мне предстояло заниматься. Я был нездоров. Я еще помнил медицину достаточно, чтобы догадаться, чем вызвано кровохарканье, которое меня беспокоило. Рентген подтвердил, что у меня туберкулез легких. Но я не мог упустить случая пожить, и, как предполагалось, довольно долго, в стране Толстого, Достоевского и Чехова. Я рассчитывал, что одновременно с порученной мне работой успею получить там кое-что ценное для себя. Поэтому я не пожалел патристических фраз и убедил врача, к которому вынужден был обратиться, что, принимая во внимание весь трагизм момента, я вправе пойти на небольшой риск. Я бодро пустился в путь, имея в своем распоряжении неограниченные средства и четырех верных чехов для связи с профес-

сором Масариком, направлявшим деятельность около шестидесяти тысяч своих соотечественников в разных концах России. Ответственный характер моей миссии приятно волновал меня. Я ехал как частный агент, которого Англия в случае чего могла дезавуировать, с инструкциями — связаться с враждебными правительству элементами и разработать план, как предотвратить выход России из войны и не дать большевикам при поддержке центральных держав захватить власть. Едва ли нужно сообщать читателю, что миссия моя окончилась полным провалом, и я не прошу мне верить, что, если бы меня послали в Россию на полгода раньше, я бы, может быть, имел шансы добиться успеха. Через три месяца после моего приезда в Петроград грянул гром, и все мои планы пошли прахом.

Я возвратился в Англию. В России я пережил много интересного и довольно близко познакомился с одним из самых удивительных людей, каких мне доводилось встречать. Это был Борис Савинков, террорист, организовавший убийство Трепова и великого князя Сергея Александровича. Но уезжал я разочарованный. Бесконечные разговоры там, где требовалось действовать; колебания; апатия, ведущая прямым путем к катастрофе; напыщенные декларации, неискренность и вялость, которые я повсюду наблюдал, — все это оттолкнуло меня от России и русских. Кроме того, теперь я был не на шутку болен, так как по роду своей деятельности не мог пользоваться прекрасным снабжением, с помощью которого посольство служило родине на сытый желудок, и существовал впроголодь, как и сами русские. (В Стокгольме, где мне пришлось целый день дожидаться истребителя, на котором я должен был переправиться через Северное море, я зашел в кондитерскую, купил фунт шоколада и съел его тут же, на улице.) Из затеи послать меня в Румынию в связи с какими-то польскими интригами ничего не вышло. Я не жалел об этом, потому что кашель вконец меня замучил и повышенная температура не давала спать по ночам. Я пошел к лучшему специалисту, какого мог найти в Лондоне. Он тут же отправил меня в санаторий на север Шотландии, так как попасть в Давос и Санкт-Мориц было в то время сложно, и следующие два года я прожил на положении больного.

Это было чудесное время. Впервые в жизни я узнал, какое блаженство — лежать в постели. Просто поразительно, как интересно можно жить, не вставая с постели, и сколько можно найти себе занятий. Я наслаждался одиночеством в своей комнате с огромным окном, распахнутым

в звездную зимнюю ночь. Она давала мне восхитительное ощущение безопасности, отрешенности от всего и свободы. В ней стояла отрадная тишина. словно вся бесконечность пространства вливалась в нее, и дух мой, один на один со звездами, способен был, казалось, на любые дерзания. Никогда еще воображение мое не работало так живо; оно несло вперед, как парусник при попутном ветре. Однообразные дни, заполненные только чтением и мыслями, сменялись с неимоверной быстротой. Я даже огорчился, что мне разрешили вставать.

В странный мир я вступил, когда поправился настолько, что мог проводить часть дня в обществе других обитателей санатория. Люди эти — некоторые из них провели здесь долгие годы — по-своему были так же необычайны, как те, кого я встречал в Полинезии. Болезнь и ненормальная жизнь под стеклянным колпаком странно на них действовали — извращали, закаляли, портили их характеры, так же как на Самоа или на Таити его портил, закалял или извращал расслабляющий климат и чуждое окружение. В этом санатории я узнал о человеческой природе много такого, чего вне его стен, вероятно, не узнал бы никогда.

LV

Когда я выздоровел, война уже кончилась. Я поехал в Китай. Меня влекло туда, как всякого путешественника, который интересуется искусством и хочет узнать все, что можно, о жизни далекого народа, носителя древней культуры; но, кроме того, меня влекла надежда повидать там всяких людей и знакомством с ними обогатить свой опыт. Надежда эта сбылась. Опять мои записные книжки заполнились описаниями людей и мест и набросками сюжетов, ими подсказанных. Я понял, какую огромную пользу приносят мне путешествия (раньше я лишь смутно это чувствовал). С одной стороны, они давали мне внутреннюю свободу, с другой — целые коллекции персонажей для будущих книг. После этого я побывал во многих странах. Я плывал по разным морям на пароходах люкс, на грузовых суденышках, на парусных шхунах; передвигался поездом, автомобилем, в паланкине, пешком и верхом. И всюду я высматривал интересных, самобытных, диковинных людей. Иногда, приехав на новое место, я чутьем угадывал, что оно сулит мне добычу, и оставался поджидать ее. Если такого чувства не возникало, я сразу ехал дальше. Я не

упускал ни одного случая расширить свой опыт. Когда была возможность, я путешествовал со всем комфортом, какой позволяли мои более чем достаточные средства, считая, что глупо идти на лишения ради лишений; но ни разу, кажется, я не отказался от своих планов потому, что выполнение их было сопряжено с неудобствами или с опасностью.

Осматривать достопримечательности — это не по мне. Столько восторгов уже потрачено на всемирно известные памятники искусства и красоты природы, что я, увидев их воочию, почти не способен восторгаться. Меня всегда пленяли картины попроще: деревянный дом на сваях, приютившийся среди фруктовых деревьев; маленькая круглая бухта, осененная кокосовыми пальмами; бамбуковая рощица у дороги. Меня интересовали люди и их биографии. Сам я стесняюсь завязывать новые знакомства, но, на мое счастье, у меня был спутник, человек на редкость общительный и приветливый; ему ничего не стоило подружиться с первым встречным на пароходе, в клубе, в баре или в гостинице, а через него и я знакомился с несчетным количеством людей, которых иначе наблюдал бы только издали.

Я сближался с ними ровно настолько, насколько это мне было нужно. Их толкала на такое сближение скука или одиночество, желание хоть перед кем-то излить душу, но с очередным отъездом знакомство обрывалось. Оно только потому и могло состояться, что конец его был предрешен. Оглядываясь на эту длинную вереницу, я не могу припомнить никого, кто не сообщил бы мне чего-нибудь интересного. У меня было ощущение, что я стал чувствителен, как фотопластинка. Не важно, насколько правильное впечатление складывалось у меня о том или другом человеке; важно, что с помощью воображения я мог каждого из них отлить в достоверный образ. Это была самая увлекательная игра, какую я знал в жизни.

Много писалось о том, что нет двух одинаковых людей, что каждый человек неповторимо своеобразен. Это отчасти верно, но значение имеет только теоретическое; на практике все люди очень похожи друг на друга. Их можно разделить на сравнительно небольшое количество типов. Одинаковые обстоятельства одинаково на них действуют. По одним их свойствам можно догадаться о других — так палеонтолог восстанавливает вымершее животное по одной его кости. «Характеры» — литературный жанр, известный со времен Теофраста, и «нравы» в литературе семнадцатого столетия доказывают, что люди резко распадаются на несколько категорий. Это и есть основа реализма — он строится на

узнавании. Романтический метод ищет исключительного, реалистический — обычного. Не вполне нормальная жизнь, какую живут люди в странах с первобытным укладом и чуждой для них средой, подчеркивает их обыденность, так что она приобретает своеобразный характер; а уж если они и сами необычны, что, разумеется, бывает, тогда их странности, при отсутствии обычных тормозов, проявляются с такой свободой, какой им не дожидаться в цивилизованном обществе. И тогда мы имеем дело с фигурами, к которым реалисту лучше и не подступаться.

Всякий раз я странствовал до тех пор, пока не начинал замечать, что восприимчивость моя притупилась и при встречах с людьми я уже не могу усилием воображения представить их себе отчетливо и связно. Тогда я возвращался в Англию, чтобы разобраться в своих впечатлениях и отдохнуть, пока не почувствую, что опять способен что-то воспринять. Наконец после седьмого, если не ошибаюсь, путешествия впечатления стали повторяться. Все чаще мне попадались типы, уже встреченные когда-то раньше. Они не возбуждали во мне прежнего интереса. Я пришел к выводу, что исчерпал свою способность субъективно и страстно воспринимать людей, за которыми ездю в такую даль (я ни минуты не сомневался в том, что сам наделяю их тем своеобразием, которое нахожу в них), а стало быть, в дальнейших путешествиях проку не будет. В меня уже стреляли бандиты, два раза я чуть не умер от лихорадки, однажды чуть не утонул. Я рад был вернуться к более упорядоченному образу жизни.

Из каждого путешествия я возвращался немного изменившимся. В молодости я много читал — не потому, что хотел извлечь из чтения пользу, а из любопытства или любознательности; путешествовал я потому, что это меня занимало, а также в поисках материала для будущих книг, — мне не приходило в голову, что новые впечатления воздействуют и на меня самого, и лишь долго спустя я понял, как они изменили мой характер. Сталкиваясь со всеми этими диковинными людьми, я потерял ту гладкость, которую приобрел, когда жил размеренной писательской жизнью, — был одним из камней, насыпанных в мешок. Теперь у меня опять появились острые края. Я стал наконец самим собой. Я отказался от путешествий, когда почувствовал, что они больше ничего не могут мне дать. Дальше меняться мне было некуда. Спесь культуры слетела с меня. Я принимал мир таким, как он есть. Я ни от кого не требовал больше, чем мог получить. Я научился терпимости. То, что было в людях хорошего, радовало меня; то, что в них было дурного, не

приводило в отчаяние. Я обрел душевную независимость. Я научился идти своим путем, не заботясь о том, что обо мне думают. Я хотел свободы для себя и готов был предоставить ее другим. Легко смеяться и пожимать плечами, когда люди поступают скверно с кем-то еще; когда поступают скверно с тобой, это гораздо труднее. Мне это удавалось. Вывод, к которому я пришел по поводу большинства людей, я вложил в уста человека, встреченного мною на пароходе в Южно-Китайском море: «Свое мнение о роде человеческого я изложу тебе в двух словах, братец,— говорит он у меня.— Сердце у людей правильное, а вот голова никуда не годится».

LVI

Я всегда давал материалу отстояться у меня в мозгу, прежде чем перенести его на бумагу, и первый из тех рассказов, для которых я делал заготовки в Полинезии, был написан лишь через четыре года после того, как я там побывал. До этого я долго не писал рассказов. С них я начал свою литературную карьеру, и третьей моей книгой был сборник из шести рассказов—очень плохих. После этого я время от времени пытался писать для журналов; агенты мои охотились за юмористикой, но это было не по моей части: я писал вещи мрачные, негодующие или сатирические. Мои попытки угодить редакторам и тем заработать немного денег редко удавались. Первый рассказ, который я написал после большого перерыва, назывался «Дождь», и поначалу казалось, что ему посчастливится не больше, чем моим ранним рассказам: один редактор за другим отказывались его печатать. Но теперь это меня не смущало, и я продолжал писать. Когда были готовы шесть рассказов—все они рано или поздно попали в журналы,—я издал их отдельной книгой. Она имела неожиданный успех, что очень меня порадовало. Мне полюбился этот жанр. Приятно бывало прожить две-три недели в обществе своих персонажей, а затем расстаться с ними. Они не успевали мне надоесть, что часто случается, когда в течение долгих месяцев работаешь над романом. Самый объем рассказа—примерно 12 000 слов—позволял достаточно полно развить тему, но при том требовал сжатости, которой я привык добиваться, когда писал пьесы.

Мне не повезло в том смысле, что я всерьез взялся за жанр рассказа в такое время, когда лучшие писатели

Англии и Америки подпали под влияние Чехова. Литературному миру недостает чувства пропорций — когда он чем-нибудь увлечется, он склонен считать это не модой, а непреложным законом, и вот сложилось мнение, что всякий одаренный человек, который хочет писать рассказы, должен писать так, как Чехов. Несколько писателей создали себе имя тем, что пересаживали русскую тоску, русский мистицизм, русскую никчемность, русское отчаяние, русскую беспомощность, русское безволие на почву Суррея или Мичигана, Бруклина или Клепема. Нужно признать, что подражать Чехову нелегко. Я на горьком опыте убедился, что десятки русских эмигрантов делают это очень ловко; говорю — на горьком опыте, потому что они присылают мне свои рассказы на предмет исправления английского языка, а потом обижаются на меня, если я не могу получить для них много денег от американских журналов. Чехов превосходно писал рассказы, но талант его не был универсален, и он благоразумно держался в пределах своих возможностей. Он не умел построить сжатую драматическую новеллу, из тех, что можно с успехом рассказать за обедом, как «Ожерелье» или «Наследство»¹. Человек он был, видимо, бодрый и энергичный, но творчество его отмечено унынием и грустью, и ему как писателю претил насыщенный действием сюжет и всякое излишество. Его юмор, зачастую такой горестный, — это реакция болезненно чувствительного человека на непрестанное, мучительное раздражение. Он видел жизнь в одном цвете. Персонажи его не отличаются резко выраженной индивидуальностью. Как люди они его, видимо, не очень интересовали. Может быть, именно поэтому он способен создать впечатление, будто между ними нет четких границ и все они сливаются друг с другом как некие мутные пятна; способен внушить вам чувство, что жизнь непонятна и бессмысленна. В этом и состоит его неповторимое достоинство. И этого-то как раз не уловили его подражатели.

Я не знаю, сумел бы я или нет писать рассказы в манере Чехова. Мне этого не хотелось. Мне хотелось строить свои рассказы крепко, на одной непрерывной линии от экспозиции до концовки. Рассказ я понимал как изложение одного события материального или духовного порядка — изложение, которому можно придать драматическое единство, исключив из него все, что не необходимо для прояснения смысла. Я не боялся того, что принято называть «изюмин-

¹ Новеллы Мопассана.

кой». Мне казалось, что она предосудительна лишь в том случае, если неправомерна, и ополчились на нее лишь потому, что слишком часто она вводится искусственно, для внешнего эффекта, а не вытекает логически из сути рассказа. Короче говоря, я предпочитал кончать свои рассказы не многоточием, а точкой.

Этим, вероятно, и объясняется, почему во Франции они получили более высокую оценку, чем в Англии. Наши знаменитые романы бесформенны и громоздки. Англичанам нравится углубляться в эти огромные, расплывшиеся, задушевные произведения; самая рыхлость композиции, неторопливое изложение разветвленного сюжета, множество любопытных персонажей, которые то появляются, то исчезают и, в сущности, почти не связаны с главной темой,— все это порождает у английского читателя ощущение сходства с жизнью. Но у французов эти же качества вызывают чувство протеста. Когда Генри Джеймс стал читать англичанам проповеди о форме романа, они слушали с интересом, но мало что изменили в своей практике. Дело в том, что к форме они относятся подозрительно. Она их стесняет, не дает свободно дышать; им кажется, что, если писатель решит втиснуть материал в какие-то твердые рамки, жизнь ускользнет у него между пальцами. Французский критик требует, чтобы у литературного произведения было начало, середина и конец; чтобы сюжет развивался четко, вплоть до своего логического завершения; и чтобы все вам рассказанное служило раскрытию темы. Раннее знакомство с Мопассаном, школа драматургии, которую я прошел, а может быть, и личная склонность помогли мне, как видно, овладеть чувством формы, удовлетворяющим французов. Во всяком случае, они не упрекают меня ни в сентиментальности, ни в многословии.

LVII

Лишь очень редко жизнь предлагает писателю готовый сюжет. Мало того, факты ему часто мешают. Они дают толчок его воображению, но в дальнейшем влияние их может оказаться вредным. Классический пример тому — «Красное и черное». Это очень крупное произведение, но почти все согласны в том, что конец его слабее всего остального. И это очень понятно. Поводом для написания романа послужило Стендалю происшествие, в свое время наделавшее много шума: молодой семинарист убил свою

любовницу, предстал перед судом и был казнен. Но Стендаль вложил в своего героя Жюльена Сореля не только многое от самого себя, но еще больше от того человека, каким он хотел бы быть и, к великому своему огорчению, не был. Он создал одного из самых интересных литературных героев, и герой этот на протяжении трех четвертей романа ведет себя последовательно и правдоподобно. Но затем автору пришлось вернуться к фактам, которые подсказали ему книгу. А это он мог сделать, только заставив своего героя действовать несообразно с его характером и с его умом. Переход настолько резок, что перестаешь верить, а когда книге не веришь, она уже не захватывает. Вывод: если факты не соответствуют логике характера, не следует бояться выкинуть факты за борт. Я не знаю, как именно Стендаль мог бы закончить свой роман; но думаю, что из всех возможных концов он выбрал самый неудовлетворительный.

Меня осуждали за то, что я списывал своих персонажей с живых людей,—судя по отзывам критики, можно подумать, будто до меня никто этого не делал. Это чепуха. Так делают все писатели. С тех пор как возникла литература, всегда существовали прототипы. Ученые, кажется, выяснили, как звали жирного обжору, с которого Петроний писал своего Тримальхиона, а шекспироведы отыскивали подлинного судью Шеллоу. Порядочный, добродетельный Вальтер Скотт дал очень злой портрет своего отца в одной книге и гораздо более привлекательный—в другой, когда резкость его суждений с годами смягчилась. В рукописях Стендаля найден перечень людей, послуживших ему материалом; Диккенс, как известно, писал мистера Микобера со своего отца, а Харольда Скимпола—с Ли Ханта. Тургенев говорил, что вообще не мог бы создать литературный образ, если бы не отталкивался всякий раз от живого человека. Я подозреваю, что, когда писатели отрицают, что пишут с живых людей, они обманывают себя (а это вполне вероятно, поскольку можно писать очень хорошие романы, не обладая большим умом) или обманывают нас. Если же они говорят правду и действительно не имели в виду какого-нибудь определенного человека, то персонажи их, как мне кажется, рождены скорее не творческим инстинктом, а памятью. Сколько раз встречали мы д'Артаньяна, миссис Прауди, архидиакона Грэнтли, Джейн Эйр и Жерома Куаньяра под другими именами и в другой одежде! Я бы сказал, что писать персонажей с натуры не только обычно, но необходимо, и стыдиться здесь писателю решительно

нечего. Как сказал Тургенев, только если имеешь в виду определенного человека, можно придать своему творению и живость, и свежесть.

А что это наше творение, на этом я настаиваю. Мы очень мало знаем даже о самых близких нам людях — уж конечно, недостаточно для того, чтобы они выглядели живыми, если целиком перенести их на страницы книги. Людей нельзя копировать; они слишком зыбки и расплывчаты, а с другой стороны — слишком непоследовательны и противоречивы. Писатель не копирует свои оригиналы; он берет от них то, что ему нужно, — отдельную черту, привлекающую его внимание, склад ума, поразивший его воображение, — и из этого строит характер. Он вовсе не стремится нарисовать похожий портрет; он стремится создать что-то достоверное и пригодное для его целей. Иногда он уходит очень далеко от оригинала; и в результате многие писатели, вероятно, слышали обвинения в том, что они изобразили такого-то или такую-то, когда они имели в виду совсем другого человека. К тому же писатель отнюдь не всегда выбирает себе натуру среди своих близких знакомых. Иногда ему достаточно один раз увидеть человека в ресторане или поговорить с ним четверть часа в курительной комнате на пароходе. Все, что ему нужно, — это первый камень фундамента, на котором он затем может строить, используя свой жизненный опыт, знание людей и интуицию художника.

Все это было бы очень хорошо, если бы не обидчивость тех лиц, которые служат художнику натурой. Человеческое самомнение так безмерно, что люди, у которых есть знакомый писатель, вечно высматривают себя в его книгах, а когда им удастся внушить себе, что тот или иной персонаж списан с них, они бывают оскорблены до глубины души, обнаружив в нем какие-нибудь несовершенства. Они вечно подмечают недостатки своих друзей и высмеивают их причуды, но в своем невероятном эгоизме не могут примириться с тем, что и сами не свободны от недостатков и причуд. А закадычные их друзья еще подливают масла в огонь, с притворным сочувствием возмущаясь якобы нанесенной им обидой. Не обходится тут, конечно, и без обмана. Вероятно, я не единственный писатель, на которого сыпались проклятия женщин, заявлявших, что я гостил у них и вместо благодарности за гостеприимство вывел их в книге, когда на самом деле я не только никогда у них не гостил, но даже не знал о их существовании. Так тщеславны эти бедняги и так пуста их жизнь, что они нарочно отождествляют себя с какой-нибудь дрянью,

чтобы в своем крошечном мирке создать себе скандальную славу.

Иногда писатель, оттолкнувшись от самого заурядного человека, создает фигуру благородную, сдержанную и мужественную. Значит, он усмотрел в этом человеке значительность, которая ускользнула от окружающих его. В таких случаях, как ни странно, прототип остается неузнанным; но стоит вам изобразить человека с пороками или смешными недостатками, как ему дают имя и фамилию. Из этого я принужден был сделать вывод, что недостатки своих друзей мы знаем гораздо лучше, чем их достоинства. Писателем редко движет желание кого-то обидеть, и он всеми доступными ему средствами оберегает свою натуру; он переселяет своих персонажей в другую часть света, дает им другие средства к существованию, порой переводит в другой круг общества; гораздо труднее для него изменить их внешность. Физический облик человека отражается на его характере, и, с другой стороны, характер, хотя бы в самых общих чертах, проявляется во внешности. Нельзя убавить человеку рост, а в остальном сохранить его без изменений. Высокий рост заставляет человека по-иному смотреть на мир, а значит, меняет его характер. Точно так же нельзя, чтобы замести следы, превратить миниатюрную брюнетку в крупную блондинку. Внешность приходится оставлять более или менее в неприкосновенности, иначе разрушится то, что и заинтересовало вас как писателя. Но ни один человек не вправе сказать о персонаже из книги: это я. Он может только сказать: я навел писателя на мысль об этом персонаже. Если у него есть хоть капля здравого смысла, это его не оскорбит, а заинтересует, причем выдумка и интуиция автора, возможно, заставят его увидеть в себе много такого, о чем ему бесполезно знать.

LVIII

Я не питаю иллюзий относительно своего места в литературе. В Англии только два критика с именем дали себе труд принять меня всерьез, а способные молодые люди, пишущие статьи о современной литературе, никогда обо мне не упоминают. Я не в претензии. Это очень естественно. Я никогда не занимался пропагандой. Круг читателей за последние тридцать лет невероятно разросся, и появилась масса необразованных людей, жаждущих знаний, какие можно приобрести без большой затраты труда. Они вооб-

ражали, что чему-то учатся, читая романы, в которых персонажи высказывались по злободневным вопросам. Сведения, которые они таким образом получали, усваивались тем легче, что были кое-где пересыпаны объяснениями в любви. Установилась точка зрения на роман как на удобную трибуну для распространения идей, и немало писателей были согласны принять на себя руководство общественной мыслью. Их романы были не столько литературой, сколько публицистикой. Они имели познавательную ценность: плохо то, что очень скоро читать их становилось так же невозможно, как позавчерашнюю газету. Но чтобы удовлетворить любознательность несметного числа новых читателей, за последнее время стали выпускать множество книг, в популярной форме излагающих вопросы науки, просвещения, социального обеспечения и другие. Огромный успех этих изданий убил роман пропаганды. Но понятно, что, пока он был в моде, он казался гораздо более значительным, а стало быть, и вызывал больше откликов, чем роман характеров и приключений.

Затем авторитетные критики и серьезные читатели стали интересоваться главным образом теми писателями, в чьих книгах они усматривали новые технические приемы; и это тоже понятно, потому что новые приемы придавали свежести затасканному материалу и могли стать предметом оживленного обсуждения.

Мне кажется странным, что этому уделяют так много внимания. Остроумный метод, который Генри Джеймс изобрел и довел до высокой степени совершенства,— пропускать свой рассказ через восприятие наблюдателя, который и сам участвует в действии,— позволил ему добиваться драматического эффекта, очень ценимого им, и правдоподобия, дорогого сердцу писателя, испытавшего на себе сильное влияние французских натуралистов, а также обойти некоторые трудности, с которыми сталкиваются авторы, когда пишут с позиций всевидящего и всезнающего рассказчика. То, что было этому наблюдателю неизвестно, могло и для читателя оставаться тайной. Но все это было лишь небольшим видоизменением автобиографической формы романа, которая обладает многими из тех же преимуществ, и говорить об этом как о некоем открытии в эстетике немножко смешно.

Из других экспериментов наиболее важным было введение в литературу потока сознания. Писателей всегда привлекали философы, обладающие эмоциональной силой воздействия и не слишком трудные для понимания. Они бредили по очереди Шопенгауэром, Ницше и Бергсоном.

Разумеется, они не могли не увлечься и психоанализом. Он открывал для писателя большие возможности. Писатель знал, что лучшим из того, что он пишет, он в большой мере обязан собственному подсознанию, и соблазнительно было исследовать новые глубины характера, рисуя воображаемую картину подсознания у вымышленных им персонажей. Это был ловкий и занятный фокус, но не более. Когда писатели, вместо того чтобы прибегать к нему изредка, как к ироническому, драматическому или объяснительному приему, клали его в основу своего произведения, это получалось скучно. Я предвижу, что общая литературная техника вберет в себя то, что есть полезного в этом и подобных приемах, но произведения, в которых он был введен впервые, очень скоро перестанут вызывать интерес. Те, кто увлекался этими курьезными экспериментами, сдаются мне, упустили из виду, что по своему содержанию книги, в которых они используются, на редкость мелки. Так и кажется, что авторов толкнуло на эти выверты тревожное сознание собственной пустоты. Люди, описанные столь изоциренно, по существу, совершенно неинтересны, а тема незначительна. И это естественно. Автор только тогда пускается на технические ухищрения, когда не захвачен своей темой. Когда же он одержим темой, у него остается мало времени, чтобы думать о том, как бы помудренее выразиться. Так, в XVII веке писатели, устав от умственного напряжения Ренессанса и отстраненные деспотизмом королей и господством церкви от решения серьезных проблем жизни, обратились к гонгоризму, кончеттизму и прочим игрушкам¹. Возможно, что интерес, проявляемый в последние годы к техническому экспериментированию в искусстве,— это показатель упадка нашей культуры; темы, казавшиеся важными в XIX веке, перестали интересовать, а с другой стороны, художники еще не видят, чем будет жить поколение, призванное создавать культуру, которая идет ей на смену.

LIX

Меня несколько не удивляет, что литературный мир придает мало значения моей работе. Как драматург я прекрасно укладывался в традиционные формы. Как прозаик

¹ Гонгоризм (по имени испанского писателя Луиса де Гонгора) и кончеттизм (от *ит.* «кончетти» — фокусы, штучки) — претенциозный, искусственный литературный стиль.

я восхожу, через несчетные поколения, к тем, кто рассказывал сказки у костра в пещере неолитического человека. Мне было о чем рассказать, и мне было интересно рассказывать. Никаких других целей я себе не ставил. На мое горе, интеллигенция за последнее время прониклась презрением к сюжету. Я прочел много книг о литературном мастерстве, и везде фабуле отводится самое скромное место. (Замечу мимоходом, что мне непонятно, почему некоторые теоретики так подчеркивают различие между сюжетом и фабулой. Фабула — это попросту костяк, на котором строится сюжет.) Если верить этим книгам, для культурного автора сюжет — только помеха, уступка низменным вкусам публики. В самом деле, иногда может показаться, что лучший романист — это эссеист и что хорошие рассказы писали только Хэзлитт и Чарлз Лэм.

Но людям всегда доставляло радость слушать интересные истории — так же как смотреть на танцы и пантомиму, из которых родился театр. О том, что потребность в этом сохранилась и по сей день, свидетельствует успех детективных романов. Их читают самые высокоинтеллектуальные люди — со снисходительной усмешкой, но все же читают; а почему бы им это делать, если не потому, что психологические, педагогические, психоаналитические романы — единственные, признаваемые ими в теории, — не удовлетворяют именно этой их потребности? Немало способных писателей, у которых голова полна превосходных мыслей и есть талант к тому, чтобы создавать живые образы, понятия не имеют, что с ними делать после того, как они созданы. Они не умеют выдумать достоверный сюжет. Как и все писатели (а каждый писатель немножко обманщик), они возводят свои недостатки в достоинство и либо говорят читателю, что фабулу он может вообразить сам, либо ругают его за неуместное любопытство. Они утверждают, что в жизни истории не имеют конца, ситуации не разрешаются, нити повисают в воздухе. Это не всегда верно — смерть, во всяком случае, заканчивает все наши истории; но даже будь это так, довод их несостоятелен.

Ведь писатель называет себя художником, а художник не копирует жизнь, он komponует ее сообразно своему замыслу. Как живописец мыслит кистью и красками, так писатель мыслит сюжетом. Его мировоззрение (хоть он может и не сознавать этого), самая его личность существуют как цепь человеческих поступков. Оглядываясь на искусство прошлого, трудно не заметить, что художники редко прида-

вали большое значение сходству с жизнью. Обычно они использовали жизнь как условную декорацию, а непосредственно копировали ее лишь время от времени, когда воображение заводило их слишком далеко и ощущалась потребность возврата к первоисточнику. Применительно к живописи и скульптуре можно даже сказать, что очень большое приближение к жизни всегда означало упадок той или иной школы. Скульптуры Фидия уже предвещают скуку Аполлона Бельведерского, «Чудо в Больсано» Рафаэля — пресную безвкусицу Бугеро. А новых сил искусство может набраться, лишь навязав природе новую условность.

Но это — между прочим.

Читателю, естественно, хочется знать, что случилось с людьми, которыми он заинтересовался, и фабула — средство удовлетворить это его желание. Хорошо построить сюжет — очень нелегкое дело, но из этого не следует, что сюжет вообще достоин презрения. Он должен быть связным и достаточно достоверным по отношению к данной теме; должен давать простор для развития характеров, поскольку это — основная задача современной литературы; и он должен быть законченным, так чтобы, когда автор развернет его до конца, ни у кого уже не возникало вопросов относительно лиц, которые в нем участвовали. Подобно трагедии Аристотеля, он должен иметь начало, середину и конец. Главного назначения сюжета многие как будто вовсе не учитывают. Состоит оно в том, что сюжет позволяет направлять интерес читателя. А это, возможно, самое важное в литературном мастерстве, потому что, только направляя интерес читателя, автор ведет его за собой от страницы к странице и может внушить ему нужное настроение. Автор всегда немножко передергивает, но он не должен допускать, чтобы читатель это заметил, а умело построенная фабула позволяет так крепко завладеть вниманием читателя, что тот и не догадается, какому подвергся насилию. Я пишу не трактат о теории прозы, поэтому мне нет нужды перечислять приемы, какими писатели достигают этой цели. Но какого успеха можно добиться, направляя интерес читателя, и как опасно им пренебрегать, ясно видно из сравнения «Чувства и чувствительности» и «Воспитания чувств». Джейн Остен так уверенно ведет за собой читателя по нехитрым перипетиям сюжета, что он и не задумывается о том, что Элинор — ханжа, Марианна — дура, а все трое мужчин — манекены. Флобер же, стремясь к предельной объективности, так мало направляет интерес читателя, что

последний остается совершенно равнодушен к судьбе героев. В результате эта его книга очень трудно читается. Едва ли найдется другой роман, который при стольких достоинствах оставлял бы такое смутное впечатление.

LX

Когда мне шел третий десяток, критики отмечали, что я груб, после тридцати лет они меня корили за дерзость, после сорока — за цинизм, после пятидесяти — за то, что я сведу в своем деле, а теперь, когда мне перевалило за шестьдесят, они меня называют поверхностным. А я шел своим путем, следуя линии, которую себе наметил, и стараюсь с помощью моих книг выполнить задуманную программу. Мне кажется, что те писатели, которые не читают критики, поступают неразумно. Очень полезно приучить себя невозмутимо выслушивать и хвалы и ругань. (Ведь легко пожимать плечами, когда тебя называют гением, но куда труднее сохранить душевное равновесие, когда тебе дают понять, что ты болван.) История критики учит нас, что критик-современник может ошибаться. Совсем не просто решить, в какой степени писатель обязан считаться с его мнением. К тому же мнения эти так разноречивы, что писателю очень трудно судить по ним о своих заслугах. В Англии есть тенденция смотреть на роман свысока. Критика серьезно занимается мемуарами третьестепенного политического деятеля или биографией куртизанки, а полдюжины романов обозреватель разбирает скопом, да и то сплошь и рядом лишь с целью поострить на их счет. Все дело в том, что для англичан познавательная ценность книги выше, чем художественная. Именно поэтому писателю трудно извлечь из критики что-нибудь полезное для собственного развития.

Большое несчастье для английской литературы, что в XX веке у нас не было ни одного критика калибра Сент-Бёва, Мэтью Арнолда или хотя бы Брюнетьера. Правда, такой критик не стал бы много заниматься современной литературой, и даже в лучшем случае его критика, если судить по трем упомянутым мною именам, не принесла бы прямой пользы современным писателям. Ибо Сент-Бёв, как известно, завидовал успеху определенного рода, которого сам он тщетно добивался, и это мешало ему справедливо судить о своих современниках; а Мэтью Арнолд проявил такой недостаток вкуса, говоря о французских писателях

своего времени, что и английским писателям, вероятно, повезло бы не больше. Брюнетьеру не хватало терпимости; он подходил к автору с жесткой меркой и не способен был увидеть достоинства тех писателей, чьим целям не сочувствовал. Свой престиж он завоевал не столько талантом, сколько силой характера. И все же критик, по-настоящему радеющий о литературе, может принести писателям пользу; даже если он их больно задевает, они уже из одного чувства протеста пытаются лучше осмыслить свои цели. Он может расшевелить их, заставить более сознательно добиваться совершенства и, следуя его примеру, серьезнее относиться к собственному труду.

Платон в одном из своих диалогов пытался, видимо, доказать невозможность критики; на самом же деле он только показал, к какой нелепости приводит иногда сократический метод. Существует критика безусловно никчемная — та, которой критик хочет вознаградить себя за унижения, испытанные им в юности. Для него критика — средство вернуть себе самоуважение. В школе, не умея приноровиться к нормам этого узкого мирка, он получал пинки и колотушки; теперь, ставши взрослым, он сам раздает пинки и колотушки, чтобы отомстить за свои обиды. Ему важно не то, как на него действует разбираемое произведение, а то, как он это произведение разбирает.

Сейчас авторитетный критик нужен больше, чем когда-либо, потому что все виды искусства безнадежно перепутались. Композиторы рассказывают повести, живописцы пускаются в философию, писатели проповедуют; поэты, наскучив поэтической гармонией, пытаются приспособить свои стихи к гармонии прозы, а прозаики пытаются навязать прозе поэтические ритмы. Очень нужно, чтобы кто-то снова определил отличительные качества всех искусств и указал заблудившимся, что такие эксперименты могут лишь еще больше их запутать. Трудно ожидать, чтобы нашелся человек, одинаково компетентный во всех искусствах; но, поскольку спрос рождает предложение, мы все же вправе надеяться, что скоро появится критик, достойный занять место Сент-Бёва и Мэтью Арнолда. Он мог бы сделать очень много. Не так давно я прочел две или три книги, где утверждается, что критику можно возвести в точную науку. Они меня не убедили. На мой взгляд, критика — сугубо личное дело, и ничего плохого в том нет, если критик — значительная личность. Опасно только, если свою работу он считает творчеством. Его задача — направлять, оценивать, указывать новые творческие пути, но если он будет считать

себя художником, то и заниматься будет больше творчеством — самым увлекательным видом человеческой деятельности, — нежели своими непосредственными задачами. Критику очень полезно написать пьесу, роман, десяток стихотворений — ничто другое не даст ему такого знания литературной техники; но великим критиком он будет, только если поймет, что творчество — не его удел. Отчасти наша критика так бесполезна именно потому, что ею между делом занимаются поэты и прозаики. Вполне естественно, что, по их мнению, писать стоит только так, как пишут они сами. Великого критика должны отличать не только универсальные знания, но и всеобъемлющая доброжелательность, притом основанная не на равнодушии, которое делает людей терпимыми к тому, до чего им нет дела, а на активной любви к разнообразию. Он должен быть психологом и физиологом, чтобы понимать связь первоэлементов литературы с мозгом и телом человека, и он должен быть философом, так как философия научит его спокойствию и беспристрастности и заставит помнить, что все человеческое — преходяще. Ему мало знать свою родную литературу. Основываясь на изучении прошлого, внимательно следя за литературой других стран, он будет ясно представлять себе течения и пути развития современной литературы, и это позволит ему с пользой направлять работу своих соотечественников. Он должен опираться на традицию, поскольку традиция отражает особенности, присущие литературе той или иной страны, и в то же время всячески поощрять развитие этой традиции в естественном для нее направлении, помня, что традиция — это не оковы, а путеводная звезда. Он должен быть тверд, терпелив и увлечен. Каждая новая книга должна быть для него захватывающим переживанием; он подходит к ней во всеоружии своей эрудиции и силы своего характера. Словом, большой критик должен быть большим человеком. И, как большой человек, он должен примириться с тем, что работа его, при всем своем огромном значении, имеет лишь преходящую ценность; потому что главная его заслуга — откликаться на запросы своего времени и указывать путь своему поколению. А потом приходит новое поколение с другими запросами, открываются новые пути; и тогда ему уже больше нечего сказать, и его, вместе с его трудами, отправляют на свалку.

Для того чтобы, предвидя такой конец, все же посвятить свою жизнь литературной критике, нужно твердо верить, что литература — один из важнейших видов деятельности человека.

Писатель испокон веков утверждает, что так оно и есть, и вдобавок еще утверждает, что он — не такой, как другие люди, а стало быть, не обязан подчиняться их правилам. «Другие люди» встречают подобное заявление руганью, насмешками и презрением. На это писатель реагирует разное, смотря по своему характеру. Иногда он всячески подчеркивает свое отличие от тех, кого называет «толпой», и, чтобы эпатировать буржуа, щеголяет в красном жилете, как Теофиль Готье, или, как Жерар де Нерваль, водит по улицам омара на розовой ленточке; иногда он для смеха притворяется таким, как все, и, подобно Браунингу, чувствуя себя поэтом, рядится в одежды процветающего банкира. Возможно, что и в каждом из нас перемешано несколько исключаящих друг друга индивидуумов, но писатель, художник ясно это ощущает. У «других людей», в силу их образа жизни, та или другая их сторона перевешивает, а все остальные исчезают или задвигаются далеко в подсознание. Но живописец, писатель, святой всегда ищет в себе новых граней; ему скучно повторяться, и он, может быть бессознательно, старается уберечься от односторонности. Ему не грозит опасность стать существом последовательным и цельным.

«Другие люди» бывают оскорблены до глубины души, обнаружив несоответствие между жизнью художника и его творчеством. Они просто не в состоянии примирить одухотворенную музыку Бетховена с его скверным характером, божественные экстазы Вагнера с его эгоизмом и нечестностью, нравственную нечистоплотность Сервантеса с его нежностью и великодушием. Иногда, в порыве негодования, они пытаются себя убедить, что и произведения таких людей не столь замечательны, как им казалось. Они ужасаются, узнав, что чистые, благородные поэты оставили после себя много непристойных стихов. Им начинает казаться, что все с самого начала было ложью. «Какие же это подлые обманщики!» — говорят они. Но в том-то и дело, что писатель — не один человек, а много. Потому-то он и может создать многих, и талант его измеряется количеством ипостасей, которые он в себе объединяет. Если какой-нибудь характер получился у него неубедительным, это объясняется тем, что в нем самом нет ничего от этого человека; ему пришлось положиться на свои наблюдения, а значит, он только описал, но не родил. Писатель не сочувствует, он чувствует за других. Он испытывает не симпатию (которая

слишком часто вырождается в сентиментальность), а то, что психологи называют эмпатией. Именно потому, что Шекспир был наделен ею так щедро, он из всех литературных гениев и самый живой, и самый несентиментальный. Кажется, Гете первым среди писателей осознал свою многоликость, и это открытие всю жизнь его беспокоило. Он вечно сравнивал себя как писателя и как человека, безуспешно стараясь примирить их между собой. Но художник и «другие люди» стремятся к разным целям: цель художника — творчество, цель других людей — непосредственное действие. Поэтому и взгляд на жизнь у художника особый. Психологи говорят нам, что для обыкновенного человека образ менее ярок, чем ощущение. Для него это — опосредствованный опыт, осведомляющий о предметах, познаваемых чувством, и в мире чувств служащий руководством к действию. Мечты обыкновенного человека удовлетворяют его эмоциональные потребности и выполняют желания, которые в мире действия не сбываются. Но они — лишь бледные тени действительной жизни, и в глубине души он сознает, что в мире чувств — иная шкала ценностей. Не то писатель. Для него образы, свободные мысли, толпящиеся у него в мозгу, — не руководство, а материал для действия. Они ничуть не менее яркие, чем ощущения. Его мечты для него так значительны, что туманным представляется уже чувственный мир, и писателю приходится усилием воли к нему тянуться. Его воздушные замки не бесплотные призраки, а настоящие замки, в которых он живет.

Эгоизм писателя безграничен; так оно и должно быть — ведь он по природе солипсист, и мир существует лишь для того, чтобы служить объектом его творчества. Писатель не весь целиком участвует в жизни и общечеловеческие чувства испытывает не всем своим существом, потому что он при любых обстоятельствах не только актер, но и наблюдатель. Поэтому он часто кажется бессердечным. Женщины проницательны — они его остерегаются; их тянет к нему, но они инстинктивно чувствуют, что никогда не смогут до конца подчинить его себе, как им бы хотелось, — какая-то часть его всегда от них ускользнет. Разве не рассказал нам Гете, великий любовник, как он сочинял стихи в объятиях любимой и музыкальными пальцами тихонько отстукивал стопы своих гекзаметров на ее прелестной спинке? Жить с художником несладко. Он может быть вполне искренен в своем чувстве, и все же в нем сидит кто-то другой, кто нет-нет да и высмеет это чувство. Он ненадежен.

Но боги, раздавая свои дары, никогда не обходятся без подвоха, и самая многоликость писателя, позволяющая ему, подобно богам, создавать людей, мешает ему достигать в создании их совершенной правды. Реализм — понятие относительное. Писатель, какой он ни будь реалист, фальсифицирует своих героев, когда пропускает их через свое восприятие. Он наделяет их бóльшим самосознанием, делает более рассудочными и сложными, чем на самом деле. Он влезает в их шкуру, пытаясь изобразить их как обыкновенных людей, но это ему никогда до конца не удастся: то самое, чем обусловлен его талант, благодаря чему он — писатель, не дает ему понять, что такое обыкновенные люди. Он не достигает правды, а всего лишь транспонирует свою личность. И чем больше его талант, чем ярче выражена его индивидуальность, тем более фантастична нарисованная им картина жизни. Порой мне кажется, что, если потомство захочет узнать, что представлял собою сегодняшней мир, оно обратится не к тем писателям, чье своеобразие так импонирует современникам, а к писателям посредственным, чья заурядность позволила им описать свое окружение более достоверно. Я не буду их называть, поскольку люди, даже если им обеспечено признание будущих поколений, не любят, чтобы их зачисляли в посредственности. Но мне кажется бесспорным, что картина жизни в романах Энтони Троллопа представляется более правдивой, чем у Чарлза Диккенса.

LXII

Временами писатель должен себя спрашивать, имеют ли его книги ценность для кого-нибудь, кроме него самого, и вопрос этот, пожалуй, тем более важен сейчас, когда мир стал ареной небывалых (так нам, во всяком случае, кажется) тревог и страданий. Для меня этот вопрос имеет особое значение, потому что я никогда не хотел быть только писателем — я стремился к полноте жизни. Мне не давало покоя, что мой долг перед самим собой — принимать хотя бы самое скромное участие в общественных делах. По характеру своему я бы рад был держаться от них как можно дальше, и даже в комитетах, организованных для проведения каких-нибудь общественных начинаний, я всегда заседал с великой неохотой. Я полагал, что всей жизни недостаточно, чтобы научиться хорошо писать, и жаль было тратить на другую работу время, столь нужное для достижения моей

заветной цели. Мне никогда не удавалось внушить себе, что на свете есть важные дела и помимо литературы. И все-таки, когда миллионы людей на земле голодают, когда свобода на больших пространствах населенного мира гибнет или уже погибла, когда вслед за опустошительной войной потянулись годы, в течение которых счастье было недоступно большинству человечества, когда люди предаются отчаянию, потому что не видят смысла в жизни, а надежда, веками дававшая им силы, чтобы терпеть ее тяготы, обратилась пустой иллюзией,—в такое время трудно не задуматься над тем, много ли проку в писании романов, рассказов и пьес. Я могу сказать на это одно: некоторые из нас так созданы, что просто не способны ни на что иное. Мы пишем не потому, что нам так хочется; мы пишем потому, что не можем иначе. Возможно, в мире есть и более неотложная работа; но мы — мы должны освободить свою душу от бремени творчества. Мы играем на кифаре, пока Рим горит. Нас могут презирать за то, что мы не спешим на помощь с ведрами, но мы бессильны: мы не умеем управляться с ведром. А кроме того, пожар захватывает нас как зрелище и рождает у нас в уме слова и фразы.

Однако время от времени писатели занимались политикой. На их писаниях это отзывалось как нельзя более вредно. К тому же я не замечал, чтобы им удавалось существенно повлиять на ход событий. Единственное исключение, какое я могу припомнить,—это Дизраэли; но для него, скажем прямо, писательство было не самоцелью, а средством сделать политическую карьеру. В наш век специализации пирожнику, мне кажется, не следует тачать сапоги.

Узнав, что Драйден учился писать по-английски, внимательно читая Тиллотсона, я тоже почитал этого автора и набрел на одно рассуждение, немного утешившее меня в этом смысле. Вот что писал Тиллотсон: «Мы должны радоваться, когда те, кто пригоден управлять страной, будучи к этому призваны, соглашаются возложить на себя это бремя; более того, мы должны быть им глубоко признательны за то, что они согласны и что у них хватает терпения управлять и жить на виду. Посему надо считать большим счастьем для мира, что некоторые люди как бы рождены для этого и что привычка делает для них этот труд легким или по крайности выносимым... Преимущество, какое дает людям более благочестивая, уединенная и созерцательная жизнь, состоит в том, что их не отвлекает ничто постороннее; ум их и привязанности сосредоточены на одном; весь

поток их привязанностей течет в одну сторону. Все их мысли и начинания направлены к единой великой цели, отчего и жизнь их с начала до конца остается цельной и последовательной в самой себе».

LXIII

В начале этой книги я предупредил читателя, что единственное, в чем я уверен твердо, это в том, что ни в чем больше я не уверен. Я пытался привести в порядок свои мысли о разных предметах и никого не просил соглашаться с моими мнениями. Перечитывая написанное, я во многих местах вычеркнул слово «по-моему»; частое его употребление показалось мне скучным, но мысленно его следует прибавлять к каждому из моих положений. И сейчас, подходя к последнему разделу книги, я должен еще раз повторить, что высказываю всего лишь свои личные взгляды. Возможно, что они поверхностны. Возможно, что кое в чем они противоречивы. Странно было бы, если бы совокупность мыслей, чувств и желаний, возникших в разное время из множества различных переживаний и окрашенных личностью одного человека, обладала логической стройностью теоремы Евклида. Когда я писал о драматургии и прозе, речь шла о том, что было мне знакомо по собственной практике, но теперь я перехожу к философским вопросам, и здесь у меня не больше специальных познаний, чем у любого человека, который годами жил деятельной и разнообразной жизнью. Жизнь — тоже школа философии, но она напоминает один из тех современных детских садов, где дети предоставлены самим себе и занимаются только тем, что их интересует. Все, что непосредственно их не касается, в чем они не видят смысла, они оставляют без внимания. В психологических лабораториях крыс обучают находить дорогу в лабиринте, и после многих ошибок они выучиваются выбирать ту дорогу, которая ведет к пище. В тех вопросах, о которых я собираюсь говорить, я уподобляюсь такой вот крысе, мечущейся по лабиринту, но я не уверен, что у этого лабиринта есть центр, где я найду то, что ищу. Я готов допустить, что все его дороги кончаются тупиком.

К философии меня приобщил Куно Фишер, чьи лекции я слушал в Гейдельберге. В ту зиму он читал курс по Шопенгауэру. Аудитория всегда была переполнена, и, чтобы занять хорошее место, приходилось задолго до начала становиться в очередь. Куно Фишер был плотный, подтяну-

тый человек с круглой головой, щеткой седых волос и красным лицом, на котором поблескивали маленькие, необыкновенно живые глаза. У него был забавный, курносый нос, словно расплющенный сильным ударом, и весь его облик напоминал не столько философа, сколько бывшего боксера. Он был остряк — написал даже книгу об остроумии, которую я в то время прочел, но начисто забыл, — и на лекциях иногда отпускал шутки, вызывавшие дружный хохот аудитории. Он обладал мощным голосом и говорил живо, внушительно и интересно. По молодости лет и по невежеству я мало что понимал в его лекциях, но у меня осталось от них ясное представление об оригинальной личности Шопенгауэра и гораздо более смутное — об эмоциональной силе и романтичности его системы. После стольких лет мне трудно утверждать что-либо с уверенностью, но мне кажется, что Куно Фишер трактовал ее скорее как произведение искусства, чем как серьезный вклад в философию.

С тех пор я прочел очень много философских трудов. Это — прекрасное чтение. В самом деле, человеку, для которого чтение — потребность и радость, не найти предмета более разнообразного, богатого и благодарного. Древняя Греция бесконечно увлекательна, но в этом отношении очень бедна: приходит время, когда оказывается прочтенным все то небольшое, что осталось от ее литературы, и все более или менее значительное, что было о ней написано. Итальянское Возрождение тоже очень интересно, но сравнительно узко: идей, питавших его, не так уж много; устаешь от его искусства, давно утерявшего свою творческую ценность и сохранившего только изящество, прелесть и стройность (качества, быстро надоедающие); устаешь от его людей, чья разносторонность слишком однообразна. Об итальянском Возрождении можно читать без конца, но интерес иссякает, хотя материал еще и не исчерпан. Французская революция — вот предмет, действительно достойный внимания, тем более что значение ее вполне актуально. Она близка нам по времени, так что мы очень небольшим усилием воображения можем поставить себя на место людей, которые ее делали. Они для нас — почти современники. Их мысли и поступки влияют на нашу жизнь; в некотором роде все мы — потомки Французской революции. И материала здесь хоть отбавляй. Документам, относящимся к Французской революции, нет числа; последнее слово о ней до сих пор не сказано. Всегда можно прочесть еще что-нибудь новое и интересное. Но это не дает удовлетворения.

Искусство и литература, непосредственно ею порожденные, ничтожны, так что обращаешься к людям, которые ее делали, а они, чем больше о них читаешь, тем больше поражают своей мелочностью и грубостью. Актеры, разыгравшие одну из величайших драм в мировой истории, были далеко не на высоте своих ролей. И в конце концов от всего этого отстраняешься чуть ли не с отвращением.

Но философия — та никогда не подведет. Исчерпать ее невозможно. Она многообразна, как человеческая душа. В ней есть величие, поскольку она занимается познанием мира в его целом. Она трактует о вселенной, о Боге и бессмертии, о свойствах человеческого разума, о цели и смысле жизни, о способностях человека и о пределе этих способностей; и если она не может ответить на вопросы, которые преследуют человека на его пути через темный и таинственный мир, то хотя бы убеждает его сносить свое невежество без ропота. Она учит смирению и вливает мужество. Она пленяет не только интеллект, но и воображение; и диллтанту — вероятно, много больше, чем профессионалу, — она дает пищу для размышлений и грез, которыми приятнее всего коротать часы досуга.

После того как я, вдохновленный лекциями Куно Фишера, стал читать Шопенгауэра, я прочел почти все важнейшие произведения великих философов-классиков. Хотя многого я у них не понял — а я, возможно, понял еще меньше, чем мне казалось, — читал я их с огромным интересом. Единственный, кого я всегда находил нудным, — это Гегель. Вина тут, несомненно, моя, поскольку значительность его доказана тем огромным влиянием, какое он имел на философскую мысль XIX века. Но мне он казался ужасно скучным, и я не мог примириться с тем, как он, жонглируя понятиями, умудряется доказать любое положение. Может быть, меня заранее восстановила против него неприязнь, с какой отзывается о нем Шопенгауэр. Но остальным, начиная с Платона, я одному за другим отдавался во власть с наслаждением, словно путешественник, открывающий неведомую страну. Я читал не критически, а так, как читал бы роман, — чтобы испытать волнение и радость. (Я уже сознался в том, что читаю романы не для пользы, а для удовольствия. Да простят мне это читатели!) Изучение характеров — моя специальность, и мне доставили бездну удовольствия саморазоблачения столь различных авторов. За философской системой я всякий раз видел человека, и одни восхищали меня своим благородством, другие забавляли

своей эксцентричностью. Я испытывал необычайный подъем, следуя за Платином в его головокружительном полете от Единого к Единому, и, хотя позднее я узнал, что Декарт сделал нелепые выводы из его вполне здоровой предпосылки, ясность, с какой он выражает свои мысли, совершенно меня покорила. Читая его, точно плаваешь в озере, таком прозрачном, что видно дно; кристальная эта вода удивительно освежает. Первое знакомство со Спинозой я считаю одним из важнейших событий в моей жизни. Оно наполнило меня точно таким чувством величия и ликующей силы, какое испытываешь при виде могучего горного хребта.

А когда я дошел до английских философов (я подходил к ним с предубеждением, потому что в Германии мне внушали, что все они, кроме разве Юма, — полные ничтожества, а значение Юма заключается лишь в том, что его изничтожил Кант), то обнаружил, что они не только философы, но еще и превосходные писатели. Пусть они не великие мыслители, об этом я не берусь судить, но зато они, бесспорно, очень занятные люди.

Едва ли кто-нибудь, читая «Левиафан» Гоббса, останется равнодушным к этому грубоватому, прямолинейному Джону Буллю, и, уж конечно, всякий, читая «Разговоры» Беркли, поддастся обаянию милейшего епископа. И хотя я верю, что Кант действительно стер Юма в порошок, писал Юм предельно изящным, культурным и ясным слогом. Все они, включая и Локка, писали по-английски замечательно, у них есть чему поучиться. Перед тем как писать новый роман, я всегда перечитываю «Кандида», чтобы потом бессознательно равняться по этому эталону ясности, грации и остроумия; так, современным английским философам, по-моему, не мешало бы, перед тем как браться за собственное сочинение, дисциплины ради прочитывать «Исследование человеческого разума» Юма. Ибо в наши дни философы не всегда блещут своим стилем. Возможно, мысли их настолько сложнее, чем у их предшественников, что они вынуждены пользоваться техническим словарем собственного изобретения; но это — опасная затея, и когда они пишут о материях, насущно важных для всех мыслящих людей, можно только пожалеть, что они не умеют выражаться так, чтобы быть понятными своим читателям. Мне говорили, что из всех, кто сейчас занимается философией, самый интересный мыслитель — профессор Уайтхед. Если это так, тем более обидно, что он не всегда дает себе труд выражаться ясно. У Спинозы было хорошее правило —

обозначать природу вещей такими словами, привычное значение которых не обратно тому, какое он желал им придать.

LXIV

Ничто не мешает философу быть также и литератором. Но хорошо писать может не каждый; это искусство, которое дается усердным трудом. Философ обращается не только к другим философам и к студентам, которые читают его, чтобы сдать экзамен; он обращается также к литераторам, к политическим деятелям и к мыслящим людям, которые непосредственно формируют сознание молодого поколения. А их, естественно, привлекает философия яркая и не слишком трудная для восприятия.

Мы знаем, каким влиянием пользуется в некоторых странах учение Ницше, и мало кто не согласится с тем, что влияние это — самое пагубное. А распространилось оно не потому, что учение Ницше содержит особенно глубокие мысли, а потому, что изложено оно в яркой, эффектной форме. Философ, не заботящийся о том, чтобы выразиться ясно, показывает, что он придает своим мыслям лишь чисто академическое значение.

Бывает, впрочем, как я не без удовольствия обнаружил, что и профессиональные философы не понимают друг друга. Брэдли нередко признается, что не может уразуметь доводов своего противника в споре, а профессор Уайтхед в одном месте говорит, что какое-то положение того же Брэдли выше его понимания. Если уж видные философы не всегда могут понять друг друга, то простому смертному это и подавно не под силу. Разумеется, философия трудна. Иначе и быть не может. Дилетант, знакомясь с ней, идет по канату без балансира и должен благодарить судьбу, если не свалится. Но рискнуть стоит — очень уж интересно проделывать этот номер.

Меня сильно смущало выдвигаемое время от времени положение, будто философия недоступна без знания высшей математики; мне не верилось, что если познание, как то следует из теории эволюции, развивалось для практических целей в процессе борьбы за существование, то сумма человеческих знаний — нечто необходимое для благополучия всего человечества — может быть доступна лишь кучке людей, наделенных весьма редким складом ума; и все же я, может быть, отказался бы от столь приятного мне изучения философских трудов, если бы, на счастье, мне не попалось упоминание Брэдли, что он очень слабо знаком с этой

головоломной наукой. А Брэдли — немалая философская величина. Мы знаем, что чувство вкуса у разных людей различное; но без него люди не могли бы жить. Мнение, будто только у специалиста по физической математике может быть разумная теория о вселенной и месте, которое занимает в ней человек, о тайне зла и смысле жизни, представляется мне таким же абсурдом, как утверждение, что нельзя наслаждаться бутылкой вина, не обладая умением дегустатора безошибочно определить год розлива двадцати сортов рейнвейна.

Ведь философские проблемы касаются не только философов и математиков. Они касаются всех нас. Правда, большинство из нас довольствуется мнениями по этим вопросам, полученными из вторых рук, а то и вовсе считают, что у них по этому поводу нет никаких мнений. Но они есть у всех, пусть и неосознанные. Человек, первым сказавший «Снявши голову, по волосам не плачут», был по-своему философом. Ведь он просто хотел выразить мысль, что сожаления бесполезны. А это уже подразумевает философскую систему. Детерминист считает, что всякий ваш поступок обусловлен тем, что вы собой в данную минуту представляете, а вы — это не только ваши мышцы, нервы, внутренности и мозг; это также ваши привычки, мнения, идеи. Пусть они вами не осознаны, пусть они противоречивы, неразумны и пристрастны, все же они существуют и влияют на ваши поступки и реакции. Даже если вы никогда их не облекали в слова, все равно в них — ваша философия. О том, что в большинстве случаев она остается несформулированной, жалеть не приходится. У большинства людей есть не мысли, или, во всяком случае, не осознанные мысли, а скорее смутное ощущение (подобное мышечному чувству, недавно открытому физиологами), впитанное ими из общества, в котором они живут, и слегка видоизмененное их собственным опытом. Они живут упорядоченной жизнью, и этого набора неясных мыслей и чувств им вполне достаточно. Поскольку в него отчасти входит мудрость веков, его хватает для повседневной жизни. Но мне-то хотелось во всем этом разобраться, и я с юных лет пытался осознать, с чем имею дело. Мне хотелось узнать все, что можно, о строении вселенной; хотелось решить, принимать ли в расчет только земную жизнь или и загробную тоже; хотелось выяснить, свободна ли моя воля, или мое ощущение, что я могу по желанию изменить себя, — пустая иллюзия; хотелось узнать, есть ли в жизни какой-нибудь смысл, или я сам должен наделить ее смыслом. И я стал читать подряд все, что имело отношение к этим вопросам.

В первую очередь меня интересовала религия. Мне представлялось чрезвычайно важным решить, только ли с этим миром, в котором я живу, мне следует считаться, или я должен смотреть на него лишь как на юдоль страданий, где мы готовимся к вечной жизни за гробом. В романе «О человеческом рабстве» есть глава о том, как мой герой потерял веру, в которой был воспитан. В рукописи эту книгу читала одна очень умная женщина, в ту пору дарившая меня своим вниманием. Она сказала, что эта глава сделана плохо. Я переписал ее, но едва ли существенно улучшил. Дело в том, что в ней описаны мои собственные переживания, а я, разумеется, пришел к своему выводу на основании очень и очень шатких рассуждений. То были рассуждения невежественного юнца. Они шли не столько от разума, сколько от сердца.

Когда родители мои умерли, меня взял к себе дядя — священник. Это был бездетный человек лет пятидесяти, и ему, я уверен, было нелегко взвалить на себя заботу о маленьком мальчике. Утром и вечером он читал молитвы, а каждое воскресенье мы два раза ходили в церковь. Воскресенье было самым занятым днем. Дядя мой любил говорить, что он — единственный человек в приходе, который трудится семь дней в неделю. На самом деле он был невероятно ленив и всю работу по приходу препоручал своему помощнику и церковным старостам. Но я был впечатлителен и скоро стал очень религиозным. Я без тени сомнения принимал все, чему меня учили сперва в доме у дяди, а затем в школе.

Был тут один пункт, который касался меня лично. Едва я поступил в школу, как насмешки товарищей и жгучее чувство стыда открыли мне глаза на то, какое страшное несчастье, что я заикаюсь; а в Библии я читал, что вера движет горами. Дядя внушал мне, что это надо понимать буквально. И вот однажды вечером, накануне возвращения в школу, я от всей души помолился о том, чтобы Бог избавил меня от заикания; вера моя была велика: я спокойно уснул, не сомневаясь, что наутро смогу говорить, как все люди. Я уже представлял себе, как удивятся мальчишки (я был тогда еще в начальной школе), когда увидят, что я перестал заикаться. Я проснулся радостный, бодрый, и для меня было настоящим, жестоким ударом, когда оказалось, что я заикаюсь по-прежнему.

Я подрос, перешел в Королевскую школу. Учителями там были священники, люди несумные и невыдержанные.

Заиканье мое их раздражало, и они либо старались не замечать меня (это было меньшее из зол), либо грубо ругали. Вероятно, им казалось, что я заикаюсь нарочно.

Со временем я понял, что дядя мой — эгоист и заботится только о себе. К нему наезжали священники из соседних приходов. Одного из них суд графства приговорил к штрафу за то, что он морил голодом своих коров; другого уволили за пьянство. Меня учили, что все мы ходим под Богом и что первый долг человека — заботиться о спасении души. Я видел, что ни один из этих священников не делает того, к чему призывает в своих проповедях. Как ни горяча была моя вера, мне до смерти надоело ходить в церковь сначала дома, потом в школе, и, уехав в Германию, я был страшно рад, что никто меня больше к этому не принуждает. Правда, из любопытства я раза два побывал на мессе в гейдельбергской иезуитской церкви. Дядя мой, хотя и сочувствовал католикам (он принадлежал к высокой церкви, и во время выборов на заборе его сада появлялась надпись: «Прямая дорога в Рим»), не сомневался, что они будут жариться в аду. Он свято верил в вечные муки. Он ненавидел диссидентов, живших в его приходе, и поражался, как их терпит правительство. Утешался он тем, что они тоже попадут в ад. Что касается рая, то он был резервирован для тех, кто принадлежал к англиканской церкви. Я почитал великой милостью Божией, что был воспитан в этом вероисповедании. Это было такой же удачей, как родиться англичанином.

Но, приехав в Германию, я обнаружил, что немцы так же гордятся тем, что они немцы, как я — тем, что я англичанин. Я услышал от них, что англичане не понимают музыки и что Шекспира по-настоящему ценят только в Германии. Они называли англичан нацией лавочников и ни минуты не сомневались в том, что английские художники, ученые и философы в подметки не годятся немецким. Это меня потрясло. А тут еще на мессе в Гейдельберге я был вынужден признать, что студенты, которых в церкви было битком набито, молятся очень истово. Впору было подумать, что они верят в свою религию так же искренне, как я — в свою. Это было очень странно, я ведь знал, что их вера ложная, а моя — истинная.

Вероятно, я от природы не был наделен особенно сильным религиозным чувством, а может быть, меня, при юношеской моей нетерпимости, так поразило расхождение между словом и делом у знакомых мне священников, что я уже был склонен к сомнению; иначе едва ли пустячная

мысль, которая пришла мне тогда в голову, могла бы иметь столь важные для меня последствия. А пришло мне в голову, что я вполне мог родиться на юге Германии и тогда, безусловно, был бы воспитан в католической вере. Мне показалось очень обидным, что в этом случае я без всякой своей вины был бы осужден на вечные муки. В простоте своей я возмутился такой несправедливостью. Следующий шаг был не труден: значит, решил я, совершенно все равно, во что бы ни верить; не может Бог покарать человека только за то, что он испанец или готтентот. На этом я мог бы успокоиться и, зная побольше, мог бы прийти к какой-то форме деизма, вроде той, что исповедовали в XVIII веке. Но верования, внушенные мне с детства, крепко переплелись друг с другом, и когда одно из них стало казаться нелепым, остальные разделили его участь. Все жуткое сооружение, основанное не на любви к Богу, а на страхе перед адом, рассыпалось как картонный домик.

Разумом я, во всяком случае, перестал верить в Бога; я упивался только что обретенной свободой. Но верим мы не только разумом; в каких-то тайниках моего существа еще гнезвился страх перед геенной огненной, и еще долго тень этого древнего ужаса омрачала мои восторги. Я больше не верил в Бога, но в глубине души все еще верил в черта.

LXVI

От этого-то страха я и искал избавления в новом мире, который открыли мне занятия медициной. Я очень много читал. Я узнал из книг, что человек — машина, подвластная механическим законам, и, когда машина отказывает, человеку конец. В больнице я видел, как люди умирают, и мои растревоженные чувства подтверждали то, чему учили меня книги. Теперь я полагал, что религия и идея Бога были постепенно выработаны человечеством для удобства жизни и представляют собою нечто, когда-то имевшее, а может быть, и поныне сохранившее ценность для выживания рода, но что объяснять их нужно исторически и ничему реальному они не соответствуют. Я называл себя агностиком; однако в глубине души считал, что Бог — это гипотеза, которую разумный человек должен отвергнуть.

Но если нет Бога, который мог бы осудить меня гореть на вечном огне, и нет души, которую он мог бы на это осудить, если я — слепое орудие механических сил и движет мною только борьба за жизнь — значит, добро, в том пони-

мании его, какое мне внушали, не имеет смысла. Я стал читать книги по этике. Я добросовестно продирался сквозь сотни страниц. Я пришел к выводу, что человек не стремится ни к чему, кроме собственного удовольствия,— даже когда жертвует собой для других, хоть он и тешит себя иллюзией, что тут им руководят более благородные побуждения. А поскольку будущее неизвестно, глупо отказываться от наслаждений, которые предлагает настоящее. Я решил, что «хорошо» и «дурно» — пустые слова, а правила поведения — условность, выдуманная людьми в эгоистических целях. Свободный человек должен следовать им лишь постольку, поскольку это для него удобно. В то время я тяготел к афоризмам, к тому же они были в моде, и вот я выдумал для себя такую заповедь: следуй своим склонностям с должной оглядкой на ближайшего полисмена. В двадцать четыре года я уже построил собственную философскую систему. Она зиждилась на двух принципах: Относительность Вещей и Периферичность Человека. Первый из этих принципов, как я впоследствии узнал, не был оригинальным открытием. Второй, возможно, и отличался глубиной, но, сколько я ни ломал голову, я, хоть убей, не могу вспомнить, что он должен был означать.

Когда-то я прочел коротенькую легенду, которая мне очень понравилась. Ее можно найти в одном из томов «Литературной жизни» Анатоля Франса. Дело было давно, но вот как она мне запомнилась: молодой царь некоей восточной страны, желая справедливо управлять своим царством, сразу же по восшествии на престол послал за мудрецами и повелел им собрать всю мудрость мира, записанную в книгах, и доставить ему, дабы он мог их прочесть и узнать, как должно жить. Мудрецы отправились в путь и через тридцать лет вернулись с караваном верблюдов, нагруженных пятью тысячами книг. Вот здесь, сказали они, собрано все, что умные люди узнали об истории человека и его судьбе. Но царь был поглощен государственными делами и не мог прочесть столько книг, поэтому он приказал мудрецам уместить все эти знания в меньшее количество томов. Через пятнадцать лет они вернулись, и теперь их верблюды везли уже только пятьсот томов. В этих трудах, сказали они царю, ты найдешь всю премудрость мира. Но книг все еще было слишком много, и царь опять отослал мудрецов. Прошло десять лет, они возвратились и привезли царю всего пятьдесят книг. Но царь состарился и устал. Теперь ему некогда было прочесть и это, и он повелел мудрецам еще постараться и в одном-единственном томе

дать ему суть человеческих знаний, чтобы он мог наконец узнать то, что было для него так важно. Они ушли, взялись за работу и через пять лет вернулись. Древними старцами они в последний раз пришли к царю и вручили ему плод своих трудов, но царь был уже при смерти и не успел прочесть даже ту единственную книгу, которую они ему принесли.

Вот такую книгу искал и я — книгу, которая дала бы ясный ответ на все смущавшие меня вопросы, так чтобы я, раз и навсегда все это уладив, мог без помехи выполнять свою жизненную программу. Я читал и читал. От классиков я перешел к современным философам, полагая, что, может быть, у них найду то, что мне нужно. Однако все они говорили разное. Критическая часть их трудов казалась мне убедительной, но чуть дело доходило до части позитивной, я, хоть и не всегда понимал, в чем ее изъян, чувствовал, что не могу с ней согласиться. У меня создавалось впечатление, что философы, независимо от их учености, их логики и сложных классификаций, держатся тех или иных взглядов не потому, что так им подсказывает разум, а потому, что эти взгляды вытекают из их темперамента. Ничем другим я не мог объяснить глубоких расхождений между их системами. Когда я где-то прочел, что, по мнению Фихте, философские воззрения человека зависят от того, что он за человек, мне пришло в голову, что поиски мои, пожалуй, обречены на неудачу. И тут я подумал, что, раз в философии нет универсальной правды, приемлемой для всех, а только разные правды для разных людей, мне надлежит сузить круг моих поисков и искать такого философа, чья система мне подошла бы, потому что мы с ним — люди одного порядка. Уж его-то ответы на мои недоуменные вопросы наверняка меня удовлетворят, поскольку они будут соответствовать моей индивидуальности.

Одно время мне очень нравились прагматисты. Перед тем я сильно разочаровался в философских сочинениях, принадлежащих перу профессоров знаменитых английских университетов. На мой взгляд, такие безупречные джентльмены не могли быть очень хорошими философами, и невольно рождалось подозрение, не потому ли они порой не доводили своих рассуждений до логического конца, что боялись обидеть коллег, с которыми поддерживали знакомство. В прагматистах чувствовалась сила. Они были очень живые. Виднейшие из них писали отличным языком, и они умели придать видимость простоты тем проблемам, над которыми я безуспешно бился. Но при всем желании я не мог заставить себя поверить их утверждению, будто истина

изготавливается самим человеком сообразно с его выгодой. Показания органов чувств я считал чем-то данным, что нужно принять невзирая на то, удобно это нам или нет. Не устраивал меня и другой их тезис — что Бог существует, если нам хочется в это верить. Мой интерес к прагматистам постепенно угас. Бергсона я читал с удовольствием, но убедил он меня меньше, чем кто бы то ни было; у Бенедетто Кроче я тоже не нашел ничего себе по вкусу. Зато в Бертроне Расселе я открыл писателя чрезвычайно для меня ценного; понимать его нетрудно, язык у него хороший. Я читал его с восхищением.

Я готов был взять его себе в проводники. Он был наделен житейской мудростью и здравым смыслом. Он терпимо относился к человеческим слабостям. Но затем я обнаружил, что проводник мой нетвердо знает дорогу. У него беспокойный ум. Он подобен архитектору, который, взявшись строить вам дом и убедив вас строить его из кирпича, затем приводит доводы за то, чтобы строить из камня, но не успели вы на это согласиться, как у него находятся ничуть не худшие доводы в пользу железобетона. А у вас тем временем нет крыши над головой. Я искал философскую систему такую же стройную и законченную, как у Брэдли, чтобы все части ее зависели друг от друга и ничего нельзя было изменить, не разрушив всего в целом. А этого Бертран Рассел не мог мне дать.

Наконец я пришел к заключению, что никогда не найду той единственной, вполне меня удовлетворяющей книги, которую ищу, — не найду по той причине, что такой книгой может быть только некое выражение меня самого. И тогда, проявив больше смелости, нежели скромности, я решил, что должен написать ее сам. Я выяснил, какие книги полагается знать студентам для экзамена по философии, и внимательно их проштудировал, полагая, что создаю таким образом основу для собственной работы. Мне казалось, что это, а также знание жизни, приобретенное в результате сорокалетнего опыта (к тому времени мне уже стукнуло сорок), и прилежное изучение философской литературы, которому я готов был посвятить несколько лет, позволит мне в конце концов написать задуманную книгу. Я прекрасно понимал, что настоящую ценность она будет иметь только для меня самого; других же если и заинтересует, то лишь как изображение души (лучшего слова не подберу) мыслящего человека, прожившего более насыщенную и разнообразную жизнь, чем обычно выпадает на долю профессиональным философам. Я знал, что не способен к самостоятельному

философскому мышлению. Я хотел позаимствовать из разных источников теории, удовлетворяющие не только мой разум, но — и это мне казалось важнее — всю совокупность моих чувств, инстинктов и предрассудков (предрассудков, столь глубоко укоренившихся, что их трудно отличить от инстинктов), а затем свести эти теории в систему, которую я считал бы для себя действенной и которой мог бы руководствоваться в жизни.

Но чем больше я читал, тем запутаннее казался мне предмет и тем больше я сознавал свое невежество. Особенно обескураживали меня философские журналы, где подробно обсуждались вопросы, очевидно, весьма важные, но мне, по неведению моему, напоминавшие содержимое выеденного яйца; и самый подход к этим вопросам, сложный логический аппарат, тщательность, с какой доказывался каждый пункт и отменялись возможные возражения, термины, которым авторы, вводя их впервые, давали свои определения, авторитеты, на которые они ссылались, — все это убедило меня в том, что философия, по крайней мере в наше время, — это дело, в котором дай бог разобраться специалистам, а постороннему нечего и надеяться постичь ее тонкости. Чтобы подготовиться к работе над своей книгой, мне понадобилось бы двадцать лет, а к тому времени я, как царь из сказки Анатоля Франса, уже буду, чего доброго, лежать на смертном одре, и весь мой труд окажется напрасным, во всяком случае для меня.

Я отказался от своей затеи; все, что от нее осталось, — это разрозненные заметки, следующие ниже. Я не претендую на оригинальность мыслей или хотя бы слов, в которые эти мысли облечены. Я — как бродяга, напяливший на себя штаны, подаренные сердобольной фермершей, пиджак с огородного пугала, два непарных башмака из мусорной кучи и шляпу, подобранную на дороге. Все это — с бору да с сосенки, но бродяге удобно, и неприглядная эта одежда вполне его устраивает. Повстречав джентльмена в элегантном синем костюме, новой шляпе и начищенных полуботинках, он скажет: «Ну и фронт», — но тут же подумает, что сам он в таком аккуратном и приличном наряде чувствовал бы себя, пожалуй, не так свободно, как в своих лохмотьях.

LXVII

Читая Канта, я вынужден был отказаться от материализма, которым так упивался в молодости, и от физиологического детерминизма, ему сопутствующего. В то время я не

был знаком с возражениями, опрокидывающими систему Канта, и учение его доставляло мне большое эмоциональное удовольствие. Мне нравилось размышлять о непознаваемой «вещи в себе», и я вполне довольствовался миром, который человек строит из своих представлений. Это давало мне приятное чувство освобождения. Правда, я бунтовал против указания Канта, что действовать следует так, чтобы ваши действия стали всеобщим правилом. Это казалось мне неразумным — очень уж крепко я был убежден в разнообразии человеческой природы. На мой взгляд, то, что правильно для одного, вполне может быть неправильно для другого. Сам я, например, больше всего хотел, чтобы меня оставили в покое, но я обнаружил, что это — редкий случай; другие люди, если я оставлял их в покое, считали меня неотзывчивым, равнодушным эгоистом. Однако нельзя сколько-нибудь долго изучать философов-идеалистов и не столкнуться с солипсизмом. Идеализм всегда находится где-то на волоске от него. Философы от него шарахаются, как вспугнутые серны, но собственные рассуждения возвращают их к нему снова, и, насколько я понимаю, они избегают его лишь потому, что не доводят своих рассуждений до конца. Солипсизм — теория, которая не может не соблазнять писателя. Она подтверждает то, что он практикует. В ней есть бесконечно привлекательная законченность и изящество. Поскольку я не могу предположить, что все читающие эту книгу знакомы с великим множеством существующих философских систем, да не посетует на меня осведомленный читатель, если я в двух словах объясню, что такое солипсизм. Солипсист верит только в себя и в собственный опыт. Он создает мир как арену своей деятельности, и мир, созданный им, состоит из него самого, его мыслей и чувств; за пределами этого нет ничего. Все познаваемое, весь наш опыт — лишь идея в его сознании и без его сознания не существует. Он не может, да ему и не нужно постулировать что-либо, кроме самого себя. Ибо для него сон и реальность — одно. Жизнь — это сон, в котором он создает предметы, возникающие перед ним, — сон связанный и последовательный; а когда он просыпается, весь мир с его красотой, с его страданиями и горем и невероятным разнообразием перестает существовать. Это — прелестная теория; у нее есть только один изъян: в нее невозможно поверить.

Когда я носился с мыслью о своей книге, я решил начать с самого начала и занялся эпистемологией. Ни одна из рассмотренных мною теорий меня не удовлетворила. Мне казалось, что обыкновенный человек (которого философ,

кстати сказать, презирает, если только его взгляды не совпадают со взглядами самого философа, в каком случае они оказываются весьма ценными), не способный судить о сравнительной ценности этих теорий, вправе выбрать ту, которая ему больше по вкусу. Мне лично, если уж на то пошло, кажется вполне достоверной теория, гласящая, что люди не могут быть уверены ни в чем, кроме некоторых основ, которые они называют данностью, и существования других сознаний, которое они выводят логически. Все остальное — вымысел, продукт их сознания, нечто, созданное ими для удобства жизни. В процессе эволюции, будучи вынуждены приспособляться к постоянно меняющейся среде, они составили некую картину из кусочков, собранных тут и там потому, что они годились для их целей. Это — известный им мир явлений. Действительность — всего-навсего гипотеза, которую они выдвигают в качестве причины возникновения этого мира. Они могли бы собрать и другие кусочки и сложить из них другую картину. И этот другой мир был бы не менее закономерным и истинным, чем тот, который мы, как нам кажется, знаем.

Трудно было бы убедить писателя, что между телом и сознанием нет самого тесного взаимодействия. Флобер, у которого появились симптомы мышьячного отравления, когда он писал о самоубийстве Эммы Бовари, — это лишь особенно яркий пример того, что по опыту знакомо всем писателям. У кого из них во время работы над романом не бывало озноба и лихорадки, болей и тошноты? И обратно: они отлично знают, каким болезненным физическим состоянием обязаны иногда самыми удачными своими находками. А зная, что многие из их самых глубоких эмоций, многие мысли, казалось бы ниспосланные им прямо с неба, обусловлены сидячим образом жизни или расстройством печени, они, скорее всего, относятся к своим духовным переживаниям с некоторой долей иронии; и это хорошо, потому что дает им возможность держать эти переживания в узде и распорядиться ими. Для себя я из всех теорий об отношении духа к материи, предложенных философами на рассмотрение простым смертным, выбрал концепцию Спинозы, согласно которой вещь мыслящая и вещь протяженная — одно. Только в наше время это, конечно, удобнее называть энергией. Бертран Рассел, если я правильно его понял, выражает на современном языке очень сходную мысль, когда говорит о чем-то нейтральном, что служит сырьем и для духовного, и для физического мира. Стараясь представить себе это в зримых образах, я вижу дух как реку, пробивающую себе

путь сквозь джунгли материи; но река есть джунгли, и джунгли есть река, потому что река и джунгли — одно. Не исключено, что биологам когда-нибудь удастся создать жизнь лабораторным путем, и тогда мы, возможно, узнаем кое-что новое касательно этих вопросов.

LXVIII

Но обыкновенный человек подходит к философии практически. Он хочет узнать, в чем ценность жизни, как ему жить и какой смысл можно усмотреть во вселенной. Отказываясь хотя бы ориентировочно ответить на эти вопросы, философы отлынивают от своих обязанностей.

Одна из самых жгучих проблем, стоящих перед обыкновенным человеком, — это проблема зла.

Любопытно, что философы, рассуждая о зле, так часто берут в качестве примера зубную боль. Они справедливо указывают, что вы не можете почувствовать мою зубную боль. Так и кажется, будто никаких других страданий они в своей обеспеченной кабинетной жизни не испытывали, и даже напрашивается вывод, что с дальнейшим развитием американской одонтологии всю проблему зла можно будет считать решенной. Я часто думал, что, прежде нежели удостоивать философов ученой степени, позволяющей им делиться своей мудростью с молодежью, не мешало бы требовать, чтобы они с годик поработали по социальному обеспечению в трущобах какого-нибудь большого города или попробовали прокормиться физическим трудом. Доведись им увидеть, как ребенок умирает от менингита, они на многие свои проблемы стали бы смотреть по-другому.

Не будь этот вопрос таким животрепещущим, право же, невозможно было бы читать без смеха главу о зле в «Видимости и действительности». Джентльменский тон ее просто потрясает. У вас создается впечатление, что придавать большое значение злу — это признак невоспитанности, и хотя отрицать его существование нельзя, но и поднимать вокруг него шум не следует. К тому же его сильно преувеличивают, и совершенно ясно, что в нем есть немало хорошего. По мнению Брэдли, страданий в мире, в сущности, нет. Абсолют тем богаче, чем больше диссонансов и различий он в себя включает. Точно так же, доказывает он, как в машине сопротивление и давление частей служат цели, которая стоит вне этих частей, так же, на неизмеримо более высоком уровне, обстоит дело с абсолютом; а раз это возможно, это,

без всякого сомнения, и реально. Зло и грех служат более широкому замыслу и в нем находят свое оправдание. Они участвуют в высшем добре, и в этом смысле они сами — добро. Короче говоря, зло — это обман чувств, и ничего более.

Я пробовал выяснить, что могут сказать по этому поводу философы других направлений. Оказалось — не очень много. Возможно, что тут многого и не скажешь, а философы, естественно, предпочитают такие предметы, о которых можно поговорить вволю. Но и то немногое, что они сказали, отнюдь меня не удовлетворяет. Может быть, перенесенные невзгоды благотворно действуют на нас? Наблюдения, как правило, не подтверждают этого. Может быть, мужество и жалость — превосходные чувства; а их бы не было, не будь в мире опасностей и страданий? Но не совсем понятно, каким образом крест Виктории, полученный в награду солдатом, который с риском для жизни спас ослепшего товарища, возместит этому последнему потерю зрения. Подавать милостыню — значит выказывать милосердие, а милосердие — добродетель; но разве этим добром искупается такое зло, как голодающий калека, ради которого и было проявлено милосердие? Зло вокруг нас — повсюду. Боль и болезни, смерть дорогих нам людей, преступления, грехи, разбитые надежды — всего не перечить. И как же объясняют это философы? Одни говорят, что зло логически необходимо для познания добра; другие говорят, что самая природа мира предполагает борьбу между добром и злом и что они метафизически необходимы друг для друга. А как объясняют это богословы? Одни говорят, что Бог ставит на нашем пути невзгоды, чтобы укрепить наш дух; другие говорят, что он посылает их нам в наказание за грехи. Но я-то видел, как дети умирают от менингита. И я нашел только одно объяснение, которое говорит что-то как воображению, так и чувству. Это — доктрина о переселении душ. Как известно, она исходит из того, что жизнь не начинается при рождении и не кончается со смертью, но есть лишь звено в длинной цепи жизней, каждая из которых определена поступками, совершенными в предыдущих существованиях. Добрые дела могут вознести человека до небесных высот, злые дела могут низвергнуть его в адскую бездну. Все жизни имеют конец, даже жизнь богов; и счастья нужно искать в избавлении от цикла рождений, а покоя — в неизменном состоянии, называемом «нирвана». Сносить жизненные невзгоды было бы не так трудно, если бы верить, что они — лишь необходимое следствие твоих грехов, совершенных

в предшествующем существовании; и стремиться к совершенству тоже было бы легче, будь у нас надежда, что в другом существовании нам явится наградой более полное счастье. Но если свои горести мы ощущаем сильнее, чем чужие (как говорят философы — я не могу почувствовать вашу зубную боль), то возмущение в нас вызывает именно чужие горести. Свои несчастья можно научиться принимать без ропота; но спокойно взирать на чужие несчастья, которые так часто кажутся незаслуженными, — на это способны только философы, одержимые совершенством абсолюта. Будь карма правдой, мы могли бы сострадать чужому горю, но переносить его стойко. Отпала бы нужда в переключении чувств, и уже не было бы речи о бессмысленности страдания, которая до сих пор оставалась непровергнутым аргументом пессимистов. Я могу лишь сожалеть, что поверить в это учение для меня так же невозможно, как и в солипсизм, о котором я говорил выше.

LXIX

Но я еще не покончил с проблемой зла. Она приобретает особое значение, когда спрашиваешь себя, есть ли Бог, а если есть, то каким нужно его себе представлять. Одно время я, как и все, увлекался астрономией. Меня привела в трепет огромность расстояний между звездами и время, потребное для того, чтобы их свет достиг Земли. Меня потрясла невообразимая протяженность туманностей. Если я правильно понял то, что прочел, следует предположить, что вначале космические силы притяжения и отталкивания были равны, так что вселенная неисчислимыя века пребывала в состоянии полного равновесия. Затем в какой-то момент равновесие это было нарушено, и вселенная, споткнувшись, породила ту вселенную, о которой говорит нам астрономия, и маленькую, известную нам, Землю. Но что вызвало первоначальный творческий акт и что нарушило равновесие? Выходило, что мне не обойтись без концепции творца, а кто мог сотворить эту огромную, необозримую вселенную, как не существо всемогущее? Однако зло, которым полон мир, подсказывает нам вывод, что это существо не может быть всемогущим и всеблагим. Бога всемогущего мы вправе упрекнуть за зло этого мира, и смешно было бы взирать на него с восхищением или поклоняться ему. Но ум и сердце восстают против концепции Бога не всеблагого. В таком случае мы вынуждены предположить, что Бог не

всемогущ: такой Бог не содержит в себе объяснения своего существования и существования созданной им вселенной.

Читая документы, на которых основаны важнейшие религии всего мира, с интересом отмечаешь, сколько в них привнесли последующие века. Изложенное в них учение, преподанный ими пример привели к созданию идеала более возвышенного, чем они сами. Большинство из нас конфузится, когда нам говорят комплименты. Странно, что верующие воображают, будто Богу приятно выслушивать комплименты, которые они раболепно ему расточают. В молодости у меня был друг, пожилой человек, часто приглашавший меня к себе погостить. Он был религиозен и по утрам собирал своих домочадцев и читал молитвы. Но в его молитвеннике были вычеркнуты карандашом все фразы, где восхваляется Бог. Он говорил, что нет ничего вульгарнее, чем хвалить человека в лицо, и, будучи джентльменом, не допускает, чтобы это могло нравиться Богу,—ведь он, как никак, тоже джентльмен. В то время это казалось мне чудачеством. Сейчас я считаю, что мой друг был очень неглуп.

Люди страстны, люди слабы, люди глупы, люди жалки; обрушивать на них нечто столь грандиозное, как Божий гнев, представляется мне в высшей степени бессмысленным. Прощать людям их грехи не так уж трудно. Стоит поставить себя на их место, и почти всегда можно понять, что толкнуло их на тот или другой недозволенный поступок, а значит, и найти для них оправдание. Когда зло причиняют тебе, в первую минуту инстинктивно возмущаешься и готов дать сдачи: в том, что касается тебя самого, нелегко быть объективным. Но, успокоившись и немного подумав, вполне можно взглянуть на ситуацию как бы со стороны, и, если попрактиковаться, оказывается, что зло, причиненное тебе, так же легко прощать, как если оно причинено другим. Гораздо труднее прощать людям зло, которое мы сами им причинили; вот это действительно требует большой силы духа.

Каждый художник хочет, чтобы в него верили, однако он не сердится на тех, в ком не находит отклика. Бог не настолько благоразумен. Он так неистово требует, чтобы в него верили, будто без вашей веры не будет убежден в собственном существовании. Он обещает награды тем, кто в него верует, а тем, кто не верует, грозит страшными карами. Я лично не могу поверить в Бога, который на меня сердится за то, что я в него не верю. Я не могу поверить в Бога, у которого нет ни чувства юмора, ни здравого смысла. Еще очень давно Плутарх выразил все это в корот-

ких словах. Он писал: «Пусть лучше обо мне говорят, что Плутарха нет и никогда не было, нежели утверждают, что Плутарх человек непоследовательный, непостоянный, вспыльчивый, способный мстить по малейшему поводу и обижаться по пустякам».

Но хотя люди приписывают Богу недостатки, которых сами стыдились бы, это еще не доказывает, что Бога нет. Это доказывает только, что религии, принятые людьми,— всего лишь просеки, теряющиеся в непроходимой чаще, и ни одна из них не ведет к сердцу великой тайны. В пользу существования Бога приводилось много доказательств, и я позволю себе вкратце их перечислить. Одно из них гласит, что у человека есть представление о каком-то совершенном существе; а поскольку совершенство включает существование, значит, совершенное существо существует. Согласно другому доказательству, все сущее имеет причину, а поскольку вселенная существует, значит, она имеет причину, и эта причина — Творец. Третье — доказательство от намерения, которое Кант считал самым ясным, самым старым и самым удобным для человеческого разума,— нижеследующим образом сформулировано одним из участников знаменитых «диалогов» Юма: «Порядок и устройство природы, любопытное сочетание конечных причин, простое действие и назначение каждой части и органа — все это ясным языком свидетельствует о разумной причине, или Создателе». Но Кант убедительно показал, что это доказательство так же легко опровергнуть, как и оба предыдущих. Вместо них он предлагает свое собственное, которое сводится к следующему: без Бога нет уверенности в том, что чувство долга, подразумевающее свободное и реальное «я», не есть иллюзия; а значит, с моральной точки зрения верить в Бога необходимо. Считается, что этот аргумент говорит скорее о врожденной добросовестности Канта, чем о тонкости его ума. То доказательство, которое мне самому кажется наиболее убедительным, сейчас не в фаворе. Оно известно как доказательство *e consensu gentium*¹. Оно гласит, что какая-то вера в Бога была присуща людям во все времена, а трудно предположить, чтобы вера, которая родилась и росла вместе с человечеством, которую принимали умнейшие из людей — мудрецы Востока, философы Древней Греции, великие схоласты,— не имела оснований в действительности. Многие считают его инстинктивной, а можно предположить (только предположить, ибо это отнюдь не

¹ От общего мнения народов (лат.).

доказано), что инстинкт существует лишь тогда, когда есть возможность его удовлетворения. Опыт показал, что распространенность того или иного верования, как бы долго его ни придерживались, еще не доказывает его истинности. И выходит, что ни одно из доказательств существования Бога не выдерживает критики. Но если нельзя доказать, что Бог есть, это еще не доказывает, что его нет. Остается в силе чувство благоговейного страха, чувство беспомощности человека и его стремление достичь гармонии между собой и вселенной. А именно эти чувства, скорее чем поклонение силам природы или культ предков, магия или этика, лежат в основе религии. Нет оснований полагать, что все желаемое существует, но жестоко было бы отрицать за человеком право верить в то, чего он не может доказать. Пусть человек верит сколько угодно, лишь бы он знал, что вера его бездоказательна. Тот, кто по природе своей ищет утешения и любви, которая поддерживала бы его и подбодряла,— тот, думается мне, не требует доказательств и не нуждается в них. Ему достаточно интуиции.

Мистика — вне доказуемого, да и не требует ничего, кроме глубокой убежденности. Она не зависит от религий, потому что находит себе пищу во всех религиях, и она — дело настолько личное, что может удовлетворить любого. Она дает нам ощущение, что мир, в котором мы живем, лишь часть вселенной духа и только поэтому что-то значит; ощущение живого Бога, который утешает нас и поддерживает. Мистики рассказывали о своих переживаниях так часто и в таких сходных выражениях, что не верить им трудно. Мне и самому довелось однажды пережить минуты, которые можно описать лишь теми словами, какими мистики описывают свои прозрения. Я сидел в одной из заброшенных мечетей близ Каира и вдруг впал в экстаз, как Игнатий Лойола, когда он сидел на берегу реки в Манресе. Меня всего поглотило ощущение огромности и величия вселенной и пронизывающее чувство полной растворенности в ней. Я почти могу сказать, что ощутил присутствие Бога. Такое ощущение, разумеется, не редкость, и мистики подчеркивают, что оно имеет значение, только если действие его ясно видно по результатам. Мне кажется, что оно вызывается причинами не только религиозного порядка. Даже святые допускали, что оно может возникать у художников; и любовь, как мы знаем, может вызвать состояние до того с ним сходное, что мистики, чтобы описать свои блаженные видения, порою выражаются языком влюбленных. Мне оно представляется не более загадочным, чем то со-

стояние, еще не объясненное психологами, когда мы явственно чувствуем, что все в данную минуту нами переживаемое уже когда-то было. Экстаз мистика реален, но только для него самого. Мистик и скептик согласны в том, что все усилия нашего интеллекта упираются в великую тайну.

Чувствуя эту тайну, подавленный огромностью вселенной и неудовлетворенный тем, что говорят мне философы, я иногда возвращался назад, дальше Магомета, Иисуса и Будды, дальше эллинских богов, Иеговы и Ваала, к Брахме древних «Упанишад». Этот дух, если можно его назвать духом, саморожденный и независимый от всякого иного существования, хотя все сущее существует в нем, единственный источник жизни во всем живущем, по крайности наделен величием, которое импонирует воображению. Однако я слишком давно имею дело со словами, чтобы не относиться к ним с недоверием, и, приглядываясь к тем словам, которые я только что написал, не могу не видеть, что значение их зыбко. В религии, как нигде, полезна только объективная истина. Единственным полезным Богом было бы существо личное, высшее и доброе, чье существование так же бесспорно, как то, что дважды два — четыре. Я не могу проникнуть в тайну. Я остаюсь агностиком, а практически агностицизм выражается в том, что человек живет так, словно Бога нет.

LXX

Вера в Бога не обязательна для веры в бессмертие, но разъединить их трудно. Даже если принять туманную теорию, что сознание человека, расставшись с телом, растворяется в некоем общем сознании, этому общему сознанию можно отказать в имени Бога лишь в том случае, если считать, что оно не имеет ни реальности, ни ценности. Практически же, как мы знаем, оба эти понятия связаны так неразрывно, что загробная жизнь всегда рассматривалась как самый крупный козырь Бога в его отношениях с человечеством. Милосердный Бог может с радостью наградить ею праведника, Бог мести — злорадно покарать ею нечестивца. Доказательства бессмертия просты, но, если не принять за предпосылку существование Бога, они не то чтобы бессмысленны, а малоубедительны. Все же я их перечислю. Одно из этих доказательств строится на идее незавершенности жизни: человек стремится к полному самовыражению, но в силу обстоятельств и собственных его недостатков у него всегда

остаётся чувство неудовлетворенности, и будущая жизнь должна избавить его от этого ощущения. Так, Гете, столько успевший сделать, до конца чувствовал, что многое осталось недоделанным. Сходно с этим и доказательство от желаемого: если мы можем представить себе бессмертие и желаем его, разве это не значит, что оно существует. Нашу жажду бессмертия можно понять, только если допустить возможность ее утоления. Ещё одно доказательство исходит из того негодования, смятения и боли, какое вызывают в человеке несправедливость и неравенство, царящие в мире. Злодеи живут припеваючи. И справедливость требует, чтобы была другая жизнь, в которой виноватые будут наказаны, а невинные награждены. Зло можно принять только при условии, что за могилой оно будет уравновешено добром; и самому Богу бессмертие необходимо, чтобы оправдать свое поведение в глазах человека. Затем имеется доказательство идеалистов: сознание не может быть погашено смертью, ибо уничтожение сознания непостижимо, поскольку лишь сознание может постичь уничтожение сознания; далее говорится, что ценности существуют только в сознании и есть высшее сознание, в котором все они, полностью осуществляются. Если Бог есть любовь, люди для него — ценность, и невозможно поверить, чтобы то, что ценно для Бога, могло погибнуть. Но с этого пункта рассуждение ведётся менее уверенно. Опыт, в особенности же опыт философа, учит, что очень многие люди — не бог весть какое сокровище. Бессмертие — слишком грандиозное понятие, чтобы связывать с ним судьбу простых смертных. Они так ничтожны, что не заслуживают ни вечных мук, ни вечного блаженства. И вот некоторые философы высказывают предположение, что те, кому доступно духовное совершенствование, будут жить после смерти до тех пор, пока не достигнут той степени совершенства, на какую они способны, а затем со вздохом облегчения канут в небытие; те же, кому это недоступно, будут милостиво уничтожены, как только испустят последний вздох. Но когда задумываешься о том, за какие же качества избранные будут удостоены такой отсрочки, приходишь к неутешительному выводу, что этими качествами мало кто обладает, кроме философов. Интересно, однако, как же будут философы проводить время, после того как их добродетель получит достойную награду? Ведь надо полагать, что все вопросы, которыми они занимались во время своего пребывания на земле, уже будут вполне удовлетворительно разрешены. Остаётся лишь предположить, что они будут брать уроки фортепианной игры у Бет-

ховена или учиться писать акварелью под руководством Микеланджело. Они скоро убедятся, что сии великие мужи — изрядно гневливые педагоги, разве что они сильно изменились после смерти.

Чтобы проверить силу доказательства, на основании которого вы принимаете ту или иную теорию, полезно спросить себя, удовольствовались бы вы одинаково вескими доводами, решаясь на сколько-нибудь серьезный практический шаг. Например, купили бы вы дом вслепую, не поручив юристу выяснить право на владение, а слесарю — проверить канализацию? Доказательства бессмертия, достаточно слабые порознь, не выигрывают и в своей совокупности. Они заманчивы, как газетное объявление о продаже дома, но, на мой взгляд, не более убедительны. Я отказываюсь понять, как сознание может жить, когда его физическая основа уничтожена; я слишком уверен во взаимосвязи между моим телом и моим сознанием, чтобы поверить, что, даже если бы мое сознание продолжало жить отдельно от тела, это в каком-либо смысле означало бы бессмертие всего меня. Даже если б можно было убедить себя, что сознание человека продолжает жить в каком-то общем сознании, это было бы слабым утешением; успокоиться на мысли, что ты продолжаешь жить в той духовной среде, которую сам произвел, — значит обманывать себя пустыми словами. Единственное бессмертие, которое чего-нибудь стоило бы, — это бессмертие всего индивидуума в целом.

LXXI

Отвергнув, таким образом, существование Бога и возможность жизни после смерти, как гипотезы слишком сомнительные, чтобы ими руководствоваться, нужно решать, в чем же смысл и назначение жизни. Если со смертью все кончается, если нечего надеяться на загробные блага и бояться загробного зла, я должен спросить себя, зачем я здесь и как мне в таком случае себя вести. На один из этих вопросов ответить легко, но ответ так неприятен, что большинство людей предпочитает от него уклоняться. Ни цели, ни смысла в жизни нет. На короткое время мы становимся обитателями крошечной планеты, вращающейся вокруг небольшой звезды, которая, в свою очередь, входит в одну из несчетных галактик. Может быть, только на одной этой планете есть жизнь, а может быть, и другие планеты в других точках вселенной имели возможность создать среду,

благоприятную для той субстанции, из которой, как предполагается, постепенно, с течением долгого, долгого времени создавались мы, люди. И если астрономы говорят правду, всякая жизнь на Земле когда-нибудь прекратится, и в конце концов вселенная придет в состояние последнего равновесия, когда уже ничто больше не будет случаться. За много эонов до этого исчезнет человек. Так не все ли равно тогда будет, что когда-то он существовал? Он останется главой в истории вселенной, такой же неинтересной, как та глава, где рассказано о жизни диковинных чудовищ, населявших первобытную землю.

Вот я и должен спросить себя, как все это касается меня лично и как мне ко всему этому относиться, если я хочу наилучшим образом использовать свою жизнь и извлечь из нее возможно больше. И тут говорю не я, тут говорит глубоко заложенное во мне, как и во всяком человеке, упрямое стремление существовать; говорит эгоизм, унаследованный всеми нами от той изначальной энергии, которая в незапамятном прошлом дала первый толчок и пустила машину в ход; говорит потребность самоутверждения, которая есть во всем живом и благодаря которой оно остается живым. Это — самая сущность человека. Удовлетворение ее и есть то самоудовлетворение, о котором Спиноза сказал, что это — высшее, на что мы можем надеяться, ибо «никто не стремится сохранять свое существование ради какой-то посторонней цели». Мы можем предположить, что сознание, когда оно впервые затеплилось в человеке, было орудием, позволяющим ему установить отношения со своей средой, и что на протяжении долгих веков оно не развивалось больше, чем это было необходимо человеку для решения насущных практических задач. Но с течением времени сознание, видимо, переросло эти непосредственные его нужды, и, когда возникло воображение, человек раздвинул рамки своей среды, так что она уже стала включать невидимое глазу. Нам известно, какие ответы он в то время давал на волновавшие его вопросы. Энергия, бушевавшая в нем, была так велика, что он не мог даже допустить сомнения в собственной значительности; его эгоизм был до того всеобъемлющ, что он не мог представить себе возможность полного своего исчезновения. Многих эти ответы удовлетворяют и по сей день. Они придают жизни какой-то смысл и успокаивают человеческое тщеславие.

Люди в большинстве своем мало думают. Они, не рассуждая, принимают свое присутствие в мире; слепые рабы той силы, которая ими движет, они мечутся во все стороны,

стремясь удовлетворить свои естественные побуждения, а когда сила иссякает — гаснут, как пламя свечи. Они живут чисто инстинктивно. Возможно, в этом проявляется высшая мудрость. Но как быть, если ваше сознание развилось настолько, что некоторые вопросы не дают вам покоя, а старым ответам на них вы не верите? Как вы сами ответите на них? На один из этих вопросов двое из умнейших людей, когда-либо живших на земле, дали свои собственные ответы. Вдумавшись в них, понимаешь, что значат они примерно одно и то же, и значат не так уж много. Аристотель сказал, что цель человеческой деятельности — поступать правильно, а Гете — что секрет жизни в том, чтобы жить. Гете, как я понимаю, имел в виду, что наилучшим образом использовать свою жизнь — значит добиваться самовыражения; он не очень-то почтительно относился к тем, чьей жизнью управляют мимолетные прихоти и несдерживаемые инстинкты. Но трудность самовыражения, то есть доведения до высшей степени совершенства всех заложенных в тебе способностей, с тем чтобы получить от жизни все удовольствие, всю красоту, интерес и эмоции, какие она может дать, — эта трудность заключается в том, что твою деятельность все время ограничивают претензии других людей; и моралисты, заинтригованные этой теорией, но страшящиеся ее последствий, пролили немало чернил, пытались доказать, что наиболее полно человек выражает себя в самопожертвовании и отказе от своих интересов. Этого Гете, во всяком случае, не имел в виду, и это представляется мне неверным. Мало кто станет отрицать, что самопожертвование доставляет большую радость, и поскольку оно открывает новое поле деятельности и дает человеку возможность развить еще одну сторону своего «я», постольку оно ценно для самовыражения; но если стремиться к самовыражению только в той мере, в какой оно не мешает попыткам других людей достичь той же цели, далеко не уйдешь. Цель эта требует некоторой жестокости и поглощенности собой, которая оскорбительна для других и потому часто сама себя сводит на нет. Хорошо известно, что многих людей, сталкивавшихся с Гете, возмущало его холодное себялюбие.

LXXII

В том, что я не пожелал слепо идти по стопам людей, которые много меня умнее, можно усмотреть самомненис. Но, как мы ни походим друг на друга, все же двух

совершенно одинаковых людей не существует (свидетельство тому — отпечатки пальцев), и я не вижу причин, почему бы мне было по мере сил не постараться выбрать собственный путь. Я пытался составить себе программу жизни. Это, вероятно, можно расценить как самовыражение, сдобренное изрядной долей иронии, — все, на что я был в то время способен. Но тут есть один вопрос, который я обошел, когда касался этого предмета в начале книги; да и теперь, когда избежать его уже нельзя, я невольно перед ним робею. Я сознаю, что в некоторых своих рассуждениях принимал свободу воли как данность; я говорил так, будто в моей власти осуществлять мои замыслы и направлять мои поступки, как мне вздумается. А в других случаях я говорил так, словно принимаю детерминизм. Такие шатания были бы недопустимы, если бы я писал философский труд. Я на это не претендую. И можно ли ожидать, чтобы я, дилетант, разрешил вопрос, о котором до сих пор спорят философы?

Казалось бы, разумнее всего не ломать себе голову над этим предметом, но беда в том, что писателя он касается особенно близко: читатель требует от автора строжайшего детерминизма. Выше я уже указывал, как неохотно публика принимает импульсивные поступки в пьесе. Но что такое импульс? Это просто побуждение к действию, причины которого действующий не знает: он аналогичен интуиции — суждению, которое мы выносим, не зная его причины. Но хотя всякий импульс имеет причину, публика его не примет, потому что причина не очевидна. Те, кто смотрит пьесу или читает книгу, непременно желают знать причину всякого поступка и не поверят в нее, если она недостаточно убедительна. Каждый персонаж должен действовать соответственно своему характеру; другими словами, он должен делать то, чего на основании своих знаний о нем ждет от него публика. Писатель должен всякий раз идти на уловки, чтобы убедить публику принять совпадения и случайности, какие в жизни она глотает ничтоже сумняшеся. Читатели и зрители — все до единого детерминисты, и плохо придется писателю, который вздумает шутить этим их предрассудком.

С другой стороны, оглядываясь на собственную жизнь, я не могу не заметить, как много важного для меня было в ней вызвано обстоятельствами, в которых трудно усмотреть что-либо, кроме чистой случайности. Детерминизм утверждает, что выбор следует линии наименьшего сопротивления или наиболее сильного побуждения. Мне кажется,

что я не всегда следовал линии наименьшего сопротивления, а если я следовал наиболее сильному побуждению, то побуждением этим было представление о самом себе, которое я сам постепенно выработал. Как ни избита метафора с шахматами, здесь она как нельзя более уместна. Фигуры были даны, и я должен был считаться с тем, как ходит каждая из них; я должен был также считаться с ходами своих противников; но при этом мне кажется, что, со своей стороны, я мог, очевидно в согласии со своими симпатиями и антипатиями и с идеалом, который я перед собой видел, делать тот или иной ход по своей воле. Мне кажется, что время от времени мне удавалось делать усилие не вполне определенное.

Если это иллюзия, то иллюзия не бесполезная. Теперь я знаю, что часто делал неправильные ходы, но так или иначе все они вели к цели. Лучше было бы, если бы я не совершил так много ошибок, но я о них не жалею и не хотел бы сейчас их исправить.

Мне представляется вполне разумной мысль, что все на свете, вместе взятое, определяет каждый наш поступок, мнение или желание; но был ли тот или иной поступок неизбежен с начала времен—это можно сказать, только если решить сперва, возможны ли события—то, что д-р Бруд называет каузальными предпосылками,—не целиком предопределенные. Юм еще давно доказал, что между причиной и следствием нет внутренней связи, которую можно было бы воспринять сознанием; а в последнее время индетерминисты, указав на ряд явлений, для которых нельзя найти причины, взяли под сомнение универсальность законов, на которых до сих пор основывалась наука. Похоже, что опять нужно принимать в расчет случайность. Но если не бесспорно, что мы связаны законом причинности, тогда, возможно, свобода воли—не иллюзия? Епископы и настоятели ухватились за эту новую теорию, точно это был хвост дьявола, за который они надеялись снова вытащить самого дьявола на свет Божий. И было великое ликование если не в небесных чертогах, то хотя бы в епископских дворцах. Пожалуй, *Te Deum*¹ запели слишком рано. Не мешает помнить, что два виднейших ученых нашего времени относятся к принципу Гейзенберга скептически. Планк высказал мнение, что дальнейшие исследования устранят кажущуюся аномалию, а Эйнштейн назвал философские идеи, основанные на этом принципе, «литературой»; боюсь, что

¹ Тебя Бога (хвалим) (лат.) — благодарственная молитва.

это лишь вежливый вариант слова «чушь». Сами физики говорят нам, что при тех темпах, какими их наука шагает вперед, за достижениями ее можно уследить, только если внимательно читать всю периодику. Конечно же, опрометчиво строить теорию на принципах, подсказанных столь быстро развивающейся наукой. Сам Шредингер сказал, что никакое окончательное и исчерпывающее суждение по этому вопросу сейчас невозможно. Обыкновенному человеку позволительно оставаться в роли буриданова осла, но, пожалуй, ему все же стоит чаще поворачивать голову в сторону детерминизма.

LXXIII

Сила жизни — великая сила. Радость, которую она дает, искупает все страдания и невзгоды, выпадающие на долю человека. Только благодаря ей и стоит жить, потому что она действует изнутри и ярким своим пламенем освещает каждую минуту нашего существования, так что даже невыносимое кажется нам выносимым. Пессимизм в большой мере вызывается тем, что мы приписываем другим такие чувства, какие сами испытывали бы на их месте. Этим (наряду со многими другими причинами) объясняется, почему литература так фальшива. Писатель строит мир для всех из своего собственного, личного мира и наделяет своих персонажей впечатлительностью, способностью размышлять и богатством эмоций, присущими ему самому. У большинства людей почти нет воображения, и они не страдают от того, что для человека с воображением было бы нестерпимо. Так, например, скученность, в какой живут бедняки, ужасает нас, цeniaщих свою обособленность; но самих бедняков она не ужасает; они не любят оставаться одни; жить с другими кажется им безопасней и спокойней. Общааясь с ними, нельзя не заметить, как мало они завидуют богатым. Дело в том, что им просто не нужно многое из того, что другим кажется необходимым. Для богатых это большая удача. Ибо только слепой может не увидеть, что жизнь пролетариата в больших городах — сплошная нужда и неурядица. Трудно примириться с тем, что у людей нет работы; что самая работа так уныла; что они, а с ними их жены и дети, живут впроголодь и впереди их не ждет ничего, кроме нищеты. Если помочь этому может только революция, тогда пусть будет революция, и поскорее. Зная, как жестоко люди даже сейчас обращаются друг с другом в странах, которые мы

привыкли называть цивилизованными, опрометчиво было бы утверждать, что они изменились к лучшему. И однако, позволительно думать, что в общем жить на свете стало лучше, чем было в прошлом, известном нам из истории, и что участь значительного большинства людей, как она ни плоха, все же не так ужасна, как была тогда; и можно надеяться, что с ростом знаний, с отказом от многих жестоких суеверий и переживших себя условностей, с расцветом милосердия многие из зол, от которых страдают люди, исчезнут. Но многие останутся. Мы — игрушки в руках природы. Землетрясения будут по-прежнему разрушать города, засухи — губить урожай и наводнения — сметать плотины и дамбы, старательно возведенные человеком. Войны — плод человеческого безрассудства — будут, увы, по-прежнему опустошать землю. По-прежнему будут рождаться люди, не приспособленные к жизни, и жизнь будет для них бременем. Пока одни сильны, а другие слабы, слабых будут оттеснять с дороги. Пока на людях проклятием лежит дух стяжательства, то есть, вероятно, пока они существуют, они будут отнимать все, что смогут, у тех, кто бессилён этому противиться. Пока жив инстинкт самоутверждения, они будут удовлетворять его за счет счастья других людей. Короче говоря, пока человек остается человеком, он должен быть готов принять все невзгоды, какие он в силах снести.

Зло не поддается объяснению. Его нужно принять как неотъемлемую часть существования вселенной. Закрывать на него глаза было бы ребячеством; сетовать на него — бессмысленно. Спиноза назвал сострадание недостойным мужчины; это звучит резко в устах человека с такой нежной и чистой душой. Вероятно, он имел в виду, что горячо переживать то, чего не можешь изменить, — значит впустую растрачивать чувства.

Я не пессимист. Прежде всего, это было бы глупо — ведь я из тех, кому повезло в жизни. Я часто дивлюсь своей удаче. Я отлично сознаю, что у многих, более достойных, жизнь сложилась не так счастливо, как у меня. Двух-трех случайностей было бы достаточно, чтобы все изменить и оставить меня ни с чем, как остались ни с чем многие, у которых были таланты не меньше, а то и больше моих и такие же возможности. Если кому из них попадутся на глаза эти страницы, я очень прошу их верить, что свои успехи приписываю не собственным заслугам (я не настолько самонадеян), а стечению самых неожиданных обстоятельств, которое не берусь объяснить. При всех моих дефектах, физических и духовных, я всегда любил жить. Я не

хотел бы повторить свою жизнь сначала. Это было бы скучно. И все, что я выстрадал, мне не хотелось бы пережить снова. К числу врожденных своих недостатков я отношу то, что больше страдал от невзгод своей жизни, чем радовался ее удовольствиям. Но без своих физических изъянов, с более крепким телом и более острым умом, я бы охотно еще раз пустился в жизненный путь. Судя по всему, ближайшее будущее сулит нам много интересного. Сейчас у молодежи, вступающей в жизнь, больше преимуществ, чем было у моего поколения. Ее не связывает столько условностей, и она научилась ценить молодость. В наше время мир, в который мы вступали, был миром пожилых людей, а молодость считалась чем-то, что нужно как можно скорее отбыть, чтобы достичь зрелого возраста. Нынешняя молодежь, по крайней мере в том кругу общества, к которому я принадлежу, на мой взгляд, лучше подготовлена к жизни. Теперь детям дают много полезных знаний, которые мы, как умели, приобретали своими силами. Отношения между полами стали более нормальными. Девушки научились быть товарищами для молодых людей. Одна из трудностей, с которыми столкнулось мое поколение — поколение, подраставшее в пору женской эмансипации, — состояла в следующем: женщина перестала быть хозяйкой и матерью, жившей отдельно от мужчины, своими интересами и делами, и пыталась принимать участие в деятельности мужчин, не имея к тому никаких данных; она требовала той же заботы о себе, какой привыкла пользоваться, пока соглашалась считать себя ниже мужчины, а вместе с тем настаивала на своем праве, своем только что завоеванном праве заниматься мужскими делами, в которых понимала ровно столько, чтобы мешаться всем на дороге. Она уже не была хозяйкой и еще не научилась быть славным малым. А в наши дни ничто так не радует глаз стареющего джентльмена, как дельная и уверенная молодая девушка, которая может управлять конторой и отлично играет в теннис, в меру интересуется общественными делами, умест ценить искусство и, крепко стоя на собственных ногах, смотрит на жизнь спокойно, пронизательно и терпимо.

Боже меня упаси рядиться в одежды пророка, но для меня очевидно, что молодежь, выходящая сейчас на сцену, должна быть готова к экономическим сдвигам, которые в корне изменят всю цивилизацию. Она не будет знать той легкой, беззаботной жизни, о которой многие, кто был во цвете лет перед войной, вспоминают так же, как пережившие Французскую революцию вспоминали Ancien

Régime¹. Им будет неведома la douceur de vivre². Мы живем накануне великих революций. Я не сомневаюсь, что пролетариат, все яснее осознавая свои права, в конце концов захватит власть в одной стране за другой, и я не перестаю удивляться, почему нынешние правящие классы, чем упорствовать в напрасной борьбе с этой неодолимой силой, не используют всякую возможность подготовить массы к выполнению предстоящих им задач, так чтобы, когда нынешних правителей отстранят от дел, их постигла бы менее жестокая участь, чем в России. Дизраэли еще давным-давно указал им, как нужно поступить. Что касается меня, то, скажу откровенно, я надеюсь, что на мой век хватит нынешнего положения вещей. Но мы живем в эпоху быстрых перемен, и возможно, что я еще увижу западные страны под властью коммунизма. Один мой знакомый, русский эмигрант, рассказывал мне, что, когда он потерял свое поместье и все свое состояние, им овладело отчаяние; но через две недели он снова обрел ясность духа и с тех пор ни разу и не вспоминал о том, чего лишился. Я думаю, что не настолько привязан к своей собственности, чтобы долго грустить о потере ее. Если то, что произошло в России, повторится у нас, я постараюсь приспособиться, а уж если жизнь покажется мне совсем невыносимой, у меня, я думаю, хватит мужества уйти со сцены, на которой я больше не мог бы играть свою роль так, как мне нравится. Мне непонятно, почему многих людей мысль о самоубийстве приводит в ужас. Говорить, что это трусость, — нелепо. Если человек сам уходит из жизни, когда в жизни его не ждет ничего, кроме боли и горя, я могу только одобрить его поступок. Разве не сказал Плиний, что возможность умереть когда захочешь — лучшее, что Бог дал человеку в его полной страданиями жизни? Оставив в стороне тех, кто считает самоубийство греховным, потому что оно нарушает Божеский закон, я думаю, что причину негодования, которое оно так часто вызывает, нужно искать в том, что самоубийца бросает вызов силе жизни и, действуя наперекор самому сильному из человеческих инстинктов, ставит под сомнение способность этого инстинкта оградить человека от смерти.

Этой книгой я в общих чертах завершу ту программу, которую себе наместил. Если я буду жив, то буду писать еще книги для своего удовольствия и, надеюсь, для удовольствия моих читателей, но едва ли они прибавят к ней что-нибудь

¹ Старый режим (*фр.*).

² Сладость жизни (*фр.*).

существенное. Дом построен. К нему можно пристроить балкон, с которого откроется красивый вид, или беседку, где хорошо посидеть и подумать в летний зной; но, даже если смерть помешает мне этим заняться, даже если мой дом начнут разбирать на следующий же день после того, как меня похоронят в кратком некрологе, все равно я знаю: дом построен.

Старость меня не страшит. Когда Лоренс Аравийский погиб, я прочел в одной статье, написанной человеком, близко его знавшим, что он ездил на мотоцикле с отчаянной скоростью в расчете на то, что катастрофа прервет его жизнь, пока он еще в расцвете сил, и избавит его от унижений старости. Если это не выдумка, то говорит о большой слабости этой самобытной и несколько театральной натуры. Здесь есть своего рода недомыслие. Ведь полная жизнь, завершенная программа включает не только молодость и зрелость, но и старость. Хороша и красота утра, и сияние полдня, но лишь очень неумный человек задернет занавески и включит свет, чтобы отгородиться от безмятежного спокойствия вечера. У старости есть свои удовольствия, не меньшие, чем удовольствия молодости, только иные. Философы вечно толкуют нам, что мы рабы своих страстей; так разве не великое дело освободиться от их власти? У дурака будет дурацкая старость, но и молодость его была такая же. Молодой человек в ужасе шарахается от старости, воображая, что, когда он ее достигнет, его по-прежнему будет тянуть к тому, в чем он находил вкус и отраду в молодости. Это — заблуждение. Правда, старику уже не по силам совершить восхождение на горный пик или повалить на кровать хорошенькую девчонку; правда и то, что он сам уже не вызывает вожделения. Зато хорошо быть свободным от мук безответной любви и терзаний ревности. Хорошо, что зависть, так часто отравляющая молодые годы, утихает с отмиранием желаний. Но все это — негативные преимущества, а у старости есть преимущества и положительные. Как ни парадоксально это звучит, у стариков больше времени. В молодости я поразился, узнав от Плутарха, что Катон начал изучать греческий язык в восемьдесят лет. Сейчас это меня не поражает. Старость берется за дела, от которых молодость уклоняется, потому что они-де требуют слишком много времени. К старости лучше становится вкус, и можно наслаждаться искусством и литературой без той личной предубежденности, которая в молодости окрашивает наши суждения. Старость находит удовлетворение в собственной свершенности. Она сбросила пути эгоизма;

душа, наконец-то ставшая свободной, радуется быстротечному мгновению, но не молит его помедлить. Программа завершена. Гете хотел жить после смерти, чтобы могли проявиться те стороны его личности, которые он, как ему казалось, не успел развить при жизни. Но не он ли сказал, что всякий, кто хочет чего-нибудь достичь, должен научиться ограничивать себя? Читая его биографию, невольно замечаешь, как много времени он растрачивал по пустякам. Возможно, что, если бы он более строго себя ограничивал, он развил бы свою индивидуальность более гармонично и полно, и тогда ему не понадобилась бы жизнь за гробом.

LXXIV

Спиноза говорит, что человек свободный ни о чем так мало не думает, как о смерти. Размышлять о ней с утра до ночи нет нужды, но стараться, как это делают многие, вовсе ее игнорировать тоже неразумно. Надо определить свое отношение к ней. Я часто пробовал представить себе, что бы я почувствовал, если бы врач сказал мне, что я неизлечимо болен и мне осталось совсем недолго жить. В такую ситуацию я не раз ставил своих героев, но я понимаю, что это уже вымысел, и вовсе не уверен, что они высказывали именно те чувства, которые я испытал бы на самом деле. Не думаю, что инстинкт заставил бы меня особенно крепко цепляться за жизнь. Я перенес немало серьезных болезней, но только раз был действительно на волосок от смерти; а тогда я ощущал такую усталость, что мне было не до страха и хотелось одного — чтобы пришел конец. Смерть неизбежна, и не так уж важно, как именно человек ее встречает. Мне кажется, нельзя его винить, если он надеется, что не будет знать о ее приближении и что ему дано будет умереть без страданий.

Я всегда так много жил будущим, что даже теперь, когда будущего осталось совсем мало, не могу отделаться от этой привычки и уже предвкушаю, как завершится через некое количество лет программа, которую я пытался наметить. Бывают минуты, когда я так жажду смерти, что готов спешить ей навстречу, как в объятия возлюбленной. Она наполняет меня таким же радостным трепетом, каким много лет назад наполняла меня жизнь. Мысль о ней опьяняет. В такие минуты мне кажется, что она даст мне окончательную, абсолютную свободу. Однако же я готов пожить и еще, пока врачи берутся сохранять мое здоровье в приличном

состоянии; мне нравится наблюдать, что делается вокруг, мне интересно, что будет дальше. Одна за другой кончаются жизни, протекавшие параллельно с моей, и это дает мне неиссякаемую пищу для размышлений, а иногда и подтверждает давно сложившиеся у меня теории. Мне жаль будет расстаться с моими друзьями. Я не могу не тревожиться о судьбе тех, кого направлял и поддерживал, но, с другой стороны, они очень давно зависят от меня, и им неплохо будет пожить самостоятельно, что бы из этого ни вышло. Я долго занимал в мире какое-то место и теперь готов уступить его другим. Ведь главное во всякой программе — чтобы она была выполнена. Когда к производству ничего нельзя прибавить, не испортив его, художник откладывает кисть.

Но, доведись кому-нибудь спросить меня, в чем же смысл или польза такой программы, я вынужден буду ответить: ни пользы, ни смысла в ней нет. Я просто хотел противопоставить что-то бессмысленности жизни, потому что я — писатель. Для собственного удовольствия, для развлечения и чтобы удовлетворить то, что ощущалось как органическая потребность, я строил свою жизнь по какому-то плану — с началом, серединой и концом, так же как из встреченных там и сям людей я строил пьесу, роман или рассказ. Каждый из нас — порождение своей природы и своей среды. Я составил не ту программу жизни, какую считал наилучшей, и даже не ту, какую хотел бы составить, а просто ту, которая представлялась мне выполнимой. Есть жизни и лучше моей. Нельзя, мне кажется, объяснить только иллюзией, свойственной писателям, что самой замечательной представляется мне жизнь земледельца, который пашет землю и собирает урожай, находит отраду и в труде, и в досуге, любит, женится, растит детей и умирает. Когда я наблюдал крестьян в тех благословенных странах, где земля родит в изобилии, не требуя непосильного труда, где радости и горести человека — это радости и горести, присущие всему человечеству, мне казалось, что передо мною — совершенная жизнь в ее совершенном осуществлении. Там жизнь, как хорошо написанный рассказ, идет от начала до конца одной уверенной, непрерывной линией.

LXXV

Люди, будучи эгоистами, не могут легко примириться с отсутствием в жизни всякого смысла; и когда они с грустью убедились, что уже не способны верить в высшее

существо и льстить себя мыслью, что служат его целям, они попытались осмыслить жизнь, создав известные ценности помимо тех, которые непосредственно содействуют удовлетворению их насущных потребностей. Из этих ценностей мудрость веков выделила три как наиболее достойные. Стремление к ним как к самоцели, казалось, придавало жизни какой-то смысл. Хотя в них, по всей вероятности, тоже заключена непосредственная польза, но на поверхностный взгляд их отличает отрешенность от всего земного, которая и создает у человека иллюзию, будто с их помощью он избавляется от человеческого рабства. Высокое их благородство укрепляет в нем сознание собственной духовной значимости, и стремление к ним независимо от результатов как будто бы оправдывает его усилия. Это — оазисы в бескрайней пустыне существования, и поскольку людям неизвестен конец их пути, они убеждают себя, что до этих оазисов, во всяком случае, стоит добраться и что там их ждет отдых и ответы на все вопросы. Эти три ценности — Истина, Красота и Добро.

Мне представляется, что Истина попала в этот список по риторическим причинам. Человек наделяет ее этическими атрибутами, такими, как мужество, честь и независимость духа, и действительно, эти качества часто проявляются в человеке, приверженном к истине, однако на самом деле они не имеют к ней никакого отношения. Человек находит в ней столько возможностей для самоутверждения, что готов ради нее на любые жертвы. Но интересует его в этом случае не истина, а он сам. Если истина — ценность, то она является таковой потому, что она истинна, а не потому, что придерживаться ее — похвально. Но истинность — один из признаков суждения, и поэтому ценность ее, казалось бы, должна заключаться не в ней самой, а в тех суждениях, признаком которых она служит. Мост, соединяющий два больших города, важнее, чем мост, ведущий от одной пустоши к другой. И если истина — одна из высших ценностей, странно, что никто как будто не знает, что это такое. Философы до сих пор об этом спорят, и сторонники противоположных учений зло издеваются друг над другом. При таком положении вещей обыкновенному человеку лучше оставить их в покое и довольствоваться истиной обыкновенных людей. А это — особа скромная и без претензий, она всего-навсего утверждает что-то об отдельных, конкретных вещах. Это попросту констатация фактов. Если видеть в ней ценность, то нужно признать, что ни одной ценностью не пренебрегают так, как ею. В трудах по этике мы находим

длинные персичи случаев, когда истину позволительно утаивать. Авторы их могли бы и не утруждать себя: мудрость веков уже давно решила, что *toutes vérités ne sont pas bonnes à dire*¹. Человек всегда приносил истину в жертву своему тщеславию, удобству и выгоде. Он живет не истиной, а фикцией, и порой мне кажется, что все его высокие порывы — это попросту стремление придать видимость правды тем выдумкам, которыми он льстит своему самолюбию.

LXXVI

С красотой дело обстоит гораздо лучше. В течение многих лет я считал, что только красота придает жизни смысл и что единственная цель несчетных поколений, сменяющих друг друга на земле, — это время от времени рождавать художника. В произведении искусства я видел вершину человеческой деятельности и конечное оправдание всех мук, беспросветного труда и разбитых надежд человечества. Мне казалось, что миллионам людей вполне стоило жить, страдать и умереть ради того, чтобы Микеланджело мог создать некоторые фигуры в плафоне Сикстинской капеллы, Шекспир — написать некоторые свои монологи, а Китс — свои оды. И хотя со временем я несколько изменил эту нелепую формулу, включив в число произведений искусства, которые придают жизни смысл, также и прекрасную человеческую жизнь, но ценил я в ней опять-таки красоту. От всех этих фантазий я давно отказался.

Прежде всего, я обнаружил, что красота — тупик. Думая о прекрасных вещах, я понял, что мне нечего делать, как только смотреть и восхищаться. Эмоция, которую они во мне вызывали, была восхитительна, но я не мог ее сбросить и не мог всякий раз испытывать ее снова; самые прекрасные вещи в конце концов мне надоедали. Я заметил, что более прочное удовольствие получаю от вещей менее совершенных. Оттого что они были не во всем удачны, они заставляли живее работать мое воображение. В величайших произведениях искусства все было достигнуто, мне ничего не оставалось добавить, а от пассивного созерцания мой беспокойный ум утомлялся. Мне казалось, что красота подобна горной вершине: когда достигнешь ее, больше нечего делать, кроме как спускаться обратно. Совершенство самую

¹ Не всякую правду нужно говорить (*фр.*).

малость скучно. Вот поистине ирония жизни: то, к чему мы все стремимся, оказывается лучше, когда оно достигнуто не полностью.

Под красотой мы, очевидно, понимаем вещь, материальную или духовную (чаще материальную), которая удовлетворяет наше эстетическое чувство. Но из этого определения вы узнаете примерно столько же, сколько узнали бы о воде, если бы вам сообщили, что она мокрая. Я перечитал немало книг в надежде найти у высоких авторитетов что-нибудь более вразумительное по этому поводу. Я близко знал многих людей, увлеченных искусством. Боюсь, что ни от них, ни из ученых трудов я не узнал почти ничего для себя полезного. Одно из самых любопытных явлений, которые я подметил, состоит в том, что постоянной оценки красоты не существует. Музеи полным-полны предметов, которые самый взыскательный вкус той или иной эпохи почитал прекрасными, а на наш взгляд они ничего не стоят; да и за свою жизнь я видел, как красота, словно иней под лучами утреннего солнца, испарялась из картин и стихов, еще недавно безупречных. При всем своем тщеславии, мы не можем считать свое суждение навеки непогрешимым: то, что нам кажется прекрасным, через тридцать лет наверняка будет вызывать насмешку, а то, что мы презирали, будут, возможно, превозносить до небес. Вывод отсюда один: красота относительна, она зависит от потребностей разных поколений, а искать в том, что нам кажется прекрасным, признаков абсолютной красоты — бесполезное дело. Пусть красота — одна из тех ценностей, которые придают жизни смысл, но это нечто непрерывно меняющееся, а значит, не поддающееся анализу, потому что мы не можем воспринять ту красоту, которую воспринимали наши предки, как не можем понюхать те розы, которые они нюхали.

Из книг по эстетике я пытался узнать, благодаря какому свойству человеческой природы в нас рождается эмоция красоты и что, в сущности, представляет собой эта эмоция. Много говорят об эстетическом инстинкте; само это слово как бы отводит ему место в ряду основных сил, движущих человеком, таких, как голод и половой инстинкт, а в то же время наделяет его особым качеством, которое отвечает философскому стремлению к единству. Эстетику пытались вывести из инстинкта самовыражения, из переизбытка жизненных сил, из мистического чувства абсолюта и бог его знает из чего еще. А я бы сказал, что это вообще не инстинкт, а психофизическое состояние, основанное частью на некоторых сильных инстинктах, частью же на

особенностях человеческой природы, обусловленных процессом эволюции, и на конкретных обстоятельствах жизни. Связь сго с половым инстинктом, видимо, подтверждается тем общепризнанным фактом, что люди, наделенные особенно тонким эстетическим чувством, в сексуальном отношении являют собой отклонение от нормы, часто патологическое. Может быть, определенные тона, ритмы и краски особенно привлекательны для человека в силу какого-то свойства его психофизической конституции, так что наши предпочтения в области прекрасного объясняются физиологическими причинами. Но мы находим вещи прекрасными и потому, что они напоминают нам о предметах, людях и местах, которые мы любили или которые за давностью лет стали нам милы. Мы находим вещи прекрасными потому, что узнаем их; и наоборот — мы находим их прекрасными потому, что они нас поражают своей новизной. Все это значит, что эстетическая эмоция в большой мере включает в себя ассоциации как по сходству, так и по контрасту. Только ассоциациями можно объяснить эстетическую ценность безобразного. Я не знаю, изучал ли кто-нибудь влияние времени на красоту. Тут дело не только в том, что мы начинаем видеть в вещах красоту, когда лучше узнаем их; скорее можно сказать, что к их красоте прибавляется то наслаждение, которое они давали людям из века в век. Я думаю, что именно поэтому некоторые произведения искусства, красота которых сейчас так очевидна, при своем появлении на свет не привлекли особенного внимания. Так, мне кажется, что оды Китса сейчас прекраснее, чем когда он только что их написал. Они обогатились эмоциями всех, кто черпал в их прелести отраду и силы. Таким образом, эстетическая эмоция — это нечто отнюдь не простое, а, напротив, очень сложное, состоящее из разнообразных, подчас противоречивых, элементов. Специалисты по эстетике могут сколько угодно говорить, что картина или симфония не должна нас волновать тем, что вызовет у вас эротический трепет, или растрогает вас до слез, напомнив что-то давно забытое, или своими ассоциациями поднимет вас до мистического восторга; именно так оно и бывает, и это столь же неотъемлемая часть эстетической эмоции, как чистое любованье композицией и красками.

Какова же реакция человека на произведение искусства? Что, к примеру, он ощущает, глядя в Лувре на «Положение во гроб» Тициана или слушая квинтет из «Мейстерзингеров»? За себя я могу ответить. Моя реакция — это волнение, интеллектуальное, но с налетом чувственного, оно весе-

лит душу, рождает довольство, в котором я могу уловить ощущение силы и освобождения от земных уз; в то же время я ощущаю в себе нежность, насыщенную сочувствием к людям; я ощущаю покой, отдых, но и духовную отрешенность. Более того, когда я смотрел на некоторые картины и статуи и слушал некоторые музыкальные произведения, мною порой овладевало чувство столь сильное, что описать его я мог бы только словами, какими мистики описывают свое общение с Богом. Поэтому я и думаю, что это чувство слияния с какой-то высшей сущностью не является привилегией верующих и может быть достигнуто другими путями, кроме поста и молитвы. Но я спрашивал себя, какая польза в этой эмоции. Она, разумеется, чрезвычайно приятна, а удовольствие хорошо само по себе; но чем она превосходит все другие удовольствия, превосходит настолько, что, называя ее удовольствием, мы тем самым как будто ее принижаем? Может быть, не такую уж глупость проявил Джереми Бентам, когда сказал, что всякое счастье хорошо и что игра в бланш ничуть не хуже поэзии, если способна доставить такое же удовольствие? Мистики ответили на этот вопрос совершенно четко. Они утверждают, что экстаз не имеет цены, если он не укрепляет характера и не увеличивает способность человека поступать правильно. О ценности его нужно судить по результатам.

Мне довелось много общаться с тонкими ценителями красоты. Я сейчас говорю не о художниках: есть большая разница между теми, кто создает искусство, и теми, кто им наслаждается; первые творят, потому что их понуждает к тому потребность воплотить в произведении искусства свою личность. Если оно оказывается прекрасным, это случайность: они редко ставят себе такую цель. Их цель — освободить свою душу от давящего на нее груза, а средства — перо, краски или глину — они выбирают смотря по своим природным склонностям. Сейчас я говорю о тех, кто считает главным делом своей жизни восприятие и оценку искусства. Эти люди не вызывают во мне восхищения. Они тщеславны и самодовольны. Не приспособленные к практической жизни, они свысока взирают на того, кто скромно выполняет незаметную работу, выпавшую ему на долю. Оттого что они прочли много книг или пересмотрели много картин, им кажется, что они выше других людей. Они пользуются искусством, чтобы уйти от действительности, и в идиотском своем пренебрежении всем «обыкновенным» отрицают ценность самых необходимых видов человеческой деятельности. В сущности, они ничем не лучше наркоманов,

даже хуже, потому что наркоман хотя бы не залезает на пьедестал, чтобы с высоты его поглядывать на своих ближних. Ценность искусства, как и ценность мистических восторгов, познается по результатам. Если оно может доставить только удовольствие, пусть даже духовного порядка, значение его невелико, вернее — не больше, чем значение дюжины устриц и бутылки бургундского. Если оно утешает, это другое дело: мир полон неизбежного зла, и хорошо, если у человека есть убежище, куда он время от времени может скрываться; но не затем, чтобы уйти от зла, а скорее затем, чтобы набраться новых сил и сносить зло более стойко. Ибо искусство, если мы хотим его числить среди великих ценностей жизни, должно учить смирению, терпимости, мудрости и великодушию. Ценность искусства — не красота, а правильные поступки.

Если красота — одна из величайших ценностей жизни, не верится, чтобы эстетическое чувство, с помощью которого человек ее воспринимает, было привилегией какой-то ограниченной группы. Невозможно утверждать, что форма восприятия, доступная только избранным, — необходимый элемент человеческой жизни. А между тем именно таково утверждение эстетов. Должен сознаться, что в дни моей безрассудной молодости, когда в искусстве (а я включал в него и красоту природы, поскольку думал, да и теперь думаю, что красоту эту создают люди, так же как они создают картины или симфонии) я видел венец человеческих усилий и оправдание всего существования человека, мне особенно льстила мысль, что лишь немногие, особо отмеченные, способны его ценить. Но эта мысль давно и решительно мною отброшена. Я отказываюсь верить, что красота — достояние единиц, и склонен думать, что искусство, имеющее смысл только для людей, прошедших специальную подготовку, столь же незначительно, как те единицы, которым оно что-то говорит. Подлинно великим и значительным искусством могут наслаждаться все. Искусство касты — это просто игрушка. Я не знаю, зачем проводится различие между древним и современным искусством. Искусство едино. Оно живое. Пытаться вдохнуть жизнь в произведение искусства, окружая его историческими, культурными или археологическими ассоциациями, — бессмысленно. Совершенно все равно, кто высек статую — древний грек или современный француз. Важно лишь, чтобы она сейчас вызывала в нас эстетическое волнение и чтобы это эстетическое волнение толкало нас к действию. Оно должно укреплять характер, повышать способность к правильным поступ-

кам; если этого нет — значит, вся наша эстетическая эмоция не более как баловство и пища для самомнения. И как ни мало мне нравится такой вывод, от него никуда не уйдешь: о произведении искусства нужно судить по его плодам, и если они нехороши, значит, оно лишено всякой ценности. Как ни странно — я не могу объяснить это явление, но, видимо, оно в природе вещей, — художник достигает нужного результата лишь тогда, когда не добивается этого. Его проповедь всего действенней, если он и не подозревает, что проповедует. Пчела делает воск для собственных нужд и понятия не имеет, что человек найдет для него много различных применений.

LXXVII

Итак, выходит, что ни истина, ни красота не имеют постоянной внутренней ценности. Ну а доброта? Но прежде чем говорить о доброте, я хочу поговорить о любви, потому что некоторые философы считают ее высшей из человеческих ценностей, полагая, что она включает все остальные. Платонизм и христианство общими силами наделили ее мистическим смыслом. Ассоциации, вызываемые самым ее названием, придают ей эмоциональность, благодаря которой она становится интереснее, чем обыкновенная доброта. По сравнению с ней доброта скучновата. Но слово «любовь» означает две разные вещи: просто любовь, то есть страсть, и милосердие. Мне кажется, что даже Платон не умел четко их разграничить. Чувство ликования, ощущение силы и возросшей жизнеспособности, сопутствующие любви-страсти, — все это он связывает с другой любовью (которую называет небесной, а я предпочитаю называть милосердием) и тем самым приписывает ей неустранимый порок любви земной. Ибо любовь проходит. Любовь умирает. Величайшая трагедия жизни состоит не в том, что люди гибнут, а в том, что они перестают любить. Тот, кого вы любите, больше вас не любит — это очень большая беда, и помочь ей трудно. Когда Ларошфуко обнаружил, что из двух влюбленных один любит, а другой разрешает себя любить, он в афористической форме описал разлад, который всегда будет мешать людям достичь в любви совершенного счастья. Как бы это ни огорчало людей и как бы гневно они это не отрицали, нет сомнения, что любовь зависит от определенной секреции половых желез. В огромном большинстве случаев последние не реагируют без конца на один

и тот же объект, а с течением лет они атрофируются. Люди в этом вопросе проявляют большое лицемерие и не желают видеть правду. Они так усердно обманывают себя, что даже не горюют, когда их любовь вырождается в то, что они называют прочной, спокойной привязанностью. Как будто привязанность имеет что-то общее с любовью! Привязанность создается привычкой, общностью интересов, условиями быта и страхом одиночества. Это скорее утешение, чем радость. Мы изменчивые создания, перемена — это воздух, которым мы дышим; так неужели же второй по силе из наших инстинктов не подвластен общему закону? Сейчас мы не такие, какими были год назад; и те, кого мы любим, тоже. Если мы, меняясь, продолжаем любить человека, который тоже меняется, это счастливая случайность. Чаще мы, уже новые люди, делаем отчаянные, жалкие попытки любить в новом человеке того, кого любили прежде. Только потому, что любовь, когда она овладевает нами, кажется такой неодолимой силой, мы убеждаем себя, что она будет длиться вечно. Когда она угасает, нам стыдно, и мы, обманутые, виним себя в слабости, тогда как должны бы принимать эту перемену в себе как нечто естественное. Опыт веков выработал в людях двойственное отношение к любви. Они не доверяют ей. Они так же часто клянут ее, как и восхваляют. Стремясь к свободе, человек, если не считать коротких мгновений, видит в отказе от себя, какого требует любовь, падение и позор. Счастье, которое она дает, — это, вероятно, величайшее счастье, доступное человеку, но редко, очень редко ничто его не омрачает. Рассказ о любви — это обычно рассказ с печальным концом. Сколько раз люди роптали на ее власть и, негодуя, молили небо избавить их от ее бремени! Они лелеют свои цепи, но и ненавидят их, зная, что это цепи. Любовь не всегда слепа, и, может быть, нет ничего мучительнее, как всем сердцем любить человека, сознавая, что он недостоин любви.

Милосердию чужда преходящность, этот неизлечимый изъян любви. Правда, оно не совсем лишено сексуального элемента. Это как в танцах: танцуешь ради удовольствия, которое доставляет движение в определенном ритме, и не обязательно мечтаешь оказаться в постели со своим партнером; но приятно танцевать лишь в том случае, если это не было бы тебе противно. В милосердии половой инстинкт сублимирован, но он сообщает этому чувству частичку своей теплой и живительной силы. Милосердие — лучшее, что есть в доброте. Оно смягчает более суровые качества, из которых она состоит, и благодаря ему не так трудно даются

второстепенные добродетели: сдержанность, терпение, самообуздание, терпимость — эти пассивные и не слишком вдохновляющие элементы доброты. Доброта — единственная ценность, которая в нашем мире видимостей как будто имеет основания быть самоцелью. Добродетель сама себе награда. Мне стыдно, что я пришел к столь банальному выводу. При моей врожденной любви к эффектам я хотел бы закончить эту книгу каким-нибудь неожиданным парадоксом или циничной эпиграммой, которая дала бы читателю повод с усмешкой заметить, что он узнает мою манеру. А выходит, что мне почти нечего сказать сверх того, что можно прочесть в любых прописях или услышать с любой церковной кафедры. Я проделал долгий кружной путь, чтобы прийти к тому, что всем уже было известно.

Почтительность мне не свойственна. Ее и так больше чем нужно. От нас требуют почительности ко многому такому, что ее не заслуживает. Часто это лишь условная дань, которой мы отделяемся, когда не хотим активно чем-нибудь заинтересоваться. Лучшая дань, какую мы можем отдать великим людям прошлого — Данте, Тициану, Шекспиру, Спинозе, — это относиться к ним не почитательно, а совсем просто, как если бы они были нашими современниками. Это лучшее, чем мы можем их отблагодарить; такая простота обращения доказывает, что они для нас живые. Но когда мне время от времени доводилось встречать настоящую доброту, тогда почитательность, даже благоговение волной поднималось у меня в сердце. И совсем не важным казалось, что редкие люди, ею наделенные, подчас бывали чуть менее умны, чем мне бы хотелось. В детстве, когда я был очень несчастлив, мне каждую ночь снилось, что моя школьная жизнь — сон и что, проснувшись, я снова окажусь дома, с матерью. Ее смерть причинила мне боль, которая и за пятьдесят лет не совсем утихла. Этот сон давно уже мне не снится; но до сих пор меня не покидает смутное ощущение, что моя действительная жизнь — мираж, в котором я делаю то-то и то-то, потому что так пришлось, но на которую я, не переставая играть в ней свою роль, могу смотреть издали и знать, что она — мираж. Когда я оглядываюсь на свою жизнь с ее успехами и срывами, ее бесчисленными ошибками, ее обманами и свершениями, радостями и горестями, она кажется мне до странности нереальной. Она призрачна и не вещественна. Может быть, мое сердце, нигде не найдя покоя, глубоко затаило древнюю жажду Бога и бессмертия, с которой мой разум не желал считаться. Мне иногда казалось, что за неимением лучшего я могу сам

с собой притворяться, будто доброта, которую я, в сущности, не так уж редко встречал на своем пути, реальна. В ней мы, пожалуй, вправе видеть если не смысл жизни и не объяснение ее, то хотя бы частичное ее оправдание. В нашем равнодушном мире с его неизбежным злом, которое подстерегает нас от колыбели до могилы, она может служить пусть не вызовом и не ответом, но утверждением нашей независимости. Доброта — защитная реакция юмора на трагическую бессмысленность судьбы. В отличие от красоты она может быть совершенной, не будучи скучной, и она выше любви, потому что прелесть ее не вянет от времени. Но доброта выражается в правильных поступках; а кто в этом путаном мире может сказать, что такое правильный поступок? Во всяком случае, это не тот поступок, который имеет целью счастье; если он приводит к счастью, то это счастливая случайность. Платон, как известно, призывал своего мудреца отказаться от безмятежной созерцательной жизни ради сутолоки практических дел, тем самым ставя исполнение долга выше, чем желание счастья; и каждый из нас, вероятно, решался иногда на какой-то шаг, потому что считал его правильным, хотя прекрасно знал, что он не принесет ему счастья ни теперь, ни в будущем. Так что же такое правильный поступок? Для себя я не знаю лучшего ответа на этот вопрос, чем тот, который дает брат Луис де Леон. Следовать его заповеди не настолько трудно, чтобы это отпугнуло человеческую слабость как нечто непосильное. Ею я заканчиваю свою книгу. Красота жизни, говорит он, заключается всего-навсего в том, чтобы каждый поступал сообразно со своей природой и со своим делом.

ΘCCE

УПАДОК И РАЗРУШЕНИЕ ДЕТЕКТИВА¹

(Из сборника «Переменчивое настроение», 1952)

I

Когда после дня тяжелых трудов у вас выдается свободный вечер и вы обшариваете глазами книжные полки в поисках, что бы такое прочесть,— какую книгу вы выберете: «Войну и мир», «Воспитание чувств», «Миддмарч» или «По направлению к Свану»². Если так, я восхищаюсь вами. Если же, стремясь не отстать от современной литературы, вы принимаетесь за присланный издателем душераздирающий роман о жизни перемещенных лиц в Центральной Европе или за роман, рисующий неприглядную картину жизни белой гольтепы в Луизиане, который купили, соблазнившись рецензией, я горячо одобряю вас. Но я ничуть на вас не похож. Во-первых, я перечел все великие романы три-четыре раза и не могу открыть в них ничего для себя нового; во-вторых, когда я вижу четыреста пятьдесят страниц убогистого шрифта, которые, если верить аннотации на обложке, обнажат передо мной тайну женского сердца или измучат описанием ужасной жизни обитателей трущоб в Глазго (и заставят продираться сквозь их сильнейший шотландский акцент), я прихожу в уныние и снимаю с полки детектив.

В начале последней войны я оказался заточен в Бандоле, приморском курорте на Ривьере, причем, надо сказать, по

¹ © Перевод. Беспалова Л. Г., 1989 г.

² Роман Марселя Пруста (1871—1922), открывающий эпопею «В поисках утраченного времени» (1913).

вине отнюдь не полиции, а обстоятельств. Жильем мне тогда служила парусная яхта. В мирное время она стояла на якоре в Вильфранше, но морские власти велели нам убираться, и мы направились в Марсель. В дороге нас настиг шторм, и мы нашли пристанище в Бандоле, где имелось что-то вроде гавани. Частные лица были лишены свободы передвижения, и мы не могли поехать не то что в Тулон, но и за десять километров без специального пропуска, а его выдавали лишь после несносной волокиты, требовавшей заполнения всевозможных формуляров и представления кучи фотографий. И я поневоле сидел на месте.

Курортная публика, наводнявшая Бандоль летом, толпами покидала городок, и он приобрел потерянный, жалкий вид. Игорный дом, большинство гостиниц и магазинов закрылись. И тем не менее я отлично проводил время. Каждое утро в писчебумажном магазине можно было купить «Пети Марсейе» и «Пети Вар», выпить свое café au lait¹, ходить за покупками. Я узнал, где можно приобрести лучшее масло, кто лучше всего печет хлеб. Я пускал в ход все свое обаяние, чтобы заставить старую крестьянку продать мне полдюжины свежих яиц. С сокрушением я обнаружил, что из уймы, горы шпината после варки остается лишь жалкая кучка. Я лишний раз ужасался своему непониманию человеческой натуры, когда ларечник на рынке продавал мне переспелую дыню или твердый как камень камамбер (при этом трепещущим от искренности голосом заверяя меня, что сыр «à point»²),—ведь именно из-за его честного лица я сделался его постоянным покупателем. И всегда питала надежда, что в десять придут английские газеты, пусть недельной давности—все равно я жадно проглатывал их. В двенадцать по радио передавали последние известия из Марселя. Потом можно было пообедать, соснуть. Днем для моциона я гулял взад-вперед по набережной или смотрел, как мальчишки и старики (других мужчин в городе не осталось) бесконечно гоняли в boulev³. В пять приходила «Солей» из Марселя, и я еще раз читал все те новости, которые вычитал поутру в «Пети Марсейе» и «Пети Вар». Потом я не знал, чем себя занять вплоть до половины восьмого, когда по радио снова передавали новости. После наступления темноты нельзя было и носа высунуть на улицу, и если хоть лучик света проникал наружу, пэвэошники,

¹ Кофе с молоком (фр.).

² В самый раз (фр.).

³ Здесь: шары (фр.).

циркулировавшие по набережной, поднимали страшный крик, и приходилось немедленно заделывать щелки. И тут уж ничего не оставалось, кроме как читать детективы.

Располагая таким неограниченным досугом, я должен был бы заняться самоусовершенствованием и приняться за чтение какого-нибудь памятника английской литературы. Я так и не прочел целиком «Упадок и разрушение Римской империи»¹, лишь наугад выхваченные там и сям главы, а я давно дал себе обещание когда-нибудь непременно прочесть этот труд, начиная с первой страницы первого тома и кончая последней страницей последнего. И вот он — посланный небом случай! Однако жизнь на парусной яхте водоизмещением в сорок пять тонн, при всей ее комфортабельности, довольно беспокойная. Дверь в дверь с моей каютой помещался камбуз, где матросы по вечерам стряпали себе ужин, гремя кастрюлями и сковородками, и во всеуслышание обсуждали свои интимные дела. Кто-нибудь из них врывается ко мне то за банкой супа, то за коробкой сардин, а то вспоминал, что пора завести мотор, иначе погаснет свет. Затем по трапу скатывался юнга — сообщить, что он поймал рыбу, и предложить мне отведать ее на ужин. Потом он же врывается накрыть стол. Шкипер с соседней яхты окликал матроса, и тот, громыхая башмаками, проносился над моей головой узнать, в чем дело. Между ними завязывалась оживленная беседа, которую я волей-неволей слушал, потому что оба орали во всю глотку. Читать внимательно — дело нелегкое. Гениальный труд Гиббона не заслужил, чтобы его читали в таких условиях, а я, должен признаться, не мог настолько воспарить духом, чтобы в такое время увлечься Гиббоном. Откровенно говоря, я не сумел бы назвать книгу, которую мне меньше хотелось бы читать, чем «Упадок и разрушение Римской империи», — и оно к лучшему, потому что я не захватил ее с собой. Зато я захватил пачку детективов, которые я всегда мог обменять у владельцев яхт, качающихся на якорях борт о борт с нами, на другие или же приобрести сколько душе угодно в писчебумажном магазине, куда я ходил за газетами: там в них не было недостатка. За месяц, проведенный в Бандоле, я проглатывал по два детектива в день.

Конечно, мне и до этого доводилось читать подобного рода литературу, но никогда в таком количестве. В первую

¹ Основной труд английского историка Эдуарда Гиббона (1737—1794) — подробное изложение политической истории Римской империи начиная с конца II в. н. э.

мировую войну мне случилось долго пролежать в туберкулезном санатории на севере Шотландии, и там я открыл для себя, что за наслаждение валяться в постели, какую при этом чувствуешь упоительную свободу от жизненных тягот и как она способствует полезным размышлениям и бесцельным мечтаниям. И с тех пор, едва мне удастся уговорить мою совесть, я ложусь в постель. Насморк — удручающая болезнь, она решительно ни в ком не вызывает сочувствия. При встрече знакомые поглядывают на вас с тревогой вовсе не потому, что опасаются, не перейдет ли ваш насморк в воспаление легких и не приведет ли оно к смертельному исходу, отнюдь нет, а из боязни заразиться. В их взглядах читается плохо скрытая неприязнь: как вы смеее подвергать их такой опасности. Вот отчего я, стоит мне простыть, незамедлительно ложусь в постель. Аспирин, грелка, ромовый пунш на ночь, полдюжины детективных романов, и я во всеоружии — готов помужествовать с болезнью, не требующей особого мужества.

Я прочел не одну сотню детективных романов, как хороших, так и плохих, и должен сказать, что бросал на полдороге лишь отъявленно плохие, но я всего-навсего дилетант и на большее не претендую. И хотя я рискнул представить на суд читателя пришедшие мне на ум соображения о литературе детективного жанра, мне ясна вся их уязвимость.

Прежде всего я хотел бы провести грань между бульварным и детективным романом. Бульварные романы я читаю исключительно по оплошности, предположив, по заглавию ли, по обложке ли, что в книге рассказывается о преступлении. Бульварные романы — это незаконнорожденные отпрыски книг для юношества, опусов Хенти и Баллантайна¹, которыми мы забавлялись в отрочестве: по моим предположениям, популярность их можно объяснить лишь тем, что многие читатели по своему умственному развитию так и остаются на детском уровне. Меня бесконечно раздражает бравый герой, поминутно рискующий жизнью, и бесстрашная героиня, которая после длинной цепи невероятных приключений сочетается с ним браком на последней странице. Мне возмутительно присутствие духа первых и гнусная игривость вторых. Иногда от нечего делать я размышляю об их создателях. Почему они пишут — оттого ли, что на них

¹ Хенти Джордж (1832—1902) и Баллантайн Роберт (1825—1894) — авторы многочисленных приключенческих романов для юношества.

снизошло наитие и ими движет непреодолимая потребность высказаться, которая терзала Флобера, когда он писал «Госпожу Бовари»? Я отказываюсь верить, что они садятся за стол и, подперев языком щеку, пишут роман, сознательно задавшись целью заработать большие деньги. Если бы дело обстояло так, я бы ничуть их не осуждал: куда приятнее зарабатывать деньги этим способом, чем продавать спички на улицах, где ужасно неуютно в непогоду, а то и быть служителем в общественной уборной, где возможности наблюдения над человеческой натурой сугубо сужены. Мне приятно думать, что они искренне любят человечество и принимают близко к сердцу интересы той массы читателей, которая появилась благодаря обязательному образованию, и надеются своими рассказами о пожарах, кораблекрушениях, авариях на железных дорогах, вынужденных посадках в Сахаре, пещерах контрабандистов, притонах курильщиков опиума, зловещих китайцах привлечь своих читателей к романам Джейн Остен.

Но не ими, а рассказами о преступлениях, и прежде всего об убийствах, я собираюсь заняться. Кражи и мошенничества тоже преступления и могут вызвать к жизни недурное сочинение детективного жанра, но во мне они не возбуждают особого интереса. С точки зрения абсолюта, а именно с такой точки зрения и следует рассматривать произведения этого жанра, решительно не важно, стоит ли украденная нитка жемчуга двадцать тысяч фунтов, или она куплена за пару шиллингов у Вулворта;¹ впрочем, и мошенничество — похищен в его результате миллион или всего-навсего три фунта семь шиллингов шесть пенсов — дело достаточно гнусное. Автор криминальных романов не может повторить вслед за нудным старым римлянином² «ничто человеческое мне не чуждо», потому что ему-то как раз все человеческое чуждо, кроме одного — убийства. Конечно, это самое человеческое из всех преступлений, потому что, на мой взгляд, каждого из нас когда-либо посещала мысль об убийстве и удерживал от него либо страх наказания, либо боязнь (скорее всего, напрасная) угрызений совести. Но убийца пошел на риск там, где мы, одолеваемые сомнениями, остановились, к тому же маячащая перед ним угроза виселицы придает его поступку мрачное величие.

¹ Магазины низких цен, названные по имени их владельца, американского коммерсанта Фрэнка Вулворта.

² Имеется в виду римский комедиограф Теренций (ок. 195—159 гг. до н. э.), цитату из комедии которого «Сам себя карающий» приводит автор.

На мой взгляд, автору следует очень расчетливо пускать в ход убийства. Одно — превосходно, два — сносно, в особенности если второе является прямым следствием первого, но автор совершает непростительную ошибку, вводя второе убийство в надежде оживить расследование. Если же в романе больше двух убийств — это резня, и по мере того как одна насильственная смерть следует за другой, вы уже не содрогаетесь, а смеетесь. Беда американцев в том, что они не могут удовлетвориться не то что одним убийством, а даже двумя: они стреляют, закалывают, отравляют, оглоушивают en masse;¹ словом, норовят устроить на страницах своих романов резню, и у читателя остается неприятное ощущение, что автор валяет дурака. И напрасно, потому что Америка, при пестром составе ее населения, при всевозможных противоборствующих течениях в ее жизни, при энергии, беспощадности и предприимчивости ее национального характера, представляет куда более яркое и увлекательное поле наблюдения для романиста, чем наша степенная, скучная и, в целом, законопослушная страна.

II

Теория детектива дедуктивного типа донельзя проста. Происходит убийство, начинается расследование, подозрение падает на нескольких человек, преступник обнаружен и понесет заслуженную кару. Такова классическая формула, в ней есть все слагаемые хорошего рассказа: начало, середина и конец. Основание ей положил Эдгар Аллан По в «Убийстве на улице Морг», и долгие годы ее неукоснительно придерживались. Долгое время идеальным образцом романов такого типа считалось «Последнее дело Трента». Роман этот написан несколько более пространно, чем пишут теперь, зато легко и непринужденно, хорошим английским языком. Характеры в нем умело очерчены и достоверны. Юмор ненавязчив. Мистеру Бентли² не повезло в одном: отпечатки пальцев (о них ко времени написания романа было мало что известно) стали неотъемлемой частью полицейского расследования. Кто только не использовал их с тех пор, и подробное описание этой процедуры, которое

¹ Во множестве (*фр.*).

² Бентли Эдмунд Клэрхью (1875—1956) — английский писатель, автор детективов, где в роли расследователя выступает художник Трент; известен также как автор стихотворных эпиграмм.

дает мистер Бентли, уже никому не интересно. Читателей детективов теперь уже не проведешь, и, когда в романе появляется симпатичный старый добряк, которому решительно ни к чему совершать убийство, они сразу смекают, что убийца он, а не кто иной. В «Последнем деле Трента» чуть не с первой страницы догадываешься, что Мандерсона убил мистер Капплз. И тем не менее не можешь оторваться от книги, потому что жаждешь узнать, что же подвигло его на убийство. Каноны детектива требуют, чтобы преступника изобличил расследователь, но мистер Бентли намеренно их нарушает. Тайна эта так и осталась бы нераскрытой, если бы сам мистер Капплз любезно не просветил нас. Нельзя не признать, что лишь невероятная случайность побудила мистера Капплза спрятаться в таком месте и при таких обстоятельствах, что он просто вынужден был застрелить Мандерсона в порядке самозащиты. Обстоятельства эти тоже малодостоверны. Требовать, чтобы мы поверили, будто прожженный делец замыслил самоубийство с целью отправить на виселицу собственного секретаря,— это уже чересчур, и нет смысла приводить в пример нашумевший Кемпденский процесс, когда некий Джон Перри обвинил свою мать, брата и сестру в убийстве человека, который впоследствии оказался цел и невредим, в надежде отправить их на виселицу, несмотря на то что ему самому пришлось бы разделить их участь, как оно и случилось. И пусть подобный случай был в жизни, это вовсе не означает, что его можно использовать в литературе. Жизнь полна невероятных событий, литература их не терпит.

Для меня же главная загадка «Последнего дела Трента» — и она так и осталась неразгаданной, — почему у обладателя баснословного состояния и дома в деревне, по меньшей мере в четырнадцать комнат, со штатом прислуги в шесть человек, такой крошечный садик, что его может содержать в порядке работник, приходящий из соседней деревни всего два раза в неделю.

Хотя, как я уже говорил, теория детектива донельзя проста, поразительно, сколько ловушек подстерегает автора. Его задача до самого конца книги не дать вам догадаться, кто убийца, и он вправе измышлять любые ухищрения, лишь бы достичь своей цели. Но он должен вести с вами честную игру. Убийце в романе должна принадлежать заметная роль; приписать убийство персонажу совершенно бесцветному или играющему настолько незначительную роль, что он и вовсе не привлечет внимание читателя, — негоже. Если же убийца получится слишком

выпуклым, есть опасность, что он возбудит в вас интерес, а там, глядишь, и сочувствие, и вы будете недовольны, когда его арестуют и казнят. Сочувствие — штука прихотливая. Нередко оно обращается на тот или иной персонаж вопреки намерениям автора. (Я уверен, что Джейн Остен намеревалась изобразить Генри и Мэри Кроффордов¹ дрянными людишками, которые должны были вызвать презрение читателя своим легкомыслием и бессердечием, но они получились у нее такими забавными и обаятельными, что любовь отдаешь им, а отнюдь не пай-девочке Фанни Прайс и индюку Эдмунду Бертраму.) Нашему сочувствию присуща еще одна любопытная тонкость, о которой, мне кажется, не все подозревают. Читатель отдает свое сочувствие тем персонажам, с которыми его знакомят в начале книги, и это относится отнюдь не только к криминальным, но и ко всем прочим романам: у читателя остается ощущение, что его надули, если впоследствии его внимание будут занимать персонажи, не встретившиеся ему на первых страницах. Авторам детективов, мне кажется, стоило бы запомнить это и взять себе за правило никогда не выводить убийцу первым.

К тому же, если убийца мерзок с самого начала, какими бы ложными маневрами ловкий автор ни отвлекал внимание читателя, подозрение падет на него и интерес к роману угаснет, не успев разгореться. Порой авторы пытаются выйти из этого затруднительного положения, изображая если не всех, то, по крайней мере, большинство персонажей мерзкими, — и тогда читателю есть из кого выбирать. Не самый удачный выход, как мне представляется. Во-первых, мы, в отличие от викторианцев, не верим в беспросветное злодейство. Мы знаем, что в людях соседствует хорошее и плохое, и, если их изображать исключительно хорошими или исключительно плохими, читатель в них не поверит, а не поверив в них, он бросит роман на полдороге. Какая нам разница, что случилось с его марионетками? Значит, автор должен написать убийцу так, чтобы в нем, как и во всех людях, о чем нам прекрасно известно, было намешано хорошее и плохое, однако ему приходится подтасовывать карты, чтобы мы, когда преступник будет наконец изобличен, радовались наступившей его каре. Первый способ подтасовать карты — сделать преступление особо мерзким и жестоким. Мы можем усомниться, что подобное преступление мог совершить человек, обладающий и некоторыми

¹ Герои романа «Мэнсфилд-парк» (1814).

привлекательными чертами, но это далеко не самое серьезное затруднение, подстерегающее автора. Никто (в произведениях детективного жанра) не испытывает жалости к жертве. Ее убивают если не до начала, то в самом начале книги, об убитом известно так мало, что сам по себе он не вызывает интереса, и смерть его трогает не больше, чем смерть цыпленка, — пусть даже его убьют самым что ни на есть зверским образом, его кончина оставляет вас равнодушным. Кроме того, если подозрения вызывают сразу несколько персонажей, в таком случае должно наличествовать по меньшей мере несколько причин для убийства. Убитый должен своими преступлениями ли, причудами ли, дурным нравом, жестокостью, скупостью и бог знает чем еще вызвать такую ненависть, что его смерть оставит вас равнодушным. У убийцы, безусловно, была веская причина прикончить его, а раз так, значит, туда ему и дорога; а если мы пришли к такому выводу, нам не очень-то понравится, когда убийцу повесят. Некоторые авторы избегают этого, заставляя изобличенного убийцу покончить с собой. Таким образом правило «жизнь за жизнь» соблюдается и одновременно чувствительность читателя не оскорбляется отталкивающими подробностями сцен казни. Убийца должен быть плохим, но не настолько плохим, чтобы в него не верить, у него должна быть насущная причина убить, и он должен быть достаточно гадок, чтобы, когда его наконец изобличат и пошлют на виселицу, мы чувствовали, что так ему и надо.

Я хотел бы несколько задержаться на мотивах преступления. Как-то мне довелось посетить каторжную колонию во Французской Гвиане. Я уже рассказал об этом в другом своем сочинении, но я не льщу себя надеждой, что есть читатели, которые прочли все мной написанное, и, так как этот рассказ здесь весьма кстати, я не стану извиняться.

Тогда преступников в зависимости от совершенных ими преступлений рассылали по трем колониям, и в Сен-Лорандю-Марони содержались исключительно убийцы. Они были приговорены не к смерти, а к длительному тюремному заключению, так как присяжные нашли смягчающие их вину обстоятельства. Я целый день расспрашивал заключенных о причинах, приведших их к преступлению. Они охотно разговаривали со мной. На первый взгляд казалось, что большинство убийц толкнула на преступление если не любовь, то ревность. Кто убил жену, кто любовника жены, кто любовницу. Но после недолгих расспросов выяснялось, что истинная подоплека преступлений чисто денежная. Один человек убил жену, потому что она тратила деньги на

любовника, другой убил любовницу, потому что она мешала ему заключить выгодный брак, третий — потому что она вымогала у него деньги, угрожая открыть их связь жене. И даже в убийствах, совершенных не на любовной почве, побудительными мотивами служили деньги. Один убил с целью ограбления, другой убил брата в споре из-за наследства, третий, не поделив выручки, убил друга, с которым вместе украл машину. Один бандит убил свою сожительницу за то, что она выдала его полиции, другой — парня из враждующей шайки в отместку за убийство в пьяной драке парня из своей шайки.

Я ни разу не сталкивался с преступлением, которое, не покрывив душой, можно было бы счесть преступлением на почве страсти. Конечно, не исключено, что людей, повинных в такого рода преступлениях, снисходительные присяжные если не оправдывают, то дают им такой короткий срок, что их не ссылают в Гвиану. Страх — вот второй распространенный мотив. В Гвиане я видел юного пастушка — он изнасиловал в поле девочку, а когда она подняла крик, перепугавшись, задушил ее. Другой человек, дороживший своей службой, убил женщину, которая узнала, что он отсидел в тюрьме за мошенничество, из боязни, как бы она не открыла его тайну хозяину.

Вот и выходит, что деньги, страх и месть — самые достоверные мотивы, которые может взять на вооружение автор детективных романов. Убийство чудовищно по своей природе, и убийца идет на серьезный риск. Читатель вряд ли поверит, что убийца станет рисковать лишь потому, что его возлюбленная предпочла ему другого, или потому, что сослуживец обошел его по службе. Раз он так крупно рискует — и играть он станет лишь по крупной. Задача автора убедить вас, что ради таких крупных ставок убийца не остановится и перед серьезным риском.

Столь же, если не более важную роль, чем убийца, играет в детективе расследователь. Всякий ревностный читатель детективов может набросать список знаменитых расследователей, но самым известным из них, безусловно, является Шерлок Холмс. Несколько лет назад, готовя антологию рассказа, я перечел все сборники рассказов Конан Дойла. И нашел их на удивление убогими. Завязка умело вводит в курс дела, обстановка описана прекрасно, но истории он излагает малоубедительные, и, дочитав их до конца, испытываешь чувство неудовлетворенности. Много шума из ничего. Тем не менее я счел своим долгом включить для полноты картины в антологию рассказ Конан Дойла, но

мне стоило больших трудов выбрать хотя бы один, который удовлетворил бы умного читателя. И все же Шерлок Холмс завоевал сердца читателей и сумел их удержать. Его имя не сходит с языка во всех без исключения странах цивилизованного мира. Его знают люди, слыхом не слыхавшие о сэре Уиллоуби Паттерне¹, мосье Бержере² или мадам Вердюрен³. Образ его, набросанный размашисто и эффектно,— это образ героя мелодрамы, наделенного запоминающимися характерными чертами, которые Конан Дойл вдалбливает в сознание читателей с тем же упорством, с каким мастера рекламы превозносят мыло, пиво или сигареты. И с не менее прибыльными результатами. Из пятидесяти рассказов вы узнаете о Шерлоке Холмсе не больше, чем из одного, и все же постоянное повторение сказывается, и вот уже эта марионетка, щедро окруженная бутафорскими аксессуарами, живет своей жизнью в нашем воображении наравне с Вотреном и мистером Микобером. Никакие детективы не могут сравниться в популярности с детективами Конан Дойла, и следует признать, что он вполне ее заслужил уже одним тем, что изобрел Шерлока Холмса.

Расследователи бывают трех видов. Полицейский, частный сыщик и любитель. Любитель издавна пользуется популярностью, и авторы детективов ломают голову, как создать героя, который мог бы переходить из романа в роман. Полицейский чиновник обычно фигура условная, со слабо выраженным характером; как максимум он проныцателен, дотошен и рассудителен, но гораздо чаще лишен сообразительности и туповат. В таком случае он как нельзя лучше оттеняет блистательного любителя. Любителя же, напротив, обычно наделяют набором запоминающихся черт, чтобы придать ему нечто человеческое. Замечая факты, ускользнувшие от инспектора Скотленд-Ярда, автор демонстрирует, насколько любитель умнее и компетентнее профессионала, и тем, естественно, льстит читателю: ведь к специалистам у нас искони относятся с подозрением. Столкновение чиновника и любителя придает повествованию необходимый драматизм, к тому же, при всей нашей законопослушности, нас тешит, когда власть остается в дураках. Чувство юмора — самая важная

¹ Герой романа Джорджа Мередита (1828—1909) «Эгоист» (1879).

² Герой тетралогии «Современная история» (1897—1901) Анатоля Франса (1844—1924).

³ Персонаж эпопеи «В поисках утраченного времени» (1913—1927) Марселя Пруста.

из всех черт, которыми автор стремится наделить любителя, и объясняется это вовсе не тем, что смех, как вы, очевидно, предполагаете, подрывает сопротивляемость читателя и в результате делает восприимчивым к заготовленным автором потрясениям, а куда более существенными причинами. Любитель должен во что бы то ни стало — остроумием ли, характерной ли нелепостью речи — вызывать смех: ведь если вы смеетесь, причем не важно, вместе с героем или над ним, вы неизбежно располагаетесь к нему, а он крайне нуждается в вашем расположении. Потому что в задачу автора входит всеми доступными ему способами скрыть от вас тот очевидный факт, что любитель — довольно-таки гнусный тип.

Любитель делает вид, что радуется исключительно за справедливость, ну а если этим не обмануть даже читателя детективов, утверждает, что им владеет охотничий азарт; на самом же деле ему до всего дело, он любит всюду совать нос и лишь поэтому взваливает на себя работу, которую порядочный человек оставляет на служителей закона, в чьи обязанности она входит. Только наделив любителя обаянием, приятной внешностью и милыми причудами, автор может сделать его приемлемым для читателя. Прежде всего, любитель должен занятно говорить. Но, увы, мало кто из детективистов может похвастаться тонким чувством юмора. Чуть не все они предполагают, что шутка, повторенная сто раз, смешит ничуть не меньше. Неужели достаточно того, что герой говорит по-английски так, словно если не буквально, то неверно переводит с французского, чтобы рассмешить читателя? Неужели достаточно того, что он к месту и не к месту приводит затертые цитаты, зачастую перевирая их, или изъясняется с непомерной напыщенностью? Неужели достаточно того, что он говорит на йоркширском диалекте или с сильным ирландским выговором, чтобы читатель надрывал животы? Если бы дело обстояло так, юмору была бы грош цена в базарный день, и ни мистер П. Г. Вудхауз, ни мистер С. Дж. Перельман¹ не заработали бы себе на хлеб. Я все жду не дождусь, когда появится детектив, где исследователь-любитель будет изображен мерзавцем, каковым он и является, и в конце концов получит по заслугам.

Мне представляется ошибкой сдабривать детективное повествование юмором, но я вполне могу понять, чем руководствовался тут автор, и, хотя и не без сокрушения, прими-

¹ Вудхауз Пелэм Гренвилль (1881—1975) и Перельман Сидней Джозеф (1904—1979) — известные юмористы.

ряться с этим; любовную же линию я не приемлю категорически. Я готов допустить, что любовь движет миром, но отнюдь не миром детективных романов; этот мир она явно движет не туда. Мне решительно все равно, кому отдаст свое сердце героиня романа — корчащему из себя джентльмена-расследователю, главному инспектору или безвинно пострадавшему герою. В детективе меня интересует детективное расследование. Действие должно идти по намеченному пути от убийства к расследованию, подозрению, разоблачению и наказанию; меня разбирает досада, когда шуры-муры юных девиц, пусть и самых прелестных, и юнцов, с самыми что ни на есть квадратными подбородками, отвлекают меня от основной темы. Не спорю, любовь — одна из пружин человеческих действий и, если она еще и сопряжена с ревностью, страхом или оскорбленным самолюбием, вполне может пригодиться писателю, но она не дает толком развернуться расследованию: ведь ее чарам в романе могут быть подвержены два, от силы три человека; ну а если на убийство подвигла любовь, это уже *crime passionel*¹, и убийца не вызывает в нас ужаса. Вести же в повествование для распутывания тайны трогательный романчик — чудовищная безвкусица, которой нет оправданий. Звону свадебных колоколов нет места в детективе.

Другая, по-моему, наиболее распространенная ошибка этих авторов — слишком маловероятные способы убийства. Если вспомнить, сколько детективов появляется на свет, вполне понятно, что их авторам ничего не остается, как возбуждать аппетит пресыщенных читателей невероятными убийствами. Помнится, я прочел детектив, где убийство, и не одно, совершалось при помощи ядовитых рыбок, которых запускали в плавательный бассейн. На мой взгляд, находки такого рода не к добру. Правдоподобие, как мы знаем, понятие относительное, и наша готовность принять тот или иной факт за истину служит единственной его проверкой. В детективах нам приходится многое принимать на веру: мы верим, что убийца норовит оставить на месте преступления окурок сигареты необычайной марки, перепачкать ботинки глиной, водящейся лишь в определенном месте, или захватать опочивальню высокородной дамы, оставив там в изобилии отпечатки пальцев. Все мы можем оказаться в горящем доме, погибнуть в огне, попасть под колеса машины недруга, нас могут столкнуть в пропасть, но мы ни за что не поверим, что нас может растерзать

¹ Преступление в припадке страсти (*фр.*).

крокодил, хитроумно припрятанный в нашей дорчестерской гостиной, или что в результате козней некоего злодея на нас при посещении Лувра свалится и расплывется в лепешку статуя Венеры Милосской. По-моему, классические методы остаются непревзойденными: в нож, огнестрельное оружие, яд по-прежнему веришь, и в этом их преимущество. Все мы можем найти смерть от них или при случае пустить их в дело.

Лучшие из детективистов — те, которые сообщают факты и вытекающие из них выводы на удобочитаемом английском, не уснащая его никакими изысками. Красота слога в детективе ни к чему. Когда нам не терпится узнать, отчего у дворецкого синяк на подбородке, нам не нужны цветистые пассажи — они нас только отвлекают. Не нужны нам и описания природы, когда нас интересует, за какое время можно дойти от лодочного сарая над мельничным лотком до домика егеря по ту сторону рощицы. Не трогает нас и первоцвет на берегу реки. Мимходом замечу, что мне скучно знакомиться с топографией местности или расположением дома по карте или плану. Не нужна нам и образованность. Одну из самых искусных и изобретательных писательниц-детективисток обрекло на неудачу не что иное, как стремление щегольнуть своей образованностью. Эта, как мне сообщили, в высшей степени ученая дама обладает обширными сведениями в тех областях, где большинство из нас сущие профаны, но было бы гораздо лучше, если бы она держала эти сведения при себе. Конечно же, писателям этих умных книг, которые равно читают люди и высокого, и среднего, и низкого уровня умственного развития, обидно, что им почти никогда не достаются почести. Разве их приглашают на обеды в Челси, Блумзбери или хотя бы в Мейфэр? Разве на издательских литературных вечерах взбудораженные гости указывают на них пальцами? Нам известны имена лишь нескольких из них. Остальных покрывает мраком неизвестности безразличие.

Детективистов, естественно, должно уязвлять, что люди, жадно глотающие их книги, относятся к ним свысока, поэтому они не упускают случая продемонстрировать, что они и более утонченны, и более просвещенны, чем мы склонны думать. По-человечески это вполне понятно: им хочется доказать зазнайкам, что они не уступают в учености любому действительному члену Королевского литературного общества, а в поэтичности члену совета Общества писателей. И вот тут-то они и совершают ошибку. Им не помешало бы поучиться непреклонности у своих инспекторов. Это пре-

красно, что они располагают обширными сведениями в самых разных областях, они им крайне необходимы, но позволю себе заметить, что хорошо одет тот, чьей одежды не замечаешь; авторам детективов не должно отвлекать читателя своей образованностью от настоящего дела, а именно: от выяснения, кто же совершил убийство.

Детективистам следует запастись терпением. Не исключено, что настанет время, когда историки литературы, рассуждая о произведениях, созданных на английском языке в первой половине XX века, лишь бегло остановятся на сочинениях серьезных писателей, а все внимание сосредоточат на обширной и разнообразной продукции детективистов. И тогда им в первую голову придется ответить, чем объясняется неслыханная популярность этого жанра. Они попадут впросак, если отнесут ее за счет искоренения неграмотности, породившего целую армию ревностных, но темных читателей, потому что детективные романы, в которых выясняется, кто убийца, читают и ученые мужи, и утонченные дамы — и от этого никуда не уйти. Я объясняю их популярность очень просто. Детективистам есть о чем рассказать, и они не затягивают свой рассказ. Они должны завоевать и удержать внимание читателя и поэтому должны вести рассказ в хорошем темпе, должны вызвать любопытство, возбудить подозрение, умелыми эпизодами подогреть читательский интерес. Они должны расположить читателя к тем героям, к которым нужно, и они справляются с этим с поразительной ловкостью, что не последнее из их достоинств. И наконец, они должны привести действие к убедительной развязке. Словом, они должны соблюсти правила, которых искони придерживались рассказчики с тех самых пор, как некий приткий мальчонка повел в шатрах Израилевых рассказ о судьбе Иосифа.

Сегодня же «серьезным» современным романистам почти, а то и вовсе нечего рассказать читателю; они позволили себя убедить, что в их искусстве рассказ не играет существенной роли. И тем самым они лишили себя мощного способа воздействия на нас, ибо любовь к рассказам заключена в человеческой природе и стара как мир; они сами виноваты в том, что их читателей переманили детективисты. И что еще хуже, подчас они несносно словоохотливы. Они почти никогда не понимают, что тему можно развивать лишь до определенного предела, и поэтому пишут четыреста страниц там, где вполне хватило бы и ста. И толкает их на это нынешняя мода на психологический анализ. По-моему, злоупотребление психоанализом так же пагубно сказалось на

современной «серьезной» литературе, как злоупотребление всевозможными описаниями на романе XIX века. Мы уже поняли, что описаниям местности приличествует краткость и вводить их можно, лишь если они нужны для рассказа. То же самое относится и к психоанализу. Короче говоря, детективистов читают из-за их достоинств, невзирая на их подчас бросающиеся в глаза недостатки; «серьезных» же романистов читают сравнительно мало из-за их недостатков, невзирая на их подчас очевидные достоинства.

III

Доныне я писал о детективе в чистом виде, где речь идет о расследовании,—основы его были заложены По в «Убийстве на улице Морг». За последние полвека подобные произведения писались тысячами, и к каким только уловкам не прибегали их авторы, чтобы придать им кажущуюся новизну. Я уже упоминал о необычных способах убийства. Мимо авторов не проходит ни одно научное или медицинское открытие, они мигом пускают его в ход. Они закалывают свои жертвы острыми сосульками, убивают их электрическим током, пропущенным через телефон, вводят им при уколе пузырьки воздуха в вены, заражают их ки-сточками для бритья бактериями сибирской язвы, умерщвляют их, вынудив лизнуть отравленную марку, расстреливают из пистолетов, упрятанных в кинокамерах, отправляют на тот свет незримыми смертоносными лучами. Эти необычные способы настолько неправдоподобны, что в них не веришь.

Порой авторам все же случается продемонстрировать поразительную ловкость. Одно из самых хитроумных их изобретений—так называемая тайна закрытой комнаты: труп человека, явно убитого, находят в запертой изнутри комнате, судя по всему, ни войти туда, ни выйти оттуда убийца не мог. По использовал этот прием в «Убийстве на улице Морг». Поразительно, но ни один из критиков и по сей день не заметил, что решает эту загадку По явно неверно. Когда, напомним читателю, разбуженные дикими криками соседи ворвались в дом, где жили две женщины, мать и дочь, и нашли их убитыми, дочь обнаружили в комнате; запертой изнутри, заперты были на засов изнутри и окна. Мосье Дюпен доказал, что убивший женщин orangутанг влез в открытое окно, которое само собой захлопнулось, когда зверь убежал. Любой полицейский мог бы ему сообщить, что француженки, одна преклонных, другая

средних лет, ни за что на свете не оставили бы окно открытым: ведь через него мог проникнуть вредоносный ночной воздух. Этот прием с изумительной ловкостью применяет Картер Диксон¹, но его успех вызвал к жизни столько подражателей, что потерял прелесть новизны.

В какой только обстановке не разворачивалось действие детективов — загородные вечеринки в Суссексе, Лонг-Айленде или Флориде, тихие деревушки, где не происходило ровным счетом ничего со времен битвы при Ватерлоо, замки на одном из Гебридских островов, отрезанном от суши штормом. Какие только улики не шли в ход — отпечатки пальцев, следы, окурки, духи, пудра. То же самое можно сказать и о несокрушимом алиби, которое расследователь неизменно сокрушает: вовремя не залаявший пес наталкивает на мысль, что убийца ему знаком (впервые, насколько мне помнится, эту находку использовал Конан Дойл), зашифрованное письмо, которое расследователь расшифровывает, похожие как две капли воды близнецы, потайные ходы. Читателю опостытели девицы, невесть зачем слоняющиеся по пустым коридорам, которых оглоушивает закутанная личность в маске, а также девицы, которые увязываются вслед за детективом, идущим на опасное дело, и тем сводят на нет его планы. Все это: обстановка, улики, загадки — заезжено до предела. Разумеется, и сами авторы в конце концов это поняли и теперь стремятся придать увлекательность историям, рассказанным раз по сто, не меньше, все более небывальными выдумками. И напрасно. Любые способы убийства, любые тонкости расследовательского дела, любые уловки, имеющие целью сбить читателя со следа, любые сцены из жизни любой среды шли в ход бесчисленное количество раз. Детектив в чистом виде изжил себя.

Ему на смену пришел новый любимец публики, «крутой» детектив. Его основоположником считается Дэшил Хеммет², но Эрл Стенли Гарднер³ утверждает, что первым написал детектив такого рода некий Джон Дейли. Во всяком случае, мода на них пошла с хемметовского «Мальтийского сокола». «Крутой» детектив претендует на реализм. Герцогинь, министров, богатых промышленников убивают

¹ Псевдоним Джона Диксона Карра (р. 1905), который опубликовал множество детективов также и под своей фамилией.

² Хеммет Дэшил (1894—1961) — классик американского детективного жанра.

³ Гарднер Эрл Стенли (р. 1889) — американский писатель, автор серии детективов, главным героем которых является изворотливый юрист Перри Мейсон.

не так уж часто. Не так часто происходят убийства и в загородных усадьбах, на площадках для гольфа или на бегах. Не часто их совершают и старые девы в летах или дипломаты в отставке. Реймонд Чандлер¹ — самый блестящий из ныне живущих авторов, работающий в этом жанре, в своем удивительно здравомыслящем и забавном эссе «Нехитрое искусство убивать» перечисляет составные этого жанра. «У писателя-реалиста, — утверждает он, — убийства происходят в мире, где гангстеры могут править народами и едва ли не правят городами, где гостиницы, многоэтажные дома и известные рестораны принадлежат людям, обогатившимся на публичных заведениях, где кинозвезда может быть наводчицей воровской шайки, а симпатичный сосед по площадке оказаться заправилой подпольной лотереи; в мире, где судья, у которого, несмотря на сухой закон, погреб набит спиртным, может посадить в тюрьму человека, у которого в кармане поллитра, где мэр города посмотрит сквозь пальцы на убийство, если оно помогает нажиться, где ни один человек не может спокойно появиться вечером на улице, потому что мы много говорим о законе и порядке, но отнюдь не стараемся их соблюдать, в мире, где вы можете оказаться свидетелем грабежа среди бела дня, но не побежите в полицию сообщить приметы грабителя, а, наоборот, поспешите затеряться в толпе: ведь у грабителя могут быть дружки, которые достанут вас из-под земли, или полиции придется не по вкусу ваши показания, и в любом случае крючоквор защитник сможет поносить и порочить вас на глазах у публики, перед отборными олухами присяжными, а судья, представитель государства, если и будет их одергивать, то не слишком строго».

Отлично изложено и вдобавок ясно, что при таком положении дел в обществе писателю-реалисту есть где черпать материалы для книг о преступлениях. Читатель охотно верит, что подобные случаи впрямь имели место: стоит почитать газеты, и вы сами убедитесь, что они отнюдь не редкость.

«Дэшил Хеммет, — пишет Реймонд Чандлер, — вернул убийство по принадлежности тем людям, которые совершают его не для того, чтобы снабдить писателя трупом, а в силу куда более веских причин, и совершают его теми средствами, что у них под рукой, а не при помощи дуэльных пистолетов, кураре или тропических рыбок. Он изображает

¹ Чандлер Реймонд (1888—1959) — американский писатель-детективист.

этих людей такими, какие они в жизни, и заставляет их говорить и думать на привычном для них языке». Это высокая хвала и вполне заслуженная. Хеммет восемь лет проработал в Пинкертоновском сыскном агентстве и знает описываемый им мир. Такой опыт придает достоверность его книгам, на уровень которых поднялся лишь сам Реймонд Чандлер.

В романах авторов этой школы расследование как таковое занимает относительно небольшое место. Личность убийцы не составляет тайны, и увлекательность роману придают старания сыщика доказать вину убийцы и те опасности, которым он подвергается при этом. В результате эти писатели освободились от тягостной необходимости ломать голову, изобретая разнообразные улики. По сути дела, в «Мальтийском соколе» сыщик Сэм Спейд припирает к стенке Бриджид О'Шоннесси, сказав ей, что никто, кроме нее, не мог убить Арчера, от чего она приходит в смятение и сознается. Но если бы она не растерялась, а кладнокровно ответила: «Где доказательства?» — она выбила бы у него почву из-под ног, а найми она Перри Мейсона, ушлого законника из романов Эрла Стенли Гарднера, никакие присяжные не признали бы ее виновной на основании столь шатких доказательств, а ничем другим Сэм Спейд не располагает.

Авторы, принадлежащие к школе «крутого» детектива, очень старались написать своих сыщиков людьми с характером и индивидуальностью, но, слава богу, не поддались соблазну наделить их эксцентричными чертами, которыми, в подражание Конан Дойлу, сочли нужным одарить своих расследователей многочисленные авторы детективов в чистом виде.

Дэшил Хеммет — изобретательный и самобытный писатель. У большинства авторов из романа в роман кочует один и тот же сыщик, он создает нового героя для каждой книги. Сыщик в «Проклятии Дейнов» — грузный мужчина средних лет, который полагается больше на свой ум и дерзость, чем на физическую силу; Ник Чарлз в «Худом человеке», женившись на обладательнице большого состояния, удалился от дел и к сыску возвращается лишь под давлением обстоятельств, он славный парень, с чувством юмора; Нед Бомон в «Стеклянном ключе», профессиональный игрок, становится сыщиком лишь по воле случая, это своеобразный, неожиданный характер, и каждый романист почел бы за честь создать такой; лучший и наиболее достоверный из них — Сэм Спейд в «Мальтийском соколе».

Это беззастенчивый плут и бессердечный мошенник. Он так мало отличается от преступников, что трудно решить, чью сторону принять — Спейда или его противников. Довольно гнусный тип, но написан он превосходно.

Шерлок Холмс был частным сыщиком, но авторы, пришедшие вослед Конан Дойлу, предпочитают, чтобы их загадки разрешили полицейские инспектора или блестящие любители. Дэшил Хеммет работал частным сыщиком, поэтому, став писателем, он, естественно, выводил в своих произведениях частных сыщиков, и его ученики, представители школы «крутого» детектива, поступили весьма мудро, последовав его примеру. Сыщик — фигура одновременно и романтическая, и зловещая. Как и любитель, он сообщительнее полицейских чиновников, но он вдобавок может предпринимать акции по преимуществу довольно сомнительного толка, что им запрещено законом. Есть у него и еще одно преимущество: так как окружной прокурор и полицейский относятся к его выходящим за рамки дозволенного приемам подозрительно, он борется сразу на два фронта — и против преступников, и против них. Благодаря этому повествование приобретает большую напряженность и драматизм. И наконец, у него есть еще одно преимущество перед расследователем-любителем — раскрывать преступления его прямая обязанность, и поэтому его никто не обвинит в том, что ему не удастся совать свой нос в чужие дела. Но почему он выбрал такое малопочтенное занятие, нам не сообщается. Судя по всему, особого дохода оно ему не приносит: денег у него никогда нет, контора его помещается в крохотной, скудно обставленной каморке. Не сообщается нам и о его прошлом. Можно подумать, что у него нет ни отца, ни матери, ни дядьев, ни теток, ни братьев, ни сестер. Зато у него — вот счастливец! — есть влюбленная в него по уши прелестная блондинка секретарша. Он с ней мило снисходителен и время от времени вознаграждает ее пылкую преданность поцелуем, но, насколько я помню, ни разу не забылся настолько, чтобы предложить ей руку. Хотя (за исключением чандлеровского Филиппа Марло) нам никогда не сообщается, откуда родом сыщик и где он обучился своей профессии, зато сообщается уйма сведений о его характере и привычках. Ни одна женщина не может перед ним устоять. Он высокий, сильный, никому не дает спуска, сбить человека с ног ему не труднее, чем нам прихлопнуть муху. Любые побои обходятся для него без серьезных последствий; наш сыщик на редкость храбр, но не слишком осмотрителен, он нередко идет к опасным преступникам без

оружия, и они зверски избивают его, но через день-другой он, к нашему удивлению, снова цел и невредим и снова рискует так дерзко, что у нас захватывает дух. Мы бы умерли от тревоги за него, не зная мы наверняка, что гангстеры, мошенники и шантажисты, в руки к которым он попал, не посмеют изрешетить его пулями — не то роман скоропостижно кончится. Он может поглощать спиртное в немыслимых количествах. В ящике стола у него всегда припасена бутылка виски или хлебной водки, и он неизменно ее достает, когда кто-нибудь заглянет к нему в контору или когда ему нечего делать. У него всегда при себе фляжка в заднем кармане и поллитра в бардачке машины. Приехав в гостиницу, он первым делом отправляет посыльного за бутылкой. Его неизменный рацион, как и у большинства американцев, довольно однообразен и состоит в основном из бекона с яйцами или бифштекса с жареной картошкой. Единственный сыщик, интересующийся едой, насколько я припоминаю, — это Нерон Вулф¹, но он родом из Европы, и его столь чуждую американцам приверженность к роскошным трапезам, равно как и страсть к орхидеям, можно приписать иностранному происхождению.

Историки нравов будущего не без удивления отметят, как изменились привычки американцев между тем временем, когда Дэшил Хеммет писал свои книги, и тем, когда Реймонд Чандлер писал свои. После изнурительного дня, изобиловавшего попойками и покушениями на его жизнь, от которых он чудом спасался, Нед Бомон меняет воротничок и моет лицо и руки, чандлеровский же Марло, если память меня не обманывает, принимает душ и меняет рубашку. Очевидно, за этот отрезок времени гигиенические привычки приобрели большую власть над американцем. Марло — человек порядочный, не то что Сэм Спейд. Он не прочь заработать, но не хочет нарушать закон и никогда не берется за бракоразводные дела. Романы Чандлера, увы, крайне немногочисленные, написаны от лица Марло. Рассказчик, он же главный герой романа, обычно фигура совершенно бесцветная, как; к примеру, Дэвид Копперфилд, но Реймонду Чандлеру удалось написать своего Марло человеком ярким и живым. Жестокий, беспощадный, отчаянный, он на редкость симпатичен, этот парень.

По моему мнению, лучшие представители «крутого» детектива Дэшил Хеммет и Реймонд Чандлер. Реймонд

¹ Герой многочисленных романов американского детективиста Рекса Стаута (р. 1886).

Чандлер более искусный из них. Хеммет порой до того усложняет сюжет, что совершенно запутывает читателя, тогда как Реймонд Чандлер никогда не отклоняется от намеченного пути. Действие у него разворачивается стремительнее. Персонажи его более разнообразны. У него меньше погрешностей против достоверности, более правдоподобные мотивировки. Оба они пишут на том сочном, красочном английском, на котором говорит Америка. Диалоги, на мой вкус, у Чандлера лучше, чем у Хеммета. Что касается красного словца, ради которого бойкий американец не пожалеет ни мать, ни отца, тут Чандлер не имеет себе равных, и его язвительный юмор удивительно непосредствен и оттого особенно обаятелен.

В «крутом» романе, как я уже говорил, расследованию убийства не придается большого значения. Главную роль в нем играют люди: мошенники, игроки, воры, шантажисты, продажные полицейские, бесчестные политики, которые совершают преступления. Они, конечно, попадают во всевозможные переделки, но переделки эти интересны не сами по себе, а из-за участвующих в них людей. Если персонажи — всего-навсего манекены, нам в высшей степени безразлично, что с ними случится. Вот почему авторам «крутого» детектива пришлось гораздо тщательнее работать над образами, чем представителям старой школы, которые почитали это лишним. Они старались сделать своих персонажей не только достоверными, но и убедительными. Большинство прежних расследователей были фигурами фарсовыми, и те эксцентрические черты, которыми их одаряли авторы, делали их попросту нелепыми. Такие персонажи могли родиться только из головы, но, в отличие от Афины, из дурной головы. За исключением сыщиков, в книгах этих авторов действовали стандартные персонажи, лишенные даже подобия индивидуальности. Дэшил Хеммет и Реймонд Чандлер создали таких персонажей, в которые веришь. Они разве что чуть ярче, чуть колоритнее людей, знакомых каждому из нас.

Я и сам когда-то был романистом, поэтому мне интересно, какими приемами пользуются авторы, описывая наружность своих персонажей. Точно передать читателю впечатление от чьей-либо наружности трудно, и к каким только ухищрениям не прибегали для этого романисты. Хеммет и Реймонд Чандлер описывают наружность своих персонажей и их одежду хоть и кратко, но не менее точно, чем полицейские в тех объявлениях о розыске преступников, которые помещаются в газетах. Реймонд Чандлер успешно

развил этот метод. Когда Марло, его сыщик, входит в комнату или в контору, нам сообщается сжато, но достаточно подробно, что это за помещение, что в нем за мебель, что за картины висят на стенах и что за ковры лежат на полу. На нас производит впечатление поразительная наблюдательность сыщика. Делает это автор так же экономно, как драматург (если он не столь многословен, как Бернард Шоу) описывает для режиссера в каждом акте своей пьесы место действия и обстановку. Этим приемом он ловко дает проницательному читателю понять, с каким человеком предстоит иметь дело сыщику и что его окружает. А зная, какая обстановка у человека, узнаешь что-то и о нем самом.

Но мне кажется, что невероятный успех этих двух писателей, принесший им не только уйму денег (их романы издавались миллионными тиражами), но и похвалы критиков, загубил «крутой» детектив. У них мигом появились десятки подражателей. Как и положено подражателям, они решили, что оставят далеко позади тех, кого взяли за образец, усилив их достоинства. По части жаргона они ушли так далеко, что теперь к их книгам требуется прилагать словарь — иначе их не поймешь. Преступники у них грубее, злобнее и зверствуют еще пуще; героини еще блондинистей и распутней; сыщики — беззастенчивее и пьют и вовсе без просыпу; полицейские еще более неумелые и продажные. По сути дела, они впали в такие крайности, что стали просто смехотворными. Своей бешеной погоней за сенсационностью они притупили чувства своих читателей и вместо того, чтобы заставить их ужасаться, вызывают лишь их издевки. Из многочисленных достоинств Хеммета и Чандлера есть лишь одно, которому они не сочли нужным подражать. Это прекрасный английский язык.

Я не вижу, кто мог бы стать наследником Реймонда Чандлера. По моему мнению, как жанр расследования в чистом виде, так и «крутой» детектив умерли. Но, несмотря на это, полчища авторов не перестанут писать детективы, а я не перестану их читать.

ИСКУССТВО РАССКАЗА ¹

(Из сборника «Точки зрения», 1958)

I

Как-то довольно давно ко мне обратился издатель новой большой энциклопедии с предложением дать в готовящийся том статью о рассказе. Я был польщен, но отказался. Как писатель, сам работающий в этом жанре, я опасался оказаться недостаточно беспристрастным. Ведь пишущий, естественно, считает, что пишет именно так, как надо, а то бы он стал писать иначе. Способов сочинять рассказы существует несколько, каждый автор выбирает себе такой, который соответствует его личным склонностям. Поэтому статью о рассказе лучше всего писать тому, кто сам никогда не пробовал себя в новеллистике. Ему ничто не помешает выступить в роли непредубежденного судьи. Взять, например, рассказы Генри Джеймса. Он писал много, и культурная публика, чьим мнением нельзя пренебрегать, очень высоко его ценит. Тот, кто лично знал Генри Джеймса, не может читать его рассказы равнодушно. В каждой написанной им строке звучит его живая интонация, и безропотно принимаешь извилистый стиль большинства его вещей, многословие и странные ужимки, потому что все это неотделимо от его обаятельной и самодовольной незабываемой личности. Но при всем том меня его рассказы совершенно не устраивают. Я им не верю. Кто представляет себе, как задыхается от дифтерии ребенок, никогда не поверит, что

¹ © Перевод. Бернштейн И. М., 1989 г.

мать сознательно даст ребенку умереть, чтобы только, выросши, он не прочитал книг отца. А ведь именно это происходит в рассказе под названием «Писатель из Бельтраффио». По-моему, Генри Джеймс не имел понятия, как ведут себя обыкновенные люди. У его персонажей нет пищеварительных и половых органов. Он написал несколько рассказов про писателей, но когда кто-то ему сказал, что писатели на самом деле вовсе не такие, он, говорят, ответил: «Тем хуже для них». По-видимому, он не считал себя реалистом. Не могу утверждать, но думаю, что «Госпожа Бовари» вызывала у него отвращение. Матисс как-то показывал одной даме свое полотно, изображавшее нагое женское тело. «Но женщина совсем не такая!» — воскликнула дама. «Мадам, — ответил он, — это не женщина, а картина». Точно так же, я думаю, скажи кто-нибудь Генри Джеймсу, что в его рассказах изображается не то, что происходит в реальной жизни, он бы, наверно, ответил: «Это не жизнь, а рассказ».

Свои взгляды по этому вопросу Генри Джеймс изложил в предисловии к сборнику собственных произведений, которое он назвал «Уроки мастера». Написано оно очень сложно, я вовсе не уверен, что все понял, хотя прочитал текст три раза. Смысл, если не ошибаюсь, сводится к следующему: сталкиваясь с «непреодолимой бессмысленностью и жестокостью жизни», писатель, естественно, ищет примеры «отважного неприятия, протеста или бегства от действительности» и, не находя их вокруг себя, вынужден сам создавать их из внутреннего материала своего сознания. Трудность тут, на мой взгляд, в том, что автору все же приходится наделять эти вымышленные существа кое-какими настоящими человеческими чертами, а они не вяжутся с теми, какие он приписал им по своему произволу, и в результате получается нечто неубедительное. Впрочем, это всего лишь мое впечатление, никто не обязан со мной соглашаться. Как-то у меня на Ривьере гостил Десмонд Мак-Карти, и мы много говорили с ним о сочинениях Генри Джеймса. В наши дни память у людей короткая, и будет нелишне напомнить, что Десмонд Мак-Карти был не только приятный собеседник, но и очень хороший литературный критик. Широко начитанный, он еще обладал, по сравнению со многими другими критиками, таким преимуществом, как богатый жизненный опыт. Его суждения (в своих пределах, разумеется, — он, например, не очень разбирался в пластических искусствах и в музыке) были, как правило, здравы, ибо его эрудиция сочеталась с глубоким знанием жизни. Как-то вечером мы

сидели с ним после обеда в гостиной, разговаривали, и я отважился заметить, что рассказы Генри Джеймса часто, при всей их вычурности, по существу банальны. Десмонд, страстный почитатель Джеймса, с этим решительно не согласился; и тогда я, чтобы поддразнить его, сочинил, не сходя с места, типичный, на мой взгляд, джеймсовский рассказ. Помнится, он выглядел примерно так:

«Полковник Блимп с супругой проживают в прекрасном доме на Лаундс-сквер. Зимой они были на Ривьере и там познакомились с богатыми американцами по имени... я задумался... по имени Бремертон Фишер. Фишеры их всячески развлекали, возили по разным интересным местам, в Ла-Мортола, в Экс и Авиньон, всегда сами за все платили. Уезжая в Англию, Блимпы взяли со своих щедрых друзей слово, что те, когда будут в Лондоне, непременно дадут им знать. И вот утром миссис Блимп читает в «Морнинг пост», что приехали мистер и миссис Бремертон Фишер и остановились в отеле «Браунс». Элементарная порядочность требует, чтобы Блимпы как-то отплатили Фишерам за их радушие и щедрость. Они обсуждают, как им быть, и в это время приезжает на чашку чая один их знакомый. Это бывший американец по фамилии Говард, давно питающий платоническую любовь к миссис Блимп. Она, разумеется, и мысли не допускала о том, чтобы уступить ему, да он особенно и не набивался; их отношения оставались крайне трогательными. Говард был из тех американцев, которые, прожив в Англии двадцать лет, становятся больше англичанами, чем сами англичане. Он всех знает, всюду вхож. Миссис Блимп описывает ему ситуацию. Полковник думал, что надо устроить в честь приезжих званый обед. Но миссис Блимп сомневается. Бывает, она знала, подружиться за границей с прелестными людьми, а когда встречаешь их в Лондоне, они оказываются совсем не такими. Что, если они сведут Фишеров со своими великосветскими друзьями (а у Блимпов все друзья — из высшего света), а те найдут их невыносимо скучными? Ведь тогда бедные Фишеры будут чувствовать себя у них как отверженные. Говард согласился с ее опасениями. Он знал по горькому опыту, что такого рода званые обеды обречены на полный провал. «Тогда, может, пригласить их к обеду одних?» — предлагает полковник. Миссис Блимп не согласна: получится, будто они стыдятся Фишеров или просто не имеют светских знакомств. Полковник вносит предложение сводить их в театр, а потом накормить ужином в «Савойе». Но этого как-то кажется недостаточно. «Надо что-то сделать», — говорит

полковник Блимп. «Ну разумеется, надо»,— отвечает его супруга. Ее раздражает, что он вмешивается. Он наделен всеми достоинствами, каких можно ждать от полковника гвардии, и медаль «За безупречную службу» получил не зря, однако в светских вопросах это совершеннейший профан. Миссис Блимп чувствует, что она и Говард должны решить это дело между собой; и на следующее утро, поскольку вопрос остался открытым, она звонит ему и приглашает зайти к ней в шесть часов, когда полковник будет у себя в клубе играть в бридж.

Он приехал и с тех пор стал приезжать каждый вечер. Проходила неделя за неделей, а он и миссис Блимп все обсуждали разные про и contra. Рассматривали вопрос со всех точек и под всеми углами зрения. Перебирали и тщательно анализировали все тонкости. И кто бы мог подумать, что решение найдет полковник? Он как-то присутствовал при одной из их встреч, когда у них, доведенных уже почти до отчаяния, совсем опустились руки. И тут полковник сказал: «Почему бы не завезти им наши визитные карточки?» — «Превосходно!» — воскликнул Говард. Миссис Блимп так и ахнула от приятного изумления. И бросила на Говарда гордый взгляд. Она знала, что он считает полковника своего рода самодовольным ослом, который совершенно ее не достоин. Ее взгляд говорил: «Вот вам истинный англичанин! Пусть он не очень умен, пусть он скучноват, но в решающий момент на него можно с уверенностью положиться».

Миссис Блимп была не из тех женщин, которые колеблются, когда перед ними открыт правильный путь. Она звонит дворецкому и велит немедленно подать к подъезду коляску. Из уважения к Фишерам она надевает самое нарядное платье и новую шляпку. С коробкой визитных карточек в руке она подъезжает к отелю «Браунс» — и тут узнает, что Фишеры не далее как сегодня утром съехали и отправились в Ливерпуль, чтобы сесть на пароход и вернуться в Нью-Йорк.

Десмонд выслушал мою пародию с довольно кислым видом, а потом все-таки усмеялся и сказал:

— Но вы забыли добавить, мой бедный Вилли, что у Генри Джеймса этот рассказ имел бы классическое величие собора святого Павла, гулкую мрачность вокзала Сент-Пэнкрас и... роскошь и запустение Вубернского аббатства.

На том мы с ним оба расхохотались, я налил ему еще виски с содовой, и в свой срок мы, оба довольные собой, разошлись спать.

Лет двадцать, если не больше, тому назад я написал для американских читателей довольно пространное предисловие к антологии рассказов XIX века, которую я составил. Спустя лет десять я повторил многое из того, что там написал, в лекции о рассказе, прочитанной перед членами Королевского литературного общества. Но антологию мою в Англии не перепечатавали, а в Америке она давным-давно распродана; лекция же, правда, была издана в ежегоднике трудов Королевского общества наряду с другими, прочитанными в том же году, однако тома эти доступны только для членов Общества. Перечитав недавно оба своих трактата, я обнаружил, что по некоторым вопросам мнение мое с тех пор изменилось, а кое-какие сделанные мною предсказания не оправдались. Ниже, отчасти неизбежно повторяясь, подчас дословно, поскольку не знаю, как можно было бы еще лучше выразить то, что я имею в виду, я рассуждаю, по мере моего нынешнего разумения, о литературных произведениях, в жанре которых и сам в свое время довольно усердно подвизался.

Рассказывать свойственно человеку от природы, происхождение рассказа уходит, я думаю, во тьму времен, когда охотник, сидя в пещере у костра, развлекал своих до отвала наевшихся и напившихся товарищей фантастическими историями, которые сам когда-то слышал при таких же обстоятельствах. И сегодня в городах Востока можно увидеть на рыночной площади традиционного рассказчика в кругу жадных слушателей, которым он излагает древние сказания, доставшиеся ему в наследство от прошлых времен. Но только в XIX веке рассказ приобрел широкое распространение и сделался характерной чертой литературного процесса. Конечно, их писали и охотно читали и раньше — были и религиозные повести греческого происхождения, и наставительные новеллы средних веков, и бессмертные сказки «Тысячи и одной ночи». Во все время Ренессанса в Италии и Франции, в Испании и Англии держалась мода на короткий рассказ, «Декамерон» Боккаччо и «Назидательные новеллы» Сервантеса — ее несокрушимые памятники. Потом, с развитием романа, мода эта пошла на убыль. Книгопродавцы перестали давать хорошую цену за сборники рассказов, и сами авторы начали относиться с недоверием к этому жанру, не приносившему ни славы, ни денег. Когда у них порой возникал замысел, который не поддавался воплощению в пространной романной форме,

они, случалось, писали рассказ, но потом как-то не могли взять в толк, что с ним делать, и, чтобы не пропадал даром материал, вставляли, иной раз довольно неловко, в корпус своих романов.

Но в начале XIX века появилась новая форма публикации и вскоре приобрела огромную популярность. Я говорю о ежегодниках. Возникли они, если не ошибаюсь, в Германии. Это были сборники прозы и поэзии, у себя на родине они снабжали читателей солидной духовной пищей — характерно, что «Орлеанская дева» Шиллера и «Герман и Доротея» Гете впервые увидели свет именно в таких периодических изданиях. Успех этого начинания побудил и английских издателей последовать примеру немцев, но у нас в привлечении подписчиков и доходов надежды возлагались главным образом на короткий рассказ.

Здесь, по-видимому, самое время объяснить читателю, в чем состоит специфика этого жанра, раз уж критики пренебрегли своими прямыми обязанностями и его на сей счет не просветили. Писатель движим внутренней потребностью творить, но помимо этого он еще хочет, чтобы плоды его творчества дошли до читателя, и кроме того, у него есть желание (безвредное и не имеющее отношения к читателю) заработать на кусок хлеба с маслом. И обычно ему удается направить свой творческий импульс по такому руслу, чтобы достичь этих скромных целей. Рискаю оскорбить чувства читателя, исповедующего недоступность писательского вдохновения практическим расчетам, должен сказать, что писатели, естественно, предпочитают писать то, на что имеется спрос. И это не удивительно, ведь они не только пишут, но и читают и подвержены настроениям читающей публики, разделяют ее вкусы. Когда обстановка такова, что пьеса в стихах может принести своему автору если не богатство, то хотя бы славу, едва ли найдется один склонный к литературе молодой человек, у которого в бумагах не было бы готовой стихотворной трагедии в пяти актах. А в наши дни едва ли кому вздумается их сочинять. В наши дни сочиняют пьесы в прозе, а также романы и рассказы. Правда, в последние годы были не без успеха поставлены несколько стихотворных драм, но я, побывав на некоторых из этих спектаклей, вынес впечатление, что публика не получает удовольствия от стихов, а только мирится с ними, и актеры, чувствуя это, стараются по-своему помочь делу и произносят стихи так, как будто говорят прозой.

Возможности публикации, требования издателей, иначе говоря, их представления о том, чего требует публика,

оказывают очень большое воздействие на характер литературной продукции в каждый данный момент. Так, когда преуспевают толстые литературные ежемесячники, предоставляющие место для длинных повестей, — пишутся длинные повести; с другой стороны, когда начинают печатать художественную литературу газеты, выделяя для этого совсем мало места, появляются короткие рассказы, как раз чтобы заполнить предлагаемое пространство. И ничего позорного в этом нет. Умелый прозаик с одинаковой легкостью может написать произведение и в полторы тысячи, и в десять тысяч слов. Он только возьмет другой сюжет или изменит трактовку. Ги де Мопассан свой знаменитый рассказ «Наследство» написал дважды: один раз для газеты, в несколько сотен слов, и второй — для журнала, в несколько тысяч. Оба варианта печатаются в собраниях его сочинений, и, читая их, убеждаешься, что из краткого нельзя ни слова выкинуть, а в пространный — ни слова добавить. Я хочу сказать, что средство передвижения, на котором автор подъезжает к публике, зависит от внешних условностей, и, как правило, он принимает эти условности без насилия над своими творческими устремлениями.

В начале XIX века у авторов благодаря журналам и альманахам появилась возможность выйти на публику с рассказами, и вот все чаще пишутся рассказы, которые оказываются способны на большее, чем просто оживляют читательский интерес, притупившийся за чтением длинного романа. Много было нареканий на ежегодники и дамские альманахи, еще больше — на сменившие их ежемесячники; но нельзя отрицать, что богатый урожай рассказов XIX века вырастили именно эти периодические издания. А в Америке они вызвали к жизни целую школу блестящих и плодовитых рассказчиков, и некоторые неосведомленные люди даже решили, что рассказ вообще изобрели американцы. Это, разумеется, не так; но все же надо признать, что ни в одной европейской стране этот вид литературного произведения не получил такого развития, как в Соединенных Штатах, и нигде его техника, особенности и возможности так тщательно не изучались.

Подбирая материал для антологии по XIX веку, я прочел несметное количество рассказов и многое о них узнал. Хочу еще раз предупредить читателя, что литератор в своем деле — судья небеспристрастный. Он, вполне естественно, считает, что лучше всего писать так, как пишет он. Сам он иначе писать не может в силу своеобразия своей личности; у него есть определенные способности и определенный темперамент, он по-своему видит вещи и выражает свое

видение в той форме, какую ему диктует его природа. Надо обладать недюжинной силой интеллекта, чтобы понять и оценить чужую работу, не отвечающую твоим природным склонностям. Так что следует с осторожностью относиться к суждениям, скажем, романиста о чужих романах. Он будет хвалить их за то, к чему стремится сам, и недооценит достоинства, ему не близкие. Одно из лучших известных мне исследований о романе принадлежит перу превосходного писателя, который совершенно не способен сочинить мало-мальски правдоподобный сюжет. И я не удивился, что он совсем невысоко ставит тех романистов, чей талант состоит в умении правдоподобно и занимательно строить интригу. Я его за это не виню. Терпимость — ценное качество в человеке; не будь оно такой редкостью, в этом мире жилось бы гораздо уютнее; но не убежден, что оно полезно для писателя. В конечном счете, что писатель преподносит публике? Себя самого. Хорошо, если у него широкий кругозор, ведь материалом ему служит жизнь во всех ее проявлениях; но видит он ее только своими глазами, воспринимает только своими нервами, своим сердцем, своей печенкой. Так что у него знание жизни, конечно, ограниченное, зато очень определенное, поскольку он — это он, и никто другой. И относится к тому, о чем пишет, именно так, а не иначе. Если он допускает, что его точка зрения не более справедлива, чем еще какая-то, разве он будет так уж страстно отстаивать свою позицию и излагать свою мысль с таким жаром? Человек, разумеется, должен учиться видеть две стороны вопроса; но писатель, лицом к лицу со своим искусством (а взгляд на жизнь входит составной частью в его искусство), только умом способен подняться до такого беспристрастия, а в глубине души обязательно чувствует, что вся правота — на его стороне и никаких двух мнений тут быть не может. Это было бы чревато опасностями, если бы писателей на свете насчитывались единицы и они могли бы оказывать на общество решающее влияние. Но нас — тысячи. Каждый сообщает что-то свое, а читатель волен выбирать из этих сообщений то, что ему по душе.

Все вышесказанное понадобилось мне для ясности. Лично мне больше всего нравятся рассказы, похожие на те, что пишу я. В такой манере хорошо писали многие, но лучше всех — Мопассан; поэтому будет правильнее всего, если я, чтобы продемонстрировать ее своеобразие, разберу здесь для наглядности один из самых знаменитых рассказов Мопассана — «Ожерелье». Прежде всего бросается в глаза, что его можно пересказать где-нибудь в гостях

или в курительной комнате на пароходе при неослабевающим внимании слушателей. Случай, о котором в нем повествуется, довольно любопытный, но не невероятный. Коротко, как того требуют размеры рассказа, но очень четко рисуется обстановка; вся ситуация: действующие лица, их образ жизни, их последующий упадок — дается через минимально необходимое количество деталей. Вам сообщают все, что нужно знать. На случай, если мой читатель плохо помнит этот рассказ, я его вкратце изложу. Матильда — жена небогатого чиновника, служащего в министерстве образования. Министр приглашает их на вечерний прием, и, так как у Матильды нет своих украшений, она одалживает у богатой школьной подруги бриллиантовое ожерелье. И теряет его. Но взятое надо возвратить, и за тридцать четыре тысячи франков — сумма для них огромная, да еще занятая под ростовщические проценты, — бедный чиновник с женой покупают в точности такое же ожерелье. Чтобы выплатить за десять лет непосильный долг, они принуждены жить в совершенной нищете, когда же, по прошествии десяти лет лишений, Матильда во всем признается богатой подруге, та ей говорит: «Милочка моя! Но ведь это были искусственные бриллианты. Всему ожерелью цена — от силы каких-нибудь пятьсот франков».

Придирчивый критик, пожалуй, возразит, что рассказ несовершенен, повествование такого рода должно иметь начало, середину и конец, и когда оно доведено до конца, рассказ исчерпан и все ясно, не возникает никаких вопросов и недоумений. Все клеточки в кроссворде заполнены. Но Мопассан в этом случае предпочел такую концовку, сильную и ироническую. Многоопытный читатель может задуматься: а что же дальше? Конечно, бедные супруги пожертвовали молодостью и всеми радостями жизни и провели десять лет в нищете, чтобы оплатить пропажу ожерелья; однако теперь, когда ошибка открылась и драгоценное ожерелье будет им возвращено, ведь у них в руках окажется целое богатство. Низведенные годами самоотвержения до нищеты не только материальной, но и духовной, они вполне могут счесть это достаточной компенсацией. С другой стороны, если бы героине хватило рассудка сразу же пойти к подруге и признаться в пропаже, — а никаких причин, почему бы ей так не поступить, в рассказе не приводится, — то и рассказа бы никакого не было. Но такова сила искусства Мопассана, что он захватывает читателей и мало кто из них задается этими вопросами. Такие писатели, как Мопассан, не копируют жизнь, они перестраивают жизненный материал, чтобы заинтересовать, взволновать и уди-

вить. Их цель — не воспроизведение жизни, а драматизация. Они готовы жертвовать правдоподобием ради эффекта, и судить их надо по результату: если вы, читая, ощущаете насилие автора над персонажами и событиями, значит, автор потерпел неудачу. Но отдельные неудачи не опровергают метода в целом. Бывают времена, когда читатели требуют от литературы близкого следования фактам жизни, как они их понимают, — тогда воцаряется мода на реализм; в другие времена читатели к жизненному правдоподобию равнодушны, а жаждут необычного, странного, чудесного; и тогда, если им интересно читать, они готовы посадить на цепь свой скептицизм. Убедительность — категория изменчивая, зависящая от времени, она сводится к тому, во что удастся заставить читателя поверить. В произведениях художественной литературы всегда есть какие-то натяжки, но их безропотно принимают, потому что они привычны и часто бывают нужны автору для компактности изложения.

Лучше всех законы построения рассказов разбираемого мною типа сформулировал Эдгар Аллан По. Если бы не недостаток места, я бы полностью привел здесь его рецензию на «Дважды рассказанные истории» Готорна — в ней сказано все, что нужно. Но придется удовольствоваться небольшим отрывком:

«Искусный литературный мастер строит рассказ. Если он мудр, то он не станет подгонять свои мысли под повествуемые события. Напротив, вообразив и тщательно обдумав некий уникальный или единственный эффект, он сочиняет такие события и складывает воедино такие средства воздействия, которые наилучшим образом помогут ему выстроить изначально задуманное. Если первое предложение не способствует созданию нужного эффекта, значит, автор потерпел неудачу с первого шага. Во всей композиции не должно быть ни единого слова, которое прямо или косвенно не работало бы на заданный результат. Только с величайшим старанием и умением, из множества красок пишется полотно, рождающее в том, кто наделен искусством восприятия, чувство полнейшего удовлетворения. Идея рассказа донесена в чистом виде, ибо ничем не потревожена...»

III

Как нетрудно видеть, хороший рассказ, по мнению По, — это литературное произведение, излагающее некий изолированный эпизод, реальный или спиритуальный, и поддающееся

прочтению за один присест; оригинальное, яркое, оно должно волновать и впечатлять и, главное, двигаться по прямой линии, от экспозиции до концовки. Писать рассказы, удовлетворяющие его требованиям, не так просто, как кажется. Для этого нужен интеллект, может быть, не самого высокого уровня, но определенной направленности, а также чувство формы и большая изобретательность. В Англии такие рассказы лучше всех писал Редьярд Киплинг. Он — единственный из английских новеллистов, которого можно поставить рядом с мастерами Франции или России. Сейчас его недооценивают. Это естественно. Когда умирает известный писатель, во всех газетах помещают некрологи, и каждый, кто имел с ним дело, пусть даже просто пил с ним однажды чай за одним столом, шлет в «Таймс» свои воспоминания. За две недели эта тема всем приедается и предается забвению. Потом, если все будет в порядке, через несколько лет, а иногда и через более длительный срок, в зависимости от причин, часто совсем не литературных, спохватятся, и к нему вернется благосклонное внимание публики. Самый яркий пример тому, конечно, Энтони Троллоп. Целое поколение о нем не вспоминало, но вот в английской жизни произошли перемены, теперь его романы приобрели ностальгическую прелесть и привлекают множество читателей.

Несмотря на то что Киплинг с первых шагов завоевал симпатии широкой публики и не утратил их до конца, высокообразованные ценители относились к нему несколько свысока. Кое-какие черты его творчества раздражали. Ему приписывали империализм, который претил многим разумным людям и которого теперь у нас стыдятся. А Киплинг был замечательным, оригинальным и разноликим рассказчиком. Он обладал неисчерпаемой выдумкой и умел, как никто, придавать излагаемому эпизоду драматизм. У него были, конечно, свои недостатки, как у всякого писателя; в его случае, я думаю, они шли от среды, в которой он вырос, и от полученного воспитания, от свойств характера и от особенностей эпохи. На собратьев по перу он оказал немалое влияние, но главным образом оно, мне кажется, сказалось на людях, живших более или менее такой жизнью, которую он описывал. Удивительно, до чего часто встречаются, когда путешествуешь по Востоку, люди, подражающие в жизни персонажам Киплинга. Про Бальзака говорят, что созданные им образы вернее изображают людей следующего поколения, чем того, которое он наблюдал и описывал. Я лично знаю на основании собственных наблюдений, что через двадцать лет после выхода первых

книг Киплинга повсюду, в самых дальних уголках Британской империи, жили люди, помеченные печатью его воздействия. Он не только создавал своих персонажей, но и формировал живых людей. Это были мужественные, честные мужчины, до конца исполнявшие свой долг, как они его понимали, и не вина их, а беда, причины которой здесь не место рассматривать, что они оставили после себя наследие ненависти. Про Киплинга говорят, что он пробудил в англичанах «имперское сознание», но это — политика, и не о ней здесь речь; для моего анализа существенно, что он первый стал сочинять так называемые «экзотические» рассказы и открыл перед писателями новую плодотворную область. Я говорю о рассказах, действие которых происходит в каком-нибудь отдаленном краю, незнакомом большинству читателей. Автор показывает, как влияет на белого человека жизнь на чужой земле, общение с людьми иной расы, иного цвета кожи. Позже другие писатели трактовали эту тему каждый по-своему, но первым проложил след по новооткрытой территории Редьярд Киплинг, и никто из его последователей не описал ее такой романтически прекрасной, не представил так живо и многокрасочно. Придет время, когда оккупация англичанами Индии станет древней историей и утрата этих колоссальных владений будет возбуждать не больше горечи, чем утрата Нормандии и Аквитании в давно прошедшие века. И тогда Редьярд Киплинг со своими индийскими рассказами, «Книгой джунглей» и «Кимом» по праву займет в нашей великой английской литературе почетное место.

Людам приедается даже хорошее. Нужны перемены. Если взять пример из другой области искусства, гражданская архитектура в георгианскую эпоху достигла высочайшего совершенства; дома, которые тогда строились, были красивы и удобны — просторные помещения, много воздуха, стройные пропорции. Казалось бы, такими домами можно удовлетвориться навсегда. Но нет. Наступает эпоха романтизма; люди требуют странного, причудливого, картинного; и архитекторы охотно идут навстречу их желаниям. Сочинить такой рассказ, какие писал Эдгар По, трудно, недаром он сам, притом что наследие его невелико, все же повторялся. Тут есть свои хитрости, но когда, с распространением ежемесячных журналов, спрос на такие рассказы вырос, нашлось немало авторов, которые этими хитростями не замедлили овладеть. Чтобы произвести впечатление, они втискивали свои сюжеты в условные рамки и постепенно совершенно утратили правдоподобие, так что читатели взбунтовались. Им надоели рассказы, написанные по одной

и той же давно набившей оскомину схеме. В реальной жизни не бывает все так подогнано одно к другому, утверждали они; реальная жизнь состоит из оборванных нитей и повисших концов; связывать их воедино — фальсификация. Читатели требовали больше реализма. Вообще говоря, задачей художника никогда не было копирование действительности. Сэр Кеннет Кларк в своей книге «Обнаженная натура» доказывает это более чем убедительно. Он демонстрирует нам, что великие ваятели Древней Греции вовсе не стремились с исчерпывающей точностью изображать свою модель, они использовали ее как орудие достижения собственного идеала красоты. При внимательном взгляде на картины и статуи старых мастеров нельзя не удивляться, как мало они заботились о точном воспроизведении того, что видят. У нас склонны думать, будто пластические искажения, особенно наглядные у вчера еще модных кубистов, — открытие нашего времени. Вовсе нет. Так думают только потому, что к искажениям у старых мастеров давно привыкли, они воспринимаются как буквальное следование природе. А ведь от начала западного изобразительного искусства художники всегда жертвовали правдоподобием ради идеи. И то же самое в литературе. Чтобы далеко не ходить, возьмем опять того же По. Разумеется, он не думал, что живые люди разговаривают так, как изъясняются его персонажи; если он вложил в их уста диалоги на наше ухо неестественные, значит, так ему было нужно для достижения задуманного эффекта. Художники впадали в натурализм, только когда так далеко отступали от природы, что становилось необходимым обратное движение; тут уж они принимались воспроизводить жизнь как можно точнее, но это было не самоцелью, а, вероятно, своего рода полезным упражнением.

В новеллистике натурализм XIX века возник как реакция на романтизм который успел всем приесться. Писатели дружно ринулись изображать действительность со всей немумолимой правдивостью «Я никогда не лицеприятствовал, — утверждал Фрэнк Норрис, — не снимал шляпу перед модой и не протягивал ее за милостыней. Нет, клянусь Богом, я говорил Правду. Нравилась она или не нравилась, это меня не касалось. Я говорил Правду, я знал Правду тогда как знаю ее и теперь». Храбрые слова, но знать правду — непросто она не всегда противоположна лжи. Писатели этого направления смотрели на жизнь не столь предубежденными глазами как их предшественники; были менее слащавы и менее оптимистичны, писали жестче и прямолинейнее. владели более естественным диалогом и дей-

ствующих лиц брали из того мира, который литература после Дефо обходила своим вниманием. Однако в технику рассказа они ничего нового не внесли. В принципе они довольствовались старыми образцами, старались добиваться того же, к чему стремился Эдгар По, пользовались правилами, которые он сформулировал. Достоинства их рассказов подтверждают его правоту; их искусственность отражает слабые стороны его формулы.

IV

Но была страна, где эта формула почти не имела хождения. Писатели России на протяжении нескольких поколений создавали рассказы совсем иного толка, и когда авторы, а с ними и читатели убедились, что модный рассказ выродился в скучный шаблон, тут-то и спохватились, что есть рассказчики, которые пишут по-другому. Странно, что понадобилось так много времени, чтобы эта разновидность короткого повествования дошла до западного мира. Правда, рассказы Тургенева во французском переводе были известны. Его признавали Гонкуры, Флобер и их интеллектуальное окружение, ценя его величественную наружность, богатство и знатность; хвалили и его книги, выражая умеренные восторги, с какими французы всегда относятся к произведениям иностранных авторов. Примерно так же когда-то доктор Джонсон воспринял проповеди одной женщины-проповедницы: «Написано, конечно, слабо, но все-таки написано, чему приходится только удивляться». Лишь после того, как де Воге опубликовал в 1886 году свою книгу «Русский роман», влияние русской литературы наконец ощутили в литературных кругах Парижа. Прошло еще некоторое время, и где-то, кажется, в 1905 году на французский переводятся несколько рассказов Чехова, встреченных весьма положительно. В Англии же его по-прежнему почти не знают. Когда в 1904 году Чехов умер, русские уже считали его лучшим писателем своего поколения, а Энциклопедия Британника во втором издании, которое вышло в 1911 году, нашла для него только такие слова: «Но А. Чехов продемонстрировал большой талант новеллиста». Довольно кислая похвала. Только когда миссис Гарнет издала избранную часть огромного литературного наследия Чехова в 13 томиках, им заинтересовалась английская читающая публика. С той поры престиж русской литературы в целом и Чехова в частности у нас очень вырос. Изменились под новым

влиянием и сама английская новеллистика, и критические оценки. Ценители отворачиваются от рассказов, хорошо скомпонованных по прежним канонам, и те авторы, которые все еще усердствуют в их написании на потребу широкой публике, теперь не ставятся ни во что.

Биография Чехова написана Дэвидом Магаршаком. Она представляет собой хронику блистательных побед вопреки огромным трудностям — вопреки бедности, обременительным обязанностям, мрачной среде и слабому здоровью. Из этой интересной и хорошо документированной книги я вычитал следующие факты. Чехов родился в 1860 году. Его дед был крепостным, он скопил денег и выкупил себя и своих троих сыновей. Один из них, Павел, со временем открыл бакалейную лавку в городе Таганроге на берегу Азовского моря, женился и произвел на свет пятерых сыновей и одну дочь. Антон Чехов был его третьим сыном. Павел, человек необразованный и глупый, был эгоистичен, тщеславен, жесток и глубоко религиозен. Много лет спустя Чехов вспоминал, что в пятилетнем возрасте отец приступил к его учению. Он не столько учил его, сколько бил каждый день, сек, драл за уши, награждал подзатыльниками. Ребенок просыпался по утрам с мыслью: будут ли его и сегодня бить? Игры и забавы находились под запретом. Полагалось ходить в церковь на заутреню и обедню, целовать руки монахам и священникам, дома читать псалмы. С восьми лет Антон должен был служить в отцовской лавке. Он работал мальчиком на побегушках, и здоровье его страдало, потому что он почти каждый день подвергался побоям. А позже, когда он поступил в гимназию, заниматься приходилось только до обеда, а после обеда до ужина он был обязан сидеть в лавке.

Когда Антону Чехову исполнилось шестнадцать лет, отец, погрязнув в долгах и опасаясь ареста, бежал в Москву, где два его старших сына, Александр и Николай, учились в университете. Антона оставили в Таганроге одного кончать гимназию, и он должен был сам содержать себя, давая уроки отстающим ученикам. Через три года, получив аттестат зрелости и стипендию в двадцать пять рублей в месяц, он перебирается к родителям в Москву. Решив стать врачом, поступает на медицинский факультет. В это время Чехов — долговязый юноша чуть не двух метров ростом, у него светло-каштановые волосы, карие глаза и полные, твердо очерченные губы. Семья его жила в полуподвальном помещении в трущобном квартале, где располагались московские публичные дома. Антон привел двух бывших одноклассников и соучеников по университету — они должны

были жить и питаться у его родителей. Это давало семье 40 рублей в месяц, еще двадцать платил третий жилец, и это вместе с двадцатью пятью рублями Антона составляло восемьдесят пять рублей на прокорм девяти человек и на квартирную плату. Вскоре переехали на другую квартиру, побольше, но на той же грязной улице. Двое жильцов жили в одной комнате, третьему выделили отдельную комнатку поменьше. Третью комнату занимал Антон с двумя братьями, четвертую — мать с сестрой, а пятая служила столовой и гостиной, а также спальней братьям Александру и Николаю. Павел, отец, наконец-то устроился работать на складе за тридцать рублей в месяц и обязан был там ночевать, так что на какое-то время они избавились от этого деспотичного и неумного человека, с которым так трудно было жить.

Антон был мастер рассказывать смешные истории. Слушатели всегда покатывались со смеху. Он решает попробовать писать рассказы, чтобы облегчить тяжелое материальное положение семьи. Написал один и отослал в петербургский журнал «Стрекоза». Потом январским вечером, возвращаясь из университета, купил очередной номер и увидел, что его рассказ напечатали. Гонорар за это причитался в пять копеек за строчку. Чехов стал слать в «Стрекозу» по рассказу чуть не каждую неделю, но далеко не все они там публиковались. Отвергнутые рассказы он пристраивал в московские газеты, хотя там платили еще того меньше, кассы редакций пустовали, и авторы часто должны были дожидаться, пока мальчишки-газетчики принесут с улицы копеечную выручку. Первым, кто как-то помог Чехову войти в литературу, был петербургский издатель Лейкин. Он вел журнал под названием «Осколки» и подрядил Чехова по-прежнему еженедельно по рассказу в сто строк, положив ему гонорар по восьми копеек за строчку. Журнал был юмористический; когда Чехов присылал что-то мало-мальски серьезное, Лейкин сетовал, что он не оправдывает ожидания публики. Чеховские рассказы пользовались успехом и уже приобрели ему некоторую известность, однако навязанные рамки размеров и жанра начали его тяготить, и тогда Лейкин, человек, по-видимому, добрый и разумный, устроил ему договор с «Петербургской газетой» — туда он теперь должен был каждую неделю писать рассказы более длинные и серьезные за те же восемь копеек строка. С 1880 по 1885 год Чехов написал триста рассказов!

Они писались для заработка. Такая работа в искусстве презрительно именуется халтурой. Но это слово на самом деле надлежит выкинуть из лексикона литераторов

и журналистов. Конечно, начинающий автор, открывший в себе страсть к писательству (а откуда она берется — загадка, столь же неразрешимая, как загадка пола), если о чем и мечтает, то о славе, но, уж во всяком случае, не о богатстве, и он прав, потому что первые шаги обычно автору доходов не приносят. Но, становясь профессиональным писателем, то есть таким, кто писательством зарабатывает на жизнь, он не может не заботиться о деньгах, которые получает за свое искусство. Эти его заботы читателя совершенно не касаются.

Чехов писал свои бесчисленные рассказы и одновременно учился на медицинском факультете, чтобы получить диплом врача. Писать он мог только по вечерам, после целого дня работы в больнице. Условия для литературных трудов были малоподходящие. От жильцов, правда, избавились, Чеховы пересели в квартиру поменьше, но, как писал Антон Чехов Лейкину, «...в соседней комнате кричит детеныш приехавшего погостить родича, в другой комнате отец читает матери «Запечатленного ангела», кто-то завел музыкальную шкатулку, и я слышу «Елену Прекрасную»... Постель моя занята приехавшим сродственником, который то и дело подходит ко мне и заводит речь о медицине... Ревет детеныш! Даю себе слово никогда не иметь детей... Французы имеют мало детей, вероятно, потому, что они... рассказы пишут». А годом позже в письме к младшему брату Ивану он писал: «Я зарабатываю больше любого из ваших поручиков, а нет ни денег, ни порядочных харчей, ни угла, где я мог бы сесть за работу... В настоящее время денег у меня ни гроша. С замиранием сердца жду первого числа, когда получу из Питера. Получу рублей шестьдесят и тотчас же ухну».

В 1884 году у Чехова открылось кровохарканье. В семье был туберкулез, и Чехов не мог, конечно, не знать этих симптомов, но из страха, что опасения оправдаются, не соглашался показаться специалисту. Чтобы успокоить мать, он заявил, что кровотечение вызвано лопнувшим сосудом в горле и никак не связано с чахоткой. В конце того же года он сдал экзамены и стал дипломированным врачом. Несколько месяцев спустя он наскреб немного денег и отправился в первый раз в Петербург. До сих пор Чехов не придавал особого значения своим рассказам — он писал их для денег и, по его же собственным словам, больше одного дня на сочинение рассказа никогда не тратил. Но, приехав в Петербург, он, к удивлению своему, обнаружил, что он — знаменитость. Казалось бы, рассказы его были так несерьезны, однако тонкие ценители в Петербурге, бывшем тогда

центром культурной жизни в России, разглядели в них свежесть, живость и оригинальный подход. Чехову был оказан радушный прием. Он увидел, что к нему относятся как к одному из талантливейших писателей современности. Издатели журналов приглашали его сотрудничать с ними и предлагали цены гораздо выше тех, что он получал до сих пор. Один выдающийся русский писатель дал ему совет оставить легкомысленные рассказы, какие он писал до сих пор, и взяться за сочинение серьезных произведений.

На Чехова все это произвело сильное впечатление, однако становиться профессиональным писателем он не собирался. Он говорил, что медицина — его законная жена, а литература — всего лишь любовница. В Москву он вернулся с намерением зарабатывать на жизнь врачебной деятельностью. Правда, о том, чтобы обзавестись выгодной практикой, он особенно не заботился. У него было много знакомых, они присылали ему пациентов, но эти пациенты редко платили за визиты. Чехов, веселый и обаятельный молодой человек с заразительным звонким смехом, всегда был дорогим гостем в богемном кругу своих приятелей. Он много пил, но, кроме как на свадьбах, именинах и по церковным праздникам, никогда не напивался. Женщины к нему льнули, у него было несколько романов, впрочем несерьезных. Шло время, Чехов неоднократно ездил в Петербург, путешествовал по России. Каждую весну, бросая немногочисленных пациентов, он вывозил все свое семейство за город и жил там до глубокой осени. Как только в окрестностях дома, который они снимали, становилось известно, что Чехов — врач, его начинали осаждать больные и, разумеется, при этом ничего не платили. Для заработка приходилось писать рассказы. Они пользовались все большим успехом и оплачивались все лучше и лучше. Однако жить по средствам у Чехова не получалось. В одном из писем Лейкину он писал: «Вы спрашиваете, куда я деваю деньги. Я не веду разгульной жизни, не наряжаюсь франтом, не имею долгов, я не трачусь даже на содержание любовницы (любовь мне достается gratis), и при всем том у меня из трехсот рублей, полученных от вас и от Суворина перед Пасхой, осталось только сорок, из коих ровно сорок я должен завтра выплатить. Бог его знает, куда уходят мои деньги». Чехов переезжает на новую квартиру, теперь у него есть наконец отдельная комната, но, чтобы заплатить за это все, он принужден вымалывать у Лейкина аванс. В 1886 году у него опять кровохарканье. Он понимает, что надо ехать в Крым, куда в те годы ездили ради теплого климата

туберкулезные больные, как в Западной Европе ездили на французскую Ривьеру и в Португалию — и мерли и там и там, как мухи. Но у него нет ни рубля на поездку. В 1889 году умер от туберкулеза его брат Николай, талантливый художник. Для Чехова это — горе и предостережение. К 1892 году его собственное здоровье оказалось в таком плохом состоянии, что провести еще одну зиму в Москве было страшно. На одолженные деньги он покупает небольшое имение в деревне Мелихово в пятидесяти верстах от Москвы и переезжает туда, как обычно, всем семейством — папаша с его невыносимым характером, мамаша, сестра и брат Михаил. В деревню Чехов привез целую телегу лекарств, и его опять начинают осаждать толпы больных. Он лечит всех как может и не берет ни копейки в уплату.

С перерывами, уезжая и возвращаясь, Чехов прожил в Мелихове пять лет, и в целом это были счастливые годы. Он написал там лучшие свои рассказы, за которые ему уже платили по высокой ставке — 40 копеек за строчку, то есть почти шиллинг. Он принимал участие в местных делах, хлопотал о строительстве новой дороги, на свои деньги строил для крестьян школы. У него подолгу жил брат Александр, запойный пьяница, вместе с женой и детьми; приезжали знакомые, гостили, случалось, по несколько дней; Чехов, правда, жаловался, что они мешают работать, но на самом деле не мог без всего этого жить. Несмотря на постоянное плохое самочувствие, он был всегда бодр, дружелюбен, любил проказы и шутки. Иногда он уезжал «проветриться» в Москву. Во время одной из таких увеселительных поездок, в 1897 году, у него открылось такое сильное горловое кровотечение, что пришлось поместить его в клинику, и несколько дней он висел между жизнью и смертью. До сих пор он отказывался верить, что болен туберкулезом, но теперь врачи сообщили ему, что у него поражены верхушки обоих легких и, если он не хочет умереть в самом ближайшем будущем, надо изменить образ жизни. Чехов вернулся в Мелихово, хотя и понимал, что оставаться там на зиму ему нельзя. Приходилось отказаться от врачебной деятельности. Он уехал в Европу — в Биарриц, потом в Ниццу, а оттуда перебрался в Ялту, в Крым. Доктора рекомендовали поселиться там постоянно, и на аванс, полученный от своего друга и издателя Суворина, Чехов строит себе в Крыму дачу. Он по-прежнему находится в самых стесненных финансовых обстоятельствах.

Невозможность заниматься лечебной практикой была для Чехова большим ударом. Что он был за врач, я не знаю.

После окончания курса он проработал в клинике не более трех месяцев, и методы лечения у него были не особенно тонкие. Однако, как человек со здравым смыслом и даром сочувствия, он, предоставляя свободу природе больного, я полагаю, приносил не меньше пользы, чем иные высокообразованные медики. А приобретенный богатый опыт давал свои плоды. Я имею основания думать, что медицинская школа вообще идет писателям на пользу. Приобретается бесценное знание человеческой природы. Медик знает о человеке все самое худшее и самое лучшее. Когда человек болен и испуган, он сбрасывает маску, которую привык носить здоровый. И врач видит людей такими, как они есть на самом деле,—эгоистичными, жестокими, жадными, малодушными; но в то же время—храбрыми, самоотверженными, добрыми и благородными. И, преклоняясь перед их достоинствами, он прощает им недостатки.

В Ялте Чехов скучал, однако здоровье его поначалу пошло на поправку. У меня не было до сих пор случая упомянуть, что помимо огромного количества рассказов Чехов написал к этому времени две или три пьесы, правда не имевшие особенного успеха. Через них он познакомился с молодой актрисой, которую звали Ольга Книппер. Он полюбил ее и в 1901 году, к неудовольствию своего семейства, которое он все это время содержал, женился. Условились, что она по-прежнему будет играть в театре, и они бывали вместе, только когда он приезжал, чтобы повидаться с ней, в Москву или же когда она бывала свободна от спектаклей и ездила к нему в Ялту. Сохранились его письма к ней, нежные и трогательные. Улучшение здоровья Чехова продолжалось недолго, вскоре ему стало совсем плохо. Он сильно кашлял, не мог спать. К его большому огорчению, у Ольги Книппер случился выкидыш. Она давно склоняла Чехова написать легкую комедию, этого, по ее мнению, требовала публика, и он в конце концов, главным образом, видимо, чтобы выполнить просьбу жены, приступил к работе над новой пьесой. Придумал название: «Вишневый сад»—и обещал Ольге, что напишет для нее выигрышную роль. «Пишу только по четыре строки в день,—жаловался он в письме другу,—но и от этого страдаю невыносимо». Пьесу он все же окончил, и она была поставлена в Москве в начале 1904 года. А в июне Чехов по совету лечащего врача отправляется в Германию на курорт Баденвейлер. Один молодой русский литератор так описывал свою встречу с Чеховым накануне его отъезда:

«На диване, обложенный подушками, не то в пальто, не то в халате, с пледом на ногах, сидел тоненький, как будто маленький, человек с узкими плечами, с узким бескровным лицом—до того был худ, изнурен и неузнаваем Чехов. Никогда не поверил бы, что можно так измениться.

А он протягивает слабую восковую руку, на которую страшно взглянуть, смотрит своими ласковыми, но уже не улыбающимися глазами и говорит:

— Завтра уезжаю. Прощайте. Еду умирать.

Он сказал другое, не это слово, более жесткое, чем «умирать», которое не хотелось бы сейчас повторить.

— Умирать еду,— настоятельно говорил он.— Поклонитесь от меня товарищам вашим... Скажите им, что я их помню и некоторых очень люблю... Пожелайте им от меня счастья и успехов. Больше уже мы не встретимся».

В Баденвейлере ему поначалу сделалось гораздо лучше, он даже стал подумывать о поездке в Италию. Как-то вечером, укладываясь в постель, он настоял на том, чтобы Ольга, весь день просидевшая с ним, пошла прогуляться в парк. Когда она вернулась, Чехов попросил ее спуститься в ресторан поужинать. Но она объяснила ему, что гонг еще не прозвонил. И тогда, чтобы скоротать время ожидания, он стал рассказывать жене смешную историю, описывая необычайно модный курорт, где много толстых банкиров, здоровых, любящих хорошо поесть англичан и американцев. В один прекрасный вечер все они собираются в отеле, предвкушая сытный ужин,— а повар, оказывается, сбежал и ужина никакого нет. Чехов описывал, как этот удар по желудку подействовал на этих избалованных людей. Рассказ получился очень смешной, и Ольга Книппер от души смеялась. После ужина она опять поднялась к нему— он спокойно спал. Но потом ему вдруг стало хуже, был вызван врач, он делал что мог, безрезультатно. Чехов умер. Последние его слова были по-немецки: «Ich sterbe»¹. Ему исполнилось сорок четыре года.

Александр Куприн в своих воспоминаниях о Чехове пишет: «Думается, он никому не раскрывал своего сердца вполне. Но ко всем относился благодушно, безразлично в смысле дружбы и в то же время с большим, может быть, бессознательным интересом». И это удивительно глубокое замечание. Оно говорит о Чехове больше, чем все те факты его недолгой биографии, которые я здесь изложил.

¹ Я умираю (нем.).

Ранние рассказы Чехова были в большинстве своем юмористическими. Он писал их очень легко, писал, по его собственным словам, как птица поет. И не придавал им особенного значения. Только после первой поездки в Петербург когда оказалось, что в нем видят многообещающего, талантливого автора, он стал относиться к себе серьезнее. И тогда он занялся совершенствованием своего ремесла. Кто-то из близких застал его однажды за переписыванием рассказа Толстого и спросил, что это он делает. Чехов ответил «Правлю». Собеседник был поражен таким свободным обращением с текстом великого писателя, но Чехов объяснил, что он просто упражняется. У него возникла мысль (и по моему, вполне дельная), что таким способом он проникнет в тайны письма почитаемых им писателей и выработает свою собственную манеру. И, как свидетельствуют факты, труд этот не остался бесплодным. Чехов научился мастерски строить рассказы. «Мужики», например, сделаны так же элегантно, как флюберовская «Госпожа Бовари». Чехов стремился писать просто, ясно и емко, и, говорят, стиль, которым он писал, прекрасен. Мы, читающие его в переводе, принуждены принимать это на веру, потому что даже при самом точном переводе из текста уходит живой аромат авторское чувство и гармония слов.

Чехова очень занимала техника короткого рассказа, и ему принадлежат несколько весьма ценных замечаний по этому поводу. Он считал, что в рассказе не должно быть ничего лишнего. «Все, что не имеет прямого отношения к теме, следует беспощадно выбрасывать,— писал он.— Если в первой главе у вас на стене висит ружье, во второй или в третьей оно непременно должно выстрелить». Это замечание кажется вполне справедливым, равно как и требование, чтобы описания природы были краткими и по существу. Сам он владел искусством с помощью двух-трех слов дать читателю представление, скажем, о летней ночи, когда надрываются в кустах соловьи, или о холодном мерцании бескрайней степи, укутанной зимними снегами. Это был бесценный дар. Его возражения против антропоморфизма меня убеждают меньше. «Море смеялось,— читаем мы в одном из его писем.— Вы, конечно, в восторге. А ведь это — дешевка, лубок. Море не смеется, не плачет, оно шумит плещется, сверкает. Посмотрите у Толстого. солнце всходит солнце заходит, птички поют. Никто не рыдает и не смеется. А ведь это и есть самое главное — простота»

Так-то оно так, но ведь мы со дня творения персонифицируем природу, и для нас это настолько естественно, что нужно делать усилия, чтобы этого избсжать. Чехов и сам иногда пользовался такими выражениями, например, в повести «Дуэль» читаем: «...выглянула одна звезда и робко заморгала своим одним глазом». Я не вижу в этом ничего предосудительного, наоборот, мне нравится. Своему брату Александру, тоже писателю, но слабому, Чехов говорил, что ни в коем случае не следует описывать чувства, которых сам не испытывал. Это уж слишком. Едва ли нужно самому совершить убийство для того, чтобы убедительно описать чувства убийцы. В конце концов, ведь есть же такая вещь, как воображение, хороший писатель умеет поставить себя на место своего персонажа и пережить его ощущения. Но самое решительное требование Чехова к авторам рассказов состоит в том, чтобы отбрасывать начала и концы. Он и сам так поступал, и близкие даже говорили, что у него надо отнимать рукопись, прежде чем он возьмется ее обкарнировать,— иначе только и останется, что герои были молоды, полюбили друг друга, женились и были несчастливы. Когда Чехову это передали, он ответил: «Но ведь так оно и бывает в действительности»

Чехов считал для себя образцом рассказы Мопассана. Если бы не то, что он сам так говорил, я бы никогда этому не поверил, на мой взгляд, и цели, и методы у них совершенно различны. Мопассан почти всегда стремился драматизировать повествование и ради этой цели, как я заметил выше, готов был, в случае необходимости, пожертвовать правдоподобием. У меня такое впечатление, что Чехов нарочито избегал всякого драматизма. Он описывал обыкновенных людей, ведущих заурядное существование. «Люди не ездят на Северный полюс и не падают там с айсбергов,— писал он в одном из писем.— Они ездят на службу, бранятся с женами и едят щи». На это с полным основанием можно возразить, что люди на Северный полюс все-таки ездят, и если и не падают с айсбергов, то подвергаются многим не менее страшным опасностям, и нет никаких причин, почему бы не писать об этом хорошие рассказы. Что люди ездят на службу и едят щи,— этого явно недостаточно, и Чехов, мне кажется, вовсе не то имел в виду. Для рассказа надо, чтобы они на службе прикарманивали мелочь из кассы или брали взятки, чтобы били или обманывали жен и чтобы ели щи со смыслом— то есть чтобы это был символ семейного счастья или же, наоборот, тоски по загубленной жизни

Врачебная практика, пусть и урывочная, сводила Чехова с людьми самых разных мастей — с крестьянами и фабричными рабочими, с владельцами фабрик и купцами и со всякими крупными и мелкими чиновниками, игравшими в жизни народа столь разорительную роль, и с помещиками, скатившимися после отмены крепостного права к упадку. С аристократами он, насколько можно судить, не знался, я помню только один рассказ, очень горький рассказ под заглавием «Княгиня», в котором он говорит об аристократии. Он с беспощадной откровенностью описывал пассивность и никчемность помещиков, мерзость запустения в их хозяйствах; рисовал горькую судьбу фабричных рабочих, живущих впроголодь и работающих по двенадцать часов в сутки, для того чтобы хозяева могли покупать все новые имена; изображал вульгарность и корыстолюбие купеческого сословия, грязь, пьянство, скотство, темноту и лень обираемых, вечно голодных крестьян и их зловонные, зараженные паразитами жилища.

Чехов умел придать тому, что описывал, удивительную живость. Ему веришь безоговорочно, как правдивому свидетелю событий. Но Чехов, конечно, не просто излагал события, он наблюдал, отбирал, домысливал и комбинировал. Как пишет Костелянский, «в своей удивительной объективности стоя выше частных горестей и радостей, он все знал и видел... Он мог быть добрым и щедрым, не любя, ласковым и участливым без привязанности, благодетелем, не рассчитывая на благодарность».

Но такая бесстрастность возмущала многих современных ему авторов и вызывала резкие нападки. Его обвиняли в равнодушии к событиям и общественным условиям того времени. Русская интеллигенция требовала от писателей, чтобы они вплотную занимались такими вопросами. Чехов же в ответ говорил: дело писателя — показывать факты, а читатели пусть сами решают, как тут быть. Он считал, что от художника нельзя требовать рецептов разрешения частных вопросов. Для частных вопросов есть специалисты, писал он, вот пусть они и судят общество, предсказывают судьбы капитализма, осуждают пьянство. Это кажется справедливым. Но поскольку такая точка зрения в настоящее время широко обсуждается в литературных кругах, я позволю себе привести здесь некоторые собственные замечания, высказанные несколько лет назад в лекции перед Национальной книжной лигой. Как-то я, по обыкновению,

прочитал литературную страницу одного из наших лучших английских еженедельников, на которой рассматриваются последние произведения современной литературы. На этот раз критическая статья начиналась так: «Мистер Имярек не просто рассказчик». Словечко «просто» стало у меня поперек горла, и я, подобно Паоло и Франческе, в тот день не дочитал листа. Автор рецензии — сам известный романист, и, хотя я не имел счастья прочесть ни одной его книги, не сомневаюсь, что они достойны восхищения. Но из вышеприведенной фразы приходится заключить, что, по его мнению, быть романистом — мало, надо быть еще кем-то сверх этого. Очевидно, он пусть не без колебаний, но все же принял распространенный сегодня среди писателей взгляд, что будто бы в современном беспокойном мире неприлично писать романы, предназначенные только для приятного времяпрепровождения читателей. Теперь такие книги призираемы за «эскепизм». Но слово «эскепизм», как и «халтура», настала пора выбросить из критического лексикона. Эскепично все искусство, и симфонии Моцарта, и пейзажи Констебла; разве, читая сонеты Шекспира или оды Китса, мы ищем в них что-то сверх того восхищения, которое они нам внушают? Почему же спрашивать с прозаика больше, чем с поэта, композитора или живописца? Такого явления, как «просто рассказ», на самом деле не существует. Когда прозаик пишет рассказ, он волей-неволей, хотя бы для того, чтобы было интереснее читать, так или иначе критикует жизнь. Редьярд Киплинг, сочиняя свои «Простые рассказы с гор», где описываются чиновники английской администрации в Индии, офицеры, играющие в поло, и их жены, писал обо всем этом с наивным восхищением молодого репортера из скромной семьи. Эти люди казались ему блестящими представителями высших сфер. Но диву даешься, как это могло быть, чтобы никто тогда не увидел в его рассказах обвинительного приговора Предержавшим Властям. Ведь когда читаешь их теперь, выносишь ясное впечатление, что рано или поздно англичанам неизбежно придется отпустить Индию из-под своего владычества. То же самое с Чеховым. При всем том, что он старается быть предельно объективным и описывать жизнь как можно правдивее, невозможно, читая его рассказы, не чувствовать, что жестокость и бескультурье, о которых он пишет, коррупция, нищета бедных и равнодушные богатых неизбежно приведут в конце концов к кровавой революции

Я думаю, что большинство людей читают художественную литературу от нечего делать. Они хотят получать от чтения удовольствие, и это их право, однако разные люди ищут разного удовольствия. Есть, например, удовольствие узнавания. Современникам Тrolлопа было приятно читать «Барчестерские хроники», потому что они узнавали в его описаниях ту жизнь, которую вели сами. Его читатели принадлежали главным образом к верхней прослойке среднего класса, и он как раз описывал жизнь верхней прослойки среднего класса. Его книги давали современникам такое же приятное, уютное чувство самоудовлетворенности, как и строки «милейшего мистера Браунинга» о том, что «Господь в небесах, и все в этом мире прекрасно». Потом, с течением времени, романы Тrolлопа приобрели привлекательность старинных жанровых картин. Нам они кажутся забавными и довольно трогательными (как хорошо жилось в том мире, где обеспеченному люду все в жизни давалось легко и любые сложности разрешались в конце концов к полному взаимному счастью!), в них есть для нас сегодня то же очарование, что и в уморительных гравюрах середины прошлого века, на которых изображены бородатые джентльмены во фраках и цилиндрах и миловидные леди в капорах с козырьком и кринолинах. Но есть и такие читатели, что ищут в книгах новое и неизвестное. У рассказа на экзотические темы всегда были свои поклонники. Большинство людей живет страшно скучно и однообразно, и для них огромное облегчение — погрузиться на какое-то время в мир опасностей и приключений. Но по-видимому, русские читатели Чехова получали от его рассказов удовольствие совсем иного свойства, чем читатели западноевропейские. Им и самим было отлично известно положение народа, которое он так наглядно изображает. Английскому читателю рассказы Чехова сообщают много нового и необычного, порой ужасного и горького, но своей правдивостью они производят сильное, чарующее и даже романтическое впечатление.

Только очень простодушный человек способен думать, что из художественной литературы можно почерпнуть надежные сведения, необходимые для решения насущных, жизненно важных вопросов. Писатель подчиняется своему творческому дару, на него нельзя полагаться. Он пишет то, что чувствует, воображает и придумывает, а рассуждать — не его дело. Он — лицо предубежденное. Предубеждением определяется и тема, которую он избирает, и персонажи, которых он создает, и его отношение к ним. В том, что он

пишет, выражается его личность, проявляются его инстинкты, эмоции, интуиция и опыт. Игра, которую он ведет, заведомо нечестная, иногда сам он об этом даже не знает, а иногда, наоборот, знает очень хорошо и в этом случае пускает в ход все свое искусство, чтобы читатель его не разоблачил. Генри Джеймс считал, что рассказчик должен стремиться к драматизму. То есть он в завуалированной форме призывает к тому, чтобы автор определенным образом компоновал факты, возбуждая и поддерживая интерес читателей. Известно, что сам Генри Джеймс именно так всегда и делал; а вот для текстов информативных, научных этот метод, конечно, не годится. Но если кто-то интересуется насущными проблемами современности, пусть лучше, как советовал Чехов, читает не повести и рассказы, а ученые книги на эти темы. Настоящая цель художественного произведения — не учить, а восхищать.

Писатели — люди незаметные. Их не приглашают на ежегодный банкет к лорду-мэру в Сити, не награждают титулом «почетный гражданин» того или иного большого города. Им не выпадает честь разбить бутылку шампанского о нос спускаемого на воду океанского лайнера. Ради них не собираются на улице толпы, как ради кинозвезд, дабы видеть, как они выходят из отеля и садятся в «роллс-ройсы». Им не поручают открывать благотворительные базары в помощь обедневшим дамам из благородных семей или под восторженные клики зрителей вручать серебряный кубок победителю Уимблдонского турнира. Но все равно с доисторических времен появлялись среди человечества творцы, наделенные способностью украшать своим искусством суровые будни жизни. Можно съездить на Крит и удостовериться, что чаши, кубки и кувшины спокон веку украшались орнаментами, и не потому, что от этого они делались удобнее в употреблении, а потому, что так красивее. И на протяжении столетий художники обретали удовлетворение в создании произведений искусства. Если писатель создал художественное произведение, он свою задачу выполнил. Делать из рассказа кафедру или трибуну — кощунство.

VI

Я думаю, было бы несправедливо завершить это несвязное эссе о рассказе, не упомянув талантливого автора, чье творчество в промежутке между двумя войнами пользовалось

большой любовью читающей публики. Я говорю о Кэтрин Мэнсфилд. Если сегодня технические приемы английской новеллистики разнятся от приемов, которыми пользовались мастера прошлого века, то это во многом ее заслуга. Здесь, разумеется, не место излагать историю жизни мисс Мэнсфилд, но, поскольку ее рассказы носят большей частью очень личный характер, кое-какие сведения из ее биографии необходимо привести. Родилась она в 1888 году в Новой Зеландии. Совсем еще юной написала несколько миниатюр, в которых обнаружила явные литературные способности, и решила непременно стать писательницей. Жизнь в Новой Зеландии кажется ей скучной и пошлой, она уговаривает отца отпустить ее в Англию, где вместе с сестрами она два года училась в школе. Респектабельные родители испытывают потрясение, узнав, что у их дочери был короткий роман с одним молодым человеком, с которым она познакомилась на балу, и, вероятно, поэтому они в конце концов соглашаются отпустить ее в Англию. Отец назначает ей содержание — сто фунтов в год, что по тем временам, да еще для девушки, при экономном образе жизни было достаточно. В Лондоне Кэтрин Мэнсфилд возобновляет знакомство кое с кем из своих новозеландских друзей. Среди них был Арнольд Трауэл, к этому времени уже довольно известный виолончелист. В Новой Зеландии она была без памяти в него влюблена, но здесь переносит свои чувства на его младшего брата, скрипача. Они становятся любовниками. За комнату и питание в пансионе для одиноких женщин она платила двадцать пять шиллингов в неделю, и тем самым на одежду и развлечения ей оставалось всего пятнадцать шиллингов. Жить в таких стесненных обстоятельствах было не очень-то приятно, и, когда учитель пения по имени Джордж Бауден, десятью годами старше ее, предложил ей стать его женой, она согласилась. Вышла замуж Кэтрин Мэнсфилд в черном платье, и единственным свидетелем при бракосочетании была ее подруга. Молодожены отправились на ночь в гостиницу, но новобрачная не позволила мужу осуществить то, что он рассматривал как свое законное супружеское право, и на следующий день оставила его. Позднее она написала о нем убийственный рассказ под названием «День мистера Реджинальда Пикока». Она поехала в Ливерпуль к своему любовнику, который играл там в оркестре передвижной труппы музыкальной комедии, и, как рассказывают, некоторое время работала в этой же труппе хористкой. Она была беременна, но знала ли она об этом, когда выходила

замуж, остается неясным. Родителям Кэтрин отправила две телеграммы: о предстоящем замужестве и следом — о том, что она оставила мужа. Мать приехала в Англию, чтобы разобраться, что же, собственно, происходит, и была, должно быть, страшно скандализирована, когда обнаружила свою дочь, как говорилось в викторианские дни, «в интересном положении». Кэтрин отправляют впредь до родов в Баварию, в городок Верисхофен. Там она прочитала рассказы Чехова, по-видимому, в немецком переводе и сама написала серию рассказов, позднее опубликованных под общим названием «В немецком пансионе». В результате несчастного случая она преждевременно разрешилась мертвым ребенком. И, поправившись, вернулась в Англию.

Первые рассказы Мэнсфилд были напечатаны в журнале «Нью эйдж» и принесли ей некоторое признание. У нее появляются знакомства среди писателей. В 1911 году она знакомится с Мидлтоном Марри. Еще студентом он основал литературный журнал «Ритм» и теперь печатает в нем рассказ Мэнсфилд, который она по его просьбе ему присылает. Он назывался «Женщина в магазине». Мидлтон Марри родился в довольно бедной простой семье, но, будучи способным и усидчивым учеником, получил возможность окончить полную среднюю школу, оттуда, со стипендией, поступил в закрытую школу «Крайст-Хоспитал», а дальше, тоже со стипендией, в Оксфорд. Он был красив и обаятелен. Настолько красив, что, по словам французского беллетриста Франсиса Карко, с которым он познакомился во время одного из своих увеселительных наездов в Париж, шлюхи на Монмартре дрались за право лечь с ним в постель, разумеется, бесплатно. Марри влюбился в Кэтрин Мэнсфилд. И это подтолкнуло его на шаг, который он и без того уже некоторое время обдумывал: кончить университет, не сдавая, как было запланировано, специального экзамена на звание бакалавра с отличием, и, поскольку он ничему дельному, кроме сдачи экзаменов, не научился, зарабатывать деньги литературой. Оксфорд его разочаровал, больше, он считал, от учения ему ждать нечего. Бывший его наставник Фокс свел его со Спендером, редактором «Вестминстерского бюллетеня», и тот согласился испытать его в деле. Марри стал подыскивать себе жилище в Лондоне, и однажды, когда он обедал с Кэтрин Мэнсфилд, она предложила ему за семь с половиной шиллингов в неделю комнату в квартире, которую предоставили ей уехавшие на время знакомые. Он поселился у нее. Поскольку целыми

днями оба были заняты, она писала рассказы, он делал работу для «Вестминстерского бюллетеня», виделись только по вечерам. Разговаривали, рассказывали, наверно, друг другу о себе, как это свойственно молодежи, засиживались до двух часов ночи. Во время одного из таких разговоров, когда наступила минутная пауза, Кэтрин спросила, почему он не делает ее своей любовницей. «Нет, что ты,— сказал он.— Разве ты не считаешь, что это бы все испортило?» — «Считаю»,— ответила она. И он был очень удивлен, когда позже узнал, что его слова ее глубоко оскорбили. Однако вскоре после этого они все-таки стали любовниками, а если верить автобиографии Марри «Меж двух миров», и поженились бы, будь Кэтрин свободна. Но Джордж Бауден, вероятно назло, отказывался дать развод. В качестве свадебного путешествия они отправились в Париж — отчасти потому, что Марри хотел познакомить ее со своим большим другом Франсисом Карко. По возвращении в Англию жили то в Лондоне, то за городом. Едва обоснуются в каком-то месте, как Кэтрин оно уже опротивело, и приходится перебираться снова. За два года тринадцать переездов. Наконец решено навсегда поселиться в Париже. К этому времени за Марри уже закрепилась репутация толкового журналиста, он мог даже откладывать часть заработков. Было условлено, что он будет писать для Спендера и для Ричмонда, редактора литературных приложений к «Таймс», статьи о современной французской литературе. В расчете на свои сбережения и на гонорары за эти статьи, а также на содержание, получаемое Кэтрин, он полагал, что они вполне проживут в Париже.

В Париже сняли квартиру и за большие деньги перевезли из Англии мебель. Теперь они часто видятся с Франсисом Карко. Кэтрин с ним приятно, он веселый, забавный, наверно, немножко ухаживал за ней. Однако статьи Марри о французской литературе не принимает ни та, ни другая лондонская газета. А запасы денег подходят к концу. Карко помочь не в состоянии, он и так на них сильно потратился. Что делать, неизвестно. В это время приходит письмо от Спендера, редактор «Вестминстерского бюллетеня» сообщал, что у него в газете освобождается место критика-искусствоведа и что Марри, если вернется в Англию, сможет его получить. Вернулись, неохотно, в Лондон. Был март 1914 года. Опять жили то здесь, то там. А в августе началась война. Работа в «Вестминстерском бюллетене» кончилась. Перебрались в деревеньку Чолсбери в Бакин-гемшире, чтобы жить по соседству от Д. Г. Лоуренса

и его жены, с которыми установились в Лондоне дружеские отношения. Ничего путного из этого не вышло. Кэтрин хотелось городской жизни, Марри тяготился городом. У нее болели суставы пальцев, она не могла писать. Не хватало денег. Кэтрин жаловалась, что он просто не старается заработать больше. Зарабатывать было нечем. Они дошли до такой степени взаимного раздражения, что разрыв становился неизбежен, и оба это понимали. Кэтрин со времени отъезда из Парижа в Лондон поддерживала переписку с Франсисом Карко. Возможно, она чересчур всерьез принимала то, что он ей писал, во всяком случае, она, кажется, считала, что он ее любит. Любила ли она его, кто знает. Он был приятный человек, а ей надо было уехать от Марри. Она думала, что Франсис Карко сможет дать ей счастье, которого она больше не испытывала, живя с Марри. Правда, Марри, лучше знавший Франсиса, считал, что она обманывается, но разубеждать ее не стал. Приехал, чтобы записаться в армию, брат Кэтрин, Лесли Бичем, и он дал ей денег на билет во Францию к Франсису Карко. В понедельник 15 февраля она в сопровождении Марри возвращается в Лондон, а еще через два или три дня одна отплывает в Париж.

Карко был призван на военную службу и находился в лагере в местечке Грэ. Женщинам в эту зону допуска не было, Кэтрин с большим трудом удалось туда проникнуть. Карко встретил ее на железнодорожной станции и привез в деревенский домик, где он квартировал. Она прожила у него три дня, а затем, разочарованная, вернулась в Париж. В чем там было дело, можно только догадываться. Но Марри вдруг получает телеграмму, что она возвращается и будет завтра в восемь часов на вокзале «Виктория». Когда они встретились, она поспешила объяснить ему (довольно нетактично, надо признать), что вернулась она не к нему, а просто присхала, потому что ей больше некуда деться. И они стали снова жить вместе, соблюдая, по словам Марри, «унылое перемирие». Французская эскапада дала Кэтрин материал для рассказа «*Je ne parle pas français*», где язвительно и не вполне справедливо изображен Франсис Карко и совершенно убийственно — Марри. Она дала ему прочесть рассказ в рукописи, и он был жестоко уязвлен — чего она, несомненно, и хотела.

Остается коротко обозреть оставшиеся несколько лет недолгой жизни Кэтрин Мэнсфилд. Где-то в 1918 году Джордж Бауден наконец с ней развелся, и они с Марри могли пожениться. К этому времени здоровье Кэтрин было

в очень плохом состоянии. Она перенесла много болезней и по меньшей мере одну серьезную операцию. Теперь у нее обнаружился туберкулез легких. Ее лечили разные врачи, и в конце концов Марри убедил ее показаться специалисту. Специалиста пригласили. Кэтрин лежала в постели, Марри внизу дожидался авторитетного суда. Доктор спустился и сказал, что сейчас единственное спасение для Кэтрин — немедленно уехать в санаторий. В противном случае жить ей осталось два или три, максимум четыре года. Дальше привожу отрывок из автобиографии Марри.

«Я поблагодарил его (доктора), распрощался с ним и поднялся к Кэтрин.

— Он говорит, что я должна поехать в санаторий,— были ее слова.— Но санаторий меня убьет.— Она бросила на меня быстрый испуганный взгляд.— Ты тоже хочешь, чтобы я уехала?

— Нет,— безнадежно ответил я.— Это ни к чему.

— Значит, ты веришь, что санаторий меня убьет?

— Верю.

— И веришь, что я поправлюсь?

— Да,— ответил я».

Кажется странным, почему ни доктор, ни сам Марри не догадались предложить ей пожить в каком-нибудь санатории один месяц на пробу. Был в это время хороший туберкулезный санаторий в Бэнчори, в Шотландии. Я думаю, ей бы там понравилось. И конечно, жизнь там дала бы ей материал для нового рассказа. Пациенты были разные. Некоторые жили там годами, потому что больше нигде жить не могли. Другие вылечивались и уезжали. Кое-кто умирал, умирал мирно и, кажется, без сожалений. Говорю со знанием дела, потому что обстоятельства сложились так, что я как раз находился в этом санатории, когда туда могла бы приехать Кэтрин. Я бы тогда с ней познакомился. И она бы меня невзлюбила с первого взгляда. Впрочем, не о том речь.

С той поры, ища исцеления, Кэтрин Мэнсфилд жила в разных местах за границей, и при ней неотступно находилась подруга, Ида Бейкер, которая за ней ухаживала. Ида Бейкер, молодая женщина, ровесница Кэтрин, посвятила уходу за ней несколько лет жизни. Кэтрин обращалась с ней хуже, чем с собакой, изводила ее, поносила, ненавидела, иногда готова была убить — и беззастенчиво пользовалась ее услугами. Ида Бейкер оставалась ее верной, любящей рабыней. Кэтрин была чудовищно эгоцентрична, чуть что, приходила в бешенство, ни с кем не считалась, грубила,

придиралась, держалась презрительно и высокомерно. Довольно неприятный человек, не правда ли? На самом же деле она очень к себе располагала. Клайв Белл, который знал ее лично, говорил мне, что в ней была бездна обаяния. Она отличалась язвительным остроумием и, когда хотела, оказывалась занимательнейшей собеседницей. Марри должен был работать и только иногда приезжал к ней из Лондона на короткое время. Они часто писали друг другу письма. После смерти Кэтрин Марри опубликовал ее письма к себе, но свои, естественно, не приложил, так что о характере их отношений в этот период можно только догадываться. Ее письма по большей части очень теплые, но, когда ее что-то задевало, они становились убийственными. Отец Кэтрин прибавил ей содержание, теперь она получала двести пятьдесят фунтов в год, но все равно бывали периоды безденежья, и как-то раз, сообщив Марри об одном непредвиденном расходе, она сразу же следом послала свирепо ругательное письмо, упрекая его за то, что он не прислал немедленно денег, а подверг ее унижительной необходимости просить. Марри оплачивал счета врачей и все расходы по ее лечению. Он влез в долги. «Если нет денег,— писала она,— почему же ты купил зеркало?» Бриться-то бедняге надо было... Когда Марри получил место редактора «Атенеума» с ежегодным жалованьем в восемьсот фунтов, Кэтрин немедленно потребовала, чтобы он по десять фунтов в месяц присылал ей. Было бы благороднее с его стороны, если бы он сам это предложил. Возможно, что он и вправду был скуповат. Любопытно, что, когда Кэтрин послала ему рассказ, который надо было перепечатать на машинке, она специально оговорила, что перепечатка — за ее счет. Это нарочито оскорбительная оговорка.

Беда в том, что они с самого начала плохо подходили друг другу. Марри, хотя и более внимательный, был так же сосредоточен на себе, как и Кэтрин. Кажется, ему не доставало чувства юмора, но зато он был добр, флегматичен и на редкость терпелив. Ревность, как известно, способна жалить и тогда, когда любовь умерла; несмотря на то что Марри уже не был больше влюблен в Кэтрин, его, конечно, оскорбило, что она уехала от него к другому мужчине. И когда после неудачи с Франсисом Карко он принял ее обратно, он поступил порядочно, даже великодушно. Никаких признаков того, что она была ему благодарна, не видно. Все, что он для нее делал, она принимала как должное. А он был человек хотя и наивный, но отнюдь не пустое место. Из него получился очень неплохой критик, она сама ценила его

замечания по поводу ее рассказов. В позднейшие годы он написал книгу «Жизнь Свифта», которая, по общему мнению, является лучшей из существующих работ об этом ужасном человеке и бесподобном стилисте.

Прогноз английского фтизиатра оказался верным. Он дал Кэтрин максимум еще четыре года жизни. Проведя некоторое время на итальянской Ривьере, потом на французской и позже в Швейцарии, она в качестве последнего средства легла в конце концов в клинику Гурдиева в Фонтенбло. И там в начале 1923 года скончалась. Ей было тридцать четыре года.

Признано всеми, что Кэтрин Мэнсфилд находилась под сильным влиянием Чехова. Но Мидлтон Марри это отрицал. По его мнению, она писала бы точно так же, даже если бы не прочла ни одного чеховского рассказа. Думаю, что тут он ошибался. Разумеется, она бы все равно писала, это было у нее в крови; но если бы не Чехов, рассказы ее оказались бы иными. Произведения Кэтрин Мэнсфилд представляют собой душевные излияния одинокой, чувствительной, больной женщины, которой неуютно живется в Европе, хотя она сама избрала ее местом своего обитания. Это — их материя. А форму ей подсказало творчество Чехова. В прошлом схема построения рассказа была очень проста. Сначала давалась обстановка, это во-первых; во-вторых, вводились персонажи; в-третьих, рассказывалось, что они делают и что делается с ними; и наконец, в-четвертых, чем все дело кончается. По такой формуле можно было, особенно себя не утруждая, писать повествования любой длины. Но когда рассказы стали печатать в газетах, их размеры оказались строго ограничены. Чтобы удовлетворить новым требованиям, понадобились новые приемы: из рассказов пришлось исключить все, что было несущественно для развития действия. Значение первого пункта, обстановки, состоит в том, чтобы создать у читателя соответствующее настроение, а также придать рассказу правдоподобие. Этот пункт можно безболезненно опустить, что сейчас по большей части и делается. Опустить концовку, исход действия, дав волю читательскому воображению, — дело рискованное. Читатель, заинтересованный описанными событиями, надеется узнать, чем дело кончилось, ему не нравится, когда его надежды не оправдываются; однако, если исход очевиден, недосказанность только подстегивает интерес и оказывается действенным выразительным средством. Прекрасный пример этому — «Дама с собачкой» Чехова. Пункты второй и третий опустить нельзя, без них нет рассказа. Очевидно,

что повествование, вводящее читателя прямо в гущу событий, обладает особым драматизмом, который захватывает читателя и приковывает его внимание. Чехов таким образом написал несколько сотен коротких рассказов, и когда потом, с возросшей популярностью, получил место в толстых журналах и мог публиковать более длинные произведения, он очень часто все равно предпочитал придерживаться привычной схемы.

Эта схема как нельзя лучше отвечала темпераменту и таланту Кэтрин Мэнсфилд. Талант у нее был небольшой, но очень изящный. Поклонники, мне кажется, оказали ей дурную услугу, требуя от нее того, на что ее работа не дает никаких оснований. У нее было мало выдумки. Выдумка — это особое искусство. Она бывает свойственна молодости и с возрастом пропадает. Это естественно, потому что для правдоподобной выдумки нужен жизненный опыт, а когда опыт накапливается, события теряют прелесть новизны, перестают радовать и возбуждать воображение и не подстегивают больше, как в молодости, к творчеству. У Кэтрин жизненного опыта не хватало. Марри с осуждением пишет, что она «мечтала о деньгах, о роскоши, приключениях и о жизни в больших городах». Разумеется; ведь это был материал для ее рассказов. Писателю, чтобы выразить правду, как он ее понимает, надо самому пожить в водовороте жизни. Если верно словарное определение рассказа как «повествования о событиях, которые происходили или могли произойти», надо признать, что Кэтрин Мэнсфилд не бог весть какой рассказчик. Ее дар был в другом. Она умела взять определенную ситуацию и выжать из нее всю содержащуюся в ней иронию и горечь, всю душевную боль и сердечную неустроенность. Примером может служить ее произведение, которое она озаглавила «Психология». Есть у нее и несколько объективных рассказов, как «Дочери покойного полковника» или «Картины»; они хорошо написаны, но могли бы выйти из-под пера любого умелого беллетриста. А она приобрела известность главным образом рассказами «с атмосферой». Я расспрашивал разных людей, имеющих отношение к литературе, что они понимают в данном случае под словом «атмосфера», но они либо не смогли, либо не захотели дать мне удовлетворительный ответ. Не помог и Оксфордский словарь. После очевидных определений там идет такое: «образно: окружающая умственная или эмоциональная обстановка, среда». На практике же это означает, мне кажется, изысканную отделку, которая поддерживает рассказ, когда сама конструкция его

настолько тонка, что оказывается неустойчивой. Это Кэтрин Мэнсфилд умела делать искусно и очаровательно. У нее был поистине редкий дар наблюдательности, она удивительно тонко описывала явления природы: ароматы земли, ветер и дождь, море и небо, деревья, плоды и цветы. Не последним из ее талантов является умение передать душевраздирающий подтекст самого обыкновенного, казалось бы, разговора, например, за чашкой чая, а это, видит Бог, задача не из легких. Стиль у нее приятно разговорный, даже самые мимолетные ее зарисовки читаются с удовольствием. Они не застревают в памяти, как, скажем, «Пышка» Мопассана или «Палата № 6» Чехова,— наверно, потому, что факты помнятся лучше ощущений. И захочешь — не забудешь, как упал с лестницы и растянул лодыжку; а вот поди вспомни, что ощущал, когда был влюблен. Но такое ли уж достоинство литературного произведения, что оно не забывается, это еще вопрос, на который я не берусь ответить.

Кэтрин Мэнсфилд не нравилось в Новой Зеландии, пока она жила там; но позже, когда Англия не дала ей того, что она искала, когда она была уже больна, мысли ее часто возвращались к стране ее юности. Иногда она жалела о том, что уехала. Теперь, задним числом, ей казалось, что на родине она жила полной, разнообразной, упитательной жизнью. И хотелось писать об этом. Первый такой рассказ получил название «Прелюдия». Она написала его, когда они с Марри жили три месяца в Бандоле на французской Ривьере и были счастливы, как никогда ни прежде, ни потом. Она хотела назвать рассказ «Алоэ», «Прелюдию» предложил Марри. Я думаю, он чувствовал, что это не столько рассказ, сколько описание обстановки для рассказа. Известно, что начинала она его как роман, и поэтому, наверно, он слегка бесформен. Позднее на этом же материале были написаны рассказы «Морское путешествие», «В бухте» и «Чаепитие в саду». В «Морском путешествии» описывается, как маленькая девочка под присмотром бабушки едет ночью на пароходе из одного новозеландского порта в другой. Ничего более нежного и прелестного невозможно вообразить. Остальные рассказы — об отце, матери, брате, сестрах, кузенах и кузинах, соседях. Они написаны свежо, выпукло и естественно. Мы знаем, что она много над ними работала, однако они производят приятное впечатление живой непосредственности. Здесь нет горечи, разочарования, надрыва, характерных для большинства ее рассказов. На мой вкус, это лучшее из всего, что она написала.

Говорят, что теперь рассказы Мэнсфилд расцениваются не так высоко, как в 20-е годы. Жаль, если их забудут. Надеюсь, что этого не случится. Ведь на самом деле литературному произведению придает особый интерес именно личность автора. И не важно, пусть он напыщен, как Генри Джеймс, или чуточку вульгарен, как Мопассан, или назойлив и невоспитан, как Киплинг,— раз автор сумел выразить себя, свою особость и неповторимость, значит, работа его живет. И уж что-то, а это Кэтрин Мэнсфилд умела.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

«КРУГ»

Текст пьесы был опубликован в Англии и США в 1921 г.

«Круг» относится к наиболее известным и остроумным комедиям Моэма. Спектакли по пьесе шли во многих странах мира. В Москве «Круг» ставился дважды: Московским театром драмы в 1946 г (спектакль быстро запретили за буржуазную безыдейность, легковесность и прочие идеологические «грехи») и театром им. Вл. Маяковского в 1988 г

Настоящий перевод В. Харитоновой осуществлен специально для Собрания сочинений.

«ЗА ЗАСЛУГИ»

Эту пьесу, одну из последних, написанных Моэмом, критика справедливо относит к вершинам его драматургического наследия.

Текст пьесы печатался выпусками на страницах лондонской «Санди экспресс» (ноябрь — декабрь 1932 г.). Отдельным изданием вышел в 1932 г. в Англии (декабрь) и в 1933 г. в США (апрель).

Настоящий перевод Э. Шаховой впервые опубликован в альманахе «Современная драматургия» (1988, № 1). В Собрании сочинений текст дается по этому изданию в отредактированном переводчиком виде.

«НА КИТАЙСКОЙ ШИРМЕ»

Книга написана по впечатлениям автора от поездки в Китай и представляет собой свободно скомпонованную последовательность путевых зарисовок, заметок и размышлений и сюжетно завершенных историй. Одну из последних под названием

«Тайпан» Моэм впоследствии включал в сборники своих рассказов. Эта история публиковалась и на русском языке в периодических изданиях в 1934 и 1992 гг.

«На китайской ширме» вышла почти одновременно в Англии и США в 1922 г. На русский язык не переводилась, за исключением упомянутой новеллы.

Настоящий перевод И. Гуровой осуществлен специально для Собрания сочинений.

«ПОДВОДЯ ИТОГИ»

Эта примечательная и новаторская книга — автобиографические заметки, рассуждения о литературе, искусстве и жизни, эстетический, а в известном смысле и философский манифест писателя — все вместе, представленное в форме раскованной и доверительной беседы автора с читателем, — самое «личное» и, возможно, самое знаменитое сочинение Моэма.

«Подводя итоги» вышла в самом начале 1938 г. почти одновременно в Англии и США.

Русский перевод книги, принадлежащий М. Лорие, был опубликован отдельным изданием: Моэм В. Сомерсет. Подводя итоги. Пер. с англ. М. Лорие / Ред. и авт. предисл. Кот. Шангриладзе. — М.: Изд-во иностранной лит., 1957. С тех пор он неоднократно пересиздавался, в том числе в заново отредактированном виде: Моэм У. С. Избранные произведения. В 2-х т., т. 1-й. — М.: Радуга, 1985. В Собрании сочинений текст перевода дается по этому изданию.

ЭССЕ

«Упадок и разрушение детектива». Впервые — в составе сборника эссе «Переменчивое настроение», вышедшего в Англии и США в октябре 1952 г. Настоящий перевод опубликован в журнале «Вопросы литературы» (1989, № 8) и перепечатан в кн.: Моэм У. Сомерсет. Искусство слова, 1989; текст дается по этому изданию.

«Искусство рассказа». Впервые опубликовано в августе 1934 г. как авторское предисловие к книге «Восток и Запад: Собрание рассказов У. Сомерсета Моэма» — и перепечатано в октябрьском номере журнала «Нэшиз Мэгазин». Включено в сборник «Точки зрения» (1958).

На русском языке печаталось в отрывках в различных периодических изданиях. Впервые полностью в настоящем переводе — в книге: Моэм У. Сомерсет. Искусство слова. — М.: Художественная литература, 1989. Текст дается по этому изданию.

В. Скороденко

СОДЕРЖАНИЕ

ПЬЕСЫ

Круг. <i>Перевод В. Харитонова</i>	7
За заслуги. <i>Перевод Э. Шаховой</i>	72
НА КИТАЙСКОЙ ШИРМЕ. <i>Перевод И. Буровой</i>	143
ПОДВОДЯ ИТОГИ. <i>Перевод М. Лорие</i>	263
ЭССЕ	
Упадок и разрушение детектива. <i>Перевод Л. Беспаловой</i>	449
Искусство рассказа. <i>Перевод И. Бернштейн</i>	472
Библиографическая справка. <i>В. Скороденко</i>	509

Мозэм У. С.

М 87 Собрание сочинений. В 5 т. Т. 5: Пьесы; На китайской ширме; Подводя итоги; Эссе: Пер. с англ./Редколл.: Н. Демурова и др.; Сост. и биограф. справка В. Скороденко.—М.: Худож. лит., 1994.—511 с.

ISBN 5-280-03054-6 (Т. 5)

ISBN 5-280-01705-1

В пятый том Собрания сочинений У. С. Мозэма вошли его пьесы: «Круг», «За заслуги», очерки о путешествиях «На китайской ширме», творческая исповедь писателя «Подводя итоги», а также эссе из различных сборников.

М 4703010600-08 Подписное
028 (01)-94

ББК 84.4 Вл

Уильям Сомерсет Моэм

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ

Том пятый

Зав. редакцией *М. Климова*

Редактор *С. Митюшина*

Художественный редактор *Л. Калитовская*

Технический редактор *Л. Шишцына*

Корректоры *Г. Володина, Т. Сидорова*

ИБ 7605

Издат. лицензия ЛР № 010153 от 27 декабря 1991 г.

Сдано в набор 12.01.94. Подписано к печати 27.04.94. Формат 84 × 108 1/32.

Бумага типографская. Гарнитура «Баскервиль». Печать высокая. Усл.

печ. л. 26,88. Усл. кр.-отт. 26,88. Уч.-изд. л. 29,72. Тираж 115 000 экз.

Изд. № VI-4621. Заказ № 1888 «С» — 240

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Отпечатано на издательско-полиграфическом предприятии
"Правда Севера"

163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32